

Собрание сочинений в тридцати томах. Том 16. Рассказы, повести 1922–1925. Максим Горький gorkiymaxim.  
Спасибо, что скачали книгу в бесплатной электронной библиотеке  
<http://gorkiymaxim.ru/> Приятного чтения!

Собрание сочинений в тридцати томах. Том 16. Рассказы, повести 1922–1925. Максим Горький

Отшельник

Лесной овраг полого спускался к жёлтой Оке, по дну его бежал, прячась в травах, ручей; над оврагом – незаметно днём и трепетно по ночам – текла голубая река небес, в ней играли звёзды, как золотые ерши.

По юго-восточному берегу оврага спутанно и густо разросся кустарник, в чаще его, под крутым отвесом, вырыта пещера, прикрытая дверью, искусно связанной из толстых сучьев, а перед дверью насыпана укреплённая булыжником площадка в сажень квадрата, от неё к ручью спускаются лестницей тяжёлые валуны. Три молодых дерева растут перед дверью пещеры – липа, берёза и клён.

Всё около пещеры сделано хозяйственно и прочно, – на долгую жизнь. И так же прочно устроена внутренность её: бока и свод покрыты циновками из прутьев ивняка, циновки смазаны глиной, смешанной с илом ручья; налево от входа сложена небольшая печь, а в углу – аналой, покрытый, точно парчой, плотной рогожей, на аналое в железном держальце – лампадка, синеватый огонёк её колеблется, в сумраке, чуть виден.

За аналоем три чёрные иконы, на стенах висят связки новых лаптей, на полу лежит лыко, вкусный запах сухих трав наполняет пещеру.

Хозяин этого жилища – старик среднего роста, плотный, но весь какой-то измятый, искусанный. Лицо его, красное, точно кирпич, безобразно, левая щека разрезана от уха до подбородка глубоким шрамом, он искривил рот, придав ему выражение болезненно-насмешливое, тёмненькие глаза изувечены трахомой [1] – без ресниц, с красными рубцами на месте век, волосы на голове вылезли клочьями, и на бугроватом черепе – две лысины, одна – небольшая – на макушке, другая обнажила левое ухо. Но старик подвижен и ловок, точно хорёк; уродливо голые глаза его смотрят ласково; когда он смеётся, увечья лица почти исчезают в мягком обилии морщин. На нём хорошая рубаха небелёного полотна, синие пестрядинные штаны, верёвочные лапти, ноги до колен в заячьих шкурках вместо онуч.

Я пришёл к нему весёлым днём мая, и мы сразу подружились, он оставил меня ночевать, а во второе моё посещение уже рассказал мне свою жизнь.

– Я пильщик был, – сказывал он, лёжа под кустом калины, сняв рубаху и грея на солнце грудь, мускулистую не по-стариковски. – Я семнадцать лет брёвна резал, вот и рожу мне пила распахала. Так и звали меня – Савёл Пильщик. Пилить – это, дружба, не лёгкая занятая: машешь, машешь руками в небо, а на роже – сетка, а над головой – брёвна, и ничего не видать, и опилок на тебя сыплется – беда! А я – весёлый был, игристый, турманом жил, знаешь – голуби есть турмана: взвьётся высоченно в небеса, в самую невидимую глубь, свернёт там крылья, головку подкрыло и – бултых вниз! Многие убиваются насмерть, об крыши, об землю. Вот эдак и я. Весёлый я был, безобидный, вроде блаженного какого, бабы, девки любили меня, ну – как сахар, – верное слово. Что делалось! Вспомнить радостно...

И, перекатываясь с бока на бок, он смеялся звонко, как молодой, только в горле у него немного хрипело, смеху его ладно вторил ручей. Тепло вздыхал ветер; по нежным бархатам весенней листвы скользили золотистые зайчики.

– Ну-кошь, хлебнём, дружба, – предложил Савёл. – Тащи её!

Я сходил к ручью, – в нём холодилась бутылка водки, – выпили по стаканчику. Закусывая кренделем и воблой, старик с восхищением говорил:

– Хорошо это придумано – винишко!

И, облизав седые, трёпанные усы:

– Ладная штука! Много я её не могу принять, а в малом качестве уважаю! Сказывают: первый водку сварил – бес. За хорошее дело и бесу спасибо...

брание сочинений в тридцати томах. Том 16. Рассказы, повести 1922-1925. Максим Горький gorkiymaxim.  
Зажмурил глаза, умолк на минуту и вдруг воскликнул, протестуя:

– Ну, всё-таки обидели меня, – в кровь обидели! Эх, дружба, до чего же люди обижать навывки дружка дружку – даже стыдно. Щенком бездомным совесть живёт промежду нас, неприятно совести! Ну, – ладно. Был я женатый, всё как следует, жена – Натальей звали – красивая баба, мягкая. И жили мы с ней ничего, уютно, гуляла она несколько, ну – я сам человек отхожий, дома живу – мало, где какая баба получше, поласковее – той и пользуюсь. Дело обыкновенное, без него нельзя, а в крепкие годы ничего лучше не найдёшь. Бывало, приду домой, деньжонок принесу, того сего, а люди говорят: «Савёл, завязывай жене подол, когда из дому уходишь!» Смеются, значит. Ну, я её – для приличности – побью маленько, потом подарочек сделаю, приласкаю: «Дура, говорю, как же это ты насмех людям ставишь меня? Или я тебе неприятель али недруг какой?» Плачет, конечно. «Врут они», – говорит. Я сам знаю, что люди врать любят, ну однако меня не обманешь: ночь про бабу правду скажет, ночью сразу почувешь: была ли в чужих руках, али нет?

Что-то зашумело в кустах за его спиной.

– П-ш! – старик потряс рукою ветвь калины. – Ежишко тут живёт, наведни ногу я наколол об него, иду мыться к ручью, а его в траве не видно, прямо в палец всадил себе колючку.

Он, улыбаясь, посмотрел в кусты и весь взметнулся, продолжая:

– Да, дружба! Так, вот, значит, и обидели меня, да – ведь как! Была у меня дочь Таша – Татьяна. Ну, хвастать не буду, в одном слове скажу: всему свету радость – вот какая дочь! Звезда! Наряжал я её, выйдет на улицу в праздник – божья красота! Походка ли, стан ли, глаза, – учитель наш Кузьмин – Сундук по прозвищу, неуклюж парень родился, так он её неведомым именем называл, а выпивши – до слёз доходил, всё упрашивал, чтоб я её берёг. Я – берёг. А был я удачлив, – этого у нас не любят, – зависть была ко мне, и пустили слухов, будто я изнасилил дочь – живу с ней.

Тревожно заёрзал по траве, снял с куста рубаху, надел её и тщательно застегнул ворот. Его лицо болезненно искривилось, он плотно сжал губы, и реденькие щетинки седых его бровей опустились на обнажённые глаза. Вечерело. Становилось свежо. Где-то бил перепел:

– Подъ-полоть...

Старик смотрел вниз, в овраг.

– Вот, значит, и пошло дымом дымить. Кузьмин, поп, писарь, кое-которые мужики, а особливо бабы зазвонили языками, забили во все бубны: катать-валяй, человек ошибся. Это праздничек нам, – человека травить, это мы любим. Таша плачет – на улицу выйти нельзя, мальчишки дразнят. Все рады – забава. Я говорю: уйдём, Таша...

– А жена?

– Жена? – удивлённо переспросил старик. – Так она же померла! Ночью, в одночасье, охнула да и померла. Как же! Она – задолго до этого, Таше тринадцатый шёл... Она была супротивна мне, нехорошая баба, неверная.

– Ты ведь хвалил её, – напомнил я. Это его не смутило; почесав шею, он приподнял ладонью бородку вверх и, глядя на неё, спокойно сказал:

– Так что, что хвалил? Всякий человек не всю жизнь плох, иной раз и плохой похвалы достоин. Человек – не камень, а и камень от времени меняется. Однако ты не подумай чего, – она своей смертью померла. Это от сердца она, – думать надо, – сердце у ней захлёбывалось; бывало, ночью играешь с ней, а она вдруг и обомлет, – вроде мёртвая бывала. Даже страшно!

Его мягкий сиповатый голосок звучал певуче, неумоимо и родственно сливался в тёплом воздухе вечера с запахом трав, вздохами ветра, шелестом листвы, тихим плеском ручья по камням. Замолчи он – и ночь будет не полна, не так красива и мила душе. Говорил Савёл удивительно легко, не затрудняясь поиском слов, одевая мысли любовно, как девочка куклы. Я уже немало слышал русских краснобаев, людей, которые, опьяняясь цветистым словом, часто – почти всегда – теряют тонкую нить

брание сочинений в тридцати томах. Том 16. Рассказы, повести 1922–1925. Максим Горький gorkiymaxim. правды в хитром сплетении речи. Но этот плёл свой рассказ так убедительно просто, с такой ясной искренностью, что я боялся перебивать его речь вопросами. Следя за игрой слов, я видел старика обладателем живых самоцветов, способных магической силою своей прикрыть грязную и преступную ложь, я знал это и всё-таки поддавался колдовству его речи.

– Началось, дружба милая, это самое дело: доктора призвали; осмотрел он, бесстыжие глаза, всю Ташу подробно, а был с ним ещё один хлюст, лысоватый такой, с золотыми пуговками, следовательно, что ли, – спрашивает: кто, когда? Она молчит, ей стыдно. Заарестовали меня, отвезли в губернию, в острог. Сижу. Лысый, это, говорит мне: сознайся, и будет тебе за то лёгкая казнь! Я ему добродушно предлагаю: «Отпусти меня, твоё высокородие, в Киев, ко святым мощам, грехи замолють». – «Вот, говорит, и хорошо, сознался ты!» Поймал, значит, меня, лысый кот! А я ни в чём ему и не сознавался, просто так от скуки слово бросил. Скушно было мне, непривышно в остроге-то, кругом воры, човекоубийцы и всякий дрянной народ, к тому же думается: «А что с Ташей сделают?» Больше года тянули канитель эту, потом начали судить. Гляжу – Таша тоже пришла, – в рукавичках, сапожки на ней, необыкновенно всё! Платице голубое вроде облака, – душа насквозь светится. Весь этот суд на неё смотрит и весь народ, и знаешь, дружба, как сон всё это! А рядом с Ташей госпожа Анцыферова, помещица наша, шука-баба, хитрейшего ума. «Ох, думаю, эта меня загрызёт, эта меня съест до костей!»

Он засмеялся как-то особенно добродушно.

– Сын у ней Матвей Алексеич, – я его за дурачка принимал, – скушное дитё! Белый весь, без кровинки, в очках ходил, волосы поповские, бородёнка – насмех, и всё он песни да сказки в книжечку записывал. Добряга, чего ни попроси – даёт! Ну, мужики этим пользовались: тот – косу дай, этот – дров, третий – хлеба, берут – кому чего надо, не надо. Я ему говорю: «Что ты, Алексеич, раздаёшь всё? Отцы, деды твои копили, наживали, шкуру драли с людей, не боясь греха, а ты раздаёшь без оправдания. Али тебе не жалко трудов человеческих?» – «Так, говорит, надо!» Не больно умён был, ну всё-таки тихой души парень. Потом его губернатор в китай сослал, нагрубил он губернатору, а тот его – в Китай.

– Ну – суд. Оказался защитник у меня, часа два говорил, так руками и машет. Таша тоже за меня...

– Да ты – жил с ней?

Он подумал, как бы припоминая, потом равнодушно сказал, следя обнажёнными глазами за полётом ястреба:

– Бывает это – живут и с дочерьми. Даже святой один с дочерьми жил, с двумя, от них тогда пророки Авраам, Исаак родились. Про себя я не скажу этого. Конечно, играл с ней; дело зимнее, ночи длинные, скушно! Особливо же скушно такому, который вертеться на земле привык, ходить туда-сюда, а я таков был. Сказки рассказывал я ей, – сказок я знаю сотни. Ну, а сказка – вещь фальшивая. И – кровь горячит. А Таша...

Он закрыл глаза и, качая головой, вздохнул:

– Красавица же она была невозможная! А я тоже до женщин невозможный, совсем безумный!

Старик весь вострепнулся и – с восхищением, с гордостью – сказал, захлёбываясь словами:

– Ты – гляди, дружба: шестьдесят семь годов мне, а и теперь могу всякую женщину добрать до самого конца – вот оно как. Пяток лет спустя – какие кобылицы, бывало, молили меня: «Савёлушко, милый, отпусти, сил больше нет!» Пожалеешь, отпустишь, а – она через неделю опять тут. «Что, спрашиваю, пришла? То-то вот!» Женщина – это, дружба, большое дело, вся земля об этом бредит, – зверь, птица, малая букашка – все одним живы! Кроме-то – чем жить?

– Что же всё-таки сказала дочь на суде?

– Таша? Она придумала, – а то Анцыфериха научила её, я Анцыферихе полезный был, – она сказала, что сама себе вред сделала, а я – не виноватый. Ну, меня и

брание сочинений в тридцати томах. Том 16. Рассказы, повести 1922-1925. Максим Горький gorkiymaxim. отпустили. Зря всё у них это, так себе, напоказ, вот, дескать, глядите, как мы законы стережём! А всё – обман один, законы эти, приказы всякие, бумаги, ничего этого не надо, пускай всяк живёт как хочет! И дешевле будет и приятнее. Вот я живу, никому не мешаю и никуда не лезу...

– А убийцы – как?

– Их – убивать! – решил Савелий. – Который убил, его тоже прикончить, тут же на месте, – не дури! Человек не комар, не муха, не хуже тебя, сволочь...

– А – воры?

– Чудак, – откуда же воры, коли воровать нечего? Чего у меня украдёшь? Лишнего – нет, значит, и зависти нет, и жадности нет. Откуда тут воры родятся? Вор – от избытку; он глядит: ой, как много! Ну, и цапнет чего-нибудь...

Было уже темно, ночь влилась в овраг. Трижды ухнула сова, старик выслушал её жуткие крики и, улыбаясь, сказал:

– Недалеко тут живёт, в дуплице. Иной раз застигнет её солнышко, не успеет она спрятаться и торчит на свету. Я иду, язык показываю ей: что, дура? Ничего не зрит, молчит. Увидят её мелкие птицы – беда ей!

Я спросил, как же он стал отшельником?

– Так и стал: ходил-ходил, потом остановился. Из-за Таши всё. Анцыфериха тут хитро сыграла – не допустила меня к ней после суда. «Я, говорит, всю правду знаю, и скажи мне спасибо, что в каторгу не попал, а дочери тебе не выдам». Дура, конечно. Повертелся я около неё, вижу – нет, её не обойдёшь! И – пошёл. Был в Киеве и в Сибири был, там большие деньги заработал, вернулся в свои места. Анцыфериху на железной дороге колёсами задавило, а Ташу она замуж выдала за фершала, в Курск. Я – в этот Курск, а фершал в Персию уехал, в Узун-город. Я в Царицын, а там на пароход, потом морем ехал в Узун – а Таша-то померла. Видел я этого фершала, – рыжеватый такой, красноносый, весёлый. Оказался – пьяница. «Ты, говорит, может, есть отец ей?» – «Нет, говорю, куда мне! Просто я его в Сибири видел, отца-то». Не хотелось открываться перед ним, ~ чужой человек. Ну, прошёл на Новый Афон, чуть не остался жить там – хорошее место! После вижу – нет, нехорошо! Море гремит, камни ворочает, абхазы ходят, место неровное, горы кругом, а ночи – такая чернота, будто тебя в смоле утопили. И – жара. Пришёл сюда, да вот и живу – девятый год, не зря живу. Пришёл, обстроился здесь, берёзу посадил; три года прожил – кленок посадил, потом – липу, видишь? Я, дружба, большой здесь утешитель людям, – вот приходи в воскресенье, погляди-ка, послушай!

Он почти не упоминал имени божия, – третьего слова в устах людей, подобных ему. Я спросил: много он молится?

– Нет, не шибко много, – задумчиво ответил старик, закрыв голые свои глаза. – Сначала я здорово молился; бывало, часами стою на коленках, всё крещусь. Руки у меня пилой намотаны, не устают, и спина тоже. Тыщу поклонов могу положить – не охну. А вот косточки на коленях – не терпят, ноют. Потом я вздумался: чего это я молюсь, о чём? Всё у меня есть, люди меня уважают, а я – бога беспокою. У бога – свои дела, зачем мешать ему? От него даже отводить надо людские пустяки. Он, бог, про нас заботится, а мы о нём – нет! И я так думаю: господь живёт для больших людей, где у него время для меня, мелкого дурака? Теперь я – просто так: не спится ночью, выйду из пещеры, сяду тут где-нибудь да, глядя в небеса господни, думаю: «Как он там?» Это, дружба, очень приятная занятая, до того, что и сказать нельзя, – дивен сон наяву! И – не устаёшь, как на молитве. Ничего я у него не прошу, да и другим не советую, а когда, вижу, надо, говорю тому, другому: бога пожалей! Вот приходи-ко, погляди, какой я полезный и ему и людям...

Он говорил не хвастливо, а со спокойной уверенностью мастерового в знании своего ремесла. Голые глаза его улыбались весело, скрашивая безобразие изуродованного лица.

– Зимой-то как живу? Ничего, у меня и зимой тепло. Только зимой народу трудно ходить ко мне из-за снега, – бывает, сутки по двое, по трое без хлеба живу. Один раз – суток восемь али больше не ел ни крошки, обессилел до того, что и память

брание сочинений в тридцати томах. Том 16. Рассказы, повести 1922–1925. Максим Горький gorkiymaxim. потерял. Девонька одна пришла-таки, выправила меня. Монастырская служка она была, а после вышла замуж за учителя. Это я её надоумил: «Что ты, Ленка, говорю, балуешься? К чему это тебе?» – «Я, говорит, сирота». – «Выходи замуж – вот и конец сиротству». А тут – учитель, Певцов, милый человек, я ему и советую: «Приглядишься, Миша, к девушке». Да. Он её вскорости и поял. Ничего, живут. Ну, зимой я в Саров ухожу, в Оптину, в Дивеевский – тут кругом монастыри. Монахи однако не любят меня, всё к себе зовут, чтобы я постригся, в старцы шёл бы, – им это выгодно, приманка людям, а я не хочу, я живой, мне это не годится. Али я – святой? Я, дружба, просто – тихий человек...

Смеясь, потирая бока ладонями, он умиленно сказал:

– Зато у монахинь я – милый гость! Любят они меня, – эти меня любят! Не хвастаю, чистая правда. Я, дружба, женщину насквозь знаю, всякую, какую хочешь, – хоть дворянских кровей, хоть купеческих, а простая баба мне насквозь видна, как моя душа. Погляжу в глаза и всё понимаю, – всякое беспокойство её. Я тебе про них такие сказы могу рассказать...

И снова он убедительно пригласил меня:

– Ты вот приходи, увидишь, как я с ними гуторю. Ну-ко, давай ещё опрокинем по баночке.

Выпив, он зажмурил глаза и, качая головой, с новым восхищением проговорил:

– До чего же это вино полезное!

Короткая ночь весны заметно таяла, становилось свежо, я предложил развести костёр.

– Ну, – зачем? Али холодно? Мне, старцу, не холодно, а тебе холодно? А-яй! Так ты в пещеру иди, ложись там. Видишь ли, дружба, ежели огонь развести, налетит всякая живая мелочь и станет гореть в огне, а я этого не люблю. Огонь им, как западня, на погибель. Солнышко – всякому огню отец – никого не убивает, а мы с тобой, костей наших ради, всю эту мелкоту будем жечь. Не надо...

Я согласился – не надо. И ушёл в пещеру, а он ещё долго возился вне её, уходил куда-то, плескался в ручье, и я слышал его ласковый голос:

– Пють... Не бойся, дурачок... Фить!..

Потом он тихонько, дребезжащим голосом запел, словно баюкая кого-то...

Когда я проснулся и вышел из пещеры, Савелий, сидя на коленях, ловко плёл лапоты и говорил зяблику, который яростно распевал в кустах:

– Катай-валяй, пой, день – твой!

– Выспался, дружба? Иди, мойся, я уже чайшко вскипятил, поджидаю тебя...

– Ты что ж не спал?

– Я, дружба, помру – посплю.

Над оврагом сияло голубое небо мая.

Я пришёл к нему недели через три, в субботу к вечеру и был встречен им как старый, любимый знакомый.

– А я уже думал: забыл этот человек меня! О, и винца принёс? Ну, спасибо! И хлеба пшеничного? Да, гляди-ка ты, мягкий какой. Ну, добёр ты, ой, хорош! Тебя люди должны любить, они добрых – любят, они свою пользу знают! Колбаса? Это я не уважаю, это – собачья пища, ты сам её кушай, а вот рыбку я люблю. Эта рыба, называемая рыбец, – сладкая рыба, из Каспийского моря, я знаю! Ты тут рубля на полтора принёс, чудачок! Ну, ничего, спасибо!

Он показался мне ещё более живым, более радушно сияющим; мне стало легко,

брание сочинений в тридцати томах. Том 16. Рассказы, повести 1922–1925. Максим Горький gorkiymaxim. весело, и я подумал:

«Чёрт возьми, а ведь, пожалуй, я вижу счастливого человека?» Ловкий, мягкий, он хозяйственно суетился, пряча мои дары, и, точно искры, от него летели во все стороны эти милые, русские, обаятельные слова, от которых пьянеет душа.

Движения его прочного тела, быстрые, как движения ужа, великолепно гармонировали с чёткой речью, и, несмотря на изуродованное лицо его, на эти глаза без ресниц, – как будто нарочно разодранные для того, чтобы больше и смелее видеть, – он казался почти красивым, красотой пёстро и хитро спутанной жизни. И его внешнее безобразие особенно резко подчёркивало эту красоту.

Снова, почти всю ночь, трепетала его седенькая бородёнка и топорщились выщипанные усишки, когда он закатисто смеялся, широко растягивая кривой рот, в котором блестели белые, острые зубы хорька. На дне оврага было тихо, наверху гулял ветер, качались кроны сосен, шелестела жёсткая листва дубов; синяя река небес была бурно взволнована – серая пена облаков покрывала её.

– Чу! – предостерегающе подняв руку, тихонько воскликнул старик. Я прислушался, – было тихо.

– Лиса крадётся, у неё тут нора. Охотники спрашивают: а что, дед, не живёт тут лиса? Я их обманываю, – ну, какие тут лисы? Не уважаю охотников, мать их бог любил!

Я уже заметил, что старику иной раз очень хочется выругаться глупой русской бранью, но, понимая, что это уже не подобает ему, он говорил только «мать твою бог любил», «мать твою курицу».

Выпив водки, настоящей на буквице [2], он говорил, прижмурив разодранные глаза:

– Какая скусная рыба эта, – покорно тебя благодарю, – очень я люблю всё скусное...

Не ясно было мне его отношение к богу, и я осторожно завёл беседу на эту тему. Сначала он отвечал мне обычными словами странников, завсегдатаев монастырей, профессиональных богомоллов, но я почувствовал, что ему скучно говорить так, и не ошибся, – подвинувшись ближе ко мне и понизив голос, он вдруг оживлённо начал:

– Скажу я тебе, дружба, про французика одного, французского попа, – маленький такой попик, чёрный весь, как скворец, на головке – гуменце выстрижено, на носике – очки золотые, а ручонки – словно у девочки малы, и весь он – игрушка богова! Встретил я его в Почаевской лавре, лавра эта далеко отстоит – там!

Он махнул рукой куда-то на восток, в Индию, вытянул ноги поудобнее и продолжал, опираясь спиной о камни:

– Кругом – поляк живёт, чужое место, не наша земля. Балагурю я с монахом одним, он говорит: «Людей надо наказывать чаще». А я посмеиваюсь: ведь коли правильно наказывать, так надо – всех, а тогда и время ни на что не хватит и делать больше нечего – дери дёром друг дружку, только и всей работы. Рассердился монах на меня: «Ты, говорит, дурак!» И ушёл. А попик этот в уголке сидел и вот подкатился ко мне и – начал, – ах, какой! Я тебе, дружба, так скажу: он мне вроде Иван-Крестителя. Язык ему мешал, не все наши слова можно сказать чужим языком, ну – всё-таки говорил он с большою душой. «Видел я, говорит, что вы, – всё на вы со мною, да! – вы, говорит, не верите монаху, ох, говорит, это очень хорошо; бог, говорит, не злодей людям, а сердечный друг, только с ним, по доброте его, так случилось: растаял он в слёзной жизни нашей, как сахар в воде, а вода сорная, вода грязная, и не стало нам чуть его, не чуем, не слышим скуса божия в жизни нашей. А всё-таки он во всём мире пролит и в каждой душе живёт чистойшкой искрой, и надо, говорит, нам искать бога в человеке, собирать его во единый ком, а как соберётся господь всех душ живых во всей силе своей, – тогда придёт к нему сатана и скажет: велик ты, господи, и силен безмерно, не знал я этого – прости, пожалуйста! А теперь – не хочу больше бороться с тобой, возьми меня на службу себе».

Старик говорил напряжённо, и на его тёмном лице странно сверкали расширенные зрачки.

брание сочинений в тридцати томах. Том 16. Рассказы, повести 1922–1925. Максим Горький gorkiymaxim.  
– «И тогда наступит конец всякому непотребству и злу, и всякой земной сваре, и все люди возвратятся в бога своего, как реки в океан-море»...

Он захлебнулся словами, ударил по коленям своим и начал сиповато смеяться, радостно продолжая сквозь смех:

– Ну, так всё это мне по сердцу пришлось, так светло на душе стало – и не знаю, что сказать французику. «Ваше, говорю, Христово подобие, можно тебя обнять?» Обнялись и – давай мы плакать оба, – ведь как плакали! Как малые ребята, родителей встретив после долгой разлуки. А оба – старые, у него щетинка-то вокруг гуменца тоже седая. Тут я ему и сказал: «Ты, говорю, мне, христоподобие, вместо Ивана Крестителя!» Ваше христоподобие зову его, а самому смешно: он – я те сказал – на скворца похож был. А монах этот, Виталий, всё ругал его: «Вы, говорит, гвоздик!» Верно, он и на гвоздик был схож, – острый такой! Тебе, дружба милая, вся эта радость моя, конечно, непонятная, ты – грамотный, сам всё знаешь, а я в ту пору слепой был, хожу – будто всё вижу, а – ничего не понимаю, – где бог? А он мне сразу всё и открыл, – сообрази, каково это было мне? Ведь я тебе речи его в краткости сказал, а мы с ним до свету беседу вели, он мне столько много говорил, что я – одно ядро помню, а скорлупку всю растерял...

Замолчав, он понюхал воздух, как зверь.

– Дождик будто собирается? Али – нет?

Понюхал ещё и успокоенно решил:

– Нет, не будет дождя, – это к ночи сыреет. Я тебе, дружба, скажу, – все эти французы и разных иных земель жители – высокоумный народ. В Харьковской, не то в Полтавской губерне, у одного князя великого, англичанин, управляющий, глядел-глядел на меня, потом позвал в комнату и говорит: «Вот тебе, старик, секретное письмо и отнеси его туда-то, такому-то человеку, – можешь?» Чего же не мочь? Мне всё равно куда идти, а тут вёрст сотня до указанного места. Взял я пакет, привязал на верёвочку, сунул за пазуху – иду. Пришёл в указанное место, прошу: «Допустите меня к помещику». Меня, конечно, по шее. Гонют, бьют. Ах вы, думаю, оканные, раздуй вас горой! А пакет в бумажке был, и от поту бумажка разлезлась вся, – гляжу: деньги! Большие деньги, рублёв триста, примерно. Испугался – вдруг заметит кто-нибудь да украдёт ночью? Что делать? И вот сижу в поле, на дороге, под деревом, – едет господин, может, это тот самый, кого мне нужно? Встал на дорогу, машу посохом, кучер меня хлыстом огрел, ну, господин велел остановиться и даже ругнул его. Господин – тот самый. «Вот, говорю, извольте, получите секретный пакет». – «Хорошо, говорит, садись со мной, едем». Поехали, привёз он меня в роскошную комнату и спрашивает: «Что это за пакет?» – «По-моему – деньги, говорю, бумага-то отпотела, я видел». – «А кто, говорит, дал это тебе?» – «Не могу сказать, не велено». Он – кричать на меня: «К станному отправлю, в тюрьму». – «Ну, что ж, говорю, значить, так надо». Он меня пугал-пугал, однако – не боюсь. Вдруг – отворяется дверь, и этот самый англичанин на пороге. Что такое? А он хохочет. Он по железной дороге раньше меня приехал и – ждал: приду я али нет? И знали они оба, что давно я пришёл, и видели, как прислуга гнала меня, – сами же и велели гнать, бить не велели, а только – гнать. Ну, понимаешь, это они шутку шутили для испытания мне, – донесу деньги али нет. Понравилось им, что донёс, велели они мне вымыться, дали всякую чистую одежду и пожалуйста кушать с ними. Да, дружба... Ну, я тебе скажу, и кушали мы! А вино, – так, знаешь, хлебнёшь его, и – рот закрыть сил нет. И обожгло, и дух прелестный. Так они меня напоили, что сблевал я. На другой день – тоже кушал с ними, рассказывал разное, очень удивлялись. Англичанин напился и доказывал, что русский народ – самый удивительный и никому неизвестно, что он может сделать. Даже кулаком по столу стучал. Деньги эти они дали мне – возьмите, говорят. Я взял, хоть никогда не жаловал на деньги, неинтересен был к ним. Ну, а вещь разную любил покупать, раз – куклу купил; иду по улице, гляжу: кукла в окошке лежит, совсем как живое дитё и даже глазки заводит. Купил. Четверо суток с собою таскал, присяду где-нибудь, выну из котомки и – гляжу. Потом девчонке отдал в деревне. Отец её спрашивает – украл? Украл, говорю, – стыдно было сказать, что купил...

– Как же кончилось с англичанином?

– Отпустили меня, только и всего. Руку жали мне. Говорили разное, эдакое – дескать, мы пошутили, извините... Надо мне поспать, дружба, а то завтра у меня

Укладываясь спать, он говорил:

– Чудак я был! Вдруг, бывало, охватит меня радость, так всё нутро, всё сердце и обольётся, – хоть пляши! И – плясал ведь; люди смеются, а я – пляшу... Что ж? Детей – нет у меня, стыдиться некого...

– Это, дружба, душа играет, – задумчиво и тихо продолжал он. – Она – капризная, вдруг привлечётся к самому, скажу, смешному да и держит тебя около него. Вот тоже – вроде куклы – девочка меня соблазнила; наткнулся я на девочку – в одной усадьбе барской, сидит ребёнок, годов девяти, над прудом, прутиком воду сечёт и слёзы точит, – вся мордочка у неё в слезах, как цветок в росе, и даже грудка слезами унижена. Конечно, я присел к ней: «Что ж это ты плачешь, день весёлый, а ты – плачешь?» Оказалась сердитая: «Уйди», – говорит! А я – упрямый. Разговорил её, она мне и сказывает: «Ты, говорит, к нам не ходи; у меня папаша – злой, мамаша – злая и брат – тоже злой!» Я – про себя смеюсь, а вид такой сделал, будто напугался и верю ей, и всё говорю – со страхом – ай-яй-яй! Тут она мордочкой ткнулась в плечо мне и – рыдать, даже дрожит вся. Оказалось – горе её не тяжело весом: уехали родители в гости за три версты всего, а её не взяли, наказали, – не то платье хотела надеть, капризила. Я, конечно, жалею, осуждаю родителей: «Ах, говорю, какой народ неаккуратный! Ай-яй-яй», – говорю. А она мне: «Возьми, говорит, меня, дедушка, с собой, не хочу я с ними жить». С собой взять? Чего проще? «Аида, пойдём!» Ну, и свёл её туда, где родители пировали, – у неё, там, Коля был, друг, жучок эдакий, кудрявый, – вот в чём тайность горя. Ну, конечно, смеялись все люди над ней, а она – краснее макова цветка. Отец её даже полтину серебра подарил мне. Ушёл я. И что ж ты думаешь, дружба? Привязалась душа к девочке, – неохота отойти от неё, от усадьбы этой. С неделю кружился, – хочется девочку ещё повидать, поговорить с ней, даже смешно. А – хочется! Её на море увезли, грудку лечить, а я – болтаюсь, хожу, подобно собаке. Вот оно как бывает. Да. Душа – птица капризная, куда летит – неведомо...

Почти сквозь сон или как в бреду старик говорил с паузами, позёвывая, и вдруг снова оживился, точно sprыснутый холодным дождём:

– В прошлом годе, осенью, появилась ко мне барыня из города; она – так себе, суховатая, неказиста, а взглянул я в глаза ей – господи! Вот бы мне её, на одну бы только ночь, а после – ножами режьте, конями рвите, – ничего не боюсь! Какую хочешь смерть приму. И – говорю ей прямо: «Уйди, пожалуйста, а то я тебя обижу, уйди! Не могу я беседовать с тобой. Уходи!» Не знаю, поняла ли она али что, – ушла поспешно. Так я – сколько ночей не спал из-за неё, – мерещатся глаза эти, что хошь делай! А – старик ведь... Старец... да?.. Душа – закона не знает, годов не считает...

Он вытянулся на земле, двигая красными рубцами век, чмокая, потом сказал:

– Ну-ко, буду спать...

Закутал голову армяком и умолк.

Проснулся он на рассвете, взглянул в облачное небо и торопливо сбегал к ручью, там разделся донага, кряхтя, вымыл своё крепкое, коричневое тело с ног до головы и закричал мне:

– Эй, дружба, дай-кось мне рубаху и порты, там, в землянке лежат...

Одев длинную – до колен – белую рубаху и синие портки, он причесал деревянным гребнем мокрые волосы и, почти благообразный, отдалённо напоминая какую-то икону, сказал:

– Я всегда чисто моюсь перед тем, как народ принять.

За чаем он отказался выпить водки.

– Нельзя! И есть не буду, только чайку выпью. Надо, чтоб ничего в голову не бросалось, чтоб легко было. В этом деле большая лёгкость души нужна...

Народ начал приходить после полудня, но до этого времени старик вёл себя



брание сочинений в тридцати томах. Том 16. Рассказы, повести 1922–1925. Максим Горький gorkiymaxim. молчаливо и скучно. Его живые, весёлые глаза смотрели сосредоточенно, в движениях явилась степенность. Он часто поглядывал в небо, прислушивался к шороху лёгкого ветра, лицо его вытянулось, стало ещё более уродливо, и рот искривился почти болезненно.

– Идёт кто-то, – вдруг тихо сказал он.

Я ничего не слышал.

– Идут. Бабы. Ты, дружба, вот что: ты не говори ни с кем, не мешай, – испугаешь! Ты где-нибудь в сторонке живи. Тихо.

Из кустов бесшумно вылезли две бабы; одна дородная, средних лет, с кроткими глазами лошади, другая молоденькая, с чахоточным, серым лицом, обе они испуганно уставились на меня, – я ушёл вверх по склону оврага и слышал слова старика:

– Ничего, он – не помеха нам. Он – блаженненький, ему всё равно, не вникает в дела наши...

Надломленным голосом, покашливая, присвистывая, торопливо и обиженно, заговорила молодая баба, подруга её негромко, густыми звуками вставляла в её речь краткие слова, а Савелий сочувственно, не своим голосом восклицал:

– Так-так-так! Ай-яй-яй? Экие, какие, а?

Баба тонко заплакала – тогда старик певуче протянул:

– Милая, ты – погоди, перестань, ты послушай...

Мне показалось, что голос его потерял сиповатость, звучит выше и чище, а мелодия слов странно напомнила незатейливую песенку щеглёнка. Я видел сквозь сетку ветвей, что он, наклоняясь к женщине, говорит ей прямо в лицо, а она, неудобно сидя рядом с ним, широко открыла глаза, прижав ладони ко груди своей. Подруга её, склонив голову набок, покачивала ею.

– Тебя обидели – бога обидели! – громко говорил старик, и бодрый, почти весёлый тон этих слов явно не ладил со смыслом их. – Бог-то – где? В душе твоей, за грудями твоими живёт свят дух господень, а они дураки, братья твои, его и задели дуростью своей. Их, дураков, пожалуй надо, – плохо сделали. Ведь бога обидеть – это как малого ребёнка обидеть твоего бы...

И снова он певуче произнёс:

– Милая...

Я даже вздрогнул: никогда раньше не доводилось мне слышать и принять это хорошо знакомое, ничтожно маленькое слово насыщенным такой ликующей нежностью. Теперь старик говорил быстрым полушёпотом; положив руку на плечо женщины, он тихонько толкал плечо, и женщина покачивалась, точно задремав. А большая баба села на камни к ногам старика, аккуратно – веером – разбросив вокруг себя подол синей юбки.

– Свинья, собака, лошадь – всякий скот разуму человека верит, а братья твои – люди, – помни! И скажи старшему, чтоб он в то воскресенье пришёл ко мне...

– Не придёт он, – сказала большая баба.

– Придёт! – уверенно воскликнул старик.

В овраг спускался ещё кто-то, – катились комья земли, шуршали ветви кустов.

– Придёт, – повторил Савелий. – Теперь – идите с богом. Всё наладится.

Чахоточная баба встала и молча, в пояс, поклонилась старику, он подставил ладонь свою под лоб ей, приподнял её голову и сказал:

– Помни: бога носишь в душе!

брание сочинений в тридцати томах. Том 16. Рассказы, повести 1922–1925. Максим Горький gorkiymaxim. Она снова поклонилась, подавая ему маленький узелок.

– Спаси тебя Христос...

– Спасибо, дружба!.. Иди себе...

И перекрестил её.

Из кустов вышел широкоплечий мужик, чернобородый, в новой, розовой, ещё не стиранной рубаше, – она топорщилась на нём угловатыми складками, вылезая из-за пояса. Был он без шапки, всклокоченная копна полуседых волос торчала во все стороны буйными вихрами, из-под нахмуренных бровей угрюмо смотрели маленькие медвежьи глаза.

Уступив дорогу бабам, он поглядел вслед им, гулко кашлянул и почесал грудь.

– Здорово, Олёша, – сказал старик, усмехаясь. – Что?

– Пришёл вот, – глухо ответил Олёша. – Посидеть с тобой охота.

– Ну, посидим, давай!

Посидели с минуту молча, серьёзно оглядывая друг друга, потом заговорили одновременно:

– Работаешь?

– Тоска, отец...

– Большой ты мужик, Олёша!

– Кабы мне твою доброту...

– Великой силы мужик!

– На кой она мне, сила? Мне бы вот душу твою...

– Вот – погорел ты; другой бы осёл, затосковал...

– А – я?

– А ты – нет! У тебя опять хозяйство играет...

– Сердце у меня злое, – сказал мужик шумно и обложил сердце своё матерными словами, а старик спокойно, уверенно говорил:

– Сердце у тебя обыкновенное, человеческое, тревожное сердце, – тревоги оно не любит, покою просит...

– Верно, отец...

Так они говорили с полчаса – мужик рассказывал о человеке злом, буйном, которому тяжело жить от множества неудач, а Савелий говорил о каком-то другом, крепком человеке, упрямом в труде, – о человеке, у которого ничего не ускользнёт, не отвертится от рук, а душа у него – хорошая.

Усмехаясь во всю рожу, мужик сказал:

– Помирился я с Петром...

– Слышал.

– Помирился. Выпили. Я ему говорю: «Ты что же, дьявол?» – «А – ты?» – говорит. Да. Хорош он мужик, мать...

– Вы оба – одного бога дети...

– Хороший. Умён, главное! Отец, – жениться, что ли, мне?

– А – как же? На ней и женись...

– На Анфисе?

– На ней. Хозяйка! А – красота какая, сила? Вдова, жила со старым, натерпелась, – тебе с ней хорошо будет, верь...

– Женюсь, в самом деле...

– Только и всего...

Потом мужик рассказывал что-то малопонятное о собаке, о том, как выпустили из бочки квас, – рассказывал и хохотал, точно леший. Его угрюмое, разбойничье лицо совершенно преобразилось в глуповато-добродушную рожу обыкновенного, избяного зверя.

– Ну, Олёша, отойди в сторонку, идут ко мне...

– Страдальцы? Ладно...

Олёша спустился к ручью, попил воды, черпая её горстью, минуты две сидел неподвижно, точно камень, потом опрокинулся на спину, заложил руки под голову и, должно быть, тотчас уснул.

Пришла хроменькая девушка в пёстром платье, с толстой русой косой на спине, с большими синими глазами, – лицо на редкость картинное, а юбка раздражающе пестра, – вся в каких-то зелёных и жёлтых пятнах, и на белой кофточке пятна красные, цвета крови.

Старик встретил её радостно, ласково усадил, – но появилась высокая, чёрная старуха, похожая на монахиню, и с ней большеголовый, белобрысый парень, с неподвижной улыбкой на толстом лице.

Савелий торопливо отвёл девушку в пещеру и, спрятав её там, притворил дверь, – я слышал, как заскрипели деревянные петли её.

Он сел на камень между старухой и парнем и долго, молча, опустив голову, слушал бормотание старухи.

– Будет! – вдруг громко и строго сказал он. – Значит, не слушает он тебя?

– Никак. Я ему и то и сё...

– погоди! Не слушаешь ты её, парень?

Тот молчал, глупо улыбаясь.

– Ну вот, ты – и не слушай! Понял? А ты, женщина, затеяла дело плохое, я тебе прямо скажу – это судебное дело! А хуже судебных дел – ничего нет! И – ступай от меня, иди! Нам с тобой толковать не о чём. Она тебя обмануть хочет, парень...

Парень, ухмыляясь, сказал высоким тенорком:

– Я зна-аю...

– Ну – идите! – брезгливо отмахиваясь от них рукой, сказал Савелий. – Ступайте! Удачи – не будет тебе, женщина. Не будет!..

Они оба поникли, молча поклонились ему и пошли кустарником вверх по незаметной тропе, – мне было видно, что, поднявшись шагов на сотню, они оба сразу заговорили, плотно встав друг против друга, потом сели у корня сосны, размахивая руками; долетал ворчливый гул. А из пещеры выплыл невыразимо волнуемый возглас:

– Мил-лая...

Бог знает, как уродливый старик ухитрялся влагать в это слово столько обаятельной нежности, столько ликующей любви.

– Рано думать тебе про это, – колдовал он, выводя хроменькую девушку из пещеры. Он держал её за руку, как ребёнка, который ещё неуверенно ходит по земле; она покачивалась на ходу, толкая его плечом, отирая слёзы с глаз движениями кошки, – руки у неё были маленькие, белые.

Старик усадил её на камни рядом с собой, говоря непрерывно, ясно и певуче, – точно сказку рассказывая:

– Ведь ты – цветок на земле, тебя господь взрастил на радости, ты можешь великие радости подарить, – глазыньки твои, свет ясный, всякой душе праздник, – милая!

Ёмкость этого слова была неисчерпаема, и, право же, мне казалось, что оно содержит в глубине своей ключи всех тайн жизни, разрешение всей тяжкой путаницы человеческих связей. И оно способно околдовать чарующей силой своей не только деревенских баб, но всех людей, всё живое. Савелий произносил его бесчисленно разнообразно, – с умилением, с торжеством, с какой-то трогательной печалью; оно звучало укоризненно ласково, выливалось сияющим звуком радости, и всегда, как бы оно ни было сказано, я чувствовал, что основа его – безграничная, неисчерпаемая любовь, – любовь, которая ничего, кроме себя, не знает и любит сама собой, только в себе чувствуя смысл и цель бытия, всю красоту жизни, силою своей облекая весь мир. В ту пору я уже хорошо умел не верить, но всё моё неверие в эти часы облачного дня исчезло, как тень перед солнцем, при этих звуках знакомого слова, истрёпанного языками миллионов людей.

Уходя, хроменькая девушка радостно всхлипывала, часто кивая старику головой:

– Спасибо тебе, дедушка, спасибо, милый!

– Ну, ну, ну, – ничего! Иди, дружба, иди! Иди, да – так и знай: на радость идёшь, на счастье, на великое дело – на радость! Иди...

Она уходила как-то боком, не отрывая глаз от сияющего лица Савелия. Чёрный Олёша, проснувшись, стоял над ручьём, встряхивая ещё более взлохмаченной головой, и глядел на девушку, широко улыбаясь. Вдруг сунул два пальца в рот себе и оглушительно свистнул. Девушка покачнулась и рыбой нырнула в густые волны кустарника.

– Сдурел, Олёша! – упрекнул его старик.

Олёша дурачливо опустил на колени, вытащил из ручья бутылку водки и, махая ею по воздуху, предложил:

– Выпьем, отец?

– Ты – пей, мне – нельзя! Я – вечером...

– Ну, и я вечером... Эх, отец, – он обложил старика кирпичами матерщины, – колдун ты, а – святой, ей-богу! Душой ты прямо как дитя играешь, – человечесьей душой. Лежал я тут и думал, – ах ты, думаю...

– Не шуми, Олёша...

Воротилась старуха с парнем, она сказала что-то Савелию виновато и тихо, он недоверчиво покачал головой и увёл их в пещеру, а Олёша, заметив меня в кустарнике, тяжело влез ко мне, ломая ветви.

– Городской, что ли?

Он был настроен весело, словоохотливо, ласково поругивался и всё хвалил Савелия:

– Большой это утешитель! Я вот прямо его душой живу, у меня своя душа злостью, как волосом, обросла. Я, брат, отчаянный...

Он долго расписывал себя страшными красками, но я ему не верил.

Старуха вышла из пещеры и, низко кланяясь Савелию, сказала:

брание сочинений в тридцати томах. Том 16. Рассказы, повести 1922–1925. Максим Горький gorkiуmaxim.

– Уж ты, батюшка, не сердись на меня...

– Ладно, дружба...

– Сам знаешь...

– Знаю: всяк человек бедности боится. Нищий – никому не любезен, – знаю! Ну, а всё-таки: бояться надо бога обидеть и в себе и в другом. Кабы мы бога-то помнили – и нищеты не было бы. Так-то, дружба! Иди с богом...

Парень шмыгал носом, смотрел на старика боязливо и прятался за спину мачехи. Пришла красивая женщина, видимо – мещанка, в сиреновом платье, в голубом платочке, из-под него сердито и недоверчиво сверкали большие серовато-синие глаза. И снова зазвучало обаятельное слово:

– Милая...

Олёша говорил, мешая мне слушать речь старика:

– Он всякую душу может расплавить, как олово. Великий он помощник мне, – без него я бы наделал делов – ой-ой – каких! Сибирь...

А снизу возносилась песня Савелия:

– Тебе, красота, всякий мужчина – счастье, а ты – говоришь эдакое – злое! Милая, – гони злобу прочь; гляди-ко ты: что люди празднуют? Все наши праздники – добру знаменье, а не злобе. Чему не веришь? Себе не веришь, женской силе твоей не веришь, красоте твоей, а – что в красоте скрыто? Божий дух в ней... Мил-лая...

Взволнованный глубоко, я готов был плакать от радости, – велика магическая сила слова, оживлённого любовью!

До поры, когда овраг налился густою тьмой облачной ночи, Савелия посетило человек тридцать, – приходили солидные деревенские «старики» с посохами в руках, являлись какие-то угнетённые горем, растерянные люди, но более половины посетителей – женщины. Я уже не слушал однообразных жалоб людей, а только нетерпеливо ждал от Савелия его слова. К ночи он разрешил мне и Олёше разжечь костёр на камнях площадки, мы готовили чай и ужин, а он, сидя у костра, отгонял полой армяка разное «живое», привлечённое огнём.

– Вот и ещё денёк отслужил душе, – сказал он задумчиво и устало.

Олёша хозяйственно советовал ему:

– Напрасно ты денег не берёшь с людей...

– Не подходяще это мне...

– А ты с одного возьми, другому отдай. Вот мне бы дал. Я бы лошадь купил...

– Ты, Олёша, скажи завтра ребятишкам – прибежали бы ко мне, у меня гостинцы есть для них, – много сегодня бабы натаскали разного...

Олёша пошёл к ручью мыть руки, а я сказал Савелию:

– Хорошо ты, дедушка Савёл, говоришь с людьми...

– То-то вот, – спокойно согласился он. – Я ведь сказывал тебе, что – хорошо! И народ уважает меня. Я всем правду говорю, кому какую надо. Вот оно что...

Улыбнулся весело и продолжал, менее устало:

– А – особо хорошо с бабами я беседую, – слышал? Это, дружба, так уж бывает у меня: увижу бабу али девицу мало-мале красивую, и взиграет душа, вроде как цветами зацветёт. У меня к ним благодарность: одну вижу, а вспоминаю всех, коих знал, им – счёта нет!

Воротился Олёша, говоря:

– Отец Савёл, ты за меня поручись перед Шахом в шестьдесят рублей...

– Ладно.

– Завтра. А?

– Ладно...

– Видал? – торжествующим тоном спросил меня Олёша, кстати наступив мне на ногу.  
– Шах – это, брат, такой человек: издаля взглянет на тебя – так и то рубаха твоя сама с плеч ползёт в руки ему. А придёт к нему отец Савёл, – перед ним Шах собачкой вертится; на погорельцев сколько лесу дал...

Олёша шумел, возился и мешал старику отдыхать, Савелий, видимо, очень устал; он сидел над костром понуро, казался измятым, рука его взмахивала над костром, пола армяка напоминала сломанное крыло. Но Олёшу невозможно было укротить, он выпил стакана два водки и стал ещё более размашисто весел. Старик тоже выпил водки, закусил печёным яйцом с хлебом и вдруг негромко сказал:

– Ты иди домой, Олёша...

Большой, чёрный зверь встал, перекрестился, глядя в чёрное небо.

– Будь здоров, отец, спасибо! – сунул мне тяжёлую, жёсткую лапу и послушно полез в кусты, где спряталась тропа.

– Хороший мужик? – спросил я.

– Хороший, только следить за ним надо, – буен! Жену так бил, что она и родить не могла, всё сбрасывала ребятёнок, а после – с ума сошла. Я ему говорю: «За что ты её бьёшь?» – «Не знаю, говорит, так себе, хочется да и всё...»

Замолчав, он опустил руку и, сидя неподвижно, долго смотрел в огонь костра, приподняв седые брови. Лицо его, освещённое огнём, казалось раскалённым докрасна и стало страшно; тёмные зрачки голых, разодранных глаз изменили свою форму – не то сузились, не то расширились, – белки стали больше, и как будто он вдруг ослеп.

Он двигал губами, – ощетинаясь, шевелились редкие волосы усов, – словно он хотел сказать что-то, но – не мог.

А заговорил он всё-таки спокойно, только вдумчиво, как-то особенно:

– Это со многими мужиками бывает, дружба: вдруг хочется бабу избить, без всякой без вины её, да ещё – в какой час! Только вот целовал её, любовался красотой, и тут же, в минуту, приходит охота – бить! Да, да, дружба, это бывает... Я тебе скажу – я сам, смирный человек, нежный, уж как я женщин любить умел, до того, бывало, дойдёшь – так бы весь и влез в неё, в сердце ей, скрылся бы в нём, как в небесах голубь, – вот как хорошо бывало! И – тут её ударить, ущипнуть как-нибудь больнее хочется, и ведь щипал, да! Взвизгнет, спрашивает: что ты? А тебе и сказать нечего, – что тут скажешь?

Я изумлённо смотрел на него и тоже не знал, что сказать, о чём спросить, – поразило меня его странное признание. А он, помолчав, снова заговорил про Олёшу.

– После того, как жена обезумела, Олёша ещё хуже характером стал, – находит на него буйная блажь, проклятым себя считает и всех бьёт. Намедни мужики привели его ко мне связанного, в кровь избили всего, опух весь, как хлеб коркой кровью запёкся. «Укроти, говорят, его, отец Савёл, а то убьём, житья нам нет от зверя!» Вот как, дружба! Дён пять я его выхаживал, – я ведь и лечить умею маленько... Да-а, дружба, не легко людям жить, – охо-хо! Не сладко, дружба ты моя милая, ясные глаза... Вот – утешаю я их, н-да!

Он усмехнулся жалостливо, и от этого его лицо стало ещё уродливее, страшнее.

– А которых – обманываю немножко, ведь живут и такие люди, которым нет уже никакого утешения, кроме обмана... Есть, дружба, такие... Есть...

О многом хотелось спросить его, но он целый день не ел, усталость и выпитый стакан водки заметно действовали на него, он дремал, покачивался, и обнажённые глаза его всё чаще прикрывались красными рубцами век.

Всё-таки я спросил:

– Дедушка Савёл, а что, по-твоему, ад – есть?

Он поднял голову и строго, обиженно сказал:

– Ну, – как же это можно – ад? Ну, – где же это? Бог, а тут – ад? Разве можно? Это несоединимое, дружба, это – обман! Это всё вы, грамотные, для страха придумали, попы всё дурят. Человека не к чему пугать. Да никто и не боится ада-то этого...

– А – дьявол-то как же, он где живёт?

– Ну, ты этим не шути...

– Я не шучу.

– То-то.

Он взмахнул над костром полой армяка и тихонько сказал:

– Ты над ним не смейся. У всякого – своя ноша. Французик-то, может, правду сказал: и дьявол господу поклонится в свой час. Мне поп один о блудном сыне рассказывал из евангелия, – я это очень помню. По-моему, притча эта про дьявола и сказана. Про него, не иначе он самый и есть блудень сын.

Он покачнулся над костром.

– Лёг бы ты, уснул, – предложил я.

Старик согласился:

– Верно, пора...

Легко опрокинулся на бок, поджал ноги к животу, натянул армяк на голову и – замолк. Потрескивали и шипели ветки на углях костра, дым поднимался затейливыми струйками во тьму ночи.

Я смотрел на старика и думал:

«Это – святой человек, обладающий сокровищем безмерной любви к миру?»

Вспомнил хроменькую, пёстро одетую девушку с печальными глазами, и вся жизнь представилась мне в образе этой девушки: стоит она перед каким-то маленьким, уродливым богом, а он, умея только любить, всю чарующую силу любви своей влагает в одно слово утешения:

«Милая...»

Рассказ о безответной любви

Проходя Театральным переулком, я почти всегда видел у двери маленькой лавки, в пристройке к старому, деревянному дому, человека, который казался мне не на своём месте и лишним в этой узкой, тёмной щели города, накрытой полосой пыльного неба.

Человек или сидел у двери на стуле, читая газету, или стоял в двери, опираясь плечом о косяк, сложив руки на груди. Маленькая вывеска над его головой чёрными косыми буквами говорила, что в лавочке продаются «Канцелярские принадлежности». За мутным стеклом окна были разложены пачки конвертов, блокноты и пёстрые коллекции старых марок на квадратных картонах.

Иногда я останавливался пред окном, будто бы разглядывая покрытый пылью, выцветший, жалкий товар, и незаметно наблюдал торговца, а он сосредоточенно

брание сочинений в тридцати томах. Том 16. Рассказы, повести 1922–1925. Максим Горький gorkiymaxim. смотрел в окна дома против его, на старый ящик из кирпичей, обломанный временем, с извилистой трещиной в стене, с двумя рядами тусклых окон, по четыре в ряд; карнизы их засажены голубями, в потоках голубиного помёта и ржавая вывеска над окнами нижнего этажа:

«Портной Мучник».

Вероятно, не менее сотни лет стоит на земле этот дом. И весь переулок – две унылые, грязные линии таких же старых домов, плотно прижатых один к другому.

Человек – в длинном, очень потёртом сюртуке, под сюртуком чувствуется сухое, но стройное тело; ноги – в разношенных ботинках, но видно, что ступня их мала, хорошей формы. Лицо густо обросло серой, аккуратно подстриженной бородкой, седоватые волосы удлинённого черепа гладко зачёсаны за уши, маленькие и вырезанные чётко. Волосы, должно быть, очень мягкие, они лежат плотно, точно склеены. В этой причёске есть что-то «интеллигентное», но она не гармонирует с длинным, сухим лицом, и кажется, что благодаря именно ей хрящеватый, тонкий нос так подчёркнуто печально высунулся вперёд. Странные глаза у этого человека: белки их синеваты, зрачки рыжего цвета, они прорезаны узко, взгляд их холоден, прям, но всё-таки кажется, что смотрят они вниз, в землю.

Я стоял у окна минуты по три и более, ожидая, что человек этот спросит наконец:

«Что вам угодно?»

Но он как будто не замечал меня, неподвижный, скрестив руки на груди, окружённый незримым облаком скуки, раздражавшей моё любопытство. Что сторожит он, о чём скучает?

В лавку его забежали гимназисты покупать марки для коллекции, он впускал их в дверь неохотно, говорил с ними кратко, как бы исполняя чужое, не интересное ему дело. И когда я вошёл в его лавочку купить конверты, он меня встретил так же нелюбезно, завернул покупку, кратко сказал цену и скрестил руки на груди, явно ожидая, скоро ли я исчезну.

– Давно торгуете?

– Давно.

– Глухое место?

– Да.

– Нет ли у вас старинных монет?

– Не имею.

Более чем ясно – этот человек не хочет говорить. Но мне попала на глаза открытка – портрет женщины; прикрыв рот веером из перьев страуса, она сидела в широком кресле, глаза её улыбались кокетливо, но как будто иронически, лицо – хмельное или очень капризное. Внизу открытки напечатано:

Лариса Антоновна Добрынина,

известная артистка провинциальных театров».

Ещё открытка: та же дама в роли Офелии, со снопом цветов в руках, но глаза не безумны, а улыбаются той же непонятной улыбкой. Вот она же в роли Норы, Марии Стюарт, и ещё она, и ещё. На всех портретах одна и та же улыбка кривит её рот, большой, пухлый, резко отделяющий верхнюю часть лица от широкого и туповатого подбородка.

– Лучше всего она – здесь, – внушительно сказал торговец, указывая длинным серым пальцем на портрет в кресле. – Это – моё издание! – добавил он с гордостью.

– Никогда не слышал её имени, – сказал я.

Он пожал плечами, как бы обидясь.



– Однакож она была весьма знаменита. Имя её гремело.

Он назвал несколько городов, где артистка пользовалась «колоссальным успехом», и, с оттенком пренебрежения к моему невежеству, дал мне, избитыми словами газетных рецензий, характеристику её таланта. Говорил он, закрыв глаза и как будто читая.

– Жива?

– Умерла.

– Давно?

– Девять лет.

Несомненно, это был какой-то чудак. Чудаки украшают мир. Я решил познакомиться с ним ближе, это мне удалось, и вот что рассказал странный человек.

– Чтобы печаль моей истории была понятна вам, я должен начать её издали, с детских дней. Отец мой, Клим Торсуев, известный мыловар, был человек тяжёлого характера, нелюдим и в ссоре с жизнью, несмотря на богатство и удачу в делах. Огромного роста, редкой силы, волосатый, он ходил по земле наклоня голову, как бык, и в некоторой слепоте от неведомой обиды, нанесённой ему. Можно допустить, что обида – от матери моей, она была дочерью майора Горталова, героя турецкой войны, и когда мне было девять лет, а брату моему Коле – шесть, уехала от нас с одним знаменитым пианистом и вскоре скончалась где-то за границей. Я её помню в костюме русалки, всю в зелёных лентах, в цветах, чёрные волосы распущены до талии, и на голове роса из бриллиантов. В этом виде она спросила меня: «Хороша я?» И когда я сказал: «Да, очень хороша!» – она ласково ударила меня по лбу, говоря: «Вот видишь, а ты меня не слушаешься, не любишь». Я обещал слушаться, но на пасхе она уехала.

Мы сидели в углу маленькой, тёмной комнаты у стола, на нём в серебряных подсвечниках горели две свечи и в старинном, гранёном графине колебалось рубиновое пламя вина. Тесно и душно в комнате, стены её покрыты, как серой плесенью, пятнами фотографий, в углу жарко натоплена изразцовая печь, к ней прислонилось широкое кресло, в кресле сидит этот человек, вытянув ноги, скрестив руки на груди, глядя на жёлтые цветы двух огней. На узенькой двери в другую комнату, должно быть спальную, висит гитара, гриф её украшен лентами. Против окна на улице горит фонарь, его осыпают стеклянные стрелы дождя, мутный масляный свет фонаря, проникая сквозь мокрое стекло окна, тускло освещает большую раскрашенную фотографию артистки Добрыниной, фотография, в чёрной с белым траурной раме, стоит на мольберте, рама увенчана серебряным венком – лавры и пальмовый лист.

Во всём, что наполняет комнату, чувствуется нечто давно отжившее, какое-то сухое тление, все вещи источают тот странный запах, который дают цветы, высушенные временем до того, что, когда коснёшься их, они рассыпаются серой пылью. Сухое тление слышится и в ломком голосе человека. Речь его почти лишена оттенков, говорит он точно читая, слова падают заученно и легко, напоминая грустное падение побитых морозом листьев дерева, опоздавшего сбросить свой летний убор.

– Восемнадцать лет отец жил вдовцом, в доме у нас не было ни одной женщины, кроме старух: горничной и кухарки. Нашей детской жизнью он, угрюмый, не занимался. Восемнадцать лет я и Коля слышали, чаще всего, сердитый вопрос:

«Это зачем?» Очень пугал он вопросом своим, как бы стену воздвигая между собой и нами; росли мы, прячась от него. В доме у нас было семь комнат, одна другой темнее, и среди множества разной мебели очень удобно было прятаться. Меня он отдал в городское училище, но дальше учиться запретил, сказав:

– «Довольно! Привыкай к делу».

– А Коле, который был слабее меня, позволил кончить гимназию и даже допустил в университет по математическим наукам и химии.

брание сочинений в тридцати томах. Том 16. Рассказы, повести 1922–1925. Максим Горький gorkiymaxim.

– Умер он в полноте сил и неожиданно; в жаркий день июня, возвратясь домой после крестного хода, выпил домашнего пива со льдом и на пятые сутки лежал в гробу, разбухший, сложив деловые, волосатые руки на вздутом горою животе. Был неопишимо страшен: сердитое лицо его, ошетинясь рыжими волосами, как бы налилось таким, знаете, синим гневом, и казалось мне, что сейчас вот он крикнет хрипло судьбе своей:

«Это зачем?..»

– Работу на фабрике остановили, и в доме стало так же тихо, как в праздничные дни пасхи или рождества. Началась непривычная суэта, прислуга топала и шаркала ногами шумно, говорила громче, я видел, что все довольны смертью отца, и со стыдом чувствовал, что сам я тоже доволен. При жизни его в доме у нас только мухи жили свободно и могли жужжать полным голосом. Отец шагал по комнатам тихо, всегда прислушиваясь к чему-то, чего-то ожидая, и если кто-нибудь неосторожно хлопал дверью, – это очень сердило его. А теперь только Коля, юноша чувствительный, говорил вполголоса, как привык при жизни отца, и двигался так же тихо, точно опасаясь разбудить уснувшего навеки.

– «Возню какую подняли, – обиженно говорил он. – Как будто обрадовались!»

– «Что же, говорю, Коля, обижаться? Ты знаешь – его не любили. Никто не любил».

– «И ты?» – спрашивает.

– «И ты, говорю, я человек прямой».

– Промолчал он, сидя у открытого окна, а в окно лез густейший запах кислот, гниющего жира, мыла, и запах этот сопровождался необычным шорохом: дворник наш, кривой татарин Мустафа, шаркал метлою по земле, пропитанной жирами, утопанной до твёрдости асфальта. Раньше, в непрерывном шуме работы на фабрике, этот звук был бы не слышен, неприятный и эдак, знаете, вычёркивающий звук.

– Коля, высунувшись из окна, сказал:

– «Перестань, пожалуйста, Мустафа!»

– И говорит мне:

– «Он выметает память об отце. Ты разве забыл, что нельзя мести, когда в доме покойник?»

– Утешаю его: «Теперь, говорю, мы с тобой начнём жить легче. Я стану работать, ты – учиться. Тебе не нужно будет просить рубль на театр, и никто не крикнет тебе: «Это зачем?» Пусть, говорю, это нехорошо, но мне отца не жалко. Я не актёр, фальшиво плакать не умею. А вспомни, говорю, как мы с тобой, неделю тому назад, ночью, едва не плакали от обиды? И – сколько было таких обид!»

– Он, глядя в небо, говорит:

– «Какое небо бесцветное и жёсткое, жестяное... А фабрика наша и вся земля – как ржавчина и грязь на жести».

– Такие мысли часто являлись у брата, и необычность их очень нравилась мне. О земле он говорил всегда с печалью и жалобно, как больной о теле своём. Но был он здоров, хотя тоненький, хилый, и такой, знаете, нежный, девичий румянец на щеках. Волосы тёмные, волнистые, чёрные глаза его смотрели на всё недоверчиво и как будто удивлённо. Учился играть на рояли втайне от родителя и вообще имел в себе что-то тихое, музыкальное.

– Говорю ему:

– «Самое лучшее, Коля, чего достиг отец при жизни, – это наша братская дружба. Тяжелому его характеру обязаны мы тем, что он притиснул нас вплоть друг другу, мы крепко и взаимно любили один другого, я хочу, чтоб эта любовь так и осталась на всю нашу жизнь. Хотя я и старше тебя, но знаю, что неуч рядом с тобой. Ты живёшь другой жизнью, чем я, мысли у тебя свои, и тебе приятна игра воображения. Вот сейчас ты о небе сказал, а я не могу сказать так, не умею. И часто бывает:

брание сочинений в тридцати томах. Том 16. Рассказы, повести 1922–1925. Максим Горький gorkiymaxim.  
не понимаю я, о чём ты говоришь и почему?»

– Тут он спросил, как будто виноватый:

– «Что же я говорю особенное?»

– «Не перебивай меня! Вот, говорю, ты жалеешь и любишь землю, как плоть твою, а я хожу по ней вполне спокойно. Я не воображаю себя другим человеком, я осуждён жить в том образе, каков есть. Я думаю только о фабрике, о делах, о невесте моей. Боюсь я, что тебе будет скучно жить со мною и разведёт нас эта скука по разным дорогам. А ты – ещё мальчик, характер у тебя не окреп, время же теперь – трудное, студенты волнуются. Тебя могут втянуть в опасную политику, и ты погибнешь, подобно многим. Вот я люблю невесту мою, но, когда подумаю, что войдёт к нам она женой моей и я должен буду отдать ей часть жизни, – я боюсь. Жена моя может не понравиться тебе. И вообще правильно говорят: «Женщина в семью – как клин в дерево». Потом пойдут дети. А – как же ты? И вот, Коля, решаю я подождать жениться, чтоб ты не потерял меня...»

– Он печально говорит:

– «Не желаю я, чтоб ты приносил себя в жертву мне».

– Именно так и сказал. Но я говорил ещё и ещё, всё весьма убедительно, и кончилось, как я того хотел: обнялись мы крепко и дали друг другу клятву не разлучаться ни в каком случае жизни и никогда ничего не скрывать друг от друга. Сознаюсь, тут, видите, кроме действительной любви к брату и некоторый расчёт был: двенадцать лет жил я, как зоологический зверь в клетке, ничего, кроме мыловаренного дела, не видя и не понимая. Я даже в городе редко бывал, там дела вёл отец. А Коля, через два, три года, обещал быть учёным химиком, и потом имел он черту тихого такого упрямства, мне казалось, что эта черта тоже обещает много. Он читал серьёзнейшие книги, даже на иностранных языках, говорил о политике и вообще очень интересно разбирался в суматохе жизни. Могу сказать, что жизнь занимала его мысли в той же мере, как фабрика – мои, иными словами: Коля относился к жизни, как к своему хозяйству. И не скрою, что это было несколько смешно, несмотря на серьёзность слов. Я сообразил, что ведь невеста от меня не уйдёт, она была весьма влюблена, а брата, который умнее и делу нашему полезнее, я легко могу потерять. Но – прежде всего, я любил Колю..

Всё время человек говорил однотонно, как бы читая псалтырь, и глаза его были закрыты. Но тут он открыл их, – они были красны, полны слёз и тоски.

– Я его любил! – повторил он, выпил стакан вина и, вытирая глаза платком, продолжал более оживлённо:

– До конца сентября, до начала театрального сезона, мы с Колей прожили незабвенно хорошо, в тесном единении и откровенных беседах, хотя Колю начали посещать товарищи. Один из них, Богомолов, медик из семинаристов, был неуклюжий, грубоватый, громогласный парень и такой, знаете, назойливо умный. Есть люди, у которых вместо души популярная библиотека, – он был из этого племени. Он с первого раза не понравился мне, потому что пришёл со словами о свободе, свобода же, сударь мой, есть фальшивая иллюзия. Я почувствовал это тотчас же после смерти отца, когда фабрика начала работать и жизнь моя пошла неизбежной своей тропой. При жизни родителя я был свободнее, хотя и в плену его власти, а умер отец, и – стало ясно, что свобода налагает нестерпимую ответственность за каждый вздох души. А господин Богомолов начал утверждать и проповедовать, что человек совершенно свободен, существует сам для себя, он – есть круг, в коем сходятся все начала и концы, и весь мир, вся жизнь в нём, внутри его, – явная нелепица. В бога же господин Богомолов, отрицая свою фамилию, не веровал, и все его умствования были бесцельнее полёта стрижа, который мечется над землёю по воздуху, лоя невидимых мошек, – стало быть: преследует свою цель. Я, конечно, пытался доказать господину Богомолову, что его совершенная свобода есть сущая и совершенная бесцельность, но он, будучи сыном протоиерея, проповедовал с большим умением и, конечно, загонял меня в угол. Он показался мне очень опасным для Коли. Узкогрудый и тоненький, с девичьим румянцем своим, Коля стал ещё более юным и беззащитным около этого гривастого, тёмного попovichа; речи его о свободе Коля слушал доверчиво и почтительно. А я уже тогда предчувствовал, что человек и во сне не свободен и даже неподвижность камня не есть свобода, ведь и камень существует до времени, пока его не изотрёт в песок. Каждый человек – раб и

брание сочинений в тридцати томах. Том 16. Рассказы, повести 1922–1925. Максим Горький gorkiymaxim. пленник разнообразных обстоятельств жизни, дьявол – раб своей злобы, а господь бог, – если он существует, – раб деяний своих, недоступных разуму человека. Вот мои мысли о свободе!

От слов рассказчика по комнате как будто разлеталась сухая и едкая пыль насмешливого раздражения; в каждом слове я чувствовал торжествующую убежденность человека, которому жизнь любезно позволила оправдать и укрепить схему его мысли достаточным количеством фактов. В этом отношении жизнь неистовимо милостива. Огни свеч отражались в его рыжих зрачках золотыми искрами, синие белки стали теплее, он приподнял тонко очерченные брови, и на его сухом лице явилось выражение самодовольного уныния.

– Я всю жизнь занимался одним делом, и у меня поэтому очень хорошая память, всё прожитое я вижу как бы написанным на стене, – продолжал человек, кивнув головой в угол.

Там, на круглом столике, в бронзовой вазе торчал букет высушенных цветов, они казались вылепленными из какой-то грязноватой массы, формы их были уродливы, и, только внимательно рассмотрев их, я понял, что это цветы.

– Кроме Богомолова, который смешно называл себя нищеанцем, ходил к нам ещё студент Павлов, сын почтмейстера. Этот был более приятен; маленький, худой, с мордочкой и бородкой козла, он имел в себе что-то шутовское, от клоуна, и, желая скрыть это качество, носил золотые очки. Был очень шумен, всё, чего касались его лёгкие руки – посуда, мебель, – стучало особенно громко. Говорить он мог только о театре и, несмотря на явное его легкомыслие, печатал в газетах рецензии о спектаклях. Он знал актёров всей России и, когда был опубликован состав новой труппы городского театра, смешно волновался:

– «Л. Добрынина? – кричал он. – Не знаю, никогда не слышал. Л? Любовь? Людмила? Лидия? Как вы думаете?»

– До начала сезона он не успел познакомиться с Ларисой Антоновной, потому что пьяный, вывалившись из саней, разбил себе голову о тумбу. Давно уже помер человек этот, но я и до сего дня недоволен им. Есть на земле особенные человечки, сам по себе такой человек как будто и не плох, – но вашей душе напоминает только плохое. И, сидя с такими, вы чувствуете, что он чем-то будит именно дурное ваше. Да и вообще – удивительные люди водятся на Руси, – люди, как бы нарочно рождённые для шумного занятия пустяками. Особенно много таких людей вокруг театра. На первый спектакль я с Колей взял билеты во втором ряду кресел, приплёлся и Павлов с завязанной головой.

Человек шумно вздохнул, как бы готовясь поднять тяжесть, выпил вина и, снова закрыв глаза, долго укладывал руки на груди; пальцы рук странно шевелились.

– Шёл «Гамлет». И вот явилась на сцене Офелия...

Открыв глаза, человек строго проговорил:

– Должен объяснить, что театр не нравится мне. Это какая-то торговля человеческой душой в розницу, по мелочам; выставка неискусно придуманной игры фальшивых чувств или же – осмеяние людей, которые только потому кажутся смешными, что живут простодушнее других. До этого дня я был в театре не более десяти раз и всегда уходил из него с таким чувством, как будто меня хотели обмануть, но не удалось. Я не заметил, когда вышла на сцену Лариса Антоновна, но, услышав новый голос, взглянул: стоит Офелия и смотрит прямо на меня с удивлением и такой, знаете, нерешительной улыбкой. Бывает иногда, на рассвете, – в темноту комнаты пробьётся сквозь щель ставня или занавесь жемчужная ниточка солнечного луча в такой осязательности, что, кажется, можно взять рукою этот милый луч. И вот так же осязательны показались мне лучи глаз Ларисы Антоновны. А голос её сочен, глубок, – голос женщины, хотя говорила она жалобно и робко, как подбавляет девушке Офелии, безответно влюблённой. Пред нею стоял нахалом Гамлет, в чёрном весь, как трубочист, изображал его известный тогда Аяров.

Человек впервые усмехнулся, обнажив белые, плотные зубы.

– Об этом Аярове стишки злые помню. И со свистом, сквозь зубы он прочитал:

брание сочинений в тридцати томах. Том 16. Рассказы, повести 1922–1925. Максим Горький gorkiymaxim.

Как свеча из воска ярого  
От жары уныло топится,  
Так и от игры Аярова  
Зритель с горя в Волге топится!  
Если ж Кином он прикинется,  
Из архива им же вынутым, –  
Вместе с Кином опрокинутым  
И смысл здравый опрокинется!  
Прочитал, потемнел и продолжал тихо и медленно:

– Не могу рассказать, что испытал я в тот вечер, но скажу, – пусть это кошунственно, – я как будто впервые причастился святых тайн красоты. Хотя это не мои слова, их кричал в антракте Павлов, он вообще говорил храбро, не оглядываясь на смысл речи. В театре он становился подобен пьяному, а в этот вечер особенно живо хватал лёгкими руками людей за пуговицы, лацканы, рукава, неистовствуя, как подкупленный:

– «Очарование! Талант! Божественная красота!»

– После сцены сумасшествия он даже плакал, а потом потащил меня и Колю в уборную к Ларисе Антоновне. В уборной он весь рассыпался словами, целовал руки ей и вообще вёл себя театрально, как принято в их быту. Я видел её такой же, как на сцене, с той же улыбкой на лице и те же лучи глаз, – глаза у неё были синеватые, спокойные, с улыбкой в глубине, а рука – сухая, горячая.

– Слушая Павлова, она смеялась негромко и как бы не веря похвалам его.

– «А вам я нравлюсь?» – спросила она.

– Я думал – это она меня спрашивала, и хотел достойно ответить, но услышал тихий голос Коли:

– «Да. О да!» – сказал он.

– Тут я почувствовал, что некоторое время брат был забыт мною, хотя мы стояли рядом. Это очень сконфузило меня, а восторг Коли – встревожил. Я увёл его, в театре была моя невеста, дочь крёстного отца Коли, мы пошли к ней. Она была барышня образованная, училась два года на курсах в Москве и тоже – театралка. Миловидная такая, здоровая и весёлая, с румянцем во всю щёку и с большим пристрастием к сладкому. Ей Лариса Антоновна не понравилась:

– «Женщина оригинальной красоты, но ведь она не умеет играть, ходит по сцене для себя и точно ищет потерянную ею брошку...»

– В этом было что-то верное, я тоже вспомнил, что Лариса Антоновна часто опускала глаза и как будто не туда идёт, мимо людей. Коля начал спорить с невестой моей, а я, будучи наслышан о свободном поведении актрис, подумал, что наверное увлечётся он Ларисой Антоновной и это потребует значительных расходов на подарки ей.

Строго, точно обвиняя меня в чём-то, человек сказал:

– Но – я подумал об этом, потому что... хотел скрыть другую мысль, да-с! Прошу вспомнить, что оба мы воспитывались без женской ласки. К тому же, несмотря на годы, я был человек сдержанный из боязни постыдной заразы. Была одна слободская девушка, швея, приятная мне, но вскорости погибла от укуса бешеной собаки. Около нашей фабрики довольно часто собаки бесились. Таков был я, а Коля – совершенно чистый девственник. И мне надлежало служить вождём его судьбы. Понимаете?

Но, закрыв глаза, он покачал головою, тихо говоря:

– Всё это – не так, не так...

И, помолчав, продолжал обречённо, точно против воли:

– Когда я с Колей ехал домой, он всю дорогу, улыбаясь, молчал, и мне было понятно: молчит он о том же, что и я. Дома, за чаем, мы разговорились, как всегда, сердечно, и я прямо сказал брату, что хочу искать благосклонности у

брание сочинений в тридцати томах. Том 16. Рассказы, повести 1922–1925. Максим Горький gorkiymaxim.  
Ларисы Антоновны и вполне надеюсь на успех. Сказал я это нарочно в самых грубых словах, но, конечно, никаких надежд не питая и не думая о них. Он рассердился на меня, чего я ожидал, рассердился и с большим жаром стал говорить о прекрасной душе женщины, говорил книжно и отчасти даже стихами. Разумеется, я высмеивал его речи, хотя они были приятны мне и завидовал я красноречию Коли. Сердитый, он ушёл спать. И я тоже лёг, но среди ночи встал и долго молился, – тогда я был уверен, что бог – есть и несчастья людей не угодны ему. Молился я о том, чтоб всё это – Лариса Антоновна, Колино увлечение и смута в душе моей – прошло, как сон. Ночь, помню, была лунная, и очень выли собаки...

– Н-ну-с, через день мы снова поехали в театр. Лариса Антоновна играла «Даму с камелиями». Это пьеса неприятная, как вы, конечно, знаете, в ней всё рассчитано на возмущение души жалостью. Но и в ней Лариса Антоновна затмила всех неподражаемой своей красотой. В местах, особенно рассчитанных на жалость, я ей не верил, но когда она говорила обыкновенные, житейские слова, я вспомнил оценку невесты моей: да, Лариса Антоновна – человек для себя, а не для театра! И это было приятно мне. Нравилась мне в ней такая, знаете, ленца движений и слов. Так жить может только человек очень серьёзный, независимый. И мне показалось, что изображать таких женщин, как эта, с камелиями, Ларисе Антоновне не подобает, не достойно её. Коля печально шептал мне:

– «Не её роль. Скучно играет».

– В антракте мы с Павловым пошли к ней, но она переодевалась и, не пустив нас в уборную, пригласила, сквозь дверь, на новоселье к себе. Квартиру она сняла здесь, напротив...

Человек махнул рукой на окно, – за окном осень – неустанно сеял дождь, в его тонких, стеклянных нитях огонь фонаря, вздрагивая, шевелил жёлтыми лучами, как большой, жирный паук.

– Ну-с, и вот – новоселье. Первый раз в жизни попал я в табунок людей, никогда мною не виданных. Знакомых – только один полицеймейстер Маметкулов, человек кавалерийский и сам весьма похожий на старого коня. Всё очень необычно, столы, например, были поставлены из угла в угол комнаты, и от этого образовалась излишняя теснота. Цветы не в вазах, а рассыпаны по столу, прямо на скатерть. Ну, и многое другое, не говоря о речах. Меня и впоследствии всю жизнь удивляло в каждом собрании образованных людей буйство мысли и слов, причём каждый старается упрямо доказать, как можно скорее и решительнее, своё разномыслие со всеми другими. Не знаю более неприятного легкомыслия, как эти разговоры о смерти, боге и любви. Семнадцать лет непрерывно слушал я это блудословие языка и не мог привыкнуть к нему. И вовсе это не мудрость, а простое засорение ума. Больше всех шумел Павлов, он в этой тесноте вёл себя хозяином, как механик на фабрике. Была разыграна беседа, очень памятная мне по участию в ней Коли, – участию, неожиданному для меня. Лариса Антоновна сидела в центре общего внимания, в переднем углу под образом, одета в тёмно-красное платье, украшена цветами, пышная и волшебная, вся точно в огне. Рядом с нею – комик Брагин, человек очень богомольный и, как потом оказалось, негодяй. Был он весьма неприятен образом – костлявый, жёлтый, курносый, с провалившимися глазами и вообще похож на картинное изображение человеческой смерти. Он и начал разговор сожалением, что нет пьесы, героем которой был бы Христос. «Очень, говорит, хочется мне сыграть Христа». Лариса Антоновна с живостью откликнулась: «А я бы сыграла Марию Магдалину!» Тут вмешался Маметкулов, пожалев, что религиозные пьесы запрещены театрам, и долго доказывал, что народ, ныне теряющий веру в бога, мог бы оживить веру эту через театр. Вообще – не стеснялись словами.

– Вдруг я услышал тонкий и горячий голос Коли; он сидел далеко от меня:

– «В бога верят люди злые и неискренние».

– Это настолько неприятно ожгло меня, что я едва удержался, хотелось шикнуть на него, – так, знаете: шш! Разумеется, его неосторожные, форсистые слова вызвали большое возмущение, многие обиделись даже, а Лариса Антоновна удивлённо приподнялась, спрашивая:

– «Как? Почему? Объясните!»

– «Я, говорит, объяснить не могу, но я так вижу и чувствую...»

– Конечно, его высмеяли, и Брагин начал рассказывать смешные анекдоты о евреях. На мой взгляд, очень много способствуют травле евреев актёры анекдотами своими. А между тем еврей необходим в жизни, как соль и перец. Заметил я также, что из всех пьющих людей актёры напиваются наиболее неприятно. Очень забавно и противно видеть, как люди фальшивого ремесла, перестав притворяться, обнаруживают истинное своё ничтожество и пустоту души. И вот, когда они достаточно выпили и естественный надзор незнакомых людей друг за другом ослаб, – я выспросил Брагина: кто такая Лариса Антоновна? К моему недоумению оказалось, что она довольно богатая женщина, помещица, муж у неё овцевод на юге, но она разошлась с ним по причине влечения к театру. Играет всего второй год, дело свое любит, к мужчинам пока равнодушна. И приятно и неприятно было мне слышать это. А Брагин говорит, усмехаясь, как бес:

– «Если вы беспокоитесь насчёт дамских нежностей, так обращаю внимание ваше на Стрешневу водевильную; бабочка молодая, сочная и признаёт свободу действий».

– «Нет, говорю, я не заинтересован в этом, а вот брат у меня...»

– «Ничего, говорит, она и родным ей братом не побрезгует, ежели он достаточно тороват...»

По переулку, сквозь дождь, проехала карета, лучи её фонарей тепло погладили мокрые стёкла окна. Потом снова стал слышен удручающий шорох капель, унылый шум осенней ночи, и жёлтый паук фонаря снова начал плести стеклянную паутину. Человек пристально посмотрел в окно и продолжал тихо сыпать сухую пыль слов, помогая осени творить на земле уныние и печаль.

– Видя, что Брагин этот – негодяй, я, конечно, прекратил беседу с ним, но заметил, что он, подойдя к толстенькой Стрешневой, подмигивал ей на Колю, а она была Брагина цветком по носу, Коля же горячо разговаривал с Ларисой Антоновной, а Маметкулов кричал на него:

– «Не понимаю молодёжь, которая занимается политикой, религией и вообще – вопросами! В Париже молодые люди просто учатся, просто любят и всё вообще – человечески просто».

– Лариса Антоновна сидела нахмутив брови, играя веером, лицо у неё было недовольное; Павлов, встряхивая козлиной головой, говорил, точно дьячок:

– «Мы, Русь, – еловая арфа мира, мы откликаемся на каждый вздох человечества».

– Колю подхватила под руку Стрешнева и увела в другую комнату, но когда я с ним ехал домой и спросил его: как нравится ему эта весёлая дама? – он ответил неприязненно:

– «Дура и нахалка. А ты, говоря о Ларисе Антоновне грубо, ошибаешься, она очень хороший человек, и душа её в тревоге о серьёзном...»

– И дома он говорил о ней удивительными словами, никогда не слышал я таких слов, и мне было печально от зависти, что я не умею говорить о женщине так возвышенно. И – скажу прямо – жутко было думать: «А что, если Лариса Антоновна слышала бы Колину хвалу?»

– «Ты, говорю, всего второй раз видишь её».

– Но, разумеется, эти слова – капля воды в костёр огня. Кратко говоря – влюбился Коля. Он стал завсегдатаем театра и в то же время всё ближе сходил с нищенцем этим, с Богомолковым, тот уже каждый день шагал по комнатам у нас, встряхивая лошадиной гривой, и каркал, каркал. Брал деньги у Коли, которому я положил на расходы сто в месяц. Конечно, я видел, что всё это не приведёт Колю к добру.

Человек встал, подошёл к двери, остановился перед ней и минуту слепо смотрел на гитару.

– Это – инструмент Ларисы Антоновны, но играла она на нём плохо...

Потом, махнув рукою, возвратился к столу, выпил стакан вина и расслабленно

брание сочинений в тридцати томах. Том 16. Рассказы, повести 1922–1925. Максим Горький gorkiymaxim. опустил в кресло.

– Решил я братски поговорить с ним.

– «Помнишь, говорю, как после смерти отца мы с тобою поклялись ничего не скрывать друг от друга?»

– И вдруг слышу ответ чужого человека, враждебный мне ответ:

– «Да, помню! Я, говорит, тогда же догадался, что ты хочешь встать на место отца и заставить меня жить по твоим законам. Я этого – не хочу. Но тогда у меня не хватило характера прямо сказать тебе об этом. А теперь я говорю: мне противна вонючая наша фабрика, стыдно, что у нас рабочие живут в грязи и чем-то отравляются. В газете про нас написали жестокую правду».

– Говорил он с полчаса, непрерывно, со всей силой юности и неведением жизни. Заявил, что, когда наши рабочие бастовали, он продал за шестьсот рублей часы золотые, отцов ему подарок по случаю окончания гимназии, и деньги эти отдал Богомолу, собиравшему на поддержку стачки.

– Это меня точно камнем ударило, хотя и смешно было знать, что хозяин поддерживает стачку своих же рабочих. Конечно, это – детское, но всё-таки...

– «Коля, говорю, веришь ты в мою любовь к тебе?»

– А он:

– «Я не любви хочу, а свободы...»

– «Коля, ведь я же понимаю, что ты влюбился в Ларису Антоновну и всё идёт от этого...»

– «Это, говорит, никого, кроме меня, не касается».

– Тут я, единственно потому, что желал вытравить из него преждевременную эту любовь, допустил некоторое искажение действительности.

– «Ты, говорю, опоздал, милый, потому что с Нового года Лариса Антоновна живёт со мной».

– Конечно, это показалось ему очень больно, он даже отшатнулся, как будто у него зуб вырвали. Побледнел, смотрит на меня растерянно, губы дрожат, ложку серебряную согнул вокруг пальца, шепчет:

– «Нет. Неправда. Не может быть».

– Но я придумал убедительные подробности, и Коля поверил мне, встал и молча, боком как-то, криво, оглядываясь на меня, ушёл к себе. А я испугался: то ли делаю, так ли?

– Это было уже в конце сезона, в то время у меня с Ларисой Антоновной установились отношения доброго знакомства; почтительно любясь её необыкновенной красотой, я никаких вольностей не смел позволить себе, а так как в дело её антрепренёра она вложила солидную часть своих денег, я следил, чтоб не обобрали её, она же охотно пользовалась моими советами, уважала мой серьёзный ум и прямоту моего характера. Решил я спросить её совета насчёт Коли и, приехав к ней в полдень, когда она пила утренний свой кофе, сказал, что вот, мол, брат мой, юноша, любит её, и спросил: как она думает об этом заблуждении? Она сначала пошутила:

– «Вы, говорит, в какой роли выступаете, – сватом брата вашего или соперником ему?»

– Но тотчас же нахмурила брови и, сердито блестя прелестными глазами, с досадой заговорила, что с неё довольно любви мальчиков, стариков, военных, штатских, полицейских и революционеров.

– «Поймите, говорит, я хочу серьёзно заниматься своим делом, и ничья, никакая



брание сочинений в тридцати томах. Том 16. Рассказы, повести 1922–1925. Максим Горький gorkiymaxim.  
любовь не соблазняет меня».

– Сидела она, поджав ноги под себя, на диванчике, в малиновом бархатном капоте, – она очень любила бархат, – на бархате серебряные, с финифтью, старинные застёжки, волосы распущены, волосы у неё изумительного обилия и густоты. Смотрит на меня отталкивающими глазами и говорит:

– «Не мешайте мне. Скоро я уеду за границу, летом буду играть в Липецке, и тем временем брат ваш вылечится от детской болезни. В его годы – это легко проходит».

– Ну-с, я был очень успокоен. Сам я, конечно, уже и тогда любил Ларису Антоновну, но тогда это ещё не было известно мне. Теперь я знаю, что полюбил её с первого удара глаз. Сразу. Это – бывает при несчастных случаях. Они – всегда – сразу.

Он замолчал, и, пользуясь паузой, я спросил:

– Действительно – красива была она?

– Разве не видите? – строго сказал он, кивнув головой на мольберт, и поучительно добавил:

– Для других, может быть, и не так красива, но каждый из нас любит самую прекрасную женщину... На первой неделе поста она уехала, поручив мне все свои дела. Уехала. В цветах, провожаемая восторгами поклонников.

– Один из них, товарищ прокурора, сказал мне, с завистью:

– «Счастливец вы».

– Счастье же моё заключалось в том, что однажды я, осмелев до слепоты в глазах, поцеловал ей руку. Колю, когда он провожал её, она, совершенно напрасно, поцеловала в лоб, сказав:

– «Живите счастливо, юноша».

– И вот остался я с Колей. Он сидел дни и ночи у себя наверху, за книгами, похудев, печальный. С ним – Богомолов. Как-то, за вечерним чаем, я спросил:

– «Коля, ты сердишься на то, что судьба улыбнулась мне?»

– «Нет, говорит, не сержусь, но мне тяжело, потому что я чего-то не понимаю...»

– Я, кажется, говорил, что в нём была черта упрямства? За эти месяца он как-то незаметно вырос, стал твёрже. И ещё более книжным. Говорить с ним стало мне труднее. Так, в некотором отчуждении, мы прожили до лета, а когда, в июне, Лариса Антоновна приехала в Липецк, Коля тотчас же отправился к ней. Я прожил шесть суток в тихом отчаянии, по ночам у меня волосы на висках шевелились от страха. Я знал, чего боялся. Так и вышло: на шестой день Лариса Антоновна прислала мне письмо, слова в нём торчали иглами, и даже от бумаги шёл презрительный запах. Она писала:

«Ваш брат сказал мне, что вы хвастались пред ним, будто я живу на содержании у вас. Отвечайте немедленно: говорили вы это? Отвечайте как честный человек, каким я вас считаю». Как честный человек я не мог ответить. Я уже ради её отказался от девушки, невесты, которая любила меня. Из-за неё я потерял любовь к брату и чувствовал, что вся моя жизнь подорвана, покачнулась. Я ответил по телеграфу одним словом: нет.

Человек поднял руку вверх, как это делает свидетель на суде, принимая присягу, и твёрдо, с глубоким убеждением сказал:

– Уверю вас – ответить иначе я не мог! Понимаете? Не мог.

Синие белки его глаз налились влагой, он смотрел на меня тупо, как слепой, и, растирая пальцами горло, дважды, точно собака, щёлкнул зубами, потом, покашливая, продолжал сипло:

– Я думал, ожидал, что Коля... сделает что-нибудь... Думал, что Лариса Антоновна тоже... например – соблазнится его юностью. Но он, через два дня, прямо с вокзала явился ко мне в контору, не раздеваясь, фуражка на затылке, точно пьяный, но прямой, как солдат, страшно близко подошёл ко мне и сказал:

– «Пётр, ты – мерзавец».

– Тогда я закричал ему:

– «Послушай, ведь я тоже, – пойми ты меня! – я тоже люблю её. Ведь вот я уже и не ждал тебя, думал – застрелишься ты, и – не боялся этого, не жалел. А – я ведь люблю и тебя, брат, поверь. Но если наваждение это неодолимо, – что же мне делать?»

– Он снял фуражку, сел и смотрит на меня, потемнев; видно мне, что испугался он, убито мигают глаза его. Я говорю:

– «Ты красив, ты умнее меня, тебе легко любить, ты можешь говорить о женщине убедительно, ты ко всякой дойдёшь. Ты любишь воображением ума, а я – всей плотью, всей душой...»

– Он встал и запер дверь конторы. Подошёл ко мне, суровый, я думал – ударить хочет, но он только взял за плечо меня, встряхнул.

– «Вот как? – говорит. – Понимаю. Но – как же теперь мы будем жить?»

– Прижался я головой к руке его.

– «Не знаю...»

– Но была уже радость в душе у меня; чувствую, что он сильнее, лучше меня, это я всегда знал, но в тот час – особенно ясно стало. Явилась надежда, что с ним у меня всё обойдётся благополучно.

– «Не знаю, говорю. Ты меня умнее».

– «Зачем ты, спрашивает, оболгал и её и меня?»

– Ну, я не мог объяснить это, я уж сам не понимал – зачем? Он стал ходить по конторе, говоря, что надо ему уехать на время или перевестись в другой университет, но я прошу:

– «Нет, этого ты не делай. При тебе мне всё-таки стыдно, а без тебя я запутаюсь. Она в делах ничего не понимает, а я не могу ни в чём отказать ей».

– Он, усмехаясь, спрашивает:

– «Но как же теперь буду я, ошельмованный тобой?»

– Конечно, я выпросил у него прощение, и решили мы сказать Ларисе Антоновне, что я шутил, а он меня неверно понял и юношеская горячность его неосновательно возмутилась.

– «Ну, хоть так», – согласился Коля и братски пожалел меня:

– «Ах ты... Не думал я, что ты такой хитрый азиат. Хотя – не очень хитрый, не очень».

И, снова подняв руку, точно для присяги, человек сказал внушительно:

– Прекрасный юноша был брат мой. Честнейший юноша, великой души! Уж это я знаю...

За окном дождь всё плёл свою сеть, у фонаря остановилась чёрная, осклизлая фигура, подняла толстую ногу и, сняв галошу, стала колотить ею по столбу. Дрожал в стеклянной паутине огненный паук.

Выпив вино, не охмелявшее его, человек продолжал ломким голосом, приподняв

брание сочинений в тридцати томах. Том 16. Рассказы, повести 1922–1925. Максим Горький gorkiymaxim.  
плечи, крепко скрестив руки на груди:

– После этого мы с Колей начали жить так, как будто только что познакомились. Часто по ночам беседовали о разных разностях жизни, и Коля всё больше удивлял меня обилием и печалью необыкновенных мыслей. Глаза у него стали ярче от худобы лица и синих пятен в глазницах, а в лице явилась такая, знаете, серьёзная прозрачность.

– Чаще всего он говорил о том, что жизнь построена по форме пирамиды и хотя основание её широко, но – гнило, непрочное, может раздаться под тяжестью, и тогда всё рухнет, развалится. Говорил он задумчиво, пощипывая усики, и усмехался.

– «Другой формы не могут иметь ни жизнь, ни мысль. Мысль тоже строится пирамидой: основание – огромное количество фактов беспощадной борьбы, а вершина – ничтожный, остренький вывод».

– Мысли эти я очень любил и принимал их как правильные, но мне было неприятно, что Коля без спора соглашается с нищеанцем этим, с Богомолковым. Однажды обедал с нами Мортон, химик, управляющий фабрикой, замечательного ума француз! Богомолков проповедовал свои пустяки о свободе, а Мортон высмеивал его, утверждая, что суть жизни в разуме.

– Богомолков грубейше крикнул ему:

– «Таким разумом, как ваш, владеют и бобры и муравьи, это не свободный разум, а только обезьянье приспособление».

– И всегда этот попович грубил, раздражала меня его топорная грубость, широкая бородатая рожа, грязные, нечёсанные волосы. У него только голос был умный, а Коля думал, что он говорит мудро.

– О Ларисе Антоновне мы с Колей не говорили, только однажды, беседуя о ней с Павловым, он сказал:

– «Весь её талант – в красоте, а настоящего таланта, для сцены, нет у неё. Я думаю – ошиблась она, не той дорогой идёт. Скучно и холодно жить ей, и вот она ищет, чем согреть душу. У одного профессора дочь, безногая, параличная девочка, играя, греется перед картинкой, на которой изображён костёр. Вот и Лариса Антоновна греется у воображаемого огня».

– Павлов закричал, заспорил, заметался, а меня очень обрадовали умные слова Коли. Верил я ему. Сам я не мог судить о способностях Ларисы Антоновны, и никакого дела не было мне до её игры. Когда она выходила на сцену, я ничего не видел кроме её, слышал только её ленивенький голос, следил, как двигается, точно по воздуху, её великолепная фигура. Легко она ходила и так, знаете, царственно, оказывая милость земле и людям. Восхищала меня гордая стройность ног её. И груди... небольшие, расставленные далеко одна от другой.

Закрыв глаза, человек скорбно покачал головой.

– О чём я говорил? Да. Обрадовало меня указание Коли, что она идёт не своим путём, подумал я, что ошибочный путь этот, может быть, приведёт её ко мне. И, когда она приехала, я пошёл к ней очень уверенно, но застал её в раздражении: летний сезон был неудачен, и она потерпела убыток тысяч в тридцать. Я тотчас сообразил, как успокоить её, сказал, что с её деньгами я сделал выгоднейшую операцию на жирах и могу предложить ей двадцать семь тысяч с несколькими сотнями, – нарочно не круглую сумму назвал, чтобы правдивее вышло. Обрадовалась она, иногда человека и деньги радуют.

– «Нет, серьёзно? – спрашивает. – О, вы действительно хороший друг. А как живёт ваш сумасшедший брат?»

– Я сумел убедить её, что Коля ошибся, не понял мою шутку. Нахмурилась, недоверчиво глядя в глаза мне, она спросила, взяв меня за ухо:

– «Шутка? Какая шутка?»

– «Однажды, говорю, я сказал ему, что если б вы согласились...»

- Она втиснула ногти в хрящ уха моего, сердито понукая:
- «Ну?»
- «Выйти за меня замуж», – говорю.
- «Врёте вы, – сказала она, оттолкнув меня. – Тут что-то не так. Не то было сказано. Да, да! Предупреждаю вас, сударь, со мною шутки плохи. Больно я ущипнула вас?»
- «Нет, говорю, что вы...»
- «Жалею. Но – я изо всей силы».
- Подумав немного, она сказала тихо:
- «Оба вы – очень милые люди, но – какие-то старомодные, опоздавшие родиться. Странные люди. Будем друзьями, но без шуток, да? Иначе...» – И погрозила пальцем.
- Удивительно одевалась она, – продолжал человек, вздохнув и пристально глядя на косые нити дождя за окном; ветер спутал, изорвал их, и теперь они сыпались стеклянными зёрнами в окно и на фонарь.
- И в узком платье, закрытом до горла, и в широком, всё равно – она точно голая. Понимаете? Да. Нагая. Такое гордое тело. Мне даже как-то страшно было смотреть на неё... И – досадно: неужели и другие так же видят её, как я?
- Дома Коля спросил: «Что это у тебя ухо-то?» Я сказал, что, подстригая бороду, ущипнул ножницами. Начался сезон. Город у нас, вы знаете, старинный, купеческий, особенных тонкостей публика не любит, ей нравятся русские пьески, особенно костюмные; а когда по сцене ходят люди в пиджаках и, не умея понять, кто, что или кого любит, скучноватыми словами обыденно говорят про это – в чём тут рассеяние скуки и развлечение? А Лариса Антоновна любила именно такие, новейшие пьесы играть – Гауптмана, Ибсена. Поэтому, когда товарка её Соснина, сварливая баба, играла «Чародейку» или «Марию Стюарт», публика шла в театр охотно, а Ларису Антоновну не любили, и, хотя Павлов писал о ней очень похвально, смотреть её ходили только дамы из-за модных костюмов, да молодёжь, а партер и ложи пустовали. Полных сборов она не делала, и это очень раздражало её.
- «В нашем мире, где не любить – невозможно, а любить – не умеют, театр мог бы научить любви к людям, к женщине, к жизни», – говорила она.
- Жила – широко; если не играет, то уж вечером у неё неизменно гости, ужин, вино, катанье на тройках. И все вокруг неё – как безумные. Павлов, зелёный, кашляя и задыхаясь, кричит:
- «Будем как солнце!» – Бемер, водевильная, цинические песенки поёт, Брагин, конечно, о евреях чушь порет, Маметкулов ржёт конём и тут же кричат – бог, смерть, любовь! Мороз по коже подирает от этой сумятицы. А Лариса Антоновна сидит царицей и нехорошо, чуждо улыбается. Часто вспоминал я слова Коли: действительно, вот – зажёг человек костёр, смотрит, как в нём сгорают люди в пепел, а самому одиноко и холодно.
- В такие вечера моя любовь к Ларисе Антоновне сапоги-скороходы надевала, а всех этих людей хотелось мне на мыло переварить. Мы, я и Коля, наблюдаем друг за другом, как два вора, намеренные украсть одну и ту же вещь, но каждый в свою пользу. Я думаю, что Лариса Антоновна понимала нас; как-то, выпив с горя, она задорно спросила:
- «А что, милые братья, не боитесь вы, что я съем вас?»
- Да. Так и спросила. Я – промолчал, а Коля ответил умной шуткой:
- «Пусть лучше съест львица, но не исцарапает кухонная кошка».
- Иногда мы с Колей, впадая в тоску, откровенно спрашивали друг друга:

брание сочинений в тридцати томах. Том 16. Рассказы, повести 1922–1925. Максим Горький gorkiymaxim.

– «Что, брат?»

– И – смеялись. Даже – смеялись. Коля, как-то, сказал:

– «Она солнечный зайчик».

– Вскоре мы перестали смеяться.

– Явился в городе англичанин Вильям Проктор, пеньковое дело интересовало его; по-русски он говорил плохо, и Маметкулов познакомил его с Ларисой Антоновной, она знала и английский и французский языки. И вот, знаете, сел этот Проктор монументом около неё и сидит, ворочая серыми глазищами. Высокий, точно литой весь, лицо загорелое, лоб разрублен, и что-то непреклонное в нём. Курит ужасно, водку пьёт, как телёнок молоко, и не пьянеет, только глаза щурит. Вид у него в это время такой, как будто удивляют его люди, но он им не верит и удивления не хочет показать. Только однажды, когда очень талантливая актриса, Соня Званцева, спела ему детскую песню, он прищёлкнул языком, точно выстрелил, и сказал ей:

– «Спасибо. Это больше всего, что я знаю».

– Поцеловал ей руку и спешно ушёл, ни с кем не простясь. С этого случая Лариса Антоновна сразу стала как-то тише, явилась у неё эдакая нега кошачья в движениях... ну, одним словом, вы понимаете...

– А Коля мой ещё более потемнел, вытянулся.

– «Вот, говорит, настоящий охотник на нашего зверя, этот – не промахнётся».

– Учиться Коля бросил, лежит в кровати до полудня, потом ходит целый день по комнатам в туфлях, не одетый и назойливо свистит. А я, узнав, что англичанин – картёжник, познакомил его в клубе с одним товарищем прокурора, о нём говорили, что он играет нечисто, но ловко. Я надеялся, что он выпотрошит англичанина. Он и выпотрошил. Но проигрыш частью пришлось мне заплатить. Позвала меня Лариса Антоновна и говорит:

– «Дайте мне пятьдесят тысяч под вексель».

– «Пожалуйста». – Дела её я знал лучше, чем сама она, и, разумеется, понял, зачем ей деньги. Не дать – не мог. Если б она приказала: «Приготовьте постель, у меня Проктор ночует!» – так я бы, вероятно, приготовил и постель. Может быть, зарезался бы потом. А вернее, нет. Не зарезался бы и тут. Ведь живу же. А бывало и хуже Проктора. Он скоро уехал, а Лариса Антоновна осталась в сердитой печали и ещё более резво начала кутить. Коля тоже пристрастился к вину. Очень тяжело вспоминать всё, очень, господи! Я предлагал ему: съезди за границу, в Петербург, в Сибирь. А он говорит: едем вместе.

– «Голубчик, ты же видишь, – у меня нет шансов».

– Он хмуро отвечает:

– «Погода – женского рода. Вот почему и капризна погода. А ты – хитрый, ты терпеливый, ты можешь дожидаться хорошей погоды и даже – создать её».

– Он начал говорить злобно, насмешливо и смотрел на меня нехорошо. Сидит, качает ногою и, насвистывая, так смотрит, что мне становится тесно в одной комнате с ним.

– Весь пост Лариса Антоновна прожила в городе, на пасхе снова начались спектакли, а в среду на фоминой, ночью, Коля застрелился в Театральном садике, вот тут, за углом. Что-то вышло у него с Ларисой Антоновной, неизвестно что, но – вышло. Накануне смерти он был у неё, они вместе ходили на кладбище на могилу Павлова. Да. Застрелился Коля в сердце. Привезли его домой, завыл я волком, и всё для меня провалилось в чёрный мрак, как будто вихрем бросило в колодезь, в яму и там вертит, кружит, бьёт. Помню: зубы Коли насмешливо оскалены, а под его левым соском на груди – пятнышко, точно паучок. Ни крови, ничего, а только тёмный паучок. Потом такая, знаете, ненависть вспыхнула к Ларисе Антоновне, что, явись она в этот час, не знаю, что сделал бы я, но – было бы ей плохо. Приехала она с Брагиным к ночи, уже темно было, и вот так же дождь шумел, я её встретил в

брание сочинений в тридцати томах. Том 16. Рассказы, повести 1922–1925. Максим Горький gorkiymaxim. зале, закричал на неё, затопал, но она молча и так, знаете, властно отстранила меня рукою, спрашивает грубо:

– «Где?»

– Накидка, вроде театрального плаща, вся обрызгана дождём, опустилась с плеча и ползёт по полу. Лицо Ларисы Антоновны белое, до синевы, глаза нестерпимо горят, и весь вид такой, как будто из страшной сказки она пришла. Встала на колени перед диваном, где лежал брат, гладит лицо его одной рукой, а другой крестится, громко говорит:

– «Ну, прости, мальчик, прости! Ведь я говорила тебе... боже мой. Прости...»

– Я тоже стою на коленях рядом с нею, шепчу:

– «Это вы сделали. Ваше дело...» – Говорю, а злобы на неё нет у меня, только страшно очень и такая, знаете, пустота во мне, ясность, всё вижу, всё замечаю, каждое изменение её лица, каждое движение пальцев.

– «Молчите, говорит она, молчите!»

– И тоже погладила лицо моё ладонью, как будто и я мёртвый. Страшно горячая рука была у неё и дрожала, и я весь дрожал. Встала она, подошла к окну.

– «Дайте, говорит, крепкого вина». Пригласил я её к себе; этот подлый скелет Брагин тоже пошёл с нами, очки протирает, как будто ничего не случилось. Велел я подать вина, чаю, и вот, сударь мой, с этой ночи началась жизнь, недоступная никакому воображению. Выпила она фужер портвейна, потом – чаю с коньяком, и сразу вспыхнула вся, глаза ещё более дико разгорелись, – глаза у неё, как это видно и на портретах, – были насмешливые, всем чужие. Заговорила она угнетающе и грубо, никак я не мог подумать, что женщина образованная и красивая решится говорить так обнажённо и сокрушительно.

– «Вот, говорит, убил себя милый, умный мальчик, потому что я не уступила его желанию. Но – что же мне делать? Неужели я должна покорно отдаваться в руки всех, кто меня хочет? Брагину, который третий год ожидает своего часа, вам – вы ведь, конечно, тоже надеетесь видеть меня на своей постели? Но послушайте, неужели за то, что бог наградил меня красотой, я должна платить каждому, кто её хочет, если даже он противен мне?»

– Я, знаете, даже покачнулся от стыда и страха, услышав её слова. Страшно было то, что понял я – была правда в её словах, обнаружили они предо мною жизнь её с другой, очень трудной стороны. А Брагин, тоже выпивши, скорчив свою костлявую рожу, говорит:

– «Ларисочка, я не люблю драм, не верю в драмы. Всё очень просто. Богатый студент застрелился? Ничего. Со святыми упокой, а для вас – рекламочка».

– Я схватил его за шиворот, хотел ударить, но Лариса Антоновна отвела мою руку, точно я бессильный ребёнок.

– «Оставьте его, говорит, он негодяй. Очень талантлив, но – негодяй. Может быть, потому и талантлив. Хорошие люди редко бывают талантливы».

– Брагин, подлец, согласился с нею:

– «Это – верно. Я притворяюсь хорошим только на сцене, и это мне всегда самому смешно, оттого и публика смеётся. Публике приятно видеть, что хорошее – смешно и жалко...»

– А Лариса Антоновна говорит свои отчаянные слова:

– «У меня есть цель, я хочу изгнать со сцены пошлость, вымести старый мусор, показать душу современной женщины, которая во многом переросла сама себя и не знает, что ей делать с собою? Ей мало любви, мало материнства, у неё есть ещё что-то. Что? Я не знаю, но – что-то есть».

– Тысячу раз слышал я потом эти речи, тысячу раз!

– «Мне трудно, говорит. Мне очень трудно! На сцене я всё ещё чужой человек. На пути моём становятся люди, мешают жить, работать, хватают за ноги, и вот – ложатся трупами... Ваш Коля – умный, милый, но не надо, не надо же мне никого».

– Говорит она и всё пьёт вино, как пожар заливая. Пил Брагин, я тоже. Я допился до слёз, жалко было мне Ларису Антоновну, себя, Колю. Её – особенно. Встал на колени перед нею и говорю, что могу всю жизнь служить ей, всю жизнь, как собака. А она, погладив волосы мои, согласилась:

– «Да, говорит, Петруша, у вас верная, честная, собачья душа, я знаю».

– О, боже мой, боже мой...

Что-то зашуршало в углу около печи. Человек вздохнул, покачнулся и, подняв оплывшую свечу, осветил угол.

– Там – крыса. Она в этот час всегда начинает... скребётся.

Потом он долго неподвижным взглядом смотрел в окно, там дождь неустанно чертил сеть косых линий, оплетая ими огонь фонаря. Чёрные полушария плыли в тусклом пузыре света – шли под зонтами люди из театра.

Кто-то под самым окном крикнул:

– Нет. Не могу.

– В ту ночь я полюбил Ларису Антоновну настоящей, безответной любовью. Летом она сняла дачу на Оке, под Рязанью, я часто ездил туда к ней и видел: живёт она, как всегда, шумно, суетно, охотятся на неё разные новые люди. Спрашиваю:

– «Мешают они вам?»

– «Да, говорит, мне все мешают, а помогает жить только один человек – вы, Петруша».

– Конечно, – мне праздник такие её слова, а она была щедра на них и этим ещё крепче привязывала меня к себе. Она и вообще была щедра. Непонятно это: она – не добрая была, а на ласку словом не скупилась, деньги тоже швыряла, как шелуху, и очень нужно было следить, чтобы не ограбили её разные ловкачи, промышленяющие корм жалобами на несчастья свои. Деньги – она давала людям с такой улыбкой, что, будь я нищим, и то бы десяти копеек не попросил у неё. Презирала она людей, неудачливых же – особенно брезгливо. Бывало, слушает чьи-нибудь сетования на жизнь и вдруг улыбнётся глазами, прищурится и скажет:

– «Ах, как мы несчастны!»

– Слова эти, как сугроб снега, падали на меня, и, боясь её презрения, я молчал перед нею о несчастьи моём, почерпая все радости жизни в заботах и тревогах о ней. Встречала она меня всегда приветливо, как родного, и, представляя знакомым, говорила внушительно:

– «Прошу любить, это бескорыстный друг мой».

– Люди же, разумеется, считали, что она живёт со мною. Да. «Прошу любить». Меня и полюбила комическая актриса Соня Званцева, дама миловидная, талантливая, добрая и неистощимой весёлости; она жила вместе с Ларисой Антоновной. Сидел я с нею в саду, над Окой, любуясь закатом солнца, жаркий такой вечер был, пахучий, липа цвела. Закурив папироску, Соня спрашивает:

– «Что, Петруша, бедный рыцарь, трудно вам?»

– «Нет, говорю, ничего». – Боялся правду сказать, зная, что, если заговорю, – буду жаловаться на Ларису Антоновну.

– «Полноте, милый, говорит, разве я не вижу? Третий год наблюдаю. И – позвольте сказать прямо:

Понапрасну, мальчик, ходишь,  
Понапрасну ножки бьёшь,  
Ничего ты не получишь,  
Понапрасну пропадёшь!

– А, вот, я, говорит, люблю вас, хоть и непристойно женщине первой говорить это. Люблю. Очень. Потому что – вижу, как вы умеете любить, и жаль мне вас хорошей, бабьей, материнской жалостью».

– Смутился я, встал, и – хоть в реку прыгнуть! А река, знаете, течёт, течёт, мутная, как моя жизнь. На глазах Сони – слёзы, а говорит она, смеясь.

– «Так я вас люблю, что даже больно. Как девчонка. Вот как...»

– Я, очень глупо, сказал:

– «Благодарю вас, только...»

– «Цыц! – говорит она тихонько и руку протянула, точно отталкивая меня. – Уходите. Но в случае чего помните, что есть на земле человек, который любит вас попросту, всей душой, без фигур. А у Ларисы душу умишко съел...»

– Всё бы это было хорошо, хотя и печально, не скажи она последних слов о душе Ларисы Антоновны. Обидно стало мне. Я душу её, может быть, и не понимал, но любил и чувствовал. А тут человек из соперничества, из ревности уничтожает дорогую эту душу. Поклонился я ей суховато, и осталась Званцева на скамье, покуривая, а я ушёл в лес. И такая схватила там за сердце меня лютая тоска, что, поверите ли, впервые за всю мою жизнь заплакал я. Трясусь весь и плачу, понимая, что, может быть, единственно возможное для меня счастье сам оттолкнул. И за Ларису Антоновну обидно. В таком был состоянии, что, не заметив, на муравьиную кучу сел, и закусили меня муравьи. Кусают, а я не понимаю, что это такое, сижу. Потом должен был идти купаться и вытряхивать платье, белье. Всю ночь прогулял на берегу, а в душе, знаете, эдакое чёрное пожарище и разрушение всех сил. Утром, после завтрака, Лариса Антоновна позвала меня к себе, говорит резко:

– «Софья из-за вас сыграла мне драматическую сцену и очень плохо, это не её ампула. Что вы отказались от её предложения – это довольно глупо, но – ваше дело. Если же вы, сударь, жаловались ей на меня, так это трижды глупо, но – уже моё дело. Жаловались?»

– «И не думал», говорю.

– Посмотрела она на меня, улыбнулась этой улыбкой, пронзающей душу.

– «Кажется, говорит, правда. Вот что, сударь, вы от меня не ждите ничего, у вас со мной никогда не будет никаких романов, так и запишите на память себе. Наконец, я вообще довольна тем, что вы отказались от Софьи. И за себя и за неё. Ей с вами скоро стало бы скучно, а мне без вас – неудобно. Видите, каков я зверь?»

– В тот день была она в белом кружевном платье, и сквозь кружево сияет тело её, – смотреть больно. Всё на ней белое, чулки, туфельки, каштановые волосы коронуют голову её, и сердито-насмешливо улыбаются глаза. Лежит на кушетке, туфля с ноги упала, пятка круглая, точно яблоко. В комнате – солнце, цветы, – невыразимо великолепна была она в цветах и солнце. Страшная сила красота женщины, сударь мой...

– Вспомнил я Колины слова: «Солнечный зайчик...»

– Помолчав, она говорит задумчиво:

– «Вы, Петруша, не знаете, как талантлива Софья. Ей развернуться негде, для неё нет пьес. Если б мне половину её таланта! А она вот хочет быть женою мыловара. Послушайте, бросьте вы это ваше мыло, зачем вам оно?»

– «Хорошо», говорю.

– Фабрика действительно не нужна была мне, я уже знал, что останусь на всю жизнь одинок. Возвратясь домой, я предложил управляющему, Мортону, найти покупателя,



брание сочинений в тридцати томах. Том 16. Рассказы, повести 1922–1925. Максим Горький gorkiymaxim. но он изумился, рассердился и сказал, что не продаст никому, а сам купит. Так и сделал, я ему продал всё очень выгодно для него, он был достойный человек. А я поехал в Рязань, где играла Лариса Антоновна, поселился там в гостинице. И вот началась моя новая жизнь, двенадцать лет жил я этой трёпаной жизнью, двенадцать лет–с! Трудно было привыкнуть к бродяжеству, безделью, к цыганству, к разным грязненьким гостиницам, мебелированным комнатам, к жизни среди людей всегда новых, всегда чужих. Был я как бы зерно, которое судьба, на мельнице своей, мелет с песком. Неисчислимо на Руси количество людей, которые живут неизвестно зачем, – кажется, я уже говорил, что всего больше таких людей около театра, около обмана. Потому что театр – насквозь обман. А Лариса Антоновна играла правдиво, обнажённо, без прикрас, и даже когда она говорила самые густо театральные слова; публика не верила ей, другие же актрисы, нарядной фальшью этих слов, вызывали у публики искренний восторг и слёзы сочувствия. Я и сам скажу: Лариса Антоновна неинтересно играла, хотя я не люблю и не понимаю никакой игры, кроме музыки. Трудно было понять: хорошего или плохого человека изображает Лариса Антоновна? Публика же требует ясности, думать она не любит, предпочитая говорить. Это и законно: каждый человек стремится к упрощению жизни, каждому из нас курица гораздо понятнее, чем ласточка. А простота Ларисы Антоновны была загадочна, и потому хотя красотой её очень восхищались, но успеха она не имела. Конечно, она видела это, и это мучило её; вижу я – начинает она всё больше презирать людей. Бывало, выпьет и, пристукивая кулачком по столу, сверкая глазами, убеждает сама себя:

– «Врёте, скоты, я заставлю понять меня, заставлю. Театр – не забава...»

– Безмерно жалел я её; она сердится, а я мысленно уговариваю:

«Бросьте всё это, не мечите перед свиньями бисера души вашей».

– И молюсь: господи, столкни её с этого пути! А она – своё:

– «Заставлю любить меня».

– В обыденном, грязненьком смысле слова её, разумеется, любили каждый сезон, в каждом городе. Смешно и горько было мне видеть натужное волнение гимназистов, студентов, взрослых опытных охотников за любовью, противно наблюдать, как старые, брыластые псы, с одышкой и вставными челюстями, вертелись и выли, истекая слюною вожделения. И – кутежи! Кутить она привыкала всё чаще, пила всё больше, но вино на неё почти не действовало, крепка была. Только зарумянится да зрачки станут шире, а глаза прищурит ещё насмешливее и режет взглядом, как ножом. Язык у неё тоже беспощаден был, а иногда она говорила так грубо, точно пощёчины сыпала. Очень назойливо и нахально ухаживал за нею прокурор в Херсоне, слащавый такой, лощёный, с лисьей мордой и холодными руками покойника; любил он говорить по-французски и всегда читал одни и те же стихи:

Я – и нож и – вместе – рана,  
Оскорблённая щека  
И разящая рука.  
Кроткой жертве, мне – тирана  
Сердце злобное дано...

– Как-то, за ужином, он поцеловал ей руку, а Лариса Антоновна, брезгливо вытирая поцелуй его платком, громко и убийственно спросила:

– «У вас – насморк?»

– Он позеленел и так замигал глазами, точно его ослепило.

– Говорила она и хуже этого, резкие и даже неприличные слова не стесняли её, всегда приобретая в устах её особенную остроту. К поклонникам она относилась задорно, капризно и очень любила стравливать их одного с другим. В Минске за нею ухаживали вице-губернатор и фабрикант, так она их так стравила, что разыгрался скандал на весь город и даже в столичных газетах писали о нём. Там она увлеклась виолончелистом из оркестра, мальчишкой-евреем, но вскоре велела мне дать ему стипендию и отправила в Вену учиться. Да, забыл я: комик этот, Брагин, удавился на крюке от лампы, прислав Ларисе Антоновне и мне гнусные письма. Жил негодяем и умереть прилично не решился... Христа играть хотел, хе-хе! Это вот тоже, знаете, весьма часто замечал я: чем подлее человек, тем упрямее стремится играть благородную роль. Некоторым это даже удаётся... Хотите ещё вина?

Он встал и согнулся в углу, у печи, говоря:

– Вино у меня хорошее, любимое её вино, Сент-Эстеп. В своё время я его выписывал прямо из Франции.

Осторожно открыв две бутылки, он поставил одну предо мною, из другой налил себе полный стакан и, закрыв глаза, двигая кадыком, медленно высосал его. Вытер платком рот и продолжал, плавно, мягко, тихими словами, как будто акафист читая:

– Увлекалась она часто, но, знаете, как-то вдруг и наскоро, словно обязательную повинность природе отбывая. В Тамбове из-за неё тюремный инспектор подрался с офицером, была дуэль, инспектора ранили, а она отказалась принимать обоих и, не доиграв сезона, уехала с помещиком одним в имение к нему. Он раскопками курганов занимался, чудак такой, неуклюжий, беспомощный и весь в улыбках. Её вообще интересовали чудачки. У помещика она прожила двадцать шесть дней, я всегда точно считал дни её романов, не знаю для чего, может быть, думал, что когда-нибудь придётся мне напомнить ей всё это. Ведь – человек я и в эти дни утешал себя надеждой, что отомщу ей.

– Бывало, вижу: смотрит Лариса Антоновна на кого-нибудь особенным, обнимающим взглядом, и уже знаю: начинается. Никогда не ошибался. И перестаю ходить к ней. По ночам скрипел зубами и думал: не отравить ли мне её? Смеялись надо мной во всех городах. А как только освободится она, снова торчу около неё, во всём покорный. Конечно – хмурюсь, а она мне пальчиком грозит:

– «Петруша – не дурите».

– Однажды, не стерпев, выпивши, спросил её:

– «Неужели не стыдно вам превращать человека в собаку?»

– Она посмотрела на меня пристально и, вздохнув, отвечает:

– «Едва ли вы человек».

– Очень удивил меня этот вздох и как бы даже успокоил, стал я терпеливее. Увлёклась она писателем одним, пьесы писал, человек заносчивый и грубый. Он во время ужина, должно быть, ущипнул её под столом, вскочила она и говорит:

– «Петруша, этому господину пора домой, к жене, проводите его».

– Н-ну, я его провожал, знаете, не очень вежливо. Хвастунишка был он. Писателей я видел несколько человек, и во всех – как в актёрах – было что-то бабье, фальшивое, наигранное. Все они какие-то канатоходцы, шагают осторожно, балансируя желанием всякому угодить, понравиться.

– Так, цыганской этой жизнью, в шуме скандальном, в пустяках и выдумках, прожил я около Ларисы Антоновны пять лет, а на шестой год, в Томске, началась для меня иная жизнь, хуже или лучше – не могу сказать. Народ в Сибири грубый, звероватый, но Лариса Антоновна хорошо играла там Нору и очень понравилась молодёжи. Обложили её сибиряки, сидят вокруг медведями, чавкают и её жуют глазами. Меха дарят, катают на лошадях и вообще такой дым развели, что даже я, человек сдержанный, как-то замотался и ослеп. Лариса Антоновна в превосходном настроении, сияет, даже ещё более красивой стала.

– Вдруг я узнаю, что двое богачей пари держат: который из них одолеет её до Нового года? Пригласил я их обедать в ресторан, в отдельный кабинет, а со мной был револьвер браунинг, – Сибирь, знаете, и почти каждую ночь я возвращался домой поздно, – так вот, говорю я охотникам этим:

– «Вы это пари ваше – бросьте и вообще Ларису Антоновну не смейте беспокоить. У меня нет причин жалеть себя, и, если замечу я, что не убедил вас, – башки размозжу». Они сначала хотели навалиться на меня, но я отпугнул их, показав револьвер, тогда они поняли, что я серьёзно настроен.

– «Ну, говорят, ладно». Попытались напоить меня – не вышло, только сами напились. Один был худощавый, бородатый, на икону святого юродивого похож, а

брание сочинений в тридцати томах. Том 16. Рассказы, повести 1922–1925. Максим Горький gorkiymaxim.  
глаза – разбойника, другой – толстый, красный и отчаянный пакостник в речах. Спяну бородатый всё перстень с рубином совал мне, уговаривал взять в подарок. Вероятно, всё это обошлось бы хорошо, но, на своё несчастье, Лариса Антоновна узнала о пари. Видал я её в гневе, но в таком – никогда! Стояла она спиной ко мне, глядя в окно на вьюгу, и медленно так, тяжело обернулась ко мне, – совершенно незнакомое лицо, ослепительно злое. Приказывает:

– «Позовите этих скотов ужинать ко мне».

– И вот – ужин; сидим за столом, четверо, Лариса Антоновна отлично одета, любезна, шутит и вдруг, среди шуток, говорит:

– «Между прочим, я пригласила вас сегодня затем, чтоб сказать вам: вы оба мерзавцы».

Они – хохочут, думая, видимо, что это всё ещё шутка, а Лариса Антоновна и начала отчитывать их, да так, что они раскалились докрасна и хоть избить её готовы. Ну, тут я их выгнал. Стоит она среди комнаты, крепко трёт лицо руками, смотрит на меня как на незнакомо-го:

– «Идите и вы, говорит. Уходите».

– Боязно было оставить её одну, но послушаться я не посмел, ушёл. А через неделю, что ли, когда она снова играла, в театре, на верхих, начали свистеть. Там – свищут, снизу шикают на них, шум, брань, дамы визжат. Кое-как доиграла она акт, бегу к ней в уборную, она спокойно сидит перед зеркалом, пудрится, спрашивает:

– «Это, конечно, они устроили?»

– «Не знаю, но – наверное», говорю. Тут к ней ворвалась публика, сожаления, извинения, руки целуют, она мило стиво улыбается, а глаза её горят растерянно и дико. На следующем спектакле снова свист, шум, в антракте кто-то подрался, вмешалась полиция, а на другой день приезжал к ней полицеймейстер, пьяница и грубиян, не знаю, что он сказал ей, но в тот же вечер она объявила мне, что едет в Пермь, там держал театр её же антрепренёр. И вот, когда сидел я в купе у неё, говорит она:

– «Что, Петруша, жалко вам меня? Это очень плохо, если дошло до того, что вы меня жалеть начали».

– И с эдаким страхом, тихо спрашивает:

– «Неужели нет у меня таланта, неудачница я, не могу победить людей? Скажите правду».

– Правду я знал, но – сказать не решился, она бы меня за эту правду... Утешаю как могу, а она всё говорит, спрашивает:

– «В чём моё несчастье?»

– Колёса гремят, за окном всё двигается, качается, смотрит она в окно, шепчет:

– «Падаю, падаю...»

– Никогда она не говорила так жалобно. Конечно, у неё были причины жаловаться: играла она уже более десяти лет, а имя её было негромко, в столицы её не приглашали, мотались мы с нею по захолустьям, да и деньги свои она уже прожила. Только красота и свежесть оставались с нею, как будто навек приросли...

Рассказчик замолчал, точно задохнулся, разжал руки, странно размахнул ими и вцепился пальцами в ручки кресла, наклоняясь вперёд, глядя в мутное, сырое пятно света за окном, в пузырь опаловый, пронизанный стальными нитями дождя. Минуты две он слушал, расширив глаза, тихий плеск и шорох, настойчивое журчание воды, стекающей по желобу. Серое, сухое лицо его обострилось ещё более, когда он заговорил снова:

– Приехали мы в Пермь. Над городом, во тьме, снежная буря, вой, свист, стон, эдакое адово веселье, и двигаешься как будто не по земле, а – сорвало тебя с

брание сочинений в тридцати томах. Том 16. Рассказы, повести 1922–1925. Максим Горький gorkiymaxim. земли и несёт куда-то в белых тучах. Дня три гудела эта тоска, и вот, как-то вечером, приглашает меня Лариса Антоновна чай пить к ней; пришёл я; сидит она сиротливо у стола, в капоте бордового цвета с золотом, волосы распущены, и точно девушка, знаете. А ей было уже почти сорок. Сидит ласковая, тихая. Похудела она за эти дни.

– «Милый вы мой друг, говорит, бедный вы мой друг, плохо было бы мне без вас, нянька моя. И вот за то, что вы так бескорыстно любите меня, – я вам испортила всю жизнь, да? Испортила?»

– Я – не вытерпел, никогда ещё она не говорила со мною так, упал на колени, целую ноги её, бормочу:

– «Испортили, да...»

– Гладит она голову мне, шепчет:

– «Непоправимо?»

– Горячо капают на шею мне слёзы её. И тут, знаете, впервые овладел я ею, в углубление несчастья моего. Опомился, – вижу: сидит она полуобнажённая на постели, укладывая груди в лиф, лицо у неё спокойное, слышу задумчивый голос:

– «Ну, вот мы и поженились. Хорошо со мною? Теперь давайте чай пить. И – шампанского спросим...»

– Просто, знаете, смертным холодом обожгло меня, бросился на пол, к её ногам, рычу, реву:

– «Не любите вы меня, не нравлюсь я вам...»

– А она вскочила, бегают по комнате, бьёт себя кулаком в грудь и шепчет, задыхаясь:

– «Милый, голубчик, но – если нет... если нет у меня – не могу. Поймите – нет».

– Господи боже, да это – я понял, это и опрокинуло меня. Сажу на полу, качаюсь, а она, в слезах, мечется по комнате, вокруг меня, сверкает обнажённое тело её, холодное для меня...

– Кричит:

– «Распылила я сердце своё на потеху идиотов!»

– Я умоляю её: «Бросьте сцену, едемте за границу, денег у меня много, пожалейте себя ради Христа».

– «Нет, не могу, говорит, не могу! Не верю, что нет таланта у меня. Но вы должны уйти, довольно вам горя, довольно мук. Уйдите, ещё не поздно. Из жалости – не любя, это оскорбительно, когда из жалости. Вы – добрый, чудесный друг, но со мною вы погибнете, изломаю я вас...»

– Долго и – очень благородно, очень сердечно говорила она, но, разумеется, всё глупо, невозможно. Посадил её на диван, сам сел на пол к ногам её, говорю:

– «Никуда не уйду я от вас, не могу. Живите, как хотите, а я буду около вас».

– Она снова начала было целовать меня, но я сказал: «Не надо, не насилуйте себя». Как она плакала, боже мой...

Он и сам заплакал; по жёлтым щекам в бороду скупой катились мелкие слёзы, он тряс головой, не отирая мокрые щёки, и говорил надсадно:

– После того шёл я за нею неотступно ещё семь лет. Как будто сам дьявол невидимо встал между нами, держит нас за руки, но не пускает её ко мне, издеваясь надо мною. Невозможно, постыдно рассказать, что вытерпел я! И она тоже, и она не меньше. В театре у неё становилось всё более неблагополучно. С товарищами по сцене Лариса Антоновна никогда не дружила, и они постоянно затевали против её

брание сочинений в тридцати томах. Том 16. Рассказы, повести 1922–1925. Максим Горький gorkiymaxim. различные интриги, а теперь всё это усилилось, завихрилось круче, должно быть, потому, что она стала мягче с ними, теряя свою величавость и пренебрежение к ним. В жизни действует такой закон: чем дальше от вас люди, тем они лучше, а чем ближе – тем хуже. Брагин говорил: «Не сажай женщину на колени себе – на шею сядет». То же можно сказать вообще, о всех людях. Актёришки, конечно, влюблялись в Ларису Антоновну, актрисы ревновали и ненавидели её. Известно, что нет ничего легче лжи и клеветы. Раньше Лариса Антоновна умела не допускать людей близко к себе, жила, никому не завидуя, ничем не хвастаясь, – ни умом своим, ни тонким образованием, а тут я стал замечать, что она, теряя уверенность в себе, начинает понемногу и хвастаться и прихвастывать, – рассказывает, например, об успехе своём в таком-то городе, а я знаю – успеха у неё там не было. Конечно, и актёры знают это, и хотя сами они все – хвастуны, но над нею посмеиваются. Показывает она им мои подарки и говорит, что это ей публика поднесла. Выдумала, что её будто бы очень приглашал в Москву, в свой театр, сам Станиславский, а этого никогда не было. Не было-с...

– И ум свой начала она парадно выставлять пред людьми и образованием кичиться. А тут ещё толкнул её доктор один, странный человек, но тоже, видимо, не своей тропой шёл. Маленький такой, аккуратно выточенный, чистенький весь, даже как-то непохож на русского. Носил какой-то пиджачок странного покроя и, несмотря на свои седые виски, был похож на юношу; Коля, в его лета, вероятно, таким был бы. Острижен доктор ёжиком, смотрит через очки, тёмные, тихие глаза виновато улыбаются. Однажды Ларисе Антоновне нездоровилось, он пришёл и бросил якорь около неё, каждый день сидит. Не мог я понять: злой он или добрый, но – источен печалью, и потому так остро горьки его речи? Всегда речи его были неприятны, но говорил он их как будто поневоле, не от себя, и они не обижали. Рассказывает ему Лариса Антоновна о нездоровье своём, а он:

– «Это приближается к вам печальное безобразие, которое мы смущённо именуем красотой старости...»

– «Все мы, говорит, герои, ибо умеем забывать о том, что осуждены на смерть. И жизнь наша – унылая трагедия, полная милой весёлости».

– А о любви он выразился очень обидно для Ларисы Антоновны, сказав:

– «Любовь к женщине подобна печальному деянию бога, который тоже безуспешно пытался создать прекрасный мир из пустоты, из ничего».

– Казалось бы, Ларисе Антоновне надо обидеться, – какая же она пустота, какое ничего? Но она ничуть не обиделась, к великому удивлению моему. Разговаривали они целыми вечерами, и вскоре я вижу, что сошлась Лариса Антоновна с доктором. Разумеется, это было больно мне, я ведь всё-таки не терял надежду заслужить её любовь упрямством моим, но доктор не стал неприятен мне, я даже ещё больше подружился с ним. Уж очень прямодушен был он; однажды говорит мне:

– «Я знаю, что пью ваше вино и целую вашу женщину».

– «Нет, отвечаю, женщина принадлежит не мне, а несчастью своему».

– Он пристально посмотрел на меня и говорит стихами, – он любил стихами говорить:

– «Вы знаете:

Судьба сильнее угнетает нас,  
Почувствовав, что мы ей поддаёмся?»

– «Вижу, что Ларисе Антоновне хорошо с вами, ну и слава богу».

– «Своеобразный вы человек», – сказал он.

– «И вы тоже», – отвечаю.

– Поглядели мы с ним друг на друга, улыбнулись. Выпили. Пил он очень много. Ларисе Антоновне действительно хорошо было с ним, стала она меньше кутить, больше сидела дома, стала спокойнее душой.

– Вот её беседы с доктором были поистине значительны и серьёзны, хотя оба они

брание сочинений в тридцати томах. Том 16. Рассказы, повести 1922–1925. Максим Горький gorkiymaxim. углублялись в те же обыкновенные мысли: о боге, о смерти и любви. И – так, знаете, углублялись, что мне даже страшно бывало, – как будто уже и не люди говорят, а... не знаю, чему уподобить. Как будто – нет людей, но просто два голоса, начисто оторванные от всего живого, состязуются в пустоте ночной тишины. Согласия между ними не было, но говорили они миролюбиво и внимательно прислушивались друг ко другу. Доктор утверждал, что жизнь человека подобна полёту пули, направленной в неизвестную цель, – траектория, говорил он, – и что никакого высокого смысла в жизни не заключается. Эти отверженные слова несколько напоминали мне Колю. А Лариса Антоновна с великой настойчивостью доказывала, что в жизни скрыт высочайший смысл, но чувствовать его может только женщина, возбудитель всяческих желаний, страстей, в том числе и порочных. Некоторые мысли её я принимал как совершенную правду из любви моей к неукротимой гордости души Ларисы Антоновны. Помню, например, она говорила:

– «Женщине доступно нечто, навсегда недоступное мужчинам: женщина чувствует зарождение новой жизни во плоти её, она является постоянным источником обновления сил мира. Она видит также, что ею зажигаются лучшие мысли, её ради совершают подвиги, от неё вся красота и поэзия, и если б не было женщины, вы думали бы только о пище, живя, как звери. На земле нет ничего твёрже и понятнее женщины, и вам не на что опереться, кроме её».

– Однажды она сказала:

– «Матери умирают всегда спокойнее отцов, потому что матерям доступно сознание непрерывности жизни».

– Доктор усмехнулся, говорит:

– «Животные умирают ещё спокойнее женщин».

– На этом они поссорились. Иногда – как будто вихрем – взрывалось что-то в душе Ларисы Антоновны, и мы с доктором отлетали от неё, как две пылинки. И всегда это выходило как-то вдруг, без причины, из-за слов. Помню, сидели мы втроём, Лариса Антоновна молчала, а я рассказывал о моей поездке в Москву, вдруг доктор тихонько говорит:

– «Преступники и женщины слышат, когда о них думаешь...»

– Как она рассердилась! Точно ожгли её эти слова. И – кутёж дня на три, а потом лежит в постели, сердце болит у неё.

– Доктор чахоткой страдал и скоро уехал в Швейцарию. Ну, тут уже началось совершенное безумие, – Лариса Антоновна как с горы побежала, молодость свою догоняя. Это, заметил я, со многими женщинами бывает: стукнет их по сердцу сорок ударов годовых, настанет бабий век, и закружится, бедняга, забыв о стыде, как будто в один год хочет съесть всё, что в жизни не доела. Так и Лариса Антоновна: завертелась около неё какие-то мальчишки, актёрики, которых она раньше презирала, косоглазые студенты, воспалены все, потеют, визжат друг на друга. С месяц у неё даже двое любовников было: куплетист и студент-стихотворец, себя называл гениальным поэтом, а Пушкина недорослем. Куплетист, конечно, хвастаться начал своей победой, ну, я ему дал по бритой морде, прибавил к пощёчине пять тысяч и сказал: «Уезжай, болван, в Калугу!» Нарочно городишко выбрал похуже, поскучнее. Уехал он...

– Это были самые тяжёлые годы жизни моей. Бывало, уйду от неё и всю ночь, до рассвета, хожу по улицам, сторожем сокровища моего, а оно украдено у меня, оно в чужих руках. Шагаешь в тишине, несёшь сердце своё, полное горькой обиды и тоски, думаешь: какой смысл жить без счастья, без ответной любви? Смотришь в окна домов; вот в каждом доме кто-нибудь любит, а ты – голоден и жалок в одиночестве твоём. Сколько таких ночей прожито мною! Тяжело в лунные ночи одинокому человеку таскать по земле тень свою.

– А Лариса Антоновна уже, знаете, начала фарсы играть, ходит по сцене в полуголом виде, ножки, груди показывает. Я – с ума схожу, умоляю её:

– «Едемте за границу!»

– Нет, не едет. Написал доктору в Швейцарию: не можете ли помочь, повлиять? Он

брание сочинений в тридцати томах. Том 16. Рассказы, повести 1922–1925. Максим Горький gorkiymaxim.  
ответил мне невразумительно и даже как будто насмешливо, не понял я его письма,  
только приписка в конце памятна мне осталась ничёмностью своей, приписка такая:

«Лев Толстой говорит: «Понятие вечности есть болезнь ума». А я говорю: любовь –  
болезнь воображения. Наиболее нормально относятся к любви кролики и морские  
свинки».

– Глупо как-то вышло это у него.

– Вот тоже заметил я у образованных людей неприятную привычку: много у них  
накоплено разных мыслей, и потому ли, что они любят хвастаться ими, точно купцы  
деньгами, или потому, что тяжело им носить эти мысли в себе, но – распускают они  
их не глядя куда, как – извините – мужики вошь свою. А между тем с мыслями надо  
бы осторожно обращаться, никто ведь не знает, какие – верные, какие – нет.  
Иногда мысль человеку – как собаке игла, закатанная в хлеб: проглотит собака  
этот катышок и – мается, нередко издыхает. Даже вот я, человек недоверчивый,  
иногда чувствую, что окормлен чужими мыслями и не свои слова говорю. Человек –  
не мыслями живёт, а бессмысленным желанием. Ум, учитель надоедливый, диктует  
ему: «Возле идёт человек». А ученик пишет: «Во зле идёт человек...»

– Это я, однажды, в училище такую диктовку написал, так учитель сказал мне:

– «Дурак, я тебя грамоте учу, а ты философствуешь!»

– Да. Безобразно закружилась Лариса Антоновна, смотрел я и думал: где  
благородство, где гордость её? До слёз, до отчаяния жалко было видеть, как она  
показывает со сцены тело своё, точно нищая язвы, милостыню выпрашивая. Дошло  
даже до того, что и на меня она стала обращать внимание, – это всего больнее и  
горше было мне.

– Обнимет и шепчет:

– «Съела я вас, Петруша? Ну, простите, ну, поцелуйте меня!»

– Я – целовал. Скрепя сердце, чуть не плача, а – целую и даже усердствую дать ей  
как можно больше удовольствия, только бы отвести её от грязного вихря, видел я,  
что она мучается, жалко ей отдавать душу свою во власть насытой плоти. Лицом  
постарела она немножко, и в фотографиях уже не так охотно снималась, как прежде,  
но тело у неё было девичье и ненасытно. А мне уже за сорок, и перержавела,  
перегорела мужская сила моя. Вспомнить страшно и стыдно любовные припадки Ларисы  
Антоновны. Господи, господи, – что обязан переживать человек!

– Бывало, уснёт она, а я сажу над нею, смотрю и шепчу безумно:

– «Это – ты? Ты?»

– А за окнами или вьюга воеет или мороз трещит, сияет лунная ночь, – с трудом  
выношу я эти, всё обнажающие лунные ночи и летом и зимою. Сон они гонят и всегда  
ведут с собою светлые, холодные мысли, будь прокляты.

– Не понимаю, как я вычерпал и выпил горе моё, не сойдя с ума. Не знаю, как  
Лариса Антоновна могла мириться с душой своей, покорно отдавая себя на терзания  
запоздалого чувства. Валялся в ногах её, умолял: уедете! Нет. Как пьяного из  
кабака, невозможно было вывести её из омота этого, из театра. А над нею  
насмехались – открыто, безжалостно, и она видела это, разумеется. И от этого всё  
больше пила, а к людям у неё явился эдакий страхок и лисья ухватка, становилась  
она с ними льстива, как-то принижаться начала, а об успехах своих рассказывала  
только мне одному. Целые вечера слышу я одно и то же:

– «А помните, во Пскове... А помните, Петруша, в Херсоне...»

– Слушаю я и, чтоб приятно было ей, сам прилигаю, выдумываю чего не было. Она  
понимала мою ложь, замолчит вдруг, присмотрится ко мне и кинется на шею:

– «Милый, как вы меня любите!»

– «Да, говорю, я люблю. Вы только не беспокойтесь...»

брание сочинений в тридцати томах. Том 16. Рассказы, повести 1922–1925. Максим Горький gorkiymaxim.

– А она:

– «Изо всех насмешек судьбы над человеком – нет убийственнее безответной любви».

– Это она, конечно, о докторе. Но – не верил я, что любит она доктора, так уж это было у неё – последняя копейка души. Мечта. Выдумка.

– В сорок четыре года начались у неё опасные сердечные припадки, и доктора сказали мне, что она может умереть неожиданно, на ходу. Тогда, наконец, уговорил я её уехать за границу, – к морю, потребовала она. Поселились мы около городка Сан-Себастьяно, на морском берегу, сняли небольшой домик, обставил я его красиво, – на вот, Лариса Антоновна, умирай! Очень хорошо было там, на краю земли, и люди чужого языка тоже всегда кажутся лучше своих, ведь не понимаешь, что они говорят. Только по ночам страшно мне жилось, ночи там как-то вдруг настигают, едва солнце окунётся в океан – сейчас же, из-за гор, выплывет ночь, придавит землю и воду. В тихие ночи до бессмыслия угнетала меня эта, знаете, пустота под звёздами и безграничие океанской скуки. Угнетал, конечно, бессмысленностью своей, океаний грохот и вой прибоя волн. Поглядишь в окно: катится на берег тёмное что-то, как бы гонят табун белогривых коней, бешено скачет табун и вдруг – прыгнет на землю, ударит её, охнет земля, и домишко наш дрогнет весь, стёкла в окнах занюют. Но – всё-таки лучше, когда есть движение и шум, а в тихие ночи – нестерпимо. Вспоминал я тогда Колины речи о земле нашей, упоённой горем, и виновато злые речи доктора. Забыта земля наша разумом бога, забыта среди звёзд, и одиноки, чужды друг другу люди на ней! И вот, когда подумаешь об этом, станет проникновенно ясно, до чего нужна человеку любимая женщина. Права Лариса Антоновна: с кем лучше можно забыть об одиночестве своём? И в такие ночи любовь моя к ней углублялась бесконечно во тьму свою.

– Лежу, бывало, или тихонько, босиком, шагаю по своей комнате, жду: вот – охнет океан и услышу я предсмертный крик Ларисы Антоновны. Может, она уже вскрикнула, а я не слышал? Отворю дверь в её комнату, встану на пороге, слушаю – дышит? Чаще всего видел я – сидит она, прислонясь к спинке кровати, утопая в белом, как в пене, сидит закрыв глаза, неподвижно прислушиваясь к шуму океана, и такая покорность в ней, такая тоска. Умная, она понимала, что умирает, но, из гордости, не говорила об этом. Сам задохнёшься в тоске, сядешь на пол у двери, полужив, полумёртв, и сидишь час, два, три... Иногда, услышав, что я не сплю, Лариса Антоновна позовет меня:

– «Петруша, идите ко мне, побудьте со мною!»

– И тихонько начинает:

– «Помните, как меня в Курске принимали?»

– Я, конечно, помню всё, что ей чудится.

– «Замечательно принимали, – говорю. – И вся ваша жизнь – замечательная!»

– Устанет она, замолчит, я ткнусь головою в ноги ей, лежу, молча молюсь ей:

«Счастье моё, жизнь моя – не умирай!»

– Не однажды она, печально, говорила:

– «Боже мой, как быстро седеете вы!»

– Видя, что для неё это тягостно, я стал немножко подкрашивать волосы. Это, сударь мой, совершенно невыносимо – жить для того, чтоб видеть только одно, – как умирает любимая женщина! Так, в параличе души, прожил я двести восемь дней, а на двести девятый скончалась Лариса Антоновна. На террасе. День был тихий, душный, даже океан не очень шумел. С утра ещё Лариса Антоновна сказала:

– «Сегодня я чувствую себя удивительно легко».

– И вышла на террасу, села в кресло, молча, как всегда, разглядывала волнение пустоты морской. Сиделка Агата принесла ей букет цветов, погладила она их милыми руками, спрятала в цветах лицо своё и вдруг – встала, схватилась за перила, покачнулась... Я едва успел подхватить её...



Человек встал, оглянулся дико и, сунув руки в карманы, прислонился к изразцам печи.

– Вот и всё! Там, под горою, на маленьком кладбище, я и похоронил её. Не хотелось везти в Россию, где она не нашла счастья. И сам года полтора не мог вернуться сюда, где горе было единственной пищей моей души.

Он взглянул на меня, нахмурясь, и строго сказал:

– Однако вы не думайте, что я жаловался на Ларису Антоновну, нет, это я рассказал только по причине вашего желания. Жаловаться же вообще бесполезно: человек человеку глух, подобно камню.

На белом фоне изразцов лицо его очень потемнело, особенно – под глазами. Он стоял, закрыв глаза, прямой, и как будто ещё тоньше стал за эту ночь.

Нити дождя за окном блестели светлее, усталый огонь фонаря потускнел. Отдалённо, едва слышно ворковали колокола, точно медные голуби, – это благовест к утренней службе в монастыре.

Человек неохотно и тихо говорил:

– Потом я всё-таки вернулся в Россию и вот снял здесь квартиру, потому что Лариса Антоновна напротив жила и всё началось отсюда. Издал её портреты, продаю открытки с них, не для выгоды, разумеется, а так...

Он протянул длинную, сухую руку в угол, указывая на вазу, на букет засохших цветов:

– Цветы эти – те самые, которые она последними держала в руках, но – погибли цветы! Советовали мне в известковой воде вымочить их – не помогло. Лаком покрыл-тоже не помогло. Только естественного образа лишились они.

Он подошёл в угол, к столу, осторожно, тонкими пальцами потрогал безобразные комки серо-грязного цвета и сказал глухо:

– Рассыпаются цветы прахом, и никакими средствами остановить это невозможно...

Рассказ о герое

В детстве, раньше чем испугаться людей, я боялся тараканов, пчёл, крыс; позднее меня стали мучить страхом грозы, вьюги, темнота.

Когда гремел гром, я до боли крепко закрывал глаза, чтоб не видеть синюю дрожь стёкол в окнах, освещаемых молниями. Кто-то внушил мне, – а может быть, я сам выдумал, – что, разрывая небо, молнии обнажают великий, геенский огонь, там, за пределами синего, видного в ясные дни. Синее – дым пожара, обнявшего весь мир, звёзды – искры пожара; в любой час земля может вспыхнуть, точно косточка вишни, брошенная в костёр, загорится, как солнце, и потом, обращённая в уголь, повиснет в небе второю луной.

Особенно я боялся темноты. Я воспринимал её не как отсутствие света, а как самостоятельную силу, враждебную ему. Когда её серая, неощутимая пыль омрачала воздух и, сгущаясь, чернея, поглощала деревья, дома, мебель в комнатах, я ждал, что пыль темноты сгустится до твёрдости камня и в ней окаменеет всё живое, окаменею я. Мне всегда хотелось пощупать тьму, я протягивал руку в неосвещённые углы и, осторожно сжимая пальцы в кулак, ощущал кожу ладони неприятный, влажный холодок. Темнота – это копоть надзвёздного пожара, разрушающего всё видимое в чёрную пыль.

Я знаю, что эти представления чрезмерно сложны для мальчика десяти – тринадцати лет, но мне кажется, что именно таковы они были у меня в те годы.

А наиболее, почти до безумия, пугал меня свист и вой зимних вьюг. В дьявольские ночи, когда всё на земле бешено кружится, качаются деревья, точно стремясь сорваться с земли и улететь куда-то в облаках снега, в эти ночи мне казалось, что некие злые силы решили опустошить землю, сдуть с неё города, леса, людей и оставить только меня одного в мёртвом молчании, среди белой, холодной пустыни.

брание сочинений в тридцати томах. Том 16. Рассказы, повести 1922–1925. Максим Горький gorkiymaxim.  
Грудь моя наполнялась мучительным ощущением неизмеримой пустоты, в ней, как мошка между небом и морем, повисло и трепещет моё ужаснувшееся сердце. Проклятый насмешливый свист ветра пронзительно раздаётся внутри меня, морозит и ломает тело моё. Я прятал голову в подушку, затыкал уши пальцами и всё-таки слышал этот опустошающий, убийственный свист в груди моей.

Можно подумать, что я был мальчик болезненный, но это не так; сильный, хорошо упитанный, я казался рослее и старше моих сверстников, и меня считали не по возрасту серьёзным.

Да, я был физически здоров и думаю, что источник страха пред явлениями природы лежал именно в здоровье моём, – это естественный, биологический страх человека пред непонятным ему и угрожающим гибелью. Я уверен, что больной не может ощущать страха с тою силой, с какой ощущает его здоровый человек.

Один у матери, я не помню отца, епархиального архитектора, он умер, когда мне было четыре года. Его заменял мне дядя, брат матери, священник, вдовец; он любил и баловал меня так же, как мать, горничная Дуня, водовоз Никон и все другие люди нашего дома.

– Зачем нужны вьюги? – спрашивал я дядю.

Большой, тучный, очень красивый и весёлый, отличный гитарист, азартный картёжник, он ласково обнимал меня и говорил что-нибудь утешительное, но не утешавшее:

– Так установлено природой, сообразно воле божией.

И, поглаживая волосы мои, обращался к матери:

– У него философический наклон ума.

Он беседовал со мною всегда очень охотно, и я любил слушать его плавную речь, мягкие, круглые слова, его рассказы о трёх силах, управляющих миром: боге, природе и разуме человека. Но я не мог понять таинственной связи этих сил, и чем больше слушал, тем далее, в сумрак непонятного, уходил бог, тем более страшной казалась природа и неясной роль разума.

У меня возникла грубая, но мучительно навязчивая аллегория: природа – это прачка Карасёва, огромная, грязная баба по прозвищу – Мокрея. Она жила на дворе нашего дома рядом с конюшней. Лет десять наблюдал я её, и мне кажется, что за это время её толстое, красное лицо, с насмешливым взглядом наглых, жирных глаз, – не менялось. Ей было лет сорок, и, неутомимая в труде, она была так же неутомима в разврате. Как многие женщины её возраста, она болела эротической болезнью – страстью к юношам, которых она растлевала с той же ненасытностью, как это делают сексуально больные мужчины, растлители девственниц.

Циничная, хитрая, в трезвом виде она была слащаво ласкова, её певуче-фальшивый голос звучал виновато, лицо становилось ещё шире, а наглые глаза конфузливо улыбались.

Но почти каждую субботу, к вечеру, она неистово напивалась и ею овладевали припадки бессмысленного буйства. Обнаруживая силу здорового мужика и стихийное стремление разрушать, она била трёх товаров своих, таких же грязных баб, била посуду, ломала стулья, скамьи, однажды изрубила топором бочку водовоза Никона, богобоязненного старика, молчаливого, кроткого, всегда летом одетого в белое, точно покойник.

Однажды, когда она, связанная по рукам и по ногам, лежала на земле у двери конюшни, я слышал, как Никон сказал ей:

– Жизни ты не жалеешь, Мокрея!

Она хрипло ответила:

– А – что мне жизнь? Эка штука – жизнь!

В часы, когда она буйствовала, на дворе являлся человеческий разум в лице

брание сочинений в тридцати томах. Том 16. Рассказы, повести 1922–1925. Максим Горький gorkiymaxim. городского, он молча ударом кулака сваливал Мокрею с ног, туго сжав губы, мычал и связывал прачке руки, ноги жгутами из грязных простынь, верёвками. Она никогда не сопротивлялась ему, а только бормотала, усмехаясь:

– Ну, ну, вяжи! Вяжи, дьявол...

Городовой сопел, опутывая её верёвками, и приговаривал сквозь зубы:

– Я т-тебя знаю, я т-тебя...

Не один я находил, что пьяная прачка – страшна. Я безумно боялся её, она возбуждала у меня чувство острого отвращения, непобедимой брезгливости.

– Зачем живёт она? – спрашивал я дядю, он отвечал, лаская меня:

– Сего вопроса разум не решает; на вопрос – зачем? – мы не находим иного ответа, как: это есть воля божия.

Не стыжусь сознаться, что грубо аллегорическое уподобление природы прачке Мокрее, а человеческого разума – татарину полицейскому держалось у меня даже в годы юности моей, а может быть, я и сейчас не свободен от этой аллегии. И, разумеется, она усиливала, углубляла мой страх пред явлениями жизни, слишком явно неразумными и враждебными мне, человеку.

Когда я узнал, что комар может заразить меня лихорадкой, а мыши разносят чуму, – это поразило меня. И ничтожнейший комар – враг мой, и трусливая мышь – тоже враг?

Я одолевал дядю детским вопросом – зачем? – и наконец рассердил его.

– Вот что, сударь, – сказал он, сдвинув густые брови свои, – мальчику твоих лет умничать не надлежит так надоедно. И, собственно говоря, тебя надо бы за это высечь. Отвяжись.

Мать тоже говорила мне:

– Перестань ты приставать к дяде. Что ты всё спрашиваешь о пустяках? Нехорошо.

Но, говоря так, они продолжали хвастаться пред знакомыми пытливостью моего ума. Развивая этим моё самолюбие, мать и дядя в то же время охлаждали моё отношение к ним. Я уже чувствовал себя умнее моих сверстников, и у меня не было товарищей среди них. Конечно, в гимназии заметили, что я труслив, и жестоко дразнили меня. К тому же я был тяжёл, неловок; игры казались мне опасными и не увлекали меня; я боялся междоусобных драк в гимназии, а вражда мальчишек улицы с гимназистами напоминала мне инстинктивную вражду дикарей Густава Эмара к европейцам. Таким образом я очень рано почувствовал гордость одиночества и смутно понял значение его как единственной области, где свободно воспитывается независимая личность.

Я был средним учеником, учился честно, хотя без увлечения. Естественные науки, о мудрости которых с уважением говорил дядя, не гасили моего страха пред явлениями природы, даже не уменьшали его. Науки эти очень воодушевлённо преподавал молодой учитель Жданов, кругленький, бойкий человек, похожий на обезьяну; гимназисты дали ему прозвище Мяч. У него была какая-то своя гипотеза строения материи, он обожал электричество и кричал на уроках:

– В электрической энергии скрыты все загадки жизни, и скоро мы разрешим их!

Был он чудаковат, влюбчив, почти каждую весну разыгрывал новый роман; он казался мне легкомысленным, я видел в нём что-то общее с клоуном и был обижен им. Однажды, на уроке, я не мог понять чего-то, это рассердило Жданова, и он сказал мне:

– Ты, бесспорно, трудолюбивый юноша, но – не любишь науку. И вообще я не вижу: что, собственно, любишь ты? На мой взгляд, тебе следовало бы учиться не здесь, а в семинарии, да.

Учителем истории был Милий Новак. Высокий, костлявый, сутулый, с маленькой, лысоватой головой, безволосым лицом старой девы и огромным кадыком, он казался

брание сочинений в тридцати томах. Том 16. Рассказы, повести 1922–1925. Максим Горький gorkiymaxim. мне жутко уродливым. Почти треть его лица закрывали круглые, тёмные очки в роговой оправе. Был неряшлив, рассеян, ходил неуверенной, качающейся походкой; каблуки сапог его всегда стоптаны, а брюки на коленях смешно пузырились. Я заметил, что он боится лошадей. Прежде чем перейти через улицу, с панели на панель, он долго и нерешительно оглядывался, ждал, когда проедут извозчики, и потом, наклонив голову, быстро шагал, качаясь, почти падая.

Ровным, бесцветным голосом он скучно рассказывал историю и несколько оживлялся только тогда, когда оправдывал жестокость царей. Говорил он, засунув руки глубоко в карманы, но тут медленно вытаскивал левую руку, поднимал палец, загнутый крючком, на уровень плеча и внушал:

– Пётр Великий был жесток, но этого требовали обстоятельства.

В его сухом изложении история заинтересовала меня обилием страшного. Должно быть, я на уроках Новака особенно подчёркивал факты жестокости, – выслушав ответы мои, он утвердительно кивал головой:

– Так. Именно – так. Царь Иван Грозный был вынужденно жесток, чего требовали обстоятельства эпохи. Так.

Иногда он ставил меня в пример ученикам, и это усиливало неприязнь гимназистов ко мне.

Я был в шестом классе, когда Новак, встретив меня на улице, предложил мне зайти к нему.

– Вечерком, завтра, попозднее, – вполголоса добавил он.

Он жил во флигеле, среди сада, на хлебником у какой-то осанистой безмолвной старухи. Его полутёмная комната была завалена книгами, среди её огромный стол, тоже нагруженный кучами книг, у стены кровать, в углу шкаф для платья. В саду, во тьме, лениво сыпался тёплый дождь, странно звенела листва деревьев; этот суховатый, шёлковый звук показался мне совершенно необходимым в комнате Новака, всегда наполняющим её сумрак. В открытое окно влетали серые бабочки и кружились над столом, над лампой, прикрытой зелёным абажуром.

Наклонив зелёную лысину, глядя в стол, Новак, согнувшись дугою, тёмный, неподвижный, тихо убеждал меня готовиться на историко-филологический факультет.

– У вас, Макаров, есть вкус к истории, и я предлагаю приватно заняться с вами этой наукой, буду давать вам книги, руководить вашим чтением. Так.

Мне польстило, что он говорит со мною на «вы», и я принял его предложение. Он взял со стола небольшую книжку в переплёте красного сафьяна, погладил её ладонью.

– Вот книга, которую надо внимательно прочитать. Пожалуйста, обращайтесь с ней осторожно. Потом я побеседую с вами о ней. Так.

Это была книжка Карлейля «Герои и героическое в истории». Я не очень любил читать серьёзные книги, меня вполне удовлетворяли романы приключений, переводы с иностранных языков. Но эту книжку я прочитал добросовестно и хотя не помню, понравилась ли она мне, однако в ней было нечто удовлетворяющее мой литературный вкус, воспитанный на Робинзоне Крузо и приключениях героев Купера, Майн-Рида, Густава Эмара.

Я был очень поражён, когда Новак раскрыл предо мною философию этой маленькой книги. С холодной, угнетающей силою, негромко, но тем более веско он говорил, что народные массы, в сущности, безличны, духовно примитивны и однообразны; они желают только одного: увеличить внешние удобства жизни, но им чуждо стремление познать её тайны, им неведомо и враждебно творчество. Даже улучшить грубые и тяжкие условия жизни своей они самосильно неспособны, – массы не умеют изобретать, выдумывать, – творит, изобретает, законодательствует всегда только человек, единица, личность.

– Народ всегда жил эксплуатацией духовной энергии личности, – сухо звучали памятные мне слова, и пред лицом моим шевелился крючковатый палец, точно

брание сочинений в тридцати томах. Том 16. Рассказы, повести 1922–1925. Максим Горький gorkiymaxim. намереваюсь вырвать глаза мне. Его кадык неприятно раздувался под напором слов.

– Без Ивана Грозного и Великого Петра, без немецкой принцессы Екатерины, Пушкина, Гоголя, Достоевского – мир не знал бы и не чувствовал России. История всегда дело единиц, результат творчества героев. Италию создали Данте и Петрарка, Англию – Мильтон, Юм, Гоббс...

Он произносил имена людей, о которых я ничего не знал, кроме имён их. Он спрашивал:

– Чем была бы Франция без Рабле, Декарта, Вольтера, Германия без Гёте, Фихте, Вагнера? Чем были бы нации Европы без поэтов и мыслителей, которые воодушевили их, дали им каждой своё оригинальное лицо? Взгляните на чёрные племена Африки, на калмыков, киргиз, башкир...

Положив руки на стол, он быстро, нервно шевелил пальцами и всё понижал голос, – это заставляло меня особенно напрягать внимание, убеждая, что я слышу тайны, неведомые никому, кроме Новака. Помню, мне очень хотелось, чтоб он снял очки, – они были единственным, что осталось мне знакомо в этом человеке. Я никогда не видел его злым, даже раздражённым; сухой, скучный, он вёл себя в классах всегда спокойно и ровно, как мастеровой, исполняющий привычную, надоевшую ему работу. Но в этот вечер он неузнаваемо изменился, в его приглушённых словах я слышал гнев, негодование, и казалось, что он жалуется, разоблачая предо мною обман, оскорбительный для него. Речь, видимо, опьяняла его, он судорожно изгибал длинное тело своё, и между слов, в кадыке его, булькал странный, жуткий звук, свойственный заикам:

– Уп-уп-уп...

– Гений независим от народа, – говорил он. – Величайший гений наш – Пушкин – был потомком араба. Жуковский – полутурок. Лермонтов – шотландец, – так! Вы – понимаете? Гений – вне нации, он выше нации, всегда выше! В каждой стране вы найдёте вождей чужой крови. Безразлично, кто одухотворяет народ и ведёт его за собою: еврей Христос или грек Платон, индус или китаец Лао-Дзе. Руссо, Толстой – одного духа и, в сущности, одного языка. Герои, вожди – племя личностей, не имеющих почти ничего общего с массами...

Я чувствовал в его словах какую-то правду и чувствовал, что она меня обязывает к чему-то, это неприятно волновало меня.

– Человек и люди – не одно и то же, нет, – слышал я. – Человек – враг действительности, утверждаемой людьми, вот почему он всегда ненавистен людям. История – это вражда одного против множества, вражда, разжигаемая в народе – любовью к покою, в человеке – страстью к деянию. История всегда поэтому будет исполнена жестокости и не может, не может быть иной. Так.

Провожая меня, он шептал:

– Не верьте социалистам, их учение опасно, насквозь пропитано ложью, это учение – против человека, – понимаете? Не верьте.

И ещё долго говорил он о социалистах что-то пугающее, чего я, утомлённый, уже не понимал. Помню его лёгкую, но цепкую руку на плече моём, дрожь его пальцев и чёрный блеск за стёклами очков – всё это было неприятно мне.

Разумеется, я упростил его мысли, вероятно, сделал их грубее, – мне было семнадцать лет, когда я услышал впервые эти мысли, незнакомые мне. Идя домой безмолвными улицами, я чувствовал, что мне по-новому жутко. До этого вечера жизнь была проще для меня. Я ведь не ощущал в себе ничего героического, никогда не мечтал о роли борца с кем-то или с чем-то за что-то. Я был обыкновеннейший парень, среднего роста, полный, избалованный матерью, мать очень заботилась о моём здоровье и заразила меня почти болезненной мнительностью. Мне нравилось лежать на диване с книгой в руках, удивляться ловкости или храбрости героев, ощущать моё различие от преступников, приятно было жалеть несчастных и радоваться, когда судьба, затейливо помучив, улыбалась им. Интересно было узнавать, что существуют люди, которым нравятся тревоги и опасности жизни, люди, которым приятно заботиться о счастье ближних, но – лично мне эти люди были не нужны.

Новак и Карлейль были тоже совершенно не нужны мне. Дома, лёжа в постели, я угнетённо думал: какое мне дело до героев и народов? Я был уверен, что могу прожить, не соприкасаясь с ними, ведь жили же в городе, вокруг меня, десятки тысяч людей, которым незнакома и не нужна философия Карлейля, не нужны герои, вожди, социализм и всё, что так нелепо волнует Новака.

Мне было даже немного смешно вспоминать его тревожные слова о социалистах, – я знал, что в седьмом классе гимназии есть несколько заносчивых и надутых парней, которые считали себя социалистами. Почему-то мне особенно не нравилось, что во главе их стоял сын уездного предводителя дворянства Болотов, парень дерзкий и назойливый. Он был героем гимназии: вытащил из реки утопавшую бабу, кажется пьяную, и поэтому ходил походкой матроса, широко расставляя ноги, насвистывал и плевал сквозь зубы.

Был и в моём классе герой – Рудомётов, сын судебного следователя, красавец, силач и пьяница. О его распутстве сложились среди учеников легенды; его боялись, ему завидовали, а он смотрел на всех прищуренными глазами, с пренебрежением необыкновенного человека и, отвечая учителям, ворчал что-то поистине необыкновенное, над чем единодушно хохотали не только ученики, но иногда и сами учителя. Только Новак не смеялся, он вполголоса говорил:

– Так. Ну, это вы придумали для того, чтоб смешить людей. Я ставлю вам двойку.

Мне нравилось независимое отношение Рудомётова к учителям, и я завидовал его умению говорить какие-то особенные слова, они клеивались мне в память. Однажды, на уроке Жданова, он сказал:

– Я предпочитаю кривые линии, они кажутся мне живыми, способными к самостоятельному движению, тогда как прямые безнадежно мертвы.

Над этими словами тоже хохотали.

Жданов восхищался им и кричал:

– У вас хорошая башка, но вы проклятый лентяй, преступник вы.

Думая о словах Новака, я вспомнил всех «героев» гимназии, попытался вообразить себе их в будущем творящими историю и – решил отделаться от Новака. Для этого я избрал простой способ – перестал учить историю. Первое время он как будто не замечал этого, потом стал говорить:

– Так. Ну, это очень плохо.

Вскоре он снова позвал меня к себе и тем тоном, каким доктора говорят с больными детьми, стал выпрашивать: почему я не учусь? Не помню, что я лгал ему, помню только настойчивое желание рассердить Новака. Это не удалось мне. Схватив меня за плечо, он снова говорил всё о том же: о борьбе народов против вождей и героев своих.

– Всегда побеждает герой, хотя бы он и оказался физически побеждённым, – внушал он мне, а я думал, что, если он снимет очки, предо мною заблестят глаза человека безумного.

Ушёл я от него совершенно уверенный, что этот человек не для меня. Как избавиться от него?

Помогла внезапная болезнь и быстрая смерть дяди: он простудил горло во время крестного хода на иордань, заболел ангиной, затем какой-то идиотский, неуловимый стрептококк проник в мозг его и в два дня убил красивого, здорового человека. Думаю, что никто никогда не чувствовал так глубоко страшную глупость смерти и жалобную беззащитность жизни, как почувствовал это я, когда увидел искажённое, синее лицо дяди, его спутанную бороду и разбросанные по подушке волосы его, – они как будто встали дыбом от ужаса.

Как мрачно звучит колокол, возвещая о смерти священника!

Эта смерть раздавила меня.

я любил дядю. Здоровый, весёлый, надёжный человек, он обладал спокойной уверенностью, что всё в мире идёт хорошо. Смеялся и говорил на ó:

– Хорошо жить умеет тот, кто любит смех.

Теперь уже не спросишь его: зачем нужны стрептококки и любят ли они смеяться? И не услышать ответа баритоном, в котором звучала басовая струна виолончели:

«Ты, сударь, помни: чем больше возникает вопросов, тем глупее становятся они. Это знал ещё Лактанций».

Он любил клеветать на отцов церкви и философов, навязывая им свои шуточные мнения или приписывая мысли одного – другому. Когда же его уличали в ошибках и искажениях, он смеялся, спрашивая:

– Кто страдает от этого? Увеличу ли я маленькие неприятности мира сего, изобразив Платона скептиком?

Он часто говорил:

– Верую, ибо это бессмысленно.

А когда ему указывали, что «это» излишне, он возражал:

– Отнюдь; ибо «это» относится к самой вере.

Его торжественно отнесли на кладбище, зарыли в железную землю, – я стоял над могилой до поры, пока снег не покрыл её. Густо шёл снег в этот день. Из тела моего как будто выпала какая-то кость. Я ослабел, перестал ходить в гимназию, уныние душило меня.

А Новак скоро был вызван в Петербург, там ему предложили работу в министерстве. Провожая его, я с удивлением почувствовал, что отъезд этого человека неприятен мне не меньше, чем было неприятно знакомство с ним. Это, вероятно, потому, что смерть дяди слишком обострила ощущение моего одиночества. Мне был нужен какой-то человек, один человек.

Конечно, у меня были товарищи. Они пили водку, ухаживали за гимназистками, посещали публичные дома. Я не любил водку и боялся заразиться. Мою потребность мужчины охотно удовлетворяла горничная Дуня, женщина лет тридцати, бесстыдная, хитрая и жадная к деньгам. С барышнями я был застенчив, робок, не умел говорить с ними, да и не о чем было говорить, – большинство из них читали не те книги, которые любил я. Когда я говорил, что мне нравятся романы Дюма, они снисходительно и обидно усмехались.

Моя мать любила хорошо покушать, и в этом был главный интерес её жизни; она собирала у себя таких же гастрономов и кормила их, потом каждый из них кормил её у себя.

Красивая, полнокровная женщина, с ласковыми синими глазами, она двигалась лениво, говорила медленно, это придавало ей значительность и нравилось мужчинам.

Когда я был в седьмом классе, мать затеяла роман с врачом, весёлым парнем, только что кончившим учиться. Она была настроена против моего поступления в университет, боялась «политики», была уверена, что я немедленно приму участие в студенческих волнениях и погибну в тюрьме, в ссылке. Ей легко было уговорить меня подождать год, отдохнуть от гимназии, я согласился на это, хотя подозревал, что за этот год мать попытается женить меня. Пыталась, но – безуспешно. Я относился к женитьбе отрицательно. Мой маленький опыт половой жизни внушил мне очень нелестное мнение о ней и привил порядочную дозу, так сказать, физиологического скептицизма. Стоит ли терпеть множество различных неудобств и беспокойств ежедневно, на протяжении долгих лет, для того только, чтоб получить за это минуту приятной судороги? Стоит ли ради этой минуты держать около себя человека иного пола, иной психологии, и притом человека, который почему-то уверен, что он имеет право спрашивать тебя, о чём ты думаешь, что и как чувствуешь? Если б можно было жену, как суп, готовить в кухне, чтоб каждый день она была иного вкуса...

По книгам я знал, что женщины ищут и любят «героев», сильных, красивых мужчин, жизнь, насколько я знал её, утверждала то же самое. Всё, что я читал о «любви», воспринималось мною как выдумка, более или менее неудачная, как фиговый лист, которым пытаются прикрыть отношения грубые и грязненькие, низводящие людей к бесстыдству собак и козлов. В женщинах, даже в девушках, я всегда чувствовал нечто фальшивое, театральное и, не боюсь сказать, паразитивное стремление присосаться к мужчине. И мне казалось, что женщины так часто смотрят в зеркала не потому, что проверяют, в порядке ли оружие их соблазнов, а потому, что они ещё менее, чем я, уверены в реальности бытия своего.

Может быть, эти мысли явились не тогда, когда мне было двадцать лет, а позднее, а тогда я просто не мог вообразить себя мужем и отцом, не мог решиться на поступок, который отнимает у человека его независимость, разрушает его покой.

Через год я был на медицинском факультете, а будучи на втором курсе, оправдал предсказания матери: оказался автоматически вовлечённым в демонстрацию, был полицией загнан вместе с табуном студентов в московский манеж и выслан на родину. Мать, испуганная до истерики, решительно заявила, что уже не пустит меня в Москву и что, если я слушаюсь, это убьёт её. Я не противоречил ей. Университет отталкивал меня своим шумом, политикой, враждою кружков. Было странно думать, что именно в этой раздражающей суете создаются учёные, отсюда исходит духовная сила страны. Медицина оказалась наукой не для меня. Мне противно было рыться во внутренностях вонючих трупов и было страшно воображать себя трупом, из которого ножичком глупой формы вырезывает сердце весёлый молодой человек с папироской в зубах. Эти молодые люди с папиросками, с прищуренными от дыма глазами, пугали меня не менее, чем трупы, два-три дня тому назад такие же живые и, вероятно, столь же глупые, как сами будущие врачи тела. Препарируя, они шутили, смеялись, и мне казалось, что они рисуются друг пред другом грубо сделанной небрежностью их отношения к вопросу о тайне жизни, о душе, куда-то ускользнувшей из груди безобразно изрезанного гниющего мяса.

Я, разумеется, видел, что некоторые из них воодушевлены искренним желанием изучить организм человека, – тем более непонятно было мне почти полное отсутствие у них интереса к таинственной силе, которая двигала, побуждала чувствовать и мыслить этот организм.

Вот пред ними лежит на столе тело капризной и весёлой девицы Клавдии Ивановой, она убила себя два дня тому назад, выпив раствор меди в соляной кислоте. Глаза её выкатились, брови неровно приподняты, одна выше другой, веки туго натянуты на глаза, вздутые ужасом и болью. Губы разодраны неммым криком, но мне кажется, что я слышу этот крик, он всё растёт, распространяется в воздухе едким запахом, вызывая у меня головокружение и тянущую все жилы мои тошноту.

Мой земляк, Рудомётов, вскрывая позеленевший живот маленького трупа, говорит ворчливо, как всегда, и более, чем всегда, небрежно:

– Проституция – профессия истеричек...

Я знаю, что он и ещё один студент, стоящий у стола, спрятав руки за спину, были знакомы с этой девушкой и, наверное, оба пользовались телом, которое Рудомётов теперь так равнодушно режет. Я не жду, чтоб он или кто-то другой сказал о погибшей девице тихое слово человеческой жалости – ненужное, но смягчающее жизнь слово; я вообще ничего не жду и не хочу от этих людей, но быть среди них невыносимо для меня. Я ухожу, и вслед мне Рудомётов бросает насмешливое замечание:

– Плохая голова, но обладает хорошим носом.

Ко мне вообще относились насмешливо, я был не «компанейский» человек. А Рудомётов – дерзок, груб, он хороший оратор, играет видную роль в группе студентов-«академиков», врагов «политики». Его одни – боятся, другие ненавидят, третьи любят, как собаки хозяина.

Итак, я расстался с университетом без сожаления. Через несколько месяцев доктор, друг сердца моей матери, устроил меня в канцелярию губернатора, – брат доктора был чиновником для особых поручений. Я незаметно просидел в канцелярии два года, там застало меня бешеное время японской войны и революции 1905–6 годов.



Губернатор, хворый старичок с лицом обиженного человека и надутыми губами, был поглощён одной заботой: найти такой панцирный жилет, который не пробивала бы пуля браунинга. Мой непосредственный начальник, брат доктора, мужчина лет тридцати пяти, туго накрахмаленный, вылощенный и лысый, отчаянно играл в карты, страдал боязнью пространства и коллекционировал фарфор. Сослуживцы мои – полускоты, полупризраки.

Только один из них, какой-то безродный мальчишка, Дроздов, чёрненький, юркий недоносок, резко выделялся несносной живостью своей. Он знал всё, что творилось в городе, и ежедневно приносил в полутёмные, прокуренные комнаты канцелярии что-то нервное, царапающее кожу, возбуждавшее тревогу. Сидел он против меня у окна, затенённого густейшей листвою липы, и когда в светлые, но ветреные дни на смуглом, остреньком лице его играли пятна теней, – казалось, что мальчишка этот беззвучно смеётся, выдумывая кошмарное и злое.

Я всегда смотрю – каковы руки человека? Его тёмненькие ручки с тонкими пальцами напоминали остротой узких ногтей лапы хищной птицы. Он постоянно и неумолимо барабанил пальцами или шевелил ими, как бы завязывая и развязывая узлы.

Звериным чутьём несомненного дегенерата он быстро понял меня и, как злая осенняя муха, жужжал целые часы о диком буйстве солдат, возвращавшихся с фронта, о бунтах крестьян, возбуждаемых солдатами, о настроениях в городе, о страхе, который разрастался так, как будто земля потела страхом. Сам он, кажется, был бесстрашен, но ему явно нравилось пугать меня.

– Начинает-цца! – тихонько говорил он, произнося последний слог жутким, противно чмокающим звуком.

– Что – начинается?

Тихонько свистнув, он прятал в бумаги свой острый нос, не отвечая мне. Бумаги он читал и просматривал то одним глазом, то другим, поочередно прикрывая их. Было ясно, что недоношенный человек этот радуется смуте жизни. Он был не из тех, в сущности, равнодушных, а потому безвредных зрителей, которых развлекают пожары, убийства и уличные несчастья, не из тех людей театральной галёрки, которым одинаково приятны и драмы и комедии. Нет, я чувствовал, что смута радует его, он сам способен содействовать развитию драм и даже готов создавать их. Он вызывал у меня ожидание несчастья, которое должно разmozжить мою жизнь.

В этом настроении я был командирован в маленький уездный город, спрятанный в садах, на горе, над рекой. Я остановился в доме исправника, которого изувечили лошади, испуганные крестьянами, из окон этого дома я видел, как мужики жгут усадьбы помещиков.

Ещё с вечера, за рекою и лесом, далеко на юго-востоке тучи покраснели, как будто и там заходило солнце, а когда тьма над лугами стала гуще, над лесом явилась красная пила огня зубцами вверх. Потом вспыхнуло зарево левее первого, ближе к городу, и почти тотчас я услышал странный гул, скрип колёс, лай собак. Вот почти на самом берегу реки вспыхнул стог сена, ещё один, ещё, эти три костра осветили дорогу, на ней вереницу телег и муравьиное шествие толпы чёрных людей. Из темноты высунулась длинная труба завода, выросло на мохнатой земле кирпичное здание, вспыхнул серый длинный сарай, похожий на крышку огромного гроба, и осветился белый дом с колоннами и террасой. Стало видно воду реки, она покраснела и, казалось, кипит. Я смотрел на всё это, как сквозь сон.

Разбудили меня какие-то чёрные фигуры, пройдя под окном.

– Равномерно действуют, – сказала одна из них.

Эти слова сделали зрение моё невыносимо острым, и всё, что я видел, полилось в душу мне, затопляя её ужасом. А в памяти звучало противное слово:

«Начинает-цца!»

Террасу дома захлестнула тёмная волна людей; был ясно слышен дребезг разбиваемых стёкол, треск переплётов рам, воющие крики, бессловесный говор. На красной воде реки появились быстро и криво плывущие лодки, мелькали вёсла, как ножки жуков; я

брание сочинений в тридцати томах. Том 16. Рассказы, повести 1922–1925. Максим Горький gorkiymaxim.  
догадался, что это едут на грабёж горожане.

Всю ночь, до утра, я стоял и сидел у окна, наблюдая муравьиную работу людей. Хорошо освещённые огнём, они тащили во все стороны угловатые вещи, огромные узлы, толкали друг друга и, кажется, дрались. Помню: двое вцепились в какой-то белый ком, а он вдруг лопнул и осыпал их пуховым снегом. Неестественно красная лошадь промчалась берегом реки. Огонь, красной метлюю, быстро сметал постройки с земли, хотя упрямо сеялся мелкий дождь, и пропитанная дымом тьма становилась всё более густа. Огонь раскалял её, рвал, растекался всё шире, а тьма, сгущаясь, создавала багровые и чёрные фигуры людей, лошадей, эти призраки минуту, две судорожно жили и снова исчезали, прятались в темноте. Я вспомнил мою детскую боязнь темноты, но теперь мне хотелось, чтоб тьма стала ещё гуще, тяжелее, чтоб и огонь и люди, вызвавшие его, задохнулись в ней, исчезли навсегда. И когда, под утро, дождь усилился, я смотрел почти с радостью, как огонь, прижимаясь к земле, умалется, прячется, а эти чёрные люди и лошади исчезают.

В полдень на площади города было собрание благомыслящих людей, они убили, кажется, двух или трёх сторонников бунта, обошли город с иконами и хоругвями, а вечером, когда я уезжал, городок был пустынен и казался онемевшим от страха пред ночью.

Я тоже чувствовал себя опустошённым, у меня онемели мысли. В памяти зрения копошилась чёрная толпа людей, разжигая огонь, уничтожая плоды своего труда. Об этот факт несомненного безумия мой разум ударился точно о камень, наполнив всё существо моё злой болью, вызывая страх пред людьми.

По дороге в губернию я встретил отряд пехоты, впереди его ехал верхом длинноногий поручик с рыжими усами, солдаты бодро месили грязь и пели глупую песню о чёрной галке. Узнав от меня, что он опоздал, поручик обрадовался, меня очень поразила его бесстыдно весёлая улыбка. И, возвратясь в город, я стал замечать, что сторонники конституции, озабоченно расспрашивая меня о событиях в уезде, тоже не могут скрыть радостный блеск глаз. Их озабоченность казалась мне неискренней, тревога – фальшивой. Даже в канцелярии у нас явилось какое-то новое, легкомысленно-шутливое и неприятное настроение, а Дроздов, ёрзая на стуле, злорадно улыбался и стал ещё острее, ещё более раздражающим.

Я нашёл нужным поговорить о нём с начальником охраны, полковником Бер, за Дроздовым установили надзор, вскоре произведён был обыск у него, и – мой инстинкт не обманул меня. Были установлены связи Дроздова с одною из революционных организаций, произведены аресты, – я с изумлением узнал, что среди арестованных оказался наиболее опасным человеком дьякон, воспитанник дяди моего.

Не хочу – тяжело и скучно – говорить о событиях всем известным, о позорной слабости правительства, о его ошибках, которые разожгли огонь бунта.

То, что видел я своими глазами, было отвратительно. Видел я, как мимо окон нашего дома шли с красными флагами рабочие фабрики спичек и мыловаренного завода, – толпа грязных, полудиких людей; шли они, боязливо поглядывая в окна домов, точно ждали, что их будут обливать кипятком. Роль козла в этом стаде баранов играл хромой старик Барамзин, административно ссыльный, корреспондент радикальных газет; одним из флагов размахивал провизор Гольдберг, – начиная со времён Христа без еврея нет несчастья. С боков толпы, загоняя её на путь преступления, бегали, как собаки пастуха, молодые люди, неизвестные мне.

Это было такое же муравьиное шествие, как там, в уезде, за рекою, только здесь фигуры людей казались крупнее и страшнее. Дул ветер, сердито развевая красные флаги, нечёсанные волосы и лохмотья. Люди шли нестройно: одни – слишком быстро, другие – осторожно замедляя шаги; мне казалось, что все они, с одинаковой силой испытывая страх, то хотят скорее столкнуться с опасностью, то думают, как миновать её.

Собственно говоря, сама толпа не пугала меня, но страшны были безумцы, которые вели её. И, когда я представил себе, что, может быть, в этот день и час такие безумцы ведут слепые толпы по улицам всех русских городов, чтобы обрушить их на пошатнувшуюся власть, – я почувствовал в груди тот зимний свист, который в детстве вызывал у меня безумный ужас.

На площади, перед городской думой, старика Барамзина убил палкой рабочий

брание сочинений в тридцати томах. Том 16. Рассказы, повести 1922–1925. Максим Горький gorkiymaxim. ассенизационного парка, Гольдберга растерзали ломовые извозчики, а толпа разбежалась. Но на другой день в городе снова ходили по улицам люди с красными флагами и люди с портретами царя. Была брошена бомба, взрывом её оторвало ногу конному полицейскому, ранило ещё несколько человек и убило еврейку-гимназистку. Вообще – делали всё, что считалось необходимым делать в те безумные дни. Я, внутренне разбитый, больной, не выходил на улицы.

С неотразимой силою вспомнил я речи учителя Новака и понял, что он говорил великую, важнейшую правду.

«История – дело единиц, результат творчества героев».

Было очевидно: людьми руководит человек. Толпу рабочих вёл хромой старик, жалкий старик. Но ничтожество этого героя объяснялось ничтожеством толпы, и я не мог отказать в героизме человеку, который, ведя людей, может быть, на смерть, идёт первым впереди их.

Я долго и хорошо думал на эту тему. И естественно, что, не будучи «героем», я стал искать героя, чтоб честно служить ему, чтоб спрятать около него мою жизнь. Но – кто этот герой и где он?

Мне показалось, что я найду его в лице полковника Бер. Его тайная, опасная деятельность по охране государственного порядка отвечала и моему настроению и тем вкусам, которые с отрочества были развиты у меня чтением уголовных романов. Полковник был и внешне обаятелен: высокий, сильный человек, с породистым лицом, его серые глаза спокойно улыбались, говорил он снисходительным тоном, и в его шутках звучала насмешливость смельчака. Рассказывали, что он, переодетый рабочим, загримированный, лично посещал собрания революционеров и что в их среде у него была любовница.

Я предложил ему мои услуги. Бер долго выспрашивал меня о моей жизни, знакомствах, и ответы мои не удовлетворили его. Без сожаления, как я это чувствовал, он сказал, что хотя у меня не плохая позиция среди чиновников, однако ему кажется, что я слишком скромнен, застенчив и недостаточно гибок.

– Вам трудно будет проникнуть к революционерам, вы чрезмерно прямолинейны. Но и проникнув к ним, вы, наверное, недолго удержитесь среди них, вас хватит на один, два раза.

В словах его было что-то скучное, ремесленное, пожалуй, он говорил, как охотник говорит о зверях:

– Революционеры – парни очень ловкие, я вам скажу! Это весьма неглупые парни.

Подумав, раскуривая сигару, он предложил:

– Осведомляйте меня, что думают в кругу ваших знакомых, годится и это.

А провожая, неожиданно и устало сказал:

– Правду говоря – всё это, батенька, не то! Не то. Дело – очень просто: нас хотят ограбить, раздеть догола, а мы предлагаем снять с нас пиджаки, но оставить рубахи. И, если мы хотим жить, как жили, нам необходим решительный человек, способный совершить чудо, хотя бы чудо жестокости! Вот и – всё.

Я ушёл от него, поняв, что он не тот, кто мне нужен, и вскоре написал Новаку письмо, изложив моё настроение и желания мои. По статьям либеральных газет я знал, что Новак играет видную роль среди монархистов, и был уверен, что получу от него хороший совет. Я получил телеграмму в три слова:

«Выезжайте немедленно жду».

И вот я снова пред этим человеком. Пять лет не видал я его, но он не изменился за это время: всё так же треть его детски маленького лица скрывали тёмные очки, так же неряшливо был завязан галстук, и как будто все эти годы он ни разу не снимал с плеч сюртука, не переменял брюк. Он сильно похудел, потемнела кожа щёк и на лбу, а редкие, почти незаметные волосы на голове приняли цвет пепла. Даже комната его не отличалась от полутёмной конуры, которую он занимал в нашем

брание сочинений в тридцати томах. Том 16. Рассказы, повести 1922–1925. Максим Горький gorkiymaxim. городе, так же темна, завалена книгами, и стол посреди её. Только окна её смотрели не в сад, а упирались в стену каменной ямы, в стене – арка, проезд на другой двор, над аркой – окно с грязными стёклами. Очень уныло и жутко.

Оглушённый бешеным гулом огромного города, ослеплённый его туманом, я сидел у стола и душевно отдыхал, слушая тихий, знакомый мне голос. Был день, часа три, но на столе среди книг уже горела лампа, а Новак, сунув руки в карманы, качаясь, шаркая растоптанными туфлями, ходил по комнате, спрашивал меня:

– Чего хотите, что защищаете вы?

Не думая, неожиданно для себя, я нашёл точные слова ответа:

– Я защищаю себя от всего, что враждебно мне.

– Так, – сказал он, остановись предо мною и наклонив голову. – Именно – так. Это – ответ человека.

В крепких формах он повторил всё то, знакомое мне, над чем я, последнее время, упрямо и много думал. И затем, присев на край стола, нагнувшись надо мною, отбивая ногою ритм речи, он сказал приблизительно следующее: неглупые, честолюбивые люди, не имея в жизни места, достойного их, люди, слишком уверенные в силе разума и забывающие неразумность жизни, стремятся к власти, – законное стремление всякого человека, который сознаёт себя значительнее, сильнее обыденных людей. Но они делают ошибку, которая неизбежно будет иметь роковые последствия для всей медленной и трудной работы вождей человечества, уверенно организующих государства на незыблемых основах взаимопомощи. Ошибка в том, что социалисты, революционеры, возбуждая в массах волю к власти, думают, что они возбуждают энергию разума, тогда как на деле ими разжигаются только инстинкты: зависть, злоба, месть.

– Все инстинкты, – сказал он и, выдернув руки из карманов, поднёс к лицу моему десять крючковатых пальцев.

– В массах, в народах нет инстинкта социальной цели, нет его, он ещё не развит. Человеку массы не нужно государство, так же не нужно, как мне и вам. Но я и вы – сознательно миримся с необходимостью государственной организации, народу же это сознание чуждо. Все люди – анархисты по природе своей, и чем дальше, тем более анархисты, – так. Но человек знает, что для безвластия ещё не наступило время. Оно наступит не ранее, когда массы раздробятся на единиц, сознающих силу свою, своё значение и право жить по законам духа своего.

Ещё ниже наклонясь ко мне, он спросил:

– Вы понимаете, почему именно преступна ошибка социалистов, понимаете, почему именно монархия, безжалостная, бестрепетная власть, – всего быстрее может привести нас к анархии, безвластию, к абсолютной свободе личности? Подумайте, и вам станет ясно, что это не парадокс. Все новорождённые истины кажутся парадоксами, а самая изумительная из них – та, что человек пребудет врагом людей до поры, пока людские массы не раздробятся на миллионы самодовлеющих личностей.

Он соскользнул со стола и, шагая по комнате, длинный, плоский, как тень, казался в сумраке существом не этого мира. Было в нём что-то призрачное, и напоминал он одного из тех отречённых, страшных людей, чьи образы неясно мелькали предо мною в книгах, чья жизнь всегда была одинока, непонятна людям, а судьба – безжалостна.

Он строго советовал, вернее – приказывал мне читать Достоевского, Константина Леонтьева, Ницше.

– Так, – говорил он. – Именно – этих! Анархистов – по существу духа, монархистов – по сознанию необходимости быть таковыми.

Потом он сообщил мне, что есть человек, которому нужен скромный и верный секретарь.

– Теперь у него работает Рудомётов, помните – наш?

брание сочинений в тридцати томах. Том 16. Рассказы, повести 1922–1925. Максим Горький gorkiymaxim.  
– Рудомётов? – спросил я.

– Так. Рудомётов. Но это человек рассеянный, небрежный. И к тому же он хочет жениться... Впрочем – он талантлив.

«Рудомётов! – думал я, шагая в тумане, бессильно освещаемом радужными пузырями электрических фонарей. – Рудомётов – это человек, который сказал, что у меня плохая голова. Теперь кто-то должен убедиться, что моя голова лучше головы Рудомётова».

Этот кто-то оказался скуластым человеком с густой, чёрной бородой и неуклюжим телом медведя. В бороде его топырилась толстая, очень мясная нижняя губа, а верхнюю скрывали тяжёлые усы. Неприятны были его уши, очень большие, они торчали настороженно, как будто слушая то, что я думаю, а не то, что говорю. Смотрел он исподлобья, тем взглядом, направленным вдаль, какой я иногда замечал у машинистов железнодорожных паровозов. Руки же его были так выхолены и вымыты, что кожа их почти блестела, точно кожа лайковой перчатки.

Обтачивая ногти, он сказал мне чётко, спокойно:

– Вы отлично рекомендованы и должны оправдать это. Я требую от вас исполнительности и скромности, больше – ничего. Прошу иметь в виду: я строг.

Он внимательно притиснул пальцем кнопку электрического звонка, мне показалось, что он сделал это с тем особенным удовольствием, с каким звонят дети. Вошел Рудомётов.

Мой патрон кивком головы указал ему на меня:

– Ваш заместитель. Вы только что явились, кажется?

– Да, – ответил Рудомётов.

В маленькой, заставленной шкапами комнате, с одним окном на площадь, он изумлённо воскликнул:

– Вы?

– Как живёте? – спросил я.

– Вы, – повторил он, явно иронически осматривая меня. – Это странно.

Я не спросил его, почему – странно, а он не ответил на мой вопрос. После я узнал, что он тоже ушёл из университета, не кончив учиться, и почему-то уехал в Персию, где жил года два. Раскладывая предо мной пачки каких-то бумаг, он озабоченно сказал:

– Возможно, что тут завалились мои личные бумажонки, в жёлтом пакете, так, если вы найдёте их, – позвоните мне, я зайду за ними.

И, закурив папиросу, натягивая перчатку, он небрежно и, конечно, неискренно пожелал мне успеха. Да. Люди трусливые и застенчивые очень наблюдательны.

Я подошёл к окну, посмотрел вниз, на площадь, – по ней во все стороны шагали люди, некоторые – подпрыгивая, точно лягушки. В тумане все они казались широкими, круглыми, точно разбухли, и мне было приятно, что я не среди них, а над ними, один в строгой, чистой и сухой комнате, куда почти не достигал воющий шум странного города.

Затем я начал разбирать бумаги, знакомясь с ними и очень желая найти пакет Рудомётова. Не нашёл. Почти два года я надеялся, что этот жёлтый пакет попадёт в мои руки и я узнаю, почему Рудомётов говорил о нём так озабоченно, чего он боялся? Но Рудомётов утонул, катаясь на яхте. Я ожидал, что он должен был кончить хуже.

Приятно было разбирать бумаги, читая некоторые. Меня очень увлёл чей-то проект реорганизации государства: предлагалось разделить Россию на области и поставить во главе каждой из них великого князя, с правами вице-короля. Это напоминало

брание сочинений в тридцати томах. Том 16. Рассказы, повести 1922–1925. Максим Горький gorkiymaxim. эпоху уделов, полную романтизма.

Увлечённый чтением, я не слышал, как патрон отворил дверь в мою комнату, я очень испугался, когда в тишине раздалось его чёткие слова:

– Нет надобности читать документы. В папках должны быть описи с подробным перечнем содержания каждой. Это вы и должны знать. Больше этого – излишне и преждевременно.

В таком тоне, спокойно и строго, он говорил минут пять, разглядывая ногти свои, поглаживая тыл одной ладони ладонью другой. Он любил свои руки.

– Вам необходимо всегда иметь пред глазами список лиц, деятельность которых меня особенно интересует. Нужно следить за всем, что говорится и пишется ими и о них.

Я слушал его стоя. Он ушёл, не кивнув мне головой, не подав руки. Но я не был задет этим. Мне очень нравилось его спокойствие и механическая точность речи; в неуклюжем его теле и тяжёлых движениях я предположил наличие силы, и меня приятно волновала таинственность, окружавшая его.

Шесть лет спокойно просидел я рядом с его кабинетом, в комнате, которая с каждым годом становилась всё теснее, наполняясь бумагами. Несомненно, что за это время в России стало тише, и я имел право думать, что её укрощает упорная работа моего патрона и моя скромная помощь ему.

Жизнь как будто возвращалась в старое, привычное ей русло и текла более спокойно, более свободно. Ведь свобода – это покой. Ночами на улицах города свободнее, чем днём. Это – не шутка, не ирония, нет! Я рассуждаю, исходя из подлинных, органических, а не выдуманных интересов человека: он хочет жить свободно, и суета мешает ему. Человек тем свободнее, чем дальше от людей.

Несомненно, что мой патрон играл в монархических кругах весьма значительную и, видимо, независимую роль. Он занимал четыре комнаты в огромном, пятиэтажном доме, куда было втиснуто население небольшого уездного города. Его квартиру убирала дочь швейцара, Саша, рыжая, тоненькая и гибкая девушка. Он почти никогда не принимал у себя, по крайней мере днём к нему приходили крайне редко и только люди громких имён.

Одиноким, молчаливым, он с десяти часов утра сидел бесшумно у себя в кабинете, писал, читал и разбирал почту, всегда очень обильную. Часть писем, видимо особенно важных, он прятал в стол свой и в тяжёлый старинный шкаф. Ему писали губернаторы, архиереи, его вызывали к телефону секретари министров, крупные чиновники департамента полиции, он со всеми говорил одинаково и так же привычно властно, как со мною. В три часа он уходил обедать в ресторан, а к вечерней почте всегда аккуратно возвращался домой. Я уходил тоже в три, являлся на вечерние занятия в шесть и сидел до восьми, печатая на машинке длинные письма патрона, письма убеждённого сторонника монархии, бесстрастно, но незыблемо верующего в силу её идеи. Писал он тяжёлым языком, длинными фразами, охотно употребляя старомодные и церковнославянские слова.

«А поелику дух бунта суть дух явного безумия, истоком коего является нарочито возбуждаемая врагами священного порядка жадность и зависть к внешним удобствам жизни, к материальной стороне её, то было бы существенно полезно, если б Вы, уважаемый Владыко, предписали по епархии...»

Большинство своих писем и докладов патрон отправлял на просмотр Новаку, оттуда они возвращались испещрённые поправками, богато иллюстрированные фактами истории и цитатами.

Я понимал его роль как работу добровольного и независимого наблюдателя за течениями революционной мысли. Он зорко отмечал ход её, весьма искусно скрытый у представителей оппозиции; несколько десятков их имён были выписаны им на отдельной таблице, и я должен был следить по газетам за их выступлениями в Государственной думе, в печати, на лекциях. Он не верил органам правительства, существовавшим для борьбы с революцией, относился к ним пренебрежительно и однажды, провожая Новака, сказал ему:

– В департаменте полиции укрепились грубейшие невежды.

Мне очень спокойно жилось рядом с ним, мне нравилась моя работа. Я быстро научился обнажать скрытые мысли; подчёркивая отдельные фразы и слова, я ловко оголял злую и лживую, но жалящую, разрушающую мысль.

Чаще других посещал патрона Новак. Он приходил, как мне казалось, всегда в дождливые, туманные или вьюжные дни. Удивительно бесшумно ходил по земле этот почти бесплотный человек, подобный тени. Мне казалась знаменательной и символической его манера держать в карманах брюк сухие, холодные руки, я видел в этом брезгливое нежелание физически касаться жизни, и всё более ощутимой, значительной становилась для меня сила его духовного влияния на жизнь. Эту силу я чувствовал во всей прессе, защищавшей основы и принципы единовластия, и для меня было ясно, что этой силою живёт и дышит мой патрон – машина, работавшая энергией Новака.

Однажды, прощаясь в моей комнате с патроном, Новак сказал вполголоса, как всегда:

– И надо ещё раз указать, что во все века у всех народов наиболее острые заблуждения мысли разумно карались смертью. Именно – смертью.

– Это – делается, – заметил патрон.

– Так. Но делается тайно, прикрито и потому не имеет устрашающего характера. Нужно восстановить публичную казнь. Они – казнят публично, их палачи бесстрашны. Бесстрашие утверждает справедливость деяния. Именно – так. Численно слабые действуют открыто и этим придают простому убийству ореол подвига, сияние героизма. Количественно сильные, имея право казни, потому что они – большинство, – казнят втайне, прячась, и этим как бы превращают естественный, законный акт самозащиты в преступление. Понимаете? Тут скрыта нелепость, идиотизм! И – не трусливость ли?

Остановясь у двери на лестницу, он добавил:

– И – пытки! Публичные пытки. Всенародно, при свете дня. Так.

Мой патрон нежно гладил руки и кивал головою, а когда Новак ушёл, патрон сказал, проходя мимо меня:

– Учитель ваш – необыкновенный человек.

О да! Я это знал. Когда я видел Новака, мой страх пред людьми исчезал, заменяясь почти благоговейным страхом пред учителем, который, говорю я, становился всё более бесплотен и похож на тень.

Я уважал патрона. Жизнь его была, в моих глазах, подвигом верующего, который посвятил все силы своему великому делу укрощения людей. Я верил, что он очень значительно помогает править жизнью, одиноко сидя в третьем этаже дома на углу двух улиц, в кабинете, окнами на площадь, распростёртую глубоко внизу, усеянную обыденной суетой сокращённых, притиснутых к земле людей. Да, он был машиной, работал силою Новака, но его строгое, чугунное спокойствие восхищало меня. Нравилось мне, когда он ровным голосом чётко произносил одни и те же слова, туго связывая ими всегда одни и те же мысли.

Он пошатнулся в моих глазах неожиданно, и это я принял, как удар в сердце.

Когда в Киеве агент охраны государственного спокойствия застрелил министра, патрон ворвался в мою комнату, бледный до синевы, закрыв глаза, размахивая неприятно блестящими руками, он топал и дико, хрипло кричал:

– Убили, чёрт возьми... Я говорил, я же писал! Вы слышите? Убили, а? Вот они, а? Охрана? Всех – под суд! Всех...

Мне слишком хорошо было знакомо чувство страха, и я тотчас понял, что эту ярость вызвал страх. Он убежал в кабинет свой, так хлопнув дверью, что в моей комнате сорвалась и упала карта России. Потом он ушёл из дома, забыв взять трость.

Разумеется, моё отношение к нему изменилось. Я не мог забыть его лицо, синее от

брание сочинений в тридцати томах. Том 16. Рассказы, повести 1922–1925. Максим Горький gorkiyтахim. яростного страха, и начал относиться к нему уже не с той безмолвной покорностью, как раньше относился. Раза два я попробовал исправить язык его многословных писем, он как будто не заметил этого. Тогда я начал заговаривать с ним на темы дня, что изумляло его, – он смотрел на меня, мигая калмыцкими глазами, и мычал в ответ мне.

Когда он написал министру свои соображения о необходимости закрыть Государственную думу, я указал, что он, видимо, не замечает, как этот новый министр кокетничает с оппозицией. Его уши побагровели, и он, сердитым криком, спросил:

– Вы – кажется – намерены учить меня?

Но, уйдя к себе в кабинет, он, минут пять спустя, открыл дверь и, стоя на пороге, сказал внушительно, мягко:

– Действительные намерения министра точно известны мне.

Я молча поклонился ему.

– Вообще же, Макаров, меня вполне удовлетворяет ваша работа. Она становится всё более сознательной. Благодарю вас.

Я торжествовал, и мне невольно подумалось, что он испугался окрика своего, испугался, что обидел меня. С этого дня он стал относиться ко мне не так механически, как относился, он почувствовал пред собой человека.

Вскоре он даже спросил меня, тоном, каким спрашивают: «вы нездоровы?»:

– Вы – женаты?

– Нет.

– Это – хорошо, – сказал он. – В наши дни жена – лишнее для серьёзного человека.

И, подумав, добавил:

– Мы – в походе! Да, мы, как солдаты, в походе. И – на часах...

Как-то утром, пожимая мою руку, он озабоченно спросил о моём отношении к воинской повинности.

– Весьма возможно, что мы будем воевать.

Я поблагодарил его, изумлённый, обрадованный, – война – хирургическая операция, она могла вырезать больные места на коже государства. Я заметил, что, если мы победим на войне, мы победим и революцию.

– Конечно, – сказал он, поглаживая руки. – Нужно думать так: победим. Нужно верить в это. В данном положении война – несомненное благо для монархии.

Тогда я выразил надежду, что первыми на фронт будут отправлены политически неблагонадёжные элементы, – учащаяся молодёжь, затронутые пропагандой рабочие, – да?

– Это – идея, – сказал он, мигнув и опираясь о стол мой рукою. – Это – разумно! Если воспользоваться данными охранного отделения, департамента полиции, списками фабричной и заводской администрации... А-а-а...

Тут впервые я видел, как он улыбается: его мясная нижняя губа тяжело отвисла, усы ошетились и обнажили полоску мелких, плотно составленных зубов, он закрыл глаза, но волосатое лицо его осталось неподвижным, лишь на лбу две-три секунды дрожали морщины.

Не хочу говорить о кошмаре этой дьявольской войны, об этой величайшей и пагубной ошибке монархии. О, если бы мы пошли с Германией против Европы! Мы раздавили бы революцию, как грязную корзину гнилых яиц, и весь мир был бы в наших руках, весь мир! Мир не знает ошибки более роковой. Думать о ней – больно, думы о ней –



брание сочинений в тридцати томах. Том 16. Рассказы, повести 1922–1925. Максим Горький gorkiymaxim.  
сжигают душу.

Предо мною война с убийственной ясностью обнажила горестное и, должно быть, уже органическое уродство страны, в которой, среди множества миллионов людей, не нашлось ни одного человека, способного овладеть хаосом, овладеть хотя бы ценою уничтожения половины тех, кто может только есть, пить, спать, родить себе подобных, ненужных и, ради этой скотской цели, готовы уничтожить всё, что не влезает в их бездонные, жадные глотки.

Затем я наблюдал, как растёт смута, – об этом кричали газеты всех партий, одни – с отчаянием, другие – с радостью. Смута победоносно звучала даже в тех словах, какими оппозиция в прессе и в Думе жаловалась на реакцию. Эти жалобы были более фальшивы, чем всегда, и становились всё более назойливы, нахальны. Везде и всюду чувствовался ядовитый туман и чад нарастающего бунта, и я понимал, что это уж нельзя рассеять письмами патрона моего к архиереям, губернаторам, министрам.

Возникли «общественные организации», какие-то явно разбойничьи союзы городов, земств, – жадная моль, которая быстро разрушала горностаевую мантию самодержавия.

Глядя из окна моей комнаты вниз, на площадь, я видел сокращённых людей иными, чем они были раньше, – такие же низенькие, надутые туманом, они двигались быстрее, бойчей. В ресторане, где я обедал, всё возрастала смелость суждений о жизни государства, и ясно было, что источник этой смелости – Государственная дума, быстро развращавшая умы, заражая их дерзостью глупой критики.

Вечерами я любил сидеть в кинематографах, наблюдать из темноты безмолвную жизнь серых теней, – жизнь, которая так интересна выдуманными опасностями или бесподобной глупостью, призрачную жизнь, которая не требует, чтоб о ней думали. Кинематограф действует прекрасно, стирая с души впечатления реальной жизни, как пыль стирается тряпкой.

Но и здесь я замечал нечто намеренно подтасованное и враждебное: стали показывать города, более благоустроенные, чем наши, чтоб, глядя на чистенький, игрушечный городок маленького государства, русские люди учились сравнивать и критиковать. Недовольство жизнью возбуждалось всюду, всеми способами, и я вспомнил слова полковника Бер: это можно было прекратить только чудом, хотя бы чудом жестокости, но – ослепляющим чудом. Мой патрон – не тот человек, который мог бы ослепить людей, нет, не тот! Я всё более остро понимал это. И, чувствуя себя обманутым, обиженным, пошёл к Новаку поделиться с ним моими мыслями.

– Так, – сказал он, стоя у окна, в углу комнаты, тонкий и длинный. – Вы чувствуете именно так. Человека – нет! Нет человека. Везде – теоретики, критики, а действительного, волевого человека – нет!

Тусклые стёкла окна наполняли комнату серовато-зелёным сумраком, в нём Новак казался ещё менее ощутимым. Лицо его было мертвее, чем всегда, голос звучал уныло. Он не мог сказать мне ничего, что ободрило бы меня, я ушёл удручённый и на улице испытал острый, почти безумный приступ жестокости, меня охватила вдруг жгучая дрожь, мне захотелось крикнуть прохожим, как собакам: «Цыц!»

Потом я долго сидел в полукружии гранитной скамьи, на берегу Невы, и думал, что если б я обладал властью, я знал бы, что надо делать с людьми. Ведь все люди живут страхом нищеты, голода, уничтожения, страхом смерти, а всё остальное приписывается – именно приписывается – им сочинителями «идей» только для того, чтоб утешить и этим обмануть их, чтоб они не обезумели, не озверели со страха и не перестали работать на человека, поняв, как бессмысленна и страшна их жизнь.

Вероятно, именно в этот вечер родились у меня мысли, раньше незнакомые мне. Я подумал, что, в сущности, ведь и человек тоже трус, кто бы он ни был. Может быть, он боится не того, чего боятся люди, но – он боится людей. Их так много, и они так чужды ему. Страх пред людьми и даёт инстинкту жизни в человеке право быть безжалостно жестоким с людьми, неоспоримое право, потому что корень его – в инстинкте самосохранения. Иван Грозный был, наверное, трус, как все так называемые тираны. Политика трусов всегда политика жестокости, все политики безжалостны. Это – законно, иначе не может быть. Только тот, кто всегда чувствует опасность жизни и умеет хорошо бояться, способен действовать решительно. Может быть, героизм «героев» – просто крайнее выражение отчаяния

брание сочинений в тридцати томах. Том 16. Рассказы, повести 1922–1925. Максим Горький gorkiуmaxim.  
человека? Даже наверное: героизм есть отчаянный поступок испугавшегося человека.

Да, если б я обладал властью, я оставил бы в мире страшную, ослепительную память о себе, я затмил бы славу всех тиранов мира, я бы выстирал и выгладил людей, как носовые платки.

Мне кажется, что именно с этого вечера жизнь стала особенно быстро изменяться, принимая всё более мятежный характер. Что-то ироническое явилось на плоских и, в сущности, убийственно однообразных лицах людей, что-то преступное и уверенно ожидающее. Чего? Какие соблазнительные видения возникли в их ленивых мозгах? Может быть, им приснилось, что они стали сильными, бесстрашными и могут сделать какой-то шаг в сторону от привычного пути? Может быть, они ищут человека, который указал бы им, как сделать этот новый шаг, ищут вождя, который взял бы их своей силой и повёл за собою?

Затем наступили месяцы, когда я уверенно ждал, что власть над людьми возьмёт мой патрон. Эта уверенность была и у него. Он подтянулся, похудел, стал ещё более часто и крепче гладить свои руки, в калмыцких глазках его вспыхнул жуткий синий огонёк. И всё чаще видел я, как весело и голодно блестят его оскаленные зубы. Ночами я думал о том, что меня ждёт, и ощущал в груди трепет роста той силы отчаяния, силы страха, которая создаёт героев и командует жизнью миллионов людей. Случись то, чего я ждал, и, говорю я, люди увидели бы человека поистине страшного.

Но случилось иное. Дома города изрыгнули на улицы всех людей, на площадь вывалилась раздражённая, тёмная масса живого, голодного и жадного мяса. Красные пятна флагов, выстрелы, и снова, и ещё пятна флагов, – мясную лавку напомнили мне они.

Потом в комнату мою, изломанно согнувшись, ворвался Новак и, захлёбываясь словами, присвистывая, захрипел, зарычал, толкая меня в кабинет патрона:

– Что вы сидите? Рвите, жгите... вы сошли с ума? Р-революция! Он – арестован! Где мои письма? Р-рвите-уп-уп-уп-жгите... В камин...

Он упал в кресло у камина, снял очки и, вытирая стёкла их о колено, застонал:

– Да – что же вы? Уничтожайте, рвите, жгите...

Впервые я увидел его глаза: они были маленькие, бесцветные, без ресниц и воспалены, – спрятаны в таких красненьких подушечках, должно быть, полных гноя. Я очень долго и пристально рассматривал их, потом взял его за ворот и приподнял с кресла.

– Негодяй! – сказал я в глаза ему, ноги у меня дрожали, и в груди моей я слышал этот режущий душу зимний свист, тонкий и злой.

– Негодяй! – сказал я, встряхивая учителя. – Воспитатель героев, а? Подлец, – где твои герои?

Он подпрыгивал, царапал руки мои кривыми пальцами и хрипел:

– Не смей... я не виноват... революционер... не смей, изменник...

– Негодяй, – говорил я ему уже с наслаждением, неведомым мне до этих минут. – Я боялся тебя, я тебе верил, верил, что ты – сильный, страшный. Во что же мне верить теперь, чего бояться? Ты убил во мне страх, ты человека убил во мне, негодяй!

И, оттолкнув его, я ушёл.

...Около года я сидел в тюрьме. Там познакомился с группой бандитов, это освободило меня из тюрьмы и дало мне место агента уголовного розыска. Убивал людей, – это делается очень просто. Теперь я сам бандит. Могу быть палачом. Всё равно.

Рассказ об одном романе

брание сочинений в тридцати томах. Том 16. Рассказы, повести 1922–1925. Максим Горький gorkiymaxim. Наконец гости уехали, с ними уехал муж; прислуга, утомлённая суетою шумных дней, стала невидима, и весь дом как будто отодвинулся в глубину парка, где тишина всегда была наиболее стойкой, внушительной и всегда будила в душе женщины особенно острое желание прислушиваться к безмолвной игре воображения и памяти.

Женщине – лет двадцать семь; она маленькая, стройная, светлая, у неё овальное, матово-бледное лицо; глаза, цвета морской воды, несколько велики для этого лица, а выражение глаз – старит его; осторожно прикрытые длинными ресницами, они смотрят на всё вокруг недоверчиво и ожидающе.

Есть такие женщины, они всю жизнь чего-то ждут, в девушках требовательно ждут, когда их полюбит мужчина, когда же он говорит им о любви, они слушают его очень серьёзно, но не обнаруживая заметного волнения, и глаза их, в такой час, как бы говорят:

«Всё это вполне естественно, а – дальше?»

Было бы ошибкой назвать такую женщину рассудочной и холодной. Выйдя замуж, она честно любит мужа и терпеливо ждёт, когда же, наконец, вспыхнет ещё какая-то, может быть «бесчестная», но иная любовь? Такие женщины нередко уходят от мужей с другими мужчинами, оставляя мужу коротенькую записку карандашом и ровным почерком:

«Прости меня, Павел, но я не могу больше жить с тобой».

«Прости меня» – они пишут не всегда. С другими мужчинами они ведут жизнь иногда весёлую и «бурную», иногда – тяжёлую, непривычно нищенскую, но в обоих случаях ждут ещё чего-то. Говорят они мало, неинтересно, философствовать вслух – не любят и относятся к драмам, неизбежным в их жизни, со спокойной брезгливостью чистоплотных людей. Детей рожают неохотно. После всех значительных моментов их жизни странные глаза таких женщин смотрят так, как будто безмолвно спрашивают:

«И – только?»

Затем глаза темнеют, хмурятся упрямо, договаривают:

«Не может быть!»

И снова такая женщина чего-то ждёт, ждёт до той поры, пока уже ничего не нужно, кроме хорошего, крепкого сна или утраты памяти другим путём.

Одной из таких мало приятных женщин и была героиня романа, о котором я рассказываю, потому что не умею написать его так хорошо, как хотел бы.

Окутав плечи пуховым пензенским платком, она вышла на террасу дачи и села там в плетёное, скрипучее кресло. Багровые листья клёна и жёлтые берёз лежали у ног женщины на трёх ступенях террасы и на полукруге площадки перед нею. Между деревьев парка просвечивало красноватое небо, и все вокруг обняла прозрачная, чуткая тишина осени, как-то особенно музыкально, умело и необходимо подчёркнутая струнным звоном синиц. В жемчужном зените неба неподвижно застыл бледный круг луны.

Прикрыв глаза, женщина занялась уборкой души, – гости и муж насорили там множество слов о Толстом, охоте на уток, о красоте старинных русских икон и неизбежности революции, об Анатоле Франсе, старом фарфоре, таинственной душе женщины, о новом и снова неудачном рассказе писателя Антипы Фомина и ещё о многом другом. Всё это нужно было вымести, выбросить из памяти, и лишь очень немного требовало, чтоб женщина внимательно и ласково подумала о нём.

Поперёк одной из половиц террасы глубокий след удара острым, – это писатель Фомин рубил змею топориком для колки сахара. Неуклюжий, тяжёлый человек, в эту минуту он был ловок, точно кошка, и так воодушевлён, как будто возможность убить змею явилась для него долгожданной радостью. Он так сильно ударил, что топориче переломилось.

В тот же день вечером, здесь, на террасе, он читал начало своего романа о человеке, который усердно старался понять, хороший он человек или плохой, и, наделав немало дурного и хорошего, так и не понял ничего, а потом умер нудно и

брание сочинений в тридцати томах. Том 16. Рассказы, повести 1922–1925. Максим Горький gorkiymaxim.  
печально, одинокий, чужой сам себе.

Но о его смерти писатель рассказал, читал же он только четыре первые главы романа, в них описывалось, как молодой человек Павел Волков приехал в поместье своей сестры и невзлюбил её мужа, грубого до цинизма, считавшего себя энергичным культуртрегером. Эти главы показались женщине скучными, но хорошо был описан летний вечер и настроение героя, который, сидя в парке на скамье и стараясь уязвить женщину, ушедшую от него с другим, безуспешно пытался сочинить злые стихи и уже сочинил две строчки:

Луна любит игру лучей своих  
И лжёт, как женщина, влюблённая в двоих.  
А дальше у него ничего не слагалось, и он очень сердился на себя за свою бездарность.

В этот приезд Фомин более настойчиво, чем всегда, ухаживал за нею, интересно говорил о людях и своём одиночестве среди них, но она уже знала, как редко встречаются мужчины, которые, говоря с женщиной, приятной и желанной, умели бы молчать о своём одиночестве в мире; она знала, что почти нет людей, которые любили бы хвастать своим счастьем. И чем внимательнее слушала она писателя, тем более неясным казался он ей и наконец внушил странное впечатление: это – не человек, а сцена, на которой непрерывно разыгрывается бесконечная, непонятная пьеса. Внешне Фомин был достаточно характерен и выгодно выделялся среди людей; плотный, некрасивый, скуластый человек, очень рассеянный, детски небрежный к себе, он смотрел на неё греющим взглядом серых, но мягких глаз, говорил глуховатым, но гибким голосом и, чувствуя этот свой недостаток, уснащал речь богатой мимикой, обильными жестами, даже иногда притопывал ногами, как пианист, нажимающий педали.

И в то же время его как будто не было, а была толпа разнообразных мужчин, женщин, стариков и детей, крестьян и чиновников, все они говорили его голосом, противоречиво и смешно, глупо и страшно, скучно и до бесстыдства умно, а – где был сам Фомин среди них и каков именно сам он, – трудно понять.

О своей любви к ней он говорил этой женщине наивными словами юноши, который впервые почувствовал власть силы, преобразующей душу, а через несколько дней он же говорил об этом с цинизмом человека, который уже не верит сам себе и в последний раз хочет испытать: не поможет ли ему увлечение женщиной усыпить едкое недовольство самим собою?

Ей было очень ясно, что он не наивен и не циник, не добр и не зол, не так умён, как талантлив, и она чувствовала, что истоком недовольства собою для Фомина служит его неудовлетворённое честолюбие. В конце концов у неё образовалось недоверчивое и осторожное отношение к нему: это человек, которого, в сущности, нет; хотя физически он существует, но того основного, что можно было бы назвать его душой, душой Фомина, окрашенной хотя бы и пёстро, радужно, а всё-таки в какие-то свои цвета, такой души у этого человека, видимо, нет. Это – не человек, а передвижной театр, в котором и режиссёр и все артисты воплощены в одном лице. Очень интересно, а – ненадёжно, непрочно.

Женщина улыбнулась, глядя в глубину парка, – забавная мысль смешала её: ведь невозможно любить в одно и то же время целую толпу разнообразных мужчин, хотя, может быть, очень интересно отдаваться многим, воплощённым в одном лице. Но вообще женщина, если она не хочет искалечить себя, не должна любить писателя, не должна. Покончив на этом с Фоминым, она ощутила чувство досады против сочинителя, но это чувство быстро сменилось недоумением.

Прищурясь, она смотрела в парк; там, между ветвей и стволов берёз, багровели разнообразные фигуры, чётко вырезанные на фоне вечерней зари, а на скамье сидел человек в белом костюме, в шляпе панама, с тростью в руке.

«Это – кто же? – спросила она себя. – Ведь – все уехали. И – в белом костюме, не по сезону. Все наши – уехали», – ещё раз напомнила она себе.

Но было неприятно ясно, что один остался. А может быть, это незнакомый зашёл в парк и сидит, любясь отблесками зари на воде пруда? Но почему он в летнем костюме? Вот он чертит по земле тростью, и женщине показалось, что слышно, как шуршат сухие листья. Через несколько минут решила послать горничную, посмотреть:

брание сочинений в тридцати томах. Том 16. Рассказы, повести 1922–1925. Максим Горький gorkiymaxim.  
кто этот человек?

Встала, – заскрипело кресло; звук очень ясный в тишине, но человек не услышал его. Тогда женщина сама спустилась со ступенек террасы на холодную землю, пошла по дорожке и заметила, что она неестественно быстро подошла к человеку, а его фигура не стала вблизи ни крупнее, ни отчётливее, оставаясь такою же, какой она издали увидела её.

Это был, разумеется, один из бесчисленных фокусов вечернего освещения, но более странным было то, что человек этот, красновато освещённый огнём зари, не давал тени. И листья, которые он сгребал своей тростью, не шуршали, более того – они не двигались, когда конец трости касался их. Затем женщина почувствовала, как будто нечто, неосяземо обняв её, кружит в медленном вальсе.

Человек поднялся встречу ей, вежливо, но как-то неумело снял шляпу, поклонился и спросил негромким, сухо шелестящим голосом:

– Простите, – это вы и есть?

Человек молодой, элегантно одет, но довольно бесцветный, с длинным сухим лицом, голубоглазый, с маленькой русой бородкой. Что-то неестественное, полупрозрачное, стеклянное было в его неподвижном лице. Он не напомнил женщине никого из её знакомых, но казалось ей, что она видит его не впервые.

– Странный вопрос, – сказала она, усмехаясь. – Конечно, это – я.

– Да?

Человек тоже механически усмехнулся, от этого лицо его сделалось жалким.

– Значит, – вы и есть та женщина, которую я должен встретить?

Он тотчас же добавил, беззвучно ударив тростью по своей ноге:

– Впрочем, я не уверен, должен ли встретить здесь женщину...

Женщина пристально смотрела в глаза его, – такие глаза бывают только на портретах, необходимо некоторое усилие воображения, чтоб признать их живыми. Видимо, этот человек очень застенчив, и, вероятно, тут какая-нибудь конспирация, – это один из таинственных друзей мужа или Веры Ивановны скрывается от жандармов, и вообще – это политика. Но как нелепо нарядили его!

– Вы от Веры Ивановны? – спросила женщина, он ответил тоже вопросом:

– Она тоже участвует в романе?

– В романе? Что вы хотите сказать?

Человек мотнул головой.

– Я не помню там женщины с таким именем...

– Где – там?

– В романе.

«Сумасшедший?» – мелькнула у неё догадка, и, плотнее кутаясь в платок, она сказала суровато:

– Я не понимаю: почему, о каком романе говорите вы? И, мне кажется, я имею право спросить: кто вы?

Человек взглянул на неё пристально, его нарисованные глаза выразили явное недоумение, но он тотчас же улыбнулся и согласно кивнул головою.

– Разумеется, это ваше право. Я думаю, что с этого – вот с этой встречи – и начинается роман. Должно быть, так и предназначено автором: сначала вы относитесь ко мне недоверчиво, даже неприязненно, а затем... Я не знаю, что будет

брание сочинений в тридцати томах. Том 16. Рассказы, повести 1922–1925. Максим Горький gorkiymaxim.  
дальше, вероятно, для меня всё это кончится новой драмой...

«Сумасшедший!» – решила женщина, внимательно слушая медленную, бесцветную речь и следя за его лицом, – лицо становилось как будто живее, менее плоским. Сама же она чувствовала себя очень странно, как будто засыпала, и у неё явилось желание слушать его молча, не прерывая.

– Меня крайне удивляет, что вы спрашиваете о романе, – продолжал он. – Скажите: ведь вы не мистифицируете меня, нет? Вы – та самая женщина, вы ведь имеете определённое отношение к Фомину, точнее – к его роману, да?

Женщина едва удержала смех, моментально сообразив:

«Ах вот что! Это – Фомин. Он узнал, что я буду одна, не мог приехать сам и затеял какую-то мистификацию...»

– Да, – сказала она, улыбаясь. – Я знаю этот роман. И – что же?

Человек ещё более приятно ожил, говоря:

– О, тогда всё хорошо! Но однако я не думал, что это так трудно. – И, почти любезно, он добавил, тоже улыбаясь:

– Конечно, вы – та самая женщина, иначе, я, наверное, и не мог бы встретить вас...

– Становится свежо и сыро, – может быть, мы пойдём в комнаты? – предложила она.

– Благодарю вас, – сказал человек, кланяясь и улыбаясь.

Странно улыбался он, – улыбка являлась на лице его как будто не изнутри, а извне. Шёл удивительно легко, осенние листья но шуршали под его ногами в белых ботинках. Но самым странным было то, что фигура его не давала тени, тогда как пред женщиной ползла, толчками и покачиваясь, длинная тень, ложась на траву то справа, то слева узкой дорожки.

«Как это он делает?» – думала она, искоса наблюдая за ним, и ей казалось, что он стал неестественно плоским.

– Давно видели вы Фомина?

Взглянув на неё с явным недоумением, человек ответил:

– Года два тому назад...

«Шутит он – скучно», – отметила женщина.

– Вы одеты не по сезону легко...

– Это – Фомин, – ответил он, пожав плечом. – Ведь я должен был действовать летом...

Ей становилось всё более неловко и скучно.

– Итак – кто же вы? – спросила она ещё раз и заметила, что этот вопрос, так же как вопрос о Фомине, снова вызвал его недоумение. Сильно хлестнув тонкой тростью по воздуху, – причём она не услышала свистящего звука, – человек натянуто и некрасиво усмехнулся. – Странно, что вы спрашиваете об этом, – забыли? Позвольте напомнить. Я – Павел Волков. Павел Нилович Волков, сын инженера и тоже гражданский инженер, человек бездеятельный, неудачник, мне тридцать два года, я богат. Шесть лет тому назад женился по любви, через четыре года жена ушла от меня, оставив записку карандашом: «Прости меня, Павел, но я не могу больше жить с тобой». Теперь она живёт где-то на Кавказе, но, кажется, я не должен встретиться с нею, а впрочем, это мне неизвестно. И это всё, что я знаю о себе, остальное ещё не дописано, не создано...

Он говорил, точно паспорт читая, и только в конце слов женщина услышала что-то близкое возмущению или досаде.

брание сочинений в тридцати томах. Том 16. Рассказы, повести 1922–1925. Максим Горький gorkiутахіт. Сама она, тоже чувствуя досаду против него, думала:

«Если это не сумасшедший, воображающий себя героем неудачного романа Фомина, так это человек бездарный и неумный».

Входя на террасу, она спросила его:

– Как вы делаете, что у вас нет тени?

Павел Волков удивился:

– Зачем нужна мне тень? И разве вы, во сне, видите тени? А ведь это – как сон!

– Что – как сон?

– Да – вот это, наше с вами бытие, – бытие людей, искусственно созданных для развлечения людей реально существующих.

Он сказал это так просто, что женщина подумала: «Кажется – я ошибаюсь, это очень тонкий, очень искусный актёр. Так – понятнее, почему именно его послал ко мне ФОМИН».

– Ах вот что! – воскликнула она, смеясь. – Вы – не реальный человек?

И – смутилась, опустила глаза, – этот человек смотрел на неё с искренним испугом, и казалось, что его колеблет, изгибает ветер, неощутимый для неё, неестественные движения его тела напоминали именно колебания ткани на сквозном ветре.

– Как странно, что вы спрашиваете об этом! – говорил он. – Право же, мне кажется, что вы мистифицируете меня. Или вы созданы Фоминым ещё более небрежно, чем я, и потому забыли ваше назначение, вашу роль? А может быть, вы реализовались каким-то способом, недоступным мне? Или же Фомин окончательно дописал вас, забыв обо мне? И вы уже совершенно законченный образ?

«Нет, это очень хороший артист», – думала женщина, слушая его тревожную речь. Она чувствовала себя в состоянии человека, который грезит против воли своей и должен преодолеть это состояние.

– Вы молчите? – слышала она. – Мне приятнее думать, что молчите вы потому, что вспоминаете, да?

Женщина кивнула головой.

– Позвольте помочь вам вспомнить начало романа...

– Я – знаю его, – сказала она.

– Тогда – что же?

Помолчав несколько секунд, Павел Волков тихо воскликнул:

– Ага-а! Я понимаю: очевидно, Фомин не успел связать вас со мною... Или он – для вас – заменил меня другим? Но – самое удивительное во всём этом то, что вы – не знаете вашего отношения ко мне и вашей роли в романе.

Наступил момент, когда в женщине вспыхнуло любопытство и, победив её смущение, тотчас подсказало ей, как она должна держаться.

– Нет, – сказала она, – я плохо понимаю вашу роль. Расскажите о себе...

– Но я уже сказал всё, что знаю.

– Вы – как бы – не существуете?

– О, нет! – возразил он с досадой. – В том-то и дело, в том и несчастье, что я – существую. Для вас – до поры, пока этого хочет Фомин, но я существую уже и независимо от него...

– Понимаю: как Гамлет или Дон-Кихот существуют независимо от их создателей...

Павел Волков поклонился, говоря:

– Приблизительно. Но разумеется, Фомин – не Сервантес и тем более не Шекспир. К тому же я не закончен. Я вообще в смешном положении. Вы только представьте, – я сидел на скамье, в аллее парка, вот уже два года. Два года! Согласитесь, что это – ужасно нелепо. Дни, ночи, утренние зори, закаты солнца, пыль, зной лета, дожди осени, снег и метели зимы, а я – всё сижу, жду. Мимо меня изредка проходят люди, реальные люди, они говорят о чём-то неинтересном, ненужном; какой-то рябой человек в чесунчовой паре соблазнял толстенькую даму тем, что у него в парниках великолепно вызревают ананасные дыни и, между словами, кусал ей ухо, совершенно как лошадь, а она – взвизгивала тихонько. Страшно глупо всё, надоело, бессмысленно! Сидишь и думаешь: как невероятно скучны, глупы и расплывчаты реальные люди, и до какой степени мы, выдуманные, интереснее их! Мы всегда и все гораздо более концентрированы духовно, в нас больше поэзии, лирики, романтизма. И как подумаешь, что мы, в сущности, бытийствуем только для развлечения этих тупых, реальных людей...

Говорил он тоном человека, который искренно оскорблён, и его сухое лицо стало как будто мягче, симпатичнее, хотя это изменение удобно объясняется тёплым сумраком комнаты.

– Я, разумеется, плохо знаю, что такое реальные люди и вообще – что такое реальность? Например: эта комната и всё в ней – это реальность или тоже, как я и вы, что-то другое, эманация Фомина, плод его воображения?

Женщина осторожно коснулась рукою своих глаз, посмотрела вокруг и сказала тихонько:

– Всё это – очень интересно, но несколько утомляет меня...

– Конечно, должно утомлять, – согласился Павел Волков. – Но, знаете, за два года бездействия и неподвижности, ожидая, когда Фомин докончит меня и пустит в дело, в жизнь, для развлечения людей, я как-то уплотнился, что ли, окреп и, кажется, тоже, по структуре моей, стал очень близок к реальному существу. Я почти реален, да...

Женщина почувствовала себя плохо, она уже хотела сказать об этом странному, несомненно безумному гостю, но в это время в двери из внутренних комнат явилась горничная и встала, как в раму, открыв рот, выкатив глаза, точно окунь, пойманный крючком удочки.

– Что вам, Глаша?

– Вы звали?

– Я? Нет.

– Извините. Мне послышалось – вы говорите...

– Ну да, говорю! Разве вы не видите...

Мигая, женщина поднялась на ноги, оглянулась, – Павел Волков, стоявший у окна, спиной к нему, – исчез.

Мимо тусклых в сумраке стёкол медленно падал лист, в зеленоватом воздухе недвижно висели ветви клёна. Долго, пристально, до боли в глазах женщина смотрела на окно, смотрела так упорно, что ей, наконец, показалось, будто стёкла сверху донизу разрезаны тонкой, тёмной нитью.

– Да, – сердито сказала она, – я говорила... я звала вас! Принесите чаю.

А когда горничная ушла, она задумалась:

«Кажется, это называют галлюцинацией зрения и слуха, сложной галлюцинацией. Отчего бы это у меня? Странно. Очень странно».



Села в кресло, вытянув ноги, накинула на них плед.

«Об этом надо написать Фомину, пусть обогатится ещё одной темой. Хотя это не его тема».

Она чувствовала, как бессвязно, торопливо стучат мысли в её виски, и ей было приятно, что это наваждение – кончилось.

– Да, так вот я говорю, – раздался знакомо шелестящий голос, человек стоял у окна и пальцем одной руки гладил свой висок, а в другой качал шляпу.

– Позвольте! – раздражённо сказала женщина. – Где вы были, когда вошла горничная?

Павел Волков удивлённо расширил глаза, шагнул к ней раз, два, – она быстро, отталкивающим жестом протянула руку встречу ему.

– Где я был? – переспросил он, остановясь и угловато подняв плечи. – Я был тут, здесь. А-а, вы перестали видеть меня? Так это потому, что я повернулся к вам боком, а я ведь – как игральная карта, как портрет, – вы забыли? Но ведь вы сами такая же...

– Нет, – возмущённо сказала она, – нет!

Человек вздохнул, говоря:

– Однако какой у вас трудный характер!

Он сказал это тоже раздражённо, как бы вторя ей, но черты лица его оставались неподвижны, действительно напоминая лицо портрета. Иногда на этом матовом лице являлись и исчезали тени, почти не изменяя его, – являлись они так же извне, как его неприятная улыбка. И было в нём странное сходство с отражением на воде, чуть колеблемой ветром.

«Как делает это он?» – догадывалась женщина, сосредоточенно разглядывая его, и вдруг почти приказала:

– Встаньте немного левее!

Взглянув на неё, он бесшумно подвинулся, встал против зеркала, но – не отразился в нём, стекло, едва заметно потемнев, не показало его серую, в сумраке, фигуру.

«Ясно, это – галлюцинация», – решила женщина.

А Павел Волков говорил:

– Очень трудный характер у вас. Я ведь понимаю, что вы снова не верите, не решаетесь принять меня за то, что я есть. И я не думаю, что ваше отношение ко мне входит в план Фомина. Да наконец...

Павел Волков нелепо закачался, струясь вверх.

– Наконец – я чувствую себя достаточно реализованным для того, чтобы продолжать неоконченный роман Фомина за свой личный страх, так сказать, на свои средства. Я больше не хочу бездействия и ожидания, я не могу торчать во всякую погоду на скамье, в парке, и слушать разговоры о дынях до конца дней мира сего, до полного разрушения всех форм материи и всех эманации её. Этот Фомин создал меня и – забыл обо мне. Я слышал, что так поступает бог по отношению к реальным людям, но у бога, вероятно, есть солидные мотивы для оправдания его... столь мало понятных опытов. А ведь Фомин, насколько я понимаю, обыкновенный, заносчивый и самонадеянный человек, неумело подражающий богу в его шахматной игре людьми с кем-то. И, знаете, мне кажется, что этот Фомин – сумасшедший! Посмотрели бы вы, как он ведёт себя, оставаясь наедине сам с собою! Он наполняет комнату созданиями воображения своего и, окружённый тесной толпой призраков, таких же безумных, как сам он, не знает, что ему делать с ними. Бредовый человек! Я много думал о нём в эти два года полупризрачной жизни моей, и меня поражает, до какой степени честолюбивого безумия дошёл он. Вы только подумайте: Фомин, наверное,

брание сочинений в тридцати томах. Том 16. Рассказы, повести 1922–1925. Максим Горький gorkiymaxim. хорошо понимает, что и сам он и все подобные ему люди искусства невероятно путают и осложняют жизнь, наполняя её своими выдумками, а ведь, в конце-то концов, что такое все эти выдумки? Лица и факты реальной действительности, искажённые сообразно субъективным вкусам и наклонностям фокусников слова. И – более того, все они сами являются тоже чьей-то выдумкой для развлечения реальных людей, но – не понимают этого, представьте – не понимают! В сущности, нет уродов, над которыми реальные люди издевались бы так жестоко, как издеваются они над творцами выдумок, посеянных в полях действительности, якобы для украшения её. Разве не кажется вам, что жизнь была бы проще, удобнее, менее противоречива, если б в ней не было всех этих Дон-Кихотов, Фаустов, Гамлетов, а? Подумайте-ка над этим, подумайте!

Павел Волков произнёс эту длинную речь очень оживлённо, очень насмешливо, с тою силой самоуверенности мудреца, которой, среди людей, обладают только одни литературные критики и которая всегда является верным признаком неизлечимой духовной безграмотности. Он совершенно неестественно колебался, струился, точно марево в поле, но его фигура всё-таки не теряла реальных очертаний человеческой фигуры. И всё вокруг женщины текло, кружилось, опьяняя её любопытством, немножко жутким.

– Да, – повторил Павел Волков, – я решил продолжать роман самостоятельно. Мне бы вот только найти женщину, вернее – убедить вас, что именно я – тот, кто предназначен вам Фоминым.

И, вопросительно глядя на неё, он с досадой сказал:

– В этой проклятой действительности устроено как-то так нелепо, что без женщины шага нельзя ступить. Да и скучно без неё...

– Если я правильно поняла вас... – начала женщина и остановилась, сосредоточенно прислушиваясь, как в ней растёт и греет её какая-то смутная, но серьёзная мысль.

– Да? – настойчиво спросил он, наклоняясь к ней, и не исчез, когда горничная внесла поднос с чаем.

– Две чашки, Глаша.

– Две?

– Ну да, боже мой...

Кивнув головою вслед горничной, человек спросил:

– Это – тоже эманация Фомина?

Чтоб не отвечать ему, женщина наклонила голову, а он принял это как её утвердительный ответ.

– Не понимаю, зачем нужно воплощать воображение в такие грубые формы!

– Вы будете пить чай?

Павел Волков выпрямился, уныло говоря:

– Вы бы ещё водки или коньяку предложили мне. Нет, очевидно, Фомин не дописал вас, вы не знаете, как вам нужно вести себя со мною, и вот между нами, вместо романа, разыгрывается смешной водевиль. Положительно – я не знаю, – что делать? Для полной моей реализации необходима женщина, и, очевидно, эта женщина – вы. Но – вы явно незнакомы с вашей ролью или не поняли её, или же, повторяю, Фомин выдумал вас ещё более небрежно, чем меня. И, наконец, мне кажется, что вы не верите, – всё ещё не верите! – себе самой, а у меня нет средств убедить вас в том, что я – не призрак, не галлюцинация и не вашего, – поймите же это, прошу вас! – я создание не вашего воображения, не вашего, а – Фомина, – понимаете?

Женщина понимала, что всё это невозможная чепуха, дикая выдумка, и я надеюсь, что пронизательный читатель вполне солидарен с нею в этом. Конечно – только в этом. Я тридцать лет знаю пронизательного читателя как человека страшно здравомыслящего, и моё уважение к силе его разума особенно укрепляется тем

брание сочинений в тридцати томах. Том 16. Рассказы, повести 1922–1925. Максим Горький gorkiymaxim. стойким упрямством, с которым пронизательный читатель умеет скрывать от самого себя пошлейшую бессмысленность его трудной и даже мученической жизни.

Меня сердечно умиляет священное благоговение, с которым читатель относится к фантастически неудобной для него, но им же созданной действительности, меня восхищает тот ужас собственника, который испытывает читатель каждый раз, когда чья-нибудь бунтующая фантазия поднимает свой дерзкий и бесполезный голос против действительности, этой мелко сплетённой и крепкой сети бесчисленных нелепостей, – против сети, которая тащит читателя куда-то, как селёдку в рассол, в тузлук [3]. Я уважаю читателя за то, что он, безгранично гибкий и терпеливый материал мой, не протестует, когда я, за счёт моего воображения, делаю читателя интереснее, умнее и лучше, чем он есть на самом деле. Я знаю, что это отступление совершенно неуместно, но у меня неожиданно возникло лирическое желание сказать читателю искреннейший комплимент, а для похвалы человеку одинаково удобны всякое время и всякое место.

Я продолжаю рассказ о романе, который не написан.

Итак – женщина не верила, но она решила вести себя серьёзно, не только из опасения сойти с ума, нет! – смутная мысль её приняла определённые очертания.

«Почему я не могу делать то, что удаётся Фомину? Вероятно – выдумать не так трудно и опасно, как родить».

Задумчиво глядя на гостя, она сказала:

– Насколько я помню, роман Фомина...

Но, прервав сама себя, спросила, ласково улыбаясь:

– Как это делается? Как он создал вас?

С такой же улыбкой, хотя и наклеенной извне на лицо его, Павел Волков ответил голосом более мягким:

– Но знаю, право. Я как-то сразу понял или почувствовал, что существую, меня зовут Павел Волков, я блондин и так далее. Неудачный и тяжёлый роман мой надо объяснить, кажется, тем, что я, человек размышляющий, анализирующий, занят исключительно самим собою, всё же остальное, весь так называемый внешний мир является для меня предметом или источником моих размышлений. Всё извне существующее толкает меня внутрь самого себя, а изнутри что-то рвётся во вне, – вообще я создан для жизни очень беспокойной, тревожной, и, должно быть, конечная цель моя – найти самого себя среди хаоса различных явлений, собрать себя во что-то целостное, очень острое и легко проникающее в глубину тайн. Теперь мне кажется, что я существовал и до Фомина, но в форме разобщённых, каких-то облачных кусков, не объединённых даже и в то неясное целое, чем являюсь пред вами, чем-то не связанным ни мыслью, ни чувством, ни желанием, указующим цель мою. Вот всё, что я могу сказать о себе.

Тут женщина успокоенно подумала:

«Это – обыкновенный человек. И – довольно скромный. А я – вовсе не схожу с ума. Просто – я вижу что-то, чего не знаю. И, конечно, тут не без фокусов».

– Создан же я, очевидно, для того, чтоб утвердить какую-то придуманную Фоминым истину, – слышала она голос Волкова. – Ведь, должно быть, все эманации сочинителей ввергаются в жизнь для утверждения различных истин? – спросил он.

Женщина не решилась ответить утвердительно – всё-таки пред нею был чужой, подозрительный человек, – зачем вскрывать пред ним маленькие тайны мира сего? А вдруг действительно существует иной мир и в нем живут люди двух измерений, вроде японских мышей? [4]

Затем она совершенно разумно сообразила, что если пред нею просто человек, то, разумеется, он должен обнаружить это, когда она начнёт кокетничать с ним. Освободив из-под пледа достаточно обаятельную ножку, покачивая ею, она сказала:

– Мне помнится, что Фомин задумал вас именно таким, как вы характеризовали себя...

– Я – рад, – сказал Волков, – конечно, это очень тяжёлая роль, но – я рад! Ведь – уж если создан, так надо жить!

– Да, – согласилась женщина, подумав немножко. – Дальше вы действительно должны встретить женщину из тех, которые, знаете, чего-то ждут, что-то решают и, неожиданно для себя, делают как раз не то, что решили. До конца дней, по крайней мере – до старости, жизнь кажется им неисчерпаемой, но они не имеют в себе той жадной и дерзкой силы, которая слепо черпает наслаждения жизни. А, главное, им кажется, что где-то близко, около их, за всем, что уже испытано, скрыта ещё одна, величайшая и сладостная тайна, – открыть её, насладиться ею физически и духовно – вот чего они ждут! Я уверена, что лично я – не из таких женщин, и Фомин, создавая вас, едва ли думал обо мне. Хотя, вы знаете, эти писатели...

Павел Волков негодуяюще взмахнул рукою.

– Да, да, я понимаю, что вы хотите сказать. Это – ужасно! Преступнейшее легкомыслие! Вы представить себе не можете, до чего много в мире воображаемом таких, как я, вы – и подобные нам, – незаконченных, недорождённых, уродливых существ.

– Разве? – огорчённо спросила женщина и недоверчиво прибавила: – Уродливых?

Но Павел Волков не ответил ей, продолжая всё более человечески живо, но тоном жалобы:

– Они думают, что образ, созданный ими, закреплён на бумаге и этим всё кончено, но ведь на бумаге остаётся только рисунок образа, а сам он исходит в мир и существует, как я, вы, как психофизическая эманация, результат распада атомов мозга и нервов, нечто более реальное, чем эфир. Ведь вы же знаете это.

– О, конечно! Да. Почему вы не сядете к столу?

Он подошёл, сел, как сделал бы это всякий другой человек, и было ясно, что её маленькие хитрости не замечены им. Вздохнув, женщина попыталась представить себе жизнь в мире недоконченных людей и – не могла, потому что пред нею тотчас закружились люди знакомые, среди которых она ещё не встретила необходимого ей человека, совершенного, как музыкальный инструмент в руках гениального музыканта. Она знала, что совершенный человек – это тот, кто умел бы не только удовлетворять все её желания в момент возникновения их, но мог бы предугадывать и возбуждать желания. Ни о чём не спрашивая, он должен уметь на всё ответить. Не нужно, чтоб он много говорил, но он должен всё чувствовать, понимать и ни в чём не обвинять её, если только она сама не захочет видеть себя виноватой.

Думая об этом, она внимательно слушала тихий голос гостя.

– А тут ещё привходит нечто, видимо, неизбежное: Фомин наполнил меня определённым психическим содержанием, я – ожил, существую, но в следующий момент ощущаю, что в меня извне вторгаются качества и мысли излишние, противоречащие тому, что уже есть во мне. Чувствуя, что это лишнее уродует меня, я не мог оттолкнуть его, потому что в тот момент я ещё не имел личной воли к жизни, а Фомин был окружён как бы облаком истечений его психофизической эманации, это – как вы знаете – очень плотная и подвижная среда, которая разрушила бы меня, попытайся я проникнуть сквозь неё до сознания Фомина...

«Допустимо, – думала женщина, – что предо мною действительно ещё не человек, а – начало его, существо, которое я могу закончить, наполнив его тем, что необходимо совершенному человеку. Это – проще того, что сделано Пигмалионом...»

Она закрыла глаза, слушая странно прозрачный голос, – ничего не заглушая, он не мешал ей думать о своём и слышать, как в деревне подпасок Кирька играет на гармонике, где-то далеко поют девки и, как всегда, собаки лают на луну, очень благообразную и яркую, почти как солнце, лучи которого кто-то гладко причесал.

– И вот теперь я не могу понять, что во мне от Фомина, создателя моего, что – от других персонажей, созданных им и спутанных со мною, и, наконец, я чувствую в себе мысли Фомина, не имеющие никакого отношения ко мне как герою его романа и вообще к роману. Я ведь уже говорил вам, что Фомин, – это небольшой дом

брание сочинений в тридцати томах. Том 16. Рассказы, повести 1922–1925. Максим Горький gorkiymaxim. умалишённых или, если хотите, дорога, на которой непрерывно бродят различные образы, текут разнообразные, взаимно отрицающие одна другую мысли. Например: лично я не могу думать, что природа не знает, чего хочет, и, умея создавать всё, создаёт бесчисленное количество уродливого, лишнего – это уж афоризм Фомина, совершенно не нужный мне, а таких пустяковых афоризмов я ношу в себе немало. Но может быть, я и создан только для того, чтоб явиться носителем пустяков? И, наконец, я не знаю главного: должен ли я быть добрым человеком или злым?

Улыбаясь, женщина протянула ему руку.

– Но – вы не должны знать этого, – сказала она ласково, утешительно. – Интерес и смысл вашей жизни именно в том, что вы – человек, плохо различающий добро и зло.

Дёргая пуговицу фланелевого пиджака, человек недоверчиво спросил:

– Вы в самом деле так думаете?

– Да, я именно так понимаю вашу роль! Если б вы умели различать добро и зло, вам, я уверена, было бы очень скучно. А так – интереснее!

Павел Волков задумался, явно сомневаясь в чём-то. И было неестественно, что он не обращает внимания на её руку, что сделал бы всякий другой мужчина на его месте.

– Д-да, – сказал он. – Но – для кого же это интересно?

– Для меня. Для вас. Для читателя, наконец...

– Гм... Для читателя?

Он провёл ладонью по волосам своим, по глазам и, усмехаясь, покачал головой.

– Не находите ли вы, что это довольно жестокая забава? Подумайте: нас заставляют испытывать бесчисленное количество неприятностей, стравливают друг с другом, как – извините! – псов, для того, чтоб создать драматические коллизии, нас треплют, как игрушки, и всё для того, чтоб какой-то читатель, видимо скучающий человек, развлекался этим? Не слишком ли остроумно: заставить страдать одних людей для развлечения других? Кажется, это не моя мысль, а Фомина, но – право – хорошая мысль! Фомин, в сущности, порядочный человек. Он – не самоуверен, а по моему мнению, это верный признак порядочности. Иногда он, бросив перо, спрашивает себя: зачем я это делаю, зачем пишу? Сам он не любит страданий, они органически противны ему, но, к сожалению, для писателя нет иного материала, кроме несчастий...

Женщина подвинулась ближе к нему и спросила:

– Скажите, – как вы делаете эти ваши фокусы с тенью и зеркалом?

Сказав это, она почувствовала, вероятно, то же, что чувствует охотник, ружьё которого выстрелило помимо его желаний, случайно. Это смутило её, она тотчас ласково коснулась руки гостя.

– Не сердитесь.

Но под её рукою не оказалось ничего кроме шероховатой вязаной скатерти; это было неиспытанно неприятно и даже – жутко. Но стало совсем плохо, когда раздался сердито укоряющий голос:

– Но – вы настоящая, обыкновенная, так называемая реальная женщина! Зачем же вы меня мистифицировали?

Павел Волков встал, нелепо взмахнул шляпой и повторил с гневным недоумением:

– Какой смысл в этой мистификации?

Он поплыл на террасу, несколько секунд постоял в двери, струясь в лунном сиянии.

– Послушайте! – говорила женщина, медленно подходя к нему. – Ведь это –

брание сочинений в тридцати томах. Том 16. Рассказы, повести 1922–1925. Максим Горький gorkiymaxim. невероятно! Невозможно убедить меня, что вы...

Идя, она впервые убедилась, что земля действительно вращается вокруг оси своей, вращается с быстротой нелепой, ненужной.

– Читатели! – сказал Павел Волков, удаляясь, и было ясно, что он вложил в это слово обидный, порицающий смысл. Шёл он, держа трость под мышкой, и, достав из кармана перчатки, натягивал их на пальцы, как это делают знаменитые провинциальные актеры, играя роли героев. Но женщине казалось, что пальцы перчаток расправляются так быстро, как будто бы их надували воздухом.

В хитром освещении луны его фланелевая фигура принимала призрачный, зёлёноватый оттенок. Вот она достигла берега пруда, группы берёз и потерялась, исчезла в серебре стволов, в тёмном блеске воды.

Конечно, женщина протёрла пальцами глаза; в подобных случаях всегда прибегают к этому жесту, я не помню автора, который решил бы забыть об этом жесте. Было очень тихо, если не говорить о вое собак, почти непрерывном. Следовало бы стенным часам пробить полночь или сове крикнуть раза два, но – я не хочу рассказывать читателю о том, чего не было. Известно, что я – строгий реалист, суровая, грубая правда моих рассказов признана всеми критиками, которые умеют читать, те же, которые читать ещё не выучились, вполне согласны с первыми в оценке моих достоинств, а главное – недостатков. Лично я крепко убеждён, что мои недостатки последовательно и непрерывно развиваются и что на этом пути я уже скоро достигну полного совершенства. Но – это в будущем, а пока предо мною стоит вопрос: как закончить рассказ? Мне кажется, что это сделать просто, например:

Женщина вздохнула, глядя в даль, там, за круглым, тёмным, мерцающим оком пруда, чёрной, огромной ресницей поднимался мохнатый лес.

Это – неплохой образ: во всяком случае оригинальный. Пруды, озёра, моря – всегда казались мне очами земли, а в юности, которая стремглав убежала в недосыгаемую никому, кроме памяти, сказочную даль, в юности я даже писал такие стихи:

Синими очами океанов  
Смотришь ты, земля моя родная,  
На сестёр твоих, золотые звёзды,  
На золотые звёзды в небе синем.  
О, какой тоскою светят в небо  
Синей ночью очи океанов...  
И – так далее, всё – о – о – о! Очень синие стихи.

Кстати – для критиков: земля – звезда, это я взял взаймы у В. Гюго. Но – дальше.

Над чёрной массой леса медленно всплывали три звезды, женщина вспомнила, что это Волхвы Ориона. Пустынно было небо; краденый свет луны самодовольно затмил честное сияние звёзд.

Здесь напрашивается уподобление, весьма полезное для многих, а для некоторых – обидное; однако я его не сделаю, это отвлекло бы меня в сторону, а рассказ-то надо кончить. Да.

Тихо прикрыв дверь на террасу, женщина ушла в маленькую и, разумеется, уютную комнатку, тёплое гнездо, где она высиживала цыплят своей фантазии. Крепко потирая холодные щёки ладонями, она встала перед зеркалом, – оттуда на неё смотрели почти чужие глаза, округлённые недоумением, испугом. Эти глаза не верили, что маленькая, изящная женщина, которую они так великолепно украшают...

«Он – едва ли человек, – думала женщина. – Будь он человеком, мужчиной... В сущности, он почти оскорбил меня».

Она села к столу, поправила отстегнувшийся чулок и долго сидела, играя ножницами для ногтей. Потом стала полировать ногти замшей, – лучше всего думается, когда полируешь ногти. Очень жаль, что Иммануил Кант не знал этого. У женщины было много мыслей, но все они тревожно колебались, как пылинки в луче солнца, ни одна из них не нравилась ей, и это возбуждало досаду. Ей надо было сделать усилие над собою, чтоб заставить себя думать о Фомине.

брание сочинений в тридцати томах. Том 16. Рассказы, повести 1922–1925. Максим Горький gorkiymaxim. И она подумала, что хотя этот мужчина некрасив, неуклюж, но всё же он самый интересный человек среди её знакомых. А подумав так, женщина с изумлением догадалась, что она давно, и всё время, думает именно о Фомине и что всё, что пережито ею десять минут тому назад, – просто игра её души с человеком, который забавен больше других.

Тогда, раскрыв бювар, она торопливо, тонким английским почерком написала Фомину:

«Милый Антипа Титыч!

Четверть часа тому назад я пережила нечто невероятное, фантастическое, безумное; прибавьте сюда все другие, более сильные эпитеты, если Вы имеете их, и всё-таки они не определяют с достаточной глубиной и точностью того, что пережито мною.

Знаете, кто был у меня в гостях? Павел Волков, герой Вашего романа, человек, о котором Вы так много и хорошо говорили мне, но которого я всё же – помните? – не могла достаточно ясно представить себе. Вы не должны думать, что у меня был какой-то реальный человек, похожий на него, нет, это был именно сам Павел Волков, созданный Вами и – простите! – мало похожий на человека вообще. Он назвал себя воплощением Вашей творческой силы, существующим в какой-то совершенно непонятной для меня форме: внешне – это человек, но внутренне – что-то бездушное, незаконченное, неспособное подчиниться даже сексуальным эмоциям нормального мужчины. Он довольно прилично одет, но неловок и действительно как-то весь недорождён. Жаловался, что, создав его, Вы забыли о нём, и, возмущённый этим, он решил жить самостоятельно, тою силой, которой Вы недостаточно наделили его. Так я поняла Вашего героя.

Пожалуйста, не думайте, что я сошла с ума, галлюцинировала, – ничего подобного. И доказательством моего душевного здоровья должно служить то, что я отнеслась к этому странному всё-таки визиту вполне спокойно, разумно и критически.

Ваш герой решительно не понравился мне. Я уверена, что с таким человеком в центре событий роман Ваш будет неудачен. Разве может быть что-либо интересное в жизни неинтересного человека? Он даже не особенно умён, этот Волков. Он не удался Вам, и Вы должны как-то переделать, переписать его. Во всяком случае Вам необходимо сделать так, чтоб это существо не шлялось по земле каким-то полупризраком, – я не знаю чем! – и не компрометировало Вас. Подумайте: сегодня он у меня, завтра у другой женщины, – он ищет женщину, как Диоген искал человека...»

Она перестала писать, подумав: не придаётся ли ею излишняя реальность этому случаю, и не смешно ли пишет она? И решила: пусть останется так, как написано, это забавнее!

Она писала ещё много, испытывая всё более острое желание уничтожить Павла Волкова. Зачем нужен он? Зачем вообще нужны неприятные, неудачно выдуманные люди?

А кончив письмо десятком ласковых слов, она позвала горничную, велела ей плотнее закрыть окна, хорошенько запереть дверь на террасу и сказала ей:

– Вы, Глаша, лягте в соседней комнате, на диване; я чувствую себя не совсем хорошо и, может быть, ночью позову вас.

Потом разделась, легла в постель и, пытаясь представить, как Фомин отнесётся к её письму, уснула.

Через несколько дней Фомин ответил:

«Я прочитал милое и удивительно остроумное письмо Ваше сейчас, скучной дождливой ночью; холодно в комнате, холодно в душе у меня. Я был в гостях, шёл домой пешком, дождь барабанил по зонтику, я думал о Вас, и – сложились стихи, конечно – неважные, но – поверьте – искренние!»

В стихах Фомин говорил:

брание сочинений в тридцати томах. Том 16. Рассказы, повести 1922–1925. Максим Горький gorkiymaxim.

Навстречу странному виденью  
Один иду тропой земной,  
Моя тоска свинцовой тенью  
Влачится по земле, за мной.

Я никого не беспокою  
Тем, чем больна душа моя –  
Неисчерпаемой тоскою  
О тайном смысле бытия.

Ведь мне помочь не могут люди,  
И я им – тож не помогу,  
И кто из них меня осудит  
За то, что я молчу, не лгу,  
Не утешаю их словами,  
Тоски моей им не дарю?  
Я только с Вами, только с Вами  
О ней шутливо говорю..

Женщина усмехнулась: Фомин забыл, что уже читал ей эти стихи весной, когда, вдвоём с нею, катался в лодке. Но, может быть, хорошо, что он забыл; в тот вечер она была настроена дурно и сказала ему, что такие стихи можно писать не менее сажени в одну ночь.

Дальше Фомин писал:

«И вот, придя к себе, нахожу на столе Ваше письмо, такое оригинальное, полное дружеского внимания ко мне, чем я не избалован, – и серьёзного отношения к моей работе. Спасибо Вам. Вы оживили в памяти моей этот жалкий роман и окончательно убили героя его. Я взял рукопись, прочитал её, устыдился и разорвал на мелкие клочья. Теперь Павел Волков не придёт беспокоить Вас».

Дальше он писал всё то, что пишут женщине, когда хотят нравиться ей. В этих случаях пишут всегда льстиво, но иногда – искренно льстят.

Прочитав письмо, женщина задумалась, глядя в окно, в парк, – там сверкало скучное солнце осени, посвистывая, буянил ветер, падали жёлтые листья.

Вот и кончен рассказ.

Я не знаю, что после всего этого сделала женщина, но думаю, что она написала мужу:

«Прости, Павел, но я не могу больше жить с тобой».

Мужа этой женщины я тоже не знаю. Возможно, что это один из тех редких мужчин, от которых женщины не уходят. Мне кажется, что мужчины этого племени глухи, немые, хромы и вообще страшно уродливы или до того законченно несчастны и жалки, что несчастье их уже невозможно увеличить.

Следовало бы заключить этот рассказ пейзажем в лирическом тоне, но – не хочется.

И так – хорошо.

Карамора

Вы знаете: я способен на подвиг. Ну, и вот также подлость, – порой так и тянет кому-нибудь какую-нибудь пакость сделать, – самому близкому.

Слова рабочего Захара Махайлова, провокатора, сказанные им следственной комиссии в 1917 г. «Былое» 1922, кн. 6-ая, статья Н. Осиповского.

Иногда – ни с того ни с сего – приходят мысли плохие и подлые...

Н.Н. Пирогов

Позвольте подлость сделать!

Один из героев Островского.

Подлость требует иногда столь же самоотречения, как и подвиг героизма.

Из письма Л. Андреева.

По обдуманному поступку не узнаешь, каков есть человек, его выдают поступки необдуманные.



Н.С. Лесков в письме к Пыляеву.  
У русского человека мозги набекрень.

И.С. Тургенев.  
Отец мой был слесарь. Большой такой, добрый, очень весёлый. В каждом человеке он прежде всего искал, над чем бы посмеяться. Меня он любил и прозвал Караморой, он всем давал прозвища. Есть такой крупный комар, похожий на паука, в просторечии его зовут – карамора. Я был мальчишка длинноногий, худощавый; любил ловить птиц. В играх был удачлив, в драках – ловок.

Дали мне они три дести бумаги: пиши, как всё это случилось. А зачем я буду писать? Всё равно: они меня убьют.

Вот – дождь идёт. Действительно – идёт: полосы, столбы воды двигаются над полем в город, и ничего не видно сквозь мокрый бредень. За окном – гром, шум, тюрьма притихла, трясётся, дождь и ветер толкают её, кажется, что старая эта тюрьма скользит по взмыленной земле, съезжает под уклон туда, на город. И я, сам в себе, как рыба в бредне.

Темно. Что я буду писать? Жили во мне два человека, и один к другому не притёрся. Вот и всё.

А может быть, это не так. Всё-таки писать я не буду. Не хочу. Да и не умею. И – темно писать. Лучше полежим, Карамора, покурим, подумаем.

Пускай убивают.

Всю ночь не спал. Душно. После дождя солнце так припекло землю, что в окно камеры дует с поля влажным жаром, точно из бани. В небе серпиком торчит четвертинка луны, похожая на рыжие усы Попова.

Всю ночь вспоминал жизнь мою. Что ещё делать? Как в щель смотрел, а за щелью – зеркало, и в нём отражено, застыло пережитое мною.

Вспомнил Леопольда, первого наставника моего. Маленький, голодный еврейчик, гимназист. Мне было в то время девятнадцать лет, а он года на два или на три моложе меня. Чахоточный, в близоруких очках, рожица жёлтая, нос кривой и докрасна затёк от тяжёлых очков. Показался он мне смешным и трусливым, как мышонок.

Тем более удивительно было видеть, как храбро и ловко он срывает покровы лжи, как грызёт внешние связи людей, обнажая горчайшую правду бесчисленных обманов человека человеком.

Был он из тех, которые родятся мудрыми стариками, и был неукротимо яростен в обличении социальной лжи. Даже дрожал от злости, оголяя пред нами жнзнь, – точно ограбленный поймал вора и обыскивает его.

Мне, весёлому парню, неприятно было слушать его злую речь. Я был доволен жизнью, не завистлив, не жаден, зарабатывал хорошо, путь свой я видел светлым ручьём. И вдруг чувствую: замутил еврейчик мою воду. Обидно было: я, здоровый, русский парень, а вот эдакий ничтожный, чужой мальчишка оказывается умнее меня; учит, раздражает, словно соль втирает в кожу мне.

Сказать против я ничего не умел, да и было ясно: Леопольд говорит правду. А сказать что-нибудь очень хотелось. Но – ведь как скажешь:

«Всё это – правда, только мне её не нужно. Своя есть».

Теперь понимаю: скажи я так, и вся моя жизнь пошла бы иным путём. Ошибся, не сказал. Пожалуй, именно потому не решился выговорить свои слова, что уж очень неприятно было: сидят четверо парней, на подбор молодцы, а глупее хворенькою галчонка.

Торговля нашего города почти вся была в руках евреев, и поэтому их весьма не

брание сочинений в тридцати томах. Том 16. Рассказы, повести 1922–1925. Максим Горький gorkiymaxim. любили. Конечно, и я не имел причин относиться к ним лучше, чем все. Когда Леопольд ушёл, я стал высмеивать товарищей: нашли учителя! Но Зотов, скорняк, который завёл всю эту машину, озлился на меня, да и другие – тоже. Они уже не первый раз слушали Леопольда и довольно плотно притёрлись к нему.

Подумав, я тоже решил поступить в обработку пропагандиста, но поставил себе цель сконфузить Леопольда, как-нибудь унижить его в глазах товарищей; это уже не только потому, что он еврей, а потому что трудно было мне помириться с тем, что правда живёт и горит в таком хилом, маленьком теле. Тут, конечно, не эстетика, а, так сказать, органическая подозрительность здорового человека, который боится заразы.

На этой игре я и запутался, на этом и проиграл себя. Уже после двух, трёх бесед правда социализма стала мне так близка, так ясна, как будто я сам создал её. Теперь я думаю, что тут запуталась одна ядовитая и тонкая штучка, которую я – сгоряча и по молодости моей – не заметил. Доказано, что по закону естества разума мысль рождается фактами. Разумом я принял социалистическую мысль как правду, но факты, из которых родилась эта мысль, не возмущали моего чувства, а факт неравенства людей был для меня естественным, законным. Я видел себя лучше Леопольда, умнее моих товарищей; ещё мальчишкой я привык командовать, легко заставляя подчиняться мне, и вообще у меня не было чего-то необходимого социалисту – любви к людям, что ли? Не знаю – чего. Проще говоря: социализм был не по росту мне, не то – узок, не то – широк. Я много видел таких социалистов, для которых социализм – чужое дело. Они похожи на счётные машинки, им всё равно, какие цифры складывать, итог всегда верен, а души в нём нет, одна голая арифметика.

Под «душой» я понимаю мысль, возвышенную до безумия, так сказать, – верующую мысль, которая навсегда и неразрывно связана с волей. Суть моей жизни, должно быть, в том, что такой «души» у меня не было, а я этого не понимал.

Я был бойчее товарищей, лучше их разбирался в брошюрках, чаще, чем они, ставил Леопольду разные вопросы. Неприязнь к нему очень помогала мне; стараясь уличить его в том, что он не всё или не так знает, я стремился как можно скорее узнать больше, чем он. Соревнование с ним настолько быстро двигало меня вперёд, что скоро я уже был первым в кружке и видел, что Леопольд гордится мною, как созданием разума своего.

Он, пожалуй, даже любил меня.

– Вы, Пётр, настоящий, глубочайший революционер, – говорил он мне.

Удивительно начитанный и великий умник был он. Постоянно у него насморк, всегда кашлял, сухой, чёрненький, точно головня, курится едким дымом, стреляет искрами острых слов. Зотов говорил:

– Не живёт, а – тлеет. Так и ждёшь: вот-вот вспыхнет и – нет его!

Я слушал Леопольда с жадностью, с величайшим увлечением, но – обижал его. Например – спрашиваю:

– Вы всё говорите о европейских капиталистах, а вот о еврейских как будто и забыли?

Он, бедняга, сжался весь, замигал острыми глазёнками и сказал, что хотя капитализм интернационален, но для евреев гораздо более, чем капиталисты, характерны и знаменательны враги капитализма – Лассаль, Маркс.

Потом он, с глазу на глаз, упрекал меня в склонности к юдофобству, но я отвёл упрёки, сказав, что его умолчание о евреях замечено не только мною, а всеми товарищами. Это была правда.

На восьмом месяце занятий с нами он был арестован вместе с другими интеллигентами, с год сидел в тюрьме, потом его сослали на север, и там он умер.

Это один из тех людей, которые живут, как слепые, вытарачив глаза, но – ничего не видят, кроме того, во что верят. Эдаким – легко жить. С таким зарядом я бы прожил не хуже их.

Привели в тюрьму солдата, – удивительно похож на отца, в год его смерти: такой же лысый, бородатый, так же глубоко, в тёмные ямы, провалились глаза, и посмеивается виновато, как смеялся отец мой перед смертью.

– Петруха? – спрашивал он меня. – А ну, как умрёшь – черти встретят?

Он умирать не хотел даже до смешного; лечился сразу у троих: у знаменитого доктора Туркина, у какой-то знахарки в слободе, ходил к попу, который от всех болезней пользовал настоем эфедры – «кузьмичовой травы». Боялся отец и за меня. Говорит, бывало:

– Бросил бы ты, Пётр, забаву эту! В том, что люди плохо живут, не твоя вина, почему же твоя обязанность налаживать чужую жизнь? Это всё равно как если б ты чужих гусей пас, а своих без призора оставил.

В грубых мыслях правды больше. Конечно – люди посажены на цепь экономики. Экономический материализм – учение ясное и никаких выдумок не допускает. Связь между людьми – дело внешнее, механическое, насильственное. Пока мне выгодно – я терплю эту связь, а невыгодно – открываю свою лавочку: прощайте, товарищи!

Я – не жаден, немного мне надо на мой срок жизни.

Среди товарищей есть эдакие поэты, лирики, что ли, проповедники любви к людям. Это очень хорошие, наивные парни, я любовался ими, но понимал, что их любовь к людям – выдумка, и – плохая. Понятно, что для тех, кто, не имея определённого места в жизни, висит в воздухе, для тех проповедь любви к людям практически необходима; это очень хорошо доказано наивным учением Христа. По существу дела – забота о людях исходит не из любви к ним, а из необходимости окружить себя ими, чтоб с их помощью, их силою, утвердить свою идею, позицию, своё честолюбие. Я знаю, что интеллигенты в юности действительно ощущают физическое тяготение к народу и думают, что это – любовь. Но это не любовь, а – механика, притяжение к массе. В зрелом возрасте эти же поэты становятся скучнейшими ремесленниками, кочегарами. Забота о людях уничтожает «любовь» к ним, обнаруживая простейшую, социальную механику.

В городе, ночами, постреливают. Сегодня, на рассвете, в камере надо мною кто-то выл, стонал, топал ногами. Кажется – женщина.

Утром приходил от них товарищ Басов, спрашивал: пишу ли я? Пишу.

Он снова, как на первом допросе моём, ужаснулся, разводил руками, бормотал:

– Поверить невозможно, что это – вы, старый партиец, организатор восстания, один из самых энергичных работников наших.

Неприятная у него манера говорить; слова будто жуёт, а они у него прилипают к зубам, и языку трудно отодрать их. Он вообще неуклюжий, неловкий человек и – кочегар. По неловкости своей часто сидел в тюрьмах. Скучный мужчина. Лицо у него – лицо безвинно наказанного, на всю жизнь обиженного. Среди интеллигентов много встречается с такими вывесками страдания и обиды на рожах. Особенно обильно разродились они после 905 года. Ходили по земле так, как будто мир человеческий должен им полтора рубля и – не платит.

Они, видимо, думают, что смерть испугает меня и я, несчастный злодей, растекусь покаянием, как водосточная труба в дождливый день. Чудаки.

Да, я пишу. Не для того пишу, чтоб вытянуть несколько лишних дней жизни в тюрьме, а – по желанию третьего. Живут во мне, говорю, два человека, и один к другому не притёрся, но есть ещё и третий. Он следит за этими двумя, за распрей их и – не то раздувает, разжигает вражду, не то – честно хочет понять: откуда вражда, почему?

Это он и заставляет меня писать. Может быть, он и есть подлинный я, кому хочется понять всё или хоть что-нибудь. А может быть, третий-то – самый злой враг мой? Это уж похоже на догадку четвертого.

В каждом человеке живут двое: один хочет знать только себя, а другого тянет к людям. Но во мне, я думаю, живёт человека четыре, и все не в ладу друг с другом, у всех разные мысли. Что бы ни подумал один, – другой возражает ему, а третий спрашивает:

«Это вы зачем же спорите? И что будет из вашего спора?»

Есть, пожалуй, ещё и четвёртый, этот спрятался ещё глубже третьего и – молчит, присматривает зверем, до времени тихим. Может быть, он и на всю мою жизнь останется тих и нем, спрятался и равнодушно наблюдает путаницу.

Я думаю, что ещё в юности, когда слагается человек, он, волею своей, должен задушить в себе зародыши всех личностей, кроме одной, самой лучшей.

А вдруг он именно её и задушит, лучшую? Ведь – чорт её знает, которая лучшая-то!

Интеллигентам – легче, у них школа вытравляет лишние зародыши, злую икру, а нашему брату, когда в нём проснётся неукротимая жажда всё знать, всё попробовать, всё испытать, – нашему брату очень трудно!

В двадцать лет я чувствовал себя не человеком, а сворой собак, которые рвутся и бегут во все стороны, по всем следам, стремясь всё обнюхать, переловить всех зайцев, удовлетворить все желания, а желаниям – счёта нет.

Разум не подсказывал мне, что хорошо, что дурно. Это как будто вообще не его дело. Он у меня любопытен, как мальчишка, и, видимо, равнодушен к добру и злу, а «постыдно» ли такое равнодушие – этого я не знаю. Именно этого-то я и не знаю.

Здесь уместно вспомнить смешные слова Таси:

«Когда человек очень умён, так это даже неприлично».

Значит: пишу я по желанию третьего. Пишу не для них, а для себя и потому что мне скучно. А рассказывать жизнь свою самому себе очень интересно. Смотришь на себя, как на чужого, и забавно ловить мысли свои на попытках соврать, спрятать что-нибудь от четвёртого, ускользнуть от его слежки за тобою. Такая игра стоит не только свеч, а целого костра. После неё остаётся только пепел? Ну, что ж...

Едва ли они увидят и прочитают эти записки, я успею истребить бумагу или пересуну её в другие руки, чужим людям.

Вот рядом со мною воры сидят, трое, весёлый народ. Старший у них – почти мальчишка, лет двадцати, не больше, ученик мореходных классов. Хорошо поёт частушки, особенно – одну:

Я отчаянным родился  
И отчаянным помру,  
Если голову мне сломят –  
Я полено привяжу.  
Удалой парень. В его возрасте я таким же был. Любил опасность, как товарищ Тася – шоколад.

Всего лучше чувствует себя человек в затруднительном положении. Когда, около Темрюка, оторвало ветром льдину с рыбаками и понесло их в море, я, бросившись им на помощь, тоже был оторван и поплыл на маленькой льдине один, с багром в руках. Сразу стало ясно мне, что игра моя проиграна, так ясно, что на минуту я оледенел изнутри. Волной ломало льдину под ногами у меня, ещё минута – и я бы потонул. Рыбаки, оставшиеся на льду, ещё не оторванным от берега, бросили мне длинную верёвку – этим лично я был спасён. И тотчас, как будто в меня извне вскочил кто-то, очень ловкий, злой, – я закричал, чтоб бросали ещё верёвок, а ту, которая уже была в руках у меня, метнул рыбакам – они выли и метались в десятке сажень от меня. Им удалось подцепить верёвку багром, а меня они сорвали со льдины в воду. Но я уже успел подхватить верёвку с береговой льдины, связал обе, потом ещё одну, и рыбаков осторожно подтянули к берегу. Из девяти человек потонул только один старик; в суете и страхе его свои столкнули в воду. Когда льдину с ними тянули к берегу, меня едва не перетёрли верёвкой, она была обмотана вокруг

брание сочинений в тридцати томах. Том 16. Рассказы, повести 1922–1925. Максим Горький gorkiymaxim.  
моего тела, я болтался на воде, как поплавок.

Вообще, когда меня постигала опасность, она, как бы сама против себя действуя, многократно увеличивала силы мои, наделяла спокойствием, обостряла соображение и всегда позволяла преодолеть её. Смел я был до нахальства и особенно любил себя в минуты, когда жизнь моя висела на волоске.

Был смешной случай: во время устроенного мною с воли побега товарищам из тюрьмы старичок надзиратель, догоняя, четыре раза выстрелил в меня из револьвера. После второго выстрела я остановился, не хотелось бежать, не то – стыдно было, не то – смешно. Подбегая, он выстрелил ещё раз, попал в голенище сапога, оцарапал ногу, потом стреляет в упор, в грудь – осечка!

Я вышиб револьвер из руки его, говорю:

– Не вышло, старик?

А он, задыхаясь, хрипит:

– Так ты беги, дьявол! Чего же ты ждёшь, чо-орт?

Страх испытал я, кажется, только один раз – во сне, в ссылке, в захолустном городке Уржуме. Там было такое совпадение условий: начитался я книжек по астрономии, только что перенёс тиф и едва ходил по земле, а тут ещё явился странный человечек и начал проповедовать мне о «распятом за нас при Понтийском Пилате». Он почти не говорил – «Христос», а всё только «распятый за ны». Был он человек жалкий, должно быть, не в своём уме, и был, несомненно, не простой странник, прихлебатель по кухням богатых купчих, а из интеллигентов. Длинный, сухой, с несчастной бородкой, на висках седые волосы, хотя – не стар, лет тридцати пяти. Молодили его глаза, необыкновенно лучистые, глаза влюблённой девушки, так сказать. Синеватые зрачки его точно горели и таяли, растекаясь по большим, очень выпуклым белкам.

Сиж у ворот на лавочке, пригрело меня солнцем, задремал, – вдруг рядом со мною очутился этот человек и начал говорить о «распятом за ны». Говорил изумительно, с такой детской наивностью и так, как будто сам непосредственно пережил всю авантюру Христа, – «авантюра» – это слово товарища Басова, специалиста по атеизму.

Разумеется, я стал спорить. Потом он попросил есть, я отвёл его к себе в комнату, там спор наш разгорелся ещё жарче. Собственно говоря, он не спорил со мною, а только читал стихи из евангелия и улыбался жалобно. До поздней ночи я убеждал его, что каждый человек, умеющий думать, прекрасно знает, что бога – нет, Христос – наивная поэзия, лирика, выдумка, обман в конце концов. Веруют в бога по невежеству, из страха, по привычке, из упрямства, а некоторые даже потому, что в душе отчаянно пусто и они набивают пустоту ватой религии. Иные, пожалуй, относятся ко Христу, как к женщине, о которой знают, что она обманула, изменила, но – привыкли к ней, других не чувствуют, а эту бросить – не могут. Вообще – бога нет. Будь бог – разве люди таковы были бы?

Впрочем, последних слов я, наверное, не сказал ему; это, кажется, только сейчас и впервые сказано мною. Тоже – наивно. И неуклюже: буль-буль-буль – точно тону, захлёбываюсь. Не умею писать.

Говорил я не столько ему, сколько сам себя экзаменуя, просматривая мои мнения о боге, религии и всей этой лирике нищих духом. Он сидел на лавке у окна, смотрел на меня, облокотясь о стол, улыбался, иногда – засмеётся необидным смехом дурачка. Так и сидел до поры, пока мы не улеглись спать, я – на койке, он на полу.

Ночью проснулся я, а он стоит среди комнаты, высокий почти до потолка, и бормочет, глядя в окно, указывая рукою на меня:

– Помоги ему, ты – должен, помоги!

Бормотал он строго, как бы приказывая, точно власть имущий над кем-то, – фокус этот не понравился мне, но я ничего не сказал чудаку и снова уснул. Тут и приснилось мне, будто я хожу по краю плоского круга, покрытого сводом серенького

брание сочинений в тридцати томах. Том 16. Рассказы, повести 1922–1925. Максим Горький gorkiymaxim.  
неба. Хожу я по черте горизонта и щупаю руками холодное, твёрдое, это – край неба, он плотно врос, притёрся к жёсткой, как железо, но беззвучной земле, – шагов моих на ней не слышно. Как тусклое зеркало, небо отражает моё уродливо изогнутое тело, лицо у меня искажённое, руки дрожат, и моё отражение протягивает ко мне эти дрожащие руки, пальцы их неестественно изогнуты, не сжимаются. Я уже несколько раз обошёл пустоту, быстро и всё быстрее двигаясь по черте горизонта, но – не понимаю, чего ищу, и не могу остановиться. Невыносимо тяжело мне и тревожно, я помню, что на земле существует жизнь, множество людей, – где же всё это? В непоколебимом молчании, в совершенной безжизненности, моё движение по кругу становится всё быстрее, вот оно уже как полёт ласточки, а обок со мною летит, размахивая руками, отражение моё, и всюду, куда бы я ни взглянул, – только оно. Круг, сжимаясь, становится всё меньше, купол неба всё ниже, я бегу, задыхаюсь, кричу...

Человек этот разбудил меня, а я со страха так обрадовался, что схватил его за руки, прыгаю и смеюсь. Вообще вёл себя очень глупо. Страшнее этого сна я ничего не помню. Кстати сказать: ошибочно утверждают, что страшно – непонятое, это неверно. Например: астрономия очень понятна, а разве не страшна?

В городе шумят, стреляют. Папирос у меня нет, это – плохо.

Работал я с величайшим увлечением, жил празднично. Командовать людьми нравилось мне, вероятно, больше, чем это нравится вообще человекам, особенно – интеллигентам, которые командовать и любят, да не умеют. Что бы там ни пели разные птицы, а власть над людьми – большое удовольствие. Заставить человека думать и делать то, что тебе нужно, что вовсе не значит спрятаться за человека, нет, это ценно само по себе, как выражение твоей личной силы, твоей значительности. Этим можно любоваться. И если б я не любил власть, я не был бы признан отличным организатором.

Когда меня первый раз арестовали, я почувствовал себя героем, а на допрос шёл, как на единоборство с медведем. Страдать я не мастер и страданий, сидя в тюрьмах, никогда не испытывал, если не говорить о некоторых, всем известных, мелких неудобствах тюремной жизни. Лишение свободы? Тюрьма давала мне свободу читать, учиться. А кроме того, тюрьма даёт революционеру нечто подобное генеральскому чину, окружает его ореолом, и этим надобно уметь пользоваться, когда имеешь дело с людьми, которых ты, против воли их, толкаешь на путь к свободе.

Слуга классовых врагов моих, жандармский ротмистр, оказался добродушным человеком, тучный, красноносый, видимо – пьяница, он встретил меня улыбкой и словами, каких я, конечно, не ожидал от врага.

– Пётр Каразин, иначе – Карамора? Ого-го, какой молодчинище! Великолепный драгун вышел бы из вас.

Я приготовился говорить с ним сурово, презрительно, но тотчас понял, что это было бы смешно. Не то чтоб он умягчил меня, а просто я увидал пред собою воробья, по которому только трус или идиот решился бы стрелять из пушки. Когда я вежливо, но спокойно заявил ему, что я отказываюсь от показаний, он наморщил нос и заворчал:

– Ну, разумеется. Теперь все вы так, знаю. Вот и посидите в тюрьме. Эх, молодёжь...

Мне даже показалось, что ротмистру приятна решительность моего заявления. Я не подумал, что жандарм, может быть, торопится обедать и только потому у меня с ним всё кончилось так быстро и легко. Возможно, что для меня было бы лучше, если б я наткнулся не на этого человека, а на хорошего зверя в мундире, на лицо определённых убеждений, одним словом, не на чиновника, а на врага. Жизнь так забавно устроена, что лучшим воспитателем человека является враг его.

Но, хотя до пятого года я сидел в тюрьмах трижды и допрашивался жандармами раз десять, мне так и не пришлось встретить среди них ни одного, который умел бы разгечь во мне чувство вражды, ненависти. Всё обыкновеннейшие чиновники, и даже встречались довольно приличные люди; говорю это не с целью рассердить ортодоксальных товарищей, а как о факте, видимо, случайном.

Объявив мне приговор, полковник Осипов, тощий, жёлтый, умиравший от рака, сказал:

– Вам повезло: приговор лёгкий. Вы заслуживаете более сурового наказания, вы очень опасный человек.

Для меня его слова звучали похвалой, хотя он говорил их удивляясь и сожалея.

Это был человек умный, он хорошо понимал людей и однажды весьма смутил меня замечанием, которого мог бы не делать: на последнем допросе он сказал, разглядывая меня сквозь стёкла пенснэ:

– На мой взгляд, вы, Каразин, или озорничаете, или ошиблись и делаете не ваше дело.

Это очень укололо меня. Вот тут я рассердился, начал говорить ему дерзости, но он остановил меня:

– Я вовсе не хотел обидеть вас, а просто, как человек человеку, высказал моё впечатление. Вы играете опасную игру, а мне кажется, что для революционера вы человек недостаточно злой и – уж извините! – слишком умный.

Я думаю, что Осипов был порядочный человек; впрочем – так говорили все товарищи, побывавшие в его руках.

Однажды, вместе со мною, арестовали сына моей квартирной хозяйки, гимназиста, ученика моего. Я дал Осипову честное слово, что мальчик не причастен к моим делам, просил выпустить его из тюрьмы и устроить так, чтоб Сашу не исключили из гимназии.

– Хорошо, я это сделаю, – сказал Осипов и при мне же распорядился, чтоб гимназиста освободили. А когда я поблагодарил его за это, он объяснил:

– Бог мой, – ведь в наших интересах не увеличивать, а уменьшать количество бунтовщиков, вам подобных, а в интересах ваших было бы оставить мальчика в тюрьме, изломать его карьеру, озлобить и так далее...

Этими словами он как будто давал мне урок революционного поведения. Я так и сказал ему:

– Спасибо за урок.

Вероятно, он был тоже раздвоенный человек. Конечно – люди делятся на трудящихся и живущих чужим трудом, на пролетариат и буржуазию. Это – внешнее деление, а затем они, во всех классах, делятся на людей цельных и раздробленных. Цельный человек всегда похож на вола – с ним скучно.

Я думаю, что цельность – результат самоограничения ради самозащиты. Кажется, это же самое утверждает Дарвин. Человек попал в условия, где некоторые свойства его психики не только излишни для него, но и опасны: ими может воспользоваться его внутренний или внешний враг. Тогда человек сознательно гасит, уничтожает в себе излишнее и этим приобретает «цельность». Например: на кой чорт революционеру жалость к людям, лирика, сентиментальность, романтизм и всё прочее в этом духе?

Революционеру необходим только энтузиазм и вера в себя. Интерес к многообразию внутренней жизни определённо вреден ему. В этом многообразии так же легко запутаться, как ребёнку в колючих кустах терновника.

Жизнь человека раздробленного напоминает судорожный полёт ласточки. Разумеется, цельный человек практически более полезен, но – второй тип ближе мне. Запутанные люди – интереснее. Жизнь украшается вещами бесполезными. Я не видал идиотов, которые украшали бы жилища свои молотками, гайками или велосипедами. Впрочем, один богач, мукомол, собрал больше пятисот замков и развесил их в двух больших комнатах на красных, суконных щитах. Но у него были такие фокусные замки, что я, наследственный слесарь, рассматривал их с огромнейшим удовольствием. И, конечно, все они были бесполезны.

брание сочинений в тридцати томах. Том 16. Рассказы, повести 1922–1925. Максим Горький gorkiymaxim. Технические фокусы я люблю, как всякую игру человеческого разума, в каких бы формах она ни выражалась.

Вот тоже, говорят о «христианской культуре». Что врётё? Какого чорта – христианская? Где в ней наивность, в этой вашей культуре? Евангельской наивности нет нигде. Расплодили злые, хитрые мысли, распустили их по всей земле, как стаю бешеных собак. Идиоты.

К восьмому году лучшие зубы революции были выбиты. Множество рабочих пошло на каторгу, многие, струсив, нарядились в бараньи шкуры обывателей; потом эти шкуры приросли к их коже. Некоторые, захотев пожить в своё удовольствие, стали бандитами, – «жизнь в своё удовольствие» всегда, прямо или косвенно, соприкасается с бандитизмом. Особенно быстро и ловко ускользнули от расправы победителей товарищи интеллигенты. Гнусное было время. Даже люди, доказавшие способность к подвигам, делали подлости.

Но – лучше не писать, не думать на эту тему. У меня нет желания намекнуть кому-то: время было плохое, а потому...

Нет, я не хочу оправдываться. У меня своя линия, своя задача. Знакомый мой, татарин, говорил:

– Мин дин мин – я есть я.

Каков бы я ни был, но я – есть я. Условия времени сыграли значительную роль в моей жизни, но только тем, что поставили меня лицом к лицу с самим собою. Раньше я жил, так сказать, вооружаясь для борьбы, это поглощало все мои силы, и у меня не было времени думать: кто я? Раньше я был связан с людьми сознанием общности политических и экономических интересов, чувством партийной солидарности, дисциплиной. А тут вдруг почувствовал, что экономика и политика не всего меня поглощают, увидел, что солидарность интересов – сомнительна, а законы партийной дисциплины не для всех печатаются одним и тем же шрифтом... В это время я и ушибся о вопрос: почему люди так шатки, неустойчивы, почему они с такой лёгкостью изменяют делу и вере?

Однако это всё-таки похоже на попытку оправдаться. Подлая штука.

Пожалуй, правдивее и вернее будет, если сказать просто: раньше я работал с увлечением, энтузиазмом, самозабвенно, а тут начал посвистывать; суну руки в карманы и свищу, чувствуя, что работать не хочется. Не то, чтоб я устал и не мог, а – именно не хотел. Скучно стало. И не потому скучно, что надо было снова хватать людей за ворот и тащить их на пути к свободе, – на пути, только что обильно политые кровью, – нет, не потому. Я всё это делал, хватал, тащил, но уже как будто из упрямства, из желания кому-то что-то доказать, вообще из других мотивов, не прежних, а новых, неясных для меня. И – непрочных.

Непрочность побуждений к революционной работе я чувствовал особенно остро. Идеи оставались со мною, но энергия, оживлявшая идеи, как будто требовала иного применения.

Трудно мне объяснить это состояние тихого, но упрямого бунта, который вызывал во мне странную вялость мысли, чувства и настойчивую потребность испытать что-то неиспытанное.

Может быть, это бунтовал авантюрист, человек привычки к приключениям, конспирации, опасности? Может быть.

Но – проще – суть в том, что раньше я говорил с людьми словами чужими, книжными и, сам оглушённый ими, не прислушивался к себе. А теперь я чувствовал, что внутри меня живёт кто-то, гость непрошенный и неприятный, он слушает мои речи и следит за мною недоверчиво, подозрительно.

Я стал замечать то, что раньше мелькало мимо меня, не задевая моего внимания, и заметил, что товарищ Саша, врач, специалистка по детским болезням, очень милая женщина. Была она маленькая, круглая, весёлая; уже почти год вертелась предо мною, как бы танцую, её ловкая фигурка, бойко топали стройные ноги в голубых



брание сочинений в тридцати томах. Том 16. Рассказы, повести 1922–1925. Максим Горький gorkiymaxim. чулках. У неё вообще было пристрастие к голубому: кофточки, бантики, зонтики, в комнате на столах какие-то коробки, на стенах – картинки, всё голубое. И белки глаз голубоватые, а зрачки тёмные, ласково тающие улыбками.

Политически она была не очень грамотна, питалась больше всего беллетристикой, серьёзные книги читала неохотно, но по природе была не глупа.

Ещё в шестом году, когда восстание в городе было разбито, жандармы громили нашу организацию и десятками гнали людей в тюрьму, Саша удивила меня спокойным отношением к событиям. Она спрятала меня у своего дяди, офицера, и, уходя от него, пожимая мне руку, сказала:

– Почему вы ногти не чистите? И мыло засохло в ухе у вас.

Это мне понравилось. Потом я влюбился в неё, но молчал об этом. Она скоро заметила это и сама пошла встречу мне; это случилось очень просто, пожалуй, несколько бесстыдно, что ли. Как-то вечером я остался у неё пить чай, и вдруг она почти сердито спросила:

– Ну, когда же вы решитесь сказать, что я вам нравлюсь?

Вот и всё. Я ждал чего-то иного. Мне казалось, что настоящая любовь, как и вера, требует наивности. В простоте Саши – наивности я не почувствовал. Помню, что, раздеваясь, она даже не отвернулась от меня, а, раздетая, хвастливо сказала:

– Вот я какая.

И началась у нас «любовь» с великим удовольствием, но «без радости». Так сказать – деловая любовь, и «потому что без этого не проживёшь».

Около Саши суетился товарищ Попов, человек новый в городе. Чистенький, сытенный, розовощёкий и курносый, с рыжими усиками, он смотрел в глаза людям взглядом преданной собаки, с подчёркнутой готовностью услужить, побегать, принести. Я чувствовал в нём любопытство кутёнка, который суетится всюду, не понимая опасности, по молодости лет своих. Это любопытство возбуждало в нём смелость, хотя он казался мне трусом по натуре. Превосходно рассказывал еврейские анекдоты, знал множество юмористических стихов и был похож гораздо больше на куплетиста, на жулика, чем на серьёзного революционера. Однако было в нём что-то приятное, талантливое, какие-то свои искорки в словах, остренькие иголки в мыслях.

Я очень скоро заметил, что Попов слишком часто приносит Саше конфеты, дарит книги и вообще, ухаживая за нею, тратит много денег. Я спросил её: что она думает об этом? Она сказала, что у него в Ростове богатый брат, но – это не успокоило меня. Может быть, я немножко ревновал, зная, что у супруги моей половое любопытство к мужчине очень развито.

А у меня была развита подозрительность, росло недоверие к людям; я жил в «эпоху провокаторов». Мне стало казаться, что жандармы поумнели с той поры, когда в городе явился «товарищ» Попов.

Я поймал его самым простым приёмом: сначала убедил одного «сочувствующего» из среды культурных деятелей города испытать маленькую неприятность обыска, затем Попов был осторожно осведомлён, что на квартире этого «сочувствующего», в его кабинете, в диване спрятано кое-что очень интересное для жандармов, через час к «сочувствующему» явились с обыском и, очень небрежно обшарив квартиру, вспороли и тщательно распотрошили диван. Разумеется, ничего не нашли.

Я был почти один в городе, если не считать небольшой кружок рабочей молодёжи и нервноболезного товарища, который жил верстах в двадцати, на пасеке у знакомого казака. Я решил расправиться со шпионом единолично и немедленно.

Попов жил на окраине города, у огородника, на чердаке. Он показался мне угнетённым, в нём чувствовалась какая-то внутренняя растрёпанность; он, конечно, знал результат обыска и наверное уже чувствовал, что – пойман. Он встретил меня очень нелюбезно и заявил, что приглашён на именины к хозяевам дома, – действительно, внизу, под его комнатой играли на гармонике, кричали и топали.

брание сочинений в тридцати томах. Том 16. Рассказы, повести 1922–1925. Максим Горький gorkiymaxim.  
На чердаке Попова я пережил часа три, четыре самых скверных в моей жизни.

Я спросил его:

– Давно работаете в охране?

Попов покачнулся, рассыпал папиросы, нагнулся под стол, собирая их, и оттуда сказал, заикаясь, чужим голосом:

– Г-глупая ш-шуточка...

Но, взглянув на меня, он сполз со стула на пол и, стоя на одном колене, засмеялся, всхлипывая, как баба.

– Оставьте... Бросьте, – бормотал он, глядя на браунинг в моей руке. Усы его ощетинились, под одним глазом дрожала какая-то жилка, глаз мигал и закрывался, а другой был неподвижен, как у слепого. Я поднял его за волосы, посадил на стул и предложил ему рассказать о своих подвигах.

Тут я увидел пред собою человека, у которого действительно не было лица: его заменяла серая масса какого-то студня, и в нём, вместе с ним, дрожали отвратительно выпученные глаза. Бескровным куском мяса отвисла нижняя губа, дрожал подбородок, морщины бежали по щекам, – казалось, что вся голова этого человека гниёт, разлагается и вот сейчас потечёт на плечи и грудь серой грязью. И, как бы утверждая это впечатление, Попов схватился руками за виски, закрыл ладонями уши.

Он рассказал довольно обыкновенную историю: с третьего года в партии, дважды сидел в тюрьме, в шестом году участвовал в вооружённом восстании, был арестован на улице.

Рассказывая, он икал от страха.

– Я действительно участвовал, я даже стрелял... даже убил какого-то, честное слово! Наверное – убил, он – упал... Мне грозили вешалкой. Но – ведь хочется жить. Ведь мы – чтобы жить, человек – чтобы жить. Как же иначе? Подумайте сами: ведь жизнь для меня, а не я для жизни, да?

Это он шептал очень убедительно, шептал и всё спрашивал:

– Да? Да?

Одною рукой он царапал колено своё, а другою мямлил какую-то бумагу. Я отнял её и прочитал на ней имя Саши, своё, потом фразу:

«Ликвидировать Каразина было бы преждевременно, удобнее и полезнее сделать это в Екатеринославе, он скоро приедет туда».

Я заметил, что рассказ Попова не возмущал меня, – возмущала его философия. А тут ещё чорт подсказал ему нелепые слова, – они сразу ожесточили меня.

– Неужели совесть ваша не протестовала? – спросил я.

– О, да, – вздохнув глубоко, ответил он. – Да, сначала – очень страшно, думаешь, что все догадываются, чувствуют. Потом – привыкаешь. Вы – что думаете? – шопююм сказал Попов. – Ведь в охране тоже нелегко. И там нужен героизм, там тоже есть свои герои, конечно – есть! Если – борьба, так уж герои с обеих сторон.

И ещё тише, жульнически добавил:

– Даже интересно там, может быть, интереснее, чем у нас. Ведь их меньше, нас – больше...

Я видел, что его страх умалывается, исчезает. Он рассказывал увлекаясь, очень живо, со множеством анекдотических подробностей и мелочей, порою даже смешных. Мне кажется, что я не один раз сдерживал желание улыбнуться, и я подумал, что этот телёнок, превращённый в полицейскую собаку, мог бы писать интересные рассказы.

В его цинизме было что-то наивное, и эта наивность, помню, всего более ожесточала меня. Ожесточала и пугала. Я чувствовал себя очень странно – человеком, чужим самому себе. И вот наступил момент, когда я вдруг заторопился, сам себя подхлестывая на решение неожиданное.

– Ну, Попов, пишите записку: «В смерти моей прошу никого не винить».

Он скорее удивился, чем испугался, нахмурил брови, спросил:

– Как это? Зачем? Как это – смерть?

Я объяснил ему: если он не напишет записку – я его застрелю, а если напишет, – пусть сам повесится, сейчас же, при мне. Первое, что он сказал в ответ, было неожиданно и нелепо:

– Самоубийство? Никто не поверит, что я кончил самоубийством, нет! Там сразу поймут, что меня убили. И конечно – вы! Вы. Кому же, кроме вас? Там ведь знают, что вы здесь – один почти... И – какое вы имеете право судить, казнить – один?

Потом он валялся на полу, хватая меня за ноги, плакал, визжал, и я должен был зажимать ладонью его противный, мокрый рот.

– Нет, – кричал он тихонько, умоляюще, – нет, судите меня! Надо судить, судить...

Возня эта продолжалась бесконечно долго, я ждал, что внизу услышат, придут. Но там всё веселее играла гармоника, всё яростнее кричали и топали.

Попов повесился на отдушнике печи. Я держал его руки, пока он дрыгал ногами и громко выпускал кишечный газ.

Брошу писать. К чорту всё! Зачем это нужно? К чорту.

Нет, писание дело увлекающее. Пишешь – и как будто не один ты на земле, есть ещё кто-то, кому ты дорог, пред кем ни в чём не виноват, кто хорошо понимает тебя, не обидно жалеет.

Пишешь – и сам себе кажешься умнее, лучше. Опьяняет это дело. Вот когда я чувствую Достоевского: это был писатель наиболее глубоко опьянявшийся сам собою, бешеной, метельной, внеразумной игрою своего воображения, – игрою многих в себе одном.

Раньше я читал его с недоверием: выдумывает, страшит людей темнотою души человека затем, чтоб люди признали необходимость бога, чтоб покорно подчинились его непостижимым затеям, неведомой воле.

«Смирись, гордый человек!»

Если это смирение и нужно было Достоевскому, то – между прочим, а не прежде всего. Прежде же всего он был сам для себя – мин дин мин. Умел жечь себя, умел выжимать жгучий сок души своей весь, до последней капли. Неужели не было случаев, когда писатель умирал внезапно, за столом своим, над листом исписанной бумаги? По-моему – такие случаи должны быть. Выписал себя до конца, до последней искры жизни и – исчез. Жаль, что этим пьяным делом я не занимался раньше.

Ну, буду дальше писать о том, чего не понимаю.

Я вышел за город, ночь была светлая, холодная, дорогу ограждали чёрные деревья. Сел под деревом, в тень, и так просидел до утра, до поры, пока вдали заскрипели телеги крестьян. Чувствовал я себя скверно, такая немая пустота в душе, безмыслие в голове, в теле вялая усталость. Ждал я, что в душе моей что-то вспыхнет, разгорится. Когда Попов умер – умерло и моё отвращение к нему. Кто-то подсказывал мне: ты убил человека. Но я понимал, что это исходит сверху, от ума, это не тревожило меня. Человек был предателем. И я не чувствовал себя преступником.

брание сочинений в тридцати томах. Том 16. Рассказы, повести 1922–1925. Максим Горький gorkiymaxim. Но незаметно, откуда-то из глубины, вдруг встал предо мною тревожный вопрос: а почему, собственно, я заставил Попова удавиться так неожиданно для самого себя и так торопливо заставил, точно чего-то испугался, но – не в нём, а – в себе? Как будто я не преступника уничтожил, а свидетеля, опасного для меня, и не тем опасного, что он предатель, а с какой-то другой стороны опасного?

Вертелись в памяти его слова:

«Если – борьба, так уж герои с обеих сторон».

И вообще назойливо шептались его циничные мыслишки, так странно знакомые мне, как будто я их слышал давно и часто.

Мухами кружились вопросы: как же Попов держался с жандармами? Неужели он им тоже рассказывал анекдоты и стихами смешил? И, может быть, смеялся с ними надо мною? Но главное, что и смущало и тяготило меня – это поспешность, необдуманность, с которой я заставил Попова удавиться.

В этом настроении отчуждённости от самого себя и как бы в полусне меня арестовали следующей ночью.

Начальник охранного отделения Симонов сказал мне хриповатым баском и каким-то неестественным, обиженным тоном:

– Вот что, Каразин, хотя Попенко и предлагает никого не винить в его смерти, но умер он в таком растрёпанном виде, а на кистях рук у него оказались такие пятна, что совершенно ясно: он повешен, а не сам повесился. В ночь его смерти вы сидели у него приблизительно до половины второго. Это – установлено. И это время вполне совпадает с моментом смерти Попенко. Далее: есть наука дактилоскопия, она, конечно, установит, что оттиски пальцев на стеклянной пепельнице принадлежат вам. Разумеется, я прекрасно понимаю, на чём вы поймали Попенко, да он и сам догадывался об этом. Он был парень полезный нам. Вам придётся заплатить за его смерть тем же. Кроме того: есть мотивы для уголовного дела, – убийство из ревности. К этому делу, конечно, будет привлечена и Александра Варварина – понимаете?

Я слушал и молчал. Не скажу, чтоб всё это испугало меня, но угроза уголовщиной, разумеется, была неприятна. Саша, обвиняемая по делу убийства из ревности? Нет. Это так нелепо, что даже смешно.

А Симонов, стоя в облаках дыма, говорил деловито:

– Я предлагаю вам заменить Попенко. Если вы на это согласны, вы немедленно укажете мне нескольких лиц, которых нам полезно ликвидировать. Тогда выйдет так, что Попенко выдал товарищей и повесился от угрызения совести, а вы сохраните жизнь, не говоря о том, что можете сделать очень хорошую карьеру. Теперь я вас оставляю на некоторое время, на час, на два, а вы – подумайте. Медлить – не советую.

Уходя и прикрывая за собою дверь маленькой камеры, Симонов добавил:

– Выхода у вас нет.

Хорошо помню, что меня не испугала петля, накинутая на шею мою, хотя я понимал, что игра моя проиграна непоправимо. Мне кажется, что я ни одной минуты не думал о том, какое принять решение, я принял его тотчас же, как только услышал слова Симонова «заменить Попова». Хорошо помню, что я сам был удивлён быстротой и лёгкостью, с которыми это решение возникло, – оно явилось так же естественно и просто, как возникает желание спать, гулять, выпить воды.

Сидел я в тёмной комнатке, слушал, как стучит в окно её проливной дождь, и прислушивался: протестует против моего решения какое-то чувство внутри меня? Не протестовало.

Что это значит? Что значит это спокойствие и откуда оно? Почему я не ощущаю того отвращения к себе, которое вчера было у меня к Попову? Я перебирал в памяти все те слова, которыми награждают предателей, вспоминал всё, что печаталось и говорилось о них, и всё это не задевало, не смущало меня.

брание сочинений в тридцати томах. Том 16. Рассказы, повести 1922–1925. Максим Горький gorkiутахіт. Было похоже, что тот, кто вчера заставил человека удавиться, а сегодня решил уничтожить ещё многих, куда-то спрятался, а другой, недоумевая, ждёт голоса его, хочет что-то узнать о нём, ищет преступника и – не находит. Преступника – нет.

Потом зашевелились лениво какие-то тени мыслей, движимых любопытством, они создали вопрос:

«Неужели я действительно буду работать в охране, буду выдавать товарищей жандармам?»

На этот вопрос никто не ответил, а любопытство стало навязчивее и острее. Я очень твёрдо помню, что преобладающим чувством в эти часы было у меня именно любопытство и затем удивление пред тем, что я ничего, кроме любопытства, не чувствую. В этом состоянии человека, спокойно любопытствующего и удивлённого самим собою, я и встретил Симонова.

– Разумное решение, – сказал он, выслушав меня, потом озабоченно начал говорить, что я «напрасно напутал с этим комиком Попенко».

– В дело ввязалась полиция. Ну, да это мы устроим. По обычаю, надо подписать вам вот эту бумажку.

Неожиданно для себя, я спросил:

– Как вы полагаете – струсил я?

Симонов не сразу ответил, он сначала закурил папиросу об окуроченной старей.

– Нет, этого я не полагаю. Можете верить, я этого не думаю. Но – не время говорить об этом.

И всё-таки мы говорили долго, вероятно, час или больше, говорили, стоя друг пред другом. Странное осталось у меня впечатление от этой беседы: каким-то острым углом моего разума я понимал, что Симонов удивлен лёгкостью и быстротой моего решения не меньше, чем я сам, что он не верит мне, моё спокойствие не нравится, непонятно ему так же, как мне; наконец, я чувствовал, что ему хотелось бы чем-нибудь испугать меня, но он понимал, что испугать меня нельзя.

Мне казалось, что всё, что говорит он, – «ни к чему». Так «ни к чему» он сообщил, что полковник Осипов весьма восхищался остротой и независимостью моего ума.

Я спросил:

– Жив он?

– Умер. Хороший человек был.

– Да, – согласился я.

Симонов отогнал дым от лица резким движением руки и настойчиво добавил:

– Мечтатель был. Что называется – романтик.

– Да, да, – снова согласился я и сказал, что Попов повесился сам, хотя и по моему настоянию. Симонов пожал плечами:

– Пусть будет так.

Всё это было неправдоподобно и в то же время всё было правдой, умом я хорошо понимал – всё правда. Но ум, наблюдая откуда-то со стороны, молчал, ничего не подсказывая, только любопытствуя.

«Так-то, Карамора! – говорил я сам себе. – Значит: направо кругом – марш?»

Может быть, я всё ещё ждал, что кто-то крикнет мне:

«Стой! Куда ты?»

Никто не кричал.

Первое время – месяц, два – только Симонов выделялся из неправдоподобного своей резко подчеркнутой реальностью.

Человек лет пятидесяти, среднего роста, плотный. Седые волосы подстрижены бобриком. Неопределённой формы – «русский» – нос, мягкий, красноватый, небольшие, приличные усы. Глаза светлые, спокойные, даже немножко сонные. Людей такого облика очень много, их встречаешь часто, они водятся во всех сословиях, служат во всевозможных учреждениях, живут на всех улицах, по всем городам. Я привык смотреть на таких людей, как на заурядных и обыденных.

Но вот эта обыденность внешности и придавала Симонову в моих глазах особенно твёрдую реальность среди всего необыкновенного, чем я жил и что делал. Во всём, что он говорил, обнаруживалось уже знакомое мне отношение наймита, чиновника, которому или непонятны, или совершенно чужды основные и конечные цели его работы. Плохо осведомлённый в вопросах истории и политики, он относился совершенно равнодушно к интересам монархии, царя, ко всему, что он призван был защищать, и со вкусом, с удовольствием поругивал буржуазию.

Я спросил: почему он взялся за это беспокойное дело?

– Очевидно – из удовольствия делать его, – сказал он своим хриплым, неглубоким басом, постукивая мундштуком папиросы о крышку портсигара, и усмехнулся ленивой, как бы вынужденной усмешкой, продолжая:

– Вы – революционер для своего удовольствия, а я, для моего, враждую с вами, ловлю вас, поймал. Поймал и предложил: давайте охотиться вместе. Вы – согласились. И – отлично. Мне стало ещё интереснее.

Тут я впервые, но ещё смутно, почувствовал что-то неладное, неверное в нём и вскоре убедился, что под заурядной внешностью этого человека шевелятся мысли не совсем обыкновенные, или, пожалуй, обыкновенно обывательские, но отточенные чрезвычайно остро.

Я пробовал говорить с ним на тему о неравенстве людей, этом, как говорят, единственном источнике всех несчастий жизни, он пожимал плечами, дымил папиросой и спокойно отвечал:

– А я при чём тут? Это не мной устроено, и мне до этого дела нет. И вам – тоже. Испортили вас интеллигенты. Не те книги читали вы. Вам бы почитать «Жизнь животных» Брема.

Всегда в зубах его торчала папироса, пред лицом стояло облако дыма, он щурил глаза, смотрел в потолок и говорил ленивенько:

– Самое большое удовольствие – одурачить, обыграть человека. Вспомните-ка детские игры и, начиная с них, просмотрите всю жизнь: игра в бабки, в мяч, потом игра с девицами, игра в карты, вся жизнь – в игре! Среди вашего брата заметно немало людей, которые играют самими собою.

Он напоминал мне этими словами фракционную и партийную борьбу, удовольствие, которое часто испытывал я, когда мне удавалось «обставить» товарищей.

– Игра и охота – вот это вещи! – говорил Симонов. – Будь у меня средства, я бы уехал в Сибирь, в тайгу, медведей бить. А то и в Африку махнул бы. Охота – великое дело. И суть вовсе не в том, чтоб убить, а чтоб выследить зверя, подержать его под прицелом, испытать в эти минуты свою, человеческую, над зверем власть. Убивают всегда из корысти, ради удовольствия никто никого не убивает, только сумасшедшие или в состоянии запальчивости, раздражения, но это ведь тоже ненормально – запальчивость. В том и подлость убийства, что оно всё-таки корыстно.

Слушая его, я не очень верил ему, но – думал:

«Так. Если жизнью командуют игроки и охотники, – что же может помешать мне

брание сочинений в тридцати томах. Том 16. Рассказы, повести 1922–1925. Максим Горький gorkiymaxim. играть ими и самим собою?»

В голове Симонова было какое-то тёмное пятно, мозговой вывих, затвердевшее место, мозоль.

– Игра. Охота, – говорил он, сводя всю жизнь к этим забавам, но я ему всё больше не верил, зная, как ловко люди строят различные загородки, чтоб отделить себя от жизни, объяснить своё нежелание работы на неё.

Как-то ночью, на конспиративной квартире, мы пили вино, и Симонов сказал:

– У меня, батенька, был в руках один интеллигент, эдакий, похожий на привидение, так он мне проповедовал, что человек – это зверь, который сошёл с ума, встал на дыбы, и с этого момента началась история, та самая, что вот и сегодня продолжается. Конечно, парень этот сам был сумасшедший, но – мысль его недурна. История, говорит, это процесс лечения сумасшедшего зверя. Я, знаете, немало думал над этим, – мысль, достойная внимания. Я даже думаю, что если б это было возможно, так все порядочные, честные люди решительно отказались бы от участия в истории человечества. Но – как откажешься, куда убежишь? Ведь и отшельники и монахи неизбежно вовлекаются во всеобщую канитель.

Себя Симонов явно считал «порядочным» человеком, хотя и занимал в скверной истории определённо скверное место. Но напоминать ему об этом, указывать на это было бесполезно.

– Ну-у, – говорил он в ответ, – это наивно, батенька!

И возмущался:

– До чего испортили вас интеллигенты!

В его отношении ко мне было нечто, подкупавшее меня, это был интерес к человеку во всей его полноте, во всём объёме, так сказать – чистый интерес. Он жил вне служебного и корыстного, отдельно, независимо, как интерес «к человеку просто». Симонов смотрел на меня не как начальник на подчинённого, а как старший на младшего: не командовал, не приказывал, а предлагал и даже советовался:

– А как вы думаете, не пора ликвидировать этого нелегального?

И, если я находил, что ликвидировать преждевременно, он, без спора, соглашался со мною.

Он питал ко мне чувство, которое я бы назвал бережливостью. Может быть, это было даже то чувство любви, которое питает охотник к хорошей собаке. Я пишу это без иронии, без горечи, я слышал умную поговорку:

«Самая красивая девушка не может дать больше того, что у неё есть». Эта поговорка очень умиротворяет запросы души.

Случилось как-то так, что во множестве товарищей у меня не нашлось друзей. Ни одного человека, с которым я мог бы свободно говорить о самом существенном, – о себе. Я, разумеется, пробовал говорить на эту тему, но разговоры в этом духе не удавались и не удовлетворяли меня. Не все зияния в душе можно заткнуть книгой, к тому же есть книги, которые очень зло расширяют и углубляют эти зияния... Редки люди, способные видеть, что всё на свете имеет свою тень, и всякие правды, все истины тоже не лишены этого придатка, конечно – лишнего. Тени эти возбуждают сомнения в чистоте правд, сомнения же не то что запрещены, а считаются постыдными и, так сказать, неблагонадёжными. Сомневающийся – всегда подозрителен; вот это, пожалуй, истина, лишённая тени.

Среди товарищей я имел репутацию человека, идейно шаткого, капризного и – это хуже всего – склонного к романтизму, к «метафизике», как говорил товарищ Басов, человек, с которым я встречался чаще, чем с другими.

– Революционер обязан быть материалистом; материализм – это воля, совершенно очищенная от всего неразумного, иррационального, – говорил товарищ Басов, подчёркивая р; я понимал, что Басов говорит правильно, однако, по антипатии к нему, не соглашался с ним.

Симонов – человек, с которым можно было говорить о чём угодно, он умел внимательно слушать и никогда не стеснялся сознаться, что – этого он не понимает, этого – не знает, о иногда прямо говорил:

– Это мне не нужно знать.

К моему удивлению, ненужным оказался для него бог, к удивлению, потому что я думал – он верующий.

– Странно, что вы спрашиваете об этом, – сказал он, пожав плечами. – Какой там бог, когда у нас, у каждого, по четырнадцать аршин кишок в животах? И, затем, если – бог, то ведь и верблюд, и щука, и свинья должны чувствовать его, – понимаете? Ведь человек тоже животное. Разумное? Ну, разумных животных немало и кроме человека; к тому же установлено, что в этом деле разум ни при чём: бог постигается не разумом. Ну, чего ж.. Вы бы почитали Брема, право!

Изумлялся:

– Как испортили вас интеллигенты!

– Ну, а если б не испортили, – чем бы я был, на ваш взгляд?

Очень внимательно посмотрев на меня, он сказал:

– Н-не знаю. Может быть, изобретателем каким-нибудь. Не знаю. Вы очень странный.

Вообще же Симонов был человек не живой, какой-то плохо выдуманный и, должно быть, очень одинокий.

Словоохотливый, он был скуп на жесты, руки его двигались медленно, смеялся он редко, и чувствовалось, что он глубоко равнодушен к жизни, к людям. А за всем этим он был ленив, возможно – ленив ленью усталости.

Я скоро убедился, что всё, что он говорил о наслаждениях охоты, игры, выдуманно им для себя, взято с чужих слов. Охота на людей не увлекала его. Имея помощников в лице провокаторов, он вполне удовлетворялся этим и личную инициативу почти не проявлял. В сущности, если б я этого хотел, я, наверное, мог бы ничего не делать, а просто рассказывать Симонову анекдоты из партийной жизни, из быта революционеров. Анекдотическая сторона революции интересовала его, пожалуй, больше самой сути дела; анекдоты он выслушивал всегда внимательно, и чем глупее был анекдот, тем более широкую улыбку вызывал он на удручающе бесцветном лице Симонова. Однажды он заметил, вздохнув:

– А Попенко рассказывал эти штуки забавнее, чем вы. Он говорил, как Брем.

«Как Брем» – это наивысшая похвала в устах Симонова. «Жизнь животных» он читал всегда, как немец-меннонит библию.

Как-то я спросил его:

– Почему вы называете Попова – Попенко?

– Так вижу, – ответил он, – Каждый видит по-своему. Попов должен быть выше ростом, и – руки у него длиннее.

Была у Симонова только одна черта или привычка, возбуждавшая у меня неприятное и подозрительное чувство: иногда он, среди беседы, вдруг точно проваливался в неизвестное и непонятное мне. На безличном лице его являлась важная, но глупая гримаса, зрачки нелепо расширялись, он сосредоточенно и строго, как гипнотизер, смотрел на меня, но я чувствовал: видит он что-то другое, почти страшное. И при этом он, спрятав руки под стол, шевелил ими так, что мне казалось: он незаметно достает револьвер, чтоб застрелить меня. Эти припадки внезапной, немой задумчивости, провалы человека в неведомое и недоступное мне, были очень часты у него, и всегда я чувствовал себя нехорошо во время их.

Потом я стал думать, что в Симонове скрыто что-то значительное, таинственное, такое человеческое, чего он сам боится. Я ждал, что он откроет предо мною это, и



брание сочинений в тридцати томах. Том 16. Рассказы, повести 1922–1925. Максим Горький gorkiymaxim. мой интерес к нему становился всё более напряжённым, ожидающим.

Есть теории добра: евангелие, коран, талмуд, ещё кикие-то книги. Должна быть и теория зла, теория подлости. Должна быть такая теория. Всё надо объяснить, всё, иначе – как жить?

Вчера я написал:

«Если б я хотел, я мог бы ничего не делать», – иными словами: я мог бы не выдавать товарищей. Более того: мне легко было бы делать кое-что полезное для них. Я и делал, но, сделав, чувствовал, что это мне не нужно и не может ничего изменить внутри меня.

Я – выдавал. Почему? Вопрос этот я поставил пред собою с первого же дня службы в охране, но ответа на него не находил. Я всё ждал, что внутри меня вспыхнет протест, «заговорит совесть», но совесть молчала. Говорило только любопытство, спрашивая:

«что же будет дальше?»

Я очень настёгивал себя, пытаюсь разбудить чувство, которое осудило бы меня, сказало мне решительно:

«Ты преступник».

Разумом я сознавал, что делаю так называемое подлое дело, но это сознание не утверждалось соответствующим ему чувством самоосуждения, отвращения, раскаяния или хотя бы страха. Нет, ничего подобного я не испытывал, ничего, кроме любопытства; оно становилось всё более едким и, пожалуй, тревожным, выдвигая разные вопросы, например:

«Почему так лёгок переход от подвигов героизма к подлости?»

Неужели прав дрянненький Попов, сказавший:

«Если борьба, так уж герои с обеих сторон».

Но «героем» я был в прошлом, а теперь чувствовал себя только человеком, который принуждён, обязан решить тёмный вопрос: почему, делая подлое дело, я не чувствую отвращения к себе? Этот вопрос я ставил пред собою и так и всячески, на сотню ладов.

Потом я стал думать: а вдруг Симонов – прав, жизнь – дело сумасшедшего зверя, всё в ней – пустяки, игра, а я действительно испорчен интеллигентами, книгами? Вдруг все эти «учителя жизни», социалисты, гуманисты, моралисты – врут; никакой социальной совести нет, сознание связи между людьми – выдумка, и вообще ничего нет, кроме людей, каждый из них стремится жить за счёт сил другого, и это дано навсегда.

Ничего нет, всё выдуманно, всё лживо, а я призван открыть ложь, я первый, кто должен открыть людям, что все они обмануты, жизнь действительно голая, зверьячья борьба, и незачем сдерживать, главное, нечем сдержать эту борьбу. Я первый открыл, что у человека нет сил протестовать против подлости в себе самом, да и не надо протестовать против её: она – законное и действительное орудие взаимной борьбы.

Есть очень злая сказка: народ единодушно восхищался красотой и богатством одежд короля, а мальчишка вдруг закричал:

– Король-то совсем голый!

И все тотчас увидели: да, король гол и уродлив.

Может быть, это я и должен сыграть роль зоркого мальчишки?

Мысли этого порядка особенно настойчиво одолевали меня в четырнадцатом году, когда началась анафемская война и всё человеческое соскочило с людей, как чешуя

брание сочинений в тридцати томах. Том 16. Рассказы, повести 1922–1925. Максим Горький gorkiymaxim.  
с протухшей рыбы.

Прочитав написанное мною сейчас, я вижу, что всё это – не то, что надо, не так рассказано. Я изобразил себя человеком, который запутался в мыслях, философствуя, вывихнул себе душу, умертвил в ней всё то человеческое, что считается добрым, хорошим. Нет, это – не то, не так.

Мысли, несмотря на их обилие, никогда не смущали и не соблазняли меня. Они представляются мне пузырями на поверхности кипения чувств: вздуваются пузыри, лопаются, исчезают, заменяясь другими. Только те мысли живучи и действительны, которые заряжены чувством; когда они заряжены, я их физически ощущаю, тогда мысли, как пальцы, хватают, подбирают и перемещают факты, лепят, строят и, оплодотворённые чувством, в свою очередь рождают новые чувства.

Одна, сама по себе, не оплодотворённая чувством, мысль играет с человеком, как проститутка, но совершенно не способна изменить что-либо в человеке. Конечно, иногда и проститутку искренно любят, но – естественнее относиться к ней осторожно: обворует, заразит.

Девятнадцать лет жил я среди однообразно мыслящих людей, жил, так сказать, в атмосфере мысли одноцветной окраски. Эта окраска не удовлетворяла меня, она казалась мне скучной, безрадостной, как осенний, непогожий день.

Но я видел, что люди так крепко взнузданы излюбленной ими мыслью именно потому, что она прочувствована насквозь, вошла в плоть и кости людей. Эта мысль – не пузырь, а – туго сжатый кулак, мысль, верующая в свою силу.

В седьмом и четырнадцатом годах, наблюдая, как легко люди отходят от своих верований, я убедился, что в них чего-то нет и никогда не было. Чего? Чувства физической брезгливости к тому, что отрицалось их мыслью? Не было привычки жить честно?

Вот здесь я, кажется, поймал что-то верное: привычка жить честно – это как раз то самое, чего не хватает людям. Этой привычки не хватало и товарищам моим. Быт их противоречил «убеждениям», «принципам», – догматам веры. Это противоречие особенно резко обнаруживалось в приёмах фракционной борьбы, во вражде между людьми одинаковой веры, но различной тактики. Тут находил себе место бесстыднейший иезуитизм, допускались жульнические подвохи и даже подленькие приёмы азартных игроков, увлечённых игрою до самозабвения, играющих уже только ради процесса игры.

Да, да – привычки жить честно нет у людей. Я, разумеется, понимаю, что большинство их не имело и не имеет возможности выработать эту привычку. Но те, кто ставит перед собою задачу перестроить жизнь, перевоспитать людей, – ошибаются, полагая, что «в борьбе все средства хороши». Нет, руководясь таким догматом, не воспитаешь в людях привычку жить честно.

А может быть, настало время сделать все возможные подлости, совершить все преступления, использовать сразу всё зло, для того чтоб, наконец, всё это надоело, опротивело, ужаснуло и погибло?

Странное дело! Никак не могу не связывать себя с кем-то или с чем-то, с людьми или событиями. Не могу, и – это очень похоже всё-таки на попытку оправдать себя, попытку, скрываемую мною неискусно.

А между тем я совершенно лишён желания оправдываться, это я и знаю и чувствую. Это не из гордости, не из отчаяния человека, который изломал свою жизнь непоправимо. Не потому, что я хотел бы крикнуть: да, я преступник, вы – тоже, но у вас – сила, убивайте!

Мне кричать некуда, некому. Людей я не чувствую, они мне не нужны.

Все эти невольные попытки самооправдания мешают мне открыть главное, чего я ищу: почему в душе моей не нашлось ни свиста, ни звона, ни крика, ничего, что остановило бы меня на пути к предательству? И почему я сам себя не могу осудить? Почему, называя, сознавая себя преступником, я, по совести, не чувствую преступления?

Если мои записки имеют цель, так только эту – разрешить вопрос: отчего я так несоединимо и навсегда расклеился?

Я уже писал: я беспощадно нахлёстывал себя, чтоб дойти до ответа. Я выдал охране и отправил на каторгу одного из лучших партийных товарищей, человека на редкость хорошего. Я очень уважал его за чистоту души, за бодрость духа, неутомимость в работе, добродушие и весёлый характер. Он только что бежал из тюрьмы и третий раз работал нелегально. Выдал я его и ждал, что теперь в душе моей что-то взвоят.

Ничего не взвыло.

Симонов угощал меня красным вином какого-то необыкновенного вкуса и запаха, угощал и говорил:

– Хотите перевестись в Москву или Петербург? Здесь для вас уже мелка вода. Меня, вероятно, тоже скоро переведут в одну из столиц.

– Пётр Филиппович, – спросил я, – как вы думаете: почему я стараюсь?

Он, по обыкновению, ответил не сразу, сначала внимательно посмотрел на меня, потом в потолок; пожал плечами:

– Не знаю. На деньги вы не жадны, честолюбия у вас – не заметно. Из чувства мести? Не похоже. Вы, в сущности, добряк.

Улыбаясь, он продолжал осторожно:

– Не первый раз вы спрашиваете меня об этом, а я уже говорил вам: вы – человек странный. Может быть, вы немножко сумасшедший? Тоже как будто нет. Ну, а сами-то вы знаете: из-за чего же?

Тогда я кратко рассказал ему в чём дело. Он слушал меня внимательно, молча; слушал и жёг папиросы одну за другой. А когда я кончил, Симонов равнодушно сказал:

– Ну, это, знаете, даже опасно. Ф-фа, до чего испортили вас эти чортовы интеллигенты.

И, зажигая новую папиросу, он вздохнул:

– Эдак-то вы, пожалуй, застрелите меня. Что ж вам ещё осталось? Только одно; убить кого-нибудь. Тогда, может, и вздрогнете, закричите.

Он встал, налил вина и, стоя затылком ко мне, разглядывал вино на свет, досадно обыкновенный человек, в этот час – более обыкновенный, чем всегда. Так он стоял долго, пока я не догадался, что наступил обычный его припадок, провал в непонятное мне.

– Что с вами?

Он медленно обернулся, сел, выпил вино, вздохнул, закурил.

– Выдумали вы, батенька, всю эту внутреннюю канитель, – сказал он. – Выдумали, да! Это – для развлечения. Я – знаю это. Сам, иногда, лягу спать, а – не спится, и воображаю себя то отчаянным злодеем, то святым человеком. Забавляет. А чаще всего – фокусником, эдаким исключительным, эксцентрическим фокусником.

И вдруг, облокотясь на стол, оживлённый, каким я его никогда не видал, Симонов начал рассказывать хриплым своим баском:

– Знаете, – чудеснейшим фокусником вижу я себя. Прежде всего: я выхожу на сцену в трико – понимаете? Как акробат. Никаких карманов.

Он улыбнулся улыбкой счастливого человека, глупо и смешно подмигнул мне.

брание сочинений в тридцати томах. Том 16. Рассказы, повести 1922–1925. Максим Горький gorkiymaxim.

– Вдруг в руках у меня утка. Я пускаю её на пол, она ходит по сцене, крикает и – кладет яйца! Понимаете? Положит, а из яйца вылупился поросёнок, положит другое, а из него – заяц, из третьего – сова, и так штук десять. Вообразите состояние публики, а? Все встали с мест, протирают глаза, смотрят в бинокли, – изумление! Все чувствуют себя дураками, а особенно – губернатор, каково губернатору чувствовать себя при публике идиотом, а? Вдруг – у меня две головы! Я закуриваю сигары, – две! Но – дыма нет, а потом дым идёт из пальцев ног – воображаете? А по сцене прыгает заяц, бегают поросёнок, дико вытаращенными глазами смотрит на людей ослеплённая огнём ramпы сова, ещё какие-то животные мечутся, их становится всё больше – кавардак!

И, вытаращив бесцветные глаза, начальник охранного отделения Пётр Филиппович Симонов, борец против революции, сказал с глубочайшим убеждением, почти с восторгом:

– Чорт знает, до чего можно одурачить людей! Чорт знает как!

Слушая его нелепый бред, я чувствовал себя идиотом. Он не был пьян, пил не мало, но никогда не хмелел.

Я спросил его:

– Об этом вам и думается, когда вы вдруг точно засыпаете во время беседы, как будто проваливаетесь куда-то?

– Об этом, – сказал он, кивнув головой. – Это на меня находит внезапно. Как-то даже на докладе, в департаменте полиции, вдруг мне представилось, что я могу написать в воздухе пальцем мою фамилию огненными буквами. И – что ж вы думаете? Начал писать, вижу – выходит! Горят в воздухе перед лицом директора огненные буквы: Симонов, Симонов... Смотрю на директора и удивляюсь: неужели он не видит этого? А он спрашивает меня: «Что с вами? Вам дурно?» Испугался, конечно.

Тихонькое безумие сияло в глазах Симонова, и от этого лицо стало как будто значительнее.

Питая некую надежду, я спросил:

– А больше у вас ничего нет?

Он тоже спросил меня:

– Что вы хотите сказать?

Странно умер он: ночью часа два сидел со мною, совершенно здоровый, а в четыре часа дня умер в саду, лёжа в гамаке.

Приходил товарищ Басов и с ним ещё какой-то рыжий, с забинтованной головой:

– Не узнаете меня, Карамора? – осведомился он.

Оказалось: один из тех, которым я устраивал побег. Не помню его. Их было трое в тюрьме.

Басов спросил: служил ли я уже в охране, устраивая этот побег? Глупый вопрос. По документам охраны они должны знать, что уже служил.

Поговорив со мною полчаса тоном праведных судей, – как и надлежало, – ушли.

Пожалуй, они оставят мне жизнь... Интересно: что я буду делать с нею? Вот тоже вопрос: жизнь дана во власть человеку, или человек дан жизни на съедение? И чья это затея – жизнь? В сущности: дурацкая затея.

Да, я, служа в охране, разрешал себе устраивать товарищам маленькие удовольствия: побег из тюрьмы, побеги из ссылки, устраивал типографии, склады литературы. Но двурушничал не для того, чтоб, упрочив их доверие ко мне, выдавать их жандармам, а так, для разнообразия. Помогал и по симпатиям, но главным образом из любопытства: что будет?

Говорят, есть в глазу какой-то «хрусталик» и от него именно зависит правильность зрения. В душу человека тоже надо бы вложить такой хрусталик. А его – нет. Нет его, вот в чём суть дела.

Привычка честно жить? Это – привычка правдиво чувствовать, а правда чувствований возможна только при полной свободе проявлять их, а свобода проявления чувств делает человека зверем или подлецом, если он не догадался родиться святым. Или – душевно слепым. Может быть слепота – это и есть святость?

Я не всё написал, а всё, что написал – не так. Но – больше писать не хочется.

Уголовные поют «Интернационал», надзиратель в коридоре тихонько подпевает им. У него смешная фамилия – Зудилин.

Была у нас в комитете пропагандистка, Миронова, товарищ Тася, удивительная девушка. Какое ласковое, но твёрдое сердце было у неё! Не скажу, чтоб она была красива, но человека милее её я не видал. Почему я вдруг вспомнил о ней? Я её не выдавал жандармам.

Поток мысли. Непрерывное течение мысли.

А что, если я действительно тот самый мальчишка, который только один способен видеть правду?

«Король-то совсем голый, а?»

Опять лезут ко мне. Надоели.

Анекдот

Когда рыжий, носатый доктор, ошупав холодными пальцами тело Егора Быкова, сказал, неоспоримым басом, что болезнь запущена, опасна, – Быков почувствовал себя так же обиженно, как в юности, рекрутом и, в год турецкой войны, под Ени-Загрой, среди колючих кустов, где он валялся с перебитой ногою, чёрный ночной дождь размачивал его, боль, не торопясь, отдирала тело с костей.

– Чего же это? Умру, что ли?

Доктор, сидя у стола, собирался писать, пробовал ржавое перо и говорил что-то непонятное, но огорчённый Быков не слушал его, глядя в окно, – по улице ветер гнал перья, стружки, пыль.

– Пили вы много...

Мысленно обругав доктора, больной возразил:

– Это – не причина, мало ли людей пьёт, однакож не все помирают раньше время!

Разум сердито внушал:

«Вон – курица; курица будет жить, нанесёт яиц, высидит цыплят, а ты – помрёшь! И все труды тяжёлых дней твоих пропадут зря».

Молча проводив доктора до двери, Быков, в туфлях на босу ногу, в нижнем белье и сером халате, взглянул в зеркало, там необыкновенно чётко отразилось узкое, костлявое лицо, угрюмо освещённое зеленоватыми глазами, со щёк и подбородка опускались на грудь прямые волосы длинной бороды. Нехорошее лицо.

Быков вздохнул, простонал тихонько и сел у окна в кожаное кресло, посапывая носом, чувствуя, как в правом боку шевелится болезнь, неумышленно просверливая печень, наполняя всё тело пьяной слабостью и горечью обиды.

– Пил много! А ты чем себя утешаешь, дурак? – спросил он доктора, глядя, как тот влезает в пролётку извозчика.

– Самовар подавать?

Толстая, глупая баба, кухарка Агафья, стояла в двери.

– Сколько раз говорил я тебе, красная рожа, не ставь кресло у окна, на солнце! Гляди, как оно выгорело. Что ж, по-твоему, солнце светит для порчи мебели?

– Да вы сами его передвинули, – безобидно отозвалась Агафья.

Быков вспомнил, как больно было ему передвигать тяжёлое кресло, и это, вместе с безобидностью бабы, ещё сильнее озлило его.

– Иди к чертям!

Агафья исчезла. Быков поглядел вслед ей, думая: «Эта будет жить ещё лет сорок, а мне – умирать! Как же имущество? Вот – жениться не успел, дела обуяли. Надо было жениться тотчас после войны, теперь дети были бы. Осторожность помешала. И лечиться опоздал. Как знать, что мне дана короткая жизнь?»

И, опустив голову, он, вслух, пожаловался:

– Эх ты, господи, господи...

Всего глупее и досаднее всего было то, что некому передать имущество, накопленное двадцатилетней тратой сил и хитростью ума. Отдать в монастырь или на какое-нибудь иное божье дело? Разум не соглашался на это. Быков хорошо знал, что попы, монахи и другие люди, заведующие земным имуществом бога, – ненадёжны, все они такие же тёмные грешники, как сам он. Да и с богом – неладно; Быков относился к нему осторожно, недоверчиво, всегда чувствуя, что бог хорошо знает все его дела и помыслы, следит за ним зорко, и никто иной, как именно бог, неоднократно мешал ему, спорил против его, необходимой для жизни, человеческой жадности. Бывало так, что вот уже всё налажено, готово, а вдруг в душе, точно спичка загоралась, трепетал маленький огонёк, будил какие-то серые, облачные мысли, будил боязнь греха, наказания, иногда вызывал даже что-то похожее на чувство жалости к людям, которых Быкову удавалось обойти и прижать.

Он хорошо понимал, что ведь не чёрт шутит, а именно бог играет с ним, заставляя его, против разума, уступать людям, и, насмешливо обижаясь, он говорил нахлебнику и наперснику своему, Кикину, горбатому, робкому человеку с птичьими глазами:

– Почему же это моя обязанность жалеть людей? Меня не жалели. Меня добром никто не угощал.

– Глупости, конечно, – соглашался Кикин.

Вспомнив о нём, Егор Быков взял палку, ручку от половой щётки, постучал ею в потолок, и через две-три минуты в дверь бесшумно ввернулся маленький горбун; ноги у него были кривые, заплетались, и он ввёртывался в воздух винтом, как штопор.

– Ну, как? – спросил он, робко мигая глазами больной курицы.

– Умирать, слышь, надобно мне.

Кикин провёл ладонью по безбородому, жёлтому лицу.

– Может – врёт?

– Нет. Сам знаю.

– Так. Рано.

– То-то и есть! Да – ладно; умирать, так умирать, от этого не откажешься. Я – солдат. А вот с имуществом что делать?

Наливая чай, шаркая ногами по полу, горбун сказал, вздохнув:

– По закону – имущество переходит племяннику, Якову Сомову.

– Да – он мне троюродный! – возмущённо захрипел Быков, и возмущение усилило боль в боку. – Я и не знаю, каков он, и видел его не более пяти раз.

– Однако по закону...

– Закон! – Быков, щёлкнув зубами, крепко выругался.

– Тогда – обратиться на дела благотворения, – неохотно посоветовал Кикин.

– Ну, нет; я зерно моё на камнях не посею!

– Это, конечно, не забава.

Подумав, сердито поговорив ещё немного, Быков поручил горбуну завтра же позвать племянника в гости.

– Погляжу, что за зверь.

Яков Сомов пришёл вечером, почтительно поклонился и, не протягивая руки, сказал:

– Здравствуйте!

Голос у него был не громок, но звучен и высок, слово прозвучало осмысленно; было ясно, что это не пустое слово, а наполнено доброжеланием. Невысокий ростом, был он строен, на его обветренном лице мягко и спокойно светились голубоватые глаза, над левым ухом упрямо торчал казацкий вихор русских волос, под крупным носом курчавились светлые усики. Было в нём что-то крепкое, чистое, привлекательное; Быков тотчас отметил это, но по привычке относясь к людям недоверчиво, сказал себе:

«Лицо – глупое. И, должно быть, бабник».

Внимательно присматриваясь к парню, бедно одетому в синюю рубаху, парусиновый пиджак и такие же брюки, заправленные за голенища сапог, всхрапывая от боли, Быков деловито выпросил племянника – кто он? Оказалось, что Якову девятнадцать лет, он приказчик в торговле лесным материалом, поёт в церковном хоре первым тенором, любит удить рыбу и читать книги. Слушая его спокойный рассказ, Быков неприязненно думал:

«Говорит, как на исповеди. Врёт поди-ка. Догадался, зачем позван, притворяется хорошеньким».

И вдруг, против воли, он поторопился, сказал, скривив тёмное лицо своё усмешкой:

– А я вот умираю.

Он услышал в ответ:

– Ну, зачем же?

– Как это – зачем? – удивлённо и сердито спросил Быков: – Болезнь у меня!

И решительно сказал себе: «Парень этот – глуп!»

Но Яков Сомов заговорил с незнакомой, ласковой убедительностью:

– Против всякой болезни имеются средства, например: морковный сок. Год тому назад у меня чахотка начиналась, так мать регента, очень добрая, умная старушка, указала мне морковный сок по стакану утром, натощак. И всё прошло.

Хорошо улыбаясь, Сомов провёл рукою по шее, по груди, а Быков почувствовал, что спокойные слова племянника как будто гасят боль.

– То – чахотка, а у меня – другое.

брание сочинений в тридцати томах. Том 16. Рассказы, повести 1922–1925. Максим Горький gorkiутахim.  
– И чахотка – болезнь. Нет, вы обязательно попробуйте морковный сок или хрен, настоящий на спирте. Хрен действует ещё лучше, – в нём есть селитра, а селитра первое средство против гниения; рыбу солят – селитру добавляют в рассол, чтоб не гнила. А всякая болезнь – гниение...

Удивительно приятно говорил Яков Сомов, слова его катились одно за другим легко, точно песчинки, и хоронили недоверие Быкова к молодости племянника.

– Откуда ты знаешь это?

Охотно, как старому другу, Яков рассказал ему историю своего знакомства с одним образованным человеком и отличным рыболовом, который, осенью прошлого года, застрелился.

– Зачем же?

– По случаю неудачливой любви...

– Н-ну, стреляться – глупость!

– Прямолинеен был.

– Чего это?

– Он был прям в чувствах своих...

– Угу, – сказал Быков, думая: «Чудной парень. Болтлив. Молодость, конечно...»

Так, в лёгкой беседе, прошло ещё немало времени, а потом Сомов, взглянув на ленивые стрелки стенных часов, сказал, что ему пора на спевку, почтительно простился и ушёл.

Егор Быков прилёг на диван, задумался. Долгие разговоры с людьми всегда утомляли его, – о чём говорить? Сразу видно, чего хочет человек от тебя, и всегда знаешь, что тебе нужно от человека. А этот – особенный, хотя и мальчишка. Скромн, в родню не лезет, дядей не назвал ни разу, а, наверное, знает, что дядя-то одинок. Может быть – хитрит? Не похоже.

Пришёл из склада, где принимал пеньку, усталый, потный Кикин, сел к столу.

– Был?

– Был.

– Ну, как?

– Разве сразу отгадаешь? Однако – заметна в нём дружелюбность.

Наливая чай, Кикин голодно, жадно жевал хлеб с колбасой и внимательно слушал раздумчивую речь хозяина.

– Любит утешать. Утешители – обманщики, я им не верю. Дружелюбие тоже не качество для меня. Люди навыкли жить так, как бы господь пустил их для осмеяния друг другу.

– Это – правильно! – подтвердил горбун, всю жизнь свою безжалостно осмеиваемый за уродство.

– То-то и есть! А чёрт стравливает нас, как бойцовых петухов. Людям – грех, чёрту – смех, – божие намерение никому не ведомо. Господь, как полицеймейстер в театре, смотрит, помалкивает...

Быков долго говорил словами обиженного человека, потом, устало закрыв глаза, осведомился:

– Ты что слышал про него, про Якова?

Кикин, намазывая мёдом кусок хлеба, повернулся вместе со стулом, доложил:



– Хозяин его, Титов, говорит: парень трудолюбив, но иной раз обнаруживает фантазию.

– Чего это?

– Не умел Титов объяснить, а я понял так, что Яков склонен делать лишнее, чего не надо. Спрашивал и соборного дьякона; этот хвалит без оглядки, но, конечно, ему верить нельзя, приятель, вместе рыбу удят. Квартирная хозяйка показала, что пьёт Яков только в компании, а компания у него – серая, литейщики от Кононова, слесаря, цирульник...

– Не с губернатором же ему дружбу водить.

– Баб к себе не водит, привержен к чистоте, порядку, добрый.

– Добрый?

– Да.

– Это – по молодости лет! Та-ак... Значит: известны ему твои расспросы и должен был он догадаться, зачем позван мной?

– Едва ли знает; я ведь осторожно.

Быков помолчал, подумал.

– Ну, что же делать? Видно – так надо. Ты всё-таки ещё разузнай о нём. Да скажи, чтоб он заходил ко мне, я, кажись, забыл позвать его.

И с угрюмой досадой Быков воскликнул:

– Нет, ты подумай, – каково это мне? Работал, работал, сколько греха на душу принял, а – для кого? Для чужого человека, молокососа, а?

– Плохой анекдот, – уверенно сказал робкий горбун, мигая круглыми глазами.

Болезнь как будто ожидала разрешающего слова доктора, после визита его она заторопилась, рвущая боль в боку стала сильнее, мучила разум, и Быкову казалось, что в каждой точке тела его неустанно работают, шевелятся червячки тоски и обиды.

– Как дела? – осведомлялся Кикин.

Быков сердито хрипел:

– Трудно, первый раз умиряю, навыка нет.

Он любил шутки и умел шутить; это умение очень помогало ему в те минуты, когда люди, обиженные им, упрекали и ругали его.

– Так бог велел, чтоб я тебя одолел, – говорил он тому или иному человеку.

Но теперь шутки не удавались, и лишь по привычке он, как всегда, высмеивал Кикина, уже недоступного насмешкам. Целые дни Быков лежал на диване, головою в угол, под образа, чувствуя, как голова его беднеет мыслями, пуста, как бубенчик, и бьётся, звенит в ней только одна дума:

«Умираю. За что?»

Иногда, чтоб заглушить вопрос этот, он вспоминал полузабытые слова молитв.

«Владыко господи, вседержителю.. соблюди от всякого ада, от всякой лютости.. от духов лукавых, дневных же и ночных...»

И чувствовал, что слова эти, не примиряя его с волею бога, – неизбежностью преждевременной смерти, – ещё более усиливают лютость обиды и тоски.

Вставал и, накинув на плечи серый, суконный халат, шёл мимо зеркала к синей, бездонной дыре окна, – зеркало отражало длинную фигуру арестанта, тёмное лицо с мутными глазами, включенную бороду. Взяв гребёнку с подзеркальника, он садился в кресло, расчёсывал волосы на голове, бороду и смотрел на улицу, на дома, разделённые густыми садами, построенные солидно, крепко, в расчёте на века.

На улице тихо, безлюдно, жарко. Хозяева разъехались по дачам, у ворот лентяйничают дворники. Очень тихо, только в садах хлопотливо щебечут птицы, не мешая думать о несправедливости бога. Ведь вот – дома эти, глубоко врытые фундаментами в землю, кирпичные человечьи гнёзда, будут стоять неисчислимое время, а человек, строитель домов, украшающий землю трудами рук своих, осуждён на смерть через краткий срок – за что? За что наказывается преждевременной смертью георгиевский кавалер и купец второй гильдии Егор Иванов Быков, человек, не доживший и до полусотни лет? Разве он грешнее других, и разве за грехи смерть человеку?

Вечерами, когда приходил Яков Сомов, больной чувствовал себя легче, речи племянника отвлекали от угрюмых мыслей, вызывая острое любопытство к этому парню, желание понять его и едкую зависть к нему – он будет жить долго, спокойно, богато и всё это за счёт чужой силы; безгрешно может жить. Вот уж несправедливая и даже насмешливая глупость!

Речи Якова были очень интересны; Быков часто и приятно удивлялся их новизне, но замечал в словах племянника необыкновенное сочетание глупости и ума; это мешало ему остановиться на определённом отношении к Сомову, а он очень торопился найти такое отношение.

«По природе он глуп или по молодости?» – спрашивал себя Быков, слушая Якова, а тот, задумчиво улыбаясь, говорил:

– Похоже на людей жить – скучно, а непохоже – трудно.

– Это – так, – соглашался Быков. – Однако – люди разные!

И было очень досадно, когда этот красивенький парень, не возражая, а всё же с упрямством, говорил:

– В главном – все одинаковы, если присмотреться.

– А что – главное?

– Расчёт на чужую силу.

Поглаживая бороду, Быков молчал, внимательно присматривался. Верно говорит племяш. Но – ведь он сам будет жить чужой, его, Быкова, силой, – понимает он это или нет? Если понимает, значит говорит против своего интереса и – глуп, а не понимает – тоже глуп.

И, стараясь найти самое существенное в характере Якова, Быков говорил:

– Жизнь, братец мой, война, закон её простой: не зевай!

– Совершенно верно. Оттого и все неприятности.

– Без этого – нельзя, без неприятностей-то!

Яков, улыбаясь, молчал.

Быкову казалось, что улыбки являются на девичьем лице племянника не вовремя, неоправданно, ненужно и есть в них что-то обидно снисходительное.

«Видать – умником считает себя», – соображал он, разглядывая Якова прищуренными глазами.

И ещё более неприятно было видеть, как Сомов в середине беседы молчал, опустив глаза, – молчал, как будто он – человек, который знает что-то важное, а сказать не хочет, играя чайной ложкой или костяной пуговицей пиджака.

Это молчание однажды так рассердило Быкова, что он закричал, захрапел:

– Ты – что, не понимаешь, чего тебе говорят, или – как?

Вежливо и даже как бы виновато Яков ответил:

– Понимаю, только – не согласен!

– Это почему же?

– Я – в других мыслях.

– Каких? Скажи! Ты – говори, оспаривай! Какая у тебя причина молчать?

Всё так же вежливо Яков сказал:

– Спорить я не люблю да и не умею. По-моему, споры только утверждают разногласие людей.

– Значит – молчать надо людям, – так, что ли?

Но племянник не ответил, продолжая свою мысль:

– Ведь спорят не для того, чтоб найти правду, а больше для того, чтоб скрыть её. Правда очень простая дана людям: будьте, как дети, любите ближнего, как самого себя. Против этого спорить бесстыдно.

«Блаженный», – с досадой подумал Быков и сердито засмеялся, хотя смех усиливал боль.

– Ты – что же – умеешь жить, как дитё, можешь? И ближнего умеешь любить, ну? Эх ты! Сам же согласился, что жизнь – война, а теперь говоришь... э, брат, это слабо!

Но, не смущаясь его насмешками, Яков сказал с тихим упрямством:

– Всё-таки кроме этого – нет иного разрешения жизни от несчастий и надобно двигать мысли в эту сторону.

– Куда-а? В какую?

– А чтобы жить просто, как дети.

– Да – глупый ты человек! Дети-то первые озорники на земле, али ты не знаешь? Ты гляди, как они, зверята, колошматят друг друга.

Племянник замолчал, улыбаясь.

Быкову хотелось обругать его, но он сдержался и, всхрипнув от боли, сказал угрюмо:

– Ну, ладно, ты – иди! Устал я.

Сел у окна и, глядя, как над садами рдеют красноватые облака, крепко задумался: тёмный парень! В мозгах у него – кисель. Туманный парнишка, не нащупаешь его, не даётся.

«О, господи! Везде – задачи, загадки...»

Ест Яков медленно, это признак плохой: тихо едят лентяи. И мало ест, по-барски откусывая кусочки, жуёт долго, как старик, хотя зубы у него крепкие, здоровые. Задумчив, а в его возрасте о чём думать? И ходит не бойко, тоже задумчиво, как по чужой земле. В лице есть что-то от «красной девки», и если б не вихор – лицо было бы совсем бабье.

Жить, как дети... дурак! Попробуй-ка поживи эдак-то! А может быть, он не дурак, но просто – мягкого сердца парень, мало бит, не отвердело сердце? И, по молодости, парень надеется прожить жизнь без обиды себе и другим, без греха? Это – не плохо

брание сочинений в тридцати томах. Том 16. Рассказы, повести 1922–1925. Максим Горький gorkiymaxim.  
бы, только – никак не возможно!

Быков взглянул на свою нелёгкую жизнь, и ему стало так жалко себя, что какая-то часть этой горькой жалости перелилась и на племянника.

«Знает, что непохоже на людей трудно жить – должен понять, что без греха – как без масла: каша – суха, работа – плоха! Человеку хочется на мягком спать. Всё ж таки Яков приятный и должна в нём быть капля быковской крови».

Но когда пришёл Кикин, Быков насмешливо заговорил:

– Ну, брат, наследничек мой не боек, нет! Блаженненький. Жить, говорит, надо, как дети, слышал ты?

– Это из евангелия, – робко сказал горбун.

– Чего это?

– Из евангелия. Христос там...

Быков сердито крякнул и, щупая горящий бок, заворчал сквозь зубы:

– Христос – сын божий, а я – Ивана Быкова, мужика, сын; это надо различать! Христос пенькой не занимался, между нами не жил.

И, озлобляясь, застучал кулаком по кожаной ручке кресла.

– Коли ты собрался Христа ради жить, так пиджак-то скинь и сапоги сними, а ходи во вретнице, ходи босой! И – вихор остриги, вихор!

Возбуждение утомило его, он сморщил лицо, замолчал, потом угрюмо упрекнул Кикина:

– И ты тоже бормочешь: Христос, Христос! Христос горбатому не пара. Да. Вот – слышишь? Беспольные птицы поют, а человек умирает. Христу это незнакомо было.

Кикин осторожно подсказал:

– В Гефсиманском саду и Христос тоже на судьбу свою жаловался...

Это очень обрадовало Быкова, он снова возбуждённо и быстро заговорил:

– А – как же? Я – помню! То-то вот! Преждевременная гибель и ему горька была. А я – человек...

Охнув болезненно, он глубже уселся в кресло, вытянул ноги и стал жаловаться:

– Как же быть, Кикин, а? В какие же руки имущество моё попадёт? Это уж издёвка – собирал, копил, грешил да всё сразу в яму и бросил! А?

Говорил он долго, жалобно, сердито и, вытянув руку, тыкал пальцем в горшки цветов на подоконнике, а Кикин, слушая его, опустив голову, барабанил пальцами по острому колену кривой ноги своей.

– С другой стороны, – сказал он, вздохнув, – ежели Якова – прочь, благотворение – тоже прочь, тогда имущество становится выморочным и его заграбастает казна...

Быков щёлкнул зубами, усмехаясь:

– Вроде как будто я лишённый всех прав и на вечную каторгу осуждён?

– Именно. В том и анекдот!

– Ловко, а?

– Без выхода...

Они оба долго молчали, всё-таки ища выход, и, наконец, горбун посоветовал

брание сочинений в тридцати томах. Том 16. Рассказы, повести 1922–1925. Максим Горький gorkiymaxim.  
пригласить Якова Сомова жить в дом, присмотреться к нему получше, поучить его науке жизни, – может быть, парень станет серьезнее, когда почувствует обязанности, возлагаемые на человека имуществом.

На том и решили.

Дождь хлещет в стёкла окон, гулко воет ветер, и когда стеклянный сумрак улицы освещают вспышки молнии, а в полутёмную комнату врывается синевато-серый свет, – цветы с подоконников, кажется, падают, а все вещи, вздрогнув, скользят по полу к белому пятну двери.

Жарко горят дрова в изразцовой печи, против жерла её сидит Егор Быков, грея холодные ноги, по его серому халату, на коленях и груди, ползают тёплые, красноватые пятна, освещая часть бороды, а лицо остаётся в тени, – слепое лицо с закрытыми глазами.

Кикин угловато съёжился, сидя на низенькой скамейке для ног, спрятав руки под горб на груди, и снизу вверх, странными глазами, в которых колеблются отблески огня, смотрит на лицо Якова; Яков прижался плечом к изразцам печи и говорит тихонько, точно сказку рассказывая:

– Ведь чем больше накапливается имущества, тем больше и озлобления и зависти в людях. Бедные видят огромнейшие богатства...

– Угу, – мычит Быков, открывая глаза, а Кикин, вздохнув, суёт кочергу в печь, ворочает там дрова, яростно трещат угли, брызгая искрами на медный лист перед печью.

Быков шаркает ногою, растирая искры на меди, смотрит исподлобья: как нехорошо всё, как неприятно! Рожа Кикина точно кожанный, разбитый мяч, которым долго играли, на черепе у него торчат какие-то плюшевые серые волосы, лягушачий рот удивлённо открыт, а уши горбуна – звериные. Как у чёрта. Яков точно картинка, нарисованная на белых изразцах, и хотя он одет щеголевато, во всё новое, а приятнее не стал.

– Что же, – насмешливо спрашивает Быков, – по-твоему, бедные эти ограбить богатых решатся, так, что ли?

– Обязательно должно быть справедливое разделение богатств...

– Так, – говорит Быков, – так! Плохо, брат, думаешь ты!

– Это думают миллионы.

– Считал?

– Народ действительно злится, – осторожно вставляет Кикин, глядя в печь. – Очень недовольны все.

Неестественно высоко подняв брови, Быков хрипит:

– Ты – молчи! Видишь – я молчу!

Не прошло двух месяцев с того дня, как племянник поселился в доме, но Быков всё чаще слышит остороженькие поддакивания горбуна речам Якова. И смотрит Кикин на парня подхалимисто, – чувствует, собака, нового хозяина.

«Эх, люди, люди...»

А племянник как-то по-своему невиданно глуп или очень хитрый человечешко. Нельзя понять: чего он хочет? Говорит мягко, ласково и, видимо, хочет незаметно заставить согласиться с ним в том, что источник всех несчастий жизни, всей путаницы её, заключён в богатстве. Уродская, горбатая мысль, и не к лицу она Якову, тут он фальшивит. Для чего? Он уже знает, что по смерти дяди будет богат, и вовсе не похож он на нищелюба, способного раздать имущество бедным. У него есть хозяйские повадки, уважение и бережливость к вещам, пристрастие к порядку, к чистоте. Он сразу подтянул дворника, сам помог ему прибрать запущенный двор,

брание сочинений в тридцати томах. Том 16. Рассказы, повести 1922–1925. Максим Горький gorkiymaxim. облазил, осмотрел всё хозяйство, поймал приказчика на воровстве. Нищих – явно не любит...

А всё-таки – мутный парень, и никак нельзя нащупать: что в нём настоящее? Вихор. В башке у него, в мозгах тоже какой-то упрямый вихор есть.

Вдруг он нарочно говорит всю эту неприятную, необычную ересь, нарочно для того, чтоб пугать, раздражать больного человека и этим поскорее свести его в гроб? Догадка эта очень встревожила Быкова, и однажды он прямо спросил Якова:

– Зачем ты говоришь чепуху эту?

– Для ясности, – ответил племянник, вытаращив бараньи глаза. Глаза у него тоже двойные: иногда ими смотрит родной, хороший парень, но чаще, остановясь неподвижно, они смотрят тупо, не видя, – такими они бывают всегда, когда он говорит свою ересь.

– Нужна ясность. Нужно, чтобы все люди единодушно сговорились насчёт взаимной помощи друг другу...

– Да – помощь-то против кого? – раздражённо храпел Быков. – Вражда-то где? Ведь – в людях вражда, пойми!

– В раздоре – жить нельзя, – упрямо твердил юноша. – Сказано: не сей ветер, пожнёшь бурю! Нужно ущемление всенародной совести, а иначе разразится всенародный бунт...

– Да – врешь! – сердито кричал Быков.

Дни и ночи он думал: годится или не годится Яков в наследники? Эти думы отвлекали его от мыслей о смерти, порою казалось, что даже и боль уступает им.

«Тёмный парень, тёмный! Каждый нищий понимает, что настоящая крепость жизни и защита человеку – в богатстве, в имуществе. Даже подземные кроты понимают это...»

Ночами, когда всё на земле приглушённо молчит, как бы думая о истёкшем дне, а думы человека, тяжелея, становятся почти видимы и тугой клубок разума, медленно разматываясь, протягивает всюду тёмные нити свои, Быков, чутко прислушиваясь, догадывался, что наверху – не спят; ему даже казалось, что он слышит упрямую речь Якова, видит его глаза и удивлённое, мятое лицо горбуна. Наверное, Яков говорит об изменении законов государства и о том, что надо сократить власть царя, – он даже и на это дерзает, мальчишка-то!

Об этом тихонько говорили во время турецкой кампании и снова начали думать, потому что снова разыгралась война. Это – штатские мутят, воевать им не хочется, боятся они призыва под ружьё. Тогда они даже пытались убить царя, но, опоздав, убили после войны.

«Какая глупость всё это! Исус Навин воевал; царь Давид кроток был, псалтырь писал, а тоже войны не мог избежать. Монахи воевали. Благоверные князья воевали с татарами. Святой Александр Невский шведов нещадно бил, однакож никого из них свои люди не убивали. Какая тёмная глупость!»

Устав лежать, Быков садился у окна, смотрел на звёзды, на пухлое, бабье лицо луны, – тоска изливалась с неба, хвастливо украшенного звёздами.

Соборный поп, отец Фёдор, твердил:

– Мало любуются люди чудесным великолепием небес. – А в стучолку играл нечестно, в преферанс же с ним совсем нельзя играть.

И Быков вспомнил, как он поссорился с попом, сказав ему, что ничего великолепного в небе нет, напоминает оно о ничтожной малости человека и гораздо лучше днём, когда, голое, освещено солнцем. Ночами же небо приятнее покрытое облаками, тогда его не видишь, будто нет его. Человек создан для земли, и когда попы выманивают его с неё, так это похоже, как если бы рекрута-жениха со свадьбы в казарму звать. Дико рассердился поп...

брание сочинений в тридцати томах. Том 16. Рассказы, повести 1922–1925. Максим Горький gorkiymaxim.  
Дерева в садах так плотно склеены тьмой, точно их кто-то в дёготь окунул. В городе нестерпимо тихо, до того тихо, что хочется закричать:

«Пожар! Горим!»

«О, господи, господи! – мысленно жалуется Быков. – Как же это? За что ты обидел меня? Грешнее я людей или – как?»

И вспоминает дела знакомых своих: все они хуже его, все жаднее, завистливее. Он – совестлив, оттого и не имеет близких друзей, прожил жизнь свою одиноко, не спеша готовя прочное гнездо для спокойной жизни с красивой, доброй женой. Хорошо иметь около себя дородную, красивую женщину, одевать её куклой, водить по праздникам на гулянья, катать на паре лошадей, хвастаться её нарядами, драгоценным убором её мягкого тела, растрawляя всем этим зависть других женщин. Хорошо...

Прищурив глаза, он разглядывал в сумраке тяжёлую мебель, вспоминая, с какими надеждами покупал её. Вещи имеют большой смысл, среди них человек живёт, как в крепости. А если вынести из комнаты всё, что поставлено в ней, комната будет похожа на большой гроб.

«О, господи! За что?»

И всё кажется, что на чердаке у горбуна шумит Яков, как швейная машинка, тихонько вышивая словами узоры ереси своей.

«Упрям в мыслях. Это – неплохо, хотя мысли детские. И я, когда был молодой, тоже не знаю чего хотел».

Мысли Быкова незаметно принимали другую окраску. Всё равно – кроме Якова – нет наследников, его счастье! Приняв это решение, но чувствуя, что оно против разума, Быков придумывал оправдания ему, но не мог ничего выдумать, кроме: парень скромный, трезвый, будет богат – поумнеет.

Но когда на короткое время он забывал о Сомове, как наследнике своём, – Яков решительно нравился ему. Он с удивлением чувствовал в упрямых, странных мыслях племянника наличие какого-то иного разума, не того, которым жил он, Егор Быков, чужого ему, но разума, который истекал из сердца, не омрачённого жизнью, из крепкой веры во что-то. Нередко, следя, как затейливые и порою непонятные слова племянника слагаются в лёгкие мысли, Быков чувствовал почти зависть и, нарочито хмурясь, чтоб скрыть невольную улыбку, думал:

«Ловко! Сера птица, а – поёт сладко. В моём пере эдак-то не запоёшь. Легко ему, бесёнку...»

Особенно нравились Быкову рассказы Якова о жизни его бывшего хозяина, Титова, о его причудливом пьянстве. Слушая эти рассказы, он даже смеялся, широко открывая зубастый рот, всхрапывая и жмуря глаза от удовольствия. Приятно было видеть своего врага смешным и жалким, и приятно убеждаться, что зоркий, острый глаз наследника хорошо видит слабости и уродства людей.

– Ловко замечаешь! Это – полезно. Всегда полезно видеть, на какую ногу человек хром. На левую – бей справа, на правую – слева ударь!

А Яков чистым голосом своим рисовал:

– Когда же у Титова наступает запойное время – зовёт он к себе инженера Балтийского, и дней десять пьют они с фокусом. Фокус таков: посылают лакея Христофора вечером в сад, приказывая ему зарыть там в землю, в разных местах, бутылок двадцать вина так, чтоб даже горлышки бутылок не видно было. А утром рано оба с тросточками выходят они в сад искать грибы, ищут, ковыряя землю тросточками. Найдут бутылку водки, радостно кричат: белый! Разопьют водку в беседке и снова ищут грибы; красный гриб – красное вино, шампанское – шампиньон, коньяк – рыжик, ликёр – груздь. Так целый день ищут и пьют, в том порядке, что найдётся. Иногда начинают пить с ликёра, выпьют бутылку и – за другой идут. До того допивались, что Титов идёт по траве, царём Навухудоносором, на четвереньках, и рычит из оперы «демон»:

брание сочинений в тридцати томах. Том 16. Рассказы, повести 1922–1925. Максим Горький gorkiуmaxim.

Я тот, кого никто не любит

И всё живущее клянёт...

А Балтийский, лёжа на земле, горько плакал о том, что не мог бутылку из земли зубами вытащить, плакал и жаловался: «Где моя сила?»

Быков смеялся, хотя смех усиливал грызущую боль, а Сомов говорил с явным сожалением:

– Конечно, это очень достойно смеха, а всё-таки мне жалко таких людей, – громадной силы люди, им бы, знаете, горы двигать, а они двумя пальцами работают. Совершенно неправильно говорится, что люди жадны, нет, жадности на работу не вижу я!

– Молод, потому и видишь мало, – сказал Быков, только для того, чтоб возразить, и – подумал:

«Непонятен парень. Ведь – вот: о деле рассуждает, как хозяин, и – верно: жадности на работу в людях нет, – лентяи! Но выходит нелепо, небывало: служащий, рабочий сокрушается, что хозяин плохо работает! Говорит: работать надо честно. Но если ставить дело так, чтоб все люди работали честно, во всю свою силу, – тогда детские мысли надо отмести прочь».

– Путаный ты человек, Яков, – с угрюмой досадой сказал он племяннику. – Чего-то не додумал ты, легкодум...

Сомов замолчал, опустив глаза, пытаюсь пригладить вихор, отчего тот ещё более вздыбился.

Вдруг купечество затревожилось, целые дни гоняло лошадей, разъезжая по улице, осанисто сидя в экипажах; Быков, наблюдая из окна беспокойное движение людей, не привыкших торопиться, спросил Кикина:

– Чего они мечутся?

Он видел, что унылое лицо горбуна изменилось, расцвело, куриные глаза его утратили болезненную муть; засмеянный человечешко этот даже ходить стал твёрже, не так робко вертяться на кривых ногах, как вертелся всегда; теперь, когда он двигался, казалось, что внутри его, в горбах, что-то упруго подпрыгивает. Оживлённо мигая, разводя руками, дёргая подтяжки брюк, он рассказывал совершенно непонятное, – небывалый городской скандал, в котором принимали участие и городская дума и ремесленная управа, купечество, дворянство и даже попы.

– Тут, Егор Иванович, такой анекдот развернулся...

– Стой. Губернатор – в городе?

– Как же...

– Царь – жив?

– Вполне...

– Ну?

Кикин улыбнулся не свойственной ему, нехорошей улыбкой:

– Вы – о чём спрашиваете?

– Дурак!

Яков, наверное, рассказал бы более толково о событиях в городе, но он отпросился в Москву и вторую неделю торчит там, смотрит столицу. А город всё гуще наполняется необычной суетой и гулом, который похож на гул пасхальной недели, в иные дни – на шум большого пожара.

– Чего делается? – сердито допытывался Быков.



брание сочинений в тридцати томах. Том 16. Рассказы, повести 1922–1925. Максим Горький gorkiymaxim.

– Видите ли, Егор Иванович, народ требует...

– Погоди, не тараторь! Какой народ? Мужики?

– Мужики – тоже...

– Чего – тоже?

– Требуют земли.

– У кого это?

– А видите ли...

Дальше начиналась совершеннейшая чепуха: горбун, на стуле, точно рак в кипятке, виновато ухмылялся и бормотал:

– Все друг друга требуют к расчёту...

Он потирал руки, в глазах его светилась пьяная радость, противореча тревожному рассказу, кривые ноги надоедливо топали и шаркали под столом.

– Всеобщая обида против жизни подняла голос, началось отрезвление разума, и все согласны, что больше нельзя допускать такую жизнь...

– Какую, двугорбый бес?

– Вот – эту! Очень бесстрашно говорится обо всём, а некоторые так рассказывают, словно до этих дней спали и всё прошедшее приснилось им, ей-богу! Решимость и упорство...

Обратив к Быкову голое, старческое лицо, горбун сидел боком к нему, рыжий пиджачок взъехал на его острый горб, обнажив белый пузырь рубахи и подтяжку брюк, обрызганных грязью почти до колен.

«С каким дрянным человеком я живу», – подумал Быков.

– Чистый анекдот, Егор Иваныч, – все вылезли на улицу, толкуются около думы...

– Поди к чёрту!

И, оставшись один, Быков задумался тоскливо:

«Такая ничтожная червь, а тревожит! Дам ему денег, – пускай не живёт у меня. Теперь, при Якове, не нужен он для меня...»

Яков приехал вечером дождливого дня, он сошёл вниз, к чаю, торжественно, как будто воротился из церкви, от причастия. Было в нём что-то туго натянутое, вихор торчал ещё более задорно, брови озабоченно надвинулись на глаза, а голос понизился, охрип. И на стул Яков сел не так скромно, как всегда, а подтолкнув стул ногою к столу. Это усилило тревогу Быкова, вызвало в нём предчувствие несчастья.

– Ну, что же, как Москва?

Неприятно отчеканивая слова, племянник начал говорить задумчиво, но необыкновенно громко, как будто он свидетельствовал на суде, приняв присягу говорить правду. Говорил долго, не отвечая на сердитые вопросы, и часто останавливался, вспоминая или придумывая слова.

«Врёт! Пугает», – соображал Быков, оскорбляемый невниманием Якова к его вопросам, сердито следя, как горбун нетерпеливо возится на стуле и, открывая лягушачий рот, хочет, видимо, вставить какое-то своё слово.

«Снюхались, черти...»

Яков рассказал невероятное: все сословия почему-то вдруг возмутились, требуют облегчения жизни, каждое сообразно своим интересам, и все люди, как пьяные,

брание сочинений в тридцати томах. Том 16. Рассказы, повести 1922–1925. Максим Горький gorkiymaxim.  
лезут друг на друга в драку.

– Ну, и что же будет? – недоверчиво, сердито спросил Быков.

Сомов подумал, шумно вздохнул и заговорил:

– Будет – плохо, если не достигнем всенародного ущемления совести и взаимной помощи друг другу. Мне, Егор Иванович, беспокоить вас очень жалко, однако – не могу скрыть: может быть даже полная революция с оружием в руках.

– Врёшь! – сказал Быков твёрдо и решительно. – Откуда, какое оружие? Врёшь. Это ты пользуешься тем, что я – больной, сам на улицу не могу выйти... это ты пугаешь меня, страхом уморить хочешь.

И, застучав кулаком по столу так, что задребезжали чашки, он хрипел, выкатив глаза:

– Я – не старуха, я в светопреставление не верю! Не боюсь! Ничего не боюсь! Пока я жив – я имуществу хозяин...

Он остановился, видя, что племянник, густо покраснев, надвинулся на него, вместе со стулом, кашлянул сипло...

– Тогда – позвольте объясниться начистоту, – сказал он, точно гвозди заколачивая. – Вы подозреваете меня в расчёте на имущество, об этом мне вот и Константин Дмитриевич говорил. Вы ошибаетесь весьма обидно для меня. Богатство ваше мне не нужно, и я от него отказываюсь. Могу даже написать заявление, что не принимаю наследства, напишу сегодня же и вручу вам. А жить к вам я переехал только потому, что вы человек одинокий, больной и вам скучно. Мне же известно, что вы лучше многих прямоотой характера и другими качествами. Учителя гимназии Бекера вы могли вполне законно разорить и обратить в нищего, так же как девушек Казимирских, а вы этого не сделали. Отсюда моё уважение к вам и ответ, почему я живу у вас. А больше я – не могу! Прощайте!

Яков совершенно осип и, кончив речь свою почти шёпотом, закашлялся, встал, пошёл к двери, говоря по пути:

– Конечно, я очень благодарен, но – каюсь...

– Постой! – крикнул Быков, туго подтягивая шнуровой пояс халата и зачем-то высоко, к плечам подняв кисти его. – Постой, не горячись!

Но Яков Сомов уже скрылся за дверь. Тогда Быков встал, вытянул руки, держа в них концы пояса, как вожжи, и крикнул Кикину:

– Вороти!

Горбун вскочил, закружился, исчез.

– Скажи, пожалуйста! – вслух бормотал Быков, изумлённо глядя в двери, прислушиваясь к тихим голосам на лестнице вверх. Изумлял его не отказ Якова от наследства, а то, что Яков знает о Бекере, глупом человеке, попавшем в лапы ростовщика, о красавицах сёстрах Казимирских, почти разорённых гулякой отцом.

«Уважаю, сказал! Обиделся. Совсем ещё дитё».

– Чудак! – встретил он Сомова, сконфуженно усмехаясь. – Ты что же это вскипел, а? Ну-ко, садись! Наследство принадлежит тебе не по моей воле только, а и по закону...

Стоя, держась за спинку стула, Яков тихо, но твёрдо сказал:

– О наследстве не желаю говорить.

– Да – ну? Так-таки и не желаешь?

– Нет. Ещё, может, скоро все наследства будут уничтожены.

брание сочинений в тридцати томах. Том 16. Рассказы, повести 1922–1925. Максим Горький gorkiутахim.  
– Чего это? – спросил Быков, раскачивая кисти халата. – Ты – сядь!

Он чувствовал необычно: так, должно быть, чувствует себя голодный нищий, неожиданно получив вкусную милостину.

– Ты на больного не сердись! Лишить тебя наследства никто не может. Тут – закон!

Яков сел и сказал:

– Закон этот уничтожить надо, от него только несчастья одни.

– Ну, ладно, уничтожим, – шутливо согласился Быков, присматриваясь к наследнику. Ему показалось, что Яков нездоров; девичье лицо его осунулось, губы потемнели, он часто облизывает их языком, провалившиеся глаза смотрят хмуро и мутны.

– У тебя не лихорадка ли?

– Нет, – сказал Яков, приглаживая вихор. – Только вы не шутите, – против богатых большое движение народа и такие голоса, чтоб все имущества отнять...

– Не бойся, – уверенно успокоил Быков. – Не бойся, не отнимут!

– Я – не боюсь; я сам за это...

Быков как мог глубоко, с храпом втянул в грудь много воздуха и, шумно выдохнув с ним боль, заговорил той крепкой, раздельной речью, как поп Фёдор говорил проповеди:

– Человек без имущества – голая кость, а имущество – плоть, мясо его, понял? Мясо!

Шлёпнув ладонью по коже ручки кресла, он повторил ещё раз:

– Мясо. И живёт человек для того, чтоб обрасти мясом до полноты исполнения всех желаний. Мир стоит на исполнении желаний, для этого вся людская работа. Кто мало хочет, тот дешёво стоит.

– Вот все всего и захотели, – усмехаясь, вставил Яков.

– Чего это? Чего захотели? Ты – словам не верь, работе верь. Мало захотеть, надо сделать. Когда всего будет много – на всех хватит, все будут довольны.

И, мягко, как только он мог, Быков сказал племяннику:

– Я – не глуп, понимаю: ты всё по Христу хочешь, попросту, чисто. Это – верно, что Христос желал всё разделить поровну, так ведь он в бедном мире жил, а мы – в богатом живём. В Христову пору и людей было немного и хотели они малого, а и то на всех не хватило. А теперь мы стали жаднее, нас – множество и всякому – всего надо. Значит: работай, копи, припасай...

Быков сам был удивлён своими мыслями, они возникли вдруг и независимо от его воли, пришли, как чужой человек, чужой, но – интересный. Это смутило его, но одна мысль показалась ему умной, верной, легко разрешающей греховную путаницу жизни, и, сам прислушиваясь к ней, он повторил:

– Сначала, значит, надо наработать, накопить всего, потом – дели всем поровну и даже уродам, которые ни к чему не способные, им – тоже! Чтобы никакой бедности и грязи не было и греха не было бы ни тени. Так-то. Все – сыты, каждый живёт как умеет, никто на тебя со злобой, с завистью не лезет. Каждый сам себе свят. Вот! Именно так: каждый человек сам себе – святой!

Говорил Быков и всё более изумлялся, чувствуя, что этот ход мысли имеет силу развиваться без конца, легко подсказывая нужные слова. Ему даже показалось, что тугой клубок этой мысли давно, всегда лежал на дне его души, а сегодня ожил и завертелся, спуская бесконечную, крепкую нить. Это развёртывание клубка захватывало дыхание, точно Быков стремительно ехал по зимней, гладко укатанной дороге. Необыкновенно легко говорились эти новые слова, как будто он всегда думал ими. Приятно было чувствовать себя по-новому умным, видеть, как горбун,

брание сочинений в тридцати томах. Том 16. Рассказы, повести 1922–1925. Максим Горький gorkiymaxim. слушая, улыбается пьяной улыбкой, а Яков, наклонясь на стуле, смотрит, глазами девушки, родственно. И всё это было до такой степени трогательно, так взволновало ощущением силы, связующей людей, что на глазах Быкова выступили слёзы умиления, он вдруг ослабел, привалился к спинке кресла и пробормотал, устало закрыв глаза:

– Кому приятно супостатом быть для людей? А нужда – неборима, нужда в работе, ох, велика! И – торопиться надо, – всякого ждёт смерть...

Кикин, вскочив со стула, озабоченно сказал: – Вы, Егор Иваныч, лягте, вы устали. Яша, отведём!

Взяв Быкова под руки, они отвели его в постель, заботливо уложили, и ушли бесшумно, горбун, заплетая ноги, впереди, а Яков, приглаживая вихор, шёл за ним опустя голову.

Несколько дней Быков прожил, чувствуя себя именинником, торжественно приподнятый выше обычного, окутанный тёплым облаком забот Кикина и Якова. Он сильно ослабел за эти дни; пришлось пригласить для ухода за ним сестру милосердия, длинную, тонкую, как жердь, молчаливую женщину, с рябым лицом и бесцветными глазами. Покорно наблюдая таяние сил, Быков, сквозь туман своего настроения, смутно видел, что жёлтое лицо Кикина озабоченно вытягивается, глаза тревожно бегают, прячутся. Яков тоже стал более молчалив, бледен, хмур; он по несколько раз в день исчезает куда-то, а возвратясь, говорит о событиях неохотно, осторожно.

«Жалуют, – соображал Быков. – Оба жалуют. Не хотят беспокоить. Видно – скоро конец мне».

Но мысль о смерти пугала его ещё менее, чем раньше, обидный смысл её притупился, стал не так горек, хотя невольно думалось:

«Теперь бы и пожить немного с Яковым-то. И Кикин тоже хорош. Теперь они меня поняли. Развернул я душу пред ними, они и поняли».

И, мысленно усмехаясь, думал о наследнике:

«Доказал я ему, как надо понимать имущество, беспокоится парень. А говорил: разделить бедным! Эх, люди...»

– Чего делается в городе? – спрашивал он сестру милосердия, желая проверить путанные рассказы Кикина и осторожные племянника.

– Бунтуют всё ещё, – равнодушно отвечала женщина, как будто бунты были обычным развлечением горожан, вроде пьянства и торговли. Она часто зевала, прикрывая рот горсточкой, зевнув, быстро крестилась, в бесцветных глазах её застыл сон, в бесшумной походке была кошачья гибкость.

Стрелять в городе начали с субботы на воскресенье, на заре серого, дождливого дня. Первые выстрелы раздались где-то далеко и звучали мягко в воздухе, пронизанном пылью мелкого дождя.

Быков несколько минут слушал эти щелчки, похоже было, что ворона бьёт клювом о мокрое железо крыш.

– Что это стучит? – спросил он, разбудив сестру; она прислушалась, подняв голову, как змея, глядя в серые квадраты окон.

– Не знаю. Лекарства дать?

– Молчи.

Щелчки участились, подвинулись ближе, чмокая часто, точно косточки счёт под пальцами ловкого счетовода.

– Похоже – стреляют, – угрюмо сказал Быков, уже хорошо зная слухом старого солдата, что это именно выстрелы. – Поди-ка, разбуди верхних...

брание сочинений в тридцати томах. Том 16. Рассказы, повести 1922–1925. Максим Горький gorkiутахіт.  
Сестра ушла, качаясь в сумраке, как под ветром, затыкая пальцами волосы под платок. Быков сел на постели и слушал, тоже приглаживая трясущимися руками волосы головы и бороды.

– Стреляют, сукины дети! Это – кто же в кого?

Сестра сбежала по лестнице очень быстро и ещё в двери взвизгнула глупым, тонким голосом:

– Стреляют! В крышу, в вашу...

– Дура, – строго сказал Быков. – Холостыми стреляют.

– Ой, нет...

– Молчать! Это – маневры. Пулями в городе нельзя стрелять.

– Ой, нет! Ой, батюшки, нет...

Женщина подбежала к окну, раскрыла его, – в комнату влетели дробные звуки. Быков слышал, что бьют из винтовок и револьверов. А вот бухнула бомба, заныли стёкла, в окнах дома, наискось от окон Быкова, тревожно вспыхнули огни. Крестьясь, женщина присела на пол и тоже заныла:

– Господи-и...

Вошёл, вертясь, Кикин в пальто и фуражке, шёл он на пальцах ног, лицо его, освещённое огнём лампы, казалось медным и мёртвым.

– Чего это делается? – крикнул Быков. – Где Яков?

– Ушёл.

– Когда? Куда?

Сняв фуражку, горбун виновато развёл вывихнутыми руками:

– Я, Егор Иванович, говорил ему – не лезь, не надо! Хотя они действительно обманули...

– Кто?

– Начальство, правительство. А Яша говорит: нельзя, товарищи... Подлость, говорит. Он – с кононовскими, с литейщиками...

Быков что-то понял, его точно кнутом хлестнуло; спустив ноги с кровати, он захрипел:

– Халат! К окну меня! Эй, баба...

Выглядывая из окна, сестра отмахнулась рукой:

– Как знаете сами! Пожар начался. Я – домой...

Но не только не ушла, а даже не встала с пола, стоя на коленях пред окном.

Одевая Быкова, Кикин бормотал:

– Как бы не влетело в окно что-нибудь...

– Молчи, – сурово сказал Быков. – Сводник! Укрыватель...

Стреляли близко. Был слышен даже протяжный крик:

– А-а-а...

Гремели запоры ворот, хлопали двери, где-то два топора рубили дерево, визгливый бабий голос тревожно крикнул:

– Садами беги...

Подойдя к окну, Быков увидел, как по улице проскакал чёрный конь, ко хребту его прирос человек, это сделало коня похожим на верблюда, а по неровному цоканью подков было слышно, что конь хром. Прижимаясь к заборам и стенам домов, в сумраке быстро промелькнули три фигуры, гуськом одна за другою, задняя волокля за собою какую-то жердь, конец жерди шаркал по камням панели, задевал за тумбы.

«Воры», – решил Быков, чувствуя, как внутри его грозно растёт тишина, пустота, а в ней гулко отражаются все звуки и тонут, гаснут мысли. Вот провыла пуля, шелохнулись сухие листья на деревьях.

«Рикошет», – определил Быков и услышал робкий голос Кикина:

– Вы бы отошли от окна...

Он толкнул Кикина в плечо.

– Бунт, значит?

– Восстание рабочих, Егор Иваныч...

– Яков, яшка – в бунте?

– С кононовскими он...

– Иди, – сказал Быков, протянув руку в окно, на улицу. – Иди, позови его! Сейчас же шёл бы домой. Что ж ты, подлец, молчал, скрывал?..

Кикин виновато пробормотал:

– Яша говорил вам: с оружием в руках...

– Иди! Погибнет яшка – жить не дам тебе!

Челюсть Быкова так тряслась, что казалось – у него отваливается борода. Вытянувшись, как во фронте, серый, высокий, он стоял в мутном пятне окна, вытаращив глаза, щёлкая зубами, ноги его дрожали, и халат струился, стекал с костей его плеч.

Кикин исчез.

– Я – домой, – повторила сестра милосердия.

Не отводя глаз с улицы, налитой туманом, Быков тяжело опустился в кресло. Стреляли меньше, реже, тюкал топор, что-то упало, бухнув по забору или воротам, ломая доски. Непонятно было: почему так туго натянулись и дрожат проволоки телеграфа? Затем, неестественно быстро, в улицу всыпался глухой шум, топот ног, треск дерева, и знакомый, высокий, но осипший голос крикнул:

– Снимай ворота! Там бочки на дворе, – выкатывай...

«Это у меня на дворе бочки», – сообразил Быков.

А на улице под окнами кричали:

– Вяжи проволоку за фонарь! Тяни поперёк улицы... Р-руби столбы... Ногу, ногу, чёрт...

– Тут – Яшкин голос, – вслух сказал Быков. – Его!

Думать о том, что делает Яков, – не хотелось, но Быков всё-таки бормотал, ложась грудью на подоконник:

– Защищает. Не пускает.

Сестра совалась из угла в угол комнаты, причитая: – Ой, господи! Го-осподи... Грабители...

– Сядь! – крикнул Быков. – Вот я тебя – палкой! Молчи...

И, взяв палку, которой стучал в потолок, вызывая Кикина, он показал её сестре. У него всё тряслась челюсть и волосы усов лезли в рот, он дёргал усы, бороду, но челюсть отпадала, и всё грозней становилась тишина внутри, глубже пустота, куда вторгался с улицы шум, крик, треск дерева и отдалённые звуки выстрелов.

– Ставь на-попа! – командовал чей-то бас у ворот. Уже посветлело, в тумане фигуры людей очертились достаточно ясно, их было не больше сотни, они сгрудились влево от дома Быкова и заваливали улицу, перегораживая её телеграфными столбами, тащили их за проволоку, как сомов за усы. Со двора соседней несли прессованное сено, выкатили телегу, ухая, раскачивали забор, на эту возню слепо и стеклянно смотрели окна молчаливых домов, и было видно, как за стёклами изредка мелькают тени людей.

Вдали военный рожок резко пропел сигнал сбора.

– Берегись, – крикнул бас, что-то затрещало, заскрипело и рухнуло на камни мостовой.

– Крушат, – вслух сказал Быков, обращаясь к сестре и как бы требуя её совета. – Слышишь? Ломают!

Вздрагивая от холода, запахнув халат на груди, он высунулся в окно ещё дальше и увидел, что Яков, с ломом на плече, бежит к воротам, а за ним бегут ещё человек десять, с винтовками в руках, с топорами, один – с оглоблей, они все сразу ударились о ворота, Яков кошкой перелез во двор и закричал:

– Снимай полотно ворот! Бочки бери...

Всё это было невероятно, как сон, Быков смотрел и не верил глазам. Разбудил его истерический вопль сестры:

– Ой, грабители...

Ворота распахнулись, люди вбежали во двор.

– Стой! – крикнул Быков, собрав все остатки сил в этот крик. – Стойте, дьяволы! Яшка – гони их!

Он увидел поднятое вверх круглое, как блин, лицо Якова, услышал его крик:

– Обманули, дядя! Бьют людей...

И вслед за тем жалобно раздался голос горбуна:

– Егор Иваныч – отойдите!

Левое полотно ворот приподнялось, покачнулось и с грохотом упало во двор, люди вцепились в него, потащили на улицу, а другие начали раскачивать второе полотно, выкатывать бочки, и среди них суетился маленький, горбатый человек.

Тогда Быков, матерно ругаясь, схватил горшок с кактусом и метнул его во двор, в людей. Горшок упал далеко от них, Быков видел это, но закричал сестре:

– Давай цветы, стулья давай, всё!

Он крикнул достаточно устрашающе, женщина, согнувшись вдвое, молча заметалась по комнате, снося горшки цветов с подоконников, пододвигая руками и ногами стулья, а Быков, качаясь, размахивался остатком сил, стонал от боли и метал вниз, в людей, всё, что мог поднять, бросал, храпел и дико ругался.

– Яшка – убью! Коська, урод...

Кто-то выстрелил, тонко звякнуло стекло, с потолка посыпалась штукатурка, сестра, взвизгнув, села на пол, упираясь в него руками, Быков обернулся к ней и крикнул:

– Врешь, жива! Давай, стерва...

И одновременно на улице, очень близко, защёлкали выстрелы, а под воротами тонкий голос завопил:

– Обошли-и...

Быков видел, как племянник присел и пополз во двор, волоча ногу, а бородатый человек, бросив оглоблю, опрокинулся навзничь, стукнувшись головой так, что с неё слетела шапка; тотчас же вынырнули из тумана и явились у ворот согнутые, серые солдаты, высунув вперёд себя штыки, вскрикивая:

– Сдавайсь! Ложися...

Стреляли по бегущим.

Быков дико захохотал и, вытянув руку, тыкая ею вниз, топая ногами, заорал, захрипел:

– Этого колите, вон – ползёт, в шляпе, коли его! Горбуна, – вон присел за бочкой, горбатого-то...

Сестра милосердия, раскрыв другое окно, тоже выла:

– Колите!.. Колите, гоните...

Репетиция

Это забавное столкновение разыгралось на репетиции четвёртого акта известной пьесы «Дорога избранных».

Началось с того, что режиссёр, утомлённый безуспешностью героических попыток своих приблизить артистов к тайному смыслу пьесы, сказал, не скрывая досаду:

– Отдохнём, господа, минут пять.

Вынув часы, глядя близорукими глазами на циферблат, он подошёл к рампе и вызывающе взмахнул головою пред пустым мешком зрительного зала; в чёрной глубине мешка одиноко замер жалкий, красноватый огонёк, едва освещая верхнюю часть какой-то двери. Можно было думать, что там, за дверью, тьма ещё более густа и уже безгранична.

Режиссёр пользовался репутацией новатора и, рассматривая артистов как музыкальные инструменты, которые он должен настроить, – презирал их. Он был одет в бархатную блузу, и от него исходил странный запах – как будто человек этот только что позавтракал очень душистым мылом. Маленький, узкогрудый, на тонких ножках с вывернутыми коленками, с большой головою в чалме волнистых волос, он искусно сделал свое синее, бритое, длинноносое лицо страдальческим, навеки безразличным лицом человека, который осуждён украшать собою мир людей глупых и бездарных. Крепко поджимая толстенькие, очень красные губы, прищутив глаза – их зрачки напоминали цветом спелую сливу, – он смотрел на всё и ни на всех безнадежно и, казалось, молча упрекал:

«Это – не так».

Один из врагов его, рецензент, утверждал, что, говоря о «Скупом рыцаре», режиссёр «обмолвился»:

– Я не отрицаю, Андрей Степанович Пушкин даровитый человек.

Из глубины сцены режиссёр был похож на гнома, который молча вызывает в помощь себе духов тьмы.

В сероватом сумраке слабо освещённой сцены – четверо артистов: героиня, женщина, не удовлетворённая жизнью и обязанная страдать; комик, её муж, человек «здорового смысла» и, разумеется, пошлый; субретка [5], девушка, которой предстояло создать новую драму в жизни, и герой, искатель «новых путей». Кругом их торчали в хаотическом беспорядке обломки скал и какие-то странные предметы, обесформленные



брание сочинений в тридцати томах. Том 16. Рассказы, повести 1922–1925. Максим Горький gorkiymaxim. сумраком, между скал помещался круглый пол, на нём сидел герой пьесы и, посвистывая, чертил карандашом в тетрадке своей роли.

Сцена тоже имела что-то общее с раздутым мешком. Пыльный воздух её был пропитан запахом клея, краски и какой-то особенной, сухой гнили; возможно, что это запах разложения бесчисленных женщин и мужчин, убитых авторами для развлечения зрителей. А из безмолвной

тьмы зала притекал смешанный аромат духов, пыли, человеческого пота, ваксы и кожи ботинок.

За спиной режиссёра лениво ползали гулкие слова; его слуху был особенно неприятен «бытовой», терпкий голос комика.

– Н-да, сочинил...

Сидя на обломке одной из тех скал, каких не создаёт природа, комик свёртывал папиросу, аккуратно разложив на коленях у себя табачницу, бумагу и мундштук.

– Тебе не нравится пьеса? – спросила героиня, рассматривая губы в круглое, ручное зеркало и покусывая их.

– Мне, Аня, нравится только рыбу удить, как ты знаешь. А пьеса – что же пьеса? Слова в ней немножко другие, скажем – детские слова, так дети лепечут. Пожалуй, они милее, жалобней прежних, сочных русских слов. А всё остальное – старинка, времён Адама и Евы: ты, Аня, должна любить и страдать, я, по обязанности мужа, должен добывать тебе винцо с хлебцем и всё, потребное для прикрытия наготы, Гронский, змей-соблазнитель, принуждён будить душу твою к «новой жизни», увлекать тебя на «Дорогу избранных» – из этого репертуарчика не выскочишь! Мы в нём – как мышки в мышеловке; придёт смерть и бросит нас в свою бездонную яму. Вон – Лидочка ходит, волнуется, ждёт своего часа начать ещё одну, такую же пьеску...

– Меня прошу оставить в покое...

– Дитя моё, – оставил бы, но это не в моей власти, – балагурил комик.

Лидочка была очень миленькая; никто из мужчин не мешал ей считать себя красавицей, и она делала всё, что могла, стараясь убедить их в совершенстве своей красоты. Прожив на земле только двадцать лет, она находила жизнь удобной, приятной и, конечно, не могла смотреть на себя как на материал для создания новой драмы. Это обидело бы её. Роль казалась ей очень простой: нужно полюбить героя. Она чувствовала, что сумеет и готова сделать это. Равнодушие старших товарищей к «Дороге избранных» раздражало её: к чему все эти их капризы, когда необходимо только одно – играть так, чтобы публика восхищалась.

– Ты, Иван, всё философствуешь, – неодобрительно заметила героиня, припудривая нос. Давно, когда-то, влюблённый рецензент назвал её лицо «античным, мраморным», это понравилось ей, и она заботливо следила, чтоб её синенький носик был так же холодно бел, как её бледное, плоское лицо, выгодно освещённое тёмными «роковыми» глазами. Она сама находила, что глаза эти несколько излишне злы, и в патетические минуты закрывала их, тогда лицо её становилось поистине каменным. О её голосе известный критик Мерцалов сказал миру:

– В роли Медеи голос Ростовцевой звучит медовым звоном меди.

В жизни она говорила чуть-чуть гнусаво и всегда томно, – ей казалось, что носовой звук, так же как крепкие духи, особенно успешно возбуждает некоторые эмоции поклонников её таланта.

– Да, философствую, – покорно сознался комик и, закулив папиросу, дымно вздохнул.

Он действительно любил ловить рыбу; это занятие лучше всякого иного позволяет человеку забывать, кто он, где он, и не думать, зачем он. Известно, что истинное счастье человека в науке и труде: и та и другая мешают думать. Комик, незаметно для себя, прожил полстолетия и так же незаметно приобрёл привычку задумываться о самых простых вещах, привычку, неприятно осложнённую стремлением говорить со

брание сочинений в тридцати томах. Том 16. Рассказы, повести 1922–1925. Максим Горький gorkiymaxim. всеми о своей почти болезненной мании открыть некий, необходимый комику, смысл явлений и вещей.

– Да, философствую, – : повторил он. – Что ж делать? Знаешь, Анюта, с некоторого времени зрительный зал, в часы спектакля, кажется мне банкой икры, в середине икру уже кто-то съел, и осталось только по краям да на доньшке. Автор придёт?

Режиссёр, вполборота, ответил с точностью учебника грамматики:

– Автор обещал посетить нас в половине второго.

– Чёрт бы его взял, автора! – неожиданно, точно взорвался, и чётко, как строку стиха, произнёс герой; соскочил со стола и, грозя во тьму золотым карандашом, добавил совершенно серьёзно и убеждённо:

– Будь я законописателем, то есть – имей я власть, я бы издал закон: литераторы, распространяющие заразу уныния, подлежат пострижению в монахи, причём им запрещается писать не только драмы и романы, но даже и письма до поры, пока они не преодолеют оное своё уныние... Вот! Ты, Ваня, прав: пьеса эта – чепуха! Автор – надоел мне своей напыщенностью и... вообще надоел! Креаторов? Тут есть что-то семинарское и тупое. Его настоящая фамилия – Подорожников...

– Пирожников, – строго поправила героиня.

– Пардон! Это ещё пошлее. Говорят, что он невыносимо высокомерен, обжора, распутник и при этом – скуп, как нищий; о его жадности к деньгам рассказывают удивительные анекдоты...

Героиня, нахмурясь, сделала ручкой, обильно украшенной кольцами, предостерегающий жест, зная, что всё, сказанное об авторе, несколько преувеличено. Но некоторые причины внушили ей, что будет тактичнее, если она промолчит, предоставив герою свободу раскрашивать автора красками всех пороков, что герой и делал со вкусом, с любовью.

Бесшумно шагая у левой кулисы, Лидочка усмехалась; ей был известен неудачный роман автора и героини, и она видела эпилог романа: малокровного мальчика, болезненно застенчивого и рассеянного, он ходил по земле, балансируя, точно акробат на канате.

– Креаторов! – шумел герой, иронически прищутив глаза и указывая правой рукою на колосники. – Ты слышишь, Иван, какова тут претензия?

Комик поощрительно засмеялся наигранным, «купеческим» смехом, а герой, щеголяя баритональными нотами, продолжал:

– Если ты – Креаторов, так ты создай для меня роль счастливого человека, да, да., – вот именно!

Режиссёр спросил в холодном тоне экзаменатора:

– Что вы называете счастьем?

– Чёрт возьми – это ясно! Это даже воробьи знают!..

Герой был бы плохим героем, не обладая честолюбием, и он обладал им в количестве, которое находил совершенно соразмерным объёму своего таланта, – товарищи его считали, что он значительно преувеличивает свой талант. Режиссёр же казался ему неумным и вредным человеком, который существует только для того, чтоб всячески стеснять вдохновение артиста. Шагнув к нему, он протянул руку так, как будто держал в ней шпагу, и начал декламировать:

– Мне опротивело играть всегда одну и ту же роль – роль страдающего человека! Гамлет или Сирано де Бержерак, Моор или «живой труп», – я всегда страдаю...

– Займитесь торговлей галстухами, – предложил режиссёр, гордо взмахнув головою.

– Пардон, – вы шутите, как приказчик. Я говорю серьёзно: меня, артиста и человека, унижает однообразие игры. Ежедневно страдать за семьсот пятьдесят

брание сочинений в тридцати томах. Том 16. Рассказы, повести 1922–1925. Максим Горький gorkiymaxim. рублей в месяц...

– А каково мне всегда изображать дураков? – спросил комик и, ударом ладони выбив из мундштука снопик искр, скорчил одну из наиболее забавных гримас, которые создали ему популярность. – Меня выпускают на сцену для того, чтоб утешать зрителей: есть человек глупее вас, не беспокойтесь! А глупость никого и не беспокоит, кроме моего друга Лукина, учителя географии, да и он беспокоится по обязанностям службы, а вовсе не потому, что считает глупость вредной...

«Бытовая» болтовня комика заставила режиссёра пренебрежительно пожать плечами. Герой – негодовал:

– «Дорога избранных»! И вот мы, талантливые люди, топчемся, для развлечения публики, на этой дороге, а бездельники, любуясь, как мы безжалостно мучаем друг друга, лакомо ждут последнего стога истерзанных сердец...

– Цирк! – вставил комик. – Верно, Миша, мы для публики – акробаты. Публика – икра... Снять бы эту пьеску со сцены...

– Может быть, уже пора продолжать репетицию? – напомнила Лидочка, но никто не ответил ей.

– Я спрашиваю Лукина: «Антон, ты веришь в разум?» – «Конечно, говорит, верю, это моя профессия». И – врёт: зачем географу верить в разум?

«Скучные, – раздражённо думала Лидочка. – Усталые, скучные люди...»

Она была умненькая и знала, что сцена – это место, где притворяются и где наибольший успех ожидает того, кто умеет притворяться правдивее других; сцена – место, где ходят на чужих ногах и говорят чужими словами. В жизни тоже необходимо уметь притворяться, чтоб достичь успеха, и это не трудно: нужно только научиться брать больше, чем даёшь. Ей вспомнилась забавная фраза рыжего студента филолога, влюблённого в неё:

«Существует закон исключённого третьего: или вы – человек, или не человек, ничем третьим вы не можете быть...»

«Дурачок! – хотелось ответить ей. – Для тебя я не человек, а женщина, для людей я – женщина и артистка, и только для себя самой я – человек, но я знаю, что это никому – и тебе – не нужно, не интересно. Я именно то третье и настоящее, чего ты никогда не поймёшь. Никто не поймёт...»

На сцене три человека выстроились друг против друга тесным треугольником и кричали:

– Позвольте же! Свобода, религия художника...

– К чёрту! У меня тоже есть религия: я верю в возможность счастья...

– Счастье, как вы его понимаете, это пошлость...

– Если б вы любили удить рыбу...

– Подожди, Ваня...

– В час заката, когда...

– Я не ем, не люблю рыбу...

– Свобода Креаторова – произвол...

– Ах, вот как? А подчиняясь произволу стихий, общественных условий...

– Ерша не стоят эти новые пьесы...

– Дайте мне роль счастливого человека, и я так сыграю её, что вы заплачете...

– Наверное – заплачу, – поспешно и ехидно согласился режиссёр.

– От радости, от восторга...

– Да? Сомневаюсь...

– Когда философствую я – надо мной смеются, – обиженно и мстительно кричал комик. – А – легко мне прятать душу мою в глупые, чужие кожи?

Героиню волновал этот спор, она смутно чувствовала за ним что-то правдивое и значительное. В самом деле: всегда изображать несчастную женщину – это очень утомляет. Неприятностей и несчастий вполне достаточно вне сцены, она знала это по личному опыту. Хорошо бы забыть себя, играя весёлую роль счастливой! Она прожила, играя несчастных, почти сорок пять лет, уже достаточно надоела сама себе, и «прятать душу в чужую кожу» стало её привычкой. Она почти утратила способность различать, где кончаются выдумки автора и начинается её личная жизнь. И часто для неё было неясно: кто это говорит, – Анна Ростовцева или одна из героинь бесчисленных пьес, сыгранных ею? За себя лично больно ей, или эта боль – запоздалый отзвук тех страданий, которые она вчера «с неизменным успехом» показывала публике?

Её несколько возмущал тон, которым герой говорил об авторе, она была уверена, что только ей одной принадлежит право говорить о нём в таком тоне, и гордилась, что не пользуется этим правом. Слушая крик, всё более шумный и горячий, она заметила: герой настолько искренно взволнован, что говорит своими словами, очевидно, забыв нарядные и громкие слова своих ролей. В этом было что-то неестественное. И комик стал как будто умнее, жалобы его звучали даже трогательно, только режиссёр оставался непреклонным педантом. Минутами героине казалось, что они, трое, воодушевлённо репетируют новую пьесу, она ждала момента своего выхода и в то же время видела автора, каким он был двенадцать лет тому назад.

Двенадцать лет тому назад он ещё не был «маститым», но уже находился «в зените славы»; подчёркнуто «эстетически» одевался, щеголял пышной гривой преждевременно поседевших волос, его «обожали» женщины, он обаятельно говорил о «новом» искусстве, критики почти единодушно верили в него, читатели, с разрешения критики, искренно восхищались его книгами, а один купец, фабрикант готового платья и влиятельный меценат, сказал о нём:

«Этот въехал в литературу на лихаче».

Потом оказалось, что любимый автор новатора – старик Диккенс, любимое блюдо – битки с луком, а женщина, любимая им, должна каждую минуту помнить, что художник равен богу не только потому, что «создаёт миры», но и потому, что рассчитывает на бессмертие. Создавая миры, он нуждается в непрерывных заботах о нём, нужно следить за порядком в его бельевом шкафу, наблюдать за целостью пуговиц на панталонах, делать так, чтоб его утренний кофе был в меру горяч, а дни его текли спокойно, – до поры, пока он в этом нуждается. Вообще нужно устранять всё, что способно испортить настроение творца миров, и совершенно необходимо, чтоб в часы вдохновений художника жизнь умеряла свой шум и бег, судорожный свой трепет, тайный смысл которого доступен только божественному разуму художника. Да, жизнь с таким человеком требует от женщины очень многого и, будучи, в сущности, довольно однообразной, является в то же время весьма тревожной, ответственной.

Всё-таки – они почти три года любили друг друга, он – в меру своих сил, она, конечно, – свыше меры; он был для неё тот четвёртый, которому она сказала, что он – её первая, «настоящая» любовь. Ей вспомнилось печальное изумление, которое так холодно и крепко обняло её, её душу, когда она почувствовала, что этот человек исхитрился в два года исчерпать и осушить поток её чувства. На дне потока оказался серый слой житейских мелочей, пыльный песок обыкновенных «комнатных» слов. Потом явилась маленькая поэтесса, пухлая, кудрявая, как овца, с фарфоровым личиком и наивным восторгом в стеклянных, овечьих глазах. Изменение вкуса своего он объяснил не очень оригинально:

– Художник должен быть всегда влюблён, любовь – основа искусства, – сказал он, но, видимо, сам устыдился этих слов и тотчас заменил их грубым, но метким афоризмом одного знаменитого певца:

«В искусстве надо ржать».

Не изменяя смысла прежде сказанных слов, эти были более точны, – именно лирическим ржанием он и создал себе славу. Но вот уже лет пять он пишет романы и пьесы, в которых пафос и лирику Эроса всё более заглушает что-то иное, что напоминает осторожную речь медика о трудно больном. Но и эта осторожность, кажется, начинает покидать его; недавно, к одной из повестей своих, где поэзия уступала философии, он взял эпиграфом шутку философа грека:

«– Умер ли ты, Пиррон?

– Не знаю».

Впрочем, это не мешает ему довольно настойчиво ухаживать за Лидочкой.

Увлечённая в холодный сумрак воспоминаний, героиня перестала слушать спор; её возвратил к действительности тоскливый и раздражённый голос Лидочки:

– О, боже, когда они кончат?

По всему было видно, что кончить они не спешат; стоя близко друг к другу, они, точно связанные невидимыми путами, размахивали руками, наклоняясь, выпрямляясь, отступая на шаг друг от друга и снова соприкасаясь. В пустом мешке сцены непрерывно и гулко, вперебой, звучали их сердитые голоса, им бестактно вторила возня рабочих за кулисами, настойчивый стук молотков, надсадный скрип каких-то досок, визг гвоздей, выдираемых из дерева клещами, и порою чей-то глубокий бас, напоминая гул отдалённого грома, мрачно произносил странные слова:

– Давай небо...

В глубине сцены, среди нагромождённых скал, изредка появлялась голова в измятом картузе без козырька, бородатое, тёмное лицо, длинная, голая рука, сердитый голос спрашивал:

– Так, что ли?

Режиссёр, безуспешно стараясь сохранить тон спокойный и небрежный, доказывал герою, считая на пальцах:

– Во-вторых: свобода творчества...

А комик жалобно кричал:

– Когда я умру – будет так, как будто меня никогда и не было на земле...

– Это могут сказать миллионы людей...

– Ага? Миллионы! – кричал комик в лоб режиссёра.

– Я хочу жить по законам моей души...

– Пожалуйста! Я вам не мешаю. Но я говорю: во-вторых...

– Вы уже говорили во-вторых...

– Позвольте же! Я спрашиваю...

– Да. Ну-с?

– Можете вы изменить законы чувствований, мышления о космосе, о вселенной?

Герой окончательно освирепел; сильным жестом оттолкнув от себя что-то, он крикнул:

– К чёрту вселенную! Вселенная – это я, человек!

Режиссёр насмешливо огрызнулся:

– Не ново. Сказано ещё стариком Германом Гейне!

– Генрих Гейне, – решительно поправила героиня.

– Суть не в именах. Здесь не адрес-календарь репетируют...

Бесшумно, как привидение, из правой кулисы выдвинулся длинный, тонкий человек в узком, сером халате, замазанном пятнами красок, над его стёртым лицом буйно торчали встрёпанные волосы, и был он похож на трубу, которая дымит. Глухим басом, мрачно и лениво он спросил:

– Что же делать с небом?

Эти слова, необычные в иной обстановке, этот безнадежный вопрос человека, видимо, отчаявшегося в чём-то, показался теперь необычным даже и здесь; спорившие умолкли, героиня, человек религиозный, испуганно взмахнула рукою, комик неодобрительно замычал, герой, торопливо сунув руки в карманы пальто, отошёл к рампе, а режиссёр, взмахнув головою, спросил с тревогой:

– А... а что случилось?

– Луну пускать или только звёзды?

– Луну! – с досадой сказал режиссёр. – Не очень ярко, как бы сквозь туман. Слева – луну, а ниже её и правее – Венера, утренняя звезда, – понимаете? Но – я говорю вам это второй раз – обратите же внимание! На небе, как раз с левой стороны, отпечатана чья-то пятерня и потом грязное пятно, в форме дыни...

– Рабочие, – мрачно сказал человек.

– Закрасьте!..

– Двое пьяных. Один уже заснул, а другой...

– Непременно закрасьте!

– Конечно, – согласился человек и, повернувшись, точно надетый на стержень, растаял в сумраке кулисы.

– Астроном, – заметил комик, вздохнув, присел на скалу и начал раскладывать на коленях табак, бумагу, а режиссёр, погладив ладонями синие щёки, миролюбиво предложил:

– Начнёмте... Мы остановились на сцене Аркадия и Серафимы, – где же Лидия Александровна?

Глядя в тетрадку роли, героиня сказала:

– После слов Аркадия: «Мы пойдём с тобой дорогой избранных» – вхожу я, начинаю: «А – я? Ты и меня ведь звал с собой на этот путь», – я говорю это с иронией?

Режиссёр отчаянно взмахнул руками:

– Ничего подобного! Иначе мы выскочим из тона пьесы. Нет, вы понимаете неизбежность его измены вам, вы миритесь с нею, скрывая боль, вы – тоже избранная...

– Для истязания, – сердито закончил герой. Он всё ещё волновался, – впрочем, такова его профессия. Расхаживая по сцене у рампы, он сунул большие пальцы рук в верхние карманы жилета, что делало его похожим на танцующего еврея, смотрел во тьму зала и негодуя морщил своё дородное, бритое лицо, двигая бровями, большими, как усы.

– Чёрт знает, как глупа эта пьеса! А меня хотят убедить, что тут какая-то премудрая романтика, философия...

– Когда философствую я, – заговорил комик, дымя папиросой, и вдруг, сняв котелок с головы, почтительно упёрся лысиной во тьму кулисы, откуда, сопровождаемый Лидочкой, спокойно, как орёл, выплыл большой, седобородый человек в широком

брание сочинений в тридцати томах. Том 16. Рассказы, повести 1922–1925. Максим Горький gorkiymaxim.  
пальто. Медленным движением руки он снял мягкую шляпу, обнажив пышные волосы, улыбнулся героине, показав золотые зубы, и поднёс её руку к своей бороде.

– Здравствуйте, – необыкновенно громко сказала она, почему-то с ударением на последнем слоге.

Кивнув головой в сторону комика, сделав кистью руки приветственный жест режиссёру, человек собрал бороду свою в горсть, потом ловким ударом пальцев широко распушил её по груди и спросил героя спокойно, любезно:

– Так вам не нравится моя пьеса?

– Собственно говоря, – сказал герой, зябко пожимая плечами, – мы тут все говорили. Это – общий голос артистов...

– Что пьеса моя – не умна?

– Нет, конечно... То есть, я хочу сказать, что вообще современный репертуар...

– Вообще! – сказал комик, значительно подняв палец вверх, желая этим помочь товарищу.

Герой чувствовал себя оробевшим, как гимназист пред директором, стыдился этой робости и, желая победить её, напрягал своё сытое, уже несколько рыхлое тело, выпячивая грудь, точно солдат во фронте.

– Дело в том, что вообще репертуар, – говорил он, облизывая губы, отчего слова звучали невнятно, говорил он, поглядывая исподлобья на товарищей, думал:

«Черти...»

Автор стоял пред ним, тщательно протирая пенснэ кусочком замши, и требовательно слушал; режиссёр что-то быстро шептал комику, героиня, свернув роль свою тугой трубкой, тихонько хлопала ею о ладонь левой руки; среди сцены стояла Лидочка, озабоченно доставая что-то из своей сумки, – герою показалось, что она старается засунуть руку в сумку по локоть, он тоже вдвинул руки свои глубоко в карманы брюк, догадываясь:

«Вероятно, успела наябедничать...»

Автор протёр пенснэ, осторожно насадил его на переносье крупного, красноватого носа и с терзающим спокойствием чего-то ждал. Быстрым шагом, вывёртывая колени, подошёл режиссёр, виновато говоря:

– Мы здесь, Павел Фёдорович, немного поспорили...

– Да? – произнёс автор.

– Да. Гронский находит, что новые пьесы...

Но тут герой преодолел своё смущение, решительным жестом он сорвал с головы шляпу, взбил пальцами волосы и заговорил несколько громче, чем того требовала физическая близость автора к нему.

– Да, я действительно нахожу... не могу скрыть... Но, прежде всего, я прошу извинить меня, если я резко...

Автор милостиво приподнял белые брови свои и чуть-чуть наклонил голову.

– С некоторого времени я настроен раздражённо, – очень трудный сезон, новые пьесы, масса работы...

– Вот, – сказал комик.

– Я и говорил вообще о новых пьесах...

– Именно, – подтвердил комик.

брание сочинений в тридцати томах. Том 16. Рассказы, повести 1922–1925. Максим Горький gorkiymaxim.

– Что же в них нового? Любовь и смерть, смерть и любовь. Ново здесь только одно: обнажённость темы, так сказать. Получается странное впечатление: люди говорят только о любви и смерти.

– Но не умеют ни любить, ни умирать, – негромко подсказала героиня, неожиданно чувствуя себя в положении матери, которая боится, что сына её ударит чужая рука, и потому спешит сама нашлапать его.

– Темы иного порядка: честолюбие, стремление к успеху, страсть к приключениям и наживе, месть и многое другое – отодвинуто в сторону. Совершенно забыт человек, которому хочется счастья, и как будто нет на земле людей, жаждущих радости. Современный репертуар слишком суживает и упрощает жизнь...

Автор слушал внимательно, и это очень усиливало красноречие героя. Он говорил, всё возвышая голос, и ему казалось, что мысли его текут весенними ручьями. Он сделал паузу, глубоко вздохнув, и тотчас же в щель его речи полился холодно мягкий голос автора:

– Я читал и помню статейку, которую вы цитируете с такой завидной точностью...

– Статью? – спросил герой, переступив с ноги на ногу и взмахивая шляпой. – Почему вы думаете, что статью?

– Она была напечатана после премьеры моей пьесы «Фальшивая монета», и я даже сохранил её, хотя вообще не сохраняю рецензий. Потом я познакомился с автором её, – это молодой человек из тех, которые слишком спешат заявить о своём несогласии со всем тем, что сделано до них...

Автор говорил спокойно, даже как бы неохотно, и спокойно было его благообразное лицо. Но героиня знала эту искусно сделанную, прозрачную пустоту его красивых глаз, знала гибкое и разнообразное красноречие его взгляда. И, глядя сквозь подкрашенные чёрным удлинённые ресницы, она подумала, вздохнув:

«Так говорил он, собираясь сказать мне обидное...»

– Я – не читал, – смущённо начал герой, но комик, отстранив его движением плеча, заговорил плавной речью привычного просителя:

– Нам, знаете, хочется поиграть с радостью, – с горем-то мы уже наигрались досыта. Вы – талант, вы, так сказать, архитектор, строитель, – что вам стоит показать нам радости какие-нибудь, ну, хоть маленькие, малюсенькие! Мы бы разыграли их и людей научили бы ценить маленькие радости...

– Чтоб возбудить жажду радостей больших, – любезно подсказал автор, улыбнулся в бороду и тотчас же стёр улыбку ладонью. – Я понимаю вас: вы считаете возможным перевоспитать старого охотника на зайцев в смелого охотника на львов. Но, знаете, уж если кто привык стрелять дробью...

Безнадёжно пожав плечами, автор снова обратился к герою:

– Я думаю, что, читая такие статьи, не следует забывать о вечной расправе отцов и детей... – Вздохнув, нахмурясь, он неохотно добавил: – И о Сыне человеческом, который так безуспешно пытался заменить закон отца, закон борьбы, – законом любви.

Герой сердито мял в руках шляпу, режиссёр, посреди сцены, подпрыгивал перед Лидочкой, чему-то поучая её, а она внимательно чистила апельсин; комик свёртывал третью папиросу, скучно и назойливо юродствуя:

– Бо-ольшой успех имело бы в наши дни что-нибудь светленькое, весёленькое...

– Да, да, – разумеется! Это – выгодно и для литератора. Весёлые рассказы и демократические принципы очень выгодны: демократия даёт наибольшее количество покупателей книг.

«Какой он чужой. Какое усталое лицо у него», – думала героиня, обнимая взглядом представительную фигуру автора. С недоумением, почти с испугом она чувствовала,



брание сочинений в тридцати томах. Том 16. Рассказы, повести 1922–1925. Максим Горький gorkiymaxim. что в ней возникает вражда к нему, вражда, которую она считала давно изжитой, угасшей. Ей хотелось остановить нарастание этой вражды, но в то же время она вспоминала, как однажды – когда она, полураздетая, сидела на коленях его, он сказал, зевнув:

«Да, любовь, это очень много! Но если вспомнить, что это – всё, чем платят человеку за жизнь и смерть...»

Зевок обидел её больше, чем слова; такие слова она называла «репликами чёрта», и они почти не задевали её.

А теперь её обижало это излишнее чувство враждебности к нему, и, чтоб сразу подавить его, а также чтоб помочь смущённому герою, она вдруг заговорила быстро и горячо:

– Здесь говорили о пределах искусства...

Автор изумлённо приподнял брови, спрашивая:

– Разве? О пределах?

– Я не так выразилась. О произволе искусства, о его... как это сказать? Ну, – о его праве, что ли, о праве авторов подчёркивать мрачные стороны жизни, о том, что романисты, драматурги фиксируют внимание зрителей, читателей на фактах зла, горя, страдания, что каждый из вас коллекционирует только пороки людей...

Она старалась не давать исхода чувству вражды, а чувство это, вскипая, подкатывалось к горлу, проникало в слова. Автор ещё более разжёл его, небрежно заметив:

– О произволе? Лидия Александровна поняла смысл беседы несколько иначе. Она сказала...

– Насплетничала, – пробормотал герой, усмехаясь. – Я так и знал...

– Мы говорили о том, что современные писатели создают свои произведения из дешёвого материала, из того, что всем надоело. Так громко кричали о необходимости преодолеть действительность, о независимости вдохновения художника и – что же? Он, Гронский, правильно сказал – достигли только обнажения темы любви и смерти.

– В этом вы и видите произвол? – спросил автор.

– Не только в этом, – вмешался герой; торопливые слова героини казались ему недостаточно ясными, и он сам хотел говорить. Но подскочил режиссёр, найдя, что пора выступить в роли примирителя между тем, кто создаёт, и теми, которые протестуют; за ним воздушно двигалась Лидочка, и что-то задорное светилось в её немножко подкрашенных глазах. Подпрыгнув к автору, режиссёр, обильно жестикулируя, начал:

– Я – возражал им; вы, говорю, рабски подчиняетесь произволу стихии, произволу ваших инстинктов, насилию социальных условий, наконец – насилию разума, произвольно создающего так называемую логику фактов, тогда как известно, что факты совершенно лишены логики.

Встряхивая голову, он чертил пальцем в воздухе какие-то очень затейливые фигуры, круги и наполнял эту тайнопись словами, в которых одновременно звучало чувство обиды и торжество истины.

– Я доказывал, Павел Фёдорович, что познание наше не имеет ценности совершенной истины, а служит нам только средством подчинения сил природы нашим практическим целям; я говорил, что мы живём в мире искусственно созданных нами фикций и что даже наука, которой мы так гордимся, является только цепью фиктивных образований мышления. Я убеждал их, что в этом мире, где всё – произвол, вдохновение художника имеет неоспоримое, скажу даже – священное право...

Книжка, из которой режиссёр почерпнул эту мудрость, только что вышла в свет; он купил её, прочитал и, спрятав от глаз приятелей, расточал среди них книжкины

брание сочинений в тридцати томах. Том 16. Рассказы, повести 1922–1925. Максим Горький gorkiymaxim. идеи как свои, личные домыслы. Человек сравнительно честный, он сознавал, что не понимает автора, но, подчиняясь требованиям своей профессии и следуя поучительному примеру философов, считал себя в силе и праве объяснять людям тайные цели творца.

– Я – ничего не понимаю! – вскричала героиня, с удовольствием уделяя режиссёру часть своего раздражения против автора. – Это слишком мудро для меня. И я не помню, чтоб вы говорили здесь что-нибудь подобное, – вы только сейчас выдумали это, чтобы блеснуть пред писателем вашей учёностью. Найдите для этого другое время, а теперь – не мешайте мне!

Автор, улыбаясь, оглянулся, режиссёр, поймав его ищущий взгляд, подвинул ему стул, а героиня уселась в кресло плотнее и продолжала:

– Мы говорили о том, как скучно играть скучные пьесы, как надоело нам ежедневно истязать себя...

Режиссёр напомнил ей:

– Вы всё время молчали...

Она не обратила внимания на его слова и не услышала обиды в них. Спокойствие автора возмущало её, оно как будто говорило, что этот человек, виноватый пред нею, не признаёт права судить его, и теперь ей пламенно захотелось доказать ему, что он виноват пред всем миром. Его лицо уже не казалось ей усталым, а только высокомерным и пресыщенным, глаза – наглыми глазами бессердечного эгоиста. Он сидел на пыльном, ободранном театральном стуле, как на троне, и некрасиво, не совсем прилично расставил ноги. Лидочка, изящно кушая ломтики апельсина, смотрела на автора благоговейно, её сухое личико показалось героине фальшиво слащавым.

«Врёшь! – подумала она мельком. – Врёшь. Он – стар!»

Герой, поняв, что его очередь говорить не скоро наступит, надел шляпу и, скрестив руки на груди, приняв позу монумента, молча слушал и смотрел на автора из-под тяжёлых бровей сатанинским взглядом вражды и мести. Комик, сидя на скале, курил и скучал, а режиссёр присел на стол, имея вид человека, который решительно отказался помочь людям разобраться в путанице, затеянной ими.

– Нет, в самом деле, Павел Федорович, не странно ли? Вы, сидя в обстановке сравнительно уютной, удобной, выдумываете роман или пьесу, сжимая как можно крепче житейские драмы, пытаетесь сгустить их до трагедии и часто возводя случайность на высоту неизбежности. Материал ваш – несчастья, заблуждения, пошлость людей. Не думаете ли вы, что результат вашей работы, это, так сказать, прессование горя, ещё более омрачает жизнь, невольно и незаметно отравляя читателя, зрителя безнадежностью? Конечно, надо упомянуть о так называемых «муках творчества». Я не знаю, насколько сильны муки самого художника, но – мне хорошо известно, как они отражаются на близких и окружающих его, – вы, наверное, не решитесь отрицать, что это известно мне...

Автор вежливо улыбнулся и округлённым жестом руки показал, что он не решается отрицать, а героиня почувствовала, что сбилась с темы и сказала что-то лишнее.

– Молодёжь, которую вы питаете прессованным горем...

По сцене плутал бородатый плотник в тёмной рубахе, в сером фартуке, в фуражке, повёрнутой козырьком на затылок, фуражка была так низко натянута на череп, что уши плотника примялись и торчали настороженно. Шёл он точно по льду, ноги его независимо одна от другой разъезжались в разные стороны, в руке извивался змеёю складной аршин. Плотник слепо наткнулся на комика и убеждённо объявил ему:

– Иван Степаныч, – я тоже чудак...

– Шш, – прошипел комик.

– Ничего. У меня жена родила.

– Мальчика?

– Обязательно!

– Поэтому выпил?

– Поэтому!

– Тише, – сказал режиссёр.

– Ничего! Я тоже чудак...

– Разыгрывая ваши выдумки, мы, люди напоказ, люди, обречённые расплыть наши чувства и души в эту чёрную яму, мы имеем несомненное право спросить вас...

– Я те улыбнусь! – как сквозь сон сказал плотник, пошатнулся и, сложив аршин, сунул его за нагрудник фартука.

– Какой же смысл, наконец, в этом вашем искусстве?

– Вот – правильно! – вскричал герой так громко, что плотник, снова пошатнувшись, сел на скалу рядом с комиком и протяжно спросил:

– Правильно?

И, раскачиваясь, захрипел в пьяном гневе:

– Никаких улыбок! Я ей, шкуре, докажу!

– Уберите его, – брезгливо сказала Лидочка режиссёру.

– Опять родила? Я те... ул-лыбнусь!

Плотник с размаха ударил себя кулаком в грудь, под нагрудником деревянно треснуло, должно быть, переломился аршин.

– Я тебе не чудак! – кричал он, ведомый комиком и режиссёром за кулисы, кричал и плакал, всхрапывая, как лошадь. – Меня – раз обманешь, два обманешь, а третий – погоди...

Проводив его улыбкой, автор поднял к лицу своему кисть руки, взглянул на часы в браслете и обратился к героине:

– Мне кажется – я достаточно терпеливо и покорно выслушал всё то истинно человеческое, что было сказано здесь. Простите мне, Анна Карповна, что я принуждён прервать интересную игру вашей мысли, но ведь она уже вполне закончена, а я через четверть часа должен быть на другом конце города. Извините мне и то, что я отвечу вам кратко и, конечно, не оригинально, – в этом мире, как вы знаете, даже и случайности не оригинальны.

Он говорил тоном человека, который твёрдо знает, что его будут слушать внимательно, и, разумеется, он был уверен в своеобразии и значительности того, что скажет. Благообразное, мягкое лицо его сжалось, отвердело: он нахмурил брови, зная, что это делает его лоб более высоким и придаёт лицу оттенок величия.

«Сейчас начнёт злиться», – подумала героиня и уселась в кресле ещё плотней.

– Когда-то, – вздохнув, продолжал автор, – я тоже чувствовал себя актёром, – то есть существом, которому кажется, что оно способно сделать пьесу автора более глубокой, красивой и вообще более совершенной, вложив в неё силы своего таланта и вдохновения. Если это мне не удавалось, я тоже чувствовал себя подавленным, раздражённым и тоже кому-то на что-то готов был жаловаться. Теперь я продолжаю чувствовать, что не в моих силах сделать жизнь совершенной, но – уже не жалею на это, опасаясь, что создатель жизни презрительно скажет мне: «Глупец! И мне пьеса не удалась, но я – молчу».

Автор снова вздохнул, это вышло у него красиво и уместно, а героиня мысленно и не без досады спросила:

«Почему он не злится?»

– Оставим в стороне вопрос – почему не удалась пьеса: потому ли, что недостаточно умен и талантлив автор, или потому, что артисты не умеют играть? Пребывая человеком, обречённым силою каких-то причин догадываться о смысле жизни и быть летописцем явлений её, я по тем же причинам не могу свидетельствовать безмолвно, – кстати, это ведь и невозможно. Я принуждён рассказывать о том, как вижу людей, как понимаю их скорби, чувствую страдания...

Пожав плечами, он обратился к внимательному комику:

– Вероятно, я тоже болен слепотою к радостям...

«Неверно», – подумала героиня.

– Эту слепоту я готов считать болезненным недостатком всех вообще людей...

Прищурясь, он посмотрел в мешок тьмы, на красную точку огня, искал чего-то в тусклом сумраке сцены.

– Я не чувствую себя способным создавать «весёленькое», хотя и замечаю в людях много смешного. Более того: «весёленькое» кажется мне чем-то вроде фальшивой монеты. По совести – я не могу убеждать людей в том, что они выигрывают, принимая минуты сомнительных радостей в уплату за года несомненных оскорблений горем и страданиями. Мне, знаете, всё кажется, как будто некий хитрец хочет подкупить меня «весёленьким» для того, чтоб я иногда забывал, как неудачна жизнь и несправедливы люди...

«Неужели он настолько изменился, что может говорить вполне искренно?» – размышляла героиня, а он, её прошлое, говорил чётко и спокойно:

– Жизнь отвратительна не тем, что обрывается смертью, а тем, что каждый день жизни – оскорбление человеку. Изумительно плохо устроили её мы, гордые силою нашего разума, который, всё более успешно создавая и расширяя условия внешних удобств и удовольствий, – всё меньше помогает нам терпеть друг друга, – да, да, только терпеть.

«Будто бы только!» – иронически подумала героиня.

– В «Дороге избранных» я показываю человека, выдуманного мною, но – возможного в действительности. Видя злых и добрых одинаково несчастными, он никого не может осудить и поэтому является чужим среди «ближних»: они считают его преступником за то, что он органически не может быть судьёй.

– Тогда – вам следовало бы назвать пьесу «Дорога изгнанных», – усмехаясь и ворчливо заметил герой. Считая автора равнодушным мастером, который развлекает публику забавными фигурками, он вдруг с удовольствием почувствовал, что этот избалованный жизнью человек всё-таки, кажется, не совсем лишён способности испытывать горе и боль. Герою было приятно уловить признак слабости в человеке, который казался ему сильным, – это как раз одна из тех ошибок, в которых все люди сознаются с радостью и только лицемеры, сознаваясь в ней, надевают маску печали о «разбитой иллюзии».

Автор не замедлил подтвердить догадку героя; он продолжал:

– Настроение Аркадия нельзя понимать как мизантропию, хотя мизантропия вполне естественна в обществе палачей, истязателей, которые искусно пытаются друг друга, в сущности, только потому, что научились делать это лучше всего иного.

Тут и героиня почувствовала нечто подобное «нравственному удовлетворению».

«Ага! – мысленно воскликнула она. – Тебе тоже больно? Ты это заслужил!»

И – как все женщины – дальняя родственница богини Фемиды, она сделала своё лицо более строгим.

– Но мизантропия ещё не моя болезнь. Я не ставил себе целью изобразить какого-то

брание сочинений в тридцати томах. Том 16. Рассказы, повести 1922–1925. Максим Горький gorkiymaxim. «идеального» человека, нет, это один из тех гипотетических людей, которые создаются искусством слова в поисках истины. Я думал о сыне божием, которому одинаково чужды интересы и бога и кесаря, которому дорог и близок только человек.

Автор усмехнулся:

– Право же, мне очень хочется создать совершенного человека, и вот – я пытаюсь... Мой герой настолько самонадеян, что чувствует в себе зарождение новой, ещё смутной, но спасительной силы подлинного человеколюбия. Когда Серафима говорит ему...

Поспешно и бойко, мило улыбаясь, Лидочка проговорила слова своей роли:

– «Ты возвратишься, когда люди вновь стоскуются о человеке».

– Благодарю вас, – не очень любезно сказал автор, – но она говорит с ним на «вы». Он отвечает: «Я уйду, чтоб зажечь себя новым огнём. Искры его уже сверкают во мгле моей души. Я возвращусь, когда в ней разгорится пламя». Я не мог назвать пьесу «Дорогой изгнанных», потому что герой её уходит по своей воле, как по своей воле вы ушли бы от сумасшедших, чувствуя себя здоровым душевно. Вы находите, что моя пьеса не умна...

– Я ведь извинился, – напомнил герой.

– Готов согласиться с вами, если вы добавите: не умна, как жизнь. Это будет более справедливо и равномерно обидно для всех нас.

Автор снял шляпу, провёл рукою по белым волосам, запутал пальцы в бороде, раздумчиво продолжая:

– Пожалуй, мне следует согласиться и с тем, что искусство – произвол...

– Я говорил! – гордо вскричал режиссёр.

– Искусство создаёт людей более интересными, чем природа, и этим, если хотите, искажает их...

«Счастливые – не иронизируют», – вспомнила героиня.

Задумчиво, но холодно, механически автор говорил, что искусство, как и наука, – область чудес, что оно – равноценно науке: обе эти силы ищут смысла в хаосе явлений жизни. Гамлет – такая же гипотеза, как «закон сохранения вещества». Пророчество художника такое же дальновидение, как гипотеза учёного. И там и тут тайному процессу познания предшествует тайное предчувствие истины, и в обоих случаях то, что принимается как истина, есть только результат воплощения творческой энергии человека, и там и тут одинаково наблюдается наличие интуиции, экстаза.

– Роль «холодного разума» в творчестве художника и учёного я считаю легендарной, – говорил он, а сам думал: «Зачем я говорю всё это?»

Как все пишущие для театра, он испытывал зависимость от актёров и не любил их. Всегда, при встречах с ними, у него возникало желание показать себя умнее, образованнее их. Это желание насилывало его и сейчас, но он не хотел сознаться в этом, не желая унижить себя в своих глазах. Он вообще ко всем людям относился высокомерно, будучи искренно убеждён, что художник не пчела, собирающая мёд цветов, а скорее паук, который ткёт из плоти своей – и только из неё – паутину необычного, прекрасного.

Внезапный каприз памяти подсказал ему, что это сравнение явилось причиной его первой ссоры с героиней: она боялась пауков и брезгливо, с отвращением настаивала, что сравнение некрасиво, а потому неверно. Его особенно раздражило её «а потому». Затем память живо и быстро нарисовала пред ним одну из картин прошлого: ночь, осенний дождь лижет стёкла окна, на столе его тесной комнаты горит лампа под голубым колпаком, сквозь колпак проникает свет, наполняя комнату, полную табачного дыма, душным, синим туманом. Он только что прочитал свой новый рассказ, тусклый, неудачный, и, со стыдом бросив рукопись под стол,

брание сочинений в тридцати томах. Том 16. Рассказы, повести 1922–1925. Максим Горький gorkiymaxim. ходит по комнате, презирая себя, мучительно сознавая бессилие своего воображения, немощность слов своих. Никогда ещё, казалось ему, не испытывал он такой вражды к себе, как в эту ночь. Она, его друг, самый близкий в ту пору, критиковала рассказ, мягко и осторожно выбирая слова, – за этой осторожностью он чувствовал жалость, унижающую его.

«Пулю в лоб, пулю в лоб, – мысленно, в такт своим шагам твердил он и ругал себя: – Бездарное животное. Нищий. Пулю в лоб».

Героиня лежала на диване, задумчиво глядя в потолок, сказав, видимо, все слова утешения, какие были у неё. Их было немного, этих слов, и они расплылись в дыму комнаты, не поколебав отчаяния автора. И вдруг убийственно раздалась ещё её слова, – она произнесла их, вздыхая:

«Как скверно стали делать всё теперь, – вот – чулки: надела их два раза, и уже дыра на пятке»...

Продолжая автоматически говорить об искусстве, он думал:

«Да, в ней было это – недостаток чуткости. И – мелочность. Было и ещё кое-что несимпатичное. Даже – тяжёлое. Вероятно – многое возникло из её страха потерять меня. А всё-таки – она хорошая женщина, интересный человек».

Но когда ему захотелось вспомнить что-либо хорошее, испытанное с нею и от неё, он вспоминал только её ласки и лишь сильным напряжением памяти восстановил смешную сцену: вот она, его любимая женщина, сидит на стуле, в углу комнаты, опираясь локтями в колена свои, спрятав лицо в ладонях рук, неподвижная, угрюмая. Он суетился около неё, искал чем бы развлечь её, помириться с нею, – он обидел её неосторожным словом. Долго искал и, наконец, – нашёл, с радостью сообщив ей:

«Знаешь, Нюра, фальшивую монету делали уже за пятьсот восемьдесят лет до рождества Христова. Ахейцы в Италии...»

«Что-о? – изумлённо спросила она и вдруг, расхохотавшись, бросилась к нему, обняла, задыхаясь от смеха, вскрикивая: – Господи, – какой он смешной, этот, мой, милый... Господи! Ахейцы... Ой, не могу!»

Потом он сидел с нею на диване, играл её волосами, целовал маленькое холодное ушко её и жаловался на себя, на неё, на всех людей, – как плохо чувствуют они друг друга, как неосторожно, небрежно относятся один к другому.

«Да, – печально согласилась она, – люди вообще очень плохи...»

И, ласкаясь, прибавила:

«Особенно – эта интриганка Ольга! Ты напрасно так много уделяешь ей внимания, право же, она – бездарна...»

Автор усмехнулся от избытка печали и, продолжая говорить, прислушался к словам своим: они звучали ненужно, бездарно.

«Надо говорить о пьесе», – напомнил он себе и почувствовал, что объяснять пьесу он не хочет.

Его слушатели единодушно скучали, все точно окаменев. Только режиссёр важно надул свои толстые, красные губы и согласно взмахивал чалмой волос; находя жизнь пресной, требующей острых приправ, он любил парадоксы.

Героине речь автора казалась излишней и даже как-то унижающей его. Он слишком мало сказал о пьесе и оставил такое впечатление, как будто сам не понимает то, что написал. Кто здесь, кроме неё, может оценить полёт его мысли?

Комик нейтрально дремал, сидя на скале, Лидочка, отщипывая маленькие кусочки корки апельсина, сорила ими на сцене; ей прежде всех надоела эта неинтересная беседа, автор обращал на неё внимания меньше, чем всегда. Он говорил как человек незнакомый ей и, видимо, не для того, чтоб она слушала.

брание сочинений в тридцати томах. Том 16. Рассказы, повести 1922–1925. Максим Горький gorkiymaxim.

А герой обиделся за науку и стал горячо напоминать автору о мере, весе, счёте, о колбах, ретортах и лабораториях химиков, – он понимал во всём этом, вероятно, не менее, чем полевая мышь в песне жаворонка. Его крикливые слова возмущали героиню. Она уже давно заметила, что её настроение странно и тревожно колеблется: то она желает сделать больно старому другу, то – пожалеть его, и ей было неясно: чего больше хочет она? Ей вспомнилось, что, думая о боге, она иногда тоже соблазняется желанием обидеть его. Покачивая головой, автор говорил герою:

– Сравните «Космос» Гумбольдта с «Войной и миром» Толстого или «Человеческую комедию» Бальзака с книгами Дарвина, и вам будет более понятна моя мысль о внутренней связи искусства и науки. Прибавьте сюда, что то и другая независимы от расчётов «здорового смысла», он является потом в лице техники, морали, в лице критики, если хотите. Искусство и науку возбуждает одна и та же мощная сила стремления человека уйти как можно дальше от зверя, осмыслить и украсить этот кошмарный, раздробленный мир одиноких людей, одиноких до ужаса в своей человеческой среде и ещё более одиноких в том, непонятном, что мы называем вселенной...

Из-за кулисы высунулся плотник и, махая руками, закричал пьяным, рыдающим голосом:

– Веселитесь, играете, а – я.. Не тронь!

Невидимая сила увлекла его куда-то далеко, оттуда донеслись шаркающие звуки тяжёлой возни, глухие крики:

– Пусти! Желаю чудить.. Вы – за деньги, а я даром желаю чудить!..

Комик вострепнулся, побежал за кулисы, а герой сердито пробормотал что-то о разнице между чудом и фокусом, – автор строго остановил его:

– Я не делаю фокусов и ничего не говорил о чудесах. Я знаю, что чудеса творят лишь человеческие силы: любовь к труду, мысль и воображение. В жажде иных чудес скрыто желание восстановить мёртвый покой веры, ожидание мистического чуда есть бесспорный признак неверия.

«Зачем он говорит всё это?» – думала героиня уже с той тревогой, которую испытывала она в первые дни знакомства с этим человеком, в те дни, когда он распускал перед нею павлиний хвост своих фантазий, а она, подчиняясь обаянию его взгляда и голоса, чувствовала себя в храме, где одинокий жрец служит странную мессу неведомому ей богу, и, чувствуя так, за что-то жалела его, жреца.

– Вы судите художника? – звучал голос его. – Разумеется, это ваше право и ваше удовольствие. Судить друг друга – дело, не требующее таланта, и оно очень утешает. Но не обижайтесь, если я скажу, что совершенно равнодушен к суду и приговору вашему. Я люблю мой труд, благоговейно отношусь к игре моего воображения и глубоко чтую мою человеческую мысль. Это меня вполне удовлетворяет, и я не ищу, не жду ничего больше...

«Так ли?» – усомнилась героиня, а Лидочка сделала гримасу недоумения.

– Здесь говорили о муках творчества в ироническом тоне. Хорошо, заменим муки простым чувством горькой досады мастера, который, вытаскивая из дерева игрушку для детей, видит, что игрушка не удаётся ему. Допустим, что муки творчества – не существуют, и будем помнить только радостный крик Архимеда, весёлый танец безумного Ницше. Но всё-таки – не заслуживает ли художник несколько больше уважения к личности его? Вечный подсудимый в этом большом и мрачном мире, судилище всех со всеми, он пытается что-то объяснить, оправдать в людях, зовёт их к великодушию, к милосердию, – он верит, что жизнь будет тем лучше, чем громче и чаще будут говорить людям о милосердии, о сострадании. Наконец из ткани своего воображения он создает иные, более вечные миры...

Он замолчал, ему вдруг ударило в голову и в сердце всё то, что человек всегда, к сожалению, помнит слишком хорошо, – всё то злое, тупое и мучительное, что испытал он в своих столкновениях с людьми. Его закружил и ослепил хаотический поток пережитого, тёмная, жуткая туча «мелочей жизни», ядовитых насекомых, которые сосут и отравляют кровь, возбуждая тоскливое бешенство, вызывая

брание сочинений в тридцати томах. Том 16. Рассказы, повести 1922–1925. Максим Горький gorkiyтахim. презрение к людям, обесмысливая жизнь, мешая работать. Захотелось крикнуть оскорбительные слова:

«Я – не автомат, не желудок, который механически переваривает вашу пошлость, я – человек!»

«Кричать? Жаловаться?» – остановил он сам себя и – успокоился, вспомнив слова одного из своих героев:

«Ты, Пётр, честный человек, ты умрёшь молча».

Чтоб окончательно преодолеть натиск негодования, он закрыл глаза, крепко сжал пальцы рук, но всё-таки продолжал речь свою с металлическим звуком в голосе:

– Вы говорите: он работает из дешёвого материала. Рад слышать, что горе и страдание дешёво ценятся вами, я тоже думаю, что люди пожирают друг друга под соусом, который давно должен бы вызвать у них органическое отвращение. Однако, поскольку я беру материал у вас, – я беру лучшее ваше, и – не моя вина, что из всего, что вы делаете, вам наилучше удаются страдания, несчастья. Я сгущаю краски? Именно такова задача искусства. Разве вы встречали женщин действительности, которые чувствовали бы так, как Дездемона или Жанна д'Арк, встречали мужчин, как Тимон Афинский, Дон-Кихот, Пер Гюнт? Я наделяю людей разумом и чувством в дозе значительно большей, чем та, какую они обладают по природе своей в действительности...

– Вы уж начали говорить, как бог, – угрюмо и насмешливо заметил герой.

– Возможно. Бог – тоже художник, тоже создал мир из дешёвого материала, его тоже признают неудачным творцом, – почему бы мне не говорить одним языком с ним?

– Вы – атеист, – напомнил ему герой.

– Да, но мой мир – мир воображения, в нём боги и герои, созданные фантазией, имеют такое же законное место, как трубочист и пошляки, рождённые женщиной. Бог для меня – не яма, куда люди сбрасывают мусор жалоб своих на жизнь и друг на друга, он для меня – одно из наиболее печальных созданий бессильного воображения людей, один из тех туманных образов, которые только сила искусства делает яркими и почти физически ощутимыми для некоторых детей земли...

Автор встал, оглянулся и сухо сказал:

– Я, кажется, утомил вас. И мне давно пора идти, я уже не могу присутствовать на репетиции.

– Как жаль! – воскликнула Лидочка.

– Да, – сказал герой, – жаль! А говорили вы... не очень ясно и, знаете, противоречиво...

– Что ж делать? – вздохнул автор, пожимая плечами. – Мне остаётся только одно: вспомнить мудрую пословицу арабов: «Если верблюд не испытывает жажды, – глупо заставлять его пить».

Он сказал это больше с печалью, чем с досадой, но героиня всё-таки подумала:

«Наконец – взорвало его!»

Автор, поцеловав ей руку, спросил с улыбкой:

– Надеюсь, я не обидел вас?

– Меня – нет! – уверенно и поспешно сказала она.

Он отошёл от неё к Лидочке, живо подбежавшей встречу ему, а герой, сумрачно глядя вслед ему, пробормотал:

– Из него получился бы неплохой адвокат...



брание сочинений в тридцати томах. Том 16. Рассказы, повести 1922–1925. Максим Горький gorkiymaxim.  
Надув губы, режиссёр изучал циферблат своих часов; проснувшийся комик зевал, героиня, надвинув шляпу на лоб, следила из-под её полей за беседой Лидочки с автором, и в сердце её шипело:

«Девчонка! Подожди, обожгёшься...»

– Н-да, – сказал герой, провожая автора взглядом, – обиделся всё-таки, не простился со мной. Эта его арабская пословица – просто глупа. Наверное – сам выдумал, а обижает арабов.

– Что ж – будет репетиция? – спросил комик, потягиваясь.

– Начинаем! – строго скомандовал режиссёр. – Пожалуйста, господа! Сцена Аркадия и Серафимы...

Притопывая каблуком, весело глядя в тетрадку роли, Лидочка начала:

– «Чем более вы чужды людям»...

– Это – не так! – возмущённо закричал режиссёр – Откуда у вас радость, подумайте!

– Но ведь я же завоевала его!

«Дура», – подумала героиня.

– Боже мой! Ничего вы не завоевали!..

– М-м, – замычал комик, улыбаясь и подмигивая герою. – Рассердился, раскричался наш уважаемый, а пьеску-то со сцены всё-таки не снял.

– Прошу внимания!

– Жить надо, Иван...

– Н-да! Ради этого – на всё идём...

– Внимание, внимание, господа...

Но комик ещё раз ехидно и гнусливо пропел:

– Он очень сильно рассердился, а пьеску снять со сцены не р-решился, да-а...

Голубая жизнь

Константин Миронов, сидя у окна, смотрел на улицу, пытаясь не думать.

Разогнав дымчатые клочья облаков, похожие на овечью шерсть, ветер чисто вымел небо, уложил затейливыми фестонами пыль немощёной улицы и притих, точно сам зарылся в пыль. Слетелись воробьи; прыгая мячиками, они шумно и хлопотливо выщипывают перья с отрубленной головы петуха; из подворотни Розановых вылез одноглазый чёрный кот, прилёг, нацелился, прыгнул, но, не поймав воробья, потрогал мягкой лапой петушиную голову, взял её в зубы, встряхнул и, не торопясь, солидно разводя хвостом, унёс добычу в подворотню.

Твёрдо шагает почтенный Иван Иванович Розанов, гонит перед собою палкой рыжего козла; в городе заблаговестили ко всенощной, Розанов снял фуражку, обнажив лысый череп угодника божия, одобрительно взглянул в синее, прохладное небо; козёл тоже остановился, встряхивая бороδοю, глубоко воткнув копыта в пыль.

«В Париже – это невозможно, – подумал Миронов. – В Париже не позволят гонять козлов по улицам. Там не бросают под окнами петушинные головы...»

Вдали, внизу, за оловянной полосой реки, за рыжей грудой зданий водочного завода и серыми пятнами домов земской колонии душевнобольных, опускается к песчаным холмам, в чёрные, мохнатые кусты можжевельника, распухшее, лишённое лучей, оранжевое солнце, как будто оно, гладко обритое, ускользнуло из колонии душевнобольных и прячется. Это повторялось каждый вечер и надоело, как страница многократно прочитанной книги, прочно вклеившаяся в память.

Чтоб не думать, Миронов расставлял в жемчужном небе чёрные кружочки карты железных дорог: Москва – Рига – Берлин – Кёльн – Париж, но сегодня в небе не хватало места для этих кружков, последний из пяти приходилось ставить или очень близко к солнцу или в центре его, и тогда точка Парижа становилась досадно невидимой. А поставить эту точку в небе было совершенно необходимо; утвердись на ней, воображение тотчас же, как всегда, создало бы голубой город, полный торжественно органного шума, город весёлых людей и необыкновенных приключений, где жизнь текла легко, просто, не скрывая в себе ничего непонятного, и где даже такой злой человек, каков Рокамболь, не в силах всю жизнь делать зло. Там нечеловечески обаятелен даже урод Квазимодо, там жили «Три мушкетёра», действовал таинственный «Рыцарь курятника» и бесстрашный Д'Арвиль, один из «Трёх любимцев Анны Австрийской». А – здесь...

На берегу реки два голоса провожали солнце тягучей песней, она хорошо сливалась с медным гулом благовеста церковей; ревуший бас возчика Артамона, смягчённый расстоянием, гудел тоже мягко, точно колокольная медь. Целый день, с утра, пылил и посвистывал сухой ветер, а теперь церковный благовест и песня, насытив воздух потоком ласковых звуков, как будто стремились окончательно установить на земле и в людях тихий, музыкальный порядок.

Но певучая тишина субботнего вечера не могла успокоить Миронова, всё в нём было разодрано, спутано, встревоженная память показывала картины пережитого, подавляя тяжёлым, пёстрым хаосом.

Впервые испытывал он такое волнение памяти и столь тяжёлую необходимость думать; это даже пугало его, он уже несколько раз оглядывал углы комнаты, как бы ожидая увидеть в синеватом сумраке вечера кого-то, кто насилует его, заставляя вспоминать и обдумывать.

Странно: если закрыть глаза – тьма начинает дрожать, в ней, в каждой точке её, зарождаются маленькие вихри и, располагаясь то горизонтально, кругами на воде, то крутясь столбиками чёрной пыли, приводят безграничие тьмы в безмолвное кипение, вся тьма сочится, потеет мыслями, и они облекаются в надоедливые очертания скупных слов:

«Как же я буду жить?»

Когда отец говорил о мясе, рыбе или молоке: «Задумались» – это значило, что мясо и рыба – загнили, молоко – закисло.

Незадолго до смерти отца мать крикнула ему:

– Подумал бы, дурак, ведь издохнешь скоро!

Он, посмеиваясь, ответил:

– А ты знаешь, что значит – думать? Это значит – пыль стирать. Вот – в руке у тебя полотенце, ты стираешь им пыль, было полотенце чистое, стало грязным. Так и мы с тобой, Лидия, достаточно надумались...

Мать, ревностно следившая за чистотой в доме, рассердилась, закричала, наскакивая на отца:

– Так я – грязная тряпка? Так у меня в доме грязно? Тринадцать дней медленно прошло с того утра, когда Миронов, выйдя в кухню умываться, увидел огромное тело матери на полу: кособоко, плечом прислонясь к печке, она сидела, упиравшись рукою в пол, и мычала, глядя в угол страшно вытаращенными глазами. Когда он наклонился поднять её, думая, что она всё ещё пьяная, мать, с трудом отклеив ладонь от пола, взмахнула рукою и повалилась к его ногам, всхрапывая, как лошадь. Она храпела и мычала ещё четверо суток и всё взмахивала правой рукою, отталкивая от себя кого-то, а на пятый день тяжело свалилась с кровати, поползла в угол спальни, к сундуку, и там, громко крякнув, умерла.

Неделю, с утра до вечера, в доме суетились чужие люди, шмыгала по всем комнатам маленькая, горбатая и обидчивая сестра милосердия, кричал и непрерывно курил толстый доктор, сидел широко расставив ноги, рыжебородый, лиловый поп Борис, все о чём-то спрашивали Миронова, а неприятный всей улице столяр Каллистрат

брание сочинений в тридцати томах. Том 16. Рассказы, повести 1922–1925. Максим Горький gorkiymaxim. назойливо допытывался:

– Что же ты, скука-сирота, думаешь делать?

В Париже смерть человека и всё, следующее за нею, гораздо проще, понятнее, более интересно и не так ненужно, не так страшно. Там на смерть женщины не приходят смотреть чужие люди, и, конечно, там невозможен такой человек, как столяр Каллистрат.

В день похорон матери он вынес на улицу горшок сметаны и, макая в неё малярную кисть, стал мазать забор своего сада. Зачем? Он не был пьян и делал это нелепое дело вполне серьёзно, а когда его спросили, что он делает, – спокойно ответил:

– Забор крашу.

– Сметаной?

– Краски у меня не нашлось.

Минут десять он усердно и молча мазал серые, выгоревшие на солнце доски, десятка три взрослых и множество мальчишек следило за его работой, потом подошёл уважаемый Иван Иванович Розанов и ударом ноги разбил горшок.

...Осматривая мощное тело матери, доктор неприлично и обидно сказал:

– Не пьянствуй, – прожила бы ещё лет сорок.

Миронов вспомнил, что хотя эти слова показались ему грубыми, однако он тотчас сосчитал: если б мать прожила ещё сорок лет, ему, в год её смерти, исполнилось бы пятьдесят девять. И, наверное, она всю жизнь кричала бы на него:

«Дурак! Весь в отца».

Большеглазая, крикливая, с утра полупьяная, она, тяжело топая, ходила бы по комнатам с тряпкой в руке, истребляла мух, стирала пыль, насыщала воздух запахом маринованного лука и мочёных яблок, любимой закуски её. И ругала бы отца.

Она ругала его всегда, а особенно по праздникам, когда он, навесив на свои длинные, угловатые кости мундир топографа, уходил в город играть на биллиарде; он был знаменит как мастер этой игры, и вообще во всём – в слове и деле – был необыкновенный человек.

Пред Мироновым вытянулась тощая фигура, с длинными, но редкими усами, с тёмным клочком волос под нижней губой; отец кашлял, плевал розовой и красной слюной и, подмигивая тёмным, весело горевшим глазом, рассказывал Косте чудесные истории о туркменах и генерале Скобелеве, о Кавказе, Хиве, Бухаре; эти рассказы рисовали его человеком лёгким, как птица, беззаботным странником по земле. Под левым глазом его была морщинистая, красная яма, она оттянула веко, и казалось, что глаз внимательно заглядывает в эту яму, отец говорил, что это – след раны, нанесённой туркменом.

Он никогда не ругался с матерью, даже спорил с нею редко, но всегда сердил её какими-то особенными, насмешливыми словами, мать часто кричала:

– Перестань, Митька! Смотри, накажет тебя господь за глупость...

– Бог за глупость не карает, бог дураков любит, – возражал отец.

Костю тоже беспокоили слова отца, присыхая к памяти его незаметно и плотно, как чешуя рыбы к коже руки. Склеивая чью-то разбитую скрипку, отец вынул из неё круглую, коротенькую палочку и сказал:

– Эта штучка называется – душа. Вот и в тебя, Лидия, дьявол вставил такой же стерженёк...

– Врёшь, – закричала мать, – мне душа богом дана...

В день её именин, когда она, пышно одетая, важная, пришла из церкви, отец поднёс

брание сочинений в тридцати томах. Том 16. Рассказы, повести 1922–1925. Максим Горький gorkiymaxim. ей кусок кашемира на платье, а внутри подарка оказалась противная зелёная картина «Смерть грешника», – в ногах умирающего человека стоял, оскалив зубы, высунув огненный язык, зелёный чёрт.

Сначала это рассмешило, а потом обидело мать, и за обедом, сильно выпив, она вдруг заплакала, назвала отца:

– Горе моё, несчастье моё!

В редкие часы миролюбивого настроения она именовала отца «фокусником» за то, что он сделал музыкальный ящик, который играл кадрили «Вьюшки», песню «Матушка, голубушка» и гимн «Коль славен наш господь». Ящик этот мать, пьяная, разбила, растоптала ногами. Костя собрал обломки, спрятал их на чердаке и долго упрашивал отца починить удивительное соединение дерева и металла, которое отец какою-то чудесной силой заставил петь весело, печально, торжественно. Отец сказал:

– Отстань, это – ерунда, ящик!

И, вздохнув, задумчиво играя ухом Кости, прибавил:

– А вот если б она как-нибудь лопнула, опилась, – я бы сделал штучку!

Он любил мелкую, затейливую работу, выпиливал рамки для фотографий, чинил гармоники, склеивал разбитые скрипки и, работая, всегда весело напевал:

Семь су,  
Семь су,

Что нам делать на семь су?

Самое лучшее, что сделал отец и что Костя бережно хранил, это глобус, подарок отца в тот день, когда Костя перешёл во второй класс гимназии. Глобус был обыкновенный, но нижнее полушарие его отец заключил в медную чашку для мытья чайной посуды, вытравил на ней кислотой океаны, континенты, острова, искусно раскрасил их, набил в медь чаши стальные шпильки и припаял на штативе стальную гребёнку, так что она обнимала нижнюю часть глобуса.

Когда Костя повернул земной шар на оси, гребёнка бойко начала тренькать весёлую песенку:

Чижик, пыжик, – где ты был?

Это понравилось даже матери, она долго катала глобус на стержне, смеясь хриплым, пьяным смехом. А кошке не понравился голубоватый тренькающий шар, фыркнув, она убежала. В скучные минуты Костя очень любил раздражать кошку забавной, металлической музыкой глобуса.

Весёлый человек был отец и любил шутить, а вспоминать его шутки не только не весело, но даже неприятно.

В год смерти своей, когда мать уехала на богомолье в монастырь, отец приделал ко всем дверям квартиры деревянные дудки с резиновыми мячами на концах; отворишь дверь – дудка пронзительно свистит, и затворишь – свистит. Когда мать возвратилась домой, это страшно рассердило её.

– Что ты, дьявол, издеваешься надо мною! – закричала она, побагровев, и, отхлестав отца по лицу мокрой, грязной тряпкой, переломала все дудки.

Чудаковато подпрыгивая, отец убежал в сад, лёг там, под липой, на траву, посмеялся и беспокойно задремал. Миронов вспомнил, как страшно было ему слушать, сидя рядом с отцом, бредовый его шёпот и как жалко было смотреть на костлявое, серое лицо милого, но непонятого человека. В тот час на его любовь к отцу легла печальная тень и возникло чувство недоверия ко всему весёлому, что рассказывал отец о своей жизни.

И тогда же он испытал одно из тех, навсегда памятных впечатлений, которые формируют душу человека: в густой листве обильно цветущей липы гудели пчёлы, этот непрерывный, струнный звук, поглощая все другие небогатые звуки знойного дня, возносился в голубую пустоту небес, превращаясь там в чудесное пение.

Миронов, удивлённый, долго, до боли в глазах, смотрел в небо и наконец, поймав

брание сочинений в тридцати томах. Том 16. Рассказы, повести 1922–1925. Максим Горький gorkiymaxim. там дрожащую точку, как бы тёмную звезду без лучей, догадался, что это поёт жаворонок. С того дня у него явилась потребность думать звуками, вторить всему, о чём думалось, песнью без слов.

Но за последние тринадцать дней он потерял способность заглушать думы звуками без образов, в мозг его вторгалась пёстрая пыль воспоминаний, в памяти звучал глуховатый голос отца и бессмысленные окрики всегда пьяной или раздражённой матери. Её упрёки и жалобы заставили его понять, что она замужем второй раз, а первый её муж был начальником отца и стрелял в него из пистолета.

– Горе моё, что не убил он тебя! – кричала она отцу.

Он чувствовал в их жизни что-то тёмное и опасное, может быть, преступное, чего не хотел знать, о чём боялся думать, но именно оно-то и тревожило его воображение всё более настойчиво; это продолжалось до поры, пока он начал читать книги, они рассказали ему, что существуют другие, более интересные и разрешимые тайны, есть другая, лёгкая, праздничная жизнь. Застенчивый, неловкий, он не имел друзей; легко простужался, часто прихварывал, это позволило ему читать много, и пред ним возник в голубом тумане восхищения чудесный город Париж.

Отец умер весной, в саду, окапывая яблони, – Миронов вспомнил, как жутко бормотала мать, наклонясь над трупом:

– Вот, Митя, вот... Я говорила...

Четыре года тяжёлой, стыдной жизни с пьяной матерью сделали Миронова ещё более замкнутым. Он полюбил удить рыбу, гулять одиноко в поле, в лесу, слушая пение птиц, шелест трав и листвы, странные шёпоты ветра. Особенно хорошо по праздникам слушать издали музыку военного оркестра; вблизи, когда видишь, как солдаты, надувая щёки, делают музыку, она не радует, не утешает. Иногда он брал с собою французскую грамматику и читал её, стараясь запомнить чёткие слова, но память не удерживала их, и, не слагаясь в понятную речь, они таяли, превращались в необыкновенные сочетания красивых звуков, в голубую музыку.

Лиза Розанова понравилась Миронову в первый день пасхи, когда он увидел её одетой в голубое платье; она шла из церкви, торжественный звон колоколов провожал её, щедро освещало праздничное солнце, маленькая, стройная и в то же время пышная, как необыкновенный цветок, она была вся голубая, даже в голубых чулках.

Она жила против его дома, Миронов часто видел её, но её тонкая, плоская фигурка, остроносое, птичье лицо с круглыми глазами и капризным или болезненным изгибом бескровных губ, – ничто в ней не трогало его сердца и воображения, ему даже казалось, что эта девушка так же некрасива, как сам он. И при этом он знал, что Лиза лечится козьим молоком, противно пахучим. Но тогда, в день пасхи, он радостно удивился: как же это он не заметил раньше, что Лиза красива? И с того дня он сделал её соучастницей своей мечты о певучей, голубой жизни, она стала для него соломинкой в шумном потоке непонятного и пугающего.

Познакомиться с нею он не решался, но, возвращаясь со службы, шёл мимо дома Розановых замедляя шаги; пообедав, садился с книгой у окна и следил: не появится ли девушка на улице? Иногда она выходила и, быстро топая тоненькими ножками, шла к реке, в склад лесных материалов, к своему отцу; шла она, держась близко к заборам, как бы сохраняя возможность спрятаться в первые же ворота. На узенькой спине её вздрагивала коротенькая коса тёмных волос с голубым бантом на конце. Миронову казалось, что девушка эта, так же как он, не любит, боится людей, это ещё более сближало его с нею.

Проводив её, он подходил к зеркалу и с обидой, с грустью рассматривал в нём неподвижные, тёмные глаза, разделённые широким переносьем, левый глаз немного косил, как бы заглядывая на оттопыренное восковое ухо; над верхней губою, затемнённой чёрным пухом, опускался бесформенным комом жёлтый нос, на голове непокорно торчали вихрами жёсткие, тёмные волосы. Ему казалось, что всё у него растёт в разные стороны, всё расползается, точно корни дерева на бесплодной почве; руки слишком длинны, и неприятно тонки их пальцы, рот – велик и набит такими неровными зубами, что не хотелось улыбаться.

Вообще же он не любил смотреть в зеркало, замечая, что если смотреть долго –

брание сочинений в тридцати томах. Том 16. Рассказы, повести 1922–1925. Максим Горький gorkiymaxim. темнеет в глазах, отражение постепенно исчезает, возможно, что вместе с ним исчезнешь и сам.

За несколько дней до смерти матери он, неожиданно для себя, сказал:

– Ты бы, мама, посватала Лизу Розанову...

Сказав, – испугался, покраснел, чувствуя, что ему стыдно и напрасно он выдал свою тайну. Но в этот день мать была трезва и, как всегда в трезвом состоянии, немногословна. Наливая сливки в чай себе, не взглянув на сына, она бросила:

– Дурак.

И только минуты через три, вздохнув, отирая пот с багрового лица, прибавила:

– Какой ты муж? Муж должен быть – вот!

Крепко сжав опухшие пальцы в большой красный кулак, она потрясла им в воздухе.

Вспоминать о ней было тяжело; чем более думал он о матери, тем более страшной и чужой ему становилась эта женщина, грубая, задыхавшаяся от жира, с огромными, мутными глазами; ему казалось, что, думая, он действительно стирает с неё пыль и от этого она непонятнее, страшней. Так же неприятно обнажалось пред ним всё, что он пытался обдумать, понять.

Миронов тряхнул головой, оглянулся – синий сумрак в комнате стал гуще, теплее. За рекою, в розоватом небе, ярко сверкала вечерняя звезда.

По улице едет телега, нагруженная мебелью, матрацами, цветами в кадках; под пальмой, на серых узлах, сидит девушка в красной кофте и белом платке, на коленях у неё клетка с какой-то чёрной птицей, должно быть – дрозд. Из-под телеги падают в пыль пёстрые, детские кубики; рядом с тяжёлой, толстоногой лошастью шагает старичок, помахивая вожжами, и, задрав голову вверх, кричит девушке сиплым голосом:

– А – куда пойдёшь? Кому скажешь?

«Старый дурак», – мысленно обругал его Миронов.

Идёт Артамон, возчик лесного склада, коренастый, тяжёлый, как медведь; его мохнатое, безглазое лицо изуродовано заячьей губою, это сделало рот его трёхугольным и противно открыло широкие, жёлтые кости свирепых зубов; рядом с ним легко шагает тонкий, стройный столяр Каллистрат, босый, в переднике, выпачканном охрой и клеем, с тёмным ременным венчиком на светлых, курчавых волосах; под его ястребиным носом светятся золотистые усики. Накручивая на палец острую медную бородку, он, глядя в сторону Миронова, звонко говорит:

– Скука.

– Не тронь, пускай скучает, – раздаётся грубый, ревуший голос Артамона. Они идут медленно, лениво загребая ногами пыль, пыль встаёт сзади их красноватым облаком. Вся улица восхищена нечеловеческой силой возчика и боится его, как боится странного озорства столяра.

Миронов крепко закрыл глаза; ему иногда думалось, что если глаза человека закрыты, – он становится невидим для людей.

Катились дни, быстро перепрыгивая через тёмные ямы ночей; ночи были жаркие и бессонные, а когда Миронов засыпал ненадолго – снилось странное: по широкой дороге, освещённой множеством костров, идёт неисчислимая толпа медных кофейников однообразной формы; все они на длинных ножках, и есть в них что-то общее с пауками; маленький, горбатый уродец мостит улицу, забивая в землю гвозди так плотно один к другому, что земля кажется покрытой железной чешуёй; по реке плывёт огромная рыба, заглатывая отражение луны, а луна в небе, очень тёмном, подпрыгивает, раскачивается, как маятник часов; снилось и ещё много тревожного своей бессмысленностью.

брание сочинений в тридцати томах. Том 16. Рассказы, повести 1922–1925. Максим Горький gorkiymaxim. Миронов жил, не слыша тяжёлых шагов матери, её хриплых и грубых окриков, из комнат выветрился тошный запах водки, мочёных яблоков и маринованного лука; сухонькая старушка, кухарка Павловна, двигалась бесшумно, точно кошка, была молчалива и только вздыхала, присвистывая. Но всё-таки и в тишине этой жить было неловко, казалось, что все вещи, фотографии, иконы безмолвно, но строго спрашивают:

«Ну – что ж ты будешь делать?»

Миронов заметил, что так же требовательно смотрят на него и люди улицы, все они чего-то ждут, липкие взгляды их угнетали его.

В воскресенье, на закате солнца, он удил окуней, сидя на борту баржи, полузатопленной ледоходом, вслушиваясь в отдалённое пение медных труб военного оркестра; музыка и медленное движение голубоватой воды вызвали в нём желанное состояние бездумья, тёплые волны звуков ласково поднимали над землей. Если внимательно прислушаться, – течение реки тоже даёт мягкий, басовый звук, все другие звуки смываются им, но не вполне, они видны слуху, как сквозь мутное стекло. Миронов не заметил, как подъехала лодка.

– Хорошо клюёт?

Вздрыгнув, он выхватил лесу из воды, – на крючке бился толстенький окунёк.

– Вот, с нами – счастье вам!

– Да.

– Много поймали?

– Три. Это третий.

Лиза Розанова в сиреновом платье, с голубой лентой в косе, сидела на корме, а в вёслах – черноволосая, толстая подруга её, Клавдия, в розовой блузе, в синей юбке; она лениво шевелила вёслами, не давая течению увлекать лодку. Лиза улыбалась. Миронов тоже хотел улыбнуться, но, вспомнив о зубах своих, крепко сжал губы.

– Едем, – сказала Лиза.

Её подруга опустила вёсла в воду глубже, откинулась всем телом назад, одно весло сорвалось и обрызгало водою ноги рыбака.

– Ой, извините!

Лиза засмеялась стеклянным смешком, Миронов смущённо дрыгал ногами, стряхивая воду с ботинок и брюк, думая:

«Другой бы разговорился с ней, а я... Может быть, они нарочно обрызгали меня, в шутку, чтобы начать знакомство...»

Лодка сильными толчками спускалась по течению, насмешливо поскрипывали вёсла. Миронов выплеснул в реку из ведёрка воду, окуней, собрал удочки и пошёл домой, согнувшись, глядя в землю, жалея себя, а подойдя к дому, увидел, что коричневая краска фасада и ворот, зелёная – ставень выгорела, вздулась пузырями, облупилась.

«Надо перекрасить», – решил он.

Рано утром в среду лысый старичок, заносчивый и едкий, начал скоблить дом железной скребкой, ему помогал пёстро измазанный красками курносый подросток; работая, старик пел хорошим, мягким голосом:

Он – уехал, со мной не простился..

Полюбил другую

– дискантом подпевал подросток. Миронов, разбуженный скрежетом железа и песней, лежал и думал:

брание сочинений в тридцати томах. Том 16. Рассказы, повести 1922–1925. Максим Горький gorkiyтахіт.  
«Глупо. Одному уже поздно петь про любовь, другому – рано. И почему маляры, работая, всегда поют?»

Через несколько дней, когда старый маляр начал мазать голубой краской зашпаклёванный, пёстрый фасад точно оспой заболевшего дома, – посреди улицы стал монументом уважаемый Иван Иванович Розанов и строго крикнул:

- Эй, ты как это красишь?
- Как велено, – непочтительно ответил маляр.
- Почему – синим?
- Так велено.
- Это улицу безобразит!
- Не моё дело.
- Экая глупость!
- И глупость не моя.

Поливая цветы на подоконниках, Миронов слышал этот диалог, он обидел и встревожил его.

«Почему же голубой дом – безобразие и глупость? Пожалуй, откажет мне Розанов, когда я посватаюсь».

Он торопливо вышел на улицу, посмотрел на обесцвеченные солнцем и дождями домики, их связывали друг с другом серые заборы, осеняла пыльная зелень вётел, они спускались к реке двумя вереницами нищих, в одной – семь, в другой – десять, среди семи красовался одноэтажный кирпичный дом Розанова, четыре окна его смотрели на улицу неласково. Треугольник под крышей дома Миронова был уже окрашен, точно оклеен шёлком, масляно лоснился на солнце и ласкал глаз своим спокойным, синеватым цветом.

Величественно дотронувшись указательным пальцем до козырька своей фуражки, Розанов сказал:

- Непрактическая краска.
- Красивая.
- И дорогая.
- Прочная.
- Не знаю.
- Маляр говорит – прочная.

– Все маляры – врут, – строго заявил Розанов и отошёл солидный, прямой, благосклонно подставляя солнцу серьёзное лицо своё и широкую, серебристую бороду. Миронов не успел спросить его: почему маляры врут? Он ушёл домой, взял книгу и сел у окна, – тотчас же на улице снова явился Розанов с метлою в руках, начал сметать сор и пыль из-под окон своего дома к середине улицы. Маляр крикнул:

- Эй, почтенный! Ты напрасно затеял пылить, работу портишь мне.

Не отвечая, Розанов пылил. Миронов понял, что он делает это нарочно, назло, огорчился, ушёл в сад и сел там на траву под старой яблоней.

«Не выдаст он дочь за меня. Зачем я начал красить дом?»

Он слышал, что на улице маляр ругается с Розановым, следовало бы остановить маляра, но обессиливали скучные, серые думы о людях, которые так странно мешают



брание сочинений в тридцати томах. Том 16. Рассказы, повести 1922–1925. Максим Горький gorkiymaxim. друг другу жить, и Миронов просидел в саду до ужина.

Ночью, душной и безмолвной, ему не спалось. Раздражающе ярко светила луна, лаяли и выли собаки. На полу лежал желтоватый квадрат, и в нём чётко рисовались тени переплёта рамы окна. Вдруг в пятне света явились ещё три тёмные полосы, потом его покрыла тень человека, как будто по воздуху проплыл фонарщик с лестницей на плече. Вот – ясно слышен шорох, скрип дерева. Миронов сбросил с себя простыню, сел на постели, глядя в окно, перед окном стояла лестница, очевидно, забытая маляром, и кто-то хочет утащить её. Миронов вскочил, осторожно открыл окно, взглянул вверх, – на верху лестницы прилепился человек, видно было его босые ноги; тогда Миронов, немного испуганный, но больше удивлённый, бесшумно вылез из окна на улицу.

Ярко освещённый луною, на лестнице стоял человек и, макая коротенькую кисть в деревянное ведёрко, висевшее на поясе у него, торопливо мазал вокруг слухового окна.

– Это – кто? – негромко спросил Миронов.

Необъяснимо легко человек соскользнул с лестницы, а его ведёрко выплеснуло на стену дома и окно тёмную жидкость; в воздухе растёкся крепкий запах дёгтя; схватив лестницу, человек отбежал прочь, но Миронов уже узнал его, – это столяр Каллистрат.

Миронов вышел на середину улицы и сквозь серебристую пыль лунного света прочитал над слуховым окном неясные, хотя крупные буквы:

«Дом».

От каждой буквы тянулись книзу тёмные потоки дёгтя, и было отчётливо слышно: шлёпаются о землю его тяжёлые капли. Столяр, держа лестницу на плече, стоял в шагах двадцати у ворот своего дома, хорошо было видно медный клин его бородки и чёрный венчик на светлых волосах, на лбу.

– Послушайте, – зачем вы это сделали?

Столяр не ответил, не пошевелился.

– Удивительно! То сметаной пачкаете вы, то – дёгтем...

Столяр засмеялся. Миронову показалось, что и смех его удивителен, что-то среднее между кудахтанием курицы и лаем щенка, – нехороший смех, от него всё стало ещё более непонятно, обидно. Тусклые стёкла окон блестят, как лёд, а воздух до того горяч, что как будто даже светится. И всё похоже на неприятный сон.

– Драться со мной – не пробуй, я тебя побью, – вдруг звонко сказал столяр.

– Да я и не хочу драться, – пробормотал Миронов, идя к воротам дома; столяр, приставив лестницу к забору, медленно пошёл вслед за ним.

– Что ж, рассердился ты на меня?

Звонкий голос столяра прозвучал ново и знакомо; так иногда говорил отец, соединяя в словах ласку и строгость.

– Нет, я не сержусь, но всё-таки... Зачем портить?

Столяр подошёл вплоть и ударил ладонью по плечу Миронова, рука у него была лёгкая, как птичье крыло.

– Не обижайся! Я тебе всё это поправлю. Дёготь к маслу не пристал, течёт. Это я плохо придумал, надо было сажу на керосине развести, тогда бы...

– Да – зачем же?

– Конечно – для забавы. Смешно ты придумал, – никто не красит домов такой краской.

брание сочинений в тридцати томах. Том 16. Рассказы, повести 1922–1925. Максим Горький gorkiymaxim. Столяр вдруг закусил нижнюю губу, резко взмахнул головою и, прищурился глазами, вопросительно стал смотреть в небо, видимо, обдумывая что-то. Достал из кармана деревянную папиросницу, зажёл спичку, закурил папиросу и бросил спичку вверх так ловко, что огонёк, не угасая, описал в воздухе трепетную дугу. Затем он надавил ладонью плечо Миронова, этим заставил его сесть на скамью у ворот, сел и сам рядом, говоря поучительно, с насмешкой.

– Я твой расчёт понимаю – отличиться хочешь от людей. Думаешь, что если ты свободный сирота, так можешь чудить? Это ты, Миронов, оставь; чудить умеют только двое: я да чёрт, а ты ещё нашему богу – бя!

– Какому богу? – угрюмо спросил Миронов.

– Обыкновенному, скука; бог – один, али ты забыл? – сказал столяр, усмехаясь. – Ты вот что сообрази: у тебя мать умирает, то есть – человек; все соседи, будто заинтересовались этим случаем, толкуются вокруг тебя, а я начал забор сметаной мазать, и все перебежали смотреть на меня, – понял?

– Ничего не понял, – ответил Миронов, недоумённо мотнув головой. – Это – ерунда какая-то...

– Значит – плох, коли не понял. А – ползёшь на первое место. Ерунду, сирота, тоже понимать надо. Можешь ты выдумать что-нибудь вроде сметаны? То-то! А я – испытанный, меня даже судом судили за выдумки мои. Я, бывало, налью керосину в почтовый ящик для писем, суну туда зажжённую спичку, письма-то и горят, а никто ничего не понимает. Даже в газете писали: отчего письма горят? От жарких чувств, пишете хладнокровно. Глупость, конечно, молодость, ночей не спишь, всё думаешь: как отличиться? Я и теперь люблю это – озадачить людей. Забавно, когда они спотыкаются на ходу. Всё будто бы просто, а – вдруг настигло непонятное...

Столяр подкрутил кончик усов, облизнул губы, прищурился правый глаз, посмотрел левым на луну и вздохнул:

– Светило, а вот собаки не любят.

Искося наблюдая за острым, изменчивым лицом столяра, вслушиваясь в его речь, Миронов чувствовал противоречивые желания; хотелось о чём-то спрашивать этого человека и хотелось, сказав ему что-нибудь обидное, тотчас же уйти от него. Но он сказал:

– Может быть, собаки воображают, что это лиса.

– Неизвестно, что воображают собаки, – усмехаясь ответил столяр и снова заговорил поучительно, в чём-то упрекая, предостерегая от чего-то, становясь всё более непонятным. Хвастливая речь его подавляла Миронова, он чувствовал в ней нечто досадно общее с французской грамматикой, – слова как будто знакомы, а смысл их тёмный, неуловим. Свет луны плавил сумрак в листве ветел, листья поблескивали серебром, золотилась курчавая голова столяра, резко чернел венчик ремня на лбу его. Необыкновенны были зеленые глаза, насмешливые и хитрые, их острый блеск вызывал впечатление укола иглой. Человеку с такими глазами ни в чём нельзя верить. И, конечно, он издевается, его звонкий голос звучит явно фальшиво. Неожиданно для себя Миронов сказал, вздохнув:

– Вы точно сумасшедший.

– Да – ну? – воскликнул столяр.

– Что вы там написали?

– Спугнул ты меня, а хотел я написать вывеску: «Дом сумасшедшего». Хохотала бы завтра улица.

И вдруг ударив Миронова ладонью по колену, он серьёзно, деловито предложил:

– Вот что, Миронов, дай ты мне десять рублей...

Миронов сердито откатнулся от него.

брание сочинений в тридцати томах. Том 16. Рассказы, повести 1922–1925. Максим Горький gorkiymaxim.  
– погоди, погоди! Не прыгай, я – вещь придумал! Ты слушай: ты мне понравился. Другой бы орал, скандалил, а ты – ничего. Это, сирота, это, брат... ну, ладно! За это я желаю тебе услужить по такому расчёту: издёвка – не удалась, так я тебе удовольствие сделаю, – понял?

Теперь столяр говорил тише, без насмешки в глазах, а Миронов всё более уверенно твердил сам себе:

«Конечно, он сумасшедший, потому и озорник».

Это очень успокоило его, разрешив тяжкое недоумение; он улыбнулся, глядя на небо, слушая тихие слова:

– Куплю я красок и раскрашу тебе этот самый дом так, что все ахнут! Я давно хочу сделать что-нибудь такое, знаешь, чтобы все люди ахнули.

– Зачем же? – спросил Миронов, но столяр, должно быть, не слышал вопроса; накрутив медную бородку свою на палец, он дёргал её и говорил:

– Я тебе прямо скажу: я всё умею делать, а работать – не люблю, потому что по моему вкусу работать мне не приходится, на мой вкус нет желающих, – понял? Вот и дай ты мне развернуться.

– Хорошо, – сказал Миронов, сообразив, что, если отказать столяру, он ещё что-нибудь испортит.

Он заметил, что обещание дать денег как будто удивило столяра; отшатнувшись, Каллистрат смерил его странно вспыхнувшим взглядом, потом, поправляя ремень на голове, пробормотал:

– Ну – Миронов, это... ладно! Не покаешься. Утром – зайду.

Вскочил, быстро пошёл прочь, но остановясь, точно запнувшись за что-то, сказал, протянув руку в воздухе:

– вещь сделаю! Произведение души... Ахнут!

Его фигура с поразительной чёткостью вылепилась на голубоватом фоне реки и – вдруг – исчезла. Миронов вышел на середину улицы, посмотрел на залитый рыжеватой грязью ставень окна, прочитал ещё раз надпись «Дом» и, устало опустив голову, пошёл спать, напоминая себе:

«Сумасшедший... И – жулик, наверное...»

Рано утром кухарка разбудила Миронова:

– Столяр пришёл, денег просит.

– Значит – это не во сне...

Он дал старухе деньги и, снова засыпая, подумал:

«Следует подать жалобу на него...»

Мысль эта снова явилась у Миронова, когда он, идя на службу, увидел рыжеватые жирные потёки на светлой окраске; надпись «Дом» уже совершенно расплылась, и прочитать её было нельзя. Посмотрев, он опустил голову и быстро пошёл вниз по улице, чувствуя насмешливые улыбки встречных обывателей.

«Лиза, наверное, тоже смеётся... В Париже нет деревянных домов...»

А возвращаясь со службы около пяти часов вечера, он уже издали увидел против своего дома группу мальчишек, лестницу, приставленную к фасаду, какая-то жестянка ослепительно сияла на верхней её ступени, и, всунув ногу в слуховое окно, в воздухе качался, изгибался столяр. Размахивая тростью, Миронов подбежал к дому, закричал:

брание сочинений в тридцати томах. Том 16. Рассказы, повести 1922–1925. Максим Горький gorkiymaxim.  
– Я запрещаю! К чёрту!

Мальчишки, встретив его радостным визгом, замолчали, отскочили к забору. Со зла у него шумело в голове, он смутно видел над собою сухое лицо столяра, его широко открытые, злые глаза и со стыдом чувствовал, что готов заплакать. А столяр как-то слишком ловко съехал с лестницы, толкнул его плечом и указал вверх кистью, красной на конце, похожей на зажжённую свечу.

– Чего кричишь? Разве плохо?

На синем треугольнике резко выделялась полукруглая дыра окна, рама из него была вынута, сбоку в окно заглядывало клетчатое, белое и жёлтое чудовище с красными плавниками, но без хвоста, с большим, выкатившимся красным глазом, белое кольцо окружало глаз. В морде чудовища было что-то общее с головою овцы, но больше оно напоминало рыбу. Притопывая ногою, столяр вполголоса объяснял:

– Их будет три, одна – с правой стороны, одна – сверху. А окно я распишу, как вентерь, и будто они в него лезут...

Рука столяра дрожала, он казался пьяным, но водкой от него не пахло, должно быть, её заглушал запах краски, – столяр очень перепачкался ею, даже на щеке у него масляно блестел красный мазок, похожий на запятую. Зеленоватые глаза его странно блестели.

– Ловко? – спрашивал он. – Красиво?

За спиною Миронова посмеивались, повизгивали мальчишки, подошёл серый нищий и заныл, кланяясь, протягивая чугунную руку, у ног его сидела шершавая собака, высунув язык, склонив голову набок; казалось, что и она тоже недоумевает, глядя на яркую живопись столяра. Раздался строгий голос Розанова:

– Что ж это, – балаган будет?

Миронов обернулся, а Розанов прямо в лицо ему сказал, негодую:

– Вам бы, молодой человек, постыдиться, прекратить безобразия это.

Как всегда, когда он чего-либо не понимал, Миронов чувствовал себя обессиленным, онемевшим. Раздражение, вспыхнув на минуту, исчезло, упрёк Розанова ещё более подавил его. Он тихо и жалобно спросил столяра:

– Слышали?

Столяр пренебрежительно махнул рукою и убеждённо, звонко сказал:

– Всякий человек может красить свой дом любой краской!

Он пошёл к лестнице, но Миронов удержал его:

– Оставьте, пожалуйста! Смеяться будут.

– Надо мной не посмеются, – сказал столяр, вырываясь, было в нём что-то испуганное, пугающее. Миронов напомнил ему и себе:

– Дом этот – мой!

– И гони всех к чёрту!

Столяр быстро взобрался на лестницу и оттуда крикнул:

– Ахнут!

Ошеломлённо, с подавляющим ощущением физической усталости, стыда, немоты, Миронов пошёл домой, решив подать жалобу полиции на самоуправство столяра. Не раздеваясь, он сел к столу, подумал, закрыв глаза, и начал писать. Но чернила были густы, перо мазало, вместо слова «убыток», он написал «уток», бросил перо и вдруг решил сходить к Розанову, посоветоваться – что делать? Он тотчас же переоделся в праздничный костюм, пригладил волосы головной щёткой, намочив её в

брание сочинений в тридцати томах. Том 16. Рассказы, повести 1922–1925. Максим Горький gorkiутахim. воде, вышел из дома и осторожно, так, чтоб его не заметил столяр, перешёл улицу.

Осторожность была излишней, он убедился в этом, посмотрев со двора Розанова в щель калитки: стоя на верхней ступени лестницы, столяр неестественно вытянулся и замазывал овечью голову рыбы синей краской; Миронову послышалось, что он рычит.

«Сегодня он портит дом, а завтра может поджечь его, – что ж мне делать?»

– Вам – чего? – недружелюбно спросил Розанов; он стоял на крыльце, приглаживая пальцем густые брови. Сняв фуражку, Миронов подошёл к нему и торопливо, негромко объяснил, зачем он пришёл. Ему было обидно и неудобно стоять ниже Розанова, в лицо его заглядывал, ослепляя, луч заходящего солнца, Миронов морщился, переступал с ноги на ногу, размахивал рукою, противно скрипели новые подтяжки, а Розанов смотрел на него, как священник с амвона, готовый начать проповедь.

«Лицо у меня, должно быть, неприятное. Почему старик не зовёт в комнаты?»

Глядя круглыми глазами кота поверх головы его, Розанов пренебрежительно заговорил:

– Какая же нужда была связываться с негодяем этим? Он – озорник; живи он в деревне, его бы общество в Сибирь сослало. А у нас – законы спят, каждый безобразит жизнь, как хочет...

Миронов заметил в окне, среди зелени цветов, знакомый тёмненький глаз, этот подслушивающий глазок вызвал у него желание сказать что-нибудь значительное, и, взволнованный, он сказал:

– Я думаю – столяр сумасшедший.

– Ваше дело. Думайте, а я помолчу.

Сконфуженный Миронов поклонился в спину ему, подтяжки скрипнули особенно громко, он искоса взглянул в окно, – неужели Лизин глаз слышал этот скрип? Но глаз уже исчез...

«Необыкновенно глупо всё», – с досадой и унынием подумал он, выходя на улицу; среди улицы стоял столяр; задрав голову, схватив себя за бороду, он смотрел на свою живопись; когда Миронов поравнялся с ним, он сказал, вздохнув:

– Нехорошо.

– Нехорошо, – повторил Миронов.

– Скука!

И тихонько, неприлично выругавшись, столяр стал жаловаться, не скрывая злости:

– А ведь задумал я отлично! Рыба погубила меня. Хотел особо угодить тебе, – ты любишь рыбачить. А надо было цветы писать, цветы пишу замечательно. И зайцев...

Миронов, на что-то надеясь, взял его под руку и повёл к воротам дома.

– Послушайте...

– Чего тут слушать? Стыдно мне, Миронов, – ты этого не можешь понять...

– Нет, я, кажется, понимаю...

– Не можешь. Водка есть у тебя? Дай ты мне водки! Конечно, я всё это перепишу, не беспокойся...

Неясная надежда Миронова исчезла; он сердито крикнул в окно кухни, чтоб Павловна дала водки, и присел на скамье, у крыльца, а столяр уселся на нижнюю ступень, опираясь локтями о свои колена, засунув пальцы рук в светлые волосы. Чёрный венчик, перерезав лоб, съехал на брови его, подчеркнув их золотистость. Кухарка вынесла графин водки, настоящей на рябине, кусок пирога; столяр посмотрел на Миронова, усмехнулся и вполголоса заговорил:

– Скажи мне, Миронов, бывает это? Я тебя оскандалить хотел, в убыток ввёл, а ты мне слова обидного не сказал и – угощаешь! Бывает это?

– Я не знаю, – ответил Миронов неохотно, обдумывая, как бы заставить столяра отказаться от раскраски дома.

А тот, выпив одну за другою две рюмки сразу, продолжал, понизив голос до шёпота:

– Ну, так я тебе скажу: не бывает! Люди, брат, пауки друг другу, да! Одни – пауки, а другие – дураки, понял? Хороший человек, например, всегда несколько дурак.

Это обидело Миронова, он хотел ответить резко, но мог только повторить вызывающим тоном слова отца:

– Бог дураков любит.

Столяр утвердительно кивнул головой:

– Это – так, сирота, бог – не без хитрости, это верно! Я знаю, я всё обдумал. Ты мне верь. Ты вот не понимаешь, какую поймал рыбу, а я тебе – навеки друг! Ты – что сделал? Ты мне, кротостью своей, совесть души устыдил...

Снова, как днём, лицо столяра сделалось исступлённым, а зеленоватые глаза его увлажнились; тыкая пальцем в переносье, с боков его, он выжал две слезы.

В начале изъяснений столяра Миронов не чувствовал ничего, кроме скуки и досады, но эти непонятные, тугие слёзы изумили его. Вытирая платком пальцы, облитые водкой, он смотрел, как мигают странные глаза, дрожат закрученные медные усики, видел, что на лбу, на висках столяра выступил пот, и, не отдавая себе отчёта в том, что делает, он вытер платком белый, потный лоб соседа. Тогда – изумился столяр, с минуту он молча смотрел на Миронова, потом, усмехаясь, спросил:

– Это зачем ты?

– Пот.

Столяр тихо засмеялся, затрясся и, топая ногами, бормотал сквозь смех:

– Да, – разве я дитя, чтоб мне личико вытирать, а?

– Я – нечаянно, – объяснил Миронов.

– Нет, ты... Ну, ладно, будет! Завтра я всё перекрашу, будь покоен.

– Нет, пожалуйста, не надо красить!

– Не надо?

– Да, не надо!

Столяр глубоко вздохнул, глядя в землю.

Встал, протянул руку:

– Извиняй меня...

И пошёл, припрыгивая, точно вдруг охромев, видимо, одна нога у него замерла, отсидел. Остановясь у ворот, он окинул взглядом двор, густо заросший сорными травами, и наконец ушёл, громко хлопнув калиткой.

Миронов остался на дворе, сидя неподвижно, чувствуя себя опустошённым и желая только одного – забыть всё это. Его даже не радовало, что скандал с раскраской дома так неожиданно и благополучно кончился.

«Какой невозможный», – лениво подумал он о столяре.

Поздно вечером, когда уже потемнела зелень деревьев и птицы заснули в гнёздах, Миронов вышел в сад и лёг на траву под яблоней, глядя в небо сквозь пыльную сеть листвы. Трудно было понять, почему из синеватой, льдистой чаши небес изливается на землю столь тяжёлая духота. Бледненький осколок луны таял над яблоней. В пыльном воздухе лениво плавали голоса людей, истомлённых дневной работой и зноем; эти голоса мешали Миронову, он любил погружаться в тишину, как в воду, а для этого необходимо, чтоб тишина была совершенной, тогда он чувствовал себя свободным, лёгким, качался, плыл, и в нём возникала приятно певучая, бесконечная дума, лишённая слов, форм, образов.

Тогда небо, земля и всё на ней как бы плавилось, таяло, медленными волнами текло куда-то, кругами поднималось беспредельно вверх, сам он весь звучал, и в то же время его не было, был только тихий полёт.

Он не знал, не испытал ничего лучше и таинственнее этого бездумного, певучего подъёма земли к звёздам и с ними всё выше, туда, где, вероятно, обитает некое величественное и необыкновенно ласковое существо, – оно-то и есть неиссякаемый источник этой опьяняющей музыки. Образ Саваофа на золотом троне, в окружении херувимов и серафимов, поющих «Осанна», не удовлетворял его, он давно уже был равнодушен к богу земных храмов, чьё имя ежедневно призывают в помощь себе миллионы людей, но чья сила не заметна в жизни. С некоторого времени у него даже смутно мелькало подозрение, что всем известный бог отказался от людей, а вместо него действует другой, насмешливо испытующий озорник, какая-то злая выдумка, вроде дьявола.

Но когда он пытался вообразить творца музыки мира, пред ним, ещё девственником, возникал из голубого тумана образ нагой женщины, тело её возбуждало жуткое, трепетное желание, от силы которого сердце так замирало, как будто он стремительно падал на землю, ощущение полёта, певучести грубо обрывалось, и тотчас же память показывала ему одну за другою всех девушек и женщин, которые когда-либо привлекали его внимание. Эти падения были так же неприятны, как неизбежны, они всегда будили тягостные чувства зависимости, стыда, страха и острого любопытства; поэтому Миронов избегал вызывать образ женщины надзвёздных высот, образ, красота которого сбрасывала его на землю.

В этот вечер он не мог вызвать ощущение полёта, что всегда легко удавалось ему. Против воли являлись мысли, требуя ответов. Слышала Лиза, как скрипнули дурацкие подтяжки? Отец её не любит людей, строго судит их, властно вмешивается в жизнь их, – за это все уважают его.. Как нужно жить, чтоб никто не мешал? И особенно настойчиво думалось о столяре, его странная фигура неотвязно торчала пред глазами и тоже требовала объяснения себе.

– Глупо и глупо всё, – вслух проговорил Миронов и, чтоб отогнать от себя тревожное, закрыл глаза, улёгся удобнее и начал вполголоса читать диалог пьесы, прочитанной час тому назад.

О да, в известном отношении  
Бык может быть приятнее орла.  
– Бык – это я?

– Да, сударь, если вам угодно.

– Я – оскорблён!

– И что же дальше?

– Я – оскорблён!

– Мне кажется, что злее всех природа

Вас оскорбила, сударь мой.

– Я, по природе, дворянин!

– Тогда оскорблено дворянство..

– Двор – зарос, сад – запущен, – раздался звонкий голос столяра; он стоял над

брание сочинений в тридцати томах. Том 16. Рассказы, повести 1922–1925. Максим Горький gorkiymaxim. головой Миронова, одетый в розовую рубаху, неподпоясанный, с расстёгнутым воротом, в полосатых подштанниках, босый; волосы его были встрёпаны, как будто он только что проснулся, чёрный поясок ремня съехал на ухо.

Миронов приподнялся, сел, упираясь в землю руками.

– Как это вы?..

– Через забор перелез. Надо сказать Артамошке, чтоб он сад и двор прибрал, почистил; он это любит. Пускай побалуется вечерами.

Опустясь на колени, столяр протянул руку.

– Возьми, это – остаток. На шесть рублей я красок купил и две кисти, это я тоже тебе отдам, годится.

– Не надо мне, – тихо, с досадой сказал Миронов.

– И мне не надо.

Столяр положил деньги на траву у корня яблони, сел рядом с Мироновым, заглянул и лицо ему.

– О чём думаешь?

– Ни о чём.

– О девицах?

– Нет.

Сорвав травинку, почёсывая ею свой выпуклый лоб, столяр озабоченно и поучительно сказал:

– С девицами – будь осторожен. Бойкая – тебя замордует, с тихой – пропадёте оба.

Миронов молчал, покачиваясь, думая:

«Не стану отвечать, он и уйдёт».

– Я всё о тебе думаю, задел ты меня, Миронов! Растревожил. Что ты тут бормотал, колдовал?

– Так. Стихи.

– Удивляешь ты меня, Миронов.

– Никого я не хочу удивлять.

– Удивляешь.

В словах столяра звучало что-то неодобрительное и даже как будто угрожающее, Миронов поджал ноги. Что сказать этому человеку? О чём, вообще, говорить с ним?

– Жарко, – сказал он.

– Верно. А всё-таки о чём ты думаешь?

– Думать я не люблю, – я люблю, чтоб всё было тихо.

Он хотел сказать это сердитым голосом, но почувствовал, что сказалось виновато. Тогда он добавил:

– Вот – в небе светло и тихо, а когда облака...

Он не кончил, услышав, что говорит хотя и громко, а жалобно. А столяр, искоса взглянув в небо, сказал:



брание сочинений в тридцати томах. Том 16. Рассказы, повести 1922–1925. Максим Горький gorkiymaxim.

– В небе, Миронов, пусто, оттого и тихо.

– А – солнце, луна? И звёзды. Там, может быть, есть и такое, чего мы не видим.

Столяр сомнительно покачал головой:

– Не похоже, чтоб ты в бога верил, в церковь – не ходишь...

Этими словами он помог Миронову рассердиться, вызвал у него желание говорить обидное, но память не подсказывала обидных слов, и он угрюмо пробормотал:

– Отец мой в бога не верил...

– Это многие допускают.

– А о думах говорил, что они – пыль, от них только темнеет всё...

– Ну? – удивился столяр. – Так и говорил?

– Да. Я теперь сам вижу: мысли – как черви, нароешь червей, они возьмётся, извиваются...

Наклонив голову к плечу, отщипывая ногтями верхушки травинок, столяр слушал и ухмылялся, двигая усами.

– Когда думаешь, так кажется, что в тебе – двое, один – знает, другой – путает. А я не хочу думать. Душа не любит думать.

– Ну, это ты, пожалуй, неразумно говоришь, Миронов...

– И – чего знать? – продолжал Миронов, надеясь подавить столяра, напугать его, обидеть, вообще – оттолкнуть, чтоб он ушёл. – Всё известно: родятся, женятся, народят детей, умрут. Пожары, воровство, убийство. Цирк приехал. Крестный ход, жена сбежала. Пьяные дерутся. Капусту квасят или огурцы солят. В карты играют... Зачем это мне? Не хочу я ничего этого!

– А – чего же тебе надо? – спокойно спросил столяр, и это его спокойствие тотчас охладило Миронова, он сказал невнятно:

– Я тишину люблю.

– Так ты бы глухим родился. Трудно понять тебя, Миронов!

– Я вас об этом и не прошу...

Сказав так, Миронов искоса, опасливо, но и с надеждой взглянул на столяра, – обидится, уйдёт?

Столяр водил рукою в воздухе, тени листьев яблони ложились на ладонь его и, погладив её, падали в траву, трава темнела, становилась бархатистее, столяр смотрел на неё и молчал. Вздохнув, Миронов тоже подставил ладонь лучам луны и теням; с минуту они оба сидели, протянув руки в пустоту, как слепые нищие. Потом столяр заговорил звонко и бодро:

– Нет, Миронов, ты меня удивить не можешь! Словами – нельзя меня удивить, а синий твой дом – это, брат, на смех, а не на удивление...

– Ах, идите вы к чёрту, что вы пристали ко мне?

Столяр усмехнулся, тряхнул головою, подмигнул.

– Характер показываешь?

Глаза его улыбались ласково, он поправил ремешок на голове, не торопясь закурил очень едкую папиросу, лента серого дыма протянулась в воздухе.

– Я понимаю, Миронов, тебя скука давит. Это – от возраста. Привычки к жизни ещё нет у тебя, а возраст требует радости. Для радости девицы служат, ну, серьёзному

брание сочинений в тридцати томах. Том 16. Рассказы, повести 1922–1925. Максим Горький gorkiymaxim. человеку это ненадолго. Вообще для радости причин мало...

Поучительный тон столяра снова вызвал раздражение Миронова, – мастеровой, малограмотный, не читающий книг, а говорит, говорит...

– Всё надо изменить, переделать, – сказал он тоже поучительно.

– Это ты насчёт политики? – спросил столяр и сдул пепел с папиросы. – Нет, политическое меня не занимает. Мне хочется сделать вещь, произведение души, чтобы вполне отлично было, и пусть люди ахнут...

– Укусите губернатора, – сердито предложил Миронов.

Столяр, мигнув, спросил:

– Как говоришь?

– Укусите губернатора. В церкви, за обедней, – все и ахнут...

Хлопнув рукою по колену своему, столяр засмеялся.

– Ты не сердись, чудак! Интересный ты всё-таки. Запутался, а – интересный. Да, брат, Миронов, скушно всем, каждому хочется удивить себя и другого, а удивить-то нечем... И уменья нет удивлять. И думать не стоит тебе, умишко у тебя несчастливый. Бессловесный, вроде как – немой. Иди-ка, спи! Кто спит – тот сыт.

Столяр воткнул окурочек папиросы в землю, легко, пружинисто поднялся на ноги и, не простясь, пошёл к забору, повторив с явной насмешкой:

– Кто спит – тот сыт...

Слушая, как доски забора трещат под тяжестью его тела, Миронов удовлетворённо подумал:

«Больше не придёт, обиделся. Хорошо я сказал ему о губернаторе...»

Он тотчас увидел в голубом дыму ладана, впереди двуцветной массы голов большую, ушастую, лысую голову его превосходительства, начальника губернии, к нему осторожно подкрадывается столяр, и вот он вцепился наглыми, мелкими зубами в красное ухо генерала; люди в храме гулко ахнули, так гулко, что пошатнулось пламя всех свечей; столяра схватили, тащат, бьют...

Миронов засмеялся, но – снова затрещало где-то, и, уверенный, что это столяр подсматривает за ним через забор, он, искусственно кашляя, согнувшись, не оглядываясь, ушёл из сада.

На другой день он увидел, что чудовище под крышей покрашено тёмно-синей краской, этот густой цвет сделал треугольник над окнами тяжёлым и как будто приплюснул к земле голубой дом. Рыжие пятна и потёки дёгтя на стене, на ставне окна тоже были замазаны, хотя и не в тон общей окраске, светлой, шелковистой.

«Вот как, – сдержал слово!»

Глядя вверх, Миронов попытался представить, как столяр держит слово; это, должно быть, очень трудно, – в каждом слове заключено стремление вызывать из памяти однозвучные слова и, цепляясь за них, разбухать, расплываться в дымные, бессвязные мысли. Вот – небо, простое слово, но влечёт за собою – не боюсь! Или: надоел – надо есть.

Миронов покачал головою и пошёл домой обедать.

Тотчас же, как только он сел за стол, громко хлопнула калитка и на двор тяжело ввалился возчик Артамон, с косой и железной лопатой на плече; остановясь у крыльца, он приставил косу и лопату к стене, перекрестился, поплевал на ладони, крикнув, взял косу и легко, точно кнутом, стал размахивать ею, срезая со свистом лопухи, пырей, полынь.

брание сочинений в тридцати томах. Том 16. Рассказы, повести 1922–1925. Максим Горький gorkiуtаxіт. Миронов встал и, прячась за косяком окна, смотрел на его работу.

«Распоряжаются, как у себя...»

На волосатом лице Артамона в красной дыре треугольного рта свирепо блестели зубы; маленькие, медвежьи глаза хитро спрятаны под бровями, широкий нос тоже скрыт в усах и буйной бороде, всё это было неестественно, и казалось, что у Артамона нет лица. Двигался он так тяжело, точно лез сквозь невидимый, но густейший кустарник.

«Артамона выдумал столяр, чтобы люди ахнули...»

В несколько минут возчик скосил весь бурьян, остановился в углу двора, держа косу, точно копье, поглядел в небо и снова стал креститься, стучая пальцами в широкие плечи и выпуклый собачий лоб. Миронов вынес ему чайный стакан водки и котлету на куске хлеба, подал и сказал тихо:

– Спасибо.

– Спасибо, – повторил Артамон, не выговаривая губных звуков, запрокинул голову, вылил водку в разодранный рот, сунул туда половину хлеба и мяса, поглядел на остаток, сунул и его, проглотил, потом сказал густо и невнятно:

– Теперь – в сад.

– А сколько возьмёшь?

– Ну-у, я для потехи.

И ушёл, тяжело переступая короткими ногами в пудовых сапогах, набелённых извёсткой или мукой.

Через час, заглянув в сад, Миронов увидал, что вся трава уже скошена, Артамон стоит под яблоней и гладит рукою сучки её; увидав хозяина, он крикнул:

– Эй!

Миронов подошёл и осторожно остановился, не допускаемый дальше сердитым рыком.

– Хозяин! Гляди – лишая сколько. И гусеница. Стволы-те намазать надо, для того мазь есть. Деревья-те давно бы окопать надо, навозу подложить, хозяин, драть те с хвоста!

Рыча, он протягивал Миронову ладонь с растопыренными пальцами, они были испачканы отвратительной слизью раздавленных гусениц. Миронов брезгливо вздрогнул, отшатнулся.

– Да ты не бойся меня, я к тебе ласковый, меня Каллистрат прислал, чего дрожишь? Экие вы все, какие...

Без губных звуков оглушающая речь возчика была ещё неприятней и в то же время напоминала лепет ребёнка.

– Я тебе всё налажу, я это люблю, – говорил он, отирая испачканную руку о голенище сапога; ему, видимо, трудно было сгибать широкую спину, наклоняясь, он кряхтел. Миронов смотрел на него со страхом, не зная, что сказать.

– Где Крюков? – спросил он, чтоб сказать что-нибудь.

– Каллистрат? К нему – не подходи, он, чудило, озлился на тебя за то, что ты ему дом покрасить не дал.

И, открыв страшный рот свой, возчик трижды охнул:

– О-хо-хо!

Это был звук средний между «о» и «у», он напоминал гул зимней вьюги в трубе печи, заставил Миронова пугливо съёжиться, спрятать голову в плечи и сказать

брание сочинений в тридцати томах. Том 16. Рассказы, повести 1922–1925. Максим Горький gorkiymaxim.  
негромко:

– Ты сильнее его.

– А – сильнее, конечно! Я в цирке показывался, боролся там, да они мне пальцы выломали, а то бы я их всех там... Они ведь не силой живут, – хитростью..

Легко, как в масло, он втыкал лопату в сухую землю вокруг ствола яблони, выворачивал тёмно-рыжие комья, в них извивались черви.

– Меня тут за силу все боятся, а я к людям ласковый и говорить люблю. Голос обязывает меня пугать людей, а то бы... В запрошлом году ногу я переехал колесом одному, стали меня судить, судья кричит мне: «Тише!» – а я – не могу, он и оправдал..

– Ты – женат?

– Ну! Кто, дура, за меня пойдёт? Гляди, губа-то какая у меня.

Миронов знал, что горожане относятся к мужикам со смешанным чувством презрения и вражды; так же относились к ним отец, мать, это чувство с детства было привито и ему, но Артамон возбуждал в нём только удивление, страх и некую неясную надежду.

«Если его приласкать, тогда столяр...»

– Работает? – спросил с высоты звонкий голос столяра; он с папиросой в зубах сидел на столбе забора, свесив в сад босые ноги, над светлой его головой колебалось дымное облако, и чётко был виден венчик ремня на белой коже лба.

«Ох, – мысленно воскликнул Миронов. – Опять будет высасывать меня...»

– Послушайте, Крюков, – заговорил он, выпрямив сутулую спину, размахивая рукою, – что вам нужно? Я вовсе не хочу..

Раздражение, нервно стискивая ему горло, мешало говорить, он задышался, а сверху снова упал вопрос:

– Чего не хочешь?

– Вы – не смеете... я жаловаться буду!

– На меня? За что?

Спокойные вопросы ещё более раздражали; топая ногою, Миронов взвизгивал:

– Я не хочу, чтоб тут косили, рыли..

Легко, как птица, столяр спустился по воздуху в сад, схватил Миронова за плечо и, покачивая его, внушительно сказал:

– А ты – опомнись! С ума сошёл? Тебе работают даром, ты, неуч, благодарить должен, а ты..

Но Миронов уже и сам был смущён взрывом своего негодования, рука столяра точно воткнула его в землю и выдавила из него гнев. Он видел, что возчик, опираясь на лопату, ещё шире открыл свой рот и чего-то ожидает.

– Я – понимаю, – пробормотал он.

– Понимаешь, а – орёшь?

– Я, конечно, благодарю..

– То-то!

Столяр ткнул его пальцем в грудь, отошёл прочь к Артамону и стал строго говорить возчику:

брание сочинений в тридцати томах. Том 16. Рассказы, повести 1922–1925. Максим Горький gorkiymaxim.  
– Сучки подвяжи, понял? Малину, которая посохла, – прочь!

«Действительно – работают даром», – сообразил Миронов и, в благодарность за труд, решил угостить этих людей.

Через полчаса он сидел с ними в кухне за столом, кипел самовар, блестела водка в графине, стояли тарелки с маринованными грибами, квашеной вилоквой капустой, Артамон пил водку и чай, как телёнок молоко, много ел, противно чавкая, мычал и посапывал, а столяр, ловко вылавливая вилкой самые маленькие и красивые, скользкие грибы, брал рюмку двумя пальцами, смотрел водку на свет, прищуривая глаз, а выпив, морщился и говорил:

– Х-ха!

Нельзя было не заметить, что он всё делает как-то особенно легко, ловко и по-своему. Неприятный человек, но – интересный. И едва ли он сумасшедший. Нет, он – хитрый.

– Человеку, который нравится мне, я могу сделать всякое удовольствие, – говорил столяр, держа рюмку двумя пальцами, брезгливо оттопырив три. – Однакож я прямо скажу: люди мне не нравятся, люди – глупы.

– О-у, дьявол, – рычал Артамон, отвалиясь к стене, выпятив нечеловечески широкую грудь.

– Сам я – умный. Я – способный. Всё могу, всё умею сделать, ну, только у меня к простым делам интересу нет...

Миронов, выпив две рюмки водки, противной ему, чувствовал туман в голове и сквозь туман молча слушал хвастливые, как всегда, слова столяра, не чувствуя ничего, кроме скуки, сосущей сердце. Ему стало очень неприятно, когда Артамон, задремав, громко всхрапнул и, тотчас же проснувшись, испуганно, виновато взглянул на столяра, а тот, подкрутив пальцами обеих рук свои золотистые усики, сказал возчику:

– Ну, ступай домой; наелся, напился, верблюд...

Артамон покорно ушёл, а столяр заявил, что желает посмотреть комнаты; Миронов тоже послушно, как возчик, привёл его в свою спальню, светлую, с окном в сад и другим на улицу; там столяр, нахально ткнув кулаком в постель, сказал:

– Мягко спишь.

Затем, посмотрев на полку, где стояли книги, спросил:

– Читал?

– Читал.

– Все?

– Все.

Миронову показалось, что вопросы нежеланного гостя звучат насмешливо, а поведение его становилось всё более бесцеремонным. В маленьком зале со множеством цветов на подоконниках трёх окон и на двух фигурных лесенках, искусно сделанных отцом, столяр молчал с минуту, прочно утвердись среди комнаты, потом сказал:

– Жениться надобно тебе.

Все вещи как будто протестовали против этого гостя, босого, с ремнём на голове, сухо скрипели половицы, дребезжало стекло лампы на столе, позванивало в шкафе с праздничной посудой, с подарками знакомых и отца-матери. Миронову было обидно, что столяр смотрит на всё, как на известное ему и обыкновенное, ничему не удивляясь, ничего не хваля.

«Конечно – завидует, но притворяется, что равнодушен, чёрт...»

Стекло в шкафе зазвенело громче – это столяр постучал пальцами по дверце.

– Глобус?

– Да.

– Вещь знакомая. Примерное изображение земли. Почему – медный?

– С музыкой.

– Не бывает, – сказал столяр, отрицательно покачав головой, и потребовал: – Покажи!

Миронов открыл шкаф, поставил глобус на стол и начал вертеть его; некоторые шпеньки уже выпали, другие – стёрлись; в стальной гребёнке не хватало зубцов, но всё-таки ещё можно было разобрать, что земной шар, вертясь вокруг оси своей, тренькает устало:

Чижик, чижик, – где ты был?

Столяр отшатнулся от стола, прислушался и негромко спросил:

– «Чижик»?

– Да, – ответил Миронов, грустно улыбаясь своим воспоминаниям и всё вертя глобус. Тогда столяр остановил руку Миронова, сам пощупал континенты, океаны, щёлкая ногтем медь, сел на стул, подумал.

– Это – откуда у тебя?

– Отец сделал.

– А почему – «Чижика» играет?

– Песня – детская, я маленький был...

– Так, – сказал столяр и, засунув в рот свой конец бороды, стал задумчиво мять его губами. Потом вынул бороду изо рта, точно струю огня, и, щёлкнув пальцем по ледовитому океану, усмехнулся:

– Это штука забавная. Только – «Чижик», пожалуй, не соответствует инструменту, на нём – учатся, а тут – «Чижик». Ерунда! Что ж, отец – умный был?

– Да. Очень. Он был весёлый...

– Чудаки, – сказал столяр, всё присматриваясь к глобусу. И, вздохнув, поглаживая медь пальцем, окрашенным политурой, суховато и насмешливо заговорил:

– Просто, а – премудро: капля воды, несколько кусков земли, и обучают, что это висит в воздухе. Замечательно. И предполагается, что живут на этом шарике миллионы людей, а? Ловко догадались. Ты, сирота, веришь?

– А – как же? Ведь и я тут живу и вы, – скучно ответил Миронов.

Столяр встал, протянул руку.

– Ну – спасибо. До свиданья...

В кухне он остановился, схватив себя за бороду, и, усмехаясь, сказал:

– Вся штука в размере головы твоей, но, между тем, – а? Очень замечательно! Ну, всё-таки, «Чижик» – не подходяще! Это, сирота, тоже озорство и расчёт на удивление. Всё равно, как свистнуть за обедней. Тут не «Чижика» надо, а, например, «Господи – помилуй». Или – церковное, или – военное, солдатский марш, – трам-бум, трах-тах-тах...

Так, напевая марш, он и ушёл, столяр.

брание сочинений в тридцати томах. Том 16. Рассказы, повести 1922–1925. Максим Горький gorkiymaxim.  
«Иди ты к чёрту!» – мысленно крикнул Миронов вслед ему.

Возвратясь в комнату, он хотел поставить глобус в шкаф, но заметил, что часть Северной Америки, лопнув, отклеилась, загнулась к югу.

– Это он содрал ногтем, болван!

Помуслив палец, Миронов привёл континент в должный порядок и повернул земной шар на оси, – раздалось тихое треньканье, зазвучала детская песенка, искажённая временем. Миронов вздохнул, думая:

«Пожалуй, это – верно. Лучше бы другое что-нибудь. А – что?»

Вспомнились песни, тоже неподходящие:

По улице довольно грязной,  
Шатаясь, шёл наш друг Иван  
Довольно пьян...  
Вспомнилась любимая песенка отца:

Семь су,  
Семь су,  
Что нам делать на семь су?  
Какие ещё есть песни?

Я хочу вам рассказать, рассказать, рассказать...  
Кусок Северной Америки снова отклеился, – странно было видеть, как голубоватая бумажка сама собою пошевелилась и завернулась стружкой.

«Завтра подклею гуммиарабиком. Почему столяр сказал, что надо бы «Господи помилуй»? Ведь он, конечно, тоже не верит в бога...»

Облокотясь на стол, почти касаясь глобуса лбом, Миронов безвольно отдал себя медленному потоку смутных, непривычных дум.

Голубой фасад дома и ставни окон мальчишки забросали грязью, исцарапали краску черепками, начертив неприличные слова; на верхней филёнке калитки кто-то, очевидно – взрослый, трудолюбиво написал свинцовым карандашом:

«Сей дом вверх дном живёт в нём, дурак».

Когда Миронов впервые прочитал это изречение, он обиделся, но, заметив, что запятая поставлена безграмотно, успокоенно подумал:

«Сам ты дурак!»

Улица всячески показывала, что голубой дом противен ей, но это не тревожило, не раздражало Миронова, – он жил подавленный другим, более тяжёлым и серьёзным. Столяр и возчик прилепились к нему, как две тени; Артамон, являясь почти каждый вечер, мёл двор, колол дрова, работал в саду и рычал; а столяр, явно чувствуя себя владыкой в доме, распоряжался починкой служб, наставлял безмолвную старуху Павловну в домоводстве; слушая его звонкие, строгие слова, она виновато наклоняла голову, а когда он отходил от неё, – быстро и незаметно крестилась. Это Миронов наблюдал не один раз, и это, заставляя его улыбаться над глупостью старухи, углубляло неприязнь к столяру.

Он чувствовал, что столяр затемняет его мечты о голубой, бездумной жизни, воздвигая перед ними почти ощутимую преграду неясных опасений, толкает его куда-то в сторону и в угол. Однажды он осмелился сказать столяру:

– Пустяки всё это...

– А ты – ну-ка, попробуй, поживи без пустяков-то, – строго ответил столяр.

Миронов начинал думать об этом человеке почти со страхом. Смущала ловкость движений столяра, – как-то уж слишком легко он двигался по земле. А тогда, в саду, – как плавно, птицей опустился он с забора, по воздуху! В памяти Миронова

брание сочинений в тридцати томах. Том 16. Рассказы, повести 1922–1925. Максим Горький gorkiymaxim. осело и тяготило её тревожное предчувствие чего-то необыкновенного, и когда он думал о Каллистрате, в ушах его раздавался скрип половиц, тихий звон стекла. Почему, когда он сам входит в зал, всё в нём остаётся неподвижно, а когда вошёл столяр – закрипело, зазвенело? В колдунов Миронов не верил, но слышал и читал о людях, обладающих особенной, таинственной силой, и ему казалось, что скоро, может быть, завтра же, наступит день, когда столяр обнаружит эту силу, – страшно обнаружит.

День этот наступил всё-таки неожиданно, – в воскресенье вечером столяр пришёл с девицей; толстенькая, на коротких ножках, она ослепила Миронова пунцовой, шёлковой блузой и жадным блеском множества мелких зубов, хотя рот у неё был маленький, точно рот окуня. Её надутые щёки пылали багровым румянцем, на пальце левой руки блестел розовый камешек, Миронову показалось, что и глаза у неё розовые, как у белой мыши...

– Зовут Серафима, – сказал столяр, подталкивая её к Миронову, – отличная девица!

Она улыбалась, от неё исходил раздражающий запах. Когда она села на стул, белая юбка её, туго натянувшись на огромных полушариях бёдер, приподнялась, обнаружив круглые, беспокойные ноги, она тотчас начала шаркать по полу подошвами, постукивать каблуками. Её тёмные волосы гладко причёсаны, заплетены в косу и, сложенные на затылке калачом, укреплялись большим, жёлтым гребнем, – это напомнило Миронову курицу.

– Фу, как ужасно жарко! – сказала она, обмахивая раскалённое лицо своё белым платочком.

Столяр нарядился в серый парусиновый пиджак, в синюю рубаху косоворотку с вышитой грудью, его суконные шаровары были заправлены за голенища ярко начищенных сапог, он, видимо, начистил и медную бородку свою, курчавые волосы на голове его извивались, как языки огня. Сухое, ястребиное лицо было строже и беспокойнее, чем всегда, зеленоватые глаза ядовито блестели, всё видя, всё понимая.

– Не избалована, понимает в хозяйстве и, видишь, в теле, – говорил он, следя, как отличная девица разливает в стаканы чай, а она густым, сладким голосом спрашивала Миронова:

– Вы – как любите, – крепко?

Миронов сидел против её, согнувшись над столом, он чувствовал, что у него дрожат глаза, кривятся губы и что ему неудержимо хочется высунуть язык и облизывать губы так же, как это делала отличная девица, слизывая варенье с ложки. Он нарочно улыбался, – пусть эта курица видит, как некрасивы его зубы.

Губы у неё очень красные, толстые, какие-то двухэтажные, они обсасывают косточки вишен добела, такие губы могут высосать всю кровь из человека. Слова столяра: «понимает в теле» и её вопрос: «вы любите крепко?» заставили его покраснеть, вызвав в памяти непристойные собачьи игры, он нарочно задел ложкой край стакана, опрокинул его, вылил остывший чай на колени себе, вскочил, выбежал на крыльцо, – дождь лениво кропил горячую землю, тихонько звенела листва деревьев, сизоватые тучи, суживая пространство, сгущали духоту.

«Он хочет женить меня на этой», – думал Миронов, ловя ладонями крупные, редкие капли дождя, растирая их, и чувствовал в воздухе раздражающий запах пота девицы, этот запах вызывал у него вместе с отвращением ещё иное чувство, тоже тяжёлое, но влекущее к ней.

– Не ожёгся? – спросил столяр, являясь на крыльце.

– Послушайте, – тихо, торопливо заговорил Миронов, прижав ладони к своей груди, – я не хочу жениться, пожалуйста – не надо!

Он вспомнил слова матери и – обрадовался, повторяя их, подняв кулак:

– Какой я муж? Муж должен быть – вот! И вы тоже говорили... Уведите её! Я лучше дам ей двадцать пять рублей и вам, если хотите, даже пятьдесят, – серьёзно!



брание сочинений в тридцати томах. Том 16. Рассказы, повести 1922–1925. Максим Горький gorkiymaxim.  
У него подгибались ноги, он чувствовал, что готов встать на колени перед  
столяром, а тот, стоя выше его на ступень, держа себя рукою за бороду,  
безжалостно усмехался и говорил неотразимо:

– Совсем одичал ты, Миронов, скука! Нет, женись тебя – обязательно! Ты тут  
заболтался в книжках, сирота, замечтался, у тебя кровь к голове приливает, ишь  
ты – какой, даже посинел! И губы трясутся – отчего? От этого самого, – пора жить  
законно! Заведёшь жену, пойдут дети...

– Не могу, не хочу я...

– На это тебя хватит, а удивлять людей – не пытайся, удивить тебе нечем! И –  
обжулят тебя вскоре...

Миронов опустил голову, а столяр взял его за руку, поднял к себе и, стряхивая с  
него пылинки дождя, говорил:

– Я – людей знаю! Покажут тебе, будто ты замечательный, будто они тобой  
интересуются, и – ограбят, обманут. Это – самое обыкновенное...

Закрыв глаза, Миронов видел, как по улице бежит табун мальчишек, швыряя жидкой  
грязью в голубые дома, все они – его дети, а отличная девица, сидя у окна, жуёт  
мочёные яблоки и пироги с рыбой, – он терпеть не мог мочёных яблок и этих  
пирогов.

Потом он снова сидел против Серафимы, она как будто ещё более вспухла, мячи её  
грудей тяжело поднимались, опускались, шевеля пунцовый, скрипучий шёлк; её  
маленький, круглый рот устало открылся; в пальцах, похожих на сосиски, она  
держала беленький комочек платка, часто отирая им потные виски, розовые глаза её  
улыбались, таяли; Миронов подумал, что пот её густ, как патока, такой же липкий,  
и, вероятно, ни комары, ни блохи не решаются кусать её резиновое тело.

А столяр, наливая в чай вишнёвой настойки,пил горячую, тёмную влагу, она  
окрасила его сухое лицо в бурый цвет, ещё более высветлила глаза и усилила  
неотразимость слов его. Бесстыдно, хвастливо он говорил:

– Для меня – первое удовольствие свадьбы устраивать. Я люблю шум, кавардак  
люблю, мне любезна всякая кутерьма и чтобы люди ходили вверх ногами. Когда  
молодёжь влюбляется – очень смешно глядеть...

Но, говоря это, он не смеялся, даже улыбки не было на лице его; следя за ним  
косым глазом, Миронов видел, что лицо только подёргивается, страшное лицо. И  
хорошо ещё, что сегодня столяр не налил на башку свою ремённый, чёрный венчик.

– Ты, Миронов, сирота, учись жить весело, извивайся свободно, согрешешь – не  
беда, отчёт давать тебе некому, хозяина – нет, понял? Кто твой хозяин, ну?

– Я – не знаю, – сказал Миронов, почему-то очень испуганный этим вопросом.

– То-то! Кабы не девица тут, я бы сказал, кому ты, в твои годы, служить должен,  
ну, при девице этого нельзя сказать, хотя она, конечно, знает, шельма! Знаешь,  
фимка?

– Ничего я не знаю, – сонно сказала отличная девица, и тотчас Миронов  
почувствовал, что до ноги его дотронулись, а потом крепко сжали её башмаки  
гостью. Это прикосновение, спугнув какую-то неясную, но важную и тревожную  
мысль, испугало Миронова; вырвав ногу свою, он подпрыгнул, закричал:

– Что вы?

Шея, подбородок, щёки, лоб отличной девицы густо покраснели, а столяр, хлопнув  
Миронова по боку, захохотал, вскрикивая:

– Знает, шельма, знает!..

Миронов плохо помнил, что было потом, когда столяр, смеясь, вышел из комнаты, а  
девица встала, улыбаясь подошла к нему.

брание сочинений в тридцати томах. Том 16. Рассказы, повести 1922–1925. Максим Горький gorkiymaxim.  
– Ах, какой вы, как сконфузили меня перед дядей...

Она сидела рядом с ним, спрашивала, любит ли он суп из гусиных потрохов, и тут Миронов сказал ей, что в Париже гусиные потроха бросают собакам, что там вообще не любят никаких пакостей и мочёных яблоков, что там живут благородные люди, никто из них не лезет насильно в чужой дом...

Затем какая-то сила приподняла его на ноги, закружила в густой горячей темноте, в ней исчезла эта отличная девица, но тотчас же явился столяр, схватил его за руки и спросил откуда-то издалека:

– Ты, что же, девицу толкаешь? Разве это можно? Она – племянница мне, а тебе ещё не жена. И посуду побил, – что такое?

Миронов слушал изумлённо; столяр стоял вплоть к нему, а голос его доходил откуда-то из-под пола, из-под ног; под ногами хрустели черепки разбитых чашек, и всё странно плыло куда-то, колебалось.

– Если ты слаб на вино – не пей! – строго внушал столяр, поднося к лицу его стакан синеватой воды. Миронов взглянул в глаза столяра и крепко зажмурился...

Проснувшись рано утром, Миронов подумал, что отличная девица приснилась ему так же, как лиса: большая, рыжая лиса быстро металась по небу, слизывая звёзды, и этим создавала такую душную, угнетающую тьму, что земля казалась сброшенной в бездонный колодезь, и только где-то далеко на горизонте остался полукруглый клочок ещё светлого неба, но и с него стирал звёзды лиловый поп Борис, выводя кропилом надпись:

«Сдаётся комната для одинокого».

Миронов вспомнил, что, испуганный этим сновидением, он проснулся и пошёл в кухню пить воду, но, наступив на что-то липкое, с отвращением снова лёг и, мучимый жаждой, долго не мог уснуть. Теперь, сидя на постели, он видел, что нога его и простыня испачканы вишнёвым вареньем, а влажный, только что вымытый пол окончательно убедил его: всё вчерашнее было в действительности. Тяжко вздохнув, он решил:

«Послезавтра продам дом и всё и уеду в Париж, сниму там комнату для одинокого. Надо учиться по-французски...»

Он тотчас взял с полки грамматику и, наугад раскрыв её, прочитал строгий вопрос:

«Que savez-vous sur Bernardin de St.Pierre?» [6]

Между страницами книги оказалась расплющенной маленькая, серая бабочка; разглядывая её, Миронов уныло задумался: приедет он в Париж, парижане станут спрашивать его о святом Бернардине, а он ничего не знает о святом...

Закрыв книгу, Миронов сунул её под подушку и засмеялся, обрадованный внезапно вспыхнувшей, очень простой и верной мыслью: ведь удивительно хорошо и удобно знать только самые необходимые слова, не зная все остальные! Это даёт право не понимать людей, не думать о том, что они говорят, – именно это вполне обеспечивает спокойную жизнь!

– Это – так, это – так! – забормотал он, кивая головой и глядя, как маятник часов, ползая по стене, безуспешно пытается срезать с обоев два букета голубых цветов.

«Почему – продавать дом послезавтра? Я сегодня же продам. А столяра в Париж не пустят...»

Он засмеялся в лицо старухи Павловны, незаметно явившейся пред ним, – пошёл по комнатам, осматривая, оценивая мебель, цветы, и быстро сосчитал, что всё это надо продать за четырёста семьсот рублей.

– Так не считают, – вслух поправил он себя, – это будет тысяча сто.

брание сочинений в тридцати томах. Том 16. Рассказы, повести 1922–1925. Максим Горький gorkiymaxim. Но он чувствовал, что ему приятнее считать именно в двух числах, – они давали вдвое больше нолей, чем тысяча сто, а в нолях такая утешительная простота.

– Ноли – ноли – ноли, – запел он.

Павловна, идя вслед за ним, строго позвала его пить чай.

Выпив стакан чая, почему-то очень горького, он решил уйти в поле, за реку, лечь там на песок в кустах можжевельника, пролежать весь день, а когда стемнеет – пробраться в город и ночевать в гостинице.

«Вот и найди меня!»

Но он передумал, – взял удочки и пошёл на реку. Выходя из ворот, он увидел в одном из окон дома Розановых Лизу, протиравшую стёкла, быстро подбежал к ней и сказал тихонько, торопливо:

– Совершенно необходимо переговорить с вами насчёт Парижа, пожалуйста, приходите вечером на кладбище...

Лиза отшатнулась, исчезла, не ответив ни слова, но это не смутило его, он был уверен, что девушка придёт. Рыбу он не удил, а пролежал весь день на берегу реки в кустах, глядя в небо – чистое, не возбуждавшее никаких тревог и дум; он дремал, просыпался и снова дремал до часа, когда солнце, как всегда распухнув и покраснев, почти коснулось крыши главного здания колонии душевнобольных.

Возвратясь домой, он поужинал, надел праздничный костюм и – сообразил:

«Придёт столяр, спросит: куда собрался? Пойду в сад...»

Но выйдя на крыльцо – сел на ступени лестницы.

«В саду – столяр увидит меня. Я – очень умный, очень догадливый, это потому, что я не люблю думать...»

Из земли чисто выметенного и выбритого Артамоном двора торчали, точно дудки, пеньки срезанного репейника, в один из них заглядывала мышь. Вдыхая теплый, влажный ветер, Миронову казалось, что эти дудки высвистывают тихонько знакомую, успокаивающую мелодию детской песни; свистят они так тихо и ласково, что даже мышь не боится игры звуков. Он видел перед собою тоненькую девушку в голубом платье, слышал её речь, необыкновенно приятно говорила она, он не понимал смысла слов, но тем нежнее звучали слова. Он думал, что продаст дом её отцу, дешево продаст и за это отец позволит ему увезти Лизу в Париж, в комнату для одинокого.

Миронов долго сидел в состоянии полузабытья и очнулся разбуженный криками, топотом мальчишек, они ловили кого-то, вечернюю тишину пустынной улицы грубо рвал звонкий вой:

– Забегай-и, держи-и...

Миронов встал, – маленькие стенные часы в кухне предупредительно ударили восемь раз.

– Пора, – сказал Миронов, – пора!

Вышел за ворота и, помахивая тросточкой, пошёл вверх по улице к песчаным холмам, на их серых горбах изогнулся кирпичный, покрашенный мелом квадрат ограды кладбища, тускло поблескивала жёсть креста часовни. Кладбище было новое и не густо засеяно могилами; между могил сиротливо торчали засыхавшие в почве, ещё недостаточно удобрённой трупами людей, рыжие сосны, чахленькие берёзы; серые былинки, пронзая песок, сиротливо тянулись к небу, пыльно-зелёные комья травы прятались в тени по бокам могил.

Миронов медленно шагал по дорожке, усыпанной щебнем; муравьи тащили палочку сухой хвои; он прицелился тростью в муравья, ткнул, не попал и, усмехаясь, сказал:

– Ну, всё равно, живи!

Через ограду видна была полоса дороги, по которой должна была подняться сюда Лиза Розанова. Там, внизу, стекали к свинцовой реке два потока домов и садов; изредка между ними появлялись, исчезали игрушечные фигурки людей, – Миронов погрозил им тростью, говоря:

– Всем вам быть здесь, а я – в Париж! У-у, надоели...

За рекою дымила грязным дымом труба завода, пачкая небо, ещё красноватое на горизонте; сбоку на красноватое пятно надвигалась тёмная и какая-то хвостатая туча, – Миронов вспомнил любимое словечко столяра: «Скука».

И тотчас увидал его: держа бороду в кулаке, сунув другую руку за нагрудник передника, столяр медленно, равномерным шагом шёл, как бы измеряя землю около дороги, поднимался вверх к песчаным холмам.

Миронов замер на месте, сдерживая дыхание, сразу поняв:

«Следит за мной. Только что я подумал о нём, он – тут!»

Столяр прошёл сорок пять шагов; круто повернул в поле, в сторону от дороги, к двум старым соснам, всё время ведя сам себя за бороду.

– Врёшь, не обманешь, – тихо сказал Миронов и присел у ограды на корточки, следя за столяром в сквозной квадрат между кирпичами. Дрожали ноги, и где-то в теле, в груди, дрожал злой испуг. Миронов встал на колени, прижался грудью к тёплым кирпичам и, размахнув руки, как бы распяв себя, сунул кулаки в отверстия ограды, показывая столяру кукиш и бормоча:

– Врёшь, врешь...

Тот, внизу, снова подошёл к дороге, остановился и начал что-то делать руками, – Миронов тотчас понял: столяр хочет убедить его, что считает на пальцах. Столяр стоял спиной к нему, смотрел в улицу, откуда сейчас должна выйти Лиза, и когда она выйдет... Невозможно представить, что случится тогда, но, конечно, будет что-то страшное. Миронову хотелось кричать. Но Лиза не появлялась, а тот снял с головы чёрный свой венчик, угрожающе встряхнул волосами, снова надел ремешок и не спеша пошёл вниз.

«Спрячется где-нибудь и поймает её или меня...»

Миронов уже ясно сознавал, что сам он спрятаться от столяра не может, столяр везде найдёт его, заставит жениться на отличной девице, заставит делать всё, чего он, столяр, пожелает, сделает его своей собакой, как сделал силача Артамона.

Крепко прижавшись лбом к шероховатому кирпичу, Миронов вдруг вспомнил вопрос столяра: «Кто твой хозяин?»

Отвратительно усмехнулся столяр, спросив об этом.

«Он знает, что меня некому защитить, он знает это...»

Там, внизу, где спрятался столяр, из-за края земли, горою, как дым большого пожара, вздымались облака, такие плотные, что наверное по ним можно ходить.

Вздрагивая от страха, он вспоминал речи столяра, всё более глубоко проникая в их смысл.

«Тебе удивлять людей – нечем», – удивлять людей, значит: жить не так, как все, а главное – не думать ни о чём, кроме обыкновенного. Жить, чтобы никто не мешал. Но, видимо, так жить нельзя, когда есть столяр, он, лукавый, понял, что человек не имеет хозяина, сирота – человек, и вот делает с ним всё, что хочет.

– Конечно – так, конечно, – почти кричал Миронов. – Они все говорят – бог, бог, а распоряжается столяр... Как собаками. Как будто охотник...

Эти гневные, горестные догадки подавляли Миронова. В то же время он ясно ощущал

брание сочинений в тридцати томах. Том 16. Рассказы, повести 1922–1925. Максим Горький gorkiymaxim. их бессилие, чувствовал, что они не нужны ему, что столяр насильно вогнал в него эти мысли, – до знакомства с ним таких мыслей не было.

Над кладбищем ползли измятые, серые тряпки облаков, замазывая небо грязными пятнами; вот так же мать, пьяная, хватала грязную тряпицу и, вытирая ею стёкла окон, шкафа, зеркало, замазывала прозрачность масляными ласинами.

Повеяло сыростью, песчаные холмики могил потемнели; Миронов встал, посмотрел на дорогу, она как будто ушла в землю, тогда быстро, но стараясь, чтоб щепень и песок не скрипели под ногами, он пошёл домой, а войдя в улицу, увидел, что окна Розановых ещё освещены. Он подбежал к окну, постучал в раму тростью, и, когда на улицу высунулось круглое лицо Клавдии Стрепетовой, тихо сказал:

– Скажите ей, чтобы опасалась столяра!

– Что? – тоже тихо, испуганно спросила девушка. – Да, да, он – следит...

Окно закрылось, точно какая-то большая птица сложила крылья; Миронову послышалось, что за стёклами раздался крик испуга, потом – смех. Оглядываясь, он перешёл улицу, вошёл на свой двор – с крыльца поднялось что-то маленькое, тёмное, оно издали, не касаясь Миронова, толкнуло его в грудь, он отшатнулся.

– Кто это, кто?

– Ну я, – ответил голос Павловны.

Миронов присмотрелся, – да, это она.

– Столяр спрашивал.

– Меня нет дома, – строго, но тихо сказал Миронов. – Меня никогда нет дома...

Вошёл в свою комнату и, не зажигая огня, не шумя, разделся, лёг в постель. Не спалось, покусывали комары, щипала тревога, и казалось, что столяр где-то близко, возможно, что он в саду, притаился под окном или сидит на крыше, около трубы, держа себя за бороду, придумывая, что завтра сделать с Мироновым. Сбрасывая одеяло, Миронов садился на кровати, спускал ноги на прохладный пол, прислушивался, – всё было тихо, по крыше лениво стучали капли дождя; комнату наполняла плотная, тёплая тьма, в ней одиноко ныл заплутавшийся комар. Миронов взял подушку, положил её себе на колени и – ждал:

«Комара надо убить».

Его покачивала усталость, он валился на бок, дремал, не выпуская подушку из рук, и, снова просыпаясь от какого-то внутреннего толчка, садился на кровати, слушал, наблюдал, как медленно, сквозь неподвижные, тёмные листья цветов на окне, комнату наполняет сероватая пыль рассвета, присматривался к суетной, бессвязной возне воспоминаний, покорно ожидая, когда всё это оборвётся, исчезнет. Был такой момент: вдруг всё сжималось тяжёлым комом и сбрасывало Миронова в чёрную пустоту, в безмолвие, в неподвижность.

Этот момент наступил, когда уже взошло солнце, облив стёкла окна расплавленным жемчугом, – Миронов оглушённо свалился на постель, уснул, но тотчас же, как показалось ему, был разбужен странным каким-то скрипом.

В комнату вошёл человек, одетый в жёлтое, пронзительно скрипя, он бесцеремонно сел на кровать, взял руку Миронова одной своей коротенькой, влажной рукой, вынул из кармана чёрные часы и, глядя на них, спросил высоким голосом, в тоне старого приятеля:

– Ну, что же мы чувствуем?

– Ничего не мычуствуем, – сердито ответил Миронов.

– А что же вам болит?

– Что такое – вамболит? – задорно и насмешливо спросил Миронов.

брание сочинений в тридцати томах. Том 16. Рассказы, повести 1922–1925. Максим Горький gorkiymaxim.  
– А спали как?

– Лёжа.

Мионов засмеялся, восхищаясь бойкостью и остроумием своих ответов. Он чувствовал себя бодро, даже весело, а человек этот нравился ему, хотя он дышал запахом ваксы, но – тучный, коротенький – смешно напоминал ожившую игрушку «ванька-встанька». Лицо у него было надутое, синее, и по синеве его забавно плавали какие-то необыкновенные, жёлтые глаза, как звёзды без лучей, – такие звёзды бывают влажными ночами. Мионов взглянул в окно, – по небу быстро плыло синеватое облако, напоминая что-то вчерашнее, неприятное...

Щёлкнув челюстью, человек потёр ладонью свой синий подбородок и сказал:

– Вы меня знаете, – нет? Я – фельдшер Исаков, Исааков...

Мионов несколько смутился спросил:

– Который час?

– Половина первого.

– Ого! Я есть хочу.

– Это очень полезно, – одобрил фельдшер Исааков, засовывая в карман жилета чёрные часы.

В комнате стало светло, слова плавали в солнечном свете радужными пузырями, следя за их полётом, Мионов сказал:

– Вот и всегда бы так!

– Что?

– Всё.

Он и внутри себя чувствовал радостное, лёгкое, приподнимавшее его с земли. Босый, в нижнем белье, он пошёл в кухню умываться, но в двери остановился, увидав склонённую над столом светлую голову в тёмном венчике, – столяр, согнувшись, что-то писал карандашом в грязной, растрёпанной книжке. Мионов бесшумно повернулся и сел на постель. Всё бодрое, радужное тотчас погасло.

– Что такое? – нараспев спросил фельдшер, щупая его виски липкими пальцами, – Мионов отвёл его руку, тряхнул головою, спросив шёпотом:

– Это он вас привёл?

– Ну да! А – что?

– Он – где ночевал?

– Я знаю разве? Ночуют обыкновенно дома.

– Он – необыкновенный.

– Почему?

Мионов не ответил на этот и несколько других вопросов фельдшера; упираясь руками в край постели, он покачивался, кусал губы и напряжённо думал: как избавиться от столяра?

Скрипя подошвами, фельдшер ушёл в кухню, а Мионов, подбежав к окну, начал сбрасывать горшки цветов с подоконника в сад, он уже занёс ногу на подоконник, когда железные руки схватили его сзади под мышки. Не видя, он знал, чьи это руки, и, не сопротивляясь, подчинился их силе, молча позволил отвести себя на постель, опрокинуть на спину. Крепко закрыв глаза, он слушал шёпот двух голосов и, различая во тьме серенькие крючки слов, следил, как они, ловко сцепляясь, образуют непонятное. Вот фельдшер шепчет:

– Авыда, вноза...

Эти слова летели сквозь него, как серые, шероховатые тени, тревожно волнуя, – он открыл глаза.

– Ты что же это, сирота, а? Захворал?

Зелёные лучи глаз столяра разбудили у Миронова смутное воспоминание: он видел где-то эти два луча, это острое, ястребиное лицо, видел давно, ещё будучи маленьким.

– Ну, что смотришь, – не узнал?

«Сам напоминает», – подумал Миронов и сказал:

– Кажется, я вас видел...

– То-то.

– Надо брому.

«Добрый – это я, – соображал Миронов, – они дадут яду, я думаю...»

Он отодвинулся к стене, сел, поджав ноги, опираясь о стену затылком, уставил глаза в угол, в потолок и вздрогнул, похолодев: на потолке отчётливо выступил зелёный квадрат картины «Смерть грешника», на краю картины, безмолвно смеясь, стоял остромордый дьявол с козлиной бородой. Всё сразу стало понятно и остановилось. Вот почему Столяр испортил голубой дом и так легко скользит по воздуху, вот почему он любит устраивать кутерьму и кавардак.

«Кто твой хозяин?» – спрашивает он, торжествуя, потому что знает: Миронов Константин не верит в обыкновенного бога, обыкновенных людей. Всё – ясно. Но – что же делать? Было очень страшно и жарко. Не разгибая ног, не разняв рук, обнявших колена, Миронов повалился на бок.

– Я спать хочу.

– А кушать? – спросил фельдшер.

– Спать буду.

– Это тоже полезно.

Они ушли. Столяр тихонько сказал:

– Как дитя...

Этим он мог обмануть фельдшера, но не Миронова, Миронов уже понял, догадался, что надо делать, но – прежде надо спрятаться от Столяра.

Полежав несколько минут, чутко прислушиваясь к тишине, он встал, накинул на голову простыню, укутался ею, взглянул в зеркало и, вздохнув, пожалел, что у него нет бороды, – с бородой он был бы похож на воскресшего Лазаря. И тотчас трепетно отшатнулся от зеркала, определённо ощутив, как блестящая глубина потемнела и тянет его в себя, требует, чтоб он упал в неё. Он схватился рукою за косяк двери, тихонько прошептал:

– Я – сейчас, господи, я иду...

Он заглянул в дверь, кухня была пуста, на столе, солнечно сияя, стоит самовар, седенькие ключья пара вьются над ним. Миронов подошёл и повернул кран, – сделать это было необходимо. Но когда, дымясь и тая, на поднос потекла стеклянная струя воды, он испугался, замер, прислушиваясь: где-то на дворе шамкала Павловна и, точно удары молотка, звучали слова Столяра:

– Сам? Ну?

брание сочинений в тридцати томах. Том 16. Рассказы, повести 1922–1925. Максим Горький gorkiymaxim. Сам – это, конечно, бог, тот, простой бог всех людей. Значит, проклятый Столяр уже понял, что Миронов идёт к нему, простому богу. А может быть, он сказал: «Сомну!» – угрожая старухе.

Задерживая дыхание, едва касаясь ногами пола, Миронов вышел в сени, поднялся по лестнице на чердак, вдохнул много жаркого, едкого запаха пыли, кошек, птичьего помёта и притворил за собою дверь, встал на колени лицом к голубому полукругую слухового окна и запел, крестясь, кланяясь:

– «Спаси, господи, люди твоя...»

Но, забыв дальнейшие слова гимна, он подумал, встал, подошёл ближе к окну, громко сказал в небо:

– Я – виноват, виноват, я верую, я прошу...

Но Столяр был ближе бога, он услышал покаяние жертвы своей и закричал тревожно:

– На чердаке ищите!

Миронов бросился к двери и начал стаскивать к ней всё, что было на чердаке, – поломанную мебель, какие-то ящики, корзины, доски, заваливая этим хламом дверь, он крестил его и бормотал:

– Господи – помилуй!

А Столяр уже вбежал на лестницу, торкался в дверь и всё кричал:

– Константин, – брось дурить! Отопри! Что ты? Слушай, что скажу...

– Боишься? – громко спросил Миронов и засмеялся, чувствуя себя в безопасности, зная, что Столяр не может преодолеть знамение креста.

– Константин! Али я тебе не приятель?

– Нет, – решительно крикнул Миронов и, схватив кирпич с дымохода, бросил им в дверь; удар пришёлся по дну ящика, и гулкий звук увеличил решимость Миронова сопротивляться Столяру. У двери всё ожило силою Столяра, шевелились стулья, скрипели и падали ящики, Миронов смотрел и смеялся над бессилием врага.

Но вот, уступая напору его, дощатая дверь треснула, приоткрылась, вещи распались, раздвинулись, упала и дверь, в раме её явился во весь рост Столяр, – это изумило Миронова, но всё-таки он успел схватить ещё кирпич и швырнуть им под медный клин бороды Столяра, – тогда Столяр крикнул, взмахнул голыми по локти руками и с треском, с громом покатился вниз, а Миронов, исступлённо радуясь, прыгал, кричал, бросал вслед врагу своему всё, что мог бросить, и хохотал, слыша тоже исступлённый вой отчаяния:

– Пожарных надо! Водой! Погубит он себя...

Миронов оборвал свой смех, прислушиваясь. Там, внизу, гудели голоса людей, взвизгивали мальчишки, и весь шум покрывал солидный бас, знакомый голос уважаемого Ивана Ивановича Розанова.

– Ты сам и свёл его с ума.

– Да, – крикнул Миронов, – это он, он! Вы знаете – кто он? Видите? Ага!

Он задышался от радости, – все поняли, кто таков Столяр, он уже хотел сойти вниз, но его остановил тревожный крик Столяра:

– Только – не бей, Артамон, гляди, не бей, прошу!

Значит – Артамон тоже понял Столяра и возмутился против него? Но возчик боком протиснулся в дверь, не глядя растолкал пинками и ударами колен всё, что лежало на пути его, и, вытянув руки, растопырив пальцы, свирепо открыв трёхугольный рот, шёл на Миронова, рычал:



брание сочинений в тридцати томах. Том 16. Рассказы, повести 1922–1925. Максим Горький gorkiутахіт.  
– Ну, чего ты, чего, а?

Было ясно, что Столяр приказал возчику считать Миронова лошадью.

– Я – не лошадь, – забормотал Миронов, поражённый хитростью Столяра, отступая от рук, вытянутых, как оглобли, а возчик лез на него и гудел:

– Ну, не бойся, чего ты?

На голову Миронова опустилось твёрдое, горячее, он уже не мог двигаться дальше, возчик загнал его в жаркий, железный угол; тогда Миронов сделал последнюю попытку спастись от Столяра, – он опустился на четвереньки и пополз встречу Артамону, но тот схватил его поперёк тела, приподнял, опрокинул вниз головой и рывкнул:

– Поймал!

Мироном ударился головой о жёсткую пыльную тьму, тело его как бы растаяло, разрушилось.

Потом тьма медленно расплылась, Миронов почувствовал, что лежит на чём-то мягком и качается, летит; ноги и руки у него отломлены; голова неестественно раздулась и стала так тяжела, что нет сил поднять её; в ней кружились, стирая друг друга, светлые и чёрные пятна, чуть слышно звучала мелодия песенки отца:

Семь су,  
Семь су,

Что нам делать на семь су?

Над ним ослепительно сияло голубое небо, в мягком этом свете плыли белые, неясных форм, фигуры, увлекая его; вот две из них склонились над ним, умело и быстро приделали ему новые, очень слабые руки и ноги, вычистили голову, сделали её лёгкой, точно пустой, и, качая, понесли его выше, в голубое. Миронов понял, что бог услышал его и похитил с земли, послав за ним ангелов. Так это и было: вот он, бог, сам явился пред ним, белый, высокий, в золотых очках, он ответил на радостный крик Миронова безмолвным, но ласковым кивком головы и проплыл мимо, опажнув лицо его прохладным веянием и запахом цветов.

Восхищение Миронова было тем сильнее, что он видел не простого, старого бога обыкновенных людей, но настоящего, мудрого создателя бесконечной, певучей тишины. В его мире всё было тихо, ласково; необыкновенно прозрачная, почти невидимая вода омыла Миронова, и когда создатель голубой тишины снова явился пред ним, Миронов уже знал, что с этим богом необходимо говорить на языке Парижа.

– Je vous remercie, mon Dieu, – сказал он, – je vous remercie, que vous... [7]

У него не нашлось больше слов, и он продолжал по-русски:

– Вы извините, я ещё плохо знаю язык, мне трудно. Мне было страшно трудно! Тот, старый, простой бог не имел силы помочь мне. Я не люблю его, я хотел к вам, давно уже...

– А – как давно? – спросил создатель голубой тишины, отечески ласково глядя в глаза его, поверх очков.

– Toujours – всегда, – сказал Миронов и спросил: – Я ведь не опоздал?

– О нет! – улыбнулся создатель. – Ко мне – вообще – не торопятся.

Миронову послышалось, что это сказано с грустью, с упрёком.

– Oui [8], – согласился он, чувствуя, что голубые мысли и слова меркнут в голове его, тревога покалывает сердце, – тревога, что не успеет он сказать всё, что нужно. – Да, да, – они там не торопятся; они все женятся на отличных девицах, на фимках, на Серафимках, чёрт их возьми – pardon! Они там, знаете, как собаки, – ужасное бесстыдство! Потом – рожают, едят мочёные яблоки и жадничают, жадничают невероятно! А я – вы это знаете – ничего не хочу... Бог, – тот, обыкновенный, их бог, не обращает на них никакого внимания, и всем командует Столяр, вы, конечно,

брание сочинений в тридцати томах. Том 16. Рассказы, повести 1922–1925. Максим Горький gorkiymaxim. знаете! Вы знаете – я первый понял Столяра, он – дьявол пустяков, кутерьмы, дьявол кавардака. Он выдумал свадьбы, мочёные яблоки, пьянство, пироги с рыбой, игру в карты и всё, чего я не люблю, не хочу, не хочу...

Вспомнив о проклятом Столяре, Миронов рассердился, начал кричать, но создатель голубой тишины взял его за руку и, перелистывая другою рукой книгу законов своих, спросил ласково:

– А голова – часто болит?

«Голова – la tete», – вспомнил Миронов и, подняв руки, пощупал голову свою, – она была гладкая, холодная, как глобус.

«Предполагается, что это висит в воздухе», – вспомнил он, сжимая голову ладонями, пробормотал эти слова вслух и жалобно запел:

Чижик, чижик, – где ты был?

– Много присочинил? – спросил я доктора Александра Алексина, когда он рассказал мне историю этой болезни.

– Конечно, ты бы присочинил больше [9], – ответил он, усмехаясь. – Историю эту рассказал мне коллега, когда я лечил перелом руки Миронова. Миронов этот выбросился из окна, увидав столяра, который пришёл навестить его. А на днях я снова встретил Миронова, он явился ко мне с бронхитом. Разговорились, вспомнили друг друга. Его трудно забыть, – рожа незабвенная. Он, кажется, большой жох [10], хотя вид у него кисленький. Это его «Переплётное заведение» на Морской...

Константин Дмитриевич Миронов заглянул скучным, тёмным глазом на дно стакана, усмотрел там нерастаявший сахар, тщательно выскреб его чайной ложкой, отправил в рот и, облизнув жёсткие усы, вздохнул.

– Да, вот какой случай вывиха разума! Что ж, – приступим к делу?

Тонкими пальцами очень длинных рук он взял карандаш, кусок бумаги.

– По рекомендации уважаемого доктора Алексина и как вы сами тоже книжный человек, я вам поставлю за кожу... за коленкор... Дорого? Ну, что вы! Как раз в меру стоимости...

Он подробно рассказал о ценах материала, о капризах рабочих, о тяжести налогов и о многом другом, что должно было убедить меня в его бескорыстии. Говорил и гладил ладонью свой бугроватый, по-татарски обритый череп, с большими ушами, они оттопырились, напоминая ручки чемодана. Большой, серый нос опускался на жёсткие щётки подстриженных усов. Скулы его странно двигались, глуховатый голос звучал однотонно, бесцветно, казалось, что Миронов жуёт и сосёт свои слова. В маленькой, тесной комнатке очень душно от запаха кожи, клея и машинного масла. Где-то в углу, над шкафом с книгами, неохотно погибала муха.

– Скажите, – как вы почувствовали, что разум возвращается к вам?

По столу, щупая бумаги, цепко ползает пальцы правой руки с чёрными ногтями. Глядя тусклым, косым глазом в угол, где погибала муха, Миронов неохотно говорит:

– Я ведь почти забыл всё это, да вот доктор понудил вспомнить. Неинтересно и стыдно несколько; даже – обидно, если подумать, что люди сходят с ума вообще на чём-нибудь умном, например – царями воображают себя, зверями, – вообще что-нибудь возвышенное или смешное затемняет душу, а у меня – глупость! Там был один инженер, так он вообразил себя шахматным конём, прыгает перед дверью направо, налево, а в дверь не может попасть, – смешно. Когда тамошний доктор рассказал мне, что я его за бога принял, – очень неприятно было мне слышать это, хотя доктор – человек приличный. Но всё-таки...

– Столяр? Столяр, конечно, помер; впрочем – не особенно давно, года четыре тому назад, когда я уже здесь жил; я ведь здесь девятый год по случаю слабости груди. Он предварительно спился, столяр. Пришлось мне судиться с ним, – за одиннадцать месяцев, покамест я хворал, он, своевольно управляя моим имуществом, такого нагородил!.. Он был действительно безумный, вроде вот этих писателей – поэтов...

Миронов ткнул пальцем в какую-то книгу, – обложка с неё была сорвана, – покашлял, погладил горло.

– Как же, книги я читаю в свободное время. Больше – на ночь. Нет, книги на меня не действуют. Да и неинтересно пишут теперь. Любовь, любовь, но ведь не все в этом нуждаются.

– Французский язык полезен для корешков; французских книг переплетаю немало. Итак: тринадцать томов в кожу, – библия, конечно, по другой цене, это книга толстая...

– Что это, как вас столяр интересует? – спросил Миронов как будто обиженно и продолжал вялым тоном:

– Обыкновенный субъект, вполне достойный своей участи. Был у него расчёт женить меня на племяннице своей, вот он и кавардачил, глядя на моё, как уж на своё. Ну, я с Розановым, тестем моим, довольно основательно прижал его, он Розанову за лесной материал сильно должен был.

Слушая неохотную речь Константина Миронова, я испытывал настойчивое желание вновь свести его с ума. А он говорил, вежливо покашливая:

– Лизавета Ивановна скончалась, родила мне мёртвенькую девочку и сама – вслед за нею. Я теперь на здешней женился. Ничего, благодарю вас, живу спокойно; хотя мать у неё гречанка, но сама она оказалась женщиной приличной. А с той – откровенно скажу – я не нашёл покоя; была она капризна, слезлива и вообще – тяжёлого характера. Притом – богобоязненна, даже, извиняюсь, до смешного, всё у неё крестики, иконки, разговоры о чудесах. Смерти боялась.

Кашлянув, Миронов нахмурился и сказал поучительно:

– Хотя – чего же тут бояться? Надо помнить казацкую поговорку: «Пока я есть – смерти нет, смерть придёт – меня не будет». Очень правильно. К этому добавляется: «Раньше смерти – не умрёшь».

Он усмехнулся, Миронов, показав ровный, мёртвый ряд вставных зубов.

– На именины мои, представьте, Лизавета Ивановна подарила мне кольцо с черепом, а я терпеть не могу человеческих костей! Тоже фантастическая была, вроде безумной. С Розановым после смерти её пришлось мне судиться из-за приданого. Он, конечно, почтенный человек, но уж очень жаден... Продолжим? «Дон-Кихот», два тома – в кожу?

– Нет, вы уж не торгуйтесь! Ведь рассказ о временном несчастье моём, наверное, даст вам заработать...

– Вы и это учитываете?

– А – почему нет? – спросил Миронов не без удивления. – Всё надо учитывать. Жизнь требует точности, кто её в этом слушает, к тому и богиня Фортуна благосклонна.

«Нет, – подумал я, – Константина Дмитриевича Миронова уже никто и ничто не сведёт с ума».

И спросил:

– А глобус – сохранился у вас?

Глядя на бумажку с цифрами, поглаживая затылок, Миронов ответил:

– Глобус столяр, должно быть, хотел исправить, но окончательно сломал всю музыку...

Рассказ о необыкновенном

В одном из княжеских дворцов на берегу Невы, в пёстрой комнатке «мавританского» стиля, загрязнённой, неуютной и холодной, сидит, покачиваясь, человек, туго

брание сочинений в тридцати томах. Том 16. Рассказы, повести 1922–1925. Максим Горький gorkiymaxim. одетый в серый, солдатского сукна кафтан. Ему за сорок лет, он коренастый, плотный и хром на левую ногу. Сидит он вытянув её, на ней тяжёлый, рыжий сапог. Правую ногу он крепко поставил на паркет и, в сильных местах речи своей, притопывает каблуком, широким, точно лошадиное копыто.

На черепе его встрёпаны сухие волосы мочального цвета, на скулах и подбородке торчат небогатые кустики жёлтых, редких волос, под неуклюжим носом топырятся подрезанные усы, напоминая вытертую зубную щётку.

Большеротое, зубастое лицо этого человека неинтересно, такие щучьи лица, серые, угловатые, с глазами неопределённой окраски, – обычны в центральных губерниях России. Такие лица обычно освещаются небольшими глазами; глаза эти смотрят в землю, в небо и, почти всегда, мимо человека; во взгляде их чувствуешь некоторую духовную косоватость и недоверие существа, многократно обманутого людьми. Но нередко где-то в глубине зрачка таких глаз сверкает холодное остриё, как иглою неожиданно пронзающее наблюдателя искусно скрытой силой разума. Этот острый блеск глаз и вызвал у меня Диогеново стремление, свойственное каждому литератору, – я упробил зубастого человека рассказать мне его жизнь.

И вот он говорит не торопясь, «откалывая» слова, давая мне понять, что он уверен в своей значительности и не впервые удивляет слушателя рассказом своим. Пороку его речь звучит задорно, и серые волосы усов шевелятся, обнажая насмешливо изогнутую, тёмную губу. А иногда слова угрюмы, печальны, он сурово морщит лоб, и без того обильный морщинами, белки его глаз приобретают влажный и странный оттенок жемчуга, зрачки не то испуганно, не то удивлённо расширяются.

Оставляя большую ногу неподвижной, он всё время вертится, и это не совпадает с размеренным течением его сказки. Тёмные руки беспокойно шевелятся, гладят колени, передвигают на столе папку бумаг, чернильницу, пепельницу, щупают деревянную вставку для пера. Передвинув вещи с одного места на другое, он, прищурясь, оглядывает их и снова перекладывает в иной порядок. Потом, с явной досадой оттолкнув от себя все их, гладит ладонью или ковыряет пальцем пёструю – золотую, красную, синюю – стену, изрезанную по штукатурке затейливыми арабесками.

Кажется, что ему тесно в этой необыкновенной комнате. Круто поворотив голову, он минуты две молча смотрит в окно, мелко изрезанное угловатым узором переплёта рамы, ищет чего-то на широкой, тёмной полосе пустынной Невы. Расстёгивая и вновь застёгивая крючки кафтана, он как будто хочет раздеться, встряхнуться, сбросить с себя какую-то внешнюю, накожную тяжесть.

Голос его звучит глуховато, отдалённо, глубоко из груди.

По месту жизни, по бумагам – я сибиряк, а по рождению – русский, рязанец из-под Саватьмы [11]. Слово это – Саватьма – осталось у меня с детства, от родителей, они, бывало, объясняли:

– Мы из-под Саватьмы.

Лет до семнадцати я говорил не Саватьма, а Саматьма, и думал, что это – река, а вода в ней необыкновенно чёрная, однако никому об этом, – даже товарищам, ребяташкам, – не сказывал, не хвастался, а даже, пожалуй, стыдился этого: в Сибири реки светлые. Потом торговец сельскими машинами поправил ошибку мою, грубо сказал:

– Дурак, не Саматьма, а – Саватьма, и не река, а – город, уезд.

Я ему сразу поверил, приятно мне было узнать, что ничего необыкновенного в Саватьме этой – нет.

Деревню свою – не помню, деревня, наверно, обыкновенная. А помню какое-то село над рекой, на угорье, и монастырь за селом, в полукружии леса; это село я и по сей день вижу, только как будто не человеческое жильё, а игрушку; есть такие игрушки: домики, церковки, скот, всё вырезано из дерева, а деревья сделаны из моха, окрашены зелёной краской. В детстве очень манило меня это село.

Родители мои переселились в Сибирь, когда мне было годов десять, что ли. Дорогой

брание сочинений в тридцати томах. Том 16. Рассказы, повести 1922–1925. Максим Горький gorkiymaxim.  
мать и братишка, меньше меня, вывалились из вагона, убились, отец тоже вскоре помер от случайности – объелся рыбой. Пошёл я по миру, по деревням, со старичком одним, старичок спокойный, не бил меня. С год ходил я с ним, а потом, в городке каком-то, на базаре приметил меня мужик, старовер Трофим Боев, дал старичку целковый, что ли, старичок и уступил меня Боеву.

Это был человечище кряжистый, характера тяжёлого, скопидом и богомол из таких, которые живут фальшиво, как приказчики на отчёте у бога: сами грехом не брезгают, а людям около них дышать нечем. Я его и всех, всю семью, сразу невзлюбил за строгость ко мне, за жадность, за всё и, ещё будучи подростком, увидел бессмысленность необыкновенного труда. Шесть лошадей было у него, семнадцать коров, свой бык, овцы, птица, всего вдоволь, а работал он и людей заставлял работать – каторжно. Ели противно: уж сыты, нет охоты есть, а всё ещё едят, покраснеют, надуются, а всё чавкают, против воли. Непосильная работа да чрезмерная еда – в этом заключалась вся их жизнь. А в праздники отлично наряжаются и всем стадом – гонят в церковь, за двенадцать вёрст.

Семья большая: сам, трое сыновей от первой жены, – один в солдатах, – две снохи, зять-вдовец, немой, откусил язык, упав с воза. От второй жены – дочь Любаша, года на два моложе меня. Жена – зверь баба, глазищи лошадиные, сила мужичья. Был ещё батрак Максим, тоже русский, этот спать любил, даже стоя спать мог. Потом ещё старухи какие-то, вроде крыс.

Когда мне минуло лет семнадцать, Максим, нечаянно, проколол мне бедро навозными вилами; с год болело бедро, гноилось; начал я прихрамывать.

Однажды, за ужином, старший сын, Сергей, говорит Боеву:

– Ходить Яшка тихо стал, надо бы полечить ему ногу-то.

А тот отвечает:

– Заживёт и без того. А охромееет – выгода, в солдаты не возьмут.

Это меня обидело; я был парень здоровый, хромать мне стыдно перед девками, они уж смеются надо мной. Тут я задумал уйти от Боева. Сказал Любаше, она тоже советует:

– Конечно – уходи, а то заморят они тебя работой. Ты видишь: они – окаянные.

Любаша была плохого здоровья, грустная девушка. Совсем бессильная, масло пахтать машиной и то не могла. Была она мне сердечной подругой, грамоте научила меня почти насильно. И одежду починит и рубахи пошьёт. Братья, невестки не любили её, смеялись над нашей дружбой.

– Какой он тебе жених, когда хромой!

А у неё этого и в мыслях не было, просто она помогала мне жить. Была она девушка честная, к баловству брезгливая. Худенькая, глаза, как у матери, большие и свет внутри их. Смеялась – редко, а улыбнётся – сразу легче станет мне. И не плакала; побьют её, она только осунется вся, дрожит, прикрыв глаза. Самая умная в семье, а считалась недоумком и порченой. Однако – злая, мелкий скот, собак, кошек любила мучить, а особо приятно было ей цыплят давить; поймают цыплёнка, стиснет его в ладонях и задавит.

– Зачем ты это?

Не сказывала, только плечиками поведёт. Наверное, она гнев свой на людей так вымещала, что ли. Весною простился я с нею и ушёл. Боев пробовал препятствовать, пачпорта не давал мне долго. Любаша и тут помогла.

Года два жил я вполне благополучно, так, что и рассказать не о чем. Жил в Барнауле у доктора, он мне и ногу залечил, хотя хромоту оставил. Скажу так: до двадцати лет жил я как во сне, ничего необыкновенного не видя. Иной раз, в скуке, вспомню село, подумая:

«Надо там жить».

брание сочинений в тридцати томах. Том 16. Рассказы, повести 1922–1925. Максим Горький gorkiymaxim.  
А где это село – не знаю. И опять забуду. Любашу только не забывал. Одна даже письмо послал ей, не ответила.

У доктора, Александра Кириллыча, было мне спокойно. Работы – мало: дров наколоть, печи истопить, кухарке помочь, сапоги, одежду почистить, потом возить его по больным. Человек я непьющий, ну, стакан, два могу допустить выпить для здоровья; в карты играл осторожно, бабы меня даром любили. Характером я был нелюдим. Считался придурковатым. Накопил денег несколько.

И сразу, точно под гору покатился, началась необыкновенная жизнь. По соседству убили двух, мужа и жену, а я в ту ночь не дома ночевал. Заарестовали меня, и тут оказалось, что у меня пачпорт испорчен, буквы перепутаны: настоящее имя-прозвище моё Яков Зыков, а в пачпорте стоит Яков Языков. Тогда, на грех, японская война начиналась. Следовательно и говорит:

– Ты сам сознался, что по чужому виду живёшь; значит – скрываешься от воинской повинности али от чего-то и ещё хуже.

Указываю: ведь в пачпорте, в приметах, объявлено – хромой, стало быть это я и есть, Зыков. В Сибири никто никому не верит.

– Может, говорит, к убийству ты и не причастен, а всё-таки надо собрать справки о тебе.

Доктора в те дни дома не было, он в Томск уехал и в Казань; заступиться за меня некому. Посадили в тюрьму, в тюрьме воры смеются надо мной:

– Вовсе ты не Зыков и не Языков, а – Язёв, потому что у тебя морда рыба.

Так и прозвали: Язёв.

Обидела меня эта необыкновенная глупость; ночей не сплю, всё думаю: как это допускается – морить человека в тюрьме за пустяковую ошибку на бумаге? Жалуюсь богу; я в то время сильно богомолен был, хотя в тюрьме не молился: там над верой смеются. Бывало, спать ложась, только перекрещусь незаметно, а лёжа прочитаю, в мыслях, молитвы две-три, – тут и всё. А привык я молиться истово, на коленках стоя. «Верую», «Отче наш» читал по разу, «Богородицу-деву» – трижды. Акафист ей знал наизусть. Любаша многому научила меня. Писать учился шилом на бересте сначала.

Конечно, вера – глупость, но я тогда молодой был и, кроме бога, посторонних интересов не имел.

Валялось в камере, кроме меня, ещё семеро, – четверо воров, конокрад чахоточный задыхался, старик-бродяга и слесарь с железной дороги, его гнали этапом куда-то в Россию. Воры целыми днями в карты играли, песни пели, а старик со слесарем держались в стороне от них и всё спорили. Старик – высокий, тощий, длинноволосый, как поп, нос у него кривой, глаза строгие, злые, очень неприятный. Был аккуратен; утром проснётся раньше всех, вытрет лицо чистенькой тряпочкой, намочив её водою, расчешет голову, бороду, застегнётся весь и долго стоит, молится не крестясь, не шевелясь; смотрит не в угол, где икона, а в окно, на свет, на небо. Сектант, конечно, а оказалось – умный сектант!

Слесарь – чёрный, как цыган или еврей, лет на десять старше меня. Речистый, и речь у него необыкновенная, даже слушать не хотелось. Голова ежом острижена, зубы блестят, усики чернеют. Глаза – как у киргиза. Лощёный весь и на тюленя похож, на учёного, каких в цирке показывают. Свистеть любил.

Вот, одна, когда воры заснули, слышу я – старик ворчит:

– Простота нужна. Все люди запутались в пустяках, оттого друг друга и давят. Упрощение жизни надо сделать.

Слесарь – досадует, бормочет:

– И я про то же говорю.

– Врёшь. Ты – вчерашнего дня поклонник. Я такого не первого вижу. Все вы

брание сочинений в тридцати томах. Том 16. Рассказы, повести 1922–1925. Максим Горький gorkiymaxim. обманщики. Ты – особенности добиваешься, необыкновенности, ты себя отделить от людей хочешь. А беда-то, грех-то жизни в том и скрыт, что каждый хочет быть особенным, отличия ищет. Тут – горе! Отсюда и пошло всякое барство, начальство, команда и насильство. Отсюда все необыкновенности в пище, одеже, все различия между людей. Это всё надо – прочь, вот как надо! Где особенное, там и власть, а где власть – там вражда, непримиримость и всякое безумство. Оттого и враждуете, безумцы. Человек должен владеть только самим собой, а другими владеть он не должен. Вот – пришили тебя к бумаге и гонят куда хотят, а сам ты ни горю, ни радости не владыка.

Слышу я – правду говорит старик, слова его таковы, как будто я сам надумал их. Когда правда настоящая твоя, она тебе на всё отвечает, у неё естество густое, её хоть руками бери.

Воры меня осмеивали, считая парнем убогого ума, да я и сам дурачком притворялся. Так – спокойнее и людей скорее понимаешь, при дураках они не стесняются. Спорщики эти тоже глядят на меня, как на пустое место, и всё ярятся, бормочут, а я – слушаю. И понимаю так, что спорить им будто бы не о чем, одинаково согласны: всё на свете надобно сравнять, особенное, необыкновенное – уничтожить, никаких отличий ни в чём не допускать, тогда все люди между собой – хотят, не хотят – поравняются и всё станет просто, легко. Обратить всех жителей земли в обыкновенных людей, а сословия, – попов, купцов, чиновников и вообще господ, – запретить, уничтожить особым законом. И чтобы никто не мог купить у меня ни хлеба, ни работы, ни совести.

– Душу окрылить надо, – доказывал старик. – Главное – свобода души, без этого нет человека!

Я все эти мысли проглотил, как стакан водки с устатка, и действительно душа у меня сразу окрылилась ясностью. Думаю:

«Господи Иисусе, какая простота святая живёт между людьми, а они всю жизнь маются!»

Думаю и даже улыбаюсь, а воры ещё больше смеются надо мной.

– Глядите, язёв о невесте думает!

Молчу, того больше притворяюсь дурачком, а сам, знаешь, всё слушаю, слушаю. Расходились спорщики только в одном: слесарь дразнил, что и бога не надо, а старик, понятно, сердился на него за это, да и мне досадно было слушать слесаря, резко говорил он, а в то время бог ещё был недугом моим. Вред господства оба они бесстрашно понимали.

Вскоре погнали меня этапом на место приписки; там, конечно, Боево семейство удостоверило мою личность. Сам он, Боев, лежал, умирал, лошадь его разбила, что ли. Однако предлагает:

– Живи у меня, Яков; ты человек смирный, с придурью, бродяжить тебе не годится.

Отказал я ему. Я уже кое-чего нагляделся, мысли в голове шевелились, в город тянуло, да и Любаша советует:

– Иди, иди, Яков, ищи своё счастье.

Конечно, я рассказал ей всё, до чего дошёл, целую ночь рассказывал и даже сам удивлялся, как плотно сложились мысли мои, как гладко идут. Любаша соглашается:

– Всё – верно. Так и надо.

я – ей:

– Шла бы ты со мной, Любаша!

Забоялась:

– Чем я тебе буду? Обузой. Здоровье у меня плохое. Да и чужих людей не люблю, а здесь я уж привыкла.

Н-да. Не пошла. Была она, говорю, девушка грустная. Тонкая девушка и приветлива душой. В душе её я себя видел, как в зеркале. Прощалась – заплакала однако...

Вернулся я снова в Барнаул, к доктору. Это был человек хороший, даже почти совсем умный, только умный по-старому, а не по-моему. Был он характера резкого и на барина разве по привычкам похож, даже обличье имел мужицкое: плотный, коренастый, ходил солидно, как гусь, зря руками не махал; лицо большое, красное, борода. В ремесле своём был удачлив, лечил ловко. Водку пил помногу, а пьян не бывал. Больше водки – красное вино любил пить. Глаза у него прямые, с усмешечкой внутри, он ею будто говорил каждому:

«Не притворяйся, я твоё уродство вижу».

Однако, хотя и бабы его любили и сам он был до них жаден, а я видел, что жить ему скушно, хмурится доктор, кряхтит, песенки сквозь зубы поёт и всё отхаркивается, будто гнилого поел. Нравился он мне простотой своей, а усмешечку его не любил я, показывала она, что доктор и меня дураком считает и ни на грош не верит мне. Обидно было. И – побаивался я его.

Встретил он меня хорошо, шутит:

– Ага, явился, мешок кишок!

Это у него любимая поговорка была – мешок кишок, он со всеми говорил шутливо, как с малыми детьми, сунет руки в карманы и – шутит. Поднёс мне водки стакан, приказал старухе самовар согреть, сам пришёл на кухню:

– Ну, говорит, рассказывай!

Было это зимней порой, к ночи, вьюга крутила, гудела, сижу я с доктором за столом, как будто в трактире с приятелем, рассказываю, а он слушает, папиросы курит, бороду щупает, – борода небольшая, куриным хвостом.

До этого вечера я ни с кем, кроме Любаши, открыто не говорил, а тут разманило, возмутился во мне смелый дух. Сидя в тюрьме да по дороге я научился думать обо всём даже до того, что задумаюсь и – будто нет меня, только одна душа в воздухе живёт. Говорил так бойко, что сам себе удивлялся: вот бы Любаша послушала!

Рассказал, конечно, про старики, про слесаря – доктор хохочет:

– Ишь ты, говорит, как тебя вывихнуло! Ну, это хорошо: дураку жить – легче, умному – забавнее. Теперь тебе, Яков, надобно книжки читать. Ну, только в книжках доказано наоборот: управляет нами закон, который всё простое дробит на особенное. В дочеловеческие времена, говорит, земля была сплошь камень и родить не могла ничего, до поры, пока не раздробилась на песок, глину, потом – чернозём. В незапамятных веках был один зверь, одна птица, а теперь от них разродились тысячи разных птиц и зверей. Также и все древние люди: сначала все были мужики, потом от них пошли князья, цари, купцы, чиновники, машинисты, доктора. Это – закон!

Ловко говорил; будто в мешок зашивает меня. И, конечно, шутит:

– Надо, говорит, смотреть на всё с этой кочки, в нашем болоте она самая высокая.

Сильно огорчил он меня словами своими и даже на время сбил с пути. Дал мне, хитрый, книжек, однако я тотчас вижу: это не те книжки, которые он сам читает. Его книжки – толстые, в переплётках, их два шкафа, а эти – тоненькие, детского вида, с картинками. Читаю. Назначение книжки имеют, чтобы отвести меня в сторону от моих мыслей; рассказывают, как люди жили в старину, а я, значит, должен понимать, что в старину жили хуже. Успокоительные книжки. Однако я соображаю:

«Как мне знать, правильно ли тут написано? Это было не при мне. К тому же я человек сегодняшней, какое мне дело до прошедшей жизни? Вчерашний день лучше не сделаешь, ты меня научи, как надобно завтра жить».

Доктор спрашивает:



брание сочинений в тридцати томах. Том 16. Рассказы, повести 1922–1925. Максим Горький gorkiymaxim.  
– Читаешь?

– Читаю.

– Интересно?

– Интересно.

Молчу, конечно, что книжки его не по душе мне, не объясняю, что мне интересно не то, что там написано, а – для чего писалось. Писалось же, говорю, для успокоения моего.

Однако – читать я привык; наклонишься над книжкой, глядишь в неё, как в омут, текут, колеблются разные слова, и незаметно проходят часы; очнёшься – удивительно! Будто тебя и не было на земле в часы эти. Слов книжных я не люблю помнить, не умею, да они мне и не нужны, у меня свои слова есть. Некоторые слова и вовсе не понимал: шелестит слово, а для меня ничего не обозначает. А суть книжки мне всегда легко давалась. Чужие мысли очень просто понять, когда свои в голове есть. Своя мысль – честный огонь, при нём чужую фальшь сразу видишь. От моей мысли всякая чужая прячется, как клоп от свечки. Этим я могу похвастать.

Гораздо больше, чем от книжек, видел я пользы для себя от бесед с доктором. Бывало – после работы в больнице и объезда недужных по городу, скинет доктор пиджак, ботинки, наденет туфли, ляжет на диван, около него бутылка красного вина, лежит он, курит, посасывает кислое винцо это, ухмыляется, балагурит, всё об одном:

– Мы-де присуждены жить под властью прошедших времён, корни пустяков вросли глубоко, корчевать их надо осторожно, а то весь плодородный слой земли испортишь. Сегодняшним днём командует вчерашний, а настоящая жизнь обязательно будет командовать будущей, и от этой канители не увернёшься, как ты ни вертись.

Но иной раз одолеет его скука, покинет осторожность, и тут доктор обмолвится:

– Конечно, лучше бы всё сразу к чёрту послать...

Однако – сейчас же и прибавит:

– Ну – это невозможно!

Досадно мне слушать его.

«Ведь вот, думаю, и умён человек, и знает всё, чего надо и не надо знать, и видно, что жизнью своей недоволен, а простого решения боится». А я уж решения достиг и остановился на нём твёрдо: ежели райская птица, человечья свобода, запутана сетью фальшивых пустяков до того туго, что совсем задышается, – режь сеть, рви её!

Я даже намекал доктору, подсказывал ему, что нет другого способа освобождения человеку, а прямо сказать ему это не хотел: не то боялся – осмеёт он меня, не то – по другой причине. Очень уважал я его за простоту со мной, за эти вечерние беседы, и если он, бывало, грубил мне, кричал на меня за какой-нибудь беспорядок – я на него не сердился.

От книжек его и разговоров с ним мне та польза была, что незаметно потерял я веру в бога, как незаметно лысеют: ещё вчера щупал макушку – были волосья, а вдруг – хватъ – на макушке голо! Да. Не то, чтобы стало мне боязно, а почувствовал я эдакий холодок в душе неприятный. Ненадолго однако. Вскоре догадался, что до этого жил я на земле, как в чужой стороне, глядя на всё из-за бога, как из тёмного угла, а теперь сразу развернулся предо мной простор, явилась безбоязненность и эдакая лёгкость разума. Простился я с богом, прямо скажу, без жалости. После окончательно увидал, что в бога верует только негодница людская, враги наши.

Крючки, которыми меня к чужому делу пристегнули, я научился видеть везде, куда их ни спрячь, и видел всё мелкое, пустяковое, всю скорлупу наружную в жизни доктора. Много он лишнего накопил: книг, мебели, одежды, разных необыкновенных штук. Доказывал, что необыкновенное нужно для красоты жизни, – для красоты

брание сочинений в тридцати томах. Том 16. Рассказы, повести 1922–1925. Максим Горький gorkiyтахim. пожалуйста в лес, в поле, там цветы, травы и никакой пыли. Звёзды! Звёзды тряпкой вытирать не требуется. А от этих разного вида земных бляшек – только вредное засорение жизни и каторга мелкой работы.

Доктор одевался, умывался – скажем – пять минут, а запонки в рубаху втыкал и галстук завязывал тоже не меньше времени. Втыкает, завязывает, а сам по-матерному ругается, как мужик. Тоже и ботинки с пуговицами – сколько времени требуют? А простой, русский сапог одним махом на ногу насаживаешь. Понимаете? Все эти галстуки, застёжки, ленты, кружева и всякие фигурки украшения естества жизни я отчисляю от человека. Обставься крупной вещью – и сам крупнее будешь. А игрушки – прочь, игрушки надобно вынести вон...

Господскую привычку к пустякам я видел и в речах доктора. Кажется – правильно говорит человек, а отказаться от бляшек не хватает у него разума. И не видит он, что всё господство пустяками держится: книжками, игрушками, машинками – бумажной цепью оплело людей. Конечно, видеть это ему и пользы нет, – он сам соучастник господства. И выходило в речах у него так, что, ударив раз, два топором, он это же самое рубленое место паутиной разных словечек прикрывает, всё насчёт осторожности, дескать – сразу хорошо не сделаешь. Запнулся человек сам за себя. Даже иной раз жалко было мне его.

Между прочим, связался я с одной; была в больнице сиделка, рыжая, с зелёным глазом; в левый глаз ей скорняк, любовник, иглой ткнул, глаз вытек довольно аккуратно, веко опустилось плотно, и особенного безобразия лицу её этот случай не принёс. Лицо – худощавое. Нос был несколько велик, нос тоже не мешал мне. Жила она прищурясь; молчаливая такая, строгая, а говорили про неё, что распутна. И вот потянуло меня к ней, чувствую, что зелёный глазок её разжигает плоть мою, как этого никогда не было со мной. Хотя я и хромой, а, видишь, мужик крепкий. Роба у меня в ту пору ещё добродушнее была. Бабы очень нахваливали глаза мои. Даже Любаша одна сказала:

– Глаза у тебя, Яков, как у барышни.

Однако при всём этом Татьяна отвергает меня. Говорю ей:

– Ты – кривая, я – хромой, давай вместе любовь крутить.

– Нет, говорит, не хочу, устала я от вашего брата.

Упрямство это ещё больше распалило меня. Тогда поставил я игру на туза червей, на сердце, одолел бабу, и – точно в кипяток меня бросило; дико жадна и горяча была на ласку эта женщина! Любовь у неё была похожа на драку: я скоро заметил, что ей не столько любовь приятна, сколько приятно лишать меня силы, замаять до бесчувствия. Не выйдет это у неё, не одолеет – сердится.

И замечательного прямодушия была; спрашиваю её:

– Обманывать меня будешь?

– Не буду, – говорит. А подумав несколько, вдруг – довесила:

– Только, видишь ли...

И – как по уху ударила:

– Буду.

Я её чуть не избил, да она так вздохнула и так виновато поглядела единым глазом на меня, как будто не в её воле обманывать мужиков. Огорчился я, конечно, любовь – дело опасное, того и гляди, что заразишься стыдной болезнью. А всё-таки прямота её понравилась мне. Вскоре увидел я, что и по душе она – сестра мне и разум у неё не спит.

Характером была трудная; чуть заденешь её, так вся и вспыхнет, а из каждого слова злоба брызжет, и глазок горит нехорошо, ненавистно. В ласковый час спросил её:

– Чего ты такая злая?

Тут рассказала она мне необыкновенную историю: жила сиротой у сестры, а сестрин муж, машинист, выпивши, изнасиловал её, когда ей шёл ещё шестнадцатый год; месяца два она, от стыда и страха, молчала об этом, терпела насилие, ну, а потом сестра догадалась и выгнала её из дома. Года три жила она проституткой, потом избili её пьяные, легла в больницу, доктор присмотрелся к ней и нанял в сиделки. Был скандал, требовали, чтоб он прогнал её, но он не согласился.

– Жила ты с ним? – спрашиваю; она, прикрыв глазок, говорит насмешливо:

– Где уж, нам уж, выйти замуж за такого зверя! Ни раза и не дотронулся.

– Что ж ты, говорю, насмехаешься? Тебе его благодарить надо.

Облизала губы и ворчит:

– Я ещё поблагодарю.

Просто говоря, была она женщина редкая, это потом увидите. Тело тонкое, ловкая, как белка, одевалась в свободные дни хоть и не богато, а достойно настоящей женщины из благородных. Да. Любаша была миловиднее лицом, а телом – неуклюжа.

Вот – живу я, обтачиваю сам себя потихоньку, а война всё разыгрывается, глотает людей, как печь дрова. Позвали на войну и доктора, он говорит:

– Ну, мешок кишок, едем, что ли, изломанных дураков чинить?

Поехали. Татьяна тоже взяли сестрой, она фыркает:

– И – верно: дураки! Поломали бы ружья, пушки, вагоны – вот вам и война.

Известно, что на войне у нас ни удачи, ни порядка не было. Гоняют наш поезд со станции на станцию, катаемся без дела, а мимо нас тучами едут солдаты; туда едут – песни поют, оттуда ползут – стонут. Доктор сердится, бумаги пишет, телеграммы, требует, чтоб его допустили к делу. Говорит мне:

– Гляди, мешок кишок, как с народом обращаются!

Посерел, скулы обострились, рычит на всех и без оглядки ругает начальство, войну, беспорядок жизни. Очень я удивлялся смелости его: зачем рискует? Указываю Татьяне:

– Вот как дерзко человек к делу рвётся!

А она, прикрыв глазок, цедит сквозь злые зубы:

– Ему за это чины, ордена дадут.

«Ну, нет, думаю, тут должен быть другой расчёт!»

Доктор говорил обо всём честно, правильно, как трезвой жизни сын про отца пьяницу, как наследник хозяйству. Служащие на станции, солдаты охраны и весь мелкий народ слушает его речи с полной верой. Даже жандармы соглашаются – плохо, всё плохо! Мне хотелось предупредить Александра Кириллыча, чтоб он говорил осторожней, ну, не нашёл я подходящей для этого минуты, да и подойти к нему опасно было, того и жди, что простым порядком в морду ударит, совсем осwirепел.

Вдруг выскочил на станцию легавый старичок, с красным крестом на рукаве, в шинели на красной подкладке, инспектор что ли, выпучил глаза и завертелся, закружился, орёт на доктора:

– Под суд, под суд!

Доктор в дятлов нос ему бумаги тычет:

– Это что?

Ну, для начальства бумага – не закон, как для богомаза икона – не святыня.

брание сочинений в тридцати томах. Том 16. Рассказы, повести 1922–1925. Максим Горький gorkiymaxim.  
Арестовали доктора, посадили к жандармам, – Татьяна моя начала бунтовать станцию. Тут я впервые увидел, до чего смела баба, так и лезет на всех, так и кидается. Некоторые смеются над ней:

– Что он, доктор, любовник тебе?

И надо мной смеются. Мне – конфузно. Хотя и не замечал я, что она обманывала меня с доктором, да ведь разве это заметишь? Дело тихое, минутное, а у баб и одёжа лучше нашей приспособлена для блуда. Утешаюсь:

«Это она из благодарности за доктора старается».

Не знаю, как бы разыгрался Татьянин бунт, в те дни необыкновенное летало над землёй, как воронье на закате солнца. Жандармы на станции с ног сбились, револьверами машут, угрожают стрелять. В эти самые минуты началась революция – побежал солдат с войны.

Ворвался к нам поезд, да так, что мимо станции версты на полторы продрал, ни кондукторов, ни машиниста не было на нём, одни солдаты. Высыпались они на станцию, и начался крутёж, такую пыль подняли – рассказать невозможно. Начальника станции – за горло:

– Давай машиниста!

Старика жандарма ушибли до смерти, – злой был старичок. Всё побили, поломали, расточили, схватили машиниста водокачки и – дальше! Остались мы, как на пожарище, ходим, обалдев, битое стекло под ногами хрустит; доктор освободился, сунул руки в карманы, мигает, как только что спал да проснулся.

– Нам бы уехать отсюда, – говорю.

Он мне кулак показал:

– Я те уеду!

Приказал избитых, раненых в наши вагоны таскать, только что мы успели собрать их – ещё поезд гремит, тоже полон сумасшедшей солдатней, и – пошло, покатило, стал народ вывёртываться наизнанку. Тут рассказывать нечего, вам известно, какая тогда человеческая метель буянила.

Страха в те дни испытал я на всю жизнь. Особо страшно было, когда наш поезд угнали солдаты, фельдшер, сёстры, санитары разбежались, и осталось нас трое: доктор, да я с Татьяной, да станционные, совсем уже обезумевший народ. А мимо нас всё едут, едут с воем, с гиком, – подумайте, каково было ночами! Станция небольшая, место глухое, леса кругом, невдалеке прижалась к лесу деревенька поселенцев; зажгут огни в деревне, а огни, как волчьи глаза, – жуть! Проживёшь в тёмной тишине, как в яме, часок-другой, и снова слышно: гремит, воет, катится одичалый солдат, будто черти гонят его.

Дней десять в этом страхе торчали мы, а – зачем? Этого я не мог понять. Больных у нас было всего девять человек, четверо померло, а остальные не так хворы, как напуганы. Доктор всем говорит, что началась революция и должна быть перемена господства власти. Я – сообщаю:

«Значит: другую узду на людскую нужду».

Догадка эта в ту пору у меня хорошо отлежалась, до плотности камня. Татьяна слушает доктора въедчиво.

Остался в памяти моей об этих днях один мелкий случай: подхожу я к жандармской квартире, где больные прятались, слышу Татьянин сухой голос:

– Брезгуете?

Заглянул в окно, стоит она перед доктором, струной вытянулась, а он сидит, курит, бормочет, глядя под ноги ей:

– Иди, иди...

Вышла кривая на крыльцо, вытирает руки подолом халата, говорит:

– Жить нам тут незачем.

Смеюсь внутри себя, соглашаюсь:

– Конечно, незачем.

Я за ней очень следил, – хотелось мне поймать её с доктором. Тогда бы избил я её, потому что горда была она со мной, несчастной прошлой жизнью своей гордилась. А так, без вины бить её, – не было у меня случая. И надоела она мне несколько.

Простились с доктором и пошли куда глаза глядят, ехать Татьяна не согласилась, понимая, что она для солдат – мышам сало. Шли вдоль железной дороги, зайдём в деревню – накормят нас, напоят. Жить можно. Крестьянство насторожилось, любопытствует: чего ждать? Татьяна докторовы слова говорит, я тоже, при хорошем случае, скажу тому, другому:

– Упрощения жизни ждать надо, вот чего. Слабеет сила господства, иссякает; вон они и воевать разучились. Пустяками они держат нас под собой. Глядите, – надвигается наше время.

Отдохнем и опять шагаем, беседуем. Вижу я, что хоть у Татьяны кипит великая злоба против доктора, а речам его она поверила, революцию эту принимает как праздник свой. Говорю ей:

– Ты, дурочка, одно помни: без лакеев господу не живут.

Фыркает, не слушает меня.

Потом приснастились мы к смирному поезду и приехали в город Читу, а там идёт крутёж во всю силу, на улицах, на площадях шумит народ, шевелится, вроде раков в корзине, у заборов китайцы прилипли, ухмыляются. Между прочим, скажу: китаец – человек умный, он со всеми согласен, а никому не верит. В карты играть с китаецем – не пробуй, обыграет.

Татьяна – у праздника. Блестит зелёным глазом, оскалила мелкие зубы свои, кричит всем:

– Довольно господу брезговали нами, будет!

Гляжу я на неё и тоже ухмыляюсь китайской манерой. Мне какая выгода, что некоторые шашки в дамки прошли? Пристроился газетой торговать, хожу, поглядываю. Завёл знакомство с парнем одним, – политический, только что со ссылки бежал, силач, ручищи длинные, а – смешно сказать – человек мелкого дела, часовщик. Состоял в окрошке этой, которая власть в городе забрала. Бунт понимал так, что-де это первый шаг к народной свободе. Я ему говорю:

– Ты – шире шагай! Ты шагни через окрошку эту. Ты – мол – не ликуй, что в Думе рядом с господами сидишь.

– погоди, – обещает, – шагнём!

Хороший был парень, а – простоват. Заторопился поверить в партию, а тогда – какая партия была! Я знаю, что была и рабочая, и крестьянская, и господских не одна, да только все они тогда дело крутили на власть, не на интерес народа, а против царя. Это вот теперь наша партия правильно идёт.

При мне и началось там необыкновенное истребление народа, явился генерал с солдатами, и вся затея рассыпалась прахом. Великое неистовство было. Рассказывал доктор, как в Петербурге народ били, ну, я думаю, это пустяки, в Петербурге-то. В Чите народ истребляли, как кедровые орешки, где застигнут, там и бьют, без всякой волокиты. Так торопились убивать людей, как только можно от великого страха. Страх этот на всех рожах был: у солдат, у штатских. Взглянешь мельком – глаза человека будто остеклели, как у слепого или покойника, а присмотришься – дрожат глаза.

Был у часовщика приятель Пётр, резкого ума парень, моряк какой-то, тоже беглый; на левой руке у него шесть пальцев; хотела его полиция убить, а он откупился за семнадцать рублей и говорит:

– Вот, смотрите, товарищи: словами мы всё разрушаем, а на деле крысу убить стыдимся, не то что городского, и если убьём кого, так нам это противно, а они нас бьют, как японцы тюленей.

Это – верно сказано: я сам видел, как у политических длинна дорога от большого слова к маленькому делу. Вообще читинское время было для меня довольно поучительное, насмотрелся, надумался я и окреп в своих мыслях ещё больше.

Я, счастливым случаем, уцелел от смертной расправы; арестовали меня с этим часовщиком и повели расстреливать; вдруг унтер присматривается ко мне, спрашивает:

– Ты, хромой, откуда – не из Барнаула ли? Ну, – говорит солдатам, – я его знаю, это – дурак! Я его очень хорошо знаю, он у доктора в кучерах жил.

Я – обрадовался, шучу:

– Дураков зачем убивать? Это умников перебить надобно, чтоб они нам, дуракам, простую жизнь нашу не путали.

Унтер толкнул меня в переулок, кричит:

– Ступай прочь, сукин сын, моли бога за нашу доброту.

Убежал я, а часовщика расстреляли. Татьяна ходила смотреть на него, лежит, сказывала, как живой, горсть земли в руке зажал, а сапоги сняты.

С Татьяной я простился. Наклевалась она, длинным-то носом, политических мыслей у моряка и давай учить меня. Ну, а я уж видел, что политические – мелкий народ, разум у них вывихнут книжками и не понимают они, что такое настоящее упрощение жизни. Я всякого человека насквозь вижу, я вам говорю: вернее своей мысли – меры нет! Политика – это тоже направление к господству, к насильству. Видел я, как партийные состязаются друг с другом, а у всех – одна цель: показать себя умнее другого.

Татьяна говорит мне:

– Я знаю, что надо делать, а ты только чадишь и, кроме себя, ничего не склонен видеть...

Глупо говорила; она стала ещё злей, а со зла люди всегда глупеют. И глаз у неё стал острее, травянистый глаз, вроде как бы медь окисла в зрачке, и такой стал ядовито мокренький глазок. В голосе – тоже медь звенит. Подурнела, ещё боле усохла, нос вытянулся, губы истончились.

Да.

– Кроме себя, говорит, ничего не видишь.

Каждый из нас, дурёха, живёт в своей коже, она ему всего и дороже. А кожа просит тепла, мягкости. Вот – святые, они будто на камнях спали, а оказалось, что святые-то и не надобны никому.

Стала мне эта женщина окончательно противна, ушёл я от неё и нанялся сторожем на станцию одну, – название у неё смешное, вроде Потаскун. Живу, оглядываюсь. Поникли люди, сердце упало у всех. Прикинулся дурачком, дело своё делаю аккуратно, стараюсь всем угодить и говорю глупые мои слова: людей надо уравнивать, жизнь упростить. Это – все понимают. Говорю бесстрашно и даже при жандарме, – жандарм там был хохол Кириенко, огромный мужик, морда – как у сома, усы китайские. Этот – действительный дурак. Вытаращит глазищи, слушает и сопит, а ночами – я ночным был – придёт ко мне, упрекает:

– Ты говоришь то самое, за что вашего брата насмерть бьют. Это тебя политические

брание сочинений в тридцати томах. Том 16. Рассказы, повести 1922–1925. Максим Горький gorkiymaxim. научили.

А я ему в простоте душевной отвечаю:

– Политические, Осип Григорьич, не учителя простецам, а – враги. Они хотят власти, а нам нужна свобода души.

Сопит Кириенко:

– Очень приятны твои слова, после того, что случилось. Всё-таки ты будь осторожнее, потому что хошь ты и блаженный, ну, на это не посмотрят. Я, говорит, вижу, речи твои по евангелию, но теперь и это не годится.

Коротко сказать – стал мне Кириенко добрым дружком, и это мне очень помогало, потому что речи мои так по сердцу людям пришлись, что даже с других станций стали приезжать послушать меня, а некоторые и учить, в партию звать. Перед этими я дурака крутил во всю силу разума, и ничего, кроме досады, они от меня не получали, а Кириенке разика два сказал:

– Поглядывай!

И всё бы у меня шло хорошо, и жил бы я там спокойно года, – вдруг чёрт сунул на мою дорогу Сеньку Курнашева, был такой смазчик, кудрявый, рожа пёстрая, как у маляра, веснушками обрызгана, плясун, гармонист. Вроде паяца, а – шустрый, учение моё сразу принял. Однако – другие люди научили его не добру. Как-то весенней ночью слышу я – бах, бах! Стреляют за станцией, около казармы; бегу туда, не торопясь, первому-то прибежать – расчёта нет; вижу – Сенька мчится к водокачке, на его счастье – не окрикнул я Сеньку, думал: не он, а в него стреляли. Кричат:

– Кириенку убили!

Действительно: лежит Кириенко поперёк тропы, головой в кусты, руки вперёд головы выкинул. Служащие сбежались, опасно увещевают друг друга:

– Не трогайте тело.

Все поблекли, испугались, в ту пору за убийства взыскивалось очень строго: убьют одного, а вешают за это троих, пятерых. Сенька прибежал с молотком в руке, знаете – молоток на длинной ручке, которым по вагонным колёсам стучат? Вот с таким. Суетится Сенька больше всех и твердит:

– Я – на водокачке был, – вдруг слышу – палят, а я на водокачке...

«Ах ты, думаю, дерзкая мышь!»

А в это время другой жандарм, старичок Васильев, кричит:

– Браунинг нашёл, и от него нефтью пахнет, прошу всех помнить – пахнет!

Люди нюхают оружие, и Сенька тоже понюхал, усмехается:

– Верно, пахнет!

А Васильев и объявляет ему:

– Нефтью пачкаются у нас двое – ты да Мицкевич, поэтому я вас подозреваю.

Глупый был старичок, ему бы молчать. Заявляю, что я в минуту выстрела видел Сеньку около водокачки, – мне парня жалко, – а Васильев своё твердит:

– Тут, главное, – нефть и рукоятка сальная. Тебя, яков, я тоже арестую, ты сторож и должен был видеть.

Сенька отпрыгнул от него, да с размаха как свистнет старичка молотком-то по виску, тот и не охнул. Конечно, Семёна схватили, связали, меня – тоже, да ещё Мицкевича, машиниста с водокачки, заперли нас в зале третьего класса, сторожат, под окнами ходят, палки в руках у всех.

Мицкевич поплакал, поныл и заснул, а я шёпотком говорю Сеньке:

– Зачем ты это сделал, дурак?

Не сознаётся, пытит; я его живо согнул в дугу, поник парнишко и рассказал, что его партийные уговорили на это дело, потому что Кириенко донёс на некоторых, которые ко мне приезжали. Ну, в этом деле и моей вины был кусок, успокоил я парня, уговорил:

– Молчи!

Тогда суд был строгий, – найди виноватого где хочешь, а – подай сюда! Наказали парня смертью, велели повесить, хотя я и настаивал, что он в этом деле не участник и что я его видел у водокачки. Обвиняющий офицер отвергнул меня, заявил, что:

– Всеми здесь указано, что сторож этот – полуумный, верить ему нельзя.

Мицкевича вовсе не судили, а меня оправдали. Приятели очень удивлялись:

– До того опасно ты дурака крутил, что мы думали: затрёт тебя суд!

Со станции меня, конечно, рассчитали, и лет семь я прожил цыганом, – где только не носило меня! На Урале, на Волге, в Москве два раза, в Рязани, по Оке ездил, матросом на буксире, Саватьму эту видел, – нищий городок. Живу, гляжу на всё, а душа беспокойна и упрямо ждёт: должно что-то случиться.

В Рязани зиму я легковым извозчиком был, конечно – от хозяина. Вот одна еду порожнем по улице, гляжу – монашенка идёт, и это – Любаша! Даже испугался, остановил лошадь, кричу:

– Любаша!

И точно обожгло меня – не она! Даже и не похожа – лицо гунявое, глаза сонные. С того часа обняла меня тревога ещё больше и потянуло в Сибирь. Вы, может, так понимаете, что это – баловство, Любаша? Нет, тут другая музыка, тут, я думаю, детское играло в душе. Есть в миру такой особенный, первый человек, встретишь его, и – будто снова родился, вся жизнь твоя иначе окрашена. Жил я в Перми у инженера дворником, инженер этот пушки сверлил, человек суровый, было ему уже за сорок лет, дети у него, жена, а первый человек в доме – нянька. Ей лет восемьдесят, едва ходит, злая, тленом пахла, а ему была она вместо матери. Да и не всякую мать эдак-то уважают, как он – няньку.

В конце весны очутился я в Томске, пошёл в больницу наниматься и сразу наткнулся на доктора, Александра Кириллыча. Очень обрадовался, хоша встречи с людьми, которых раньше видел, не по душе мне: намекают они, что ты всё на одном месте вертишься. Доктор – поседел, щёки жёлтые, зубы в золоте; он тоже обрадовался, руку мне жмёт, по плечу хлопает, как приятеля; конечно, шутит:

– Ну что, мешок кишок, много ли истребил необыкновенного?

Принял меня на службу к себе, и опять я заведую порядком его жизни. Жил он при больнице, во флигельке, окнами в сад, две комнаты, кухня. И снова рассказываю я ему, как старуха внуку, про всё, что видел, говорю и сам слушаю: очень интересно! И пользу вижу для себя, – как будто всё лишнее с души в чулан складываю, прячу, и – очищается настоящая суть души. Рассказывать – очень полезно, рассказал, забыл и – снова чист пред собой. Про Татьяну рассказал, хотел испытать: заденет это доктора? Никак не задело. Дымит табаком, ухмыляется.

– А ведь не просто всё это, Яков, а?

Вижу, что ума доктор не потерял, а в мыслях никуда не подвинулся. Досадно было слушать, как он старается зашить меня в мешок, доказывая, какие петли везде заплетены, и не мог я понять: зачем это нужно ему? Трудно мне было с ним.

Вдруг – всё понял: верные мысли приходят внезапно. Случилось это в цирке, я всё в цирк ходил, глядеть на борцов; очень удивлял меня один чухонец. Не великой был



брание сочинений в тридцати томах. Том 16. Рассказы, повести 1922–1925. Максим Горький gorkiymaxim.  
он силы, не велик и телом, а одолевал людей и тяжелее и сильнее себя, одолевал  
необыкновенной своей ловкостью, тонкой выучкой. И вот смотрю я, как он охаживает  
здоровенного борца, русского, и сразу, как проснулся, догадываюсь:

«Выучка – вот главная фальшь, в ней спрятан вред жизни».

Даже в пот ударило меня и будто все косточки мои, вздрогнув, выпрямились. В двух  
словах клад для души и ключ к жизни:

«Выучка – вред».

Ею одолевает слабый сильного, ею народ лишён свободы. До слепоты ясно озарило  
меня, что отсюда идёт всё необыкновенное и здесь начало дробления людей. Значит:  
дело так стоит, что надобно всех равномерно выучить или – объявить выучку  
запрещённой. Помню – шёл домой осторожно, будто корзину сырых яиц на голове нёс,  
и был я как выпимши.

Попросил доктора, чтобы дал он мне те книжки, которые в Барнауле давал, читаю и  
вижу вполне ясно: раскол людям от выучки. С той поры я окончательно выправился и  
отвердел сам в себе на всю жизнь. Я правильно говорю: своя мысль – море, а чужие  
– реки, сколько их стекает в морской-то водоём, а вода морская всё солёная.

К доктору гости приходили, всё люди солидные, вели они политический разговор, не  
стесняясь меня; это было лестно мне. Изредка являлся осторожный старик, серый  
такой, в очках. Сутулый, шея у него не двигалась, так что головой он ворочал  
по-волчьи, вместе с туловищем, и голос у него подвывал голодным, зимним воем.  
Приходил он всегда с вокзала с чемоданчиком, потрёт руки, лысину, бороду и  
требует отчёта:

– Ну-с, как живём?

К старикам у меня нет уважения, старики – вроде адвокатов, все грехи, поступки  
готовы защищать. Кроме того, бродяги, я не встречал ни единого старика с твёрдым  
умом. Конечно, я понимал, что этот – опасно политический волк, а после Читы  
политика мне была вполне понятна.

Вот, летней ночью, приходит он с чемоданчиком, точно из печки вылез, закоптел  
весь, высох, поставил чемоданчик на пол и вместо – здравствуй! – говорит:

– Ну-с, будет война.

Действительно: прорвало глупость нашу, снова заварили войну. Крестный ход,  
колокольный звон, ура кричат на свою гибель; доктор подмигивает:

– Вот тебе, мешок кишок, упрощение жизни!

Приуныл я. В ту пору никто не мог понять, какую пользу эта война принести может,  
хотя старик и доказывал доктору, что война обязательно кончится революцией,  
однако в этом я утешения не видел. Революция – была, а толку не родила; после  
неё ещё хуже стало.

Доктора потребовали в армию, а он был до того ушиблен этой войной, что сказал  
волковатому старику:

– Пожалуй, честнее будет, если я пулю в лоб себе всажу.

Старик – своё твердит:

– Разобьют нас в три месяца, и будет революция.

Говорить о времени войны этой – нечего. Вавилонское безумие и суета сумасшедших.  
Мужиков сибирских тысячами гонят в Россию, а оттуда на их место гонят чехов,  
венгерцев, немцев и – чёрт их знает, каких ещё. Разноязычие, болезни, стон,  
смешение кровей. Бабы одичали. Прямо скажу – оробел я. Доктора гоняют из города  
в город, из лагеря в лагерь, – он по пленным делам был.

Отойти от него я не решался, он меня от солдатства освободил. Замечательный  
человек, – ночей не спит, пить-есть время не находит, очень восхищался я трудами

брание сочинений в тридцати томах. Том 16. Рассказы, повести 1922-1925. Максим Горький gorkiymaxim.  
его. Непонятно было: что доброго сделали ему люди, из какого расчёта заботился он о них? Да и люди-то чужие. На себя надежд нет у него, чинов, орденов – не ищет, с начальством – зуб за зуб. Был такой случай: загнали куда-то пленников и забыли про них, явился к нам прапорщик – жалуется, люди у него замерзают, дохнут с голода. Доктор своей властью от первого же поезда велел конвойным солдатам отцепить два вагона муки, гороха и разбазарил на пленников. Его – под суд за это. Однако – отложили суд до конца войны. Вообще он неистово законы нарушал в заботах о людях.

В Тюмени встретил я Татьяну, кружится около пленников, одета в краснокрестный халат, тёмные очки на носу, пополнела, урядливая. Сказала, что она, ещё до войны, выучилась на фельдшерицу. Доктор, само собою разумеется, поднял меня на смех:

– Выучка, Яков, я? Никакого упрощения жизни не заметно, а?

А я и сам в то время, – от усталости, что ли, – поколебался в этих мыслях, потускнел разум у меня.

Вдруг – как будто приостановилась чёртова мельница: по дороге в Тобольск, на какой-то станции подали доктору депешу, прочитал он её, зажал в кулак, побелел весь и говорит, глядя горло:

– Яков – царя прогнали...

Меня тоже покачули эти слова. Никогда я не думал о царе серьёзно, и если говорили, что от него всё зло, – не верил в это. Зло – везде видел я. А теперь подумалось: а что, как и в самом деле царь и был головой господства? И вот – оторвали голову.

Доктор шумит, помощник его, Окунев, чуть не пляшет, и у всех вижу радость. Неужели – доехали и, значит, выпрягайся, народ? Вижу – так оно и есть, ощетинился народ ежом, вцепился в землю, как ярый парень в девуку, и видать, что того, что было десять лет назад, он теперь не допустит, нет! С войны люди побежали не теряя разума, хозяйственно, с винтовками, а у некоторых и пулемёты и весь воинский снаряд. А главное – что им ни говори, всё понимают: верно – кричат – довольно с нас, терпели до конца. За этот год я, пожалуй, говорил больше, чем за все свои сорок три. В грудях у меня колокол гудел. Великие радости испытал я в тот год, большое уважение от людей ко мне видел!

Пространства там огромные, места глухие, не то, что здесь, в тесноте, где деревня деревню в бок толкает, вся земля дорогами исхлестана и на каждых десяти верстах село, на каждой сотне – город. Там, сквозь леса, не всё доходило до нас вовремя, так что когда начался крутёж назад, к старым порядкам, – я этому сначала не поверил.

От доктора я отказался, его в Иркутск угнали, живу в селе, под Николаевском, вдруг – конники приезжают, приказывают: пожалуйте воевать! С кем? Почему? Офицер, кудрявый такой, большелобый, объясняет: с Москвой, там будто какие-то немецкие наёмники господство захватили. Говорил он довольно разумно, а – не верилось ему. В Сибири Москву не любят. Покряхтели мужики и пошли, а человек двадцать отговорил я: война эта – дело непонятное нам, кто её затеял – мы не знаем, прячься, ребята, в леса, выжидай, что будет, гляди, где господа.

Тут, на моё счастье, точно с облака прыгнули двое городских парней и сразу объяснили нам господские затеи.

– Эта война – против народа, вас зовут могилы рыть самим себе. Это, говорят, змея недодавленная подняла голову. А вам, крестьяне, надо держаться Москвы, там честно думают. Идите за большевиками, бейте господ по затылкам, по тылам, – вот ваше дело.

Говорили они замечательно. Мужики видят, что я тоже одинаково с ними думаю, очень довольны мной.

– Ты, просят, не уходи от нас, твоя голова нам полезна.

А кольчаковские всё нажимают на деревни, на мужиков, поборы пошли, грабёж, хлеб

брание сочинений в тридцати томах. Том 16. Рассказы, повести 1922-1925. Максим Горький gorkiymaxim.  
тащат, скот уводят, сено – всё! Слышим – кое-где мужики в драку пошли, отстаивая своё хозяйство, а рабочие помогают им. Явился и к нам рабочий отряд, девять человек, начальник у них кочегар, Ивков, чёрный, сухой парень, длинный, сядет на лошадь – ноги до земли. Просят нас парни эти помочь им побить грабителей, их человек сорок, конных, верстах в тридцати в деревне бесчинствуют. Наши, тоже неоднократно обиженные, согласились, собралось шестьдесят семь человек, всё больше солдаты, даже и старичье пошло. Не в охоту было это мне, однако и я тоже винтовочку взял, иду.

Подобрались к деревне по свету и дали бой. Ну, бой был не велик, троих подстрелили до смерти, человек пять поранили, у нас тоже один был убит, другой в колодезь свалился, утоп. Четверых пулями задело, в том числе и меня, по неосторожности моей, чкнула пуля в плечо, в мякоть. Стрелок я был никакой, охотой никогда не занимался, а однако распалило и меня; ружьё – инструмент зазорный, ты его только наведи, оно само стреляет. Делом этим мужики очень возгордились, хвастаются друг пред другом, домой шли – песни пели.

А как подошли к своему-то селу – глядь, там тоже кольчаки озоруют, пожар в двух местах, вой, крик бабий. Ну, тут Ивков этот, кочегар, показал себя достойным воякой, разделил он нас на две части, обошёл село, и – нагрянули мы врасплох. Тут дралась сердито, одних убитых оказалось с обеих-то сторон тридцать семь. Зато – досталась нам пушка, два пулемёта, ружья и множество всякого снаряда, да одиннадцать кольчаковцев на нашу сторону перешло.

После этого решили мы совсем в лес уйти и жить на военном положении; ушли, пятьдесят семь человек. Живём на вольном воздухе, людей бьём, песенки поём. Да.

Во всякой форме жизни есть свой недостаток; явился недостаток и у нас: начали привыкать люди к бродячей жизни по лесам да полям, ленятся. Рваные, драные, а пошиться – неохота. Доносишь своё донельзя – с мёртвого снимаешь, а мёртвый тоже не барином одет. Отбивается народ от своей настоящей, избяной жизни. Скушно мне; ночами – думаю: когда конец этому крутежу? И мёртвого духа нанюхался я много. Да и людей жалко – много людей погибало от глупости своей, ой, много!

Хоть я человек не боевой, а тоже раззадорился, стрелял и колол с большой охотой, однако вижу: война – занятие глупое и дорогое. Главное тут – огромный расход на пули, – сотни пуль истрачены, а людей убито десяток, остальные разбежались. Кроме того – война вредное занятие: портит людей.

У нас был парнишко один, Петька, так он до того избаловался, что, бывало, наберём пленников, он обязательно пристаёт – давайте, расстреляем! Просит Ивкова: дозвольте пристрелить! Глазёнки горят, рожица красная. Миловидный был и с виду тихий. Запретит ему Ивков, а он всё-таки застрелит пленника и оправдывается:

– Это я – нечаянно!

Или скажет:

– Да он всё равно раненый был, не выжил бы!

Раза два бил его Ивков за эти штуки. Таких, «набалованных на убийство, у нас не один Петька был.

Ивков, начальник наш, был характера угрюмого, ума не видного и всё моря хвалил, – он был кочегаром на военном судне, потом, за политику, на Амуре работал, в каторге. Человек бесстрашный, – потом оказалось, оттого бесстрашен, что незначительно умён. Любил он вперёд всех выезжать, выедет, грозит ружьём, как дубиной, и матерно ругается, а в него – стреляют. Людей – не жалел.

– Честные люди – они на море живут, говорил, а на земле основалась сволочь.

Вообще же больше молчал, всё покряхтывал, спина у него болела, били его в каторге, что ли. Нахватаем пленников, он посылает к ним меня:

– Ну-ко, язёв-князёв, безобразие, поди усовести их, чтобы к нам переходили, а не согласятся, – расстреляем, скажи.

брание сочинений в тридцати томах. Том 16. Рассказы, повести 1922-1925. Максим Горький gorkiyтахim.  
Вот эдак-то захватили мы разъезд, пять человек солдат конных, и один, пораненный в руку и в голову, начал спорить со мной, да так, что прямо конфузит меня. Вижу – не простой человек. Спрашиваю:

– Из господ будешь?

Сознался: офицер, подпоручик, да ещё к тому – попов сын. Я ему угрожаю:

– Мы тебя застрелим.

Он – гордый, бравый такой, складный, лицо серьёзное, и большой силы; когда брали его – оборонялся замечательно. Смотрит прямо, глаза хорошие, хотя и сердиты.

– Конечно, говорит, расстрелять надо, это такая война, без пощады, без жалости.

Как он это сказал – мне его жалко стало. Говорил я с ним долго, очень захотелось переманить к нам. А он ругает нас, особенно же Ивкова, оказалось, он за тем и ездил, чтоб Ивкова, наш отряд выследить, у них, кольчаковцев, пошла про нас слава нехорошая.

– Погубит, говорит, всех вас дурак, начальник ваш.

И так ловко обличил он Ивкова за то, что тот не умеет людей беречь, и за многое, что я сразу вижу: всё – правда, дурак Ивков. И вижу, что офицер этот, – Успенский-Кутырский, фамилия его, – обозлился на всех и ничего ему не надо, только бы драться. Вроде нашего Петьки. Говорю ему шутя:

– Драться хотите? Так идите к нам, бейте своих.

Он только бровью пошевелил. Рассказал я про него Ивкову, хвалю – хорош человек! Ивков ворчит:

– На них нельзя надеяться.

– Вояки-то мы плохие, говорю.

– Это – верно; силы много, а умения нет. Поговори с ним ещё. Расстрелять успеем.

Угостил я его благородие господина Кутырского самогоном, накормил, чаем напоил, говорю ему: правда на нашей стороне.

– А чёрт её знает, где она! – бормочет господин Кутырский. – Может, и с вами правда. У нас её – нет, это я знаю.

Коротко сказать – согласился Кутырский на должность помощника Ивкову, вроде начальника штаба стал у нас, если по-военному сказать. Ну, этот оказался мастером своего дела. Он так начал жучить нас, так закомандовал, что иной раз каялся я: напрасно не застрелили парня. И все у нас нахмурились, но тут пошли такие удачи, такие хитрости, что все мы поняли: это – молодчина! Он вперёд, напоказ не совался, никакой храбрости не обнаруживал, он брал лисьей ухваткой, тихонько, крадучись, и действительно берёт людей, не только в драке, а и на отдыхе. Он и ноги у всех оглядит, не стёрты ли, и купаться приказывает часто, и стрелять учит неумеющих, на разведки гоняет, просто беда, покоя нет!

– Кто вшей разведёт – того драть буду! – объявил.

Ивкова и не видно за ним. Старые солдаты очень хвалили его, а молодёжь недолюбливала.

Было нас под ружьём шестьдесят семь человек, и вот в эдаком-то числе он водил нас на такие дела, что мы диву давались – как дешёво удача нам стоила.

Вначале он много разговаривал со мной, но скоро отстал, – ничего не может понять, натура не позволяла ему.

– Ты, говорит, Зыков, с ума сошёл.

Чужих людей он не любил, поляков, чехов разных, немцев, а русских несколько

брание сочинений в тридцати томах. Том 16. Рассказы, повести 1922–1925. Максим Горький gorkiymaxim. жалел. Суров был. Нахмурится, зубы оскалит, и – как пленникам! Это уже – после, когда он Ивкова заменил; Ивкова убили. Он, Петька да солдат японской войны купались в речке, а на наш стан наткнулась компания офицеров, человек десять. Услыхал Ивков пальбу и вместо того, чтоб спрятаться в кусты, побежал к нам, а офицеры бегут от нас, встречу ему, – застрелил его конник. Петрушке голову разрубили, тоже помер. Признаться, так Петьку и не жалко было, надоел он баловством своим.

А Ивкова как сейчас вижу: лежит на траве, растянулся в сажень, руки раскинул крестом – летит! В одной рубаше, около руки – наган реворвер. Его все пожалели, даже сам Кутырский присел на корточки, рубаху застегнул ему, ворот. Долго сидел. Потом сказал нам хвалебную речь:

– Это, дескать, был великий страдалец за правду и настоящий герой.

Он с Ивковым очень подружился, они и спали рядом. Оба не говоруну, помалкивают, а всегда вместе и берегут друг друга. А меня Кутырский – не любил и даже – я так думаю – боялся. Бояться меня он должен был, потому что я всё-таки не верил ему. Ивков правильно сказал: не полагается верить таким, которые от своих уходят.

Так вот, значит, так и жили мы, вояки. Через пленников известно было нам, что поблизости ищут нас кольчаковские, – сильно надоели мы им. Кутырский, который умел всё выпрашивать, повёл нас к Ново-Николаевску [12], а тут по дороге случилась неприятная встреча: наткнулись на обоз, отбили двадцать девять коней и, с тем вместе, санитарных пять телег да девять человек пленных нашей стороны, партизанцев.

И вот оказалось: в одной телеге лежит доктор, Александр Кириллыч, а между пленниками этот читинский матрос, Пётр, так избитый, что я его признал только по лишнему пальцу на руке. А доктора я и совсем не признал, он сам меня окрикнул:

– Эй, мешок кишок!

Гляжу – лежит старик, опух весь, борода седая, лысый, глаза недвижимы и уж – больше не шутит. Приказал, чтоб я ему табачку достал; хрипит:

– Трое суток не курил, чёрт вас возьми...

А закурив, всё-таки спрашивает:

– Упрощаешь?

Вижу я, что хоть он и доктор, а – не жилец на земле. Даже говорить ему трудно.

А матрос спрашивает: помню ли я Татьяну? Оказалось, что она в Николаевске прячется и ему нужно видеть её по делам ранним. Упросил Кутырского послать за нею человека – послали. Мне любопытно: что будет? На третьи сутки прикатила она в шарабане, встретила меня как будто радостно.

– Большевик?

– Ну да, – говорю. – Конечно.

Хотя я тогда ещё не очень большевикам доверял. Собрала она всех наших и речь сказала: Кольчаково дело – плохо, надо скорее добивать его и наладить мирную жизнь. Кричит, руками махает, щека у неё дёргается, очки блестят. Постарела, усохла, лицо тёмное в цвет очкам, голодное лицо, а голос визгливый. Очень неприятная. Вечером рассказывала мне, что она давно настоящая партийная и даже в тюрьме сидела два раза. С моряком встретила всего три месяца тому назад, когда он, раненый, в больнице лежал. Ну, это не моё дело. Спрашивает:

– А знаешь, что доктор-то, хозяин твой, тоже с кольчаковцами?

Тут я говорю ей:

– Вон он, доктор, в холодке лежит, под кустом.

Так её и передёрнуло всю, – жаль, не видно было, за очками, как её глазок

брание сочинений в тридцати томах. Том 16. Рассказы, повести 1922–1925. Максим Горький gorkiymaxim. играет; не могла она забыть, что пренебрёг доктор ейной бабьей слабостью, не могла! Я это давно знал, а в ту минуту совсем удостоверился. Смеюсь, конечно, над ней, а она доказывает, что доктор – враг. Пошёл я к нему, говорю:

– Тут – Татьяна!

Он только усы языком поправил; хрипит:

– Вот как...

И больше ни слова не сказал. Следил я весь вечер: не подойдёт ли она к нему, не разговорятся ли? Нет, ходит она сторонкой, прутиком помахивает; подойдёт к матросу своему, – он на телеге лежал, – перекинется с ним словечком и опять ходит, как часовой. Я к доктору два раза подходил – спит он будто бы, не откликается. Будить – жалко, а хотел я сказать ему что-нибудь. Даже при луне заметно было, какое красное, раскалённое лицо у него, – у здоровых людей при луне-то рожи синие.

К полуночи начали мы собираться дальше в путь. Спрашиваю Кутырского:

– Чего будем делать, Матвей Николаич, с пленниками?

Шестеро было их: офицер поляк, трое солдат, все раненые, доктор да женщина еврейка, эта тоже умирала, уже и глаза у неё под лоб ушли. Кутырский – кричит:

– На кой они чёрт?

Мужики предлагают добить всех, а Кутырский лошади своей морду гладит и торопит:

– Собирайся!

Уговорил я сложить больных на берегу речки и оставить. Офицера, конечно, застрелили. А доктор, на прощанье, пошутил, через силу:

– Тебе бы, мешок кишок, надо упростить меня.

А я говорю:

– Сам скоро помрёшь, Александр Кириллыч.

Всё-таки жалко было мне его, много раз умилял он меня простотой своей. Хороший человек. Его однако убили; старик солдат, которого Японцем звали, да ещё один охотник, медвежатник. Отстали от нас незаметно, а потом Японец, догнав, говорит мне:

– Пришиб я доктора твоего, не люблю докторов.

Они там всех добили, прикладами, чтоб не шуметь.

Попенял я им, поругался немножко, – Кутырский сконфузил меня:

– А если б, говорит, на них на живых разведчики наткнулись?

Н-да. Конечно, – убивать людей – окаянное занятие. Иной раз, может, легче бы себя убить, – ну, этого должность не позволяет. Тут – не вывернешься. Начата окончательная война против жестокости жизни, а глупая жестокость эта в кости человеку вросла, – как тут быть? Многие совсем неисцелимо заражены и живут ради того, чтоб других заражать. Нет, здесь ничего не поделаешь, бить друг друга мы будем долго, до полной победы простоты.

Признаться – подумал я: не Татьяна ли посоветовала Японцу доктора добить? Потому что у Японца табаку не было, а тут вдруг он папиросы курит и по знакам на коробке вижу я, что папиросы – Татьянинного дружка. Может быть, она это – из жалости, чтоб зря не мучился доктор. Бывало и так – убивали жалеючи.

Вот вы видите: я человек кроткий, а однако своей рукой прикончил беззащитного старичка, положим – не из жалости, а по другой причине. Я ведь говорил, что стариков – не люблю, считаю их вредными. Своим парням я всегда говорил:

– Стариков – не жалейте, они – вредные, от упрямства, от дряхлости. Молодой – переменится, а старикам перемениться – некуда. Они – самолюбивы, сами собой любят; каждый думает: я – стар, я и – прав! Они – люди вчерашнего дня, о завтра старики боятся думать; он, на завтра, смерти ждёт, старик.

Тоже и насчёт разных хозяйственных вещей я учил:

– Крупную вещь – шкафы, сундуки, кровати – не ломай, не круши; а мелкое, пустяки разные, – бей в пыль! От пустяков всё горе наше.

Да. Так вот – пришлось мне соткнуться с одним ядовитым старичком. Началось с того, что заболел я тифом, сложили меня в селе одном, у хорошего хозяина, и провалялся я почти всю зиму. Сильно болел, всю память выжгло у меня, очнулся – ничего не понимаю, как будто года прошли мимо меня. Мужики, слышу, рычат, косят Москву, большевиков матерщиной кроют. В чём дело? И – нет-нет, а шмыгнёт селом старик в папаше, с палочкой в руке, быстрый такой старикашка, глазки у него тёмненькие, мохнатые и шевелятся в морщинках, как жуки, – есть такой жучок, крылья у него будто железные. Одет старик этот не отлично, а издали приметен.

Время – весеннее, я кое-как хожу, отдыхаю, присматриваюсь к людям, – другие люди, совсем чужие, кто уныло глядит, кто сердито, а бойкости, твёрдости – нет. Жалуются на поборы, на комиссаров. Я, конечно, разговариваю их, объясняю, хотя сам не очень понимал: в чём суть? И вот, сижу одна за селом, у поскотины [13], катится по дороге старик этот, землю палочкой меряет, углядел меня, отвернулся в сторону и плюнул. Стало мне это любопытно. Спрашиваю хозяина избы, где жил:

– Это кто же у вас?

– Это, говорит, человек праведный и умный; он обмана не терпит.

Говорит – нехотя, сурово.

Был там один человек, Никола Раскатов, инвалид войны, молодой парень, без ноги, без пальцев на левой руке, он мне подробно рассказал:

– Это – вредный старик, он тут у нас давно живёт, ссыльно-поселенец; раньше – пчёл разводил, а теперь построился в лесу, живёт отшельником, ложки режет, святым притворяется. Он с начала революции бубнил против её, а когда у него пасеку разорили – совсем обозлился. Теперь стал на всю округу известен, к нему издаля, вёрст за сто, приходят, советы даёт, рассказывает, что в Москве разбойники и неверы командуют, и всю чепуху, как заведено: сопротивляться велит.

И рассказал такой случай: воротились в одно село красноармейские солдаты, двое, а старики собрали сходку и говорят: «Это – злодеи. У этого его товарищи отца, мать убили, а у этого родительский дом сожгли, хозяйство разорили, так что родители его теперь в городе нищенствуют; будут эти ребята наших парней смущать, и предлагаем их казнить, чтобы дети наши видели: озорству – конец!» Связали голубчиков, положили головы ихние на бревно, и дядя красноармейца оттяпал головы им топором.

«Вот куда метнуло», – думаю. Приуныл даже. Кроме Раскатова, было там ещё с десяток парней новой веры, однако они, по молодости да со скуки, только с девками озорничали. Да и нечего кроме делать им, – отцы, деды наблюдают за ними, как за ворами, и – чуть что не по-прежнему парнишки затевают, – бьют их. Я внушаю им:

– Разве не видите, где злой узел завязан?

Боятся, говорят:

– Перебьют нас.

«Эх, думаю, черти не нашего бога!»

Решил я сам поговорить с этим стариком значительным, понимаю, что затевает он крутёж в обратную сторону, хочет годы назад повернуть. А я очень хорошо знаю, что деревенские люди – глупые, я к этому присмотрелся. У мужика для всех

брание сочинений в тридцати томах. Том 16. Рассказы, повести 1922–1925. Максим Горький gorkiymaxim. терпенья хватает, только для себя он потерпеть не хочет. Всё торопится покрепче сесть да побольше съесть.

Старик основался верстах в семи от села, на пригорке, у опушки леса; избёнка у него, как сторожка, в одно окно, огородишко не великий, гряд шесть, три колоды пчёл, собачонка лохматенькая – в этом всё его хозяйство. Пришёл я к нему светлым днём, сидит старик на пеньке у костра, над костром в камнях котёл кипит, – в котле чурбаки мякнут; на изгороди вершинки ёлок висят, лыком связаны, – мутовки будут, значит [14]. Рукодельный старичок; согнулся, ложки режет, не глядит на меня. Одета на нём посконь [15] синяя, ноги – босые. Лысина светится, над правым ухом шишка торчит, вроде бы зародыша ещё другой головы, что ли. Чувствую – шишечка эта особенно злит мою душу.

– Вот, мол, пришёл я потолковать с тобой.

– Толкуй.

И – молчит. Действует ножом быстро, стружка так и брызжет на коленки, на ноги ему. Чурбаки сырые, режутся, как масло, от ножа никакого скрипа нет. В котле вода булькает, обок старика собака лает. А всё-таки – тихо кругом старика.

– Чего ради ты людей мутишь? – спрашиваю. – Какая твоя вера, какая затея?

Молчит. Опустил голову и даже глаз не поднимает на меня, как будто и нет перед ним человека. Ковыряет чурбак ножом и молчит, подобно глухому. Собачонка излаялась на меня до того, что дудкой свистит, а он и собаку унять не хочет. Сидит и только руками шевелит, да правое плечико играет у него, а кроме этого – весь недвижим, словно синий камень. Хорошо, спокойно вокруг его, старого чёрта; за избёнкой – пахучий лес, перед ней, внизу – долина, речка бежит, солнышко играет.

«Ишь ты, думаю, как ловко отделился от людей, колдун».

Очень досадно мне было. И ругал я его, и грозил ему – ничего не добился, ни единого слова не сказал он мне, так я дураком и ушёл. Иду, оглядываюсь: на пригорке костёр светит. Соображаю:

«Действительно – это вредный зверь, старик!»

Не скрою: задел он меня за душу нарочитой глухотой ко мне. Меня многие сотни людей слушали, а тут – на-ко!

Через сутки, что ли, хозяин, глядя в землю быком, говорит мне:

– Что ж, князёв, отлежался ты, шёл бы теперь куда тебе надо.

И жена его, и обе снохи, и батрак-немец, – все глядят на меня уж неласково, говорят со мной грубо, – понял я, что старик рассказал им про меня. Да и все на селе избычились, будто не видят меня, а ещё недавно сами на разговор со мной лезли. Задумался я: человек одинокий, убрать меня в землю – очень просто. Кого это обидит? Кто на это пожалуется в такие строгие к человеку дни? И тут – вскипело у меня сердце.

Пошёл к Раскатову, говорю:

– Ну-ко, спрячь ты меня дня на три в незаметное местечко.

Простился я с хозяевами честь честью и будто бы на свету ушёл из села, а Раскатов запер меня в бане у себя, на чердаке. Сутки сижу, двое сижу и третьи сижу. А на четвёртые дождался ночи потемнее и пошёл. Завязал голыш в полотенце, вышло это орудие вроде кистеня. Был у меня и револьвер, я его Раскатову продал; для одинокого человека в дороге это инструмент опасный, – он характер жизни выдаёт.

Пришёл к старику, стучусь смело, думаю: он к ночным гостям, наверно, привык, не испугается. Верно: открыл он дверь, хоть и держится рукой за скобу, ну, я, конечно, ногу вставил между дверью и колодой и это – зря; старик сразу понял, что чужой пришёл. Храпит со сна:



– Кто таков? Чего надо?

Собачка его вцепилась в ногу мне, тут я старика – по руке, а собаку – пинком; собаку надо бить под морду, снизу вверх, эдак ей сразу голову с позвонка сшибёшь.

Вошёл в избу, дверь засовом запер, а старик, то ли ещё не узнал меня, то ли испугался, – бормочет:

– Почто собаку-то...

Шаркает спичками. Тут бы мне и ударить его, да это, видишь ли, не больно просто делается, к тому же и темно мне. Ну, засветил он лампу, а всё не глядит на меня, от беззаботности, что ли, а может, от страха. Это и мне жутко было, даже ноги тряслись, особенно – когда он, из-под ладони, взглянул на меня, подался, сел на лавку, упёрся в неё руками и – молчит, а глаза большие, бабьи, жалобные. И мне тоже будто жаль его, что ли. Однако говорю:

– Ну, старик, жизнь твоя кончена...

А рука у меня не поднимается.

Он бормочет, хрипит:

– Не боюсь. Не себя жалко – людей жалко, – не будет им утешения, когда я умру...

– Утешение твоё, говорю, это обман. Богу молиться будешь или как?

Встал он на колени, тут я его и ударил. Неприятно было – тошнота в грудях, и весь трясусь. До того одурел, что чуть не решился разбить лампу и поджечь избёнку, – был бы мне тогда – каюк! Прискакали бы на огонь мужики и догнали меня, нашли бы в лесу-то. Место мне незнакомое, далеко не уйдёшь. А так я прикрыл дверь и пошёл лесом в гору, до солнца-то вёрст двадцать отшагал, лёг спать, а на сонного на меня набрели белые разведчики, что ли, девятеро. Проснулся – готов! Сейчас, конечно, закричали: шпион, вешать! Побили немного. Я говорю:

– Что вы дерётесь? Что кричите? Тут, верстах в семи, большевики под горой стоят, сотни полторы, я от них сбежал, мобилизовать хотели...

Испугались, а – верят, вижу.

– Отчего кровь на онучах?

– Это, говорю, рядом со мной человеку голову разбили прикладом, обрызгало меня.

Ну, – обманул я их и напугал. Пошли быстро прочь и меня с собой ведут. Хорошая у меня привычка была – дурака крутить в опасный час, несчётно выручала она меня. К утру я с ними был на ровной ноге, совсем оболванил солдат. А-яй, до чего люди глупы, когда знаешь их! Во всём глупы: и в делах, и в забавах, и в грехе, и в святости.

Хотя бы старик этот... Ну, про него – будет. Это мне неохота вспоминать. Твёрдый старик был однако...

Да, да, – глупы люди-то... А всё – почему? Необыкновенного хотят и не могут понять, что спасение их – в простоте. Мне вот это необыкновенное до того холку натёрло что ежели бы я не знал, как надобно жить, да в бога веровал, – в кроты бы просился я у господ бога, чтобы под землёй жить. Вот до чего натерпелся.

Ну, теперь вся эта чёртова постройка надломилась, разваливается, и скоро надо ждать – приведут себя люди в лёгкий порядок. Все начали понимать, что премудрость жизни в простоте, а жестокие наши особенности надо прочь отместить, вон... Необыкновенное – чёрт выдумал на погибель нашу...

Так-то, браток...

человеку,

поэту

I

Года через два после воли [16], за обедней в день преображения господня [17], прихожане церкви Николы на Тычке заметили «чужого», – ходил он в тесноте людей, невежливо поталкивая их, и ставил богатые свечи пред иконами, наиболее чтимыми в городе Дрёмове. Мужчина могучий, с большою, колечками, бородой, сильно тронутой проседью, в плотной шапке черноватых, по-цыгански курчавых волос, носище крупный, из-под бугристых, густых бровей дерзко смотрят серые, с голубинкой, глаза, и было отмечено, что когда он опускал руки, широкие ладони его касались колен.

Ко кресту он подошёл в ряду именитых горожан; это особенно не понравилось им, и, когда обедня отошла, виднейшие люди Дрёмова остановились на паперти поделиться мыслями о чужом человеке. Одни говорили – прасол [18], другие – бурмистр [19], а городской староста Евсей Баймаков, миролюбивый человек плохого здоровья, но хорошего сердца, сказал, тихонько покашливая:

– Уповательно – из дворовых людей, егерь или что другое по части барских забав.

А суконщик Помялов, по прозвищу Вдовый Таракан, суетливый сластолюбец, любитель злых слов, человек рябой, и безобразный, недоброжелательно выговорил:

– Видали, – лапы-те у него каковы длинны? Вон как идёт, будто это для него на всех колокольнях звонят.

Широкоплечий, носатый человек шагал вдоль улицы твёрдо, как по своей земле; одет в синюю поддёвку добротного сукна, в хорошие юфтовые [20] сапоги, руки сунул в карманы, локти плотно прижал к бокам. Поручив просвирне [21] Ерданской узнать подробно, кто этот человек, горожане разошлись, под звон колоколов, к пирогам, приглашённые Помяловым на вечерний чай в малинник к нему.

После обеда другие дрёмовцы видели неведомого человека за рекою, на «Коровьем языке», на мысу, земле князей Ратских; ходил человек в кустах тальника, меряя песчаный мыс ровными, широкими шагами, глядел из-под ладони на город, на Оку и на петлисто запутанный приток её, болотистую речку Ватаракшу [22]. В Дрёмове живут люди осторожные, никто из них не решился крикнуть ему, спросить: кто таков и что делает? Но всё-таки послали будочника Машку Ступу, городского шута и пьяницу; бесстыдно, при всех людях и не стесняясь женщин, Ступа снял казённые штаны, а измятый кивер [23] оставил на голове, перешёл илистую Ватаракшу вброд, надул свой пьяный животище, смешным, гусиным шагом подошёл к чужому и, для храбрости, нарочито громко спросил:

– Кто таков?

Не слышно было, как ответил ему чужой, но Ступа тотчас же возвратился к своим людям и рассказал:

– Спросил он меня: что ж ты это какой безобразный? Глазищи у него злые, похож на разбойника.

Вечером, в малиннике Помялова, просвирня Ерданская, зобатая женщина, знаменитая гадалка и мудрица, вытаравив страшные глаза, доложила лучшим людям:

– Зовут – Илья, прозвище – Артамонов, сказал, что хочет жить у нас для своего дела, а какое дело – не допыталась я. Приехал по дороге из Воргорода, тою же дорогой и отбыл в три часа – в четвёртом.

Так ничего особенного и не узнали об этом человеке, и было это неприятно, как будто кто-то постучал ночью в окно и скрылся, без слов предупредив о грядущей беде.

Прошло недели три, и уже почти затянуло рубец в памяти горожан, вдруг этот

брание сочинений в тридцати томах. Том 16. Рассказы, повести 1922–1925. Максим Горький gorkiymaxim. Артамонов явился сам–четвёрт прямо к Баймакову и сказал, как топором рубя:

– Вот тебе, Евсей Митрич, новые жители под твою умную руку. Пожалуй, помоги мне укрепиться около тебя на хорошую жизнь.

Дельно и кратко рассказал, что он человек князей Ратских из курской их вотчины на реке Рати; был у князя Георгия приказчиком, а, по воле, отошёл от него, награждён хорошо и решил своё дело ставить: фабрику полотна. Вдов, детей зовут: старшего – Пётр, горбатого – Никита, а третий – Олёшка, племянник, но – усыновлён им, Ильёй.

– Лён мужики наши мало сеют, – раздумчиво заметил Баймаков.

– Заставим сеять больше.

Голос Артамонова был густ и груб, говорил он, точно в большой барабан бил, а Баймаков всю свою жизнь ходил по земле осторожно, говорил тихо, как будто боясь разбудить кого-то страшного. Мигая ласковыми глазами печального сиреневого цвета, он смотрел на ребят Артамонова, каменно стоявших у двери; все они были очень разные: старший – похож на отца, широкогрудый, брови срослись, глаза маленькие, медвежьи, у Никиты глаза девичьи, большие и синие, как его рубаха, Алексей – кудрявый, румяный красавец, белокож, смотрит прямо и весело.

– В солдаты одного? – спросил Баймаков.

– Нет, мне дети самому нужны; квитанцию имею.

И, махнув на детей рукою, Артамонов приказал:

– Выдьте вон.

А когда они тихо, гуськом один за другим и соблюдая старшинство, вышли, он, положив на колено Баймакова тяжёлую ладонь, сказал:

– Евсей Митрич, я заодно и сватом к тебе: отдай дочь за старшего моего.

Баймаков даже испугался, привскочил на скамье, замахал руками.

– Что ты, бог с тобой! Я тебя впервые вижу, кто ты есть – не знаю, а ты – эка! Дочь у меня одна, замуж ей рано, да ты и не видал её, не знаешь – какова... Что ты?

Но Артамонов, усмехаясь в курчавую бороду, сказал:

– Про меня – спроси исправника, он князю моему довольно обязан, и ему князем писано, чтоб чинить мне помощь во всех делах. Худого – не услышишь, вот те порука – святые иконы. Дочь твою я знаю, я тут, у тебя в городе, всё знаю, четыре раза не приметно был, всё выпросил. Старший мой тоже здесь бывал и дочь твою видел – не беспокойся!

Чувствуя себя так, точно на него медведь навалился, Баймаков попросил гостя:

– Ты погоди...

– Недолго – могу, а долго годить – года не годятся, – строго сказал напористый человек и крикнул в окно, на двор:

– Идите, кланяйтесь хозяину.

Когда они, простясь, ушли, Баймаков, испуганно глядя на иконы, трижды перекрестился, прошептал:

– Господи – помилуй! Что за люди? Сохрани от беды.

Он поплёлся, пристукивая палкой, в сад, где, под липой, жена и дочь варили варенье. Дородная, красивая жена спросила:

– Какие это молодцы на дворе стояли, Митрич?

– Неизвестно. А где Наталья?

– За сахаром пошла в кладовку.

– За сахаром, – сумрачно повторил Баймаков, опускаясь на дерновую скамью. – Сахар. Нет, это правду говорят: от воли – большое беспокойство будет людям.

Присмотревшись к нему, жена спросила тревожно:

– Ты – что? Опять неможется?

– Душа у меня взныла. Думается – человек этот пришёл сменить меня на земле.

Жена начала утешать его.

– Полно-ко! Мало ли теперь людей из деревень в город идёт.

– То-то и есть, что идут. Я тебе покамест ничего не скажу, дай – подумаю...

Через пятеро суток Баймаков слёг в постель, а через двенадцать – умер, и его смерть положила ещё более густую тень на Артамонова с детьми. За время болезни старосты Артамонов дважды приходил к нему, они долго беседовали один на один; во второй раз Баймаков позвал жену и, устало сложив руки на груди, сказал:

– Вот – с ней говори, а я уж, видно, в земных делах не участник. Дайте – отдохну.

– Пойдём-ка со мной, Ульяна Ивановна, – приказал Артамонов и, не глядя, идёт ли хозяйка за ним, вышел из комнаты.

– Иди, Ульяна; уповательно – это судьба, – тихо посоветовал староста жене, видя, что она не решается следовать за гостем. Она была женщина умная, с характером, не подумав – ничего не делала, а тут вышло как-то так, что через час времени она, возвратясь к мужу, сказала, смахивая слёзы движением длинных, красивых ресниц:

– Что ж, Митрич, видно, и впрямь – судьба; благослови дочь-то.

Вечером она подвела к постели мужа пышно одетую дочь, Артамонов толкнул сына, парень с девушкой, не глядя друг на друга, взяли за руки, опустились на колени, склонив головы, а Баймаков, задыхаясь, накрыл их древней, отеческой иконой в жемчугах.

– Во имя отца и сына... Господи, не оставь милостью чадо моё единое!

И строго сказал Артамонову:

– Помни, – на тебе ответ богу за дочь мою!

Тот поклонился ему, коснувшись рукою пола.

– Знаю.

И, не сказав ни слова ласки будущей снохе, почти не глядя на неё и сына, мотнул головою к двери:

– Идите.

А когда благословленные ушли, он присел на постель больного, твёрдо говоря:

– Будь покоен, всё пойдёт, как надо. Я – тридцать семь лет безнаказанно служил князьям моим, а человек – не бог, человек – не милостив, угодить ему трудно. И тебе, сватья Ульяна, хорошо будет, станешь вместо матери парням моим, а им приказано будет уважать тебя.

Баймаков слушал, молча глядя в угол, на иконы, и плакал, Ульяна тоже всхлипывала, а этот человек говорил с досадой:

– Эх, Евсей Митрич, рано ты отходишь, не сберёг себя. Мне бы ты вот как нужен, позарез!

Он шаркнул рукою поперёк бороды, вздохнул шумно.

– Знаю я дела твои: честен ты и умён достаточно, пожить бы тебе со мной годов пяток, заворотили бы мы дела, – ну – воля божья!

Ульяна жалобно крикнула:

– Что ты, ворон, каркаешь, что ты нас пугаешь? Может, ещё...

Но Артамонов встал и поклонился в пояс Баймакову, как мёртвому:

– Спасибо за доверие. Прощайте, мне надо на Оку, там барка с хозяйством пришла.

Когда он ушёл, Баймакова обиженно завывала:

– Облом деревенский, наречённой сыну невесте словечка ласкового не нашёл сказать!

Муж остановил её:

– Не ной, не тревожь меня.

И сказал, подумав:

– Ты – держись его: этот человек, уповательно, лучше наших.

Баймакова почётно хоронил весь город, духовенство всех пяти церквей. Артамоновы шли за гробом вслед за женой и дочерью усопшего; это не понравилось горожанам; горбун Никита, шагавший сзади своих, слышал, как в толпе ворчали:

– Неизвестно кто, а сразу на первое место лезет.

Вращая круглыми глазами цвета дубовых жёлудей, Помялов нашепывал:

– И Евсей, покойник, и Ульяна – люди осторожные, зря они ничего не делали, стало быть, тут есть тайность, стало быть, соблазнил их чем-то коршун этот, иначе они с ним разве породнились бы?

– Да-а, тёмное дело.

– Я и говорю – тёмное. Наверно – фальшивые деньги. А ведь каким будто праведником жил Баймаков-то, а?

Никита слушал, склоня голову, и выгибал горб, как бы ожидая удара. День был ветреный, ветер дул вслед толпе, и пыль, поднятая сотнями ног, дымным облаком неслась вслед за людьми, густо припудривая намащенные волосы обнажённых голов. Кто-то сказал:

– Гляди, как Артамонова нашей пылью наперчило, – посерел, цыган...

На десятый день после похорон мужа Ульяна Баймакова с дочерью ушла в монастырь, а дом свой сдала Артамонову. Его и детей точно вихрем крутило, с утра до вечера они мелькали у всех на глазах, быстро шагая по всем улицам, торопливо крестясь на церкви; отец был шумен и неистов, старший сын угрюм, молчалив и, видимо, робок или застенчив, красавец Олешка – задорен с парнями и дерзко подмигивал девицам, а Никита с восходом солнца уносил острый горб свой за реку, на «Коровий язык», куда грачами слетелись плотники, каменщики, возводя там длинную кирпичную казарму и в стороне от неё, под Окою, двухэтажный большой дом из двенадцативершковых брёвен, – дом, похожий на тюрьму. Вечерами жители Дрёмова, собравшись на берегу Ватаракши, грызли семена тыквы и подсолнуха, слушали храп и визг пил, шарканье рубанков, садкое тяпанье острых топоров и насмешливо вспоминали о бесплодности построения Вавилонской башни, а Помялов утешительно предвещал чужим людям всякие несчастья:

брание сочинений в тридцати томах. Том 16. Рассказы, повести 1922–1925. Максим Горький gorkiyтахim.  
– Весною вода подтопит безобразные постройки эти. И – пожар может быть: плотники курят табак, а везде – стружка.

Чахоточный поп Василии вторил ему:

– На песце строят.

– Нагонят фабричных – пьянство начнётся, воровство, распутство.

Огромный, налитый жиром, раздутый во все стороны мельник и трактирщик Лука Барский хриплым басом утешал:

– Людей больше – кормиться легче. Ничего, пускай работают люди.

Очень смешил горожан Никита Артамонов; он вырубил и выкорчевал на большом квадрате кусты тальника, целые дни черпал жирный ил Ватаракши, резал торф на болоте и, подняв горб к небу, возил торф тачкой, раскладывая по песку чёрными кучками.

– Огород затевает, – догадались горожане. – Экой дурак! Разве песок удобришь?

На закате солнца, когда Артамоновы гуськом, отец впереди, переходили вброд через реку и на зеленоватую воду её ложились их тени, Помялов указывал:

– Смотрите, смотрите, – стень-то какая у горбатого!

И все видели, что тень Никиты, который шёл третьим, необычно трепетна и будто тяжелее длинных теней братьев его. Как-то после обильного дождя вода в реке поднялась, и горбун, запнувшись за водоросли или оступясь в яму, скрылся под водой. Все зрители на берегу отрадно захохотали, только Ольгушка Орлова, тринадцатилетняя дочь пьяницы часовщика, крикнула жалобно:

– Ой, ой – утонет!

Ей дали подзатыльник.

– Не ори зря.

Алексей, идя последним, нырнул, схватил брата, поставил на ноги, а когда они, оба мокрые, выпачканные илом, поднялись на берег, Алексей пошёл прямо на жителей, так что они расступились пред ним, и кто-то боязливо сказал:

– Ишь ты, зверёныш...

– Не любят нас, – заметил Пётр; отец, на ходу, взглянул в лицо ему:

– Дай срок – полюбят.

И обругал Никиту:

– Ты, чучело! Гляди под ноги, не смехи народ. Нам не на смех жить, барабан!

Жили Артамоновы ни с кем не знакомясь, хозяйство их вела толстая старуха, вся в чёрном, она повязывала голову чёрным платком так, что, концы его торчали рогами, говорила каким-то мятым языком, мало и непонятно, точно не русская; от неё ничего нельзя было узнать об Артамоновых.

– Монахами притворяются, разбойники...

Дознано было, что отец и старший сын часто ездят по окрестным деревням, подговаривая мужиков сеять лён. В одну из таких поездок на Илью Артамонова напали беглые солдаты, он убил одного из них кистенём, двухфунтовой гирей, привязанной к сыромятному ремню, другому проломил голову, третий убежал. Исправник похвалил Артамонова за это, а молодой священник бедного Ильинского прихода наложил эпитимью за убийство – сорок ночей простоять в церкви на молитве.

Осенними вечерами Никита читал отцу и братьям жития святых, поучения отцов

брание сочинений в тридцати томах. Том 16. Рассказы, повести 1922–1925. Максим Горький gorkiymaxim.  
церкви, но отец часто перебивал его:

– Высока премудрость эта, не достигнуть её нашему разуму. Мы – люди чернорабочие, не нам об этом думать, мы на простое дело родились. Покойник князь Юрий семь тысяч книг перечитал и до того в мысли эти углубился, что и веру в бога потерял. Все земли объездил, у всех королей принят был – знаменитый человек! А построил суконную фабрику – не пошло дело. И – что ни затевал, не мог оправдать себя. Так всю жизнь и прожил на крестьянском хлебе.

Говоря, он произносил слова чётко, задумывался, прислушиваясь к ним, и снова поучал детей:

– Вам жить – трудно будет, вы сами себе закон и защита. Я вот жил не своей волей, а – как велено. И вижу: не так надо, а поправить не могу, дело не моё, господское. Не только сделать по-своему боялся, а даже и думать не смел, как бы свой разум не спутать с господским. Слышишь, Пётр?

– Слышу.

– То-то. Понимай. Живёт человек, а будто нет его. Конечно, и ответа меньше, не сам ходишь, тобой правят. Без ответа жить легче, да – толку мало.

Иногда он говорил час и два, всё спрашивая: слушают ли дети? Сидит на печи, свесив ноги, разбирая пальцами колечки бороды, и не торопясь куёт звено за звеном цепи слов. В большой, чистой кухне тёплая темнота, за окном посвистывает вьюга, шёлково гладит стекло, или трещит в синем холоде мороз. Пётр, сидя у стола перед сальной свечой, шуршит бумагами, негромко щёлкает косточками счёт, Алексей помогает ему, Никита искусно плетёт корзины из прутьев.

– Вот – воля нам дана царём-государем. Это надо понять: в каком расчёте воля? Без расчёта и овцу из лева не выпустишь, а тут – весь народ, тысячи тысяч, выпущен. Это значит: понял государь – с господ немного возьмешь, они сами всё проживают. Георгий, князь, ещё до воли, сам догадался, говорил мне: подневольная работа – невыгодна. Вот и оказано нам доверие для свободной работы. Теперь и солдат не двадцать пять лет ружье таскать будет, а – иди-ка, работай! Теперь всяк должен показать себя, к чему годен. Дворянству – конец подписан, теперь вы сами дворяне, – слышите?

Ульяна Баймакова прожила в монастыре почти три месяца, а когда вернулась домой, Артамонов на другой же день спросил её:

– Скоро свадьбу состроим?

Она возмутилась, сердито сверкнув глазами.

– Что ты, опомнись! Полугода не прошло со смерти отца, а ты... Али греха не знаешь?

Но Артамонов строго остановил её:

– Греха я тут, сватья, не вижу. То ли ещё господа делают, а бог терпит. У меня – нужда: Петру хозяйка требуется.

Потом он спросил: сколько у неё денег? Она ответила:

– Больше пятисот не дам за дочьрью!

– Дашь и больше, – уверенно и равнодушно сказал большой мужик, в упор глядя на неё. Они сидели за столом друг против друга, Артамонов – облокотясь, запустив пальцы обеих рук в густую шерсть бороды, женщина, нахмутив брови, опасно выпрямилась. Ей было далеко за тридцать, но она казалась значительно моложе, на её сытом, румяном лице строго светились сероватые умные глаза. Артамонов встал, выпрямился.

– Красивая ты, Ульяна Ивановна.

– Ещё чего скажешь? – сердито и насмешливо спросила она.

брание сочинений в тридцати томах. Том 16. Рассказы, повести 1922–1925. Максим Горький gorkiymaxim.  
– Ничего не скажу.

Он ушёл неохотно, тяжело шаркая ногами, а Баймакова, глядя вслед ему и, кстати, скользнув глазами по льду зеркала, шепнула с досадой:

– Бес бородатый. Ввязался...

Чувствуя себя в опасности пред этим человеком, она пошла наверх к дочери, но Натальи не оказалось там; взглянув в окно, она увидела дочь на дворе у ворот, рядом с нею стоял Пётр. Баймакова быстро сбежала по лестнице и, стоя на крыльце, крикнула:

– Наталья – домой!

Пётр поклонился ей.

– Не порядок это, молодец хороший, без матери беседовать с девицей, чтобы впредь не было этого!

– Она мне наречённая, – напомнил Пётр.

– Всё едино; у нас свои обычаи, – сказала Баймакова, но спросила себя:

«Что это я рассердилась? Молодым, да не миловаться. Нехорошо как. Будто позавидовала дочери».

В комнате она больно дёрнула дочь за косу, всё-таки запретив ей говорить с женихом с глаза на глаз.

– Хоть он и благословенный тебе, да ещё – либо дождик, либо снег, либо – будет, либо – нет, – сурово сказала она.

Тёмная тревога мутила её мысли; через несколько дней она пошла к Ерданской погадать о будущем, – к знахарке, зобатой, толстой, похожей на колокол, все женщины города сносили свои грехи, страхи и огорчения.

– Тут гадать не о чем, – сказала Ерданская, – я тебе, душа, прямо скажу: ты за этого человека держись. У меня не зря глаза на лоб лезут, – я людей знаю, я их проникаю, как мою колоду карт. Ты гляди, как он удачлив, все дела у него шаром катятся, наши-то мужики только злые слюни пускают от зависти к нему. Нет, душа, ты его не бойся, он не лисой живёт, а медведем.

– То-то что медведем, – согласилась вдова и, вздохнув, рассказала гадалке:

– Боюсь; с первого раза, когда он посватал дочь, – испугалась. Вдруг, как будто из тучи упал никому неведомый и в родню полез. Разве эдак-то бывает? Помню, говорит он, а я гляжу в наглые глазищи его и на все слова дакаю, со всем соглашаюсь, словно он меня за горло взял.

– Это значит: верит он силе своей, – объяснила премудрая просвирня.

Но всё это не успокоило Баймакову, хотя знахарка, провожая её из своей тёмной комнаты, насыщенной душным запахом лекарственных трав, сказала на прощанье:

– Помни: дураки только в сказках удачливы...

Подозрительно громко хвалила она Артамонова, так громко и много, что казалась подкупленной. А вот большая, тёмная и сухая, как солёный судак, Матрёна Барская говорила иное:

– Весь город стоном стонет, Ульяна, про тебя; как это не боишься ты этих пришлых? Ой, гляди! Недаром один парень горбат, не за мал грех родителей уродом родился...

Трудно было вдове Баймаковой, и всё чаще она поколачивала дочь, сама чувствуя, что без причины злится на неё. Она старалась как можно реже видеть постояльцев, а люди эти всё чаще становились против неё, затемняя жизнь тревогой.



брание сочинений в тридцати томах. Том 16. Рассказы, повести 1922–1925. Максим Горький gorkiymaxim.  
Незаметно подкралась зима, сразу обрушилась на город гулками метелями, крепкими морозами, завалила улицы и дома сахарными холмами снега, надела ватные шапки на скворешни и главы церквей, заковала белым железом реки и ржавую воду болот; на льду Оки начались кулачные бои горожан с мужиками окрестных деревень. Алексей каждый праздник выходил на бой и каждый раз возвращался домой злым и битым.

Что, Олёша? – спрашивал Артамонов. – Видно, здесь бойцы ловчее наших?

Растирая кровоподтёки медной монетой или кусками льда, Алексей угрюмо отмалчивался, поблескивая ястребиными глазами, но Пётр однажды сказал:

– Алексей дерётся лихо, это его свои, городские, бьют.

Илья Артамонов, положив кулак на стол, спросил:

– За что?

– Не любят.

– Его?

– Всех нас, заедино.

Отец ударил кулаком по столу, так что свеча, выскочив из подсвечника, погасла; в темноте раздалось рычание:

– Что ты мне, словно девка, всё про любовь говоришь? Чтоб не слышал я этих слов!

Зажигая свечу, Никита тихо сказал:

– Не надо бы Олёше ходить на бои.

– Это – чтобы люди смеялись: испугался Артамонов! Ты – молчи, пономарь! Сморчок.

Изругав всех, Илья через несколько дней, за ужином, сказал ворчливо-ласково:

– Вам бы, ребята, на медведей сходить, забава хорошая! Я хаживал с князь Георгием в рязанские леса, на рогатину брали хозяев, интересно!

Воодушевясь, он рассказал несколько случаев удачной охоты и через неделю пошёл с Пётром и Алексеем в лес, убил матёрого медведя, старика. Потом пошли одни братья и подняли матку, она оборвала Алексею полушубок, оцарапала бедро, братья всё-таки одолели её и принесли в город пару медвежат, оставив убитого зверя в лесу, волкам на ужин.

– Ну, как твои Артамоновы живут? – спрашивали Баймакову горожане.

– Ничего, хорошо.

– Зимой свинья смирна, – заметил Помялов.

Вдова, не веря себе, начала чувствовать, что с некоторой поры враждебное отношение к Артамоновым обижает её, неприязнь к ним окутывает и её холодом. Она видела, что Артамоновы живут трезво, дружно, упрямо делают своё дело и ничего худого не приметно за ними. Зорко следя за дочерью и Пётром, она убедилась, что молчаливый, коренастый парень ведёт себя не по возрасту серьёзно, не старается притиснуть Наталью в тёмном углу, щекотать её и шептать на ухо зазорные слова, как это делают городские женихи. Её несколько тревожило непонятное, сухое, но бережное и даже как будто ревнивое отношение Пётра к дочери.

«Не ласков будет муженёк».

Но однажды, спускаясь с лестницы, она услышала внизу, в сенях, голос дочери:

– Опять на медведя пойдёте?

– Собираемся. А что?

– Опасно, Алёшу-то задел зверь.

– Сам виноват – не горячись. Значит – думаете обо мне?

– Я про вас ничего не сказала.

«Ишь ты, шельма, – подумала мать, улыбаясь и вздохнув. – А он – простак».

Илья Артамонов всё настойчивее говорил ей:

– Поторопись со свадьбой, а то они сами поторопятся.

Она видела, что надо торопиться, девушка плохо спала по ночам и не могла скрыть, что её томит телесная тоска. На пасху она снова увезла её в монастырь, а через месяц, воротясь домой, увидела, что запущенный сад её хорошо прибран, дорожки выполоты, лишаи с деревьев сняты, ягодник подрезан и подвязан; и всё было сделано опытной рукою. Спускаясь по дорожке к реке, она заметила Никиту, – горбун чинил плетень, подмытый весенней водою. Из-под холщовой, длинной, ниже колен, рубахи жалобно торчали кости горба, почти скрывая большую голову, в прямых, светлых волосах; чтоб волосы не падали на лицо, Никита повязал их веткой берёзы. Серый среди сочно-зелёной листвы, он был похож на старичка-отшельника, самозабвенно увлечённого работой; взмахивая серебряным на солнце топором, он ловко затёсывал кол и тихонько напевал, тонким голосом девушки, что-то церковное. За плетнём зеленовато блестяла шёлковая вода, золотые отблески солнца карасями играли в ней.

– Бог в помощь, – неожиданно для себя умиленно сказала женщина; блеснув на неё мягким светом синих глаз, Никита ласково отозвался:

– Спаси бог.

– Это ты сад убрал?

– Я.

– Хорошо убрал. Любишь сады?

Стоя на коленях, он кратко рассказал, что с девяти лет был отдан князем барином в ученики садовнику, а теперь ему девятнадцать лет.

«Горбат, а будто не злой», – подумала женщина.

Вечером, когда она с дочерью пила чай у себя наверху, Никита встал в двери с пучком цветов в руке и с улыбкой на желтоватом, некрасивом и невесёлом лице.

– Извольте принять букет.

– Зачем это? – удивилась Баймакова, подозрительно рассматривая красиво подобранные цветы и травы. Никита объяснил ей, что у господ своих он обязан был каждое утро приносить цветы княгине.

– Вот как, – сказала Баймакова и, немножко зарумянившись, гордо подняла голову:

– Али я похожа на княгиню? Она, поди-ка, красавица?

– Так ведь и вы тоже.

Ещё более покраснев, Баймакова подумала: «Не отец ли научил его?»

– Ну, спасибо за почёт, – сказала она, но к чаю не пригласила Никиту, а когда он ушёл, подумала вслух:

– Хороши глаза у него; не отцовы, а материны, должно быть.

И вздохнула.

– Видно – судьба нам с ними жить.

Она не очень уговаривала Артамонова подождать со свадьбой до осени, когда

брание сочинений в тридцати томах. Том 16. Рассказы, повести 1922–1925. Максим Горький gorkiymaxim.  
исполнится год со дня смерти мужа её, но решительно заявила свату:

– Только ты, сударь, Илья Васильевич, отступишь от этого дела, дай мне устроить всё по-нашему, по-хорошему, по-старинному. Это и тебе выгодно, сразу войдёшь во все лучшие наши люди, на виду встанешь.

– Ну, – горделиво замычал Артамонов, – меня и без этого издали видно.

Обиженная его заносчивостью, она сказала:

– Тебя здесь не любят.

– Ну, бояться станут.

И, ухмыляясь, пожав плечами:

– Вот и Пётр тоже все про любовь поёт. Чудаки вы...

– Да и на меня нелюбовь эта заметно падает.

– Ты, сватья, не беспокойся!

Артамонов поднял длинную лапу, докрасна сжав пальцы в кулак.

– Я людей обламывать умею, вокруг меня недолго попрыгаешь. Я обойдусь и без любви...

Женщина промолчала, думая с жуткой тревогой:

«Экой зверь».

И вот уютный дом её наполнен подругами дочери, девицами лучших семей города; все они пышно одеты в старинные парчовые сарафаны, с белыми пузырями рукавов из кисеи и тонкого полотна, с проймами и мордовским шитьём шелками, в кружевах у запястий, в козловых и сафьяновых башмаках, с лентами в длинных девичьих косах. Невеста, задыхаясь в тяжёлом, серебряной парчи, сарафане с вызолоченными ажурными пуговицами от ворота до подола, – в шушуне золотой парчи на плечах, в белых и голубых лентах; она сидит, как ледяная, в переднем углу и, отирая кружевным платком потное лицо, звучно «стиховодит»:

По лугам, по зелёны-им,  
По цветам, по лазоревым,  
Разлилася вода вешняя,  
Студёна вода, ой, мутная..  
Подруги голосно и дружно подхватывают замирающий стон девичьей жалобы:

Посылают меня, девицу,  
Посылают меня по воду,  
Меня босу, необутую,  
Ой, нагую, неодетую..  
Невидимый в толпе девиц, хохочет и кричит Алексей:

– Это – смешная песня! Засовали девицу в парчу, как индюшку в жестяное ведро, а – кричите: нага, неодета!

Близко к невесте сидит Никита, новая синяя поддёвка уродливо и смешно взъехала с горба на затылок, его синие глаза широко раскрыты и смотрят на Наталью так странно, как будто он боится, что девушка сейчас растает, исчезнет. В двери стоит, заполняя всю её, Матрёна Барская и, ворочая глазами, гудит глубоким басом:

– Не жалобно поёте, девицы.

Шагнув широким шагом лошади, она строго внушает, как надо петь по старине, с каким трепетом надо готовиться к венцу.

– Сказано: «за мужем – как за каменной стеной», так вы знайте: крепка стена – не проломишь, высока – не перескочишь.

Но девицы плохо слушают её, в комнате тесно, жарко, толкая старуху, они бегут во двор, в сад; среди них, как пчела в цветах, Алексей в шёлковой золотистой рубахе, в плисовых [24] шароварах, шумный и весёлый, точно пьян.

Обиженно надув толстые губы, выпучив глаза, высоко приподняв спереди подол штофной [25] юбки, Барская, тучей густого дыма, поднимается вверх, к Ульяне, и пророчески говорит:

– Весела дочь у тебя, не по правилу это, не по обычаю. Весёлому началу – плохой конец!

Баймакова озабоченно роется в большом, кованом сундуке, стоя на коленях перед ним; вокруг неё на полу, на постели разбросаны, как в ярмарочной лавке, куски штофа, канауса [26], московского кумача, кашмировые шали, ленты, вышитые полотенца, широкий луч солнца лежит на ярких тканях, и они разноцветно горят, точно облако на вечерней заре.

– Непорядок это – жить жениху до венца в невестинном доме, надо было выехать Артамоновым...

– Говорила бы раньше, поздно теперь говорить об этом, – ворчит Ульяна, наклоняясь над сундуком, чтобы спрятать огорчённое лицо, и слышит басовитый голос:

– Про тебя был слух, что ты – умная, вот я и молчала. Думала – сама догадаешься. Мне что? Мне – была бы правда сказана, люди не примут, господь зачтёт.

Барская стоит, как монумент, держа голову неподвижно, точно чашу, до краёв полную мудрости; не дождавшись ответа, она вылезает за дверь, а Ульяна, стоя на коленях в цветном пожаре тканей, шепчет в тоске и страхе:

– Господи – помоги! Не лиши разума.

Снова шорох у двери, она поспешно сунула голову в сундук, чтобы скрыть слёзы, Никита в двери:

– Наталья Евсевна послала узнать, не надо ли вам помощи в чём-нибудь.

– Спасибо, милый...

– На кухне Ольгушка Орлова патокой облилась.

– Да – что ты? Умненькая девчоночка, – вот бы тебе невеста...

– Кто пойдёт за меня...

А в саду под липой, за круглым столом, сидят, пьют брагу Илья Артамонов, Гаврила Барский, крёстный отец невесты, Помялов и кожевник Житейкин, человек с пустыми глазами, тележник Воропонов; прислонясь к стволу липы, стоит Пётр, тёмные волосы его обильно смазаны маслом и голова кажется железной, он почтительно слушает беседу старших.

– Обычаи у вас другие, – задумчиво говорит отец, а Помялов хвастается:

– Мы же тут коренной народ. Велика Русь!

– И мы – не пристяжные.

– Обычаи у нас древние...

– Мордвы много, чуваш...

С визгом и смехом, толкаясь, сбежали в сад девицы и, окружив стол ярким венком сарафанов, запели величание:

Ой, свату великому,  
Да Илье-то бы Васильевичу,

На ступень ступить – нога сломить,  
На другу ступить – друга сломить,  
А на третью – голова свернуть.

– Вот так честят! – удивлённо вскричал Артамонов, обращаясь к сыну, – Пётр осторожно усмехнулся, поглядывая на девиц и дёргая себя за ухо.

– А ты – слушай! – советует Барский и хохочет.

Того мало свату нашему  
Да похитчику девичьему...

– Ещё мало? – возбуждаясь, кричит Артамонов, видимо, смущённый, постукивая пальцами по столу. А девицы яростно поют:

С хором бы ты ó борону,  
Да с горы бы ты ó каменьё,  
Чтобы ты нас не обманывал,  
Не хвалил бы, не нахваливал  
Чужедальние стороны,  
Нелюдимые слободы, –  
Они горем насеяны,  
Да слезами поливаны...

– Вот оно к чему! – обиженно вскричал Артамонов. – Ну, я, девицы, не во гнев вам, свою-то сторону всё-таки похваляю: у нас обычаи помягче, народ поприветливее. У нас даже поговорка сложена: «Свапа да Усожа – в Сейм текут; слава тебе, боже, – не в Оку!»

– Ты – погоди, ты ещё не знаешь нас, – не то хвастаясь, не то угрожая, сказал Барский. – Ну, одари девиц!

– Сколько ж им дать?

– Сколько душе не жалко.

Но когда Артамонов дал девицам два серебряных рубля, Помялов сердито сказал:

– Широко даёшь, бахвалишься!

– Ну и трудно угодить на вас! – тоже гневно крикнул Илья, Барский оглушительно захохотал, а Житейкин рассыпал в воздухе смешок, мелкий и острый.

Девичник кончился на рассвете, гости разошлись, почти все в доме заснули, Артамонов сидел в саду с Петром и Никитой, гладил бороду и говорил негромко, оглядывая сад, щупая глазами розоватые облака:

– Народ – терпкий. Нелюбезный народ. Уж ты, Петруха, исполняй всё, что тёща посоветует, хоть и бабьи пустяки это, а – надо! Алексей пошёл девок провожать? Девкам он – приятен, а парням – нет. Злобно смотрит на него сынишка Барского... н-да! Ты, Никита, поласковее будь, ты это умеешь. послужи отцу замазкой, где я трещину сделаю, ты – заткни.

Заглянув одним глазом в большой деревянный жбан, он продолжал угрюмо:

– Всё вылакали; пьют, как лошади. Что думаешь, Пётр?

Перебирая в руках шёлковый пояс, подарок невесты, сын тихо сказал:

– В деревне – проще, спокойнее жить.

– Ну... Чего проще, коли день проспал...

– Тянут они со свадьбой.

– Потерпи.

И вот наступил для Петра большой, трудный день. Пётр сидит в переднем углу горницы, зная, что брови его сурово сдвинуты, нахмурены, чувствуя, что это нехорошо, не красит его в глазах невесты, но развести бровей не может, очи точно крепкой ниткой сшиты. Исподлобья поглядывая на гостей, он встряхивает волосами,

брание сочинений в тридцати томах. Том 16. Рассказы, повести 1922–1925. Максим Горький gorkiyтахim.  
хмель сыплется на стол и на фату Натальи, она тоже понурилась, устало прикрыв глаза, очень бледная, испугана, как дитя, и дрожит от стыда.

– Горько! – в двадцатый раз режут красные, волосатые рожи с оскаленными зубами.

Пётр поворачивается, как волк, не сгибая шеи, приподнимает фату и сухими губами, носом тычется в щёку, чувствуя атласный холод её кожи, пугливую дрожь плеча; ему жалко Наталью и тоже стыдно, а тесное кольцо подвыпивших людей орёт:

– Не умеет парень!

– В губы цель!

– Эх, я бы вот поцеловал...

Пьяный женский голос визжит:

– Я те поцелую!

– Горько! – рычит Барский.

Сцепив зубы, Пётр прикладывается к влажным губам девушки, они дрожат, и вся она, белая, как будто тает, подобно облаку на солнце. Они оба голодны, им со вчерашнего дня не давали есть. От волнения, едких запахов хмельного и двух стаканов шипучего цимлянского вина [27] Пётр чувствует себя пьяным и боится, как бы молодая не заметила этого. Все вокруг зыблется, то сливаясь в пёструю кучу, то расплываясь во все стороны красными пузырями неприятных рож. Сын умоляюще и сердито смотрит на отца, Илья Артамонов встрепанный, пламенный, кричит, глядя в румяное лицо Баймаковой:

– Сватья, чокнемся медком! Мёд у тебя – в хозяйку сладок...

Она протягивает круглую, белую руку, сверкает на солнце золотой браслет с цветными камнями, на высокой груди переливается струя жемчуга. Она тоже выпила, в её серых глазах томная улыбка, приоткрытые губы соблазнительно шевелятся, чокнувшись, она пьёт и кланяется свату, а он, встряхивая косматой башкой, восхищенно орёт:

– Эка повадка у тебя, сватья! Княжья повадка, убей меня бог!

Пётр смутно понимает, что отец неладно держит себя; в пьяном рёве гостей он чутко схватывает ехидные возгласы Помялова, басовитые упрёки Барской, тонкий смешок Житейкина.

«Не свадьба, а – суд», – думает он и слышит:

– Глядите, как он, бес, смотрит на Ульяну-то, ой-ой!

– Быть ещё свадьбе, только – без попов...

Эти слова на минуту влипают в уши ему, но он тотчас забывает их, когда колено или локоть Натальи, коснувшись его, вызовет во всём его теле тревожное томленье. Он старается не смотреть на неё, держит голову неподвижно, а с глазами сладить не может, они упрямо косятся в её сторону.

– Скоро ли конец этому? – шепчет он, Наталья так же отвечает:

– Не знаю.

– Стыдно...

– Да, – слышит он и рад, что молодая чувствует одинаково с ним.

Алексей – с девицами, они пируют в саду; Никита сидит рядом с длинным попом, у попа мокрая борода и жёлтые, медные глаза на рябом лице. Со двора и с улицы в открытые окна смотрят горожане, десятки голов шевелятся в синем воздухе, поминутно сменяясь одна другою; открытые рты шепчут, шипят, кричат; окна кажутся мешками, из которых эти шумные головы сейчас покатаются в комнату, как арбузы.

брание сочинений в тридцати томах. Том 16. Рассказы, повести 1922–1925. Максим Горький gorkiymaxim.

Никита особенно отметил лицо землекопа Тихона Вялова, скуластое, в рыжеватой густой шерсти и в красных пятнах. Бесцветные на первый взгляд глаза странно мерцали, подмигивая, но мигали зрачки, а ресницы – неподвижны. И неподвижны тонкие, упрямо сжатые губы небольшого рта, чуть прикрытого курчавыми усами. А уши нехорошо прижаты к черепу. Этот человек, навалясь грудью на подоконник, не шумел, не ругался, когда люди пытались оттолкнуть его, он молча оттирал их лёгкими движениями плеч и локтей. Плечи у него были круто круглые, шея пряталась в них, голова росла как бы прямо из груди, он казался тоже горбатым, и в лице его Никита нашёл нечто располагающее, доброе.

Кривой парень неожиданно и гулко ударил в бубен, крепко провёл пальцем по коже его, бубен занял, загудел, кто-то, свистнув, растянул на колене двухрядную гармонику, и тотчас посреди комнаты завертелся, затопал кругленький, кудрявый дружка невесты, Степаша Барский, вскрикивая в такт музыке:

Эй, девицы-супротивницы,  
Хороводницы, затейницы!  
У меня ли густо денежки звенят,  
Выходите, что ли, супроти меня!  
Отец его выпрямился во весь свой огромный рост и загремел:

– Стёпка! Не выдай город, покажи курятам!

Вскочил Илья Артамонов, дёрнув встрёпанной, как помело, головой, лицо его налилось кровью, нос был красен, как уголь, он закричал в лицо Барскому:

– Мы тебе не курята, а – куряне! И – ещё кто кого перепляшет! Олёша!

Весь сияющий, точно лаком покрытый, Алексей, улыбаясь, присмотрелся к дрёмовскому плясуну и пошёл, вдруг побледнев, неуловимо быстро, взвизгивая по-девичьи.

– Присловья не знает! – крикнули дрёмовцы, и тотчас раздался отчаянный рёв Артамонова:

– Олёшка – убью!

Не останавливаясь, чётко отбивая дробь, Алексей вложил два пальца в рот, оглушительно свистнул и звонко выговорил:

У барина, у Мокея,  
Было пятеро лакеев,  
Ныне барин Мокей  
Сам таков же лакей!  
– Натё! – победоносно рявкнул Артамонов.

– Ого! – многозначительно воскликнул поп и, подняв палец, покрутил головой.

– Алексей перепляшет вашего, – сказал Пётр Наталье, – она робко ответила:

– лёгкий.

Отцы стравливали детей, как бойцовых петухов; полупьяные, они стояли плечо в плечо друг с другом, один – огромный, неуклюжий, точно куль овса, из его красных, узеньких щелей под бровями обильно текли слёзы пьяного восторга; другой весь подобрался, точно готовясь прыгнуть, шевелил длинными руками, поглаживая бёдра свои, глаза его почти безумны. Пётр, видя, что борода отца шевелится на скулах, соображает:

«Зубами скрипит... Ударит кого-нибудь сейчас...»

– Охально пляшет артамоновский! – слышен трубный голос Матрёны Барской. – Не фигурно пляшет! Бедно!

Илья Артамонов хохочет в тёмное, круглое, как сковородка, лицо её, в широкий нос, – Алексей победил, сын Барских, шатаясь, идёт к двери, а Илья, грубо дёрнув руку Баймаковой, приказывает:

брание сочинений в тридцати томах. Том 16. Рассказы, повести 1922–1925. Максим Горький gorkiуmaxim.  
– Ну-тко, сватья, выходи!

Побледнев, размахивая свободной рукою, она гневно и растерянно отбивается:

– Что ты! Али мне вместно, что ты?

Гости примолкли, ухмыляясь, Помялов переглянулся с Барской, масляно шипят его слова:

– Ну, ничего! Утешь, Ульяна, спляши! Господь простит...

– Грех – на меня! – кричит Артамонов.

Он как будто отрезвел, нахмурился и точно в бой пошёл, идя как бы не своей волей. Баймакову толкнули встречу ему, пьяненькая женщина пошатнулась, оступилась и, выпрямься, вскинув голову, пошла по кругу, – Пётр услышал изумлённый шёпот:

– А, батюшки! Муж в земле ещё года не лежит, а она и дочь выдала и сама пляшет!

Не глядя на жену, но понимая, что ей стыдно за мать, он пробормотал:

– Не надо бы отцу плясать.

– И матушке не надо бы, – ответила она тихо и печально, стоя на скамье и глядя в тесный круг людей, через их головы; покачнувшись, она схватилась рукою за плечо Петра.

– Тише! – сказал он ласково, поддержав её за локоть.

В открытые окна, через головы зрителей, вливались отблески вечерней зари, в красноватом свете этом кружились, как слепые, мужчина и женщина. В саду, но дворе, на улице хохотали, кричали, а в душевной комнате становилось всё тише. Туго натянутая кожа бубна бухала каким-то тёмным звуком, верещала гармоника, в тесном круге парней и девиц всё ещё, как обожжённые, судорожно металась двое; девицы и парни смотрели на их пляску молча, серьёзно, как на необычно важное дело, солидные люди частью ушли во двор, остались только осовевшие, неподвижно пьяные.

Артамонов, топнув, остановился:

– Ну, забила ты меня, Ульяна Ивановна!

Женщина, вздрогнув, тоже вдруг встала, как пред стеною, и, поклонясь всем круговым поклоном, сказала:

– Не обессудьте.

Обмахиваясь платком, она тотчас ушла из комнаты, а на смену ей влезла Барская:

– Разводите молодых! Ну-ко, Пётр, иди ко мне; дружки, – ведите его под руки!

Отец, отстранив дружек, положил свои длинные, тяжёлые руки на плечи сына:

– Ну, иди, дай бог счастья! Обнимемся давай!

Он толкнул его, дружки подхватили Пётра под руки, Барская, идя впереди, бормотала, поплёвывая во все стороны:

– Тьфу, тьфу! Ни болезни, ни горяшка, ни зависти, ни бесчестьяца, тьфу! Огонь, вода – вовремя, не на беду, на счастье!

Когда Пётр вошёл вслед за ней в комнату Натальи, где была приготовлена пышная постель, старуха тяжело села посреди комнаты на стул.

– Слушай, да – не забудь! – торжественно говорила она. – Вот тебе две полтины, положи их в сапоги, под пятку; придёт Наталья, встанет на колени, захочет с тебя сапоги снять, – ты ей не давай...



брание сочинений в тридцати томах. Том 16. Рассказы, повести 1922–1925. Максим Горький gorkiymaxim.  
– Зачем это? – угрюмо спросил Пётр.

– Не твоё дело. Три раза – не дашь, а в четвёртый – разреши, и тут она тебя трижды поцелует, а полтинники ты дай ей, скажи: дарю тебе, раба моя, судьба моя! Помни! Ну, разденешься и ляг спиной к ней, а она тебя просить будет: пусти ночевать! Так ты – молчи, только в третий раз протяни ей руку, – понял? Ну, потом...

Пётр изумлённо взглянул в тёмное, широкое лицо наставницы, раздувая ноздри, облизывая губы, она отирала платком жирный подбородок, шею и властно, чётко выговаривала грубые, бесстыдные слова, повторив на прощанье:

– Крику – не верь, слезам – не верь. – Она, пошатываясь, вылезла из комнаты, оставив за собою пьяный запах, а Петром овладел припадок гнева, – сорвав с ног сапоги, он метнул их под кровать, быстро разделся и прыгнул в постель, как на коня, сцепив зубы, боясь заплакать от какой-то большой обиды, душившей его.

– Черти болотные...

В пуховой постели было жарко; он соскочил на пол, подошёл к окну, распахнул раму, – из сада в лицо ему хлынул пьяный гул, хохот, девичий визг; в синеватом сумраке, между деревьями, бродили чёрные фигуры людей. Медным пальцем воткнулся в небо тонкий шпиль Никольской колокольни, креста на нём не было, сняли золотить. За крышами домов печально светилась Ока, кусок луны таял над нею, дальше чёрными сугробами лежали бесконечные леса. Ему вспомнилась другая земля, – просторная земля золотых пашен, он вздохнул; на лестнице затопали, захихикали, он снова прыгнул в кровать, открылась дверь, шуршал шёлк лент, скрипели башмаки, кто-то, всхлипывая, плакал; звякнул крючок, вложенный в пробой. Пётр осторожно приподнял голову; в сумраке у двери стояла белая фигура, мерно размахивая рукою, сгибаясь почти до земли.

«Молится. А я – не молился».

Но молиться – не хотелось.

– Наталья Евсеевна, – тихонько заговорил он, – вы не бойтесь. Я сам боюсь. Замучился.

Обеими руками приглаживая волосы на голове, дёргая себя за ухо, он бормотал:

– Ничего этого не надо – сапоги снимать и всё. Глупости. У меня сердце болит, а она балуется. Не плачьте.

Осторожно, боком она прошла к окну, тихонько сказав:

– Гуляют ещё.

– Да.

Боясь чего-то, не решаясь подойти один к другому, оба усталые, они долго перебрасывались ненужными словами. На рассвете заскрипела лестница, кто-то стал шарить рукою по стене, Наталья пошла к двери.

– Барскую не пускайте, – шепнул Пётр.

– Это – матушка, – сказала Наталья, открыв дверь; Пётр сел на кровати, спустив ноги, недовольный собою, тоскливо думая:

«Плох я, не смел, посмеётся надо мной она, дождусь...»

Дверь открылась, Наталья тихо сказала:

– Матушка зовёт.

Она прислонилась к печке, почти невидимая на белых изразцах, а Пётр вышел за дверь, и там, в темноте, его встретил обиженный, испуганный, горячий шёпот Баймаковой:

брание сочинений в тридцати томах. Том 16. Рассказы, повести 1922–1925. Максим Горький gorkiyтаxim.

– Что ж ты делаешь, Пётр Ильич, что ты – опозорить хочешь меня и дочь мою? Ведь утро наступает, скоро будить вас придут, надо девичью рубаху людям показать, чтобы видели: дочь моя – честная!

Говоря, она одною рукой держала Пётра за плечо, а другой отталкивала его, возмущённо спрашивая:

– Что ж это? Силы нет, охоты нет? Не пугай ты меня, не молчи...

Пётр глухо сказал:

– Жалко её. Боязно.

Он не видел лица тётчи, но ему послышалось, что женщина коротко засмеялась.

– Нет, ты иди-ка, иди, делай своё мужское дело! Христофору-мученику помолись. Иди. Дай – поцелую...

Крепко обняв его за шею, дохнув тёплым запахом вина, она поцеловала его сладкими, липкими губами, он, не успев ответить на поцелуй, громко чмокнул воздух. Войдя в светёлку, заперев за собою дверь, он решительно протянул руки, девушка подалась вперёд, вошла в кольцо его рук, говоря дрожащим голосом:

– Выпимши она немножко...

Пётр ожидал других слов. Пятясь к постели, он бормотал:

– Не бойся. Я – некрасивый, а – добрый...

Прижимаясь к нему все плотнее, она шепнула:

– Ноженьки не держат...

..Пировать в Дрёмове любили; свадьба растянулась на пять суток; колобродили с утра до полуночи, толпою расхаживая по улицам из дома в дом, кружась в хмельном чаду. Особенно обилён и хвастлив пир устроили Барские, но Алексей побил их сына за то, что тот обидел чем-то подростка Ольгу Орлову. Когда отец и мать Барские пожаловались Артамонову на Алексея, он удивился:

– Где ж это видано, чтоб парни не дрались?

Он торовато одарял девиц лентами и гостинцами, парней – деньгами, насмерть поил отцов и матерей, всех обнимал, встряхивал:

– Эх, люди! Живём али нет?

Вёл он себя буйно, пил много, точно огонь заливая внутри себя, пил не пьянея и заметно похудел в эти дни. От Ульяны Баймаковой держался в стороне, но дети его заметили, что он поглядывает на неё требовательно, гневно. Он очень хвастался силой своей, тянулся на палке с гарнизонными солдатами, поборол пожарного и троих каменщиков, после этого к нему подошёл землекоп Тихон Вялов и не предложил, а потребовал:

– Теперь со мной.

Артамонов, удивлённый его тоном, обвёл взглядом коренастое тело землекопа.

– А ты – кто такое: силен или хвастлив?

– Не знаю, – серьёзно ответил тот.

Схватив друг друга за кушаки, они долго топтались на одном месте. Илья смотрел через плечо Вялова на женщин, бесстыдно подмигивая им. Он был выше землекопа, но тоньше и несколько складнее его. Вялов, упираясь плечом в грудь ему, пытался приподнять соперника и перебросить через себя. Илья, понимая это, вскрикивал:

– Не хитёр ты, брат, не хитёр!

брание сочинений в тридцати томах. Том 16. Рассказы, повести 1922–1925. Максим Горький gorkiymaxim.  
И вдруг, ухнув, сам перебросил Тихона через голову свою с такой силой, что тот, ударом о землю, отбил себе ноги. Сидя на траве, стирая пот с лица, землекоп сконфуженно молвил:

– Силён.

– Видим, – ответили ему насмешливо.

– Здоров, – повторил Вялов.

Илья протянул ему руку.

– Вставай!

Не приняв руки, землекоп попытался встать, не мог и снова вытянул ноги, глядя вслед толпе странными, тающими глазами. К нему подошёл Никита, участливо спрашивая:

– Больно? Помочь?

Землекоп усмехнулся.

– Кости страдают. Я – сильнее отца-то твоего, да не столько ловок. Ну, пойдём за ними, Никита Ильич, простец!

И, дружески взяв горбуна под руку, он пошёл с ним за толпой, притопывая ногами и этим, должно быть, надеясь умерить боль.

Молодожёны, истомлённые бессонными ночами и усталостью, безвольно, напоказ людям плавали по улицам среди пёстрой, шумной, подпившей толпы, пили, ели, конфузились, выслушивая бесстыдные шуточки, усиленно старались не смотреть друг на друга и, расхаживая под руку, сидя всегда рядом, молчали, как чужие. Это очень нравилось Матрёне Барской, она хвастливо спрашивала Илью и Ульяну:

– Хорошо ли научен сын-от? То-то же! Ты гляди, Ульяна, как я тебе дочь вышколила! А – зять? Павлином ходит; я – не я, жена – не моя!

Но уходя к себе, спать, Пётр и Наталья сбрасывали прочь вместе с одеждой всё, навязанное им, покорно принятое ими, и разговаривали о прожитом дне:

– Ну, и пьют же у вас! – удивлялся Пётр.

– А у вас – меньше? – спрашивала жена.

– Разве мужикам можно так пить!

– Не похожи вы на мужиков.

– Мы – дворовые, это вроде дворян будет.

Иногда они, обнявшись, садились у окна, дыша вкусными запахами сада, и молчали.

– Что молчишь? – тихонько спрашивала жена, – муж так же тихо отвечал:

– Неохота говорить обыкновенные слова.

Ему хотелось услышать слова необыкновенные, но Наталья не знала их. Когда же он рассказывал ей о безграничной широте и просторе золотых степей, она спрашивала:

– Ни лесов нет, ничего? Ой, как страшно, должно быть!

– Страхи – в лесах живут, – скучновато сказал Пётр. – В степи – какой же страх? Там – земля, да небо, да – я.

И вот однажды, когда они сидели у окна, молча любясь звёздной ночью, в саду, около бани, послышалась возня, кто-то бежал, задевая и ломая прутья малинника, потом стал слышен негромкий, гневный возглас:

брание сочинений в тридцати томах. Том 16. Рассказы, повести 1922–1925. Максим Горький gorkiymaxim.  
– Что ты, дьявол?

Наталья испуганно вскочила.

– Это – матушка!

Пётр высунулся из окна, загородив его своей широкой спиной, он увидал, что отец, обняв тещу, прижимает её к стене бани, стараясь опрокинуть на землю, она, часто взмахивая руками, бьёт его по голове и, задыхаясь, громко шепчет:

– Пусти, закричу!

И не своим голосом крикнула:

– Родимый – не тронь! Пожалей...

Пётр бесшумно закрыл окно, схватил жену, посадил её на колени себе.

– Не гляди.

Она билась в руках его, вскрикивая:

– Что это, кто?

– Отец, – сказал Пётр, крепко стиснув её. – Не понимаешь, что ли...

– Ой, как же это? – шептала она со стыдом и страхом; муж отнёс её на постель, покорно говоря:

– Мы родителям не судьи.

Схватясь руками за голову, Наталья качалась, ныла:

– Грех-то какой!

– Не наш грех, – сказал Пётр и вспомнил слова отца: «господа то ли ещё делают?»  
– Это и лучше: к тебе не полезет. Они, старики, – просты; для них это «птичий грех» – со снохой баловаться. Не плачь.

Жена сквозь слёзы говорила:

– Ещё когда они плясали, так я подумала... Если он – насильно, что же теперь будет у нас?

Но, утомлённая волнением, она скоро заснула не раздеваясь, а Пётр открыл окно, осмотрел сад, – там никого не было, вздыхал предрассветный ветер, деревья встряхивали душистую тьму. Оставив окно открытым, он лёг рядом с женою, не закрывая глаз, думая о случившемся. Хорошо бы жить вдвоём с Натальей на маленьком хуторе...

...Наталья проснулась скоро, ей показалось, что её разбудили жалость к матери и обида за неё. Босая, в одной рубахе, она быстро сошла вниз. Дверь в комнату матери, всегда запертая на ночь, была приоткрыта, это ещё более испугало женщину, но, взглянув в угол, где стояла кровать матери, она увидала под простыней белую глыбу и тёмные волосы, разбросанные по подушке.

«Спит. Наплакалась, нагоревалась...»

Нужно что-то сделать, чем-то утешить оскорблённую мать. Она пошла в сад; мокрая, в росе, трава холодно щекотала ноги; только что поднялось солнце из-за леса, и косые лучи его слепили глаза. Лучи были чуть тёплые. Сорвав посеребрённый росой лист лопуха, Наталья приложила его к щеке, потом к другой и, освежив лицо, стала собирать на лист гроздья красной смородины, беззлобно думая о свёкре. Тяжёлой рукою он хлопал её по спине и, ухмыляясь, спрашивал:

– Ну, что – живёшь? Дышишь? Ну – живи!

Других слов для неё у него, видимо, не было, а ласковые шлепки несколько обижали

брание сочинений в тридцати томах. Том 16. Рассказы, повести 1922–1925. Максим Горький gorkiymaxim.  
её: так ласкают лошадей.

«Разбойник какой», – подумала она, заставляя себя думать о свёкре враждебно.

Пели зяблики, зорянки, щебетали чижи, тихо, шёлково шуршали листья деревьев, далеко на краю города играл пастух, с берега Ватаракши, где росла фабрика, доносились человечьи голоса, медленно плывя в светлой тишине. Что-то щёлкнуло; вздрогнув, Наталья подняла голову, – над нею, на сучке яблони висела западня для птиц, чиж бился среди тонких прутьев.

«Кто ж это ловит? Никита?»

Где-то хрустнул сухой сучок.

Когда она вернулась в дом и заглянула в комнату матери, та, проснувшись, лежала вверх лицом, удивлённо подняв брови, закинув руку за голову.

– Кто... что ты? – тревожно спросила она, приподнимаясь на локте.

– Ничего, вот – смородины к чаю набрала тебе.

На столе у кровати стоял большой графин кваса, почти пустой, квас был пролит на скатерть, пробка графина лежала на полу. Строгие, светлые глаза матери окружены синеватой тенью, но не опухли от слёз, как ожидала видеть это Наталья; глаза как будто тоже потемнели, углубились, и взгляд их, всегда несколько надменный, сегодня казался незнакомым, смотрел издали, рассеянно.

– Комары спать не дают, в амбаре спать буду, – говорила мать, кутая шею простыней. – Искусали. А ты что рано встала? Зачем ходишь босая по росе? Подол мокрый. Простудишься...

Говорила мать неласково и неохотно, сквозь какие-то свои думы. Тревога дочери постепенно заменялась неприязненным и острым любопытством женщины.

– Я проснулась – подумала о тебе... во сне тебя видела.

– Что подумала? – осведомилась мать, глядя в потолок.

– Вот – одна ты спишь, без меня...

Наталье показалось, что щёки матери зарумянились и что, когда она, улыбаясь, сказала: «Я не боязлива» – улыбка вышла фальшивой.

– Ну, иди, милоч, твой проснулся, слышишь – топает? – приказала мать, закрыв глаза.

Медленно поднимаясь по лестнице, Наталья думала брезгливо и почти враждебно:

«Ночевал он у неё, это он квас пил. Шея-то у неё в пятнах, не комары накусили, а нацеловано. Не скажу Пете об этом. В амбаре спать хочет. А – кричала...»

– Где была? – спросил Пётр, зорко всматриваясь в лицо жены, – она опустила глаза, чувствуя себя виноватой в чём-то.

– Смородину собирала, к матери зашла.

– Ну, что же она?

– Ничего будто...

– Так, – сказал Пётр, дёрнув себя за ухо, – так!

И, усмехаясь, потирая тёмно-рыжий подбородок, вздохнул:

– Видно, – правду говорила дура Барская: крику не верь, слезам – не верь.

Затем он строго спросил:

брание сочинений в тридцати томах. Том 16. Рассказы, повести 1922–1925. Максим Горький gorkiymaxim.

– Никиту видела?

– Нет.

– Как же – нет? Вот он – птиц ловит в саду.

– Ой, – пугливо крикнула Наталья, – а я вот так, в одной рубашке ходила!

– То-то вот...

– И когда он спит?

Пётр, надевая сапог, громко крякнул, а жена, искоса взглянув на него, усмехнулась, говоря:

– Ведь горбат, а приятный... приятнее Алексея...

Муж крякнул ещё раз, но – потише.

...Каждый день, на восходе солнца, когда пастух, собирая стадо, заунывно наигрывал на длинной берестяной трубе, – за рекою начинался стук топоров, и обыватели, выгоняя на улицу коров, овец, усмешливо говорили друг другу:

– Чу, затыпали, ни свет ни заря...

– Жадность – покою лютый враг.

Илье Артамонову иногда казалось, что он уже преодолел ленивую неприязнь города; дрёмовцы почтительно снимали перед ним картузы, внимательно слушали его рассказы о князьях Ратских, но почти всегда тот или другой не без гордости замечал:

– У нас господа попроще, победнее, а – построже ваших!

Вечерами, в праздники, сидя в густом, красивом саду трактира Барского на берегу Оки, он говорил богачам, сильным людям Дрёмова:

– От моего дела всем вам будет выгода.

– Давай бог, – отвечал Помялов, усмехаясь коротенькой, собачьей улыбкой, и нельзя было понять: ласково лизнёт или укусит? Его измятое лицо неудачно спрятано в пеньковой бородке, серый нос недоверчиво принюхивается ко всему, а желудёвые глаза смотрят ехидно.

– Давай бог, – повторяет он, – хотя и без тебя неплохо жили, ну, может, и с тобой так же проживём.

Артамонов хмурится:

– Двоемысленно говоришь, не дружески.

Барский хохочет, кричит:

– Он у нас – такой!

У Барского на месте лица скупоналяпаны багровые куски мяса, его огромная голова, шея, щёки, руки – весь он густо оброс толстоволосой, медвежьей шерстью, уши – не видны, ненужные глаза скрыты в жирных подушечках.

– Вся моя сила в жир пошла, – говорит он и хохочет, широко открывая пасть, полную тупыми зубами.

К Артамонову присматривается очень светлыми глазами тележник Воропонов, он поучает сухоньким голосом:

– Дела делать – надо, а и божие не следует забывать. Сказано: «Марфа, Марфа, печешися о многом, а единое на потребу суть».

Светлые и точно пустые глаза его смотрят так, как будто Воропонов догадывается о

брание сочинений в тридцати томах. Том 16. Рассказы, повести 1922–1925. Максим Горький gorkiyтахim. чём-то и вот сейчас оглушит необыкновенным словом. Иногда он как будто и начинал говорить нечто:

– Конечно, и Христос хлеб вкушал, так что Марфа...

– Ну-ну, – останавливал его кожевник Житейкин, церковный староста, – куда поехал?

Воропонов умолкал, двигая серыми ушами, а Илья спрашивал кожевника:

– Ты моё дело понимаешь?

– Это зачем? – искренно удивлялся Житейкин. – Дело – твоё, тебе его и понимать, чудак! У тебя – твоё, у меня – моё.

Артамонов пил густое пиво и смотрел сквозь деревья на мутную полосу Оки и левее, где в бок ей выползала из ельника, из болот, зелёной змеёй фигурно изогнувшаяся Ватаракша. Там, на мысу, на золотой парче песка масляно светится щепка и стружка, краснеет кирпич, среди примятых кустов тальника вытянулась длинная, мясного цвета фабрика, похожая на гроб без крышки. Горит на солнце амбар, покрытый матовым, ещё не окрашенным железом, и, точно восковой, тает жёлтый сруб двухэтажного дома, подняв в жаркое небо туго натянутые золотые стропила, – Алексей ловко сказал, что дом издали похож на гусли. Алексей живёт там, отодвинут подальше от парней и девиц города; трудно с ним – задорен и вспыльчив. Пётр тяжелее его, в Петре есть что-то мутное; ещё не понимает он, как много может сделать смелый человек.

По лицу Артамонова проходит тень, он, усмехаясь, смотрит из-под густых бровей на горожан, это – дешёвый народ, жадность к делу у них робкая, а настоящего задора – нет.

Ночами, когда город мёртво спит, Артамонов вором крадётся по берегу реки, по задворкам, в сад вдовы Баймаковой. В тёплом воздухе гудят комары, и как будто это они разносят над землёй вкусный запах огурцов, яблок, укропа. Луна катится среди серых облаков, реку гладят тени. Перешагнув через плетень в сад, Артамонов тихонько проходит во двор, вот он в тёмном амбаре, из угла его встречает опасливый шёпот:

– Незаметно прошёл?

Сбрасывая одежду, он сердито ворчит:

– Досада это мне, – прятаться! Мальчишка я, что ли?

– А не заводи любовницу.

– Рад бы не завёл, да господь навёл.

– Ой, что ты говоришь, еретик! Мы с тобой против бога идём...

– Ну, ладно! Это – после. Эх, Ульяна, люди тут у вас...

– А ты – полно, не скучай, – шепчет женщина и долго, с яростной жадностью, утешает его ласками, а отдохнув, подробно рассказывает о людях: кого надо бояться, кто умён, кто бесчестен, у кого лишние деньги есть.

– Помялов с Воропоновым, зная, что тебе дров много нужно, хотят леса кругом скупить, прижать тебя.

– Опоздали, князь леса мне запродали.

Вокруг них, над ними непроницаемо чёрная тьма, они даже глаз друг друга не видят и говорят беззвучным шёпотом. Пахнет сеном, берёзовыми вениками, из погреба поднимается сыроватый, приятный холодок. Тяжёлая, точно из свинца литая, тишина облила городишко; иногда пробежит крыса, попищат мышата, да ежечасно на колокольне у Николы подбитый колокол бросает в тьму унылые, болезненно дрожащие звуки.

брание сочинений в тридцати томах. Том 16. Рассказы, повести 1922–1925. Максим Горький gorkiymaxim.

– Экая ты дородная! – восхищается Артамонов, поглаживая горячее и пышное тело женщины. – Экая мощная! Что ж ты родила мало?

– Кроме Натальи – двое было, слабенькие, померли.

– Значит – муж был плох...

– Не поверишь, – шепчет она, – я ведь до тебя и не знала, какова есть любовь. Бабы, подруги, бывало, рассказывают, а я – не верю, думаю: врут со стыда! Ведь, кроме стыда, я и не знала ничего от мужа–то, как на плаху ложилась на постель. Молюсь богу: заснул бы, не трогал бы! Хороший был человек, тихий, умный, а таланта на любовь бог ему не дал...

Её рассказ и возбуждает и удивляет Артамонова, крепко поглаживая пышные груди её, он ворчит:

– Вот как бывает, а я и не знал, думал: всякий мужик бабе сладок.

Он чувствует себя сильнее и умнее рядом с этой женщиной, днём – всегда ровной, спокойной, разумной хозяйкой, которую город уважает за ум её и грамотность. Однажды, растроганный её девичьими ласками, он сказал:

– Я понимаю, на что ты пошла. Зря мы детей женили, надо было мне с тобой обвенчаться...

– Дети у тебя – хорошие, они и узнают про нас, – не беда, а вот если город узнает...

Она вздрогнула всем телом.

– Ну, ничего, – шепнул Илья.

Как-то она полюбопытствовала:

– Скажи-ка: вот – человека ты убил, не снится он тебе?

Равнодушно почёсывая бороду, Илья ответил:

– Нет, я крепко сплю, снов не вижу. Да и чему снится? Я и не видал, каков он. Ударил меня, я едва на ногах устоял, треснул кого-то кистенём по башке, потом – другого, а третий убежал.

Вздохнув, он с обидой проворчал:

– Наткнутся на тебя дураки, а ты за них отвечай богу...

Несколько минут лежали молча.

– Задремал?

– Нет.

– Иди, светать скоро начнёт; на стройку пойдёшь? Ох, умаешься ты со мной...

– Не бойся, – на будни хватило, хватит и на праздник, – похвалился Артамонов, одеваясь.

Он идёт по холодку, в перламутровом сумраке раннего утра; ходит по своей земле, сунув руки за спину под кафтан; кафтан приподнялся петушиным хвостом; Артамонов давит тяжёлою ногой стружку, щепу, думает:

«Олёшке надо дать выгуляться, пускай с него пена сойдёт. Трудный парень, а – хорош».

Ложится на песок или на кучу стружек и быстро засыпает. В зеленоватом небе ласково разгорается заря; вот солнце хвастливо развернуло над землёю павлиний хвост лучей и само, золотое, всплыло вслед за ним; проснулись рабочие и, видя распостёртое, большое тело, предупреждают друг друга:



– Тут!

Скуластый Тихон Вялов, держа на плече железный заступ, смотрит на Артамонова мерцающими глазами так, точно хочет перешагнуть через него и – не решается.

Муравьиная суeta людей, крики, стук не будят большого человека, лёжа в небо лицом, он храпит, как тупая пила, – землекоп идёт прочь, оглядываясь, мигая, как ушибленный по голове. Из дома вышел Алексей в белой холщовой рубахе, в синих портах, он легко, как по воздуху, идёт купаться и обходит дядю осторожно, точно боясь разбудить его тихим скрипом стружки под ногами. Никита ещё засветло уехал в лес; почти каждый день он привозит оттуда воза два перегноя, сваливая его на месте, расчищенном для сада, он уже насадил берёз, клёна, рябины, черёмухи, а теперь копает в песке глубокие ямы, забивая их перегноем, илом, глиной, – это для плодовых деревьев. По праздникам ему помогает работать Тихон Вялов.

– Сады садить – дело безобидное, – говорит он.

Дёргая себя за ухо, ходит Пётр Артамонов, посматривает на работу. Сочно всхрапывает пила, въедаясь в дерево, посвистывают, шаркая, рубанки, звонко рубят топоры, слышны смачные шлепки извести, и всхлипывает точило, облизывая лезвие топора. Плотники, поднимая балку, поют «Дубинушку», молодой голос звонко выводит:

Пришел к Марье кум Захарий,  
Кулаком Марью по харе...

– Грубо поют, – сказал Пётр землекопу Вялову, – тот, стоя по колено в песке, ответил:

– Всё едино чего петь...

– Как это?

– В словах души нет.

«Непонятный мужик», – подумал Пётр, отходя от него и вспоминая, что, когда отец предложил Вялову место наблюдающего за работой, мужик этот ответил, глядя под ноги отцу:

– Нет, я не гожусь на это, не умею людьми распоряжаться. Ты меня в дворники возьми...

Отец крепко обругал его.

...Холодная, мокрая пришла осень, сады покрылись ржавчиной, чёрные железные леса тоже проржавели рыжими пятнами; посвистывал сырой ветер, сгоняя в реку бледные, растоптанные стружки. Каждое утро к амбару подъезжали телеги, гружённые льном, запряжённые шершавыми лошадьми. Пётр принимал товар, озабоченно следя, как бы эти бородатые, угрюмые мужики не подсунули «потного», смоченного для веса водю, не продали бы простой лён по цене «долгунца». Трудно было ему с мужиками; нетерпеливый Алексей яростно ругался с ними. Отец уехал в Москву, вслед за ним отправилась тёща, будто бы на богомолье. Вечерами, за чаем, за ужином, Алексей сердито жаловался:

– Скучно тут жить, не люблю я здешних...

Этим он всегда раздражал Петра.

– Сам-то хорош! Задираешь всех. Хвастать любишь.

– Есть чем, вот и хвастаю.

Встряхая кудрями, он расправлял плечи, выгибал грудь и, дерзко прищутив глаза, смотрел на братьев, на невестку. Наталья сторонилась его, точно боясь в нём чего-то, говорила с ним сухо.

После обеда, когда муж и Алексей уходили снова на работы, она шла в маленькую, монашескую комнату Никиты и, с шитьём в руках, садилась у окна, в кресло,

брание сочинений в тридцати томах. Том 16. Рассказы, повести 1922–1925. Максим Горький gorkiymaxim.  
искусно сделанное для неё горбуном из берёзы. Горбун, исполняя роль конторщика, с утра до вечера писал, считал, но когда являлась Наталья, он, прерывая работу, рассказывал ей о том, как жили князья, какие цветы росли в их оранжереях. Его высокий, девичий голос звучал напряжённо и ласково, синие глаза смотрели в окно, мимо лица женщины, а она, склонясь над шитьём, молчала так задумчиво, как молчит человек наедине с самим собою. Почти не глядя друг на друга, они сидели час, два, но порою Никита осторожно и как бы невольно обнимал невестку ласковым теплом синих глаз, и его большие, собачьи уши заметно розовели. Скользящий взгляд его иногда заставлял женщину тоже взглянуть на деверя и улыбнуться ему милостивой улыбкой – странной улыбкой; иногда Никита чувствует в ней некую догадку о том, что волнует его, иногда же улыбка эта кажется ему и обиженной и обидной, он виновато опускает глаза.

За окном шуршит и плещет дождь, смывая поблекшие краски лета, слышен крик Алексея, рёв медвежонка, недавно прикованного на цепь в углу двора, бабы-трепальщицы дробно околачивают лён. Шумно входит Алексей; мокрый, грязный, в шапке, сдвинутой на затылок, он всё-таки напоминает весенний день; посмеиваясь, он рассказывает, что Тихон Вялов отсёк себе палец топором.

– Будто – невзначай, а дело явное: солдатчины боится. А я бы охотой в солдаты пошёл, только б отсюда прочь.

И, хмурясь, он урчит, как медвежонок:

– Заехали к чертям на задворки...

Потом требовательно протягивает руку:

– Дай пятиалтынный, я в город иду.

– Зачем?

– Не твоё дело.

Уходя, он напевает:

Бежит девка по дорожке,  
Тащит милому лепёшки...

– Ох, доиграется он до нехорошего! – говорит Наталья. – Подруги мои с Ольгунькой Орловой часто видят его, а ей только пятнадцатый год пошёл, матери – нет у неё, отец – пьяница...

Никите не нравится, как она говорит это, в словах её он слышит избыток печали, излишек тревоги и как будто зависть.

Горбун молча смотрит в окно, в мокром воздухе качаются лапы сосен, сбрасывают с зелёных игол ртутные капли дождя. Это он посадил сосны; все деревья вокруг дома посажены его руками...

Входит Пётр, угрюмый и усталый.

– Чай пить пора, Наталья.

– Рано ещё.

– Пора, говорю! – кричит он, а когда жена уходит, садится на её место и тоже ворчит, жалуясь:

– Взвалил отец на мои плечи всю эту машину. Верчусь колесом, а куда еду – не знаю. Если у меня не так идёт, как надо, – задаст он мне...

Никита мягко и осторожно говорит ему об Алексее, о девице Орловой, но брат отмахивается рукою, видимо, не вслушавшись в его слова.

– Нет у меня времени девками любоваться! Я и жену только ночами сквозь сон вижу, а днём слеп, как сыч. Глупости у тебя на уме...

И, дёргая себя за ухо, он говорит осторожно:

– Не наше бы это дело, фабрика. Нам бы лучше податься в степи, купить там землю, крестьянствовать. Шума-то было бы меньше, а толку – больше...

Илья Артамонов возвратился домой весёлый, помолодевший, он подстриг бороду, ещё шире развернул плечи, глаза его светились ярче, и весь он стал точно заново перекованный плуг. Баринном развалясь на диване, он говорил:

– Дела наши должны идти, как солдаты. Работы вам, и детям вашим, и внукам довольно будет. На триста лет. Большое украшение хозяйства земли должно изойти от нас, Артамоновых!

Пощупал глазами сноху и закричал:

– Пухнешь, Наталья? Родишь мальчика – хороший подарок сделаю.

Вечером, собираясь спать, Наталья сказала мужу:

– Хорош батюшка, когда весёлый.

Муж, искоса взглянув на неё, неласково отозвался:

– Ещё бы не хорош, подарок обещал.

Но недели через две-три Артамонов притих, задумался; Наталья спросила Никиту:

– На что батюшка сердится?

– Не знаю. Его не поймёшь.

В тот же вечер, за чаем, Алексей вдруг сказал отчётливо и громко:

– Батюшка, – отдай меня в солдаты.

– К-куда? – заикнувшись, спросил Илья.

– Не хочу я жить здесь...

– Ступайте вон! – приказал Артамонов детям, но когда и Алексей пошёл к двери, он крикнул ему:

– Стой, Олёшка!

Он долго рассматривал парня, держа руки за спиною, шевеля бровями, потом сказал:

– А я думал: вот у меня орёл!

– Не приживусь я тут.

– Врёшь. Место твоё – здесь. Мать твоя отдала мне тебя в мою волю, – иди!

Алексей шагнул, точно связанный, но дядя схватил его за плечо:

– Не так бы надо говорить с тобой, – со мной отец кулаком говорил. Иди.

И, ещё раз окрикнув его, внушительно добавил:

– Тебе – большим человеком быть, понял? Чтобы впредь я от тебя никакого визгу не слышал...

Оставшись один, он долго стоял у окна, зажав бороду в кулак, глядя, как падает на землю серый мокрый снег, а когда за окном стало темно, как в погребе, пошёл в город. Ворота Баймаковой были уже заперты, он постучал в окно, Ульяна сама отперла ему, недовольно спросив:

– Что это ты когда явился?

Не отвечая, не раздеваясь, он прошёл в комнату, бросил шапку на пол, сел к

брание сочинений в тридцати томах. Том 16. Рассказы, повести 1922–1925. Максим Горький gorkiутахіт. столу, облокотясь, запустив пальцы в бороду, и рассказал про Алексея.

– Чужой: сестра моя с бариним играла, оно и сказывается.

Женщина посмотрела, плотно ли закрыты ставни окон, погасила свечу, – в углу, пред иконами, теплилась синяя лампада в серебряной подставе.

– Жени его скорей, вот и свяжешь, – сказала она.

– Да, так и надо. Только – это не всё. В Петре – задору нет, вот горе! Без задора – ни родить, ни убить. Работает будто не своё, всё ещё на барина, всё ещё крепостной, воли не чувствует, – понимаешь? Про Никиту я не говорю: он – убогий, у него на уме только сады, цветы. Я ждал – Алексей вгрызётся в дело...

Баймакова успокаивала его:

– Рано тревожишь себя. Погоди, завертится колесо бойчее, подомнёт всех – обомнутя.

Они беседовали до полуночи, сидя бок о бок в тёплой тишине комнаты, – в углу её колебалось мутное облако синеватого света, дрожал робкий цветок огня. Жалуясь на недостаток в детях делового задора, Артамонов не забывал и горожан:

– Скуподушные люди.

– Тебя не любят за то, что ты удачлив, за удачу мы, бабы, любим, а вашему брату чужая удача – бельмо на глаз.

Ульяна Баймакова умела утешить и успокоить, а Илья Артамонов только недовольно крякнул, когда она сказала ему:

– Я вот одного до смерти боюсь – понести от тебя...

– В Москве дела – огнём горят! – продолжал он, вставая, обняв женщину. – Эх, кабы ты мужиком была...

– Прощай, родимый, иди!

Крепко поцеловав её, он ушёл.

...На масленице Ерданская привезла Алексея из города в розвальнях оборванного, избитого, без памяти. Ерданская и Никита долго растирали его тело тёртым хреном с водкой, он только стонал, не говоря ни слова. Артамонов зверем метался по комнате, засучивая и спуская рукава рубахи, скрипя зубами, а когда Алексей очнулся, он заорал на него, размахивая кулаком:

– Кто тебя – говори?

Приоткрыв жалобно злой, запухший глаз, задыхаясь, сплёвывая кровь, Алексей тоже захрипел:

– Добивай...

Испуганная Наталья громко заплакала, – свёкор топнул на неё, закричал:

– Цыц! Вон!

Алексей хватал голову руками, точно оторвать её хотел, и стонал.

Потом, раскинув руки, свалился на бок, замер, открыв окровавленный, хрипящий рот; на столе у постели мигала свеча, по обезображенному телу ползали тени, казалось, что Алексей всё более чернеет, пухнет. В ногах у него молча и подавленно стояли братья, отец шагал по комнате и спрашивал кого-то:

– Неужто – не выживет, а?

Но через восемь суток Алексей встал, влажно покашливая, харкая кровью; он начал часто ходить в баню, парился, пил водку с перцем; в глазах его загорелся тёмный

брание сочинений в тридцати томах. Том 16. Рассказы, повести 1922–1925. Максим Горький gorkiymaxim.  
угрюмый огонь, это сделало их ещё более красивыми. Он не хотел сказать, кто избил его, но Ерданская узнала, что бил Степан Барский, двое пожарных и мордвин, дворник Воропонова. Когда Артамонов спросил Алексея: так ли это? – тот ответил:

– Не знаю.

– Врёшь!

– Не видел; они мне сзади кафтан, что ли, на голову накинули.

– Скрываешь ты что-то, – догадывался Артамонов, Алексей взглянул в лицо его нехорошо пылающими глазами и сказал:

– Я – выздоровею.

– Ешь больше! – посоветовал Артамонов и проворчал в бороду себе: – За такое дело – красного петуха пустить бы, поджарить им лапы-то...

Он стал ещё более внимателен, грубо ласков с Алексеем и работал напоказ, не скрывая своей цели: воодушевить детей страстью к труду.

– Всё делайте, ничем не брезгуйте! – поучал он и делал много такого, чего мог бы не делать, всюду обнаруживая звериную, зоркую ловкость, – она позволяла ему точно определять, где сопротивление силе упрямее и как легче преодолеть его.

Беременность снохи неестественно затянулась, а когда Наталья, промучившись двое суток, на третьи родила девочку, он огорчённо сказал:

– Ну, это что...

– Благодарю бога за милость, – строго посоветовала Ульяна, – сегодня день Елены Льяницы.

– Ой ли?

Он схватил святцы, взглянул и по-детски обрадовался:

– Веди к дочери!

Положив на грудь снохи серьги с рубинами и пять червонцев, он кричал:

– Получи! Хоть и не парня родила, а – хорошо!

И спрашивал Петра:

– Ну, что, рыба-сом, рад? Я, когда ты родился, рад был!

Пётр пугливо смотрел в бескровное, измученное, почти незнакомое лицо жены; её усталые глаза провалились в чёрные ямы и смотрели оттуда на людей и вещи, как бы вспоминая давно забытое; медленными движениями языка она облизывала искусанные губы.

– Что она молчит? – спросил он тещу.

– Накричалась, – объяснила Ульяна, выталкивая его из комнаты.

Двое суток, день и ночь слушал он вопли жены и сначала жалел её, боялся, что она умрёт, а потом, оглушённый её криками, отупев от суеты в доме, устал и бояться и жалеть. Он старался только уйти куда-нибудь подальше, куда не достигал бы вой жены, но спрятаться от этого не удавалось, визг звучал где-то внутри головы его, возбуждая необыкновенные мысли. И всюду, куда бы он ни шёл, он видел Никиту с топором или железной лопатой в руках, горбун что-то рубил, тесал, рыл ямы, бежал куда-то бесшумным бегом крота, казалось – он бежит по кругу, оттого и встречается везде.

– Не разродится, пожалуй, – сказал Пётр брату, – горбун, всадив лопату в песок, спросил:

брание сочинений в тридцати томах. Том 16. Рассказы, повести 1922–1925. Максим Горький gorkiymaxim.  
– Что повитуха говорит?

– Утешает. Обещает. Ты что дрожишь?

– Зубы болят.

Вечером, в день родов, сидя на крыльце дома с Никитой и Тихоном, он рассказал, задумчиво улыбаясь:

– Тёща положила мне на руки ребёнка-то, а я с радости и веса не почувствовал, чуть к потолку не подбросил дочь. Трудно понять: из-за такой малости, а какая тяжёлая мука...

Почёсывая скулу, Тихон Вялов сказал спокойно, как всегда говорил:

– Все человечесьи муки из-за малости.

– Как это? – строго спросил Никита; дворник, зевнув, равнодушно ответил:

– Да – так как-то...

Из дома позвали ужинать.

Ребёнок родился крупный, тяжёлый, но через пять месяцев умер от угара, мать тоже едва не умерла, угорев вместе с ним.

– Ну, что ж! – утешал отец Петра на кладбище. – Родит ещё. А у нас теперь своя могила здесь будет, значит – якорь брошен глубоко. С тобой – твоё, под тобой – твоё, на земле – твоё и под землёй твоё, – вот что крепко ставит человека!

Пётр кивнул головой, глядя на жену; неуклюже согнув спину, она смотрела под ноги себе, на маленький холмик, по которому Никита сосредоточенно шлёпал лопатой. Смахивая пальцами слёзы со щёк так судорожно быстро, точно боялась обжечь пальцы о свой распухший, красный нос, она шептала:

– Господи, господи...

Между крестов, читая надписи, ходил, кружился Алексей; он похудел и казался старше своих лет. Его немужичье лицо, обрастая тёмным волосом, казалось обожжённым и закоптевшим, дерзкие глаза, углубясь под чёрные брови, смотрели на всех неприязненно, он говорил глуховатым голосом, свысока и как бы нарочито невнятно, а когда его переспрашивали, взвизгивал:

– Не понимаешь?

И ругался. В его отношении к братьям явилось что-то нехорошее, насмешливое. На Наталью он покрикивал, как на работницу, а когда Никита, с упрёком, сказал ему: «Зря обижаешь Наташу!» – он ответил:

– Я человек больной.

– Она смиренная.

– Ну и пусть потерпит.

О том, что он больной, Алексей говорил часто и всегда почти с гордостью, как будто болезнь была достоинством, отличавшим его от людей.

Идя с кладбища рядом с дядей, он сказал ему:

– Надо бы нам свой погост устроить, а то с этими и мёртвому лежать зазорно.

Артамонов усмехнулся.

– Устроим. Всё будет у нас: церковь, кладбище, училище заведём, больницу, – погоди!

Когда шли по мосту через Ватаракшу, на мосту, держась за перила, стоял

брание сочинений в тридцати томах. Том 16. Рассказы, повести 1922–1925. Максим Горький gorkiymaxim.  
нищеподобный человек, в рыженьком, отрѣпанном халате, похожий на пропившегося чиновника. На его дряблом лице, заросшем седой бритой щетиной, шевелились волосатые губы, открывая осколки чёрных зубов, мутно светились мокренькие глазки. Артамонов отвернулся, сплюнул, но заметив, что Алексей необычно ласково кивнул головою дрянному человечку, спросил:

– Это что?

– Часовщик Орлов.

– И видно, что Орлов!

– Он – умный, – настойчиво сказал Алексей. – Его – затравили...

Артамонов покосился на племянника и промолчал.

Наступило лето, сухое и знойное, за Окою горели леса, днём над землёю стояло опаловое облако едкого дыма, ночами лысая луна была неприятно красной, звёзды, потеряв во мгле лучи свои, торчали, как шляпки медных гвоздей, вода реки, отражая мутное небо, казалась потоком холодного и густого подземного дыма.

Артамоновы, поужинав, задыхаясь в зное, пили чай в саду, в полукольце клёнов; деревья хорошо принялись, но пышные шапки их узорной листвы в эту мгlistую ночь не могли дать тени. Трещали сверчки, гудели однорогие, железные жуки, пищал самовар. Наталья, расстегнув верхние пуговицы кофты, молча разливала чай, кожа на груди её была тёплого цвета, как сливочное масло; горбун сидел, склонив голову, строгая прутья для птичьих клеток, Пётр дёргал пальцами мочку уха, тихонько говоря:

– Людей дразнить – вредно, а отец дразнит.

Алексей, сухо покашливая, смотрел в сторону города и точно ждал чего-то, вытягивая шею. В городе заныл колокол.

– Набат? Пожар? – спросил Алексей, приложив ладонь ко лбу и вскакивая.

– Что ты? Звонарь часы отбивает.

Алексей встал и ушёл, а Никита, помолчав, сказал тихонько:

– Всё пожары ему чудятся.

– Злой стал, – осторожно заметила Наталья. – А сколько в нём веселья было...

Внушительно, как подобает старшему, Пётр упрекнул брата и жену:

– Вы оба глупо глядите на него; ему ваша жалость обидна. Идём спать, Наталья.

Ушли. Горбун, посмотрев вслед им, тоже встал, пошёл в беседку, где спал на сене, присел на порог её. Беседка стояла на холме, обложенном дёрном, из неё, через забор, было видно тёмное стадо домов города, колокольни и пожарная каланча сторожили дома. Прислуга убирала посуду со стола, звякали чашки. Вдоль забора прошли ткачи, один нёс бредень, другой гремел железом ведра, третий высекал из кремня искры, пытаясь зажечь трут, закурить трубку. Зарычала собака, спокойный голос Тихона Вялова ударил в тишину:

– Кто идёт?

Тишина была натянута над землёю туго, точно кожа барабана, даже слабый хруст песка под ногами ткачей отражался ею неприятно чётко. Никите очень нравилась беззвучность ночей. Чем полнее была она, тем более сосредоточивал он всю силу воображения своего вокруг Натальи, тем ярче светились милые глаза, всегда немного испуганные или удивлённые. И легко было выдумывать различные, счастливые для него события: вот он нашёл богатейший клад, отдал его Петру, а Пётр отдал ему Наталью. Или: вот напали разбойники, а он совершает такие необыкновенные подвиги, что отец и брат сами отдавали ему Наталью в награду за то, что сделано им. Пришла болезнь, после неё от всего семейства остались в живых только двое: он и Наталья, и тогда бы он показал ей, что её счастье скрыто в его душе.

Было уже за полночь, когда он заметил, что над стадом домов города, из неподвижных туч садов, возникает ещё одна, медленно поднимаясь в тёмно-серую муть неба; через минуту она, снизу, багрово осветилась, он понял, что это пожар, побежал к дому и увидел: Алексей быстро лезет по лестнице на крышу амбара.

– Пожар! – крикнул Никита, – брат ответил, влезая выше:

– Знаю. Ну?

– Вот, – ждал ты, – вспомнил горбун и, удивлённый, остановился среди двора.

– Ну, ждал! Так что? В такую сушь всегда пожары бывают.

– Надо ткачей будить...

Но ткачей уже разбудил Тихон, и один за другим они бежали к реке, весело покрикивая.

– Влезай ко мне, – предложил Алексей, сидя верхом на коньке крыши, горбун покорно полез, говоря:

– Наташа не испугалась бы.

– А ты не боишься, что Пётр набьёт тебе ещё горб?

За что? – тихо спросил Никита и услышал:

– Не пяль глаз на его жену.

Горбун долго не мог ответить ни слова, ему казалось, что он скользит с крыши и сейчас упадёт, ударится о землю.

– Что ты говоришь? Подумал бы, – пробормотал он.

– Ну, ладно, ладно! Вижу я... Не бойся, – сказал Алексей весело, как давно уже не говорил; он смотрел из-под ладони, как толстые языки огня, качаясь, волнуют тишину, заставляя её глухо гудеть, и оживлённо рассказывал:

– Это – Барские горят. У них, на дворе, бочек двадцать дёгтя. До соседней огонь не дойдёт, сады помешают.

«Бежать надо», – думал Никита, глядя вдаль, во тьму, разорванную огнём; там, в красноватом воздухе, стояли деревья, выкованные из железа, по красноватой земле суетливо бегали игрушечно маленькие люди, было даже видно, как они суют в огонь тонкие, длинные багры.

– Хорошо горит, – похваливал Алексей.

«В монастырь уйду», – думал горбун.

На дворе сонно и сердито ворчал Пётр, в ответ ему лениво плыли слова Тихона Вялова, и, точно в раме, в окне дома стояла, крестясь, Наталья.

Никита сидел на крыше до поры, пока на месте пожарища засверкала золотом груда углей, окружая чёрные колонны печных труб. Потом он слез на землю, вышел за ворота и столкнулся с отцом, мокрым, выпачканным сажей, без картуза, в изорванной поддёвке.

– Куда? – необыкновенно яростно закричал отец, толкнув Никиту во двор, и, увидав белую фигуру Алексея на крыше, приказал ещё свирепей:

– Ты чего там торчишь? Слезь. Тебе, дураку, здоровье беречь надо...

Никита прошёл в сад, присел там на скамью под окном комнаты отца и вскоре услышал, как отец, сильно хлопнув дверью, вполголоса, но глухо спросил:

– Погубить себя хочешь? А меня срамом покрыть, а? Убью...



Визгливо ответил Алексей:

– Сам ты меня надоумил.

– Молчать! Моли бога, что тот негодяй языка лишён...

Никита встал и тихонько, но поспешно ушёл в угол сада, в беседку.

Утром, за чаем, отец рассказывал:

– Поджог; поджигатель оказался пьяница этот, часовщик. Избили его, наверно – помрёт. Разорил его Барский, что ли, да и на сына его, Стёпку, был он сердит. Дело тёмное.

Алексей спокойно пил молоко, а Никита, чувствуя, что у него трясутся руки, сунул их между колен и крепко зажал. Отец, заметив его движение, спросил:

– Ты что ёжишься?

– Нездоровится.

– Всем вам нездоровится. А я вот здоров...

Сердито оттолкнув недопитый стакан чая, он ушёл.

Дело Артамонова быстро обрастало людьми; в двух верстах от фабрики, по холмам, покрытым вереском, среди редкого ельника, выстроились маленькие, приземистые хижинки, без дворов, без плетней, издали похожие на ульи. Для одиноких и холостых рабочих Артамонов построил над неглубоким оврагом, руслом высохшей реки, имя которой забыто, длинный барак, с крышей на один скат, с тремя трубами на крыше, с маленькими, ради сохранения тепла, окнами; окна придавали бараку сходство с конюшней, и рабочие называли его – «Жеребьячий дворец». Илья Артамонов становился всё более хвастливо криклив, но заносчивости богача не приобретал, с рабочими держался просто, пировал у них на свадьбах, крестил детей, любил по праздникам беседовать со старыми ткачами, они научили его посоветовать крестьянам сеять лён по старопашням и по лесным пожогам, это оказалось очень хорошо. Старые ткачи восхищались податливым хозяином, видя в нём мужика, которому судьба милостиво улыбается, учили молодёжь:

– Глядите, как дела крутить надо!

А Илья Артамонов учил детей:

– Мужики, рабочие – разумнее горожан. У городских – плоть хилая, умишко трёпаний, городской человек жаден, а – не смел. У него всё выходит мелко, непрочно. Городские ни в чём точной меры не знают, а мужик крепко держит себя в пределах правды, он не мечется туда-сюда. И правда у него простая: бог, например, хлеб, царь. Он – весь простой, мужик, за него и держитесь. Ты, Пётр, сухо с рабочими говоришь и всё о деле, это – не годится, надобно уметь и о пустяках поболтать. Пошутить надо; весёлый человек лучше понятен.

– Шутить я не умею, – сказал Пётр и по привычке дёрнул себя за ухо.

– Учись. Шутка – минутка, а заряжает на час. Алексей тоже неловок с людьми, криклив, придирчив.

– Жулики они и лентяи, – задорно отозвался Алексей.

Артамонов строго крикнул:

– Много ли ты знаешь про людей? – Но улыбнулся в бороду и, чтоб не заметили улыбку, прикрыл её рукою; он вспомнил, как смело и разумно спорил Алексей с горожанами о кладбище: дрёмовцы не желали хоронить на своём погосте рабочих Артамонова. Пришлось купить у Помялова большой кусок ольховой рощи и устраивать свой погост.

– Погост, – размышлял Тихон Вялов, вырубая с Никитой тонкие, хилые деревья. – Не

брание сочинений в тридцати томах. Том 16. Рассказы, повести 1922–1925. Максим Горький gorkiymaxim.  
на своё место слова ставим. Называется – погост, а гостят тут века вечные.  
Погосты – это дома, города.

Никита видел, что Вялов работает легко и ловко, проявляя в труде больше разумности, чем в своих тёмных и всегда неожиданных словах. Так же, как отец, он во всяком деле быстро находил точку наименьшего сопротивления, берёт силу и брал хитростью. Но была ясно заметна и разница: отец за всё брался с жаром, а Вялов работал как бы нехотя, из милости, как человек, знающий, что он способен на лучшее. И говорил он так же: немного, милостиво, многозначительно, с оттенком небрежности, намекая:

– Я и ещё много знаю; и не то ещё могу сказать.

И всегда в его словах слышались Никите какие-то намёки, возбуждавшие в нём досаду на этого человека, боязнь пред ним и – острое, тревожное любопытство к нему.

– Много ты знаешь, – сказал он Вялову, тот не спеша ответил:

– Затем живу. Я знаю – это не беда, я для себя знаю. Моё знание спрятано у скупого в сундуке, оно никому не видимо, будь спокоен...

Не заметно было, чтоб Тихон выспрашивал людей о том, что они думают, он только назойливо присматривался к человеку птичьими, мерцающими глазами и, как будто высосав чужие мысли, внезапно говорил о том, чего ему не надо знать. Иногда Никите хотелось, чтоб Вялов откусил себе язык, отрубил бы его, как отрубил себе палец, – он и палец отрубил себе не так, как следовало, не на правой руке, а на левой, безымянный. Отец, Пётр и все считали его глупым, но Никите он не казался таким. У него всё росло смешанное чувство любопытства к Тихону и страха пред этим скуластым, непонятным мужиком. Чувство страха особенно усилилось после того, как Вялов, возвращаясь с Никитой из леса, вдруг заговорил:

– А ты всё сохнешь. Ты б, чудак, сказал ей, может – пожалеет, она будто добрая.

Горбун остановился; у него от испуга замерло сердце, окаменели ноги, он растерянно забормотал:

– Про что сказать, кому?

Вялов, взглянув на него, шагнул дальше, Никита схватил его за рукав рубахи, тогда Тихон пренебрежительно отвёл его руку.

– Ну, зачем притворяешься?

Сбросив с плеча на землю выкопанную в лесу берёзу, Никита оглянулся, ему захотелось ударить Тихона по шершавому лицу, хотелось, чтоб он молчал, а тот, глядя вдаль, щурясь, говорил спокойно, как обыкновенное:

– А если она и не добра, так притвориться может на твой час. Бабы – любопытные, всякой хочется другого мужика попробовать, узнать – есть ли что слаще сахара? Нашему же брату – много ли надо? Раз, два – вот и сыт и здоров. А ты – сохнешь. Ты – попытайся, скажи, авось она согласится.

Никите послышалось в его словах чувство дружеской жалости; это было ново, неведомо для него и горьковато щипало в горле, но в то же время казалось, что Тихон раздевает, обнажает его.

– Ерунду придумал ты, – сказал он.

В городе звонили колокола, призывая к поздней обедне. Тихон встряхнул деревья на плече своём и пошёл, пристукивая по земле железной лопатой, говоря всё так же спокойно:

– Ты меня не опасайся. Я ведь жалею тебя, ты человек приятный, любопытный. Вы все, Артамоновы, страх как любопытные... Ты характером и не похож на горбатого, а ведь горбат.

Испуг Никиты растаял в горячей печали, от неё у него мутилось в глазах, он

брание сочинений в тридцати томах. Том 16. Рассказы, повести 1922–1925. Максим Горький gorkiymaxim. спотыкался, как пьяный, хотелось лечь на землю и отдохнуть; он тихонько попросил:

- Ты молчи об этом.
- Я сказал: как в сундуке заперто.
- Забудь. Ей не проговорись.
- Я с ней не говорю.. Зачем с ней говорить?

И вплоть до дома оба шли молча. Синие глаза горбуна стали больше, круглее и печальней, он смотрел мимо людей, за плечи им, он стал ещё более молчалив и незаметен. Но Наталья заметила что-то:

- Ты что грустный ходишь? – спросила она, Никита ответил:
- Дела много, – и быстро отошёл прочь. Это обидело женщину, она не впервые чувствовала, что деверь не так ласков с нею, как прежде. Ей жилось скучно. За четыре, года она родила двух девочек и уже снова ходила непорочной.
- Что ты всё девок родишь, куда их? – ворчал свёкор, когда она родила вторую, и не подарил ей ничего, а Петру жаловался:
- Мне внучат надо, а не зятьёв. Разве я для чужих людей дело затеял?

Каждое слово свёкра заставляло женщину чувствовать себя виноватой; она знала, что и муж недоволен ею. Ночами, лёжа рядом с ним, она смотрела в окно на далёкие звёзды и, поглаживая живот, мысленно просила:

«Господи, – сыночка бы..»

Но иногда ей хотелось крикнуть мужу и свёкру:

«Нарочно, назло вам буду девочек родить!»

И хотелось сделать что-то удивительное, неожиданное для всех – хорошее, чтоб все люди стали ласковее к ней, или злое, чтобы все они испугались. Но ни хорошего, ни плохого она не могла выдумать.

Вставая на рассвете, она спускалась в кухню и вместе с кухаркой готовила закуску к чаю, бежала вверх кормить детей, потом поила чаем свёкра, мужа, деверей, снова кормила девочек, потом шила, чинила бельё на всех, после обеда шла с детьми в сад и сидела там до вечернего чая. В сад заглядывали бойкие шпульницы, льстиво хвалили красоту девочек, Наталья улыбалась, но не верила похвалам, – дети казались ей некрасивыми.

Иногда между деревьев мелькал Никита, единственный человек, который был ласков с ней, но теперь, когда она приглашала его посидеть с нею, он виновато отвечал:

– Прости, время нет у меня.

У неё незаметно сложилась обидная мысль: горбун был фальшиво ласков с нею; муж приставил его к ней сторожем, чтоб следить за нею и Алексеем. Алексея она боялась, потому что он ей нравился; она знала: пожелай красавец деверь, и она не устоит против него. Но он – не желал, он даже не замечал её; это было и обидно женщине и возбуждало в ней вражду к Алексею, дерзкому, бойкому.

В пять часов пили чай, в восемь ужинали, потом Наталья мыла младенцев, кормила, укладывала спать, долго молилась, стоя на коленях, и ложилась к мужу с надеждой зачать сына. Если муж хотел её, он ворчал, лёжа на кровати:

– Будет. Ложись.

Торопливо крестясь, прерывая молитву, она шла к нему, покорно ложилась. Иногда, очень редко, Пётр шутил:

– Что много молишься? Всего себе не вымолишь, другим не хватит...

Ночью, разбуженная плачем ребёнка, покормив, успокоив его, она подходила к окну и долго смотрела в сад, в небо, без слов думая о себе, о матери, свёкре, муже, обо всём, что дал ей незаметно прошедший, нелёгкий день. Было странно не слышать привычных голосов, весёлых или заунывных песен работниц, разнообразных стуков и шорохов фабрики, её пчелиного жужжания; этот непрерывный, торопливый гул наполнял весь день, отзвуки его плавали по комнатам, шуршали в листве деревьев, ласкались к стёклам окон; шорох работы, заставляя слушать его, мешал думать.

А в ночной тишине, в сонном молчании всего живого, вспоминались жуткие рассказы Никиты о женщинах, пленённых татарами, жития святых отшельниц и великомучениц, вспоминались и сказки о счастливой, весёлой жизни, но чаще всего память подсказывала обидное.

Свёкор смотрел на неё как на пустое место, и это ещё было хорошо, но нередко, встречаясь с нею в сенях или в комнате глаз на глаз, он бесстыдно щупал её острым взглядом от груди до колен и неприязненно всхрапывал.

Муж был сух, холоден, она чувствовала, что иногда он смотрит на неё так, как будто она мешает ему видеть что-то другое, скрытое за её спиной. Часто, раздевшись, он не ложился, а долго сидел на краю постели, упираясь в перину одной рукой, а другой дёргая себя за ухо или растирая бороду по щеке, точно у него болели зубы. Его некрасивое лицо морщилось то жалобно, то сердито, – в такие минуты Наталья не решалась лечь в постель. Говорил он мало, только о домашнем и лишь изредка, всё реже, вспоминал о крестьянской, о помещичьей жизни, непонятной Наталье. Зимой в праздники, на святках и на масленице, он возил её кататься по городу; запрягали в сани огромного вороного жеребца, у него были жёлтые, медные глаза, исчерченные кровавыми жилками, он сердито мотал башкой и громко фыркал, – Наталья боялась этого зверя, а Тихон Вялов ещё более напугал её, сказав:

– Дворянский конь, зол на чужую власть.

Часто приходила мать; Наталья завидовала её свободной жизни, праздничному блеску её глаз. Эта зависть становилась ещё острее и обидней, когда женщина замечала, как молодо шутит с матерью свёкор, как самодовольно он поглаживает бороду, любясь своей сожительницей, а она ходит павой, покачивая бёдрами, бесстыдно хвастаясь пред ним своей красотой. Город давно знал о её связи со сватом и, строго осудив за это, отшатнулся от неё, солидные люди запретили дочерям своим, подругам Натальи, ходить к ней, дочери порочной женщины, снохе чужого, тёмного мужика, жене надутого гордостью, угрюмого мужа; маленькие радости девичьей жизни теперь казались Наталье большими и яркими.

Обидно было видеть, что мать, такая прямодушная раньше, теперь хитрит с людьми и фальшивит; она, видимо, боится Пётра и, чтоб он не замечал этого, говорит с ним льстиво, восхищается его деловитостью; боится она, должно быть, и насмешливых глаз Алексея, ласково шутит с ним, перешёптывается о чём-то и часто делает ему подарки; в день именин подарила фарфоровые часы с фигурками овец и женщиной, украшенной цветами; эта красивая, искусно сделанная вещь всех удивила.

– За долг у меня остались часы, всего за три целковых, старинные они, не ходят, – объяснила мать. – Когда Алёша женится, – дом свой украсит...

«И я бы украсила», – подумалось Наталье.

Мать подробно расспрашивала о хозяйстве, скучно поучала:

– По будням салфеток к столу не давай, от усов, от бород салфетки сразу пачкаются.

На Никиту, который прежде нравился ей, она смотрела поджимая губы, говорила с ним, как с приказчиком, которого подозревают в чём-то нечестном, и предупреждала дочь:

– Ты смотри, не очень привечай его, горбатые – хитрые.

Не один раз Наталья хотела пожаловаться матери на мужа за то, что он не верит ей и велел горбуну сторожить её, но всегда что-то мешало Наталье говорить об этом.

Но всего хуже, когда мать, тоже обеспокоенная тем, что Наталья не может родить мальчика, расспрашивает её о ночных делах с мужем, расспрашивает бесстыдно, неприкрыто, её влажные глаза, улыбаясь, щурятся, пониженный голос мурлыкает, любопытство её тяжело волнует, и Наталья рада слышать вопрос свёкра:

– Сватья, – лошадь запрячь?

– Я бы лучше пешечком прошлась.

– Ладно; я тебя провожу.

Муж задумчиво говорит:

– Умный человек тёща; ловко она отца держит. При ней он мягче с нами. Ей бы дом свой продать да к нам перебраться.

«Не надо этого», – хочет сказать Наталья, но – не смеет и ещё больше обижается на мать за то, что та любима и счастлива.

Сидя у окна в сад или в саду с шитьём в руках, она слышит отрывки беседы Тихона с Никитой, они возьмётся за ягодником у бани, и, сквозь мягкий шумок фабрики, просачиваются спокойные слова дворника.

– Скука – от людей; скучатся они в кучу, и начинается скука.

«Как верно!» – думает Наталья, но приятный голос Никиты увещевает:

– Заговариваешься ты. А – хороводы, игры? Без людей – веселья нет.

«И это верно», – удивляясь, соглашается женщина.

Она видит, что все вокруг её говорят уверенно, каждый что-то хорошо знает, она именно видит, как простые твёрдые слова, плотно пригнанные одно к другому, отгораживают каждому человеку кусок какой-то крепкой правды, люди и отличаются словами друг от друга и украшают себя ими, побрякивая, играя словами, как золотыми и серебряными цепочками своих часов. У неё нет таких слов, ей не во что одеть свои думы, и, неуловимые, мутные, как осенний туман, они только тяготят её, она тупеет от них, всё чаще думая с тоской и досадой:

«Глупа я, ничего не знаю, не понимаю...»

– Медведь значит – ведун, ведаёт, где мёд, – бормочет Тихон в кустах малины.

«Так и есть», – думает Наталья и, вздрогнув, вспоминает, как Алексей убил её любимца: до тринадцати месяцев медведь бегал по двору, ручной и ласковый, как собака, влезал в кухню и, становясь на задние ноги, просил хлеба, тихонько урча, мигая смешными глазами. Он был весь смешной, добрый и понимающий доброту. Его все любили, Никита ухаживал за ним, расчёсывая комья густой, свалывшейся шерсти, водил его купать в реку, и медведь так полюбил его, что, когда Никита уходил куда-либо, зверь, подняв морду, тревожно нюхал воздух, фыркая, бегал по двору, ломился в контору, комнату своего пестуна, неоднократно выдавливал стёкла в окне, выламывал раму. Наталья любила кормить его пшеничным хлебом с патокой, он сам научился макать куски хлеба в чашку патоки; радостно рыча, покачиваясь на мохнатых ногах, совал хлеб в розовую, зубастую пасть, обсасывал липкую, сладкую лапу, его добродушные глазёнки счастливо сияли, и он тыкал башкой в колени Натальи, вызывая её играть с ним. С этим милым зверем можно было говорить, он уже что-то понимал.

Но однажды Алексей напоил его водкой, пьяный медведь плясал, кувыркался, залез на крышу бани и, разбирая трубу, стал скатывать кирпичи вниз; собралась толпа рабочих и хохотала, глядя на него. С того дня почти каждый праздник Алексей, на потеху людям, стал поить медведя, и зверь так привык пьянствовать, что гонялся за всеми рабочими, от которых пахло вином, и не давал Алексею пройти по двору без того, чтоб не броситься к нему. Его посадили на цепь, но он разломал свою конуру и с цепью на шее, с бревном на другом конце её, стал ходить по двору, размахивая лапами, мотая башкой. Его хотели поймать, он оцарапал ногу Тихона, сбил с ног молодого рабочего Морозова и ушиб Никиту, хватив его лапой по бедру.

брание сочинений в тридцати томах. Том 16. Рассказы, повести 1922–1925. Максим Горький gorkiymaxim.

Тогда прибежал Алексей с рогатиной, он с разбега воткнул её в живот зверя, Наталья видела из окна, как медведь осел на задние ноги и замахал лапами, он как бы прощения просил у людей, разъярённо кричавших вокруг его. Кто-то угодливо сунул в руки Алексея острый, плотничный топор, припрыгивая, остробородый деверь ударил его по лапе, по другой, медведь рывкнул, опустился на изрубленные лапы, из них направо и налево растекалась кровь, образуя на утопанной земле густо-красные пятна. Жалобно рыча, зверь подставил голову под новый удар топора, тогда Алексей, широко раскорячив ноги, всадил топор в затылок медведя, как в полено, медведь ткнулся мордой в кровь свою, а топор так глубоко завяз в костях, что Алексей, упираясь ногою в мохнатую тушу, едва мог вырвать топор из черепа. Жалко было медведя, но ещё более было жалко знать, что бесстрашный, ловкий, весёлый озорник деверь путается с какой-то ничтожной девчонкой, а её, Наталью, не видит.

Деверя все хвалили за ловкость, за храбрость, свёкор, похлопывая его по плечу, кричал:

– А – говоришь – больной? Ах ты...

Никита убежал со двора, а Наталья так плакала, что муж удивлённо и с досадой спросил её:

– Ну, а если человека убьют при тебе, что ж ты тогда будешь делать?

И, как на маленькую, крикнул:

– Перестань, дура!

Ей показалось, что он хочет ударить, и, сдерживая слёзы, она вспомнила первую ночь с ним, – какой он был тогда сердечный, робкий. Вспомнила, что он ещё не бил её, как бьют жён все мужья, и сказала, сдерживая рыдания:

– Прости, жалко очень.

– Жалеть надо меня, а не медведя, – ответил он негромко и уже ласковее.

Когда она впервые пожаловалась матери на суровость мужа, та, памятно, сказала ей:

– Мужик – пчела; мы для мужика – цветы, он с нас мёд собирает, это надо понимать, надо учиться терпеть, милочка. Мужики – всем владывают, у них забот больше нашего, они вон строят церкви, фабрики. Ты гляди, что свёкор-то на пустом месте настроил...

Илья Артамонов всё более бешено торопился развить и укрепить своё дело, он как будто предчувствовал, что срок его – не велик. В мае, незадолго до Николина дня [28], прибыл для второго корпуса фабрики паровой котёл, его привезли на барке, причалившей к песчаному берегу Оки там, где в неё лениво втекала болотная вода зелёной Ватаракши. Предстояла трудная работа: котёл надо было тащить сажень полтора по песчаному грунту. В Николин день Артамонов устроил для рабочих сытный, праздничный обед с водкой, брагой; столы были накрыты на дворе, бабы украсили его ветками елей, берёз, пучками первых цветов весны и сами нарядились пёстро, как цветы. Хозяин с семьёй и немногими гостями сидел за столом среди старых ткачей, солоно шутил с дерзкими на язык шпульницами, много пил, искусно подзадоривал людей к веселью и, распахивая рукою поседевшую бороду, кричал возбуждённо:

– Эх, ребята! Али не живём?

Им, его повадкой любовались, он чувствовал это и ещё более пьянел от радости быть таким, каков есть. Он сиял и сверкал, как этот весенний, солнечный день, как вся земля, нарядно одетая юной зеленью трав и листьев, дымившаяся запахом берёз и молодых сосен, поднявших в голубое небо свои золотистые свечи, – весна в этом году была ранняя и жаркая, уже расцветала черёмуха и сирень. Всё было празднично, всё ликовало; даже люди в этот день тоже как будто расцвели всем лучшим, что было в них.

Древний ткач Борис Морозов, маленький, хилый старичок, с восковым личиком, уютно

брание сочинений в тридцати томах. Том 16. Рассказы, повести 1922–1925. Максим Горький gorkiymaxim. спрятанным в седой, позеленевшей бороде, белый весь и вымытый, как покойник, встал, опираясь о плечо старшего сына, мужика лет шестидесяти, и люто кричал, размахивая костяной, без мяса, рукою:

– Глядите, – девяносто лет мне, девяносто с лишком, нате-ко! Солдат, Пугача бил, сам бунтовал в Москве, в чумной год, да-а! Бонапарта бил...

– А ласкал кого? – кричал Артамонов в ухо ему, – ткач был глух.

– Двух жён, кроме прочих. Гляди: семь парней, две дочери, девятнадцать внучат, пятеро правнуков, – эго наткал! Вон они, все у тебя живут, вона – сидят...

– Давай ещё! – кричал Илья.

– Будут. Трёх царей да царицу пережил – нате-ко! У скольких хозяев жил, все примёрли, а я – жив! Вёрсты полотен наткал. Ты, Илья Васильев, настоящий, тебе долго жить. Ты – хозяин, ты дело любишь, и оно тебя. Людей не обижаешь. Ты – нашего дерева сук, – катай! Тебе удача – законная жена, а не любовница: побаловала да и нет её! Катай во всю силу. Будь здоров, брат, вот что! Будь здоров, говорю...

Артамонов схватил его на руки, приподнял, поцеловал, растроганно крича:

– Спасибо, робёнок! Я тебя управляющим сделаю...

Люди орали, хохотали, а старый, пьяненький ткач, высоко поднятый над ними, потрясал в воздухе руками скелета и хихикал визгливо:

– У него – всё по-своему, всё не так...

Ульяна Баймакова, не стыдясь, вытирала со щёк слёзы умиления.

– Сколько радости, – сказала ей дочь, она, сморкаясь, ответила:

– Такой уж человек, на радость и создан господом...

– Учись, ребята, как надо с людьми жить, – кричал Артамонов детям. – Гляди, Петруха!

После обеда, убрав столы, бабы завели песни, мужики стали пробовать силу, тянулись на палке, боролись; Артамонов, всюду поспевая, плясал, боролся; пировали до рассвета, а с первым лучом солнца человек семьдесят рабочих во главе с хозяином шумной ватагой пошли, как на разбой, на Оку, с песнями, с посвистом, хмельные, неся на плечах толстые катки, дубовые рычаги, верёвки, за ними ковылял по песку старенький ткач и бормотал Никите:

– Он своего добьётся! Он? Я зна-аю...

Благополучно сгрузили с барки на берег красное тупое чудовище, похожее на безголового быка; опутали его верёвками и, ухая, рыча, дружно повезли на катках по доскам, положенным на песок; котёл покачивался, двигаясь вперёд, и Никите казалось, что круглая, глупая пасть котла развёрзлась удивлённо перед весёлой силою людей. Отец, хмельной, тоже помогал тащить котёл, напряжённо покрикивая:

– Потихе, эй, потихе!

И, хлопая ладонью по красному боку железного чудовища, приговаривал:

– Пошёл котёл, пошёл!

Меньше полусотни сажен осталось до фабрики, когда котёл покачнулся особенно круто и не спеша съехал с переднего катка, ткнувшись в песок тупой мордой, – Никита видел, как его круглая пасть дохнула в ноги отца серой пылью. Люди сердито облепили тяжёлую тушу, пытаясь подсунуть под неё каток, но они уже выдохлись, а котёл упрямо влип в песок и, не уступая усилиям их, как будто зарывался всё глубже. Артамонов с рычагом в руках возился среди рабочих, покрикивая:

брание сочинений в тридцати томах. Том 16. Рассказы, повести 1922–1925. Максим Горький gorkiymaxim.  
– Молодчики, берись дружней! О-ух...

Котел нехотя пошевелился и снова грузно осел, а Никита увидал, что из толпы рабочих вышел незнакомой походкой отец, лицо у него было тоже незнакомое, шёл он, сунув одну руку под бороду, держа себя за горло, а другой щупал воздух, как это делают слепые; старый ткач, припрыгивая вслед за ним, покрикивал:

– Земли поешь, земли...

Никита подбежал к отцу, тот, икнув, плюнул кровью под ноги ему и сказал глухо:

– Кровь.

Лицо его посерело, глаза испуганно мигали, челюсть тряслась, и всё его большое, умное тело испуганно сжалось.

– Ушибся? – спросил Никита, схватив его за руку, – отец пошатнулся на него, толкнул и ответил негромко:

– Пожалуй, – жила лопнула...

– Земли поешь, говорю...

– Отстань, – уйди!

И, снова обильно плюнув кровью, Артамонов пробормотал с недоумением:

– Текёт. Где Ульяна?

Горбун хотел бежать домой, но отец крепко держал его за плечо и, наклонив голову, шаркал по песку ногами, как бы прислушиваясь к шороху и скрипу, едва различимому в сердитом крике рабочих.

– Что такое? – спросил он и пошёл к дому, шагая осторожно, как по жёрдочке над глубокой рекою. Баймакова прощалась с дочерью, стоя на крыльце, Никита заметил, что, когда она взглянула на отца, её красивое лицо странно, точно колесо, всё повернулось направо, потом налево и поблекло.

– Льду давайте, – закричала она, когда отец, неумело подогнув ноги, опустился на ступень крыльца, всё чаще икая и сплёвывая кровь. Как сквозь сон, Никита слышал голос Тихона:

– Лёд – вода; водой крови не заменить...

– Земли пожевать надо...

– Тихон, скачи за попом...

– Поднимайте, несите, – командовал Алексей; Никита подхватил отца под локоть, но кто-то наступил на пальцы ноги его так сильно, что он на минуту ослеп, а потом глаза его стали видеть ещё острее, запоминая с болезненной жадностью всё, что делали люди в тесноте отцовской комнаты и на дворе. По двору скакал Тихон на большом чёрном коне, не в силах справиться с ним; конь не шёл в ворота, прыгал, кружился, вскидывая злую морду, разгоняя людей, – его, должно быть, пугал пожар, ослепительно зажжённый в небе солнцем; вот он, наконец, выскочил, поскакал, но перед красной массой котла шарахнулся в сторону, сбросив Тихона, и возвратился во двор, храпя, взмахивая хвостом.

Кто-то кричит:

– Мальчишки, бегом...

На подоконнике, покручивая тёмную, острую бородку, сидит Алексей, его нехорошее, немужицкое лицо заострилось и точно пылью покрыто, он смотрит, не мигая, через головы людей на постель, там лежит отец, говоря не своим голосом:

– Значит – ошибся. Воля божия. Ребята – приказываю: Ульяна вам вместо матери, слышите? Ты, Уля, помоги им, Христа ради... Эх! Вышлите чужих из горницы...



– Молчи ты, – протяжно и жалобно стонет Баймакова, всовывая в рот ему кусочки льда. – Нет здесь чужих.

Отец глотает лёд и, нерешительно вздыхая, говорит:

– Греху моему вы не судьи, а она не виновата. Наталья, суров я был с тобой, ну, ничего. Мальчишек! Петруха, Олёша – дружно живите. С народом поласковой. Народ – хороший. Отборный. Ты, Олёша, женись на этой, на своей... ничего!

– Батюшка – не оставляй нас, – просит Пётр, опускаясь на колени, но Алексей толкает его в спину, шепчет:

– Что ты? Не верю я...

Наталья рубит кухонным ножом лёд в медном тазу, хрустящие удары сопровождается лязг меди и всхлипывания женщины. Никите видно, как её слёзы падают на лёд. Жёлтенький луч солнца проник в комнату, отразился в зеркале и бесформенным пятном дрожит на стене, пытаясь стереть фигуры красных, длинноусых китайцев на синих, как ночное небо, обоях.

Никита стоит у ног отца, ожидая, когда отец вспомнит о нём. Баймакова то расчёсывает гребнем густые, курчавые волосы Ильи, то оттирает салфеткой непрерывную струйку крови в углу его губ, капли пота на лбу и на висках, она что-то шепчет в его помутневшие глаза, шепчет горячо, как молитву, а он, положив одну руку на плечо ей, другую на колено, отяжелевшим языком ворочает последние слова:

– Знаю. Спаси тебя Христос. Хороните на своём, на нашем кладбище, не в городе. Не хочу там, ну их...

И с великой кипящей тоскою он шептал:

– Эх, ошибся я, господи... Ошибся...

Пришёл высокий, сутулый священник с Христовой бородкой и грустными глазами.

– Погоди, батя, – сказал Артамонов и снова обратился к детям:

– Ребята – не делитесь! Живите дружно. Дело вражды не любит. Пётр, – ты старший, на тебе ответ за всё, слышишь? Уходите...

– Никита, – напомнила Баймакова.

– Никиту – любите. Где он? Идите... После... И Наталья...

Он умер, истёк кровью после полудня, когда солнце ещё благостно сияло в зените. Он лежал, приподняв голову, нахмуря восковое лицо, оно было озабочено, и неплотно прикрытые глаза его как будто задумчиво смотрели на широкие кисти рук, покорно сложенных на груди.

Никите казалось, что все в доме не так огорчены и напуганы этой смертью, как удивлены ею. Это тупое удивление он чувствовал во всех, кроме Баймаковой, она молча, без слёз сидела около усопшего, точно замёрзла, глухая ко всему, положив руки на колени, неотрывно глядя в каменное лицо, украшенное снегом бороды.

Пётр вытянулся, говорил излишне и неуместно громко, входя в комнату, где лежал отец и, попеременно с Никитой, толстая монахиня выпевала жалобы псалтыря; Пётр вопросительно заглядывал в лицо отца, крестился и, минуты две-три постояв, осторожно уходил, потом его коренастая фигура мелькала в саду, на дворе, и казалось, что он чего-то ищет.

Алексей хлопотливо суетился, устраивая похороны, гонял лошадь в город, возвращался оттуда, вбегал в комнату, спрашивал Ульяну о порядке похорон, о поминках.

– Погоди, – говорила она, и Алексей исчезал, потный, усталый. Приходила Наталья, робко и жалостливо предлагала матери выпить чаю, поесть; внимательно выслушав

брание сочинений в тридцати томах. Том 16. Рассказы, повести 1922–1925. Максим Горький gorkiymaxim.  
её, мать говорила:

– Погоди.

Никита при жизни отца не знал, любит ли его, он только боялся, хотя боязнь и не мешала ему любоваться воодушевлённой работой человека, неласкового к нему и почти не замечавшего – живёт ли горбатый сын? Но теперь Никите казалось, что он один по-настоящему, глубоко любил отца; он чувствовал себя налитым мутной тоскою, безжалостно и грубо обиженным этой внезапной смертью сильного человека; от этой тоски и обиды ему даже дышать трудно было. Он сидел в углу, на сундуке, ожидая своей очереди читать псалтырь, мысленно повторял знакомые слова псалмов и оглядывался. Тёплый сумрак наполнял комнату, в нём колебались жёлтенькие, живые цветы восковых свечей. По стенам фокусно лепились длинноусые китайцы, неся на коромыслах цибики чая, на каждой полосе обоев было восемнадцать китайцев по два в ряд, один ряд шёл к потолку, а другой опускался вниз. На стену падал масляный свет луны, в нём китайцы были бойчее, быстрее шли и вверх, и вниз.

Вдруг сквозь однотонный поток слов псалтыря Никита услышал негромкий настойчивый вопрос:

– Да неужто – помер? Господи?

Это спросила Ульяна, и голос её прозвучал так поражающе горестно, что монахиня, прервав чтение, ответила виновато:

– Умер, матушка, умер, по воле божией...

Стало совершенно невыносимо, Никита поднялся и шумно вышел из комнаты, унося нехорошую, тяжёлую обиду на монахиню.

У ворот, на скамье, сидел Тихон; отламывая пальцами от большой щепы маленькие щепочки, он втыкал их в песок и ударами ноги загонял их глубже, так, что они становились не видны. Никита сел рядом, молча глядя на его работу; она ему напоминала жуткого городского дурачка Антонушку: этот лохматый, тёмнолицый парень, с вывороченной в колене ногою, с круглыми глазами филина, писал палкой на песке круги, возводил в центре их какие-то клетки из щепочек и прутьев, а выстроив что-то, тотчас же давил свою постройку ногою, затирал песком, пылью и при этом пел гнусаво:

Хиристос воскиресе, воскиресе!

Кибитка потерял колесо.

Бутырма, бай, бай, бустарма,

Баю, баю, бай, Хиристос.

– Дело-то какое, а? – сказал Тихон и, хлопнув себя по шее, убил комара; вытер ладонь о колено, поглядел на луну, зацепившуюся за сучок ветлы над рекою, потом остановил глаза свои на мясистой массе котла.

– Рано в этом году комар родился, – спокойно продолжал он. – Да, вот комар – живёт, а...

Горбун, чего-то боясь, не дал ему кончить, сердито напомнив:

– Да ведь ты убил комара.

И поспешно ушёл прочь от дворника, а через несколько минут, не зная, куда девать себя, снова явился в комнате отца, сменил монахиню и начал чтение. Вливая в слова псалмов тоску свою, он не слышал, когда вошла Наталья, и вдруг за спиной его раздался тихий плеск её голоса. Всегда, когда она была близко к нему, он чувствовал, что может сказать или сделать нечто необыкновенное, может быть, страшное, и даже в этот час боялся, что помимо воли своей скажет что-то. Нагнув голову, приподняв горб, он понизил сорвавшийся голос, и тогда, рядом со словами девятой кафизмы, потекли всхлипывающие слова двух голосов.

– Вот – крест нательный сняла с него, буду носить.

– Мама, родная, ведь и я тоже одна.

Никита снова поднял голос, чтоб заглушить, не слышать этот влажный шёпот, но

брание сочинений в тридцати томах. Том 16. Рассказы, повести 1922–1925. Максим Горький gorkiymaxim.  
всё-таки вслушивался в него.

– Не стерпел господь греха...

– В чужом гнезде, одна...

– «Камо гряди от лица твоего и от гнева твоего камо бегу?» – старательно выпевал Никита вопль страха, отчаяния, а память подсказывала ему печальную поговорку: «Не любя жить – горе, а полюбишь – вдвое», и он смущённо чувствовал, что горе Натальи светит ему надеждой на счастье.

Утром из города приехали на дрожках Барский и городской голова Яков Житейкин, пустоглазый человек, по прозвищу Недожаренный, кругленький и действительно сделанный как бы из сырого теста; посетив усопшего, они поклонились ему, и каждый из них заглянул в потемневшее лицо боязливо, недоверчиво, они, видимо, тоже были удивлены гибелью Артамонова. Затем Житейкин кусающим, едким голосом сказал Петру:

– Слышно, будто хотите вы схоронить родителя на своём кладбище, так ли, нет ли? Это, Пётр Ильич, нам, городу, обида будет, как будто вы не желаете знаться с нами и в дружбе жить не согласны, так ли, нет ли?

Скрипнув зубами, Алексей шепнул брату;

– Гони их!

– Кума, – гудел Барский, налезая на Ульяну. – Как же это? Обидно!

Житейкин допрашивал Петра:

– Это не поп ли Глеб насоветовал вам? Нет, вы это отмените, батюшка ваш первый фабрикант по уезду, зачинатель нового дела, – лицо и украшение города. Даже исправник удивляется, спрашивал: православные ли вы?

Он говорил непрерывно, не замечая попыток Петра прервать его речь, а когда Пётр сказал, наконец, что такова воля родителя, Житейкин сразу успокоился.

– Так ли, нет ли – хоронить мы приедем.

И всем стало ясно, что он не за тем явился, о чём говорил. Он отправился в угол комнаты, где Барский, прижав Ульяну к стене, что-то бормотал ей, но раньше чем Житейкин успел подойти к ним, Ульяна крикнула:

– Дурак ты, кум, уйди!

У неё дрожали губы и брови, заносчиво подняв голову, она сказала Петру:

– Эти двое и Помялов с Воропоновым просят меня уговорить вас, братьев, продать им фабрику, деньги мне дают за помощь...

– Уйдите... господа! – сказал Алексей, указывая на дверь.

Покашливая, улыбаясь, Житейкин направил Барского к двери, толкая его под локоть, а Баймакова, опустясь на сундук, заплакала, жалуясь:

– Память о человеке хотят стереть...

Алексей, глядя на лицо Артамонова, сказал торжественно и зло:

– Хуже буду, а таким, как эти – не стану жить! Лучше башку себе разобью.

– Нашли время для торговли, – проворчал Пётр, тоже косясь на отца.

Подойдя к Никите, Наталья тихонько спросила его:

– А ты что молчишь?

Он был тронут тем, что о нём вспомнили, он был обрадован, что вспомнила Наталья,  
Страница 227

брание сочинений в тридцати томах. Том 16. Рассказы, повести 1922–1925. Максим Горький gorkiymaxim. и, не сдержав улыбку радости, он сказал тоже тихо:

– Что же я... Мы с тобой...

Но женщина задумчиво отошла от него.

На похороны Ильи Артамонова явились почти все лучшие люди города, приехал исправник, высокий, худощавый, с голым подбородком и седыми баками, величественно прихрамывая, он шагал по песку рядом с Петром и дважды сказал ему одни и те же слова:

– Покойник был отлично рекомендован мне его сиятельством князем Георгием Ратским и рекомендацию эту совершенно оправдал.

Но вскоре заявил Петру:

– Носить покойников в гору – тяжело!

Сказал и, боком выбравшись из толпы, туго поджав бритые губы, встал под сосною в тень, пропуская мимо себя, как солдат на параде, толпу горожан и рабочих.

День был яркий, благодатно сияло солнце, освещая среди жирных пятен жёлтого и зелёного пёструю толпу людей; она медленно всползала среди двух песчаных холмов на третий, уже украшенный не одним десятком крестов, врезанных в голубое небо и осенённых широкими лапами старой, кривой сосны. Песок сверкал алмазными искрами, похрустывая под ногами людей, над головами их волновалось густое пение попов, сзади всех шёл, спотыкаясь и подпрыгивая, дурачок Антонушка; круглыми глазами без бровей он смотрел под ноги себе, нагибался, хватая тоненькие сучки с дороги, совал их за пазуху и тоже пронзительно пел:

Хиристос воскиресе, воскиресе,  
Кибитка потерял колесо...

Благочестивые люди били его, запрещая петь это, и теперь исправник, погрозив ему пальцем, крикнул:

– Цыц, дурак...

В городе Антонушку не любили, он был мордвин или чуваш, и поэтому нельзя было думать, что он юродивый Христа ради, но его боялись, считая предвозвестником несчастий, и когда, в час поминок, он явился на двор Артамоновых и пошёл среди поминальных столов, выкрикивая нелепые слова: «куятыр, куютыр, – чёрт на колокольню, ай-яй, дождик будет, мокро будет, каямас чёрненько плачет!» – некоторые из догадливых людей перешепнулись:

– Ну, значит, Артамоновым счастья не будет!

Пётр уловил этот шёпот. А через некоторое время он увидел, что Тихон Вялов прижал дурачка в углу двора, и услышал спокойные, но пытливые вопросы дворника:

– Это что будет – каямас? Не знаешь? На. Пошел прочь! Ну, ну – иди...

..Быстро, как осенний, мутный поток с горы, скользнул год; ничего особенного не случилось, только Ульяна Баймакова сильно поседела, и на висках у неё вырезались печальные лучики старости. Очень заметно изменился Алексей, он стал мягче, ласковее, но в то же время у него явилась неприятная торопливость, он как-то подхлестывал всех весёлыми шуточками, острыми словами, и особенно тревожило Пётра его дерзкое отношение к делу, казалось, что он играет с фабрикой так же, как играл с медведем, которого, потом, сам же и убил. Было странно его пристрастие к вещам барского обихода; кроме часов, подарка Баймаковой, в комнате его завелись какие-то ненужные, но красивенькие штучки, на стене висела вышитая бисером картина – девичий хоровод. Алексей был бережлив, зачем же он тратит деньги на пустяки? Он и одеваться стал модно, дорого. Холил свою тёмную, остренькую бородку, брил щёки и всё более терял простое, мужицкое. Пётр чувствовал в двоюродном брате что-то очень чужое, неясное, он незаметно, недоверчиво присматривался к нему, и недоверие всё возрастало.

Пётр относился к делу осторожно, опасливо, так же, как к людям. Он выработал себе неторопливую походку и подкрадывался к работе, прищуривая медвежьи глаза,

брание сочинений в тридцати томах. Том 16. Рассказы, повести 1922–1925. Максим Горький gorkiymaxim.  
как бы ожидая, что то, к чему он подходит, может ускользнуть от него. Иногда, уставая от забот о деле, он чувствовал себя в холодном облаке какой-то особенной, тревожной скуки, и в эти часы фабрика казалась ему каменным, но живым зверем, зверь приник, прижался к земле, бросив на неё тени, точно крылья, подняв хвост трубою, морда у него тупая, страшная, днём окна светятся, как ледяные зубы, зимними вечерами они железные и докрасна раскалены от ярости. И кажется, что настоящее, скрытое дело фабрики не в том, чтоб наткать версты полотна, а в чём-то другом, враждебном Петру Артамонову.

В годовщину смерти отца, после панихиды на кладбище, вся семья собралась в светлой, красивой комнате Алексея, он, волнуясь, сказал:

– Отец завещал нам жить дружно; так и надо, – мы тут как в плену.

Никита заметил, что Наталья, сидевшая рядом с ним, вздрогнула, удивлённо взглянув на деверя, а тот продолжал очень мягко:

– Но всё-таки и при дружбе мешать друг другу мы не должны. Дело – одно для всех, а жизнь у каждого своя. Верно?

– Ну? – осторожно спросил Пётр, глядя через голову брата.

– Вы все знаете, что я живу с девицей Орловой, теперь хочу обвенчаться с нею. Помнишь, Никита, она одна пожалела, когда ты в воду упал?

Никита кивнул головой. Он сидел почти впервые так близко к Наталье, и это было до того хорошо, что не хотелось двигаться, говорить и слушать, что говорят другие. И когда Наталья, почему-то вздрогнув, легонько толкнула его локтем, он улыбнулся, глядя под стол, на её колени.

– Мне она – судьба, я так думаю, – говорил Алексей. – С нею можно жить как-то иначе. Вводить её в дом я не хочу, боюсь – не уживётся с нею.

Ульяна Баймакова, подняв опущенные, тяжёлой печалью налитые глаза, помогла Алексею.

– Я её хорошо знаю, редкая рукодельница. Грамотна. Отца, пьяницу, кормила с малых лет своих и сама себя. Только – характерная; Наталья, пожалуй, не уживётся с ней.

– Я со всеми сживаюсь, – обиженно заметила Наталья, а муж, искоса взглянув на неё, сказал брату:

– Это действительно твоё дело.

Алексей обратился к Баймаковой, предложив ей продать ему дом:

– На что он тебе?

Пётр поддержал его:

– Тебе надо с нами жить.

– Ну, я пойду, обрадую Ольгу, – сказал Алексей.

Когда он ушёл, Пётр, толкнув Никиту в плечо, спросил:

– Ты что – дремлешь? О чём задумался?

– Алексей хорошо делает...

– Ну? Увидим. А по-твоему, матушка?

– Конечно, хорошо, что он с ней венчается, а как жить будут – кто знает? Она – особенная. Вроде дурочки.

– Спасибо за такую родню, – усмехнулся Пётр.

брание сочинений в тридцати томах. Том 16. Рассказы, повести 1922–1925. Максим Горький gorkiутахim.

– Может, я и не то сказала, – говорила Ульяна, как будто глядя в темноту, где всё спутанно колеблется и не даётся глазу.

– Она – хитрая; вещей у отца её много было, так она их у меня прятала, чтоб отец не пропил, и Олёша таскал их мне, по ночам, а потом я будто дарила их ему. Это вот у него всё её вещи, приданое. Тут дорогие есть. Не очень я её люблю, всё-таки – своенравна.

Стоя спиной к теще, Пётр смотрел в окно, в саду бормотали скворцы, передразнивая всё на свете, он вспомнил слова Тихона:

«Не люблю скворцов, – на чертей похожи». Глупый человек этот Тихон, потому и замечен, что уж очень глуп.

Всё так же тихо, нехотя и, видимо, сквозь другие думы, Баймакова рассказывала, что мать Ольги Орловой, помещица, женщина распутная, сошлась с Орловым ещё при жизни мужа и лет пять жила с ним.

– Он – мастер; мебель делал и часы чинил, фигуры резал из дерева, у меня одна спрятана – женщина голая, Ольга считает её за материн портрет. Пили они оба. А когда муж помер – обвенчались, в тот же год она утонула, пьяная, когда купалась...

– Вот как люди любят, – вдруг сказала Наталья. Неуместные эти слова заставили Ульяну взглянуть на дочь с упрёком, Пётр усмехнулся, заметив:

– Не про любовь речь шла, а о пьянстве.

Все замолчали. Наблюдая за Натальей, Никита видел, что повесть матери волнует её, она судорожно щиплет пальцами бахрому скатерти, простое, доброе лицо её, покраснев, стало незнакомо сердитым.

После ужина, сидя в саду, в зарослях сирени, под окном Натальиной комнаты, Никита услышал над головою своей задумчивые слова Пётра:

– Ловок Алексей. Умён.

И тотчас раздался режущий сердце вой Натальи:

– Все вы – умные. Только я – дура. Верно сказал он: в плену! Это я живу в плену у вас...

Никита замер от страха, от жалости, схватился обеими руками за скамью, неведомая ему сила поднимала его, толкала куда-то, а там, над ним, все громче звучал голос любимой женщины, возбуждая в нём жаркие надежды.

Наталья заплетала косу, когда слова мужа вдруг зажгли в ней злой огонь. Она прислонилась к стене, прижав спиной руки, которым хотелось бить, рвать; захлёбываясь словами, сухо всхлипывая, она говорила, не слушая себя, не слыша окриков изумлённого мужа, – говорила о том, что она чужая в доме, никем не любима, живёт, как прислуга.

– Ты меня не любишь, ты и не говоришь со мной ни о чём, навалишься на меня камнем, только и всего! Почему ты не любишь меня, разве я тебе не жена? Чем я плоха, скажи! Гляди, как матушка любила отца твоего, бывало – сердце моё от зависти рвётся...

– Вот и люби меня эдак же, – предложил Пётр, сидя на подоконнике и разглядывая искажённое лицо жены в сумраке, в углу. Слова её он находил глупыми, но с изумлением чувствовал законность её горя и понимал, что это – умное горе. И хуже всего в горе этом было то, что оно грозило опасностью длительной неурядицы, новыми заботами и тревогами, а забот и без этого было достаточно.

Белая, в ночной рубаше, безрукая фигура жены трепетала и струилась, угрожая исчезнуть. Наталья то шептала, то вскрикивала, как бы качаясь на качели, взлетая и падая.

– Вот, гляди, как Алексей любит свою.. И его любить легко – он весёлый, одевается барином, а ты – что? Ходишь, ни с кем не ласков, никогда не посмеёшься. С

брание сочинений в тридцати томах. Том 16. Рассказы, повести 1922–1925. Максим Горький gorkiуmaxim. Алексеем я бы душа в душу жила, а я с ним слова сказать не смела никогда, ты ко мне сторожем горбуна твоего приставил, нарочно, хитреца противного...

Никита встал и, наклоня голову, убито пошёл в глубь сада, отводя руками ветви деревьев, хватавшие его за плечи.

Пётр тоже встал, подошел к жене, схватил её за волосы на макушке и, отогнув голову, заглянул в глаза:

– С Алексеем? – спросил он негромко, но густым голосом. Он был так удивлён словами жены, что не мог сердиться на неё, не хотел бить; он всё более ясно сознавал, что жена говорит правду: скучно ей жить. Скуку он понимал. Но – надо же было успокоить её, и, чтоб достичь этого, он бил её затылок о стену, спрашивая тихо:

– Ты – что сказала, дура, а? С Алексеем?

– Пусти, – пусти – закричу...

Он взял её другою рукой за горло, стиснул его, лицо жены тотчас побагровело, она захрипела.

– Дрянь, – сказал Пётр, тиснув её к стене, и отошёл; она тоже откатнулась от стены, и прошла мимо его к зыбке; давно уже хныкал ребёнок. Петру показалось, что жена перешагнула через него. Перед ним качался, ползал из стороны в сторону тёмно-синий кусок неба, прыгали звёзды. Сбоку, почти рядом, сидела жена, её можно было ударить по лицу наотмашь, не вставая. Её лицо было тупо, точно одеревенело, но по щекам медленно, лениво текли слёзы. Она кормила девочку, глядя сквозь стеклянную плёнку слёз в угол, не замечая, что ребёнку неудобно сосать её грудь, горизонтально торчавший сосок выскальзывал из его губ, ребёнок, хныкая, чмокал воздух и вращал головкой. Встряхнувшись, как после ночного кошмара, Пётр сказал:

– Поправь грудь, не видишь!

– Муха в доме, – пробормотала Наталья. – Муха без крыльев...

– Так ведь и я – тоже один; не двое Петров Артамоновых живёт.

Он смутно почувствовал, что сказано им не то, что хотелось сказать, и даже сказана какая-то неправда. А чтоб успокоить жену и отвести от себя опасность, нужно было сказать именно правду, очень простую, неоспоримо ясную, чтоб жена сразу поняла её, подчинилась ей и не мешала ему глупыми жалобами, слезами, тем бабьим, чего в ней до этой поры не было. Глядя, как она небрежно, неловко укладывает дочь, он говорил:

– У меня – дело! Фабрика – это не хлеб сеять, не картошку садить. Это – задача. А у тебя что в башке?

Сначала он говорил строго и внушительно, пытаясь приблизиться к этой неуловимой правде, но она ускользала, и голос его начал звучать почти жалобно.

– фабрика – это непросто, – повторил он, чувствуя, что слова иссякают и говорить ему не о чём. Жена молчала, раскачивая зыбку, стоя спиной к нему. Его выручил негромкий, спокойный голос Тихона Вялова:

– Пётр Ильич, эй!

– Что надо? – спросил он, подойдя к окну.

– Выдь ко мне, – требовательно сказал дворник.

– Невежа! – проворчал Пётр и упрекнул жену: – Вот видишь? И ночью покоя нет, а ты тут раскисла...

Тихон без шапки, мерцая глазами, встретил его на крыльце, оглянул двор, ярко освещённый луною, и сказал тихонько:

брание сочинений в тридцати томах. Том 16. Рассказы, повести 1922–1925. Максим Горький gorkiymaxim.

– Я Никиту Ильича сейчас из петли вынул...

– Чего? Откуда?

И, точно проваливаясь сквозь землю, Пётр опустился на ступень крыльца.

– Да ты не садись, идём к нему, он тебя желает...

Не вставая, Пётр шёпотом спросил:

– Что же это он? А?

– Теперь – в себе; я его водой отлил. Пойдём-ко...

Подняв хозяина за локоть, Тихон повёл его в сад.

– Он в бане приснастился, в передбаннике, спустил петлю с чердака, со стропила, да и того...

Пётр прирос к земле, повторив:

– Что же это? С тоски по отце, что ли?

Дворник тоже остановился:

– Он до того дошёл, что рубахи её целовать стал...

– Какие рубахи, что ты?

Щупая босыми ногами землю, Пётр присматривался к собаке дворника, она явилась из кустов и вопросительно смотрела на него, помахивая хвостом. Он боялся идти к брату, чувствуя себя пустым, не зная, что сказать Никите.

– Эх, без глаз живёте, – проворчал дворник, Пётр молчал, ожидая, что ещё скажет он.

– Её рубахи, Натальи Евсеевны, они тут висели, сушились после стирки.

– Зачем же он... Пстой!

Пётр толкнул собаку ногою, представив коротенькую, горбатую фигуру брата, целующего женскую рубаху; это было и смешно и вынудило у него брезгливый плевок. Но тотчас ушибла, оглушила жгучая догадка; схватив дворника за плечи, он встряхнул его, спросил сквозь зубы:

– Целовались? Видел ты – ну?

– Я – всё вижу. Наталья Евсеевна даже и не знает ничего.

– Врёшь?

– Какая у меня причина врать? Я от тебя награды не жду.

И, как будто топором вырубая просвет во тьме, Тихон в немногих словах рассказал хозяину о несчастье его брата. Пётр понимал, что дворник говорит правду, он сам давно уже смутно замечал её во взглядах синих глаз брата, в его услугах Наталье, в мелких, но непрерывных заботах о ней.

– Та-ак, – прошептал он и подумал вслух: – Некогда мне было понять это.

Потом, толкнув Тихона вперёд, сказал:

– Идём.

Он не хотел принять на себя первый взгляд Никиты и, войдя в низенькую дверь бани, ещё не различая брата в темноте, спросил из-за спины Тихона дрогнувшим голосом:



брание сочинений в тридцати томах. Том 16. Рассказы, повести 1922–1925. Максим Горький gorkiymaxim.  
– Что ж ты делаешь, Никита?

Горбун не ответил. Он был едва видим на лавке у окна, мутный свет падал на его живот и ноги. Потом Пётр различил, что Никита, опираясь горбом о стену, сидит, склонив голову, рубаха на нём разорвана от ворота до подола и, мокрая, прилипла к его переднему горбу, волосы на голове его тоже мокрые, а на скуле – темная звезда и от неё лучами потёки.

– Кровь? Разбился? – шёпотом спросил Пётр.

– Нет, это я его маленько ушиб, второпях, – ответил Тихон глупо громко и шагнул в сторону.

Подойти к брату было страшно. Слушая свои слова, как чужие, Пётр дёргал себя за ухо, жаловался, упрекал:

– Стыдно. Против бога, брат. Эх ты...

– Знаю! – хрипло, тоже не своим голосом ответил Никита. – Не дотерпел. Ты меня отпусти. Я – в монастырь уйду. Слышишь? Всею душой прошу...

Кашлянув со свистом, он замолчал. Чем-то умилённый, Пётр снова начал тихо и ласково упрекать и наконец сказал:

– А насчёт Натальи, это, конечно, чёрт тебя смутил...

– Ой, Тихон, – воющим голосом вскричал Никита и болезненно крякнул. – Ведь просил я тебя, Тихон, – молчи! Хоть ей-то не говорите, Христа ради! Смеяться будет, обидится. Пожалейте всё-таки меня! Я ведь всю жизнь богу служить буду за вас. Не говорите! Никогда не говорите. Тихон, – это всё ты, эх, человек...

Он бормотал, держа голову неестественно прямо, не двигая ею, и это было тоже страшно. Дворник сказал:

– Я бы и молчал, если б не этот случай. От меня она ничего не узнает...

Всё более умиляясь, сам смущённый этим, Пётр твёрдо обещал:

– Крест порукой – она ничего не будет знать.

– Ну – спасибо! А я – в монастырь.

И Никита замолчал, точно уснув.

– Больно тебе? – спросил брат; не получив ответа, он повторил:

– Шею-то – больно?

– Ничего, – хрипло сказал Никита. – Вы – идите...

– Не уходи, – шепнул Пётр дворнику, пятясь к двери мимо него.

Но, когда он вышел в сад и глубоко вдохнул приторно тёплые запахи потной земли, его умилённость тотчас исчезла пред натиском тревожных дум. Он шагал по дорожке, заботясь, чтоб щепень под ногами не скрипел, – была потребна великая тишина, иначе не разберёшься в этих думках. Враждебные, они пугали обилием своим, казалось, они возникают не в нём, а вторгаются извне, из ночного сумрака, мелькают в нём летучими мышами. Они так быстро сменяли одна другую, что Пётр не успевал поймать и заключить их в слова, улавливая только хитрые узоры, петли, узлы, опутывающие его, Наталью, Алексея, Никиту, Тихона, связывая всех в запутанный хоровод, который прятался неразличимо быстро, а он – в центре этого круга, один. Словами он думал самое простое:

«Надо, чтоб тёща скорее переехала к нам, а Алексея – прочь. Наталью приласкать следует. «Гляди, как любят». Так ведь это он не от любви, а от убожества своего в петлю полез. Хорошо, что он идёт в монахи, в людях ему делать нечего. Это – хорошо. Тихон – дурак, он должен был раньше сказать мне».

брание сочинений в тридцати томах. Том 16. Рассказы, повести 1922–1925. Максим Горький gorkiymaxim. Но это были не те неуловимые, бессловесные думы, которые смущали и пугали его, заставляя опасливо всматриваться в густой и влажный сумрак ночи. Вдали, в фабричном поселке, извивался, чуть светясь, тоненький ручей невесёлой песни. Жужжали комары. Пётр Артамонов ясно чувствовал необходимость как можно скорее изжить, подавить тревогу. Он не заметил, как дошёл до кустов сирени, под окном спальни своей, он долго сидел, упираясь локтями в колена, сжав лицо ладонями, глядя в чёрную землю, земля под ногами шевелилась и пузырилась, точно готовясь провалиться.

«Удивительно всё-таки, как Никита одолел песок. Уйдёт в монастырь – садовником будет там. Это ему хорошо».

Не заметив, как подошла жена, он испуганно вскочил, когда пред ним, точно из земли, поднялась белая фигура, но знакомый голос успокоил его несколько:

– Прости Христа ради, что кричала я...

– Ну, что же, – бог простит, я ведь и сам кричал, – великодушно сказал он, обрадованный, что жена пришла и теперь ему не надо искать те мягкие слова, которые залепили бы и замазали трещину ссоры.

Он сел, Наталья нерешительно опустилась рядом с ним, надо было всё-таки сказать ей что-нибудь утешительное, Пётр сказал:

– Я понимаю, что тебе скучно. Веселье у нас в доме не живёт. Чему веселиться? Отец веселье в работе видел. У него так выходило: просто людей мет – все работники, кроме нищих да господ. Все живут для дела. За делом людей не видно.

Говорил он осторожно, опасаясь сказать что-то лишнее, и, слушая себя, находил, что он говорит, как серьёзный, деловой человек, настоящий хозяин. Но он чувствовал, что все эти слова какие-то наружные, они скользят по мыслям, не вскрывая их, не в силах разгрызть, и ему казалось, что сидит он на краю ямы, куда в следующую минуту может столкнуть его кто-то, кто, следя за его речью, нашёптывает:

«Неправду говоришь».

Очень вовремя жена, положив голову на плечо его, шепнула:

– Ведь ты мне – на всю жизнь, как же ты не понимаешь этого?

Он тотчас же обнял её, притиснул к себе, слушая горячий шёпот.

– Это – грех, не понимать. Взял девушку, она тебе детей родит, а тебя будто и нет, – без души ты ко мне. Это грех, Петя. Кто тебе ближе меня, кто тебя пожалеет в тяжёлый час?

Ему показалось, что жена приподняла его и, перевернув в воздухе, приятно обессилила; погружаясь в освежающий холодок, он почти благодарно заговорил:

– Обещал я ему молчать, – не могу!

И торопливо рассказал ей всё, что слышал от дворника о Никите.

– Рубахи твои целовал, – в саду сушились, – вот до чего обалдел! Как же ты – не знала, не замечала за ним этого?

Плечо жены под рукою его сильно вздрогнуло.

«Жалеет?» – подумал Пётр, но она торопливо, возмущённо ответила:

– Никогда, никакой корысти не замечала! Ах, скрытный! Верно, что горбатые – хитрые.

«Брезгует? Или – притворяется?» – спросил себя Артамонов и напомнил жене:

– Он был ласков с тобой...

брание сочинений в тридцати томах. Том 16. Рассказы, повести 1922–1925. Максим Горький gorkiymaxim.

– Ну, так что? – вызывающе ответила она. – И Тулун – ласков.

– Ну – всё-таки... Тулун – собака.

– Так ты его собакой и приставил ко мне, чтоб он следил за мной, берёг бы меня от свёкра, от Алексея, – я ведь понимаю! Ох, как он мне противен, как обиден был...

Было ясно, что Наталья обижена, возмущена, это чувствовалось по трепету её кожи, по судорожным движениям пальцев, которыми она дёргала и щипала рубаху, но мужчине казалось, что возмущение чрезмерно, и, не веря в него, он нанёс жене последний удар:

– Его Тихон из петли вынул. В бане лежит.

Жена обмякла, осела под его рукой, вскрикнув с явным страхом:

– Нет... Что ты? Господи...

«Значит – врала», – решил Пётр, но она, дёрнув голову так, как будто её ударили по лбу, зашептала, зло всхлипывая:

– Что же это будет? Только смертью батюшки прикрылись немножко от суда людского, а теперь опять про нас начнут говорить, – ой, господи, за что? Один брат – в петлю лезет, другой неизвестно на ком, на любовнице женится, – что же это? Ах, Никита Ильич! Что же это за бесстыдство? Ну – спасибо! Угодил, безжалостный...

Облегчённо вздохнув, муж крепко погладил плечо жены.

– Не бойся, никто ничего не узнает. Тихон – не скажет, он ему – приятель, а от нас всем доволен. Никита в монахи собирается...

– Когда?

– Не знаю.

– Ох, скорее бы! Как я с ним теперь?

Помолчав, Пётр предложил:

– Сходи к нему, погляди...

Но, подскочив, точно уколота, жена почти закричала:

– Ой – не посылай, не пойду! Не хочу, боюсь...

– Чего? – быстро спросил Пётр.

– Удавленника. Не пойду, что хочешь делай... Боюсь.

– Ну – идём спать! – сказал Артамонов, вставая на твёрдые ноги. – На сей день довольно помучились.

Медленно шагая рядом с женою, он ощущал, что день этот подарил ему вместе с плохим нечто хорошее и что он, Пётр Артамонов, человек, каким до сего дня не знал себя, – очень умный и хитрый, он только что ловко обманул кого-то, кто навязчиво беспокоил его душу тёмными мыслями.

– Конечно, ты мне самая близкая, – говорил он жене. – Кто ближе тебя? Так и думай: самая близкая ты мне. Тогда – всё будет хорошо...

На двенадцатый день после этой ночи, на утренней заре, сыпучей, песчаной тропой, потемневшей от обильной росы, Никита Артамонов шагал с палкой в руке, с кожаным мешком на горбу, шагал быстро, как бы торопясь поскорее уйти от воспоминаний о том, как родные провожали его: все они, не проспавшись, собрались в обеденной комнате, рядом с кухней, сидели чинно, говорили сдержанно, и было так ясно, что ни у кого из них нет для него ни единого сердечного слова. Пётр был ласков и почти весел, как человек, сделавший выгодное дело, раза два он сказал:

– Вот у нас в семье свой молитвенник о грехах наших будет...

Наталья равнодушно и очень внимательно разливала чай, её маленькие, мышинные уши заметно горели и казались измятыми, она хмурилась и часто выходила из комнаты; мать её задумчиво молчала и, помусливая палец, приглаживала седые волосы на висках, только Алексей, необычно для него, волновался, спрашивал, подёргивая плечами:

– Как это ты решился, Никита? Вдруг, а? Непонятно мне...

Рядом с ним сидела небольшая, остроносенькая девица Орлова и, приподняв тёмные брови, бесцеремонно рассматривала всех глазами, которые не понравились Никите, – они не по лицу велики, не по-девичьи остры и слишком часто мигали.

Тяжело было сидеть среди этих людей и боязливо думалось:

«Вдруг Пётр скажет всем? Скорее бы отпустили...»

Пётр начал прощаться первый, он подошёл, обнял и сказал дрогнувшим голосом, очень громко:

– Ну, брат родной, прощай...

Баймакова остановила его:

– Что ты? Посидеть надо сначала, помолчать, потом, помолясь, прощаться.

Всё это было сделано быстро, снова подошёл Пётр, говоря:

– Прости нас. Пиши насчёт вклада, сейчас же вышлем. На тяжёлый послух не соглашайся. Прощай. Молись за нас побольше.

Баймакова, перекрестив его, трижды поцеловала в лоб и щёки, она почему-то заплакала; Алексей, крепко обняв, заглянул в глаза, говоря:

– Ну – с богом. У каждого – своя тропа. Всё-таки я не понимаю, как это ты вдруг решился...

Наталья подошла последней, но не доходя вплоть, прижав руку ко груди своей, низко поклонилась, тихо сказала:

– Прощай, Никита Ильич...

Грудь у неё всё ещё высокие, девичьи, а уже кормила троих детей.

Вот и всё. Да, ещё Орлова: она сунула жёсткую, как щепка, маленькую, горячую руку, – вблизи лицо её было ещё неприятней. Она спросила глупо:

– Неужели пострижётесь?

На дворе с ним прощалось десятка три старых ткачей, древний, глухой Борис Морозов кричал, мотая головой:

– Солдат да монах – первые слуги миру, нате-ко!

Никита зашёл на кладбище, проститься с могилой отца, встал на колени пред нею и задумался, не молясь, – вот как повернулась жизнь! Когда за спиной его взошло солнце и на омытый росой дёрн могилы легла широкая, угловатая тень, похожая формой своей на конуру злого пса Тулуна, Никита, поклонясь в землю, сказал:

– Прости, батюшка.

В чуткой тишине утра голос прозвучал глухо и сипло; помолчав, горбун повторил громче:

– Прости, батюшка.

брание сочинений в тридцати томах. Том 16. Рассказы, повести 1922–1925. Максим Горький gorkiyтахіт.  
И – заплакал, горько, по-женски всхлипывая, нестерпимо жалко стало свой прежний, ясный и звонкий голос.

Потом, отойдя от кладбища с версту, Никита внезапно увидел дворника Тихона; с лопатой на плече, с топором за поясом он стоял в кустах у дороги, как часовой.

– Пошёл? – спросил он.

– Иду. Ты что тут?

– Рябину выкопать хочу, около сторожки моей посажу, у окна.

Постояли минуту, молча глядя друг на друга, Тихон отвёл в сторону тающие глаза свои.

– Шагай, я тебя провожу несколько.

Пошли молча. Первый заговорил Тихон.

– Росы какие сильные. Это – вредные росы, к засухе, к неурожаю.

– Избави бог.

Тихон Вялов сказал что-то неясное.

– Чего? – спросил Никита, несколько испуганный, – он всегда ждал от этого человека особенных слов, раздражающих душу.

– Может – избавит, говорю.

Но Никита был уверен, что землекоп сказал что-то такое, чего не хочет повторить.

– Что ж ты, – не веришь, что ли, в милость божию? – с упрёком спросил он.

– Зачем? – спокойно ответил Тихон. – Теперь – дожди нужны. И для грибов росы эти вредные. А у хорошего хозяина всё вовремя.

Вздохнув, Никита покачал головой.

– Нехорошо как-то думаешь ты, Тихон...

– Нет, я думаю хорошо. Я не глазами думаю.

Снова прошли молча шагов полсотни. Никита смотрел под ноги, на широкую тень свою, Вялов в такт шагам стучал пальцем по дереву топорща.

– Я приду, Никита Ильич, через годок, поглядеть на тебя, – ладно?

– Приходи. Любопытен ты.

– Это – верно.

Он снял шапку, остановился:

– Ну, когда так, – прощай, Никита Ильич! – И, почёсывая скулу, он задумчиво прибавил:

– Нравишься ты мне, по душе. Ты – кроткого духа. Отец твой был умного тела, а ты – духовный, душевный...

Бросив палку на землю, встряхнув горбом, чтоб поправить мешок, Никита молча обнял его, а Тихон, крепко облапив, ответил громко, настойчиво:

– Значит – приду.

– Спасибо.

Там, где дорога круто загибалась в сосновый лес, Никита оглянулся, – Тихон,

брание сочинений в тридцати томах. Том 16. Рассказы, повести 1922–1925. Максим Горький gorkiymaxim.  
сунув шапку под мышку, опираясь на лопату, стоял среди дороги, как бы решив не пропускать никого по ней; тянул утренний ветерок и шевелил волосы на его неприятной голове.

Издали Тихон стал чем-то похож на дурачка Антонушку. Думая об этом тёмном человеке, Никита Артамонов ускорил шаг, а в памяти его назойливо зазвучало:

«Хиристос воскиресе, воскиресе,  
Кибитка потерял колесо».

II

Только в девятую годовщину смерти отца Артамоновы кончили строить церковь и освятили её во имя Ильи Пророка. Строили семь лет; виновником медленности этой был Алексей.

– Бог – подождёт, ему спешить некуда, – бойко, нехорошо шутил он и дважды израсходовал кирпич для храма, один раз – на третий корпус фабрики, другой – на больницу.

После освящения, отслужив панихиду над могилами отца и детей своих, Артамоновы подождали, когда народ разошёлся с кладбища, и, деликатно не заметив, что Ульяна Баймакова осталась в семейной ограде на скамье под берёзами, пошли не спеша домой; торопиться было некуда, торжественный обед для духовенства, знакомых и служащих с рабочими назначен в три часа.

День – серенький; небо, по-осеннему, нахмурилось; всхрапывал, как усталая лошадь, сырой ветер, раскачивая вершины ельника, обещая дождь. На рыжей полосе песчаной дороги качались тёмненькие фигурки людей, сползая к фабрике; три корпуса её, расположенные по радиусу, вцепились в землю, как судорожно вытянутые красные пальцы.

Алексей, махнув палкой, сказал:

– Радовался бы покойник отец, видя, как мы действуем!

– Огорчился бы, когда царя убили, – ответил, подумав, Пётр, не желая поддакивать брату.

– Ну, огорчаться он не очень любил. И жил не царёвым умом, своим.

Поглубже натянув картуз, Алексей остановился, взглянул на женщин; его жена, маленькая, стройная, в простеньком, тёмном платье, легко шагая по размятому песку, вытирала платком свои очки и была похожа на сельскую учительницу рядом с дородной Натальей, одетой в чёрную, шёлковую тальму со стеклярусом на плечах и рукавах; тёмно-лиловая головка красиво прикрывала её пышные, рыжеватые волосы.

– Хорошеет всё жена у тебя.

Пётр промолчал.

– А Никита опять не приехал на годовщину. Сердится, что ли, на нас?

В сырые дни у Алексея побаливала грудь и нога; он шёл прихрамывая, опираясь на палку. Ему хотелось сгладить унылое впечатление панихиды и печаль серенького дня; упрямый во всём, он хотел заставить брата говорить.

– Тёща осталась на могиле поплакать. Всё ещё помнит. Хорошая старуха. Я шепнул Тихону, чтоб он подождал и проводил её; она жалуется на одышку, ходить трудно, говорит.

Артамонов старший негромко и принуждённо повторил:

– Трудно.

– Ты – дремлешь? Что – трудно?

– Тихона рассчитать надо, – ответил Пётр, глядя вбок, на холмы, сердито ощетиленные ёлками.

брание сочинений в тридцати томах. Том 16. Рассказы, повести 1922–1925. Максим Горький gorkiymaxim.

– За что? – удивлённо спросил брат. – Мужик честный, аккуратен, не ленив...

– Дурак, – добавил Пётр.

Подожли женщины; Ольга приятным голосом, неожиданно сильным для её маленького тела, сказала мужу:

– Уговариваю Наташу, чтоб она отдала Илью в гимназию, а она – боится.

Беременная Наталья шагала сытой уткой, переваливаясь с ноги на ногу; тоном старшей, медленно и в нос, она выговорила:

– А по-моему – гимназия мода вредная. Вот Елена такими словами письма пишет, что и не поймёшь.

– Учить всех, учить! – строго заявил Алексей, сняв картуз, отирая вспотевший лоб и преждевременную лысину; она всползала от висков к темени острыми углами, сильно удлинив его лицо.

Вопросительно поглядывая на мужа, Наталья спорила:

– Помялов верно говорит: от ученья люди дичают.

– Да, – сказал Пётр.

– Вот видите! – удовлетворённо воскликнула Наталья, но муж задумчиво добавил:

– Надо учить.

Брат и Ольга засмеялись; Наталья упрекнула их:

– Что это вы? Забыли? С панихиды идёте.

Взяв её под руки, они пошли быстрее, а Пётр замедлил шаг:

– Я подожду мать.

Его огорчил неприятный человек Тихон Вялов. Перед панихидой, стоя на кладбище, разглядывая вдали фабрику, Пётр сказал вслух, сам себе, не хвастаясь, а просто говоря о том, что видел:

– Разрослось дело.

И тотчас услышал за плечом своим спокойный голос бывшего землекопа:

– Дело, как плесень в погребу, – своей силой растёт.

Пётр ничего не сказал ему, даже не оглянулся, но явная и обидная глупость слов дворника возмутила его. Человек работает, даёт кусок хлеба не одной сотне людей, день и ночь думает о деле, не видит, не чувствует себя в заботах о нём, и вдруг какой-то тёмный дурак говорит, что дело живёт своей силой, а не разумом хозяина. И всегда человечиска этот бормочет что-то о душе, о грехе.

Артамонов присел у дороги на старый пень срубленной сосны, подёргал себя за ухо и вспомнил, как однажды он пожаловался Ольге:

«О душе подумать некогда».

Он услышал странный вопрос:

– Разве душа живёт отдельно от тебя?

В этих словах ему почудилась бабья шутка, но птичье лицо Ольги было серьёзно; тёмненькие глаза её сияли за стёклами очков ласково.

– Не понимаю, – сказал он.

– А я не понимаю, когда о душе говорят отдельно от человека, как будто о

брание сочинений в тридцати томах. Том 16. Рассказы, повести 1922–1925. Максим Горький gorkiymaxim. сироте–приёмше.

– Не понимаю, – повторил Пётр и утратил желание говорить с этой женщиной; очень чужая, мало понятная ему, она всё-таки нравилась своей простотой, но внушала опасение, что под видимой простотой её скрыта хитрость. А Тихон Вялов всегда не нравился ему. Неприятно было видеть это скуластое, пятнистое лицо, странные глаза и прилипшие к черепу уши, спрятанные в рыжеватых волосах, эту туго растущую бороду, походку Тихона, не быструю, но спорую, и всё его неуклюжее, коренастое тело. Неприятно и как будто завидно было его спокойствие; даже аккуратность в работе раздражала. Работал Тихон, как машина, и почти никогда не давал повода упрекнуть его в чём-либо, но и это возбуждало досаду. И всё более неприятно было видеть, что человек этот, с каждым годом глубже вращаясь в хозяйство, видимо, чувствует себя необходимой спицей в колесе жизни Артамоновых. Странно, что дети любят его так же, как собаки и лошади. Старый волкодав Тулун, посаженный на цепь и озлобленный этим, никого, кроме Тихона, не подпускал к себе, а старший сын, своенравный Илья, послушен дворнику больше, чем отцу и матери.

Чтоб убрать Вялова с глаз, Артамонов предлагал ему место церковного сторожа, лесника, – Тихон отрицательно мотал тяжёлой головой:

– Не гожусь я для этого. А если надоел тебе, – отдохни, отпусти меня на месяц, я к Никите Ильичу схожу.

Именно так он и сказал: отдохни. Это слово, глупое и дерзкое, вместе с напоминанием о брате, притаившемся где-то за болотами, в бедном лесном монастыре, вызывало у Пётра тревожное подозрение: кроме того, что Тихон рассказал о Никите, вынув его из петли, он, должно быть, знает ещё что-то постыдное, он как будто ждёт новых несчастий, мерцающие его глаза внушают:

«Не трогай меня, я тебе нужен».

Он уже трижды ходил в монастырь: повесит за спину себе котомку и, с палкой в руке, уходит не торопясь; казалось – он идёт по земле из милости к ней, да и всё он делает как бы из милости.

Возвратясь, Тихон отвечал на расспросы о Никите туго, невразумительно; всегда думалось, что он говорит не всё, что знает.

– Здоров. В почёте. За поклоны, за гостинцы – благодарить велел.

– Что ж он говорит? – допытывался Пётр.

– А что монаху говорить?

– Ну, всё-таки? – нетерпеливо допрашивал Алексей.

– Насчёт бога. Погодой интересуется, дожди, говорит, не вовремя идут. На комара жалуется; комаров у них там многовато. Про вас спрашивал.

– Что?

– Заботится, жалеет.

– Нас? За что?

– За всё. Вот – вы бегом живёте, а он остановился, ну и жалеет вас за беспокойство ваше.

Алексей хохотал, вскрикивая:

– Экая ерунда!

Зрачки Тихона таяли, глаза пустели.

– Ведь я не знаю, как он думает, я сказываю, что он говорил. Я – простой.

– Да, прост! – насмешливо соглашался Алексей. – Вроде Антона-дурака.



Ветер обдал Петра Артамонова душистым теплом, и стало светлее; из глубочайшей голубой ямы среди облаков выглянуло солнце. Пётр взглянул на него, ослеп и ещё глубже погрузился в думы свои.

Было что-то обидное в том, что Никита, вложив в монастырь тысячу рублей и выговорив себе пожизненно сто восемьдесят в год, отказался от своей части наследства после отца в пользу братьев.

– Что это за подарки? – ворчал Пётр, но Алексей – обрадовался:

– А куда ему деньги? Дармоедам, монахам на жир? Нет, он хорошо решил. У нас – дело, дети.

Наталья даже умилилась.

– Всё-таки не забыл он вину свою перед нами! – удовлетворённо сказала она, сгоняя пальцем одинокую слезу с румяной щеки. – Вот и приданое Елене.

На душу Пётра поступок брата лёг тенью, – в городе говорили об уходе Никиты в монастырь зло, нелестно для Артамоновых.

С Алексеем Пётр жил мирно, хотя видел, что бойкий брат взял на себя наиболее лёгкую часть дела: он ездил на нижегородскую ярмарку, раза два в год бывал в Москве и, возвращаясь оттуда, шумно рассказывал сказки о том, как преуспевают столичные промышленники.

– Парадно живут, не хуже дворян.

– Баринoм жить – просто, – намекал Пётр, но, не поняв намёка, брат восхищался:

– Домище сгрохает купец, так это – собор! Дети образованные.

Хотя он сильно постарел, но к нему вернулась юношеская живость, и ястребиные глаза его блестели весело.

– Ты что всё хмуришься? – спрашивал он брата и даже учил: – Дело делать надо шутя, дела скуки не любят.

Пётр замечал в нём сходство с отцом, но Алексей становился всё более непонятен ему.

– Я человек хворый, – всё ещё напоминал он, но здоровья не берёт, много пил вина, азартно, ночами, играл в карты и, видимо, был нечистоплотен с женщинами. Что в его жизни главное? Как будто – не сам он и не гнездо его. Дом Баймаковой давно требовал солидного ремонта, но Алексей не обращал на это внимания. Дети рождались слабыми и умирали до пяти лет, жил только Мирон, неприятный, костлявый мальчишка, старше Ильи на три года. И Алексей и жена его заразились смешной жадностью к ненужным вещам, комнаты у них тесно набиты разнообразной барской мебелью, и оба они любили дарить её; Наталья подарили забавный шкаф, украшенный фарфором, теще – большое кожаное кресло и великолепную, карельской берёзы с бронзой, кровать; Ольга искусно вышивала бисером картины, но муж привозил ей из своих поездок по губернии такие же вышивки.

– Чудишь ты, – сказал Пётр, получив подарок брата, монументальный стол со множеством ящичков и затейливой резьбой, но Алексей, хлопая по столу ладонью, кричал:

– Поёт! Таким штукам больше не быть, в Москве это поняли!

– Ты бы лучше серебро покупал, у дворян серебра много...

– Дай срок – всё купим! В Москве...

Если верить Алексею, то в Москве живут полуумные люди, они занимаются не столько делами, как все, поголовно, стараются жить по-барски, для чего скупают у дворянства всё, что можно купить, от усадеб до чайных чашек.

брание сочинений в тридцати томах. Том 16. Рассказы, повести 1922–1925. Максим Горький gorkiymaxim.

Сидя в гостях у брата, Пётр всегда с обидой и завистью чувствовал себя более уютно, чем дома, и это было так же непонятно, как не понимал он, что нравится ему в Ольге? Рядом с Натальей она казалась горничной, но у неё не было глупого страха пред керосиновыми лампами, и она не верила, что керосин вытапливают студенты из жира самоубийц. Приятно слушать её мягкий голос, и хороши её глаза; очки не скрывают их ласкового блеска, но о делах и людях она говорит досадно, ребячливо, откуда-то издали; это удивляло и раздражало.

– Что ж у тебя – виноватых нет, что ли? – насмешливо спрашивал Пётр, она отвечала:

– Виноватые есть, да я судить не люблю.

Пётр не верил ей.

С мужем она обращалась так, как будто была старше и знала себя умнее его. Алексей не обижался на это, называл её тётей и лишь изредка, с лёгкой досадой, говорил:

– Перестань, тётя, надоело! Я больной человек, меня побаловать не вредно.

– Достаточно избалован, будет уж!

Она улыбалась мужу улыбкой, которую Пётр хотел бы видеть на лице своей жены. Наталья – образцовая жена, искусная хозяйка, она превосходно солила огурцы, мариновала грибы, варила варенья, прислуга в доме работала с точностью колёсиков в механизме часов; Наталья неумоимо любила мужа спокойной любовью, устоявшейся, как сливки. Она была бережлива.

– Сколько теперь у нас в банке-то? – спрашивала она и тревожилась: – Ты гляди, хорош ли банк, не лопнул бы!

Когда она брала в руки деньги, красивое лицо её становилось строгим, малиновые губы крепко сжимались, а в глазах являлось что-то масляное и едкое. Считая разноцветные, грязные бумажки, она трогала их пухлыми пальцами так осторожно, точно боялась, что деньги разлетятся из-под рук её, как мухи.

– Как вы – доходы-то делите с Алексеем? – спрашивала она в постели, насытив Петра ласками. – Не обсчитывает он тебя? Он – ловкий! Они с женой жадные. Так и хватают всё, так и хватают!

Она чувствовала себя окружённой жуликами и говорила:

– Никому, кроме Тихона, не верю.

– Значит, дураку веришь, – устало бормотал Пётр.

– Дурак – да совестлив.

Когда Пётр впервые посетил с ней нижегородскую ярмарку и, поражённый гигантским размахом всероссийского торжища, спросил жену:

– Каково, а?

– Очень хорошо, – ответила она. – Всего много, и всё дешевле, чем у нас.

Затем она начала считать, что следует купить:

– Мыла два пуда, свеч ящик, сахару мешок да рафинаду...

Сидя в цирке, она закрывала глаза, когда на арену выходили артисты.

– Ах, бесстыжие, ах, голяшки! Ой, хорошо ли мне глядеть на них, хорошо ли для ребёнка-то? Не водил бы ты меня на страхи эти, может, я мальчиком беременна!

В такие минуты Пётр Артамонов чувствовал, что его душит скука, зеленеватая и густая, как тина реки Ватаракши, в которой жила только одна рыба – жирный, глупый линь.

Наталья всё так же много и деловито молилась, а помолясь и опрокинувшись в кровать, усердно вызывала мужа к наслаждению её пышным телом. От кожи её пахло чуланом, в котором хранились банки солений, маринадов, копчёной рыбы, окорока. Пётр нередко и всё чаще чувствовал, что жена усердствует чрезмерно, ласки её опустошают его.

– Отстань, устал я, – говорил он.

– Ну, спи с богом, – покорно отзывалась жена и, быстро заснув, удивлённо приподнимала брови, улыбалась, как бы глядя закрытыми глазами на что-то очень хорошее и никогда не виданное ею.

В те часы, когда Пётр особенно ясно, с унынием ощущал, что Наталья нежеланна ему, он заставлял себя вспоминать её в жуткий день рождения первого сына. Мучительно тянулся девятнадцатый час её страданий, когда тёща, испуганная, в слезах, привела его в комнату, полную какой-то особенной духоты. Извиваясь на смятой постели, выкатив искажённые лютой болью глаза, растрёпанная, потная и непохожая на себя, жена встретила его звериным воем:

– Петя, прощай, умираю. Мальчик будет... Пётр, прости...

Губы её, распухшие от укусов, почти не шевелились, и слова шли как будто не из горла, а из опустившегося к ногам живота, безобразно вздутого, готового лопнуть. Посиневшее лицо тоже вздулось; она дышала, как уставшая собака, и так же высовывала опухший, изжёванный язык, хватала волосы на голове, тянула их, рвала и всё рычала, выла, убеждая, одолевая кого-то, кто не хотел или не мог уступить ей:

– М-мальчика...

День был ветреный, за окном тряслась и шумела черёмуха, на стёклах трепетали тени, Пётр увидел их прыжки, услышал шорох и, обезумев, крикнул:

– Окно занавесьте! Не видите?

И в страхе убежал, сопровождаемый визгом женщины:

– И – и – у – у...

А через полтора часа тёща, немая от счастья и усталости, снова привела его к постели жены, Наталья встретила его нестерпимо сияющим взглядом великомученицы и слабеньким, пьяным языком сказала:

– Мальчик. Сын.

Он наклонился, приложил щёку к плечу её, забормотал:

– Ну, мать, этого я тебе не забуду до гроба, так и знай! Ну, спасибо...

Впервые он назвал её матерью, вложив в это слово весь свой страх и всю радость; она, закрыв глаза, погладила голову его тяжёлой, обессиленной рукою.

– Богатырь, – сказала рябая, носатая акушерка, показывая ребёнка с такой гордостью, как будто она сама родила его. Но Пётр не видел сына, пред ним всё заслонялось мёртвым лицом жены, с тёмными ямами на месте глаз:

– Не умрёт?

– Н-ну, – громко и весело сказала рябая акушерка, – если б от этого умирали, тогда и акушерок не было бы.

Теперь богатырю шёл девятый год, мальчик был высок, здоров, на большелобом, курносом лице его серьёзно светились большие, густо-синие глаза, – такие глаза были у матери Алексея и такие же у Никиты. Через год родился ещё сын, Яков, но уже с пяти лет лобастый Илья стал самым заметным человеком в доме. Балуемый всеми, он никого не слушал и жил независимо, с поразительным постоянством попадая в неудобные и опасные положения. Его шалости почти всегда принимали

брание сочинений в тридцати томах. Том 16. Рассказы, повести 1922–1925. Максим Горький gorkiymaxim.  
несколько необычный характер, и это возбуждало у отца чувство, близкое гордости.

Однажды Пётр застал сына в сарае, мальчик пытался пристроить к старому корыту колесо тачки.

– Это что будет?

– Пароход.

– Не поедет.

– У меня – поедет! – сказал сын задорным тоном деда. Пётр не мог убедить его в бесполезности работы, но, убеждая, думал:

«Дедушкин характер».

Илья был непреклонен в достижении своих целей, но всё-таки ему не удалось устроить пароход из корыта и двух колёс тачки. Тогда он нарисовал колёса углём на боках корыта, стащил его к реке, спустил в воду и погряз в тине. Однако не испугался, а тотчас же закричал бабам, полоскавшим бельё:

– Эй, бабы! Вытащите, а то утону...

Мать велела изрубить корыто, а Илью нашлёпала, с этого дня он стал смотреть на неё такими же невидящими глазами, как смотрел на двухлетнюю сестрёнку Таню. Он был вообще деловой человек, всегда что-то строгал, рубил, ломал, налаживал, и, наблюдая это, отец думал:

«Толк будет. Строитель».

Иногда Илья целые дни не замечал отца и вдруг, являясь в контору, влезал на колени, приказывал:

– Расскажи чего-нибудь.

– Некогда мне.

– Мне тоже некогда.

Усмехаясь, отец отодвигал в сторону бумаги.

– Ну, вот: жили-были мужики...

– Про мужиков я всё знаю; смешное Расскажи.

Смешного отец не знал.

– Ты поди к бабушке.

– Она сегодня чихает.

– Ну – к матери.

– Она меня мыть будет.

Артамонов смеялся; сын был единственным существом, вызывавшим у него хороший, лёгкий смех.

– Тогда я пойду к Тихону, – заявлял Илья, пытаюсь соскочить с колен отца, но тот удерживал его.

– А что Тихон говорит?

– Всё.

– Что однако?

– Он всё знает, он в Балахне жил. Там баржи строят, лодки...

Когда Илья свалился откуда-то, разбив себе лицо, мать, колотя его, кричала:

– Не лазай по крышам, уродушкой будешь, горбатым!

Багровый от обиды, сын не заплакал, но пригрозил матери:

– Ещё я тебе помру, когда бить будешь!

Об этой угрозе она сказала отцу, он усмехнулся:

– Ты не бей его, а посылай ко мне.

Сын пришёл, встал у косяка двери, заложив руки за спину; не чувствуя ничего к нему, кроме любопытства и волнующей нежности, Пётр спросил:

– Ты что это матери грубишь?

– Я не дурак, – сердито ответил сын.

– Как же не дурак, если грубишь?

– Так она – дерётся. Тихон сказал: только дураков бьют.

– Тихон? Тихон сам...

Но Пётр почему-то остерёгся назвать дворника дураком; он шагал по комнате, присматриваясь к человеку у двери, не зная – что сказать?

– Ты вот тоже брата Якова бьёшь.

– Он – дурак. Ему – не больно, он толстый.

– Что же: толстый, так – надо бить?

– Он жадный.

Пётр чувствовал, что не умеет учить сына и что сын понимает это. Может быть, было бы проще и полезнее натрепать ему уши, но не поднималась рука над этой тревожно милой, вихрастой головой. Даже и думать о наказании неловко было под пристальным, ожидающим взглядом родных, синих глаз. И солнце мешало; всегда выходило как-то так, что Илья наиболее отчаянно шалил в солнечные дни. Говоря мальчику обычные слова увещаний, Пётр вспоминал время, когда он сам выслушивал эти же слова и они не доходили до сердца его, не оставались в памяти, вызывая только скуку и лишь ненадолго страх. А побои, даже и заслуженные, трудно забыть, это Пётр Артамонов тоже хорошо знал.

Второй сын Яков, кругленький и румяный, был похож лицом на мать. Он много и даже как будто с удовольствием плакал, а перед тем, как пролить слёзы, пыхтел, надувая щёки, и тыкал кулаками в глаза свои. Он был труслив, много и жадно ел и, отяжелев от еды, или спал или жаловался:

– Мама, мне скушно!

Дочь Елена приезжала домой только летом, она была какая-то чужая барышня.

Семи лет Илья начал учиться грамоте у попа Глеба, но узнав, что сын конторщика Никонова учится не по псалтырю, а по книжке с картинками «Родное слово», сказал отцу:

– Я не стану учиться, у меня язык болит.

Нужно было долго и ласково расспрашивать его, прежде чем он объяснил:

– Паша Никонов учится по родному, а я по чужому.

Но иногда этот очень живой мальчик, запнувшись за что-то, часами одиноко сидел на холме под сосною, бросая сухие шишки в мутно-зелёную воду реки Ватаракши.

«Скучает», – догадывался отец.

Он тоже недели и месяцы жил оглушённый шумом дела, кружился, кружился и вдруг попадал в густой туман неясных дум, слепо запутывался в скуке и не мог понять, что больше ослепляет его: заботы о деле или же скука от этих, в сущности, однообразных забот? Часто в такие дни он наткнулся на человека и начинал ненавидеть его за кривой взгляд, за неудачное слово; так, в этот серенький день, он почти ненавидел Тихона Вялова.

Вялов приближался, ведя под руку тещу, рассказывая:

– Мы, Вяловы, большая семья...

– Что же ты со своими не живёшь? – спросил Пётр, подходя к Баймаковой, взяв её под локоть; Тихон замолчал, отшагнув в сторону; Артамонов настойчиво и строго повторил вопрос. Тогда, сузив бесцветные глаза, дворник равнодушно ответил:

– Да уж нет их никого, своих-то, всех извели.

– Что значит – извели? Кто извёл?

– Двоих братьев под Севастополь угнали, там они и загибли. Старший в бунт ввязался, когда мужики волей смутились; отец – тоже причастный бунту – с картошкой не соглашался, когда картошку силком заставляли есть; его хотели пороть, а он побежал прятаться, провалился под лёд, утонул. Потом было ещё двое у матери, от другого мужа, Вялова, рыбака, я да брат Сергей...

– А где брат? – спросила Ульяна, мигая опухшими от слёз глазами.

– Его убили.

– Рассказываешь ты, как поминанье читаешь, – сердито сказал Артамонов.

– Это Ульяне Ивановне любопытно... Приуныла она маленько, вот я и...

Не кончив слов, он наклонился, поднял с дороги сухой сучок и отбросил его в сторону. Минуты две шли молча.

– А кто убил брата? – вдруг спросил Артамонов.

– Кто убивает? Человек убивает, – спокойно сказал Тихон, а Баймакова, вздохнув, добавила:

– Молния тоже...

...В середине лета наступили тяжёлые дни, над землёй, в желтовато-дымном небе стояла угнетающая, безжалостно знойная тишина; всюду горели торфяники и леса. Вдруг буйно врывался сухой, горячий ветер, люто шипел и посвистывал, срывал посохшие листья с деревьев, прошлогоднюю, рыжую хвою, вздымал тучи песка, гнал его над землёй вместе со стружкой, кострикой [29], перьями кур; толкал людей, пытаясь сорвать с них одежду, и прятался в лесах, ещё жарче раздувая пожары.

На фабрике было много больных; Артамонов слышал, сквозь жужжание веретён и шорох челноков, сухой, надсадный кашель, видел у станков унылые, сердитые лица, наблюдал вялые движения; количество выработки понизилось, качество товара стало заметно хуже; сильно возросли прогульные дни, мужики стали больше пить, у баб хворали дети. Весёлый плотник Серафим, старичок с розовым лицом ребёнка, то и дело мастерил маленькие гробики и нередко сколачивал из бледных, еловых досок домовины для больших людей, которые отработали свой урок.

– Гулянье надо устроить, – настаивал Алексей, – повеселить надо, подбодрить народ!

Уезжая с женою на ярмарку, он ещё раз посоветовал:

– Устрой гулянье – оживут люди! Ты – верь: веселье – от всех бед спасенье!

брание сочинений в тридцати томах. Том 16. Рассказы, повести 1922–1925. Максим Горький gorkiуmaxim.  
– Займись, – приказал Пётр жене. – Получше сделай, пообильнее.

Наталья недовольно заворчала, он сердито спросил:

– Ну?

Протестуя громко высморкав нос в край передника, жена ответила:

– Слышу.

Гулянье начали молебном. Очень благолепно служил поп Глеб; он стал ещё более худ и сух; надтреснутый голос его, произнося необычные слова, звучал жалобно, как бы умоляя из последних сил; серые лица чахоточных ткачей сурово нахмурились, благочестиво одеревенели; многие бабы плакали навзрыд. А когда поп поднимал в дымное небо печальные глаза свои, люди, вслед за ним, тоже умоляюще смотрели в дым на тусклое, лысое солнце, думая, должно быть, что кроткий поп видит в небе кого-то, кто знает и слушает его.

После молебна бабы вынесли на улицу посёлка столы, и вся рабочая сила солидно уселась к деревянным чашкам, до краёв полным жирной лапшой с бараниной. Вокруг каждой чашки садилось десять человек, на каждом столе стояло ведро крепкого, домашнего пива и четверть водки; это быстро приподняло упавших духом, истомлённых людей. Тишина, горячей шапкой накрывшая землю, всколебалась, отодвинулась на болота, к лесным пожарам, посёлок загудел весёлыми голосами, стуком деревянных ложек, смехом детей, окриками баб, говором молодёжи.

За сытным, обильным обедом сидели часа три; потом, разведя пьяных по домам, молодёжь собралась вокруг чистенького, аккуратного плотника Серафима. Его синяя пестрядинная [30] рубаха и такие же порты, многократно стиранные, стали голубыми, пьяненькое, розовое личико с острым носом восторженно сияло, блестели, подмигивая, бойкие, нестарческие глаза. В этом весёлом делателе гробов было, соответственно имени его, что-то небесно-радостное, какой-то лёгкий трепет. Сидя на скамье, положив гусли на острые свои колена, перебирая струны тёмными пальцами, изогнутыми, точно коренья хрена, он запел напевом слепцов-нищих, с нарочитой заунывностью и гнусаво, в нос:

А и вот вам, люди, сказ на забаву  
Да премудрости вашей на разгадку!  
И, подмигнув девицам, среди которых величаво стояла дочь его, шпульница Зинаида, грудастая, красивая, с дерзкими глазами, он завёл ещё более высоко и уныло:

Да вот сидит Христос в светлом рае,  
Во душистой, небесной прохладе,  
Под высокой, златоцветной липой,  
Восседает на лыковом престоле.  
Раздаёт он серебро и золото,  
Раздаёт драгоценное каменьё,  
Всё богатым людям в награду,  
За то, что они, богатеи,  
Бедному люду доброхоты,  
Бедную братию любят,  
Нищих, убогих сыто кормят.  
Он снова подмигнул девкам и вдруг перевёл голосишко на плясовой лад, а дочь его, по-цыгански закинув руки за голову, встряхивая грудями, взвизгнула и пошла плясать под звонкую песенку отца и струнный звон.

А кто серебро возьмёт, –  
Тому ноги отшибёт!  
А кто золото возьмёт, –  
Того пламенем сожжёт!  
А яхонты, жемчуга  
Всё бельмами на глаза!..  
Звон гусель и весёлую игру песни Серафима заглушил свист парней; потом запели плясовую девки и бабы:

С моря быстрые кораблики бегут,  
Красным девушкам подарочки везут!  
А Зинаида, притопывая, подпевала пронзительно:

От Пашки – Палашке  
Рогож на рубашки;  
От Терёшки – Матрёшке  
Две берёзовы серёжки.

Илья Артамонов сидел на штабеле тёса с Павлом Никоновым, худеньким мальчиком, на длинной шее которого беспокойно вертелась какая-то старенькая, лысоватая голова, а на сером, нездоровом лице жадно бегали серые, боязливые глазки. Илье очень нравился голубой старичок, было приятно слушать игру гусель и задорный, смешной голос Серафима, но вдруг вспыхнула, завертелась эта баба в кумачовой кофте и всё разрушила, вызвав буйный свист, нестройную, крикливую песню. Эта баба стала окончательно противна ему, когда Никонов вполголоса сказал:

– Зинаидка – распутная, со всеми живёт. И с твоим отцом тоже, я сам видел, как он её тискал.

– Зачем? – недогадливо спросил Илья.

– Ну, знаешь!

Илья опустил глаза. Он знал, зачем тискают девиц, и ему было досадно, что он спросил об этом товарища.

– Врёшь, – сказал он брезгливо и не слушая шёпот Никонова. Этот мальчик, забитый и трусливый, не нравился ему своей вялостью и однообразием скучных рассказов о фабричных девицах, но Никонов понимал толк в охотничьих голубях, а Илья любил голубей и ценил удовольствие защищать слабосильного мальчика от фабричных ребятишек. Кроме того, Никонов умел хорошо рассказывать о том, что он видел, хотя видел он только неприятное и говорил обо всём, точно братишка Яков, – как будто жалуясь на всех людей.

Посидев несколько минут молча, Илья пошёл домой. Там, в саду, пили чай под жаркой тенью деревьев, серых от пыли. За большим столом сидели гости: тихий поп Глеб, механик Коптев, чёрный и курчавый, как цыган, чисто вымытый конторщик Никонов, лицо у него до того смывое, что трудно понять, какое оно. Был маленький усатый нос, была шишка на лбу, между носом и шишкой расплзалась улыбка, закрывая узкие щёлки глаз дрожащими складками кожи.

Илья сел рядом с отцом, не веря, чтоб этот невесёлый человек путался с бесстыдной шпульницей. Отец молча погладил плечо его тяжёлой рукою. Все были разморены зноем, обливались потом, говорили нехотя, только звонкий голос Коптева звучал, как зимою, в хрустальную, морозную ночь.

– В посёлок-то пойдём? – спросила мать.

– Да; пойду оденусь, – сказал отец, встал из-за стола и пошёл к дому; спустя минуту Илья побежал за ним, догнал его на крыльце.

– Ты что? – ласково спросил отец, – сын тоже спросил, глядя в глаза его:

– Ты Зинаиду тискал или не тискал?

Илье показалось, что отец испугался; это не удивило его, он считал отца робким человеком, который всех боится, оттого и молчалив. Он нередко чувствовал, что отец и его боится, вот – сейчас боится. И, чтоб ободрить испуганного человека, он сказал:

– Я – не верю, я только спрашиваю.

Отец толкнул его в сени и, затолкав по коридору в свою комнату, плотно закрыл за собою дверь, а сам стал, посапывая, шагать из угла в угол, так шагал он, когда сердился.

– Поди сюда, – сказал Артамонов старший, остановясь у стола, младший Артамонов подошёл.

– Ты что сказал?



брание сочинений в тридцати томах. Том 16. Рассказы, повести 1922–1925. Максим Горький gorkiymaxim.  
– Это Павлушка говорит, а я не верю.

– Не веришь? Так.

Пётр выдул из себя гнев, в упор разглядывая лобастую голову сына, его серьёзное, неласковое лицо. Он дёргал себя за ухо, соображая: хорошо это или плохо, что сын не верит глупой болтовне такого же мальчишки, как сам он, не верит и, видимо, утешает его этим неверием? Он не находил, что и как надо сказать сыну, и ему решительно не хотелось бить Илью. Но надо же было сделать что-то, и он решил, что самое простое и понятное – бить. Тогда, тяжело подняв не очень послушную руку, он запустил пальцы в жестковатые вихры сына и, дёргая их, начал бормотать:

– Не слушай дураков, не слушай!

И, оттолкнув, приказал:

– Ступай. Сиди в своей горнице. И – сиди там. Да.

Сын пошёл к двери, склонив голову набок, неся её, как чужую, а отец, глядя на него, утешал себя:

«Не плачет. Я его – не больно».

Он попробовал рассердиться:

– Ишь ты! Не верю! Вот я тебе и показал.

Но это не заглушало чувства жалости к сыну, обиды за него и недовольства собою.

«Впервые побил, – думал он, неприязненно разглядывая свою красную, волосатую руку. – А меня до десяти-то лет, наверно, сто раз били».

Но и это не утешало. Взглянув в окно на солнце, подобное капле жира в мутной воде, послушав зовущий шум в посёлке, Артамонов неохотно пошёл смотреть гулянье и дорóгой тихонько сказал Никонову:

– Пасынок твой моему Илье глупости внушает...

– Я его выпорю, – с полной готовностью и даже как будто с удовольствием предложил конторщик.

– Ты ему придержи язык, – добавил Пётр, искоса взглянув в пустое лицо Никонова и облегчённо думая:

«Вот как просто».

Посёлок встретил хозяев шумно и благодушно; сияли полупьяные улыбки, громко кричала лесь; Серафим, притопывая ногами в новых лаптях, в белых онучах, перевязанных, по-мордовски, красными оборами, вертелся пред Артамоновым и пел осанну:

Ой, кто это идёт?

Это – сам идёт!

А кого же он ведёт?

Самоё ведёт!

Седобородый, длинноволосый Иван Морозов, похожий на священника, басом говорил:

– Мы тобой довольны. Мы – довольны.

Другой старик, Мамаев, кричал с восторгом:

– У Артамоновых забота о людях барская!

А Никонов говорил Коптеву так, что все слышали:

– Благодарный народ, умеет ценить благодетелей своих!

– Мама, меня толкают! – жаловался Яков, одетый в рубаху розового шёлка,  
Страница 249

брание сочинений в тридцати томах. Том 16. Рассказы, повести 1922–1925. Максим Горький gorkiyтаxim. шарообразный; мать держала его за руку, величаво улыбаясь бабам, и уговаривала:

– Ты гляди, как старичок пляшет...

Голубой плотник неумоимо вертелся, подпрыгивал, сыпал прибаутки:

Эх, притопывай, нога!

Притопывай чаще!

Лапоть легче сапога,

Баба – девки – слаще!

Артамонов не впервые слышал похвалы ему, он имел все основания не верить искренности этих похвал, но всё-таки они его размягчали; ухмыляясь, он говорил:

– Ну, ладно, спасибо! Ничего, живём дружно.

И думал:

«Жаль, не видит Илья, как чествуют отца».

У него явилась потребность сделать что-то хорошее, чем-то утешить людей; подумав, дёрнув себя за ухо, он сказал:

– Детскую больницу надо вдвое расширить.

Широко размахнув руками, Серафим отскочил от него.

– Слышали? Валяй – ура, хозяину!

Недружно, но громко люди рявкнули ура; растроганная, окружённая бабами, Наталья сказала в нос, нараспев:

– Подите, бабы, возьмите ещё бочонка три пива, Тихон выдаст, подите!

Это ещё более усилило восхищение баб; а Никонов, качая головой, умилённо говорил:

– Архиерейская встреча...

– Ма-ам, – мне жарко, – мычал Яков.

Радости эти несколько смял, нарушил чернобородый, с огромными, как сливы, глазами, кочегар Волков; он подскочил к Наталье, неумело повесив через левую руку тощенького, замлевшего от жары ребёнка, с болячками на синеватой коже, подскочил и начал истерически кричать:

– Как быть-то? Жена скончалась. От жары скончалась, ау! Вот – прирост остался, – как быть?

Из его безумных глаз текли какие-то жёлтые слёзы; отталкивая кочегара от Натальи, бабы говорили, как будто извиняясь:

– Ты его не слушай, он, видишь, не в разуме. Жена у него распутная была. Чахоточная. Да он и сам нездоровый.

– Возьмите младенца-то у него, – сердито посоветовал Артамонов, и тотчас же к раскисшему тельцу ребёнка протянулось несколько пар бабьих рук, но Волков крепко выругался и убежал.

В общем всё было хорошо, пёстро и весело, как и следует быть празднику. Замечая лица новых рабочих, Артамонов думал почти с гордостью:

«Растёт число народа. Видел бы отец...»

Вдруг жена пожалела:

– Не вовремя наказал ты Илью, не видит он любовь к тебе.

Артамонов промолчал, взглянув исподлобья на Зинаиду, она шла впереди десятка

брание сочинений в тридцати томах. Том 16. Рассказы, повести 1922–1925. Максим Горький gorkiymaxim.  
девиц и пела неприятным, низким голосом:

Ходит мимо,  
Смотрит мило,  
Видно, хочет,  
Ах, полюбить!  
«Халда, – подумал он. – И песня плохая».

Вынул часы, посмотрел на них и зачем-то солгал:

– Я схожу домой, должна быть депеша от Алексея.

Он пошёл быстро, обдумывая на ходу, что надо сказать сыну, придумал что-то очень строгое и достаточно ласковое, но, тихо отворив дверь в комнату Ильи, всё забыл. Сын стоял на коленях, на стуле, упираясь локтями о подоконник, он смотрел в багрово-дымное небо; сумрак наполнял маленькую комнату бурой пылью; на стене, в большой клетке, возился дрозд: собираясь спать, чистил свой жёлтый нос.

– Ну что, сидишь?

Илья вздрогнул, обернулся, не спеша слез со стула.

– То-то вот! Слушаешь всякую дрянь.

Сын стоял наклонив голову, отец понял, что он делает это нарочно, чтоб напомнить о трёпке.

– Зачем гнёшься? Держи голову прямо.

Илья приподнял брови, но не взглянул на отца. Дрозд начал прыгать по жёрдочкам, негромко посвистывая.

«Сердится», – подумал Артамонов, присев на кровать Ильи, тыкая пальцем в подушку. – Пустяки слушать не надо.

Илья спросил:

– А как же, когда говорят?

Его серьёзный, хороший голос обрадовал отца, Пётр заговорил более ласково и храбро:

– Говорят, а ты – не слушай! Ты – забывай! Скажут при тебе пакость, а ты – забудь.

– Ты забываешь?

– Ну а как же? Если б я помнил всё, что слышу, чем бы я стал?

Он говорил не спеша, заботливо выбирая слова попроще, отлично понимал, что все они не нужны, и, быстро запутавшись в тёмной мудрости простых слов, сказал, вздохнув:

– Поди ко мне.

Илья подошёл осторожно. Отец, зажав его бока коленями, легонько надавил ладонью на широкий лоб и, чувствуя, что сын не хочет поднять голову, обиделся.

– Ты что капризничаешь? Погляди на меня.

Илья взглянул прямо в глаза, но это вышло ещё хуже, потому что он спросил:

– За что ты побил меня? Ведь я сказал, что не верю Павлушке.

Артамонов старший ответил не сразу. Он с удивлением видел, что сын каким-то чудом встал вровень с ним, сам поднялся до значительности взрослого или принизил взрослого до себя.

брание сочинений в тридцати томах. Том 16. Рассказы, повести 1922–1925. Максим Горький gorkiутахim.  
«Не по возрасту обидчив», – мельком подумал он и встал, говоря поспешно, стремясь скорее помирить сына с собою.

– Я тебя – не больно. Надо учить. Меня отец бил ой-ёй как! И мать. Конюх, приказчик. Лакей-немец. Ещё когда свой бьёт – не так обидно, а вот чужой – это горестно. Родная рука – легка!

Шагая по комнате, шесть шагов от двери до окна, он очень торопился кончить эту беседу, почти боясь, что сын спросит ещё что-нибудь.

– Наглядишься, наслушаешься ты здесь чего не надо, – бормотал он, не глядя на сына, прижавшегося к спинке кровати. – Учить надо тебя. В губернию надо. Хочешь учиться?

– Хочу.

– Ну, вот...

Хотелось приласкать сына, но этому что-то мешало. И он не мог вспомнить: ласкали его отец и мать после того, как, бывало, обидят?

– Ну, иди, гуляй. Да ты бы не дружился с Пашкой-то.

– Его никто не любит.

– И не за что, такого гнилого.

Сойдя к себе, стоя пред окном, Артамонов задумался: нехорошо у него вышло с сыном.

«Избаловал я его. Не боится он».

Со стороны посёлка притекал пёстрый шумок, визг и песни девиц, глухой говор, скрежет гармоники. У ворот чётко прозвучали слова Тихона:

– Что ж ты дома, дитя? Гулянье, а ты – дома? Учиться поедешь? Это хорошо. «Неучёный – что нерожёный», вот как говорят. Ну, мне без тебя скушно будет, дитя.

Артамонову захотелось крикнуть:

«Врёшь, это мне будет скучно! Ишь, ластится к хозяйскому сыну, подлая душа», – подумал он со злостью.

Отправив сына в город, к брату попа Глеба, учителю, который должен был приготовить Илью в гимназию, Пётр действительно почувствовал пустоту в душе и скуку в доме. Стало так неловко, непривычно, как будто погасла в спальне лампада; к синеватому огоньку её Пётр до того привык, что в бесконечные ночи просыпался, если огонёк почему-нибудь угасал.

Перед отъездом Илья так озорничал, как будто намеренно хотел оставить о себе дурную память; нагрубил матери до того, что она расплакалась, выпустил из клеток всех птиц Якова, а дрозда, обещанного ему, подарил Никонову.

– Ты что ж это как озоруешь? – спросил отец, но Илья, не ответив, только голову склонил набок, и Артамонову показалось, что сын дразнит его, снова напоминая о том, что он хотел забыть. Странно было ощущать, как много места в душе занимает этот маленький человек.

«Неужто отец тоже вот так беспокоился за меня?»

Память уверенно отвечала, что он никогда не чувствовал в своём отце близкого, любимого человека, а только строгого хозяина, который гораздо более внимательно относился к Алексею, чем к нему.

«Что ж я, добрее отца?» – спрашивал себя Артамонов и недоумевал, не зная – добрый он или злой? Думы мешали ему, внезапно возникая в неудобные часы, нападая во время работы. Дело шумно росло, смотрело на хозяина сотнями глаз, требовало

брание сочинений в тридцати томах. Том 16. Рассказы, повести 1922–1925. Максим Горький gorkiymaxim.  
постоянно напряжённого внимания, но лишь только что-нибудь напоминало об Илье – деловые думы разрывались, как гнилая, перепревшая основа, и нужно было большое усилие, чтоб вновь связать их тугими узлами. Он пытался заполнить пустоту, образованную отсутствием Ильи, усилив внимание к младшему сыну, и с угрюмой досадой убеждался, что Яков не утешает его.

– Тятя, купи мне козла, – просил Яков; он всегда чего-нибудь просил.

– Зачем козла?

– Я буду верхом кататься.

– Плохо выдумал. Это ведьмы на козлах ездят.

– А Еленка подарила мне книжку с картинками, так там на козле мальчик хороший...

Отец думал:

«Илья картинке не поверил бы. Он бы сейчас пристал: расскажи про ведьму».

Не нравилось ему, что Яков, сам раздражив фабричных ребятшек, жаловался:

– Обижают.

Старший сын тоже забияка и драчун, но он никогда ни на кого не жаловался, хотя нередко бывал битым товарищами в посёлке, а этот труслив, ленив, всегда что-то сосёт, жуёт. Иногда в поступках Якова замечалось что-то непонятное и как будто нехорошее: за чаем мать, наливая ему молока, задела рукавом кофты стакан и, опрокинув его, обожглась кипятком.

– А я видел, что прольёшь, – широко улыбаясь, похвастался Яков.

– Видел, а – молчал; это нехорошо, – заметил отец. – Вот мать ноги обварила.

Мигая и посапывая, Яков продолжал безмолвно жевать, а через несколько дней отец услышал, что он говорит кому-то на дворе, захлёбываясь словами:

– Я видел, что он его бить хочет; идёт, идёт, подошёл, да сзади ка-ак даст!

Выглянув в окно, Артамонов увидал, что сын, размахивая кулаком, возбуждённо беседует с дрянненьким Павлушкой Никоновым. Он позвал Якова, запретил ему дружить с Никоновым, хотел сказать что-то поучительное, но, взглянув в сиреневые белки с какими-то очень светлыми зрачками, вздохнув, отстранил сына:

– Иди, пустоглазый...

Осторожно, как по скользкому, Яков пошёл, прижав локти к бокам, держа ладони вытянутыми, точно нёс на них что-то неудобное, тяжёлое.

«Неуклюж. Глуповат», – решил отец.

В дочери, рослой, неразговорчивой, тоже было что-то скучное и общее с Яковым. Она любила лежать, читая книжки, за чаем ела много варенья, а за обедом, брезгливо отщипывая двумя пальчиками кусочки хлеба, болтала ложкой в тарелке, как будто лоя в супе муху; поджимала туго налитые кровью, очень красные губы и часто, не подходящим девчонке тоном, говорила матери:

– Теперь так не делают. Это уже вышло из моды.

Когда отец сказал ей: «Ты что же, учёная, не взглянешь, как тебе на рубахи полотно ткнут?» – она ответила:

– Пожалуйста.

Надела праздничное платье, взяла зонтик, подарок дяди Алексея, и, покорно шагая вслед за отцом, внимательно следила: не задеть бы платьем за что-нибудь. Несколько раз чихнула, а когда рабочие желали ей доброго здоровья, она, краснея, молча, без улыбки на лице, важно надутым, кивала им головой. Отец рассказывал ей

брание сочинений в тридцати томах. Том 16. Рассказы, повести 1922–1925. Максим Горький gorkiymaxim.  
о работе, но, скоро заметив, что она смотрит не на станки, а под ноги себе, замолчал, почувствовав себя обиженным равнодушием дочери к его хлопотливому делу. Выйдя из ткацкой на двор, он всё-таки спросил:

– Ну что?

– Пыльно очень, – ответила она, осматривая своё платье.

– Немного видела, – усмехнулся Пётр и с досадой закричал:

– Да что ты всё подол поднимаешь? Двор чистый, а подол и так короток.

Она испуганно отняла два пальчика, которыми поддерживала юбку, и сказала виновато:

– Маслом очень пахнет.

Его особенно раздражали эти её два пальчика, и Артамонов ворчал:

– Гляди, двумя-то пальцами немного возьмёшь!

В ненастный день, когда она читала, лёжа на диване, отец, присев к ней, осведомился, что она читает?

– Об одном докторе.

– Так. Наука, значит.

Но заглянув в книгу, возмутился.

– Что же ты врешь? Это – стихи. Разве науку стихами пишут?

Торопливо и путано она рассказала какую-то сказку: бог разрешил сатане соблазнить одного доктора, немца, и сатана подослал к доктору чёрта. Дёргая себя за ухо, Артамонов добросовестно старался понять смысл этой сказки, но было смешно и досадно слышать, что дочь говорит поучающим тоном, это мешало понимать.

– Доктор – пьяница был?

Он видел, что его вопрос сконфузил Елену, и, уже не слушая её пояснений, сказал, сердясь:

– Путаница какая-то. Басня. Доктора в чертей не верят. Откуда у тебя книга?

– Механик дал.

Пётр вспомнил, как иногда Елена задумчиво смотрит серыми глазами кошки на что-то впереди себя, и нашёл нужным предупредить дочь:

– Коптев тебе не пара, ты с ним не очень хихикай.

Да, Елена и Яков были скучнее, серей Ильи, он всё лучше видел это. И не заметил, как постепенно на месте любви к сыну у него зародилась ненависть к Павлу Никонову. Встречая хилого мальчика, он думал:

«Из-за такого паршивца...»

Мальчик был физически противен ему. Ходил Никонов согнув спину, его голова тревожно вертелась на тонкой шее; даже когда мальчик бежал, Артамонову казалось, что он крадётся, как трусливый жулик. Он много работал, чистил сапоги и платье вотчима, колол и носил дрова, воду, таскал из кухни ведра помой, полоскал в реке пелёнки своего брата. Хлопотливый, как воробей, грязненький, оборванный, он заискивающе улыбался всем какой-то собачьей улыбкой, а видя Артамонова, ещё издали кланялся ему, сгибая гусиную шею, роняя голову на грудь. Артамонову почти приятно было видеть мальчика под осенним дождём или зимою, когда Павел колол дрова и грел дыханием озябшие пальцы, стоя, как гусь, на одной ноге, поджимая другую, с которой сползал растоптанный, дырявый сапог. Он кашлял, хватаясь синими лапками за грудь, извиваясь штопором.

Узнав, что мальчик держит на чердаке бани две пары голубей, Артамонов приказал Тихону выпустить птиц и следить, чтоб мальчишка не лазил на чердак.

– Упадёт с крыши, разобьётся. Вон какой он гнилой.

Как-то вечером, войдя в контору, он увидел, что этот мальчик выскабливает с пола ножом и смывает мокрой тряпкой пролитые чернила.

– Кто пролил?

– Отец.

– А не ты?

– Ей-богу – не я!

– А отчего морда оплакана?

Стоя на коленях, подставив голову под удар, Павел не ответил, тогда Артамонов, придавив его взглядом, удовлетворённо сказал:

– Так тебе и надо.

Но вдруг, на минуту прозрев, он усмехнулся в бороду, почувствовав, как ребячлива и смешна эта неприязнь к ничтожному мальчишке.

«Эко, чем забавляюсь!» – снисходительно подумал он и бросил на пол тяжёлый медный пятак.

– На, купи себе пряников.

Мальчик так осторожно протянул грязные косточки своих пальцев к монете, точно боялся, что медь обожжёт.

– Бьёт тебя вотчим?

– Да.

– Ну, что ж? Всех бьют, – утешил Артамонов. А через несколько дней Яков пожаловался, что Павлушка чем-то обидел его, и Артамонов старший, не веря сыну, уже только по привычке, посоветовал конторщику:

– Ты пори пасынка.

– Я порю-с, – почтительно уверил Никонов.

Летом, когда Илья приехал на каникулы, незнакомо одетый, гладко остриженный и ещё более лобастый, – Артамонов острее невзлюбил Павла, видя, что сын упрямо продолжает дружить с этим отрёмпышем, хиляком. Сам Илья тоже стал нехорошо вежлив, говорил отцу и матери «вы», ходил, сунув руки в карманы, держался в доме гостем, дразнил брата, доводя его до припадков слезливого отчаяния, раздражал чем-то сестру так, что она швыряла в него книгами, и вообще вёл себя сорванцом.

– Я говорила! – жаловалась Наталья мужу. – И все говорят: ученье ведёт к дерзости.

Артамонов молчал, тревожно наблюдая за сыном, ему казалось, что хотя Илья озорничает много, но как-то невесело, нарочно. На крыше бани снова явились голуби, они, воркуя, ходили по коньку, а Илья и Павел, сидя у трубы, часами оживлённо болтали о чём-то, если не гоняли голубей. Ещё в первые дни по приезде сына отец предложил ему:

– Ну, рассказывай, как живёшь; я тебе много рассказывал, теперь твоя очередь.

Илья очень кратко и торопливо рассказал что-то неинтересное о том, как мальчишки дразнят учителей.

брание сочинений в тридцати томах. Том 16. Рассказы, повести 1922–1925. Максим Горький gorkiуmaxim.

– А зачем дразнить?

– Надоедают, – объяснил Илья.

– Так. Это будто неладно. Учиться трудно?

– Нет, легко.

– Врёшь?

– Посмотрите отметки, – сказал Илья, дёрнув плечом, а глаза его пристально смотрели в сад, в небо. Отец спросил:

– Чего ты там видишь?

– Ястреб.

Артамонов старший вздохнул.

– Ну, беги, гуляй. Скучно со мной, видать.

Оставшись один, он вспомнил, что и ему в детстве почти всегда было или скучно или боязно, когда отец говорил с ним.

– Учителей дразнит. Мне эдакое и в лоб не влетало, когда дьячок учил меня ремённой плетью. Для детей житьишко будто мягче стало.

Пред отъездом в город Илья попросил – это была его единственная просьба:

– Папаша, позвольте Павлу держать голубей на чердаке, в бане...

Ничего не обещая, отец сказал:

– Всех, кому плохо, не утетишь.

– Значит – можно, – решил сын. – Я скажу ему – обрадуется.

Артамонов старший был обижен тем, что сын, заботясь о радостях какого-то дрянненького мальчишки, не позаботился, не сумел внести немножко радости в жизнь отца. И после отъезда сына он почувствовал себя одержимым ещё более настойчивой неприязнью к пасынку конторщика. Теперь стало так, что, когда дома, на фабрике или в городе Артамонов раздражался чем-нибудь, – в центр всех его раздражений самовольно вторгался оборванный, грязненький мальчик и как будто приглашал вешать на его жидкие кости все злые мысли, все недобрые чувства. Вот этот мальчишка действительно рос, как плесень, как вечерняя тень, и, мелькая вороватым чертёнком, всё чаще попадался на глаза.

В ласковый день бабьего лета Артамонов, усталый и сердитый, вышел в сад. Вечерело; в зеленоватом небе, чисто выметенном ветром, вымытом дождями, таяло, не грея, утомлённое солнце осени. В углу сада возился Тихон Вялов, сгребая граблями опавшие листья, печальный, мягкий шорох плыл по саду; за деревьями ворчала фабрика, серый дым лениво пачкал прозрачность воздуха. Чтоб не видеть дворника, не говорить с ним, хозяин прошёл в противоположный угол сада, к бане; дверь в неё была не притворена.

«Этот – там».

Осторожно заглянув в предбанник, он увидел в углу его, в тени, на лавке распластанную фигурку своего врага, – склонив голову, широко раздвинув ноги, он занимался детским грехом. Это на секунду обрадовало Артамонова, но тотчас же он вспомнил о Якове, Илье и в испуге, с отвращением, зашипел:

– Ты что делаешь, паршивый?

Рука Павла, перестав дрожать, взметнулась, он весь странно оторвался от лавки, открыл рот, тихонько взвизгнул, сжался комом и бросился под ноги большого человека, – Артамонов с наслаждением ударил его правой ногою в грудь и остановил; мальчик хрустнул, слабо замычал, опрокинулся на бок.



Был момент, когда Артамонову показалось, что этим пинком ноги он сбросил с души своей какие-то грязные лохмотья, тяжесть, надоевшую ему. Но в следующую минуту он, выглянув в сад, прислушался, притворил дверь и, наклонясь, сказал негромко:

– Ну, вставай, идём!

Мальчик лежал, выбросив одну руку вперёд, другую придавив коленом, одна нога его казалась намного короче другой, он как бы незаметно подползал к Петру, и вытянутая рука его была неестественно, страшно длинна. Пошатнувшись, Артамонов схватился рукою за косяк, снял картуз и подкладкой его вытер внезапно и обильно вспотевший лоб.

– Вставай, я никому не скажу, – сказал он шёпотом, уже понимая, что убил мальчика, видя, что из-под щеки его, прижатой к полу, тянется, извиваясь, лента тёмненькой крови.

«Убил», – мысленно произнёс Пётр. Немудрое, коротенькое слово звучало оглушительно. Артамонов сунул картуз в карман поддёвки, перекрестился, тупо глядя на маленькое жалобно скорченное тело; испуганно билась нехитрая мысль:

«Скажу, что нечаянно. Дверью ушиб. Дверью. Дверь – тяжёлая».

Он повернулся и грузно присел на лавку, – сзади его стоял Тихон с метлою в руках, смотрел жидкими глазами на Никонова и раздумчиво чесал каменную скулу свою.

– Вот, – громко начал Артамонов, держась руками за край лавки, но Тихон, качнув головою, перебил его:

– Слабый мальчонко, неловок. Сколько раз я увещал его – не лезь!

– Чего? – со страхом, но и с надеждой спросил Пётр.

– Разобьёшься, говорю. И ты, Пётр Ильич, предвещал это, помнишь? Всякая охота требует ловкости. Без памяти, что ли?

Присев на корточки, дворник пощупал руку Павла, шею, потрогал пальцем щеку, и, отирая палец о фартук, шаркая им, точно спичку зажигал, он сказал:

– Пожалуй – совсем отошёл. Гниленький был, много ли надо?

Говорил Тихон спокойно, двигался медленно и весь был такой, как всегда, но хозяин не верил ему и ждал каких-то грозных, осуждающих слов. Однако Тихон, взглянув на потолок в квадрат, вырезанный в нём, послушав воркованье голубей, снова заговорил спокойно и просто:

– Он по двери лазил; одну ногу поставит на лавку, другую на скобу двери, потом на верх её, оттуда схватится руками за край и подтянется на руках-то. А ручонки – без силы, вот и сорвался да, видать, об угол двери сердцем и угодил.

– Я этого не видал, – сказал Пётр. Чувство самосохранения подсказывало ему быстрые догадки:

«Врёт? Фальшивит? Капкан ставит мне, в руки взять хочет? Или в самом деле не догадался, дурак?»

Последнее было вероятнее. Тихон вёл себя глупо: качнув головою, точно ударив лбом кого-то, он вздохнул:

– Эх, соринка! И зачем такие? Пойду, скажу матери. Вотчим, поди-ко, не больно горевать станет, мальчонко был лишний ему.

Артамонов очень подозрительно вслушивался в слова дворника, пытаясь уловить в них фальшь, но Тихон говорил, как всегда, тоном человека, чуждого любопытству.

– Чу! – сказал он, пошевелив бровями, прислушиваясь: где-то на дворе женщина сердито кричала:

– Пашка! Пашка-а...

Тихон погладил скулу.

– Вот те и Пашка! Готовь слёзы...

«Нет, – дурак», – решил Артамонов и, вытащив из кармана картуз, пошёл в сад, внимательно рассматривая сломанный козырёк.

Недели две, три он прожил, чувствуя, что в нём ходит, раскачивает его волна тёмного страха, угрожая ежедневно новой, неведомой бедою. Вот сейчас откроется дверь, влезет Тихон и скажет:

«Ну, я, конечно, знаю...»

Но внешне всё шло хорошо; все отнеслись к смерти мальчика деловито и просто, покорные привычке родить и хоронить. Никонов повязал жёлтую шею своим новым, чёрным галстуком, и на смывом лице его явилась скромная важность, точно он получил награду, давно заслуженную им. Мать убитого, высокая, тощая, с лошадиным лицом, молча, без слёз, торопилась схоронить сына, – так казалось Артамонову; она всё опраивала кисейный рюш в изголовье гроба, передвигала венчик на синем лбу трупа, осторожно вдавливая пальцами новенькие, рыжие копейки, прикрывавшие глаза его, и как-то нелепо быстро крестилась. Пётр подметил, что рука у неё до того устала, что за панихидой мать дважды не могла поднять руку, – поднимет, а рука опускается, как сломанная.

Да, с этой стороны всё обошлось гладко; Никоновы даже многословно и надоедливо благодарили за пособие на похороны, хотя Артамонов, опасаясь возбудить излишней щедростью подозрения Тихона, дал немного. Ему всё-таки не верилось, что дворник так глуп, каким он показал себя там, в бане. Вот уже второй раз баня выдвигает этого человека на первое место, всё глубже втискивая его в жизнь Пётра. Это – странно и жутко. Артамонов даже думал, что баню надо поджечь или сломать, распилить на дрова, кстати она уже стара и гниёт. Надо построить другую и на ином месте.

Зорко наблюдая за Тихоном, он видел, что дворник живёт всё так же, как-то нехотя, из милости и против воли своей; так же малоречив; с рабочими груб, как полицейский, они его не любят; с бабами он особенно, брезгливо груб, только с Натальей говорит как-то особенно, точно она не хозяйка, а родственница его, тётка или старшая сестра.

– Ты что больно ласкова с Тихоном? – не раз допытывался он, жена отвечала:

– Уж очень он прижился к нам.

Если б дворник имел друзей, ходил куда-нибудь, – можно было бы думать, что он сектант; за последние года появилось много разных сектантов. Но приятелей у Тихона, кроме Серафима-плотника, не было, он охотно посещал церковь, молился истово, но всегда почему-то некрасиво открыв рот, точно готовясь закричать. Порою, взглянув в мерцающие глаза дворника, Артамонов хмурился, ему казалось, что в этих жидких глазах затаена угроза, он ощущал желание схватить мужика за ворот, встряхнуть его:

«Ну, говори!»

Но зрачки Тихона таяли, расплывались, и каменное спокойствие его скуластого лица подавляло тревогу Петра. Когда был жив Антон-дурак, он нередко торчал в сторожке дворника или, по вечерам, сидел с ним у ворот на скамье, и Тихон допрашивал безумного:

– Ты не болтай зря, ты подумай и объясни: куютыр – это кто?

– Каямас, – радостно взвизгивал Антон и запевал:

Хиристос воскиресе, воскиресе...

– Постой!

брание сочинений в тридцати томах. Том 16. Рассказы, повести 1922–1925. Максим Горький gorkiymaxim.  
Кибитка потерял колесо...

– Чего ты добиваешься? – спросил Артамонов с досадой, непонятной ему.

– Чтобы слова нечеловечьи объяснил.

– Да это – дураковы слова!

– И у дурака свой разум должен быть, – глупо сказал Тихон.

Вообще говорить с ним не стоило. Как-то бессонной, воющей ночью Артамонов почувствовал, что не в силах носить мёртвую тяжесть на душе, и, разбудив жену, сказал ей о случае с мальчиком Никоновым. Наталья, молча мигая сонными глазами, выслушала его и сказала, зевнув:

– А я забываю сны.

Но вдруг – встрепенулась.

– Ох, боюсь, как бы Яша не занялся этим!

– Чем? – удивлённо спросил муж, а когда она ощутимо объяснила ему, чего боится, он подумал, с досадой дёргая себя за ухо:

«Напрасно говорил».

В эту ночь, под шорох и свист метели, он, вместе с углубившимся сознанием своего одиночества, придумал нечто, освещающее убийство, объясняющее его: он убил испорченного мальчика, опасного товарища Илье, по силе любви своей к сыну, из страха за него. Это вносило в тёмную ненависть к мальчику Никонову понятную причину, это несколько облегчало. Но хотелось совершенно избавиться от этой тяжести, свалить её на чьи-то другие плечи. Он пригласил попа Глеба, желая поговорить о грехе необычном не на исповеди, во время покаяния в обычных грехах.

Тощий, сутулый поп пришёл вечером, тихонько сел в угол; он всегда засовывал длинное тело своё глубоко в углы, где потемнее, тесней; он как будто прятался от стыда. Его фигура в старенькой тёмной рясе почти сливалась с тёмной кожей кресла, на сумрачном фоне тускло выступало только пятно лица его; стеклянной пылью блестели на волосах висков капельки растаявшего снега, и, как всегда, он зажал реденькую, но длинную бороду свою в костлявый кулак.

Не решаясь начать беседу с главного, Артамонов заговорил о том, как быстро портится народ, раздражая своей ленью, пьянством, распутством; говорить об этом стало скучно, он замолчал, шагая по комнате. Тогда из сумрачного угла потекла речь попа, очень похожая на жалобу.

– Никто не заботится о народе, сам же он духовно заботиться о себе не привык, не умеет. Образованные люди... впрочем, – не решусь осуждать, да и мало у нас образованных людей. И не вживаются они, знаете, в обыкновенную жизнь, в народное. Хотя желают многого, но – не главного. Их на бунт влечёт, а отсюда гонение власти на них. И вообще всё как-то не налаживается у нас. Вот только единый голос всё громче слышен в суетном шуме, обращён к совести мира и властно стремится пробудить её, это голос некоего графа Толстого, философа и литератора. Замечательнейший человек, речь его смела до дерзости, но так как... тут, видите, задета православная церковь...

Он долго рассказывал о Льве Толстом, и хотя это было не совсем понятно Артамонову, однако вздыхающий голос попа, истекая из сумрака тихим ручьём и рисуя почти сказочную фигуру необыкновенного человека, отводил Артамонова от самого себя. Не забывая о том, зачем он пригласил священника, Пётр постепенно поддавался чувству жалости к нему. Он знал, что бедняки города смотрят на Глеба как на блаженного за то, что этот поп не жаден, ласков со всеми, хорошо служит в церкви и особенно трогательно отпевает покойников. Всё это Артамонов считал естественным, – таков и должен быть поп. Его симпатия к священнику была вызвана общей нелюбовью городского духовенства и лучших людей ко Глебу. Но духовный пастырь должен быть суров, он обязан знать и говорить особенные, пронзающие слова, обязан возбуждать страх пред грехом, отвращение ко греху. Артамонов знал, что такой силой Глеб не обладает, и, слушая его неуверенную речь, слова которой колебались, видимо, боясь кого-то обидеть, он вдруг сказал:

– Я тебя, отец Глеб, для того потревожил, чтоб известить: в этом году я говеть не стану.

– Что ж так? – задумчиво спросил поп и, не дождавсь ответа, сказал: – Отвечаете пред совестью своей.

Артамонову послышалось, что Глеб произнёс эти слова так же бессердечно, как говорит дворник Тихон. По бедности своей поп не носил галош, с его тяжёлых, мужицких сапог натекли лужи талого снега, он шлёпал подошвами по лужам и всё говорил, жалуясь, но не осуждая:

– Смотришь на происходящее, и лишь одно утешает: зло жизни, возрастая, собирается воедино, как бы для того, чтоб легче было преодолеть его силу. Всегда так наблюдал я: появляется малый стерженёк зла и затем на него, как на веретено нитка, нарастает всё больше и больше злого. Рассеянное преодолеть – трудно, соединённое же возможно отсечь мечом справедливости сразу...

Эти слова остались в памяти Артамонова, он услышал в них нечто утешительное: стерженёк – это Павел, ведь к нему, бывало, стекались все тёмные мысли, он притягивал их. И снова, в этот час, он подумал, что некоторую долю его греха справедливо будет отнести на счёт сына. Облегчённо вздохнув, он пригласил попа к чаю.

В столовой было светло, уютно, тёплый воздух её насыщен вкусными запахами; на столе, благодушно пофыркивая паром, кипел самовар; тёща, сидя в кресле, приятно пела четырёхлетней внучке:

Святая молонья

Раздала дары своя:

Апостолу Петру –

Ему летнюю жару;

Угоднику Николе –

На морях, озёрах волю;

А пророку Илие –

Золотое копие...

– Языческое, – сказал поп, присаживаясь к столу, и виновато усмехнулся.

В спальне жена говорила Пётру:

– Алексей воротился, видела я его. Он всё больше с ума сходит по Москве. Ох, боюсь я...

Летом на белой шее и румяном, отшлифованном лице Натальи явились какие-то красненькие точки; мелкие, как уколы иголки, они всё-таки мешали ей, и дважды в неделю, перед сном, она усердно втирала в кожу щёк мазь медового цвета. Этим делом она и занималась, сидя перед зеркалом, двигая голыми локтями; под рубахой тяжело колыхались шары её груди. Пётр лежал в постели, закинув руки под голову, бородою в потолок, искоса смотрел на жену и находил, что она похожа на какую-то машину, а от её мази пахнет варёной севрюгой. Когда Наталья, помолясь убедительным шёпотом, легла в постель и, по честной привычке здорового тела, предложила себя мужу, он притворился спящим.

«Стерженёк, – думал он. – Вот и я – веретено. Верчусь. А кто прядёт? Тихон сказал: человек прядёт, а чёрт дерюгу ткёт. Экая несуразная морда!»

Раздуваемое Алексеем дело всё шире расползлось по песчаным холмам над рекою; они потеряли свою золотистую окраску, исчезал серебряный блеск слюды, угасали острые искорки кварца, песок утаптывался; с каждым годом, вёснами, на нём всё обильнее разрастались, ярче зеленели сорные травы, на тропах уже подорожник прижимал свой лист; лопух развешивал большие уши; вокруг фабрики деревья сада сеяли цветень; осенний лист, изгнивая, удобрял жиреющий песок. Фабрика всё громче ворчала, дышала тревогами и заботами; жужжали сотни веретён, шептали станки; целый день, задыхаясь, пыхтели машины, над фабрикой непрерывно кружился озабоченный трудовой гул; приятно было сознавать себя хозяином всего этого, даже до удивления, до гордости приятно.

Но порою, и всё чаще, Артамоновым овладевала усталость, он вспоминал свои

брание сочинений в тридцати томах. Том 16. Рассказы, повести 1922–1925. Максим Горький gorkiymaxim. детские годы, деревню, спокойную, чистую речку Рать, широкие дали, простую жизнь мужиков. Тогда он чувствовал, что его схватили и вертят невидимые, цепкие руки, целодневный шум, наполняя голову, не оставлял в ней места никаким иным мыслям, кроме тех, которые внушались делом, курчавый дым фабричной трубы темнил всё вокруг унынием и скукой.

В часы и дни такого настроения ему особенно не нравились рабочие; казалось, что они становятся всё слабосильнее, теряют мужицкую выносливость, заразились бабьей раздражительностью, не в меру обидчивы, дерзко огрызаются. В них явилось что-то бесхозяйственное, неустойчивое; раньше, при отце, они жили семейнее, дружнее, не так много пьянствовали, не так бесстыдно распутничали, а теперь всё спуталось, люди стали бойчее и даже как будто умней, но небрежнее к работе, злее друг к другу и все нехорошо, жуликовато присматриваются, примериваются. Особенно озорниковатой и непочтительной становилась молодежь, молодых фабрика очень быстро делала совершенно непохожими на мужиков.

Кочегара Волкова пришлось отправить в губернию, в дом умалишённых, а всего лишь пять лет тому назад он, погорелец, красивый, здоровый, явился на фабрику вместе с бойкой женою. Через год жена его загуляла, он стал бить её, вогнал в чахотку, и вот уж обоих нет. Таких случаев быстрого сгорания людей Артамонов наблюдал не мало. За пять лет было четыре убийства, два – в драке, одно из мести, а один пожилой ткач зарезал девушку-шпульницу из ревности. Часто дрались до крови, до серьёзных поранений.

На Алексея всё это, видимо, не действовало. Брат становился непонятней. В нём было что-то общее с чистеньким, шутливым плотником Серафимом, который одинаково весело и ловко делал ребятишкам дудки, самострелы и сколачивал для них гроба. Ястребиные глаза Алексея сверкали уверенностью, что всё идёт хорошо и впредь будет хорошо идти. Уже три могилы было у него на кладбище; твёрдо, цепко жил только Мирон, некрасиво, наскоро сложенный из длинных костей и хрящей, весь скрипучий, щёлкающий. У него была привычка ломать себе пальцы так, что они громко хрустели. В тринадцать лет он уже носил очки, это сделало немножко короче его длинный, птичий нос и притемнило неприятно светлые глаза. Ходил этот мальчик всегда с какой-нибудь книгой в руке, защемив в ней палец так, что казалось – книга приросла к нему. С отцом и матерью он говорил, как равный, даже и не говорил, а рассуждал. Им это нравилось, а Пётр, определённо чувствуя, что племянник не любит его, платил ему тем же.

В доме Алексея всё было несерьёзно, несолидно; Артамонов старший видел, что разница между его жизнью и жизнью брата почти такова, как между монастырём и ярмарочным балаганом. В городе у Алексея и жены его приятелей не было, но в его тесных комнатах, похожих на чуланы, набитые ошарканными, старыми вещами, собирались по праздникам люди сомнительного достоинства: золотозубый фабричный доктор Яковлев, человек насмешливый и злой; крикливый техник Коптев, пьяница и картёжник; учитель Мирона, студент, которому полиция запретила учиться; его курносая жена курила папиросы, играла на гитаре. Бывали и ещё какие-то обломки людей, все они одинаково дерзко ругали попов, начальство, и было ясно, что каждый из них считает себя отличнейшим умником. Артамонов всем существом своим чувствовал, что это – не настоящие люди, и не понимал, зачем они брату, хозяину половины большого, важного дела? Слушая их крики, он вспоминал жалобу попа:

«Желают многого, но – не главного».

Он не спрашивал себя, – в чём и где это главное, он знал, что главное – в деле.

Любимцем брата был, видимо, крикливый цыган Коптев; он казался пьяным, в нём было что-то напористое и даже как будто умное, он чаще всех говорил:

– Все это пустяки, философия! Промышленность – вот! Техника.

Но в Коптеве Артамонов старший подозревал что-то еретическое, разрушительное.

– Опасный парень, – сказал он брату; Алексей удивился:

– Коптев? Что ты? Это – молодчина, деловик, вол, умница! Таких бы тысячи!

И, усмехаясь, прибавил:

брание сочинений в тридцати томах. Том 16. Рассказы, повести 1922–1925. Максим Горький gorkiymaxim.  
– Будь у меня дочь, я бы его женил, цепью приковал бы к делу!

Пётр угрюмо отошёл от него. Если не играли в карты, он одиноко сидел в кресле, излюбленном им, широком и мягком, как постель; смотрел на людей, дёргая себя за ухо, и, не желая соглашаться ни с кем из них, хотел бы спорить со всеми; спорить хотелось не только потому, что все эти люди не замечали его, старшего в деле, но ещё и по другим каким-то основаниям. Эти основания были неясны ему, говорить он не умел и лишь изредка, натужно, вставлял своё слово:

– А вот поп Глеб рассказывал мне про одного графа...

Коптев немедленно лаял на него:

– Какое вам дело до графа, вам, вам? Граф этот – последний вздох деревенской России...

Он кричал и непочтительно тыкал пальцем в сторону Петра, а все остальные, слушая его, тоже становились похожими на цыган, бездомное, бродячее племя.

«Моль, – думал Пётр. – Дармоеды».

Однажды он сказал:

– Это неправильно говорится: «Дело – не медведь, в лес не уйдёт». Дело и есть медведь, уходить ему незачем, оно облапило и держит. Дело человеку – барин.

– Вот, вот, – залаял Коптев. – Где так скажут? Кто так скажет? Вот она – опасность!

А брат Алексей насмешливо спросил:

– Ты что же – у Тихона мысли занимаешь?

Это очень рассердило Пётра, и дома он сказал жене:

– Ты гляди за Еленой, около неё цыган этот, Коптев, вьётся. Алексей мирволит ему. Елена – кусок жирный, не для такого. Присматривай ей жениха.

– Какие тут женихи для неё, – озабоченно заговорила Наталья. – Женихов надо в губернии искать. Да и рано бы...

– Гляди – ранят, – усмехнулся Артамонов и этим вызвал у жены игривый хохоток.

Когда ему удавалось выскользнуть на краткое время, выломиться из ограниченного круга забот о фабрике, он снова чувствовал себя в густом тумане неприязни к людям, недовольства собою. Было только одно светлое пятно – любовь к сыну, но и эта любовь покрылась тенью мальчика Никонова или ушла глубже под тяжестью убийства. Глядя на Илью, он иногда ощущал потребность сказать ему:

«Вот что я сделал из страха за тебя».

Разум его был недостаточно хитёр и не мог скрыть, что страх явился за секунду до убийства, но Пётр понимал, что только этот страх и может, хоть немного, оправдать его. Однако, разговаривая с Ильёю, он боялся даже вспоминать о его товарище, боялся случайно проговориться о преступлении, которому он хотел придать облик подвига.

Он видел, что сын растёт быстро, но как-то в сторону. Илья становился спокойнее, с матерью говорил мягче, не дразнил Якова, тоже гимназиста, любил возиться с младшей сестрой Татьяной, над Еленой необидно посмеивался, но во всём, что он говорил, был заметен какой-то озабоченный, вдумчивый холодок. Павла Никонова заменил Мирон, братья почти не разлучались, неистощимо разговаривая о чём-то, размахивая руками; вместе учились, читали, сидя в саду, в беседке. Илья почти не жил дома, мелькнёт утром за чаем и уходит в город к дяде или в лес с Мироном и вихрастым, чёрненьким Горицетовым; этот маленький, пронырливый мальчишка, колючий, как репейник, ходил виляющей походкой, его глаза были насмешливо вывихнутыми и казались косыми.

брание сочинений в тридцати томах. Том 16. Рассказы, повести 1922–1925. Максим Горький gorkiyтаxim.  
– Охота тебе дружить с таким жидёнком, – брезгливо заметила Наталья сыну; Пётр Артамонов увидал, что тонко вычерченные брови сына дрогнули.

– Жидёнок – обидное слово, мамаша. Вы знаете, что Александр – племянник нашего священника Глеба, значит – русский. В гимназии – он первый...

Мать пренебрежительно фыркнула:

– Жиды везде на первое место лезут.

– Откуда вы знаете это? – не уступал сын. – В городе – четыре еврея, все бедные, кроме аптекаря.

– Да сорок жиденят. И в Воргороде везде жиды, и на ярмарке...

С обидной настойчивостью Илья повторил:

– Жиды – плохое слово.

Тогда мать, стукнув чайной ложкой по блюдечку, закричала, краснея:

– Да что ты меня учишь? Не знаю я, что ли, как надо говорить? Я – не слепая, я вижу, как подхалим этот ко всем, даже к Тихону, ластится: вот я и говорю: ласков, как жидёнок, а ласковые – опасные. Знала я такого, ласкового...

– Довольно! – строго вмешался Пётр, а она, готовая заплакать, жаловалась:

– Что уж это, Пётр Ильич, слова нельзя сказать!

Илья замолчал, нахмурился, а мать напомнила ему:

– Ведь я тебя родила.

– Благодарю, – сказал Илья, отодвигая пустую чашку; отец искоса взглянул на него и усмехнулся, дёрнув себя за ухо.

В словах жены он слышал, что она боится сына, как раньше боялась керосиновых ламп, а недавно начала бояться затейливого кофейника, подарка Ольги: ей казалось, что кофейник взорвётся. Нечто близкое смешному страху матери пред сыном ощущал пред ним и сам отец. Непонятен был юноша, все трое они непонятны. Что забавное находили они в дворнике Тихоне? Вечерами они сидели с ним у ворот, и Артамонов старший слышал увещающий голос мужика:

– Это – так. Меньше несёшь – легче идёшь. А насчёт углов – не верьте. Какие углы в небе? Стен в небе нету.

Гимназисты хохотали. Илья смеялся бархатисто, немного, Мирон – сухо и едко, Горицветов же не так охотно, как они, и всегда решительно обрывал смех свой, убеждая друзей:

– Подождите, это вовсе не смешно!

И снова ленивенько гудела тёмная речь Тихона:

– Вы, дети, про человека больше учитеесь, как вообще человек. Кто к чему назначен, какая кому судьба? Вот о чём колдовать надо. Слова тоже. Слова надо понимать насквозь. Вот вы, часто, – тот, другой – говорите: конечно, круглое словцо. А конца-то и нет ничему!

И Тихон Вялов повторял знакомую Петру свою поговорку:

– Человек – нитку прядёт, чёрт – дерюгу ткёт, так оно, без конца, и идёт.

Молодёжь хохотала, густо смеялся и Тихон, вздыхал:

– Эх вы, учёные, недопечёные!

В сумраке вечера дети становились меньше, незначительнее, чем они были при свете

брание сочинений в тридцати томах. Том 16. Рассказы, повести 1922–1925. Максим Горький gorkiymaxim. солнца, а Тихон распухал, расплзался и говорил ещё глупее, чем днём.

Беседы Ильи с Тихоном, укрепляя неприязнь Артамонова к дворнику, внушали ему какие-то неясные опасения. Он спрашивал сына:

- Чем тебя Тихон занимает?
- Интересный человек.
- Да чем интересен? Глупостью своей?

Илья тихо ответил:

- И глупость понимать надо.

Ответ понравился Артамонову.

- Это – верно: в глупости живём.

Но он тотчас же сообразил:

«Тихоновы слова!»

Сын возбуждал в нём какие-то особенные надежды; когда он видел, как Илья, сунув руки в карманы, посвистывая тихонько, смотрит из окна во двор на рабочих, или не торопясь идёт по ткацкой, или, лёгким шагом, в посёлок, отец удовлетворённо думал:

«Зоркий хозяин будет. И в дело войдёт не так, как я: впрягли и – повёз!»

Было несколько обидно, что сын неразговорчив, а если говорит, то кратко, как бы заранее обдуманно словами, они не возбуждают желания продолжать беседу.

«Суховат», – думал Артамонов и утешал себя тем, что Илья выгодно не похож на крикливого болтуна Горлицева, на вялого, ленивого Якова и на Мирона, который, быстро теряя юношеское, говорил книжно, становился заносчив и похож на чиновника, который знает, что на каждый случай жизни в книгах есть свой, строгий закон.

Недели каникул пробежали неуловимо быстро, и вот дети уже собираются уезжать. Выходит как-то так, что Наталья напутствует благими советами Якова, а отец говорит Илье не то, что хотел бы сказать. Но ведь как скажешь, что скучно жить в комариной туче однообразных забот о деле? Об этом не говорят с мальчишками.

Артамонову старшему так хотелось испытать что-либо не похожее на обыкновенное, неизбежное, как снег, дождь, грязь, зной, пыль, что, наконец, он нашёл или выдумал нечто. В глухом лесном углу уезда его захватила в пути июньская гроза с градом, с оглушающим треском грома и синими взрывами туч. По узкой, лесной дороге неразличимо во тьме хлынул поток воды, земля под ногами лошадей растаяла и потекла, заливая колёса шарабана до осей. Жутко было, когда синий, холодный огонь на секунду грозно освещал кипение расплавленной земли, а по бокам дороги, из мокрой тьмы, сквозь стеклянную сеть дождя, взлетали, подпрыгивая от страха, чёрные деревья. Невидимые лошади остановились, фыркая, хлюпая копытами по воде, толстый кучер Яким, кроткий человек, ласково и робко успокаивал коней. Град, наполнив лес ледяным шумом, просыпался быстро, но его сменил густой ливень, дробно охлёстывая листву миллионами тяжёлых капель, наполняя тьму сердитым воем.

- К Поповым надо ехать, – сказал Яким.

И вот Артамонов, одетый в чужое платье, обтянутый им, боясь пошевелиться, сконфуженно сидит, как во сне, у стола, среди тёплой комнаты, в сухом, приятном полумраке; шумит никелированный самовар, чай разливают высокая, тонкая женщина, в чалме рыжеватых волос, в тёмном, широком платье. На её бледном лице хорошо светятся серые глаза; мягким голосом она очень просто и покорно, не жалуясь, рассказала о недавней смерти мужа, о том, что хочет продать усадьбу и, переехав в город, открыть там прогимназию.

- Это посоветовал мне ваш брат. Интересный он человек, такой живой, самобытный.



Пётр завистливо крикнул, присматриваясь ко всему, что окружало его. В молодости, разъезжая с отцом по губернии, он часто бывал в барских домах, но ничего особенного не замечал в них, чувствуя только стеснение от людей и вещей, а в этом доме ничто не стесняло; здесь было что-то ласковое и праведное. Большая лампа под матовым абажуром обливала молочным светом посуду, серебро на столе и гладко причёсанную, тёмную головку маленькой девочки с зелёным козырьком над глазами; перед нею лежала тетрадь, девочка рисовала тонким карандашом и мурлыкала тихонько, не мешая слушать ровную речь матери. Комната невелика, тесно заставлена мебелью, и все вещи точно выросли в неё, но каждая жила отдельно и что-то говорила о себе, так же, как три очень яркие картины на стенах; на картине против Петра белая, сказочная лошадь гордо изогнула шею; грива её невероятно длинна, почти до земли. Всё удивительно уютно, спокойно, и, точно задумчивая песня, как будто издали доходя, звучал красивый голос хозяйки. Вот в таком окружении можно прожить всю жизнь без тревог, не сделав ничего плохого; имея женой такую женщину, можно уважать её, можно говорить с нею обо всём.

За дверью на террасу, сквозь полукруг разноцветных стёкол, синевато взрывалось, вспыхивало чёрное небо, уже не пугая душу.

На заре Артамонов уехал, бережно увозя впечатление ласкового покоя, уюта и почти бесплотный образ сероглазой, тихой женщины, которая устроила этот уют. Плывая в шарабане по лужам, которые безразлично отражали и золото солнца и грязные пятна изорванных ветром облаков, он, с печалью и завистью, думал:

«Вот как живут».

Он почему-то не сказал жене о своём знакомстве и скрыл его от Алексея; тем более неловко стало ему через несколько недель, когда, придя к брату, он увидел Попову рядом с Ольгой, на диване; брат толкнул его к дивану:

– Вот, Вера Николаевна, братишко мой.

Женщина, улыбаясь, протянула руку:

– Мы уже знакомы.

– Как это? – удивлённо воскликнул Алексей. – Когда это? Ты что же не сказал?

В удивлении брата Пётр почувствовал нечто нехорошее, и у него необъяснимо пошевелились волосы бороды; дёрнув себя за ухо, он ответил:

– Я – забыл.

Алексей, бесстыдно указывая на него пальцем, кричал:

– Смотрите – покраснел, а? Нет, ловко ты ответил, дитятко! Да разве эдакую даму, однажды увидев, можно забыть? Глядите – уши у него чешутся, растут!

Попова улыбалась необидно, ласково.

Пили мёд со льдом из высоких, гранёных бокалов; мёд привезла в подарок Ольге эта женщина, он был золотист, как янтарь, весело пощипывал язык, подсказывал Пётру какие-то очень бойкие слова, но их некуда было вставить, брат непрерывно и беспокойно трещал:

– Нет, Вера Николаевна, вы не торопитесь продавать! Это надо продать любителю тишины, это – место для отдыха души. А наш брат – что вам даст? Земли у вас нет, лесу – мало, да и – плохой, да и кому, кроме зайцев, лес нужен здесь?

Пётр сказал:

– Продавать не надо.

– Почему же? – спросила Попова, задумчиво прихлёбывая мёд, и вздохнула: – Надо.

Петру не понравился внимательный взгляд Ольги и трепет её губ, спрятавших улыбку: он мрачно выпил мёд и промолчал в ответ Поповой.

Через два дня, в конторе, Алексей объявил ему, что намерен дать Поповой денег под заклад вещей.

– Усадьбе её цена – семь целковых, а вот вещи...

– Не давай, – сказал Пётр очень решительно.

– Почему? Я вещам цену знаю...

– Не давай.

– Да – почему? – кричал Алексей. – Я – со знатоком приеду к ней, с оценщиком.

Пётр отрицательно мотал головой; ему очень хотелось отговорить брата от этой операции, но, не находя возражений, он вдруг предложил:

– Пополам дадим; ты – половину и я.

Алексей усмехнулся, глядя на него в упор.

– Чудить начинаешь?

– Значит – пора пришла, – сказал Пётр Артамонов громко.

– Смотри: не в тот адрес! – предупредил брат. – Я – пробовал, она – рыба.

После двух–трёх встреч с Поповой Артамонов выучился мечтать о ней. Он ставил эту женщину рядом с собою, и тотчас же возникала пред ним жизнь удивительно лёгкая, уютная, красивая внешне, приятно тихая внутренне, без необходимости ежедневно видеть десятки нерадивых к делу людей; всегда чем-то недовольные, они то кричали, жаловались, то лгали, стараясь обмануть, их назойливая лесть раздражала так же, как плохо скрытая, но всё растущая враждебность. Легко создавалась картина жизни вне всего этого, вдали от красного, жирного паука фабрики, всё шире ткавшего свою паутину. Он видел себя чем-то, подобным большому коту; ему тепло и спокойно, хозяйка любит его, охотно ласкает, и больше ему ничего не нужно. Ничего.

Как раньше мальчик Никонов был для него тёмной точкой, вокруг которой собиралось всё тяжёлое и неприятное, так теперь Попова стала магнитом, который притягивал к себе только хорошие, лёгкие думы и намерения. Он отказался ехать с братом и каким-то хитрым старичком в очках в усадьбу Поповой, оценивать её имущество, но, когда Алексей, устроив дело с закладной, воротился, он предложил:

– Продай мне закладную.

Алексей был неприятно изумлён, долго выспрашивал, зачем это нужно, и наконец сказал:

– Послушай, мне это не выгодно! Заплатить ей – нечем, цена вещам – большая, понимаешь? Давай придачи!

Сторговались; Алексей, морщась, сказал:

– Желая удачи. Дело – доброе.

Пётр тоже чувствовал, что им сделано хорошее дело: он подарил себе угол для отдыха.

– Жене твоей – не говорить? – спросил брат, подмигнув.

– Твоё дело.

Испытуяще глядя на него, Алексей сказал:

– Ольга думает, что влюбился ты в Попову.

– А это – моё дело.

– Не рычи. В эти, в наши годы, почти все мужчины шалят.

Грубо и сердито Пётр ответил:

– Ты меня не трогай...

Вскоре он почувствовал, что Ольга стала говорить с ним ещё более дружелюбно, но как-то жалостливо; это не понравилось ему, и, осенним вечером, сидя у неё, он спросил:

– Тебе муж плёл чего-нибудь насчёт Поповой?

Погладив лёгкой рукой своей его волосатую руку, она сказала:

– Дальше меня это не пойдёт.

– Оно никуда не пойдёт, – сказал Артамонов, стукнув кулаком по колену. – Оно – со мной останется. Тебе этого не понять. Ты ей не говори ничего.

Он не испытывал вождения к Поповой, в мечтах она являлась пред ним не женщиной, которую он желал, а необходимым дополнением к ласковому уюту дома, к хорошей, праведной жизни. Но когда эта женщина переехала в город, он стал часто видеть её у Алексея и вдруг почувствовал себя ошеломлённым. Он увидел её у постели заболевшей Ольги; засучив рукава кофты, наклонясь над тазом, она смачивала водою полотенце, сгибалась, разгибалась; удивительно стройная, с небольшими девичьими грудями, она была неотразимо соблазнительна. Стоя у двери, Артамонов молча, исподлобья смотрел на её белые руки, на тугие икры ног, на бедра, вдруг окутанный жарким туманом желания до того, что почувствовал её руки вокруг своего тела. В ответ на её приветствие он, с трудом согнув шею, прошёл к окну и сел там, отдуваясь, угрюмо спрашивая:

– Что же ты это, Ольга? Нехорошо...

Впервые женщина действовала на него так властно и сокрушительно; он даже испугался, смутно ощущая в этом нечто опасное, угрожающее. Послав своего кучера за доктором, он тотчас ушёл пешком по дороге на фабрику.

Был конец февраля; оттепель угрожала вьюгой; серенький туман висел над землёю, скрывая небо, сузив пространство до размеров опрокинутой над Артамоновым чаши; из неё медленно сыпалась сырая, холодная пыль; тяжело оседая на волосах усов, бороды, она мешала дышать. Артамонов, шагая по рыхлому снегу, чувствовал себя так же смятым и раздавленным, как в ночь покушения Никиты на самоубийство и в час убийства Павла Никонова. Сходство тяжести этих двух моментов было ясно ему и тем более опасным казался третий. Было ясно, что он никогда не сумеет сделать эту барыню любовницей своей. Он уже и в этот час, видел, что внезапно вспыхнувшее влечение к Поповой ломает и темнит в нём что-то милое ему, отодвигая эту женщину в ряд обычного. Он слишком хорошо знал, что такое жена, и у него не было причин думать, что любовница может быть чем-то или как-то лучше женщины, чьи пресные, обязательные ласки почти уже не возбуждали его.

«Чего надо? – спрашивал он себя. – Блудить хочешь? Жена есть».

Всегда в часы, когда ему угрожало что-нибудь, он ощущал напряжённое стремление как можно скорей перешагнуть чрез опасность, оставить её сзади себя и не оглядываться назад. Стоять пред чем-то угрожающим – это то же, что стоять ночью во тьме на рыхлом, весеннем льду, над глубокой рекою; этот ужас он испытал, будучи подростком, и всем телом помнил его.

Через несколько дней, прожитых в тяжёлом, чадном отупении, он, после бессонной ночи, рано утром вышел на двор и увидел, что цепная собака Тулун лежит на снегу, в крови; было ещё так сумрачно, что кровь казалась черной, как смола. Он пошевелил ногою мохнатый труп, Тулун тоже пошевелил оскаленной мордой и взглянул выкатившимся глазом на ногу человека. Вздвогнув, Артамонов отворил низенькую дверь сторожки дворника, спросил, стоя на пороге:

– Кто убил собаку?

брание сочинений в тридцати томах. Том 16. Рассказы, повести 1922–1925. Максим Горький gorkiуtaхiт.

– Я, – сказал Тихон, держа блюдечко чая на пяти растопыренных пальцах.

– Зачем это?

– Опять человека укусила.

– Кого?

– Зинаиду, Серафимову дочь.

Задумавшись о чём-то, помолчав, Пётр сказал:

– Жалко пса.

– А – как же? Я его вскормил. А он и на меня стал рычать. Положим, и человек сбесится, если его на цепь посадить...

– Верно, – сказал Артамонов и ушёл, очень плотно прикрыв дверь за собой, думая:

«Иной раз даже этот разумно говорит».

Он постоял среди двора, прислушиваясь к шороху и гулу фабрики. В дальнем углу светилось жёлтое пятно – огонь в окне квартиры Серафима, пристроенной к стене конюшни. Артамонов пошёл на огонь, заглянул в окно, – Зинаида в одной рубахе сидела у стола, перед лампой, что-то ковыряя иглой; когда он вошёл в комнату, она, не поднимая головы, спросила:

– Зачем вернулся?

Но, вскинув глаза, бросила шитьё на стол, встала улыбаясь, вскрикнув.

– Ой, господи! А я думала – отец...

– Тебя, слышь, Тулун укусил?

– Да ведь как! – точно хвастаясь, сказала она и, поставив ногу на стул, приподняла подол рубахи: – Смотрите-ко!

Артамонов мельком взглянул на белую ногу, перевязанную под коленом, и подошёл вплоть к девице, спрашивая глухо:

– А ты зачем, на заре, по двору бегаешь? Зачем, а?

Вопросительно взглянув в лицо его, она тотчас же догадливо усмехнулась, сильно дунув в стекло лампы, погасила её и сказала:

– Дверь надобно запереть.

Через полчаса Пётр Артамонов не торопясь шёл на фабрику, приятно опустошённый; дёргал себя за ухо, поплёвывал, с изумлением вспоминая бесстыдство ласк шпульницы и усмехался: ему казалось, что он кого-то очень ловко обманул, обошёл...

Он вломился в разгульную жизнь фабричных девиц, как медведь на пасеку. Вначале эта жизнь, превышая всё, что он слышал о ней, поразила его задорной наготовою слов и чувств; всё в ней было развязано, показывалось с вызывающим бесстыдством, об этом бесстыдстве пели и плакали песни, Зинаида и подруги её называли его – любовь, и было в нем что-то острое, горьковатое, опьяняющее сильнее вина.

Артамонов знал, что служащие фабрики называют прислонившуюся к стене конюшни хижину Серафима «Капкан», а Зинаиде дали прозвище Насос. Сам плотник называл жилище своё

«Монастырём». Сидя на скамье, около печи, всегда с гусями на расшитом полотенце, перекинутом через плечо, за шею, он, бойко вскидывая кудрявую головку, играя розовым личиком, подмигивал, покрикивал:

– Веселись, монашеники! Ведь это, Пётр Ильич, монахини, ты что думаешь? Они весёлому чёрту послух несут, а я у них – настоятель, вроде попа, звонкие

брание сочинений в тридцати томах. Том 16. Рассказы, повести 1922–1925. Максим Горький gorkiymaxim.  
косточки! Кинь рублик на веселье жизни!

Получив деньги, он совал их за онучу и разудало пел, подыгрывая на гусях:

Сидит барыня в аду,  
Просит жареного льду.  
Черти её, глупую,  
Кочергою щупают!

– Много прибауток знаешь ты, – удивлялся хозяин, а старичок хвастливо балагурил:

– Сито! Я – как сито; какую хошь дрянь насыпь в меня, я тебе песню отсею. Такой я человек – сито!

И рассказывал:

– Меня этому господа выучили; были такие замечательные господа Кутузовы, и был господин Япушкин, тоже пьяница. Притворялся бедным, – хитрый! – ходил пешком с коробом за плечами, будто мелочью торговал, а сам всё, что видит, слышит, – записывал. Писал, писал, да – к царю: гляди, говорит, твоё величество, о чём наши мужики думают! Поглядел царь, почитал записи, смутился душой и велел дать мужикам волю, а Япушкину поставить в Москве медный памятник, самого же его – не трогать, а сослать живого в Суздаль и поить вином, сколько хочет, на казённый счёт. Потому, видишь, что Япушкин еще много записал тайностей про парод, ну только они были царю не выгодны и требовалось их скрыть. Там, в Суздали, Япушкин спился до смерти, а записи у него, конечно, выкрали.

– Врёшь ты что-то, – заметил Артамонов.

– Кроме девок – никогда, никому не врал, это не моё ремесло, – говорил старик, и трудно было понять, когда он не шутит.

– Врёт кто правду знает, – балагурил он, – а я врать не могу, я правды не знаю. То есть, ежели хочешь, – я тебе скажу: я правды множество видел, и мой куплет таков: правда – баба, хороша, покамест молода.

Но, не зная правды, он знал бесконечно много историй о господах, о их забавах и несчастьях, о жестокости и богатстве и, рассказывая об этом, добавлял всегда с явным сожалением:

– Ну, однако им – конец! С точки жизни съехали, сами себя не понимают!  
Сорвались...

Он писал пальцем круг над своей головой и, быстро опустив руку, чертил такой же круг над полом.

– Зашалились! – говорил он, подмигивая, и пел:

Жили-были господа,  
Кушали телятину.  
И проели господа  
Худобишку тятину!

Рассказывал Серафим о разбойниках и ведьмах, о мужицких бунтах, о роковой любви, о том, как ночами к неутешным вдовам летают огненные змеи, и обо всём он говорил так занятно, что даже неумная дочь его слушала эти сказки молча, с задумчивой жадностью ребёнка.

В Зинаиде Артамонов брезгливо наблюдал соединение яростного распутства с расчётливой деловитостью. Он не однажды вспоминал клевету Павла Никонова, – клевету, которая оказалась пророчеством.

«Почему – эту выбрал я? – спрашивал он себя. – Есть – красивее. Хорош буду, когда сын узнает про неё».

Он замечал также, что Зинаида и подруги её относятся к своим забавам, точно к неизбежной повинности, как солдаты к службе, и порою думал, что бесстыдством своим они тоже обманывают и себя и ещё кого-то. Его скоро стала отталкивать от Зинаиды её назойливая жадность к деньгам, попрошайничество; это было выражено в ней более резко, чем у Серафима, который тратил деньги на сладкое вино

брание сочинений в тридцати томах. Том 16. Рассказы, повести 1922–1925. Максим Горький gorkiутахim. «Тенериф», – он почему-то называл его «репным вином», – на любимую им колбасу с чесноком, мармелад и сдобные булки.

Артамонову очень нравился лёгкий, забавный старичок, искусный работник, он знал, что Серафим также нравится всем, на фабрике его звали – Утешитель, и Пётр видел, что в этом прозвище правды было больше, чем насмешки, а насмешка звучала ласково.

Тем более непонятна и неприятна была ему дружба Серафима с Тихоном, Тихон же как будто нарочно углублял эту неприязнь. День именин Вялова на двадцатом году его службы у Артамоновых Наталья решила сделать особенно торжественным днём для именинника.

– Подумай, какой он редкий человек! – сказала она мужу. – За двадцать лет ничего худого не видели мы от него. Как восковая свеча теплится.

Желая особенно почтить дворника, Пётр сам понес ему подарки. В сторожке его встретил нарядный Серафим, за ним стоял Тихон, наклонив голову, глядя на сапоги хозяина.

– От меня тебе – часы, на! От жены – сукно на поддёвку. И вот ещё – деньги.

– Деньги – лишние, – пробормотал Тихон, потом сказал:

– Спасибо.

Он пригласил хозяина выпить «Тенерифа», подаренного Серафимом, а старичок тотчас же заиграл словами:

– Ты, Пётр Ильич, нам цену знаешь, а мы – тебе. Мы понимаем: медведь любит мёд, а кузнец железо куёт; господа для нас медведи были, а ты – кузнец. Мы видим: дело у тебя большое, трудное.

Тут Вялов, вертя в пальцах серебряные часы, сказал, глядя на них:

– Дело – перила человеку; по краю ямы ходим, за них держимся.

– Вот! – закричал Серафим, чему-то радуясь. – Верно! А то бы упали, значит!

– Ну, это вы говорите зря, – сказал Артамонов. – Потому что вы не хозяева. Вам – не понять...

Он не находил достаточно сильных возражений, хотя слова Тихона сразу рассердили его. Не впервые Тихон одевал ими свою упрямую, тёмную мысль, и она всё более раздражала хозяина. Глядя на обильно смазанную маслом, каменную голову дворника, он искал подавляющих слов и сопел, дёргая ухо.

– Дела, конечно, разные, – примирительно заговорил Серафим: – есть – плохие, есть – хорошие...

– Хорош нож, да горлу невтерпёж, – проворчал Тихон.

Хозяину захотелось крепко обругать именинника, и, едва сдержав это желание, он строго спросил:

– Что ты, как всегда, неразумно бормочешь о деле? Понять нельзя...

Тихон, глядя под стол, согласился:

– Понять – трудно.

Снова заговорил плотник:

– Он, Пётр Ильич, только безобидные дела признаёт...

– Постой, Серафим, пускай он сам скажет.

Тогда Тихон, не шевелясь, показывая хозяину серую, в ладонь величиной, лысину на

брание сочинений в тридцати томах. Том 16. Рассказы, повести 1922–1925. Максим Горький gorkiymaxim.  
макушке, вздохнул:

– Делаю чёрт Каина обучил...

– Вот он как загибает! – крикнул Серафим, ударив себя ладонью по колену.

Артамонов встал со стула и сердито посоветовал дворнику:

– Ты бы лучше не говорил о том, чего тебе не понять. Да.

Он ушёл из сторожки возмущённый, думая о том, что Тихона следует рассчитать. Завтра же и рассчитать бы. Ну – не завтра, а через неделю. В конторе его ожидала Попова. Она поздоровалась сухо, как незнакомая, садясь на стул, ударила зонтиком в пол и заговорила о том, что не может уплатить сразу все проценты по закладной.

– Это пустяки, – тихо сказал Пётр, не глядя на неё, и услышал её слова:

– Если вы не согласны отсрочить, – за вами право отказать мне.

Она сказала это обиженно и, вновь стукнув зонтом, ушла так неожиданно быстро, что он успел взглянуть на неё лишь тогда, когда она притворяла дверь за собою.

«Рассердилась, – сообразил Артамонов. – За что же?»

Через час он сидел у Ольги, хлопая фуражкой по дивану, и говорил:

– Ты ей скажи: мне процентов не надо и денег не надо с неё. Какие это деньги? И чтобы она не беспокоилась, понимаешь?

Разбирая пёстрые мотки шёлка, передвигая по столу коробочки с бисером, Ольга сказала задумчиво:

– Я-то понимаю, а она едва ли поймёт.

– А ты сделай так, чтоб она. Что мне ты?

– Спасибо, – сказала Ольга, блеснув очками, эта стеклянная улыбка вызвала у Петра раздражение.

– Не шути! – грубовато сказал он. – Мою свинью в её огороде я не надеюсь пасти, не ищу этого, – не думай!

– Ох, мужик, – вздохнув, сказала Ольга, сомнительно качая гладко причёсанной головой.

Пётр крикнул:

– Ты – верь! Я знаю, что говорю...

– Ох, знаешь ли?

Охала она сочувственно, это Артамонов слышал. Он видел, что глаза её смотрят на него через очки жалобно, почти нежно, но это только сердило его. Он хотел сказать ей нечто убедительно ясное и не находил нужных слов, глядя на подоконник, где среди мясистых листьев бегоний, похожих на звериные уши, висели изящные кисти цветов.

– Мне усадьбу её жалко. Это замечательная усадьба, да! Она там – родилась...

– Родилась она в Рязани...

– Она там привыкла, всё равно! А у меня там душа первый раз спокойно уснула...

– Проснулась, – поправила Ольга.

– Это – всё равно для души – уснула, проснулась...

Он долго говорил что-то, что самому ему было неясно, Ольга слушала, облокотясь

брание сочинений в тридцати томах. Том 16. Рассказы, повести 1922–1925. Максим Горький gorkiутахit.  
на стол, а когда у него иссякли слова, сказала:

– Теперь послушай меня...

И поведала ему, что Наталья, зная о его возне со шпульницей, обижена, плачет, жалуется на него. Но Артамонова не тронуло это.

– Хитрая, – сказал он, усмехаясь: – Ни словом не дала мне понять, что знает. Тебе жаловалась? Так. А ведь она тебя не любит.

Подумав, он добавил:

– Зинаиду прозвали Насос, это – верно! Она из меня всю дрянь высосала.

– Гадости говоришь, – поморщилась Ольга и вздохнула. – Помнится, я тебе сказала как-то, что душа у тебя – приёмш, так и есть, Пётр, боишься ты сам себя, как врага...

Эти слова задели его:

– Дерзко ты говоришь со мной; мальчишка я, что ли? Ты бы вот о чём подумала: вот, я говорю с тобой, и душа моя открыта, а больше мне не с кем говорить эдак-то. С Натальей – не разговоришься. Мне её иной раз бить хочется. А ты... Эх вы, бабы!..

Он надел фуражку и, внезапно охваченный немой скукой, ушёл, думая о жене, – он давно уж не думал о ней, почти не замечал её, хотя она, каждую ночь, пошептавшись с богом, заученно ласково укладывалась под бок мужа.

«Знает, а лезет, – гневно думал он. – Свинья».

Жена была знакомой тропой, по которой Пётр, и ослепнув, прошёл бы не споткнувшись; думать о ней не хотелось. Но он вспомнил, что тёща, медленно умиравшая в кресле, вся распухнув, с безобразно раздутым, багровым лицом, смотрит на него всё более враждебно; из её когда-то красивых, а теперь тусклых и мокрых глаз жалобно текут слёзы; искривлённые губы шевелятся, но отнявшийся язык немом вываливается изо рта, бессилён сказать что-либо; Ульяна Баймакова затискивает его пальцами полуживой, левой руки.

«Эта – чувствует. Её жалко».

Ему всё-таки нужно было большое усилие воли, чтоб прекратить бесстыдную возню с Зинаидой. Но как только он сделал это, – тотчас же, рядом с похмельными воспоминаниями о шпульнице, явились какие-то ноющие думы. Как будто родился ещё другой Пётр Артамонов, он жил рядом с первым, шёл за спиной его. Он чувствовал, что этот двойник растёт, становится ощутимей и мешает ему во всём, что он, Пётр Артамонов настоящий, призван и должен делать. Этот, другой, ловко пользуясь минутами внезапно, как ветер из-за угла, налетавшей задумчивости, нашептывал ему досадные, едкие мысли:

«Работаешь, как лошадь, а – зачем? Сыт на всю жизнь. Пора сыну работать. От любви к сыну – мальчишку убил. Барыня понравилась – распутничать начал».

Всегда, после того как скользнёт такая мысль, жизнь становилась темней и скучней.

Он как-то не доглядел, когда именно Илья превратился во взрослого человека. Не одно это событие прошло незаметно; так же незаметно Наталья просватала и выдала замуж дочь Елену в губернию за бойкого парня с чёрненькими усиками, сына богатого ювелира; так же, между прочим, умерла наконец, задохнувшись тёща, знойным полуднем июня, перед грозой; ещё не успели положить её на кровать, как где-то близко ударил гром, напугав всех.

– Окна, двери закройте! – крикнула Наталья, подняв руки к ушам; огромная нога матери вывалилась из её рук и глухо стукнула пяткой о пол.

Пётру Артамонову показалось, что он даже не сразу узнал сына, когда вошёл в комнату высокий, стройный человек в серой, лёгкой паре, с заметными усами на



брание сочинений в тридцати томах. Том 16. Рассказы, повести 1922–1925. Максим Горький gorkiутахіт. исхудавшем, смугловатом лице. Яков, широкий и толстый, в блузе гимназиста, был больше похож на себя. Сыновья вежливо поздоровались, сели.

– Вот, – сказал отец, шагая по конторе, – вот и бабушка померла.

Илья промолчал, закуривая папиросу, а Яков выговорил новым, не своим голосом:

– Хорошо, что в каникулы, а то бы я не приехал.

Пропустив мимо ушей неумные слова младшего, Артамонов присматривался к лицу Ильи; значительно изменяясь, оно окрепло, лоб, прикрытый прядями потемневших волос, стал не так высок, а синие глаза углубились. Было и забавно и как-то неловко вспомнить, что этого задумчивого человека в солидном костюме он трепал за волосы; даже не верилось, что это было. Яков просто вырос, он только увеличился, оставшись таким же пухлым, каким был, с такими же радужными глазами. И рот у него был ещё детский.

– Сильно вырос ты, Илья, – сказал отец. – Ну, вот, присматривайся к делу, л годика через три и к рулю встанешь.

Играя корешковой папиросницей, с отбитым уголком, Илья взглянул в лицо отца:

– Нет, я буду учиться ещё.

– Долго ли?

– Года четыре, пять.

– Эко! Чему это?

– Истории.

Артамонову не понравилось, что сын курит, да и папиросница у него плохая, мог бы купить лучше. Ему ещё более не понравилось намерение Ильи учиться и то, что он сразу, в первые же минуты, заговорил об этом.

Указав в окно, на крышу фабрики, где фыркала паром тонкая трубка и откуда притекал ворчливый гул работы, он сказал внушительно, стараясь говорить мягко:

– Вот она пытит, история! Ей и надо учиться. Нам положено полотно ткать, а история – дело не наше. Мне пятьдесят, пора меня сменить.

– Мирон сменит, Яков. Мирон будет инженером, – сказал Илья и, высунув руку за окно, стряхнул пепел папиросы. Отец напомнил:

– Мирон – племянник, а не сын. Ну, об этом после поговорим...

Дети встали, ушли, отец проводил их обиженным и удивлённым взглядом; что же – у них нечего сказать ему? Посидели пять минут, один, выговорив глупость, сонно зевнул, другой – надымил табаком и сразу огорчил. Вот они идут по двору, слышен голос Ильи:

– Пойдём, посмотрим на реку?

– Нет, я устал. Растрясло.

«Река и завтра не утечёт, а мать огорчена смертью родительницы своей, хлопоталась на похоронах».

Подчиняясь своей привычке спешить навстречу неприятному, чтоб скорее оттолкнуть его от себя, обойти, Пётр Артамонов дал сыну поделю отдыха и заметил за это время, что Илья говорит с рабочими на «вы», а по ночам долго о чём-то беседует с Тихоном и Серафимом, сидя с ними у ворот; даже подслушал из окна, как Тихон мёртвеньким голосом своим выливал дурацкие слова:

– Так, так! Жить нищим, – значит не с чем жить. Верно, Илья Петрович, если не жадовать – на всё всего хватит.

брание сочинений в тридцати томах. Том 16. Рассказы, повести 1922–1925. Максим Горький gorkiymaxim.  
А Серафим весело кудахтал:

– Это я знаю! Это я да-авно слышал...

Яков вёл себя понятнее: бегал по корпусам, ласково поглядывал на девиц, смотрел с крыши конюшни на реку, когда там, и обеденное время, купались женщины.

«Бычок, – хмуро думал отец. – Надо сказать Серафиму, чтоб присмотрел за ним, не заразился бы...»

Во вторник день был серенький, задумчивый и тихий. Рано утром, с час времени, на землю падал, скупно и лениво, мелкий дождь, к полудню выглянуло солнце, неохотно посмотрело на фабрику, на клин двух реки укрылось в серых облаках, зарывшись в пухлую мякоть их, как Наталья, ночами, зарывала румяное лицо своё в пуховые подушки.

Пред вечерним чаем Артамонов спросил Якова:

– А где брат?

– Не знаю; сидел там на холме, под сосной.

– Позови. Нет, не надо. Как вы – согласно живёте?

Ему показалось, что младший сын едва заметно усмехнулся, говоря:

– Ничего, дружно.

– А – всё-таки? Правду говори...

Яков опустил глаза, подумал:

– В мыслях – не очень согласны.

– В каких мыслях?

– Вообще, обо всём.

– В чём же?

– Он всё по книгам, а я – просто, от ума. Как вижу.

– Так, – сказал отец, не умея спросить более подробно.

Накинул на плечи парусиновое пальто, взял подарок Алексея, палку с набалдашником – серебряная птичья лапа держит малахитовый шар – и, выйдя за ворота, посмотрел из-под ладони к реке на холм, – там под деревом лежал илья в белой рубахе.

«А песок сегодня сыроват. Простудиться может, неосторожный».

Не спеша, честно взвешивая тяжесть всех слов, какие необходимо сказать сыну, отец пошёл к нему, приминая ногами серые былинки, ломко хрустевшие. Сын лежал вверх спиной, читал толстую книгу, постукивая по страницам карандашом; на шорох шагов он гибко изогнул шею, посмотрел на отца и, положив карандаш между страниц книги, громко хлопнул ею; потом сел, прислонясь спиной к стволу сосны, ласково погладив взглядом лицо отца. Артамонов старший, отдуваясь, тоже присел на обнажённый, дугою выгнутый корень.

«Не буду сегодня говорить о деле, успею ещё, поболтаем просто».

Но илья, обняв колена свои руками, сказал негромко:

– Так вот, папаша, я решил посвятить себя науке.

– Посвятить, – повторил отец. – Как в попы.

Он хотел сказать шутливо, но услышал, что слова его прозвучали угрюмо, почти сердито; он, с досадой на себя, ударил палкой по песку. И тотчас началось что-то

брание сочинений в тридцати томах. Том 16. Рассказы, повести 1922–1925. Максим Горький gorkiymaxim.  
непонятное, ненужное; синь глаз Ильи потемнела, чётко выведенные брови  
сдвинулись, он откинул волосы со лба и с нехорошей настойчивостью заговорил:

- фабрикантом я не буду, я для этого дела не способен...
- Эдак-то вот Тихон говорит, – вставил отец, усмехаясь.

Не обратив внимания на его слова, сын начал объяснять, почему он не хочет быть фабрикантом и вообще хозяином какого-либо дела; говорил он долго, минут десять, и порою в словах его отец улавливал как будто нечто верное, даже приятно отвечавшее его смутным думам, но в общем он ясно видел, что сын говорит неразумно, по-детски.

- Пстой, – сказал он, ткнув палкой в песок, около ноги сына. – Погоди, это не так. Это – чепуха. Нужна команда. Без команды народ жить не может. Без корысти никто не станет работать. Всегда говорится: «Какая мне корысть?» Все вертятся на это веретено. Гляди, сколько поговорок: «Был бы сват насквозь свят, кабы душа не просила барыша». Или: «И святой барыша ради молится». «Машина – вещь мёртвая, а и она смазки просит».

Он говорил не волнуясь и, вспоминая подходящие пословицы, обильно смазывал жиром их мудрости речь свою. Ему нравилось, что он говорит спокойно, не затрудняясь в словах, легко находя их, и он был уверен, что беседа кончится хорошо. Сын молчал, пересыпая песок из горсти в горсть, отсеивал от него рыжие иглы хвои и сдувал их с ладони. Но вдруг он сказал, тоже спокойно:

- Всё это не убеждает меня. Этой мудростью дальше нельзя жить.

Артамонов старший приподнялся, опираясь на палку, сын не помог ему.

- Так. Значит, отец говорит неправду?
- Есть другая правда.
- Врёшь. Другой – нет.

И, махнув палкой в сторону фабрики, отец сказал:

- Вон она, правда! Дедушка твой её начал, я туда положил всю жизнь, а теперь – твоя очередь. Только и всего. А ты что? Мы – работали, а тебе – гулять? На чужом труде праведником жить хочешь? Неплохо придумал! История! Ты на историю плюнь. История – не девица, на ней не женишься. И – какая там, дура, история? К чему она? А я тебе лентяйничать не дам...

Почувствовав, что он стал говорить излишне сердито, Пётр Артамонов попытался сгладить свои слова:

- Я – понимаю, тебе в Москве жить хочется; там веселее, вот и Алексей...

Илья поднял книгу, сдул с неё песчинки и сказал:

- Разрешите учиться.
- Не разрешаю! – вскрикнул отец, воткнув палку в песок. – Не проси.

Тогда Илья тоже встал и, глядя через плечо отца побелевшими глазами, сказал негромко:

- Ну, что ж, мне придется обойтись без разрешения.
- Не смеешь!
- Нельзя запретить человеку жить, как он хочет, – сказал Илья, тряхнув головой.
- Человеку? Ты – сын мой, а не человек. Какой ты человек? На тебе всё – моё.

Это вырвалось как-то само собою, этого не надо было говорить. И, смягчив голос, отец сказал, качая головой укоризненно:

– Так-то платишь ты за мои заботы о тебе? Эх, дурень...

Он видел, что Илья покраснел и у него дрожат руки, сын хочет спрятать их в карманы брюк, а руки не находят карманов. И, боясь, что сын скажет что-то лишнее, даже непоправимое, он торопливо сам сказал:

– Ради тебя я человека убил... Может быть...

Артамонов прибавил – может быть – потому, что, сказав первые слова, тотчас понял: их тоже нельзя было говорить в такую минуту мальчишке, который явно не хочет понять его.

«Сейчас спросит: какого человека?» – подумал он и быстро шагнул вниз по сыпучему склону холма, а сын оглушительно сказал в затылок ему:

– Не одного убили вы, вон там целое кладбище убитых фабрикой.

Артамонов остановился, обернулся; Илья, протянув руку, указывал книгой на кресты в сером небе. Песок захрустел под ногами отца, Артамонов вспомнил, что за несколько минут пред этим он уже слышал что-то обидное о фабрике и кладбище. Ему хотелось скрыть свою обмолвку, нужно, чтоб сын забыл о ней, и, по-медвежьи, быстро идя на него, размахивая палкой, стремясь испугать, Артамонов старший крикнул:

– Ты что сказал, подлец?

Илья отскочил за ствол дерева:

– Образумьтесь! Что вы?

Отец ударил палкой по стволу, она переломилась; бросив обломок её к ногам сына так, что обломок косо, кверху зелёным шаром, воткнулся в песок, Пётр Артамонов пригрозил:

– Нужники чистить заставлю!

И быстро пошёл, покатился прочь, шатаясь, чувствуя, что разум его снуёт в словах горя и гнева, как челнок в запутанной основе.

«Выгоню. Нужда заставит – воротится. Тогда – нужники чистить. Да, не дури!» – отрывал он коротенькие мысли от быстро вертевшегося клубка их и в то же время смутно понимал, что вёл себя не так, как следовало, пересолил, раздул обиду свою.

Выйдя на берег Оки, он устало сел на песчаном обрыве, вытер пот с лица и стал смотреть в реку. В маленькой, неглубокой заводи плавала стайка плотвы, точно стальные иглы прошивали воду. Потом, важно разводя плавниками, явился лещ, поплавал, повернулся на бок и, взглянув красненьким глазком вверх, в тусклое небо, пустил по воде светлым дымом текущие кольца.

Артамонов, погрозив лещу пальцем, вслух сказал:

– Я тебе устрою судьбу!

И – оглянулся, услышав, что слова звучали фальшиво. Спокойное течение реки смывало гнев; тишина, серенькая и тёплая, подсказывала мысли, полные тупого изумления. Самым изумительным было то, что вот сын, которого он любил, о ком двадцать лет непрерывно и тревожно думал, вдруг, в несколько минут, выскользнул из души, оставив в ней злую боль. Артамонов был уверен, что ежедневно, неумышленно все двадцать лет он думал только о сыне, жил надеждами на него, любовью к нему, ждал чего-то необыкновенного от Ильи.

«Как спичка, – вспыхнула, и – нет её! Что же это?»

Серое небо чуть порозовело; в одном месте его явилось пятно посветлее, напоминая масляный лоск на заношенном сукне. Потом выглянула обломанная луна; стало свежо и сыро; туман лёгким дымом поплыл над рекой.

Артамонов пришёл домой, когда жена, уже раздетая, положив левую ногу на круглое колено правой, морщась, стригла ногти. Искося взглянув на мужа, она спросила:

– Ты куда это Илью послал?

– К чёрту, – ответил он, раздеваясь.

– Всё сердисься ты, – вздохнула Наталья; муж промолчал, посапывая, возясь нарочито шумно. Дождь начал кропить стёкла окон, влажный шёпот поплыл по саду.

– Уж очень загордился Илья ученьем.

– У него мать – дура.

Мать втянула носом воздух и, перекрестясь, легла в постель, а Пётр, раздеваясь, с наслаждением обижал её:

– Что ты можешь? Ничего. Дети не боятся тебя. Чему ты учила их? Ты одно можешь: есть да спать. Да рожу мазать себе.

Жена сказала в подушку:

– А кто учиться отдавал их? Я говорила...

– Молчи!

Он тоже замолчал, прислушиваясь, как всё сильнее падает дождь на листья черёмухи, посаженной Никитой.

«Благую долю выбрал горбатый. Ни детей, ни дела. Пчёлы. Я бы и пчёл не стал разводить, пусть каждый, как хочет, сам себе мёд добывает».

Повернувшись вверх грудью так осторожно, как будто она лежала на льду, Наталья дотронулась тёплой щекою до плеча мужа.

– Поругался ты с Ильёй?

Было стыдно рассказать о том, что произошло у него с сыном; он проворчал:

– С детьми – не ругаются, их ругают.

– В город уехал он.

– Воротится. Даром нигде не кормят. Понюхает, как нужда пахнет, и воротится. Спи, не мешай мне.

Через минуту он сказал:

– Якову учиться больше не надо.

И ещё через минуту:

– Послезавтра на ярмарку поеду. Слышишь?

– Слышу.

«Что же это такое? – соображал Артамонов, закрыв глаза, но видя пред собою лобастое лицо, вспоминая нестерпимо обидный блеск глаз Ильи. – Как работника, рассчитал отца, подлец! Как нищего оттолкнул...»

Поражала непонятная быстрота разрыва; как будто Илья уже давно решил оторваться. Но – что понудило его на этот поступок? И, вспоминая резкие, осуждающие слова Ильи, Артамонов думал:

«Мирошка, лягавая собака, настроил его. А о том, что дела человеку вредны, это – Тихоновы мысли. Дурак, дурак! Кого слушал? А – учился! Чему же учился? Рабочих ему жалко, а отца не жалко. И бежит прочь, чтобы вырастить в сторонке свою

брание сочинений в тридцати томах. Том 16. Рассказы, повести 1922–1925. Максим Горький gorkiymaxim. праведность».

От этой мысли обида на Илью вспыхнула ещё ярче.

«Нет, врѣшь, не увильнёшь!»

Тут вспомнился Никита, отбежавший в сторону, в тихий угол.

«Все меня впрягают в работу, а сами бегут».

Но Артамонов тотчас же уличил себя: это – неправильно, вот Алексей не убежал, этот любит дело, как любил его отец. Этот – жаден, ненасытно жаден, и всё у него ловко, просто. Он вспомнил, как однажды, после пьяной драки на фабрике, сказал брату:

– Портится народ.

– Заметно, – согласился Алексей.

– Злятся все отчего-то. Как будто все смотрят одной парой глаз...

Алексей и с этим согласился; усмехаясь, он сказал:

– И это – верно. Иной раз я вспоминаю, что вот такими же глазами Тихон разглядывал отца, когда тот на твоей свадьбе с солдатами боролся. Потом сам стал бороться. Помнишь?

– Ну, что там Тихон? Это – убогий.

Тогда Алексей заговорил серьёзно:

– Ты что-то часто говоришь об этом: портятся люди, портятся. Но ведь это дело не наше; это дело попов, учителей, ну – кого там? Лекарей разных, начальства. Это им наблюдать, чтобы народ не портился, это – их товар, а мы с тобой – покупатели. Всё, брат, понемножку портится. Ты вот стареешь, и я тоже. Однако ведь ты не скажешь девке: не живи, девка, старухой будешь!

«Умён, бес, – подумал Артамонов старший. – Просто умён».

И, слушая бойкую, украшенную какими-то новыми прибаутками речь брата, позавидовал его живости, снова вспомнил о Никите; горбуна отец наметил утешителем, а он запутался в глупом, бабьем деле, и – нет его.

Много передумал в эту дождливую ночь Артамонов старший. Сквозь горечь его размышлений струйкой дыма пробивались ещё какие-то другие, чужие мысли, их как будто нашёптывал тёмный шумок дождя, и они мешали ему оправдать себя.

– А в чём я виноват? – спрашивал он кого-то и, хотя не находил ответа, почувствовал, что это вопрос не лишний. На рассвете он внезапно решил съездить в монастырь к брату; может быть, там, у человека, который живёт в стороне от соблазнов и тревог, найдётся что-нибудь утешающее и даже решительное.

Но подъезжая на паре почтовых лошадей к монастырю, разбитый тряской по просёлочной дороге, он думал:

«Это – просто, в уголке стоять; нет, ты побегай по улице! В погребе огурец не портится, а на солнце – живо гниёт».

Он не видел брата уже четыре года; последнее свидание с Никитой было скучно, сухо: Петру показалось, что горбун смущён, недоволен его приездом; он ёжился, сжимался, прячался, точно улитка в раковину; говорил кисленьким голосом не о боге, не о себе и родных, а только о нуждах монастыря, о богомольцах и бедности народа; говорил нехотя, с явной натугой. Когда Пётр предложил ему денег, он сказал тихо и небрежно:

– Настоятелю дай, мне не надо.

Было видно, что все монахи смотрят на отца Никодима почтительно; а настоятель,

брание сочинений в тридцати томах. Том 16. Рассказы, повести 1922–1925. Максим Горький gorkiymaxim. огромный, костлявый, волосатый и глухой на одно ухо, был похож на лешего, одетого в рясу; глядя в лицо Петра жутким взглядом чёрных глаз, он сказал излишне громко:

– Отец Никодим – украшение бедной обители нашей.

Монастырь, спрятанный на невысоком пригорке, среди частокола бронзовых сосен, под густыми кронами их, встретил Артамонова будничным звоном жиденьких колоколов, они звали к вечерней службе. Привратник, прямой и длинный, как шест, с маленькой, ненужной, детской головкой, в скуфейке, выгоревшей, измятой, отворив ворота, пробормотал, заикаясь, захлёбываясь:

– Д-до-б-бро...

И сразу, со свистом, выдохнул:

– П-пож-жаловать.

Сизо-синяя туча, покрыв половину неба, неподвижно висела над монастырём, от неё всё кругом придавлено густой, сыровато душной скукой, медный крик колоколов был бессилен поколебать её.

– Одному не поднять, – виновато сказал служка гостиницы, попробовав вытащить из кибитки ящик с подарками Никите, и стукнул по ящику маленьким, чёрным кулаком.

Пыльный и усталый, Пётр медленно пошёл в сад к белой келье брата, уютно спрятанной среди вишен и яблонь; шёл и думал, что напрасно он приехал сюда, лучше бы ехать на ярмарку. Тряская, лесная дорога, перепутанная корневищем, взболтала, смешала все горестные думы, заменив их нудной тоской, желанием отдыха, забытья.

«Кутнуть бы хорошенько».

Он увидел брата сидящим на скамье, в полукружии молодых лип, перед ним, точно на какой-то знакомой картинке, расположилось человек десять богомолков: чернобородый купец в парусиновом пальто, с ногой, обёрнутой тряпками и засунутой в резиновый ботинок; толстый старик, похожий на скопца-менялу; длинноволосый парень в солдатской шинели, скуластый, с рыбьими глазами; столбом стоял, как вор пред судьёй, дрёмовский пекарь Мурзин, пьяница и буян, и хрипло говорил:

– Правильно: бог – далеко.

Чертя по утопанной земле беленьким посошком, не глядя на людей, Никита поучал:

– И чем ниже человек, тем выше от него бог, гонимый смрадом гниения нашего во грехах.

«Утешает», – подумал Артамонов старший и мысленно усмехнулся.

– Бог – видит: бездельно веруем; а без дел вера – на что ему? Где наша помощь друг другу и где любовь? И о чём молим? Всё о мелких пустяках. Молиться надобно, а всё-таки...

Он поднял глаза, с минуту молча смотрел на брата, пристально, снизу вверх. И медленно, как большую тяжесть, поднимал посох, как бы намереваясь ударить им кого-то. Горбун встал, бессильно опустил голову, осеняя людей крестом, но, вместо молитвы, сказал:

– Вот – братец приехал ко мне.

Безволосый старик, нехорошо округлив медные глаза, посмотрел на Петра и размахисто, с явной нарочитостью, перекрестился.

– Идите с богом, – прибавил Никита.

Люди пошли вразброд, как стадо с пастбища, старик подхватил под локоть купца с больной ногой, пекарь Мурзин взял его под другой локоть.

брание сочинений в тридцати томах. Том 16. Рассказы, повести 1922–1925. Максим Горький gorkiуmaxim.  
– Ну, здравствуй. Благослови.

Длинной рукою, окрылённой чёрным рукавом рясы, отец Никодим отвёл протянутые к нему сложенные горстью руки брата и сказал тихо, без радости:

– Не ждал.

Махнув посохом в направлении кельи, он пошёл впереди брата, шёл толчками, разбрасывая кривые ноги, держа одну руку на груди, у сердца.

– Постарел ты, – смущённо заметил Пётр.

– На то живём. Ноги болеть стали. Место наше сырое.

Казалось, что Никита стал ещё более горбат; угол его спины и правое плечо приподнялись, согнули тело ближе к земле и, принизив его, сделали шире; монах был похож на паука, которому оторвали голову, и вот он слепо, криво ползёт по дорожке, по хряскому щебню. В тесной, чистенькой келье отец Никодим стал побольше, но ещё страшней; когда он снял клобук, матово, точно у покойника, блеснул его полуголый, как бы лишённый кожи, костяной череп; на висках, за ушами, на затылке повисли неровные пряди серых волос. Лицо у него было тоже костяное, цвета воска; всюду на костях лица не хватало мяса; выцветшие глаза не освещали его, взгляд их, казалось, был сосредоточен на кончике крупного, но дряблого носа, под носом беззвучно шевелились тёмные полоски иссохших губ, рот стал ещё больше, разделял лицо глубокой впадиной, и особенно жутко неприятна была серая плесень волос на верхней губе.

Тихо, точно прислушиваясь к чему-то, и медленно, как бы с трудом вспоминая слова, монах говорил пухлолицему парню келейнику, похожему на банщика:

– Самовар. Хлеба. Мёду.

– Как тихо говоришь.

– Зубы выкрошились.

Монах сел к столу в деревянное, окрашенное белой краской кресло.

– Живёте?

– Живём.

– Тихон жив?

– Жив. Что ему?

– Давно не был он у меня.

Замолчали. Никита, двигая рукою, шуршал рясой, этот тараканий шорох ещё более сгущал скуку Петра.

– Я тебе гостинцев привёз. Скажи, чтоб ящик притащили. Там вино есть. Разрешают у вас вино?

Брат, вздохнув, ответил:

– У нас – не строго. У нас – трудно. Даже и пьяницы завелись с той поры, как народ усердно стал посещать обитель. Пьют. Что делать? Дышит мир и отравляет. Монахи – тоже люди.

– Слышал я – к тебе много людей ходят?

– По неразумию это, – сказал монах. – Да, ходят. Кружатся. Праведности ищут, праведника. Указания: как жить? Жили, жили, а – вот... Не умеем. Терпенья нет.

Чувствуя, что слова монаха тревожат его, Артамонов старший проворчал:

– Баловство. Крепостное право терпели, а воли не терпят! Слабо взнузданы.



Никита промолчал.

– При господах – не шлялись, не бродяжили.

Горбун мельком взглянул на него и опустил глаза.

Так, с трудом находя слова, прерывая беседу длительными паузами, они говорили до поры, пока келейник принёс самовар, душистый липовый мёд и тёплый хлеб, от которого ещё поднимался хмельной парок. Внимательно смотрели, как белобрысый келейник неуклюже возился на полу, вскрывая крышку ящика. Пётр поставил на стол банку свежей икры, две бутылки.

– Портвейн, – прочитал Никита. – Это вино настоятель любит. Умный человек. Много понимает.

– А вот я – мало понимаю, – вызывающе признался Пётр.

– Сколько надо – понимаешь и ты, а больше-то – зачем? Больше нужного – понимать вредно.

Монах осторожно вздохнул. В его словах Пётру послышалось что-то горькое. Ряса грязно и масляно лоснилась в сумраке, скупо освещённом огоньком лампы в углу и огнём дешёвенькой, жёлтого стекла, лампы на столе. Приметив, с какой расчётливой жадностью брат высосал рюмку мадеры, Пётр насмешливо подумал:

«Толк знает».

После каждой рюмки Никита, отщипнув сухими и очень белыми пальцами мякиш хлеба, макал его в мёд и не торопясь жевал; тряслась его серая, точно выщипанная бородёнка. Незаметно было, чтоб вино охмеляло монаха, но мутноватые глаза его посветлели, оставаясь всё так же сосредоточены на кончике носа. Пётр пил осторожно, не желая показаться брату пьяным, пил и думал:

«Про Наталью – не спрашивает. И прошлый раз не спросил. Стыдится. Ни о ком не спрашивает. Мирские. А он – праведник. Его – люди ищут».

Сердито шаркнув бородой по жилету, дёрнув себя за ухо, он сказал:

– Ловко ты укрылся тут. Хорошо.

– Раньше было хорошо, теперь – хуже, богомоллов много. Приёмы эти...

– Приёмы? – Пётр усмехнулся. – Как у зубного доктора.

– Хочу перевестись поглуше куда-нибудь, – сказал монах, бережно наливая вино в рюмки.

– Где спокойнее, – добавил Пётр и снова усмехнулся, а монах высосал вино, облизал губы тёмненьким, тряпичным языком и заговорил, качнув костяною головой:

– Очень заметно растёт число обеспокоенного народа. Прячутся, скрываются хотят от забот...

– Этого я не вижу, – возразил Пётр, зная, что говорит неправду. – «Это ты спрятался», – хотелось ему сказать.

– А тревоги, тенью, за ними...

На языке Пётра сами собою вспухали слова упрёков; ему хотелось спорить, даже прикрикнуть на брата, и, думая о сыне, он сказал сердитым голосом:

– Человек сам тревог ищет, сам нужды хочет! Делай своё дело, не форси умом – проживёшь спокойно!

Но брат, должно быть, не слышал его слов, оглушённый своими мыслями; он вдруг потрянул угловатым телом, точно просыпаясь; ряса потекла с него чёрными струйками, кривя губы, он заговорил очень внятно и тоже как будто сердясь:

– Приходят, просят: научи! А – что я знаю, чему научу? Я человек не мудрый. Меня – настоятель выдумал. Сам я – ничего не знаю, как неправильно осуждённый. Осудили: учи! А – за что осудили?

«Намекает, – сообразил Артамонов старший. – Жаловаться хочет».

Он понимал, что у Никиты есть причины жаловаться на его судьбу, он и раньше, посещая его, ожидал этих жалоб. И, подёргав себя за ухо, он внушительно предупредил брата:

– На судьбу многие жалуются, только это – ни к чему.

– Так; довольных – не заметно, – сказал горбун, прицеливаясь глазами в угол, на огонь лампы.

– А тебе ещё покойник-родитель наказывал: утешай! Будь утешителем.

Никита усмешливо растянул рот, собрал серую бородку свою в горсть и стёр ею усмешку, продолжая сеять в сумрак слова, которые, толкая Пётра, возбуждали в нём и любопытство и настороженное ожидание опасного.

– Они тут внушают мне и людям, будто я мудрый; это, конечно, ради выгоды обители, для приманки людей. А для меня – это должность трудная. Это, брат, строгое дело! Чем утешать-то? Терпите, говорю. А – вижу: терпеть надоело всем. Надейтесь, говорю. А на что надеяться? Богом не утешаются. Тут ходит пекарь...

– Это – наш, Мурзин, пьяница он, – сказал Артамонов старший, желая отвести, оттолкнуть что-то.

– Он уже мнит себя судьёй богу, для него уж бог миру не хозяин. Теперь таких, дерзких, немало. Тут ещё безбородый один, – заметил ты? Это – злой человек, этот всему миру недруг. Приходят, пытаются. Что им скажешь? Они затем приходят, чтобы смущать.

Монах говорил всё живее. Вспоминая, каким видел он брата в прежние посещения, Пётр заметил, что глаза Никиты мигают не так виновато, как прежде. Раньше ощущение горбуном своей виновности успокаивало – виноватому жаловаться не надлежит. А теперь вот он жалуется, заявляет, что неправильно осуждён. И старший Артамонов боялся, что брат скажет ему:

«Это меня осудил ты!»

Нахмурясь, играя цепочкой часов, он подыскивал слова самозащиты.

– Да, – говорил горбун, и казалось, что втайне он доволен тем, на что жалуется. – Люди всё назойливее, мысли у них дерзкие. Недавно жил у нас, недели две, учёный, молодой ещё, но как будто не в себе, испуганный человек. Настоятель внушает мне: «Ты, говорит, укрепи его простотой твоей, ты, говорит, скажи ему вот что и вот как». А я на чужие мысли не памятлив. Он, учёный-то, часами из меня жилы тянул, говорит и говорит, а я даже слов его не понимаю, не то что мысли. «Дьявола, говорит, владыкой плоти нашей нельзя признать, это будет двоебожие и оскорбление тела Христова, коему причащаемся: «Тело Христово примите, источника бессмертного ядите». Богохулит: «Пусть, говорит, будет бог с рогами, но чтобы – один, иначе невозможно жить». Замучил он меня, забыл я все наущения отца Феодора, кричу: «Плоть твоя – видоизменение, а дух – уничтожение». Настоятель после ругал меня: «Что ты, говорит, какую кощунственную бессмыслицу сболтнул?» Да, вот как...

Рассказ показался Петру смешным и, выставив брата в жалком виде, несколько успокоил Артамонова старшего.

– О боге – трудно говорить, – проворчал он.

– Трудно, – согласился отец Никодим и спросил масляно, горько: – Помнишь, отец учил: мы – люди чернорабочие, высока для нас премудрость эта?

– Помню.

– Да. Отец Феодор внушает: «Читай книги!» Я – читаю, а книга для меня, как дальний лес, шумит невнятно. Сегодняшнему дню книга не отвечает. Теперь возникли такие мысли – их книгой не покроешь. Сектант пошёл отовсюду. Люди рассуждают, как сны рассказывают, или – с похмелья. Вот – Мурзин этот...

Монах выпил портвейна, пожевал хлеба и, скатав мякиш в небольшой шарик, стал гонять его пальцем по столу, продолжая:

– Отец Феодор говорит: «Вся беда – от разума; дьявол разжёт его злой собакой, дразнит, и собака лает на всё зря». Может быть, это и правда, а – согласиться обидно. Тут есть доктор, простой человек, весёлый, он иначе думает: разум – дитя, ему всё – игрушки, всё – забавно; он хочет доглядеть, как устроено и то, и это, и что внутри. Ну, конечно, ломает...

– Пожалуй – опасно ты говоришь, – заметил Пётр. Слова брата снова тревожно толкали, раскачивали его, удивляя и пугая своей неожиданностью, остротой. Ему снова захотелось подавить Никиту, принизить его.

«Напился монах», – попробовал он успокоить себя.

В келье стало душно, стоял кисленький запах углей и лампадного масла, запах, гасивший мысли Пётра. На маленьком, чёрном квадрате окна торчали листья какого-то растения, неподвижные, они казались железными. А брат, похожий на паука, тихо и настойчиво плёл свою паутину.

– Все мысли – опасны. Особенно – простые. Возьми Тихона.

– Полуумный.

– Нет, напрасно! У него разум – строгий. Я вначале даже боялся говорить с ним, – и хочется, а – боюсь! А когда отец помер – Тихон очень подвинул меня к себе. Ты ведь не так любил отца, как я. Тебя и Алексея не обидела эта несправедливая смерть, а Тихона обидела. Я ведь тогда не на монахиню рассердился за глупость её, а на бога, и Тихон сразу заметил это. «Вот, говорит, комар живёт, а человек...»

– Бредишь ты! – строго заметил Пётр. – Выпил лишнее. Какая монахиня?

Никита настойчиво продолжал:

– Тихон говорит: если бог миру хозяин, так дожди должны идти вовремя, как полезно хлебу и людям. И не все пожары – от человека; леса – молния зажигает. И зачем было Каину грешить, на смерть нашу? На что богу уродство всякое; горбатые, например, на что ему?

«Ага, вот оно что!» – подумал Пётр, усмехаясь в бороду, чувствуя, что жалобы брата на бога очень успокаивают его; это хорошо, что монах не жалуется на родных.

– Каина – нельзя понять. Этим Тихон меня, как на цепь приковал. Со дня смерти отца у меня и началось. Я думал: уйду в монастырь – погаснет, А – нет. Так и живу в этих мыслях.

– Прежде ты об этом молчал...

– Всего сразу не скажешь. Да, я бы, может, всю жизнь молчал, но – богомольцы мешают. Совесть тревожат. И – опасно, вдруг выскользнет Тихоново в моих-то речах? Нет, он человек умный, хоть, может, я и не люблю его. Он и про тебя думает: вот, говорит, трудился человек для детей, а дети ему чужие...

– Это ещё что? – сердито спросил Пётр. – Что он может знать?

– Знает. Дело, говорит, обман...

– Слышал я... Его, дурака, прогнать нужно, да – много знает он о семейном, нашем...

Артамонов сказал это, желая напомнить Никите о тягостной ночи, когда Тихон вынул

брание сочинений в тридцати томах. Том 16. Рассказы, повести 1922–1925. Максим Горький gorkiymaxim. его из петли, но думая о мальчике Никонове. Монах не понял намёка; он поднёс рюмку ко рту, окунул язык в вино и, облизав губы, продолжал жестяными словами:

– Тихона тоже обидел кто-то, он и оторвался от всех, как разорённый...

Нужно было отвести монаха от этих мыслей.

– Что ж ты теперь, не веришь, что ли, в бога-то? – спросил он и удивился: он хотел спросить ядовито, а вышло как-то не так.

– Трудно понять, кто теперь верит, – не сразу ответил монах. – Думают все – много, а веры не заметно. Думать-то не надо, если веришь. Этот, который о боге с рогами говорил...

– Брось, – посоветовал Пётр, оглянувшись. – Всё это – от скуки, от безделья. Запрячь бы всех в железные хомуты.

– Нет, в двоих верить нельзя, – настойчиво сказал отец Никодим.

Уже второй раз на колокольне били в колокол; мерные удары торкались в чёрное стекло окна.

Пётр спросил:

– На службу пойдёшь?

– Не хожу. Ноги стоять не дают.

– Тут за нас молишься?

Монах не ответил.

– Ну, мне бы уснуть, устал я в дороге.

Никита молча упёрся длинными руками в ручки кресла, осторожно поднял угловатое тело своё, позвал:

– Митя. Митрий?

И снова опустил, виновато сказав:

– Прости: забыл я, келейник-то мой в гостинице спит. Услал я его; хотелось свободно поговорить, а они тут доносчики все, ябедники...

Он ненужно и многословно объяснил брату путь в гостиницу, и когда Пётр вышел во тьму, под холодненький, пыльный дождь, то подумал:

«Не хотелось, болтуну, чтоб я ушёл».

И внезапно, со знакомым страхом, Артамонов старший почувствовал, что снова идёт по краю глубокого оврага, куда в следующую минуту может упасть. Он ускорил шаг, протянул руки вперёд, щупая пальцами водянистую пыль ночной тьмы, неотрывно глядя вдаль, на жирное пятно фонаря.

«Нет, – поспешно думал он, спотыкаясь, – всё это не надо мне. Завтра же уеду. Не надо. Что случилось? Илья воротится! Нет, надобно твёрдо жить. Вон как Алексей разыгрался. Он и обыграть меня может».

Об Алексее он думал насильно, потому что не хотел думать о Никите, о Тихоне. Но когда он лёг на жёсткую койку монастырской гостиницы, его снова обняли угнетающие мысли о монахе, дворнике. Что это за человек, Тихон? На всё вокруг падает его тень, его слова звучат в ребячливых речах сына, его мыслями околдован брат.

«Утешитель! – думал он о брате. – А вот Серафим, простой плотник, умеет утешать».

Не спалось, покусывали комары, за стеною бормотали в три голоса какие-то люди,

брание сочинений в тридцати томах. Том 16. Рассказы, повести 1922–1925. Максим Горький gorkiymaxim.  
Пётру подумалось, что это, должно быть, пекарь Мурзин, купец с больною ногой и человек с лицом скопца.

«Пьянствуют, наверное».

Монастырский сторож изредка бил колотушкой в чугунную доску, потом вдруг, очень торопливо, как бы опоздав, испугавшись, заблаговестили к заутрене, и под этот звон Пётр задремал.

Брат пришёл к нему таким, как он видел его вчера, в саду, с тем же чужим и злонамеренным взглядом вкось и снизу вверх. Артамонов старший торопливо умылся, оделся и приказал службе, чтоб дали лошадь до ближайшей почтовой станции.

– Что так скоро? – спросил монах, не удивляясь. – Я думал, – поживёшь здесь.

– Дело не позволяет.

Пили чай. Пётр долго придумывал: о чём бы спросить брата? И – вспомнил:

– Значит – уходить хочешь отсюда?

– Думаю. Не отпускают.

– Что ж это они?

– Я выгоден им. Полезен.

– Так. А – куда ж ты?

– Может – странствовать буду.

– С больными-то ногами?

– И безногие двигаются.

– Это – верно, двигаются, – согласился Пётр.

Помолчали. Затем Никита сказал:

– Тихону поклонись.

– Ещё кому?

– Всем.

– Ладно. А что ж ты не спросишь, как Алексей живёт?

– Что спрашивать? Я – знаю, он – умеет. Я, может быть, скоро уйду отсюда.

– Зимой не уйдёшь.

– Почему? И зимой ходят.

– Верно, ходят, – снова согласился Пётр и предложил брату денег.

– Давай, на починку мельницы пойдут. К настоятелю не зайдёшь?

– Некогда, лошадь подана.

Прощаясь, братья обнялись. Обнимать никиту было неудобно. Он не благословил брата, правая рука его запуталась в рукаве рясы, и Пётр подумал, что запуталась она нарочно. Упираясь горбом в живот его, Никита глухо попросил:

– Ты прости, ежели я вчера лишнее что-нибудь сказал.

– Ну, что там! Мы – братья.

– Думаешь, думаешь по ночам-то...

– Да, да! Ну, прощай..

Выехав за ворота монастыря, Пётр оглянулся и на белой стене гостиницы увидал фигуру брата, похожую на камень.

– Прощай, – проворчал он, сняв фуражку, голову его обильно посолил мелкий дождь. Ехали сосновым лесом, было очень тихо, только хвоя сосен стеклянно звенела под бисером дождя. На козлах брички подпрыгивал монах, а лошадь была рыжая, с какими-то лысыми ушами.

«О чём говорят! – думал Пётр. – Бог дожди не вовремя посылает. Это всё со зла, от зависти, от уродства. От лени. Заботы нет. Без заботы человек – как собака без хозяина».

Пётр оглянулся, поёживаясь, нашёл, что дождь идёт действительно не вовремя, и снова, серым облаком, его окутали невесёлые думы. Чтоб избавиться от них, он пил водку на каждой станции.

Вечером, когда вдаль показался дымный город, дорогу перерезал запыхавшийся поезд, свистнул, обдал паром и врезался под землю, исчез в какой-то полукруглой дыре.

### III

Припоминая бурные дни жизни на ярмарке, Пётр Артамонов ощущал жуткое недоумение, почти страх; не верилось, что всё, что воскрешала память, он видел наяву и сам кипел в огромном, каменном котле, полном грохота, рёва музыки, песен, криков, пьяного восторга и сокрушающего душу тоскливого воя безумных людей. Варил и разбалтывал всё это большой кудрявый человек в цилиндре и сюртуке; на синем, бритом лице его были вклеены выпуклые, совиные глаза; человек этот шлёпал толстыми губами и, обнимая, толкая Артамонова, орал:

– Дурак – молчи! Крещение Руси, понимаешь? Ежегодное крещение на Волге и Оке!

Лицом он был похож на повара, а по одежде на одного из тех людей с факелами, которых нанимают провожать богатых покойников в могилы. Пётр смутно помнил, что он дрался с этим человеком, а затем они пили коньяк, размешивая в нём мороженое, и человек, рыдая, говорил:

– Пойми рёв русской души! Мой отец был священник, а я – прохвост!

Голос у него был густой, трубный, но мягкий, он обливал всех людей тёмным потоком неслыханных слов, и слова эти неотразимо волновали.

– Нетление плоти! – кричал он. – Бой с дьяволом! Бросьте ему, свинье, грязную дань! Укрощай телесный бунт, Петя! Не согрешив – не покаешься, не покаешься – не спасёшься. Омой душу! В баню ходим, тело моем? А – душа? Душа просит бани. Дайте простор русской душе, певучей душе, святой, великой!

Пётр тоже плакал, растроганный, и бормотал:

– Сирота она, душа, приёмыш – верно! Забыта. Не жалеем.

И все люди кричали:

– Верно! Правильно!

А лысый, рыжебородый человек с раскалённым лицом и лиловыми ушами, кругленький, вёрткий, крутился, точно кубарь, исступлённо, по-бабьи взвизгивая:

– Стёпа – правда! Обожаю тебя. Смертельно люблю. Три штучки смертельно люблю: тебя, кисленькое и правду. О душе – правду!

И тоже плакал и пел:

Смертию смерть поправ.

Пётр подпевал ему словами Антона-дурачка:

брание сочинений в тридцати томах. Том 16. Рассказы, повести 1922–1925. Максим Горький gorkiymaxim.  
Кибитка потерял колесо.

Ему тоже казалось, что он любит чёрного Стёпу, он слушал его крики очарованно, и хотя иногда необыкновенные слова пугали его, но больше было таких, которые, сладко и глубоко волнуя, как бы открывали дверь из тёмного, шумного хаоса в некий светлый покой. Особенно нравились ему слова «певчая душа», было в них что-то очень верное, жалобное, и они сливались с такой картиной: в знойный, будний день, на засоренной улице Дрёмова стоит высокий, седобородый, костлявый, как смерть, старик, он устало вертит ручку шарманки, а перед нею, задрвав голову, девочка лет двенадцати в измятом, синеньком платье, закрыв глаза, натужно, срывающимся голосом поёт:

И не жду от жизни ниче-воя...

И я ищу свободы и покоя...

Вспомнив эту девочку, Артамонов бормотал человеку с лиловыми ушами:

– Душа – певчая! Это он – верно!

– Стёпа? – крикливо спрашивал рыжебородый. – Стёпа всё знает! У него – ключи ко всякой душе!

И, раскаляясь всё более, рыжебородый визжал:

– Стёпа, друг человеческий, рви! Адвокат Парадизов – вези нас в вертеп неприступный! Всё допускаю...

Друг человеческий был пастырем и водителем компании кутивших промышленников, и всюду, куда бы он ни являлся со своим пьяным стадом, грохотала музыка, звучали песни, то – заунывные, до слёз надрывавшие душу, то – удалые, с бешеной пляской; от музыки оставались в памяти слуха только глухо бухающие удары в большой барабан и тонкий свист какой-то отчаянной дудочки. Когда пели тягучие, грустные песни, казалось, что каменные стены трактиров сжимаются и душат, а когда хор пел бойко, удало и пёстро одетые молодцы плясали – стены точно ветер колебал и раздувал. Буйно качало, перебрасывая от радости к восхищению печалью, и минутами Петра Артамонова обнимал и жёг такой восторг, что ему хотелось сделать что-то необыкновенное, потрясающее, убить кого-нибудь и, упав к ногам людей, стоять на коленях пред ними, всенародно взывая:

«Судите меня, казните страшной казнью!»

Были на «Самокате», в сумасшедшем трактире, где пол со всеми столиками, людьми, лакеями медленно вертелся; оставались неподвижными только углы зала, туго, как подушка пером, набитого гостями, налитого шумом. Круг пола вертелся и показывал в одном углу кучу неистовых, меднотрубных музыкантов; в другом – хор, толпу разноцветных женщин с венками на головах; в третьем на посуде и бутылках буфета отражались огни висячих ламп, а четвёртый угол был срезан дверями, из дверей лезли люди и, вступая на вращающийся круг, качались, падали, взмахивая руками, оглушительно хохотали, уезжая куда-то.

Друг человеческий, чёрный Стёпа, объяснял Артамонову:

– Глупо, а – хорошо! Пол – на брусьях, как блюдечко на растопыренных пальцах, брусья прикреплены в столб, от столба, горизонтально, два рычага, в каждый запряжена пара лошадей, они ходят и вертят пол. Просто? Но – в этом есть смысл. Петя – помни: во всём скрыт свой смысл, увы!

Он поднимал палец к потолку, на пальце сверкал волчьим глазом зеленоватый камень, а какой-то широкогрудый купец с собачьей головой, дёргая Артамонова за рукав, смотрел на него в упор, остеклевшими глазами мертвеца, и спрашивал громко, как глухой:

– А что скажет Дуня, а? Ты – кто?

Не ожидая ответа, он спрашивал другого соседа:

– Ты – кто? А что я скажу Дуне? А?

Откидывался на спинку стула, фыркал:

брание сочинений в тридцати томах. Том 16. Рассказы, повести 1922–1925. Максим Горький gorkiymaxim.  
– Ф-фу, чёрт!

И кричал неистово:

– Айда в другое место!

Потом он оказался кучером, сидел на козлах коляски, запряжённой парой серых лошадей, и громогласно оповещал всех прохожих, встречных:

– К Пауле едем! Айда с нами!

Ехали под дождём, в коляске было пять человек, один лежал в ногах Артамонова и бормотал:

– Он меня обманул – я его обману. Он меня – я его...

На площади, у холма, похожего на каравай хлеба, коляска опрокинулась, Пётр упал, ушиб голову, локоть и, сидя на мокром дёрне холма, смотрел, как рыжий с лиловыми ушами лез по холму, к ограде мечети, и рычал:

– Прочь, хочу в татару креститься, в Магометы хочу, пустите!

Чёрный Степан схватил его за ноги, стащил вниз, куда-то повёл; из лавок, из караван-сарая сбежалась толпа персов, татар, бухарцев; старик в жёлтом халате и зелёной чалме грозил Петру палкой.

– Урус, шайтан...

Меднолицый полицейский поставил Петра на ноги, говоря:

– Скандалы не разрешаются.

Съехались извозчики, усадили пьяных и повезли; впереди, стоя, ехал друг человеческий и что-то кричал в кулак, как в рупор. Дождь прекратился, но небо было грозно чёрное, каким никогда не бывает наяву; над огромным корпусом караван-сарая сверкали молнии, разрывая во тьме огненные щели, и стало очень страшно, когда копыта лошадей гулко застучали по деревянному мосту через канал Бетанкура, – Артамонов ждал, что мост провалится и все погибнут в неподвижно застывшей, чёрной, как смола, воде.

В разорванных, кошмарных картинах этих Артамонов искал и находил себя среди обезумевших от разгула людей, как человека почти незнакомого ему. Человек этот пил насмерть и алчно ждал, что вот в следующую минуту начнётся что-то совершенно необыкновенное и самое главное, самое радостное, – или упадёшь куда-то в безграничную тоску, или поднимешься в такую же безграничную радость, навсегда.

Самое жуткое, что осталось в памяти ослепляющим пятном, это – женщина, Паула Менотти. Он видел её в большой, пустой комнате с голыми стенами; треть комнаты занимал стол, нагруженный бутылками, разноцветным стеклом рюмок и бокалов, вазами цветов и фрукт, серебряными ведёрками с икрой и шампанским. Человек десять рыжих, лысых, седоватых людей нетерпеливо сидели за столом; среди нескольких пустых стульев один был украшен цветами.

Чёрный Стёпа стоял среди комнаты, подняв, как свечу, палку с золотым набалдашником, и командовал:

– Эй, свиньи, подождите жрать!

Кто-то глухо сказал:

– Не лай.

– Молчать! – крикнул друг человеческий. – Распоряжусь – я!

И почему-то вдруг стало темнее, тотчас же за дверью раздались глухие удары барабана, Стёпа шагнул к двери, растворил; вошёл толстый человек с барабаном на животе, пошатываясь, шагая, как гусь, он сильно колотил по барабану:



Пятеро таких же солидных, серьёзных людей, согнувшись, напрягаясь, как лошади, ввезли в комнату рояль за полотенца, привязанные к его ножкам; на чёрной, блестящей крышке рояля лежала нагая женщина, ослепительно белая и страшная бесстыдством наготы. Лежала она вверх грудью, подложив руки под голову; распущенные тёмные волосы её, сливаясь с чёрным блеском лака, вросли в крышку; чем ближе она подвигалась к столу, тем более чётко выделялись формы её тела и назойливее лезли в глаза пучки волос под мышками, на животе.

Повизгивали медные колёсики, скрипел пол, гулко бухал барабан; люди, впряжённые в эту тяжёлую колесницу, остановились, выпрямились. Артамонов ждал, что все засмеются, – тогда стало бы понятнее, но все за столом поднялись на ноги и молча смотрели, как лениво женщина отклеивалась, отрывалась от крышки рояля; казалось, что она только что пробудилась от сна, а под нею – кусок ночи, сгущённый до плотности камня; это напомнило какую-то сказку. Стоя, женщина закинула обильные и густые волосы свои за плечи, потопала ногами, замутив глубокий блеск лака пятнами белой пыли; было слышно, как под ударами её ног гудели струны.

Вошли двое: седоволосая старуха в очках и человек во фраке; старуха села, одновременно обнажив свои желтые зубы и двухцветные косточки клавиш, а человек во фраке поднял к плечу скрипку, сощурил рыжий глаз, прицелился, перерезал скрипку смычком, и в басовое пение струн рояля ворвался тонкий, свистящий голос скрипки. Нагая женщина волнисто выпрямилась, тряхнула головой, волосы перекинулись на её нахально торчавшие груди, спрятали их; она закачалась и запела медленно, негромко, в нос, отдалённым, мечтающим голосом.

Все молчали, глядя на неё, приподняв вверх головы, лица у всех были одинаковые, глаза – слепые. Женщина пела нехотя, как бы в полусне, её очень яркие губы произносили непонятные слова, масляные глаза смотрели пристально через головы людей. Артамонов никогда не думал, что тело женщины может быть так стройно, так пугающе красиво. Поглаживая ладонями грудь и бедра, она всё встряхивала головой, и казалось, что и волосы её растут, и вся она растёт, становясь пышнее, больше, всё закрывая собою так, что кроме неё уже стало ничего не видно, как будто ничего и не было. Артамонов хорошо помнил, что она ни на минуту не возбудила в нём желания обладать ею, а только внушала страх, вызывала тяжкое стеснение в груди, от неё веяло колдовской жутью. Однако он понимал, что, если женщина эта прикажет, он пойдёт за нею и сделает всё, чего она захочет. Взглянув на людей, он убедился в этом.

«Всякий пойдёт, все».

Он трезвел, и ему хотелось незаметно уйти. Он окончательно решил сделать это, услышав чей-то громкий шёпот:

– Чаруса. Омут естества. Понимаешь? Чаруса.

Артамонов знал, что чаруса – лужайка в болотистом лесу, лужайка, на которой трава особенно красиво шелковиста и зелена, но если ступить на неё – провалишься в бездонную трясиину. И всё-таки он смотрел на женщину, прикованный неотразимой, покоряющей силой её наготы. И когда на него падал её тяжёлый масляный взгляд, он шевелил плечами, сгибал шею и, отводя глаза в сторону, видел, что уродливые, полупьяные люди таращат глаза с тем туповатым удивлением, как обыватели Дрёмова смотрели на маляра, который, упав с крыши церкви, разбился насмерть.

Чёрный, кудрявый Стёпа, сидя на подоконнике, распутив толстые губы свои, гладил лоб дрожащей рукою, и казалось, что он сейчас упадёт, ударится головой в пол. Вот он зачем-то оторвал расстегнувшийся манжет рубашки и швырнул его в угол.

Движения женщины стали быстрее, судорожней; она так извивалась, как будто хотела спрыгнуть с рояля и – не могла; её подавленные крики стали гнусавее и злей; особенно жутко было видеть, как волнисто извиваются её ноги, как резко дёргает она головой, а густые волосы её, взмётываясь над плечами, точно крылья, падают на грудь и спину звериной шкурой.

Вдруг музыка оборвалась, женщина спрыгнула на пол, чёрный Стёпа окутал её золотистым халатом и убежал с нею, а люди закричали, завывали, хлопая ладонями, хватая друг друга; завертелись лакеи, белые, точно покойники в саванах;

брание сочинений в тридцати томах. Том 16. Рассказы, повести 1922–1925. Максим Горький gorkiymaxim. зазвенели рюмки и бокалы, и люди начали пить жадно, как в знойный день. Пили и ели они нехорошо, непристойно; было почти противно видеть головы, склонённые над столом, это напоминало свиней над корытом.

Явилась толпа цыган, они раздражающе пели, плясали, в них стали бросать огурцами, салфетками – они исчезли; на место их Стёпа пригнал шумный табун женщин; одна из них, маленькая, полная, в красном платье, присев на колени Петра, поднесла к его губам бокал шампанского и, звонко чокнувшись своим бокалом, предложила:

– Выпьем, рыжий, за здоровье Мити!

Была она лёгкая, как моль, звали её – Пашута. Она очень ловко играла на гитаре и трогательно пела:

Снилось мне утро лазурное, чистое  
– и когда звонкий голос её особенно печально выговаривал:

Снилась мне юность моя, невозвратная  
– Артамонов дружески, отечески гладил её голову и утешал:

– Не скули! Ты ещё молодая, не бойся...

А ночью, обнимая её, он крепко закрывал глаза, чтобы лучше видеть другую, Паулу Менотти.

В редкие, трезвые часы он с великим изумлением видел, что эта беспутная Пашута до смешного дорого стоит ему, и думал:

«Экая моль!»

Поражало его умение ярмарочных женщин высасывать деньги и какая-то бессмысленная трата ими заработка, достигнутого ценою бесстыдных, пьяных ночей. Ему сказали, что человек с собачьим лицом, крупнейший меховщик, тратил на Паулу Менотти десятки тысяч, платил ей по три тысячи каждый раз, когда она показывала себя голой. Другой, с лиловыми ушами, закуривая сигары, зажигая на свече сторублевые билеты, совал за пазухи женщин пачки кредиток.

– Бери, немка, у меня много.

Он всех женщин называл немками. Артамонов же стал видеть в каждой из них неприкрытое бесстыдство густоволосой Паулы, и все женщины, – глупые и лукавые, скрытные и дерзкие, – чувствовал он, враждебны ему; даже вспоминая о жене, он и в ней подмечал нечто скрыто враждебное.

«Моль», – думал он, присматриваясь к цветистому хороводу красивых, юных женщин, очень живо и ярко воскрешаемых памятью.

Он не мог понять что же это, как же? Люди работают, гремят цепями дела, оглушая самих себя только для того, чтоб накопить как можно больше денег, а потом – жгут деньги, бросают их горстями к ногам распутных женщин? И всё это большие, солидные люди, женатые, детные, хозяева огромных фабрик.

«Отец, пожалуй, так же бы колобродил», – почти уверенно думал он. Самого себя он видел не участником этой жизни, этих кутежей, а случайным и невольным зрителем. Но эти думы пьянили его сильнее вина, и только вином можно было погасить их. Три недели прожил он в кошмаре кутежей и очнулся лишь с приездом Алексея.

Артамонов старший лежал на полу, на жиденьком, жёстком тюфяке; около него стояло ведро со льдом, бутылки кваса, тарелка с квашеной капустой, обильно сдобренной тёртым хреном. На диване, открыв рот и, как Наталья, подняв брови, разметалась Пашута, свесив на пол ногу, белую с голубыми жилками и ногтями, как чешуя рыбы. За окном тысячами жадных пастей ревело всероссийское торжище.

Сквозь похмельный гул в голове и ноющую боль отравленного тела Артамонов угрюмо вспоминал события и забавы истекшей ночи, когда вдруг, точно из стены вылез, явился Алексей. Прихрамывая, постукивая палкой, он подошёл и рассыпался словами:

брание сочинений в тридцати томах. Том 16. Рассказы, повести 1922–1925. Максим Горький gorkiymaxim.  
– Что – опрокинулся, лежишь? А я тебя вчера весь день и всю ночь искал, да к утру сам завертелся.

Он тотчас позвал лакея, заказал лимонаду, коньяку, льду; подскочил к дивану, пошлёпал Пашуту по плечу.

– Вставай, барышня!

Не сразу открыв глаза, барышня проворчала:

– К чёрту. Отстань.

– Это ты пойдёшь к чёрту, – не сердито сказал Алексей, приподнял её за плечи, посадил, потряс и указал на дверь:

– Брысь!

– Не тронь её, – сказал Пётр; брат усмехнулся, успокоил:

– Ничего; позовём – придёт!

– О, черти, – сказала женщина, уже покорно надевая кофту.

Алексей командовал, как доктор:

– Вставай, Пётр,ними рубаху, вытрись льдом!

Подняв с пола раздавленную шляпку, Пашута надела её на встрёпанную голову, но, посмотрев в зеркало над диваном, сказала:

– Очень прекрасная королева!

И, швырнув шляпку на пол, под диван, длительно зевнула:

– Ну, прощай, Митя! Помни: я – в номерах Симанского, номер тринадцать.

Петру стало жалко её, не вставая с пола, он сказал брату:

– Дай ей.

– Сколько?

– Ну... пятьдесят.

– Э! Много.

Алексей сунул в руку женщины какую-то бумажку, проводил её, плотно притворил дверь.

– Скупое дал, – вызывающе заметил Пётр. – Она вчера за шляпу больше заплатила.

Алексей сел в кресло, сложил руки на палке, опёрся на них подбородком и сухо, начальнически спросил:

– Ты что же делаешь?

– Пью, – задорно ответил старший, встал и начал обтирать тело льдом, побрякивая.

– Пей, Кузьма, да не теряй ума! А ты что?

– А что?

Алексей подошёл к нему и, глядя, как на незнакомого, тихим голосом, с присвистом спросил:

– Забыл? На тебя жалоба подана, ты адвокату морду разбил, полицейского столкнул в канал...

брание сочинений в тридцати томах. Том 16. Рассказы, повести 1922–1925. Максим Горький gorkiуmaxim. Он так долго перечислял проступки, что Артамонову старшему показалось:

«Врёт. Пугает».

Он спросил:

– Какому адвокату? Ерунда.

– Не ерунда, а – чёрному, этому – как его?

– Мы с ним и раньше дрались, – сказал Пётр, трезвея, но брат ещё строже продолжал:

– А за что ты излаял почтенных людей? И своих?

– Я?

– Ты, вот этот! Жену ругал, Тихона, меня, мальчишку какого-то вспомнил, плакал. Кричал: Авраам, Исаак, баран! Что это значит?

Петра обожгло страхом, он опустился на стул.

– Не знаю. Пьян был.

– Это – не причина! – почти крикнул Алексей, подпрыгивая, точно он скакал на хромо́й лошади. – Тут – другое: «что у трезвого на уме, у пьяного – на языке», вот что тут! О семейном в кабаках не кричат. Почему – Авраам, жертвоприношение и прочая дрянь? Ты ведь дело конфузишь, ты на меня тень наводишь. Что ты, как в бане, разделся? Хорошо ещё, что был при скандале этом Локтев, приятель мой, и догадался свалить тебя с ног коньяком, а меня вот телеграммой вызвал. Он и рассказал мне всё это. Сначала, говорит, все смеялись, а потом начали вслушиваться, – что такое человек орёт?

– Все орут, – пробормотал Пётр, подавленный и снова пьянея от слов брата, а тот говорил почти шёпотом:

– Все – об одном, а ты – обо всём! Ладно, что Локтев догадался напоить всех в лоск. Может – забудут. Но ведь наше дело политическое: сегодня Локтев – друг, а завтра – лю́тый враг.

Пётр сидел на стуле, крепко прижав затылок к стене; пропитанная яростным шумом улицы, стена вздрагивала; Пётр молчал, ожидая, что эта дрожь утрясёт хмельной хаос в голове его, изгонит страх. Он ничего не мог вспомнить из того, о чём говорил брат. И было очень обидно слышать, что брат говорит голосом судьи, словами старшего; было жутко ждать, что ещё скажет Алексей.

– Что с тобой? – допытывался он, все подпрыгивая. – Сказал, что едешь к Никите...

– Я у него был.

– И я был. Когда на депешу ответили, что тебя там нет, я, конечно, туда поскакал. Испугались все; ведь – на земле живём, могут и убить.

– Завелась во мне какая-то дрянь, – тихо, виновато сознался Пётр.

– Так её на люди выносить надо? Пойми: ты на дело наше тень бросаешь! Какое там у тебя жертвоприношение? Что ты – персиянин? С мальчиками возишься? Какой мальчик?

Приглаживая волосы на голове и бороду обеими руками, Пётр сказал сквозь пальцы:

– Илья... всё из-за него...

И медленно, нерешительно, точно нащупывая тропу в темноте, он стал рассказывать Алексею о ссоре с Ильёй; долго говорить не пришлось; брат облегчённо и громко сказал:

– Ф-фу! Ну, это – ничего! А Локтев понял по-азиатски, скандально. Значит – Илья?

брание сочинений в тридцати томах. Том 16. Рассказы, повести 1922–1925. Максим Горький gorkiymaxim.  
Ну, брат, ты прости, только это – неразумно. Купечество должно всему учиться, на все точки жизни встать, а ты..

Он очень долго и красноречиво говорил о том, что дети купцов должны быть инженерами, чиновниками, офицерами. Оглушающий шум лез в окно; подъезжали экипажи к театру, кричали продавцы прохладительных напитков и мороженого; особенно невыносимо грохотала музыка в павильоне, построенном бразильцами из железа и стекла, на сваях, над водою канала. Удары барабана напоминали о Пауле Менотти.

– Какая-то дрянь завелась во мне, – повторил Артамонов старший, щупая ухо, а другою рукой наливая коньяку в стакан лимонада; брат взял бутылку из руки его, предупредив:

– Смотри, опять напьёшься. Вот у меня Мирон учится на инженера – сделай милость! За границу хочет ехать – пожалуйста! Всё это – в дом, а не из дома. Ты – пойми, наше сословие – главная сила..

Петру ничего не хотелось понимать. Под оживлённый говорок брата он думал, что вот этот человек достиг чем-то уважения и дружбы людей, которые богаче и, наверное, умнее его, они ворочают торговлей всей страны, другой брат, спрятавшись в монастыре, приобретает славу мудреца и праведника, а вот он, Пётр, предан на растерзание каким-то случаям. Почему? За что?

– А за распутство ты обругал почтенных людей – напрасно! – говорил Алексей уже как-то мягко, вкрадчиво. – Это – не от распутства, это от избытка силы. Адвокат – шельма, но он правильно понимает, он умный! Конечно – люди пожилые, даже старики, а озорство у них, как у мальчишек, да ведь мальчишки-то озоруют тоже от силы роста. И то возьми в расчёт, что бабы у нас пресные, без перца, скучно с ними! Я не про Ольгу мою говорю, она – особенная! Есть такие глупо-мудрые бабы, они как бы слепы на тот глаз, который плохое видит, Ольга вот из эдаких. Её обидеть – нельзя, она плохого не видит, злему – не верит. Ты про Наталью эдак не скажешь, а людям верно сказал про неё: домашняя машина!

– Так и сказал? – угрюмо осведомился Пётр.

– Не сам же Локтев выдумал эти слова.

Хотелось ещё о многом спросить брата, но Пётр боялся напомнить ему то, что Алексей, может быть, уже забыл. У него возникало чувство неприязни и зависти к брату.

«Всё умнеет, бес...»

Он видел в брате нечто рысистое, нахлёстанное и лисью изворотливость. Раздражали ястребиные глаза, золотой зуб, блестящий за верхней, судорожной губою, седенькие усы, воинственно закрученные, весёлая бородка и цепкие, птичьи пальцы рук, особенно неприятен был указательный палец правой руки, всегда рисовавший в воздухе что-то затейливое. А кургузый, железного цвета пиджачок делал Алексея похожим на жуликоватого ходатая по чужим делам.

Ему вдруг захотелось, чтоб Алексей ушёл.

– Поспать надо мне, – сказал он, прикрыв глаза.

– Это – разумно, – согласился брат. – Ты уж сегодня не ходи никуда.

«Как мальчишку, он меня учит», – обиженно подумал Пётр, проводив его. Пошёл в угол к умывальнику и остановился, увидав, что рядом с ним бесшумно двигается похожий на него человек, несчастно растрёпанный, с измятым лицом, испуганно выкатившимися глазами, двигается и красной рукою гладит мокрую бороду, волосатую грудь. Несколько секунд он не верил, что это его отражение в зеркале, над диваном, потом жалобно усмехнулся и снова стал вытирать куском льда лицо, шею, грудь.

«Найму извозчика, поеду в город», – решил он, одеваясь, но, сунув руку в рукав пиджака, сбросил его на стул и крепко прижал пальцем костяную кнопку звонка.

брание сочинений в тридцати томах. Том 16. Рассказы, повести 1922–1925. Максим Горький gorkiymaxim.  
– Чаю; завари крепче! – сказал он слуге. – Солёного дай. Коньяку.

Посмотрел из окна, широкие двери лавок были уже заперты, по улице ползли люди, приплюснутые жаркой тьмою к булыжнику; трещал опаловый фонарь у подъезда театра; где-то близко пели женщины.

«Моль».

– Можно убрать, – сказали за спиной, он круто обернулся; в двери стояла старуха с одним глазом, с половой щёткой и тряпками в руках. Он молча вышел в коридор и наткнулся на человека в тёмных очках, в чёрной шляпе; человек сказал в щель неприкрытой двери:

– Да, да, больше ничего!

Все было нехорошо, заставляло думать, искать в словах скрытый смысл. Потом Артамонов старший сидел за круглым столом, перед ним посвистывал маленький самовар, позванивало стекло лампы над головой, точно её легко касалась чья-то невидимая рука. В памяти мелькали странные фигуры бешено пьяных людей, слова песен, обрывки командующей речи брата, блестящие чьи-то мимоходом замеченные глаза, но в голове всё-таки было пусто и сумрачно; казалось, что её пронзил тоненький, дрожащий луч и это в нём, как пылинки, пляшут, вертятся люди, мешая думать о чём-то очень важном.

Он пил горячий, крепкий чай, глотал коньяк, обжигая рот, но не чувствовал, что пьянеет, только возрастало беспокойство, хотелось идти куда-то. Позвонил. Явился какой-то туманно струящийся человек, без лица, без волос, похожий на палку с костяным набалдашником.

– Ликёру зелёного принеси, Ванька; зелёного, знаешь?

– Так точно, шартрез. [31]

– Ты разве Ванька?

– Никак нет, Константин.

– Ну, ступай.

Когда лакей принёс ликёр, Артамонов спросил:

– Солдат?

– Никак нет.

– А говоришь, как солдат.

– Должность сходная, повиноваться надо.

Артамонов подумал, дал ему рубль и посоветовал:

– А ты – не повинуйся. Пошли всех к..., а сам торгуй мороженым. И больше ничего!

Ликёр был клейкий, точно патока, и едкий, как нашатырный спирт. От него в голове стало легче, яснее, всё как-то сгустилось, и, пока в голове происходило это сгущение, на улице тоже стало тише, всё уплотнилось, образовался мягкий шумок и поплыл куда-то далеко, оставляя за собою тишину.

«Повиноваться надо? – размышлял Артамонов. – Кому? Я – хозяин, а не лакей. Хозяин я или нет?»

Но все размышления внезапно пресеклись, исчезли, спугнутые страхом: Артамонов внезапно увидел перед собою того человека, который мешал ему жить легко и умело, как живёт Алексей, как живут другие, бойкие люди: мешал ему широколицый, бородатый человек, сидевший против него у самовара; он сидел молча, вцепившись пальцами левой руки в бороду, опираясь щекою на ладонь; он смотрел на Петра Артамонова так печально, как будто прощался с ним, и в то же время так, как будто жалел его, укорял за что-то; смотрел и плакал, из-под его рыжеватых век

брание сочинений в тридцати томах. Том 16. Рассказы, повести 1922–1925. Максим Горький gorkiymaxim.  
текли ядовитые слёзы; а по краю бороды, около левого глаза, шевелилась большая муха; вот она переползла, точно по лицу покойника, на висок, остановилась над бровью, заглядывая в глаз.

– Что, сволочь? – спросил Артамонов врага своего; тот не двинулся, не ответил, только пошевелил губами.

– Ревёшь? – злорадно заорал Пётр Артамонов. – Запутал меня, подлец, а сам плачешь? Самому жалко?

У-у...

Схватив со стола бутылку, он с размаха ударил того по лысоватому черепу.

На треск разбитого зеркала, на грохот самовара и посуды, свалившихся с опрокинутого стола, явились люди, их было немного, но каждый раскалывался надвое, расплывался; одноглазая старуха в одну и ту же минуту сгибалась, поднимая самовар, и стояла прямо.

Сидя на полу, Артамонов слышал жалобные голоса:

– Ночь, все спят.

– Зеркальце разбили.

– Это, знаете, не фасон...

Артамонов, разводя руками, плыл куда-то и мычал:

– Муха...

На другой день к вечеру, рысцей, прибежал Алексей, заботливо, как доктор – больного или кучер – лошадь, осмотрел брата, сказал, расчёсывая усы какой-то маленькой щёткой:

– Неестественно ты разбух; в этом образе домой являться – нельзя! К тому же ты мне здесь можешь оказать помощь. Бороду следует постричь, Пётр. И купи ты себе сапоги другие, сапоги у тебя – извозчиьи!

Стиснув челюсти, покорно Артамонов старший шёл за братом к парикмахеру, – Алексей строго и точно объяснял, насколько надо остричь бороду и волосы на голове; в магазине обуви он сам выбрал Петру сапоги.

После этого, взглянув в зеркало, Пётр нашёл, что он стал похож на приказчика, а сапоги жали ему ногу в подъёме. Но он молчал, сознавая, что брат действует правильно: и волосы постричь и сапоги переменить – всё это нужно. Нужно вообще привести себя в порядок, забыть всё мутное, подавляющее, что осталось от кутежа и весело, ощутимо тяготило.

Но сквозь туман в голове и усталость отравленного, измотанного тела, он, присматриваясь к брату, испытывал всё более сложное чувство, смесь зависти и уважения, скрытой насмешливости и вражды. Этот рысистый человек, тощий, с палочкой в руке, остроглазый, сверкал и дымил, пылая ненасытной жадностью к игре делом. Завтракая, обедая с ним в кабинетах лучших трактиров ярмарки, в компании именитых купцов, Пётр с немалым изумлением видел, что Алексей держится как будто шутком, стараясь смешить, забавлять богачей, но они, должно быть, не замечая шутовского, явно любили, уважали Алексея, внимательно слушали сорочий треск его речей.

Огромный, тугобородый текстильщик Комолов грозил ему пальцем цвета моркови, но говорил ласково, выкатив бычьи глаза, сочно причмокивая:

– Ловок ты, Олёша, хитёр, лиса! Обошёл ты меня...

– Ермолай Иванович! – восторженно кричал Алексей. – Соревнование – так?

– Верно. Не зевай, ходи тузом козырей!

брание сочинений в тридцати томах. Том 16. Рассказы, повести 1922–1925. Максим Горький gorkiymaxim.  
– Ермолай Иванович, – учусь!

Комолов соглашался:

– Учиться – надо.

– Господа! – так же восторженно, но уже вкрадчиво говорил Алексей, размахивая вилкой. – Сын мой, Мирон, умник, будущий инженер, сказывал: в городе Сиракузе знаменитейший ученый был; предлагал он царю: дай мне на что опереться, я тебе всю землю переверну!

– Ишь ты, серопузый...

– Переверну, говорит! Господа! Нашему сословию есть на что опереться – целковый! Нам не надо мудрецов, которые перевёртывают могут, мы сами – с усами; нам одно надобно: чиновники другие! Господа! Дворянство – чахнет, оно – не помеха нам, а чиновники у нас должны быть свои и все люди нужные нам – свои, из купцов, чтоб они наше дело понимали, – вот!

Седые, лысые, дородные люди весело соглашались:

– Верно, серопузый!

А одноглазый, остроносый, костлявенький старичок, дисконтёр Лосев, вежливенько хихикая, говорил:

– У Алексея Ильича умишко – мышка; всё знает: где – сало, где – мало, и грызёт, грызёт! Его здоровье!

Поднимали бокалы, Алексей радостно чокался со всеми, а Лосев, похлопывая детской ручкой по крутому плечу Комолова, говорил:

– Умненькие среди нас заводятся.

– Всегда были! – гордо отвечал Комолов. – Родитель мой из грузчиков в люди вышел...

– Родитель твой с того начал, говорят, что богатого армянина зарезал, – посмеиваясь, сказал Лосев, а тугобородый текстильщик, захохотав, как баран, ответил:

– Враки! Это у нас по глупости говорят: если – счастлив, значит – грешен! И про тебя, Кузьма, нехороши слухи бегают...

– И про меня, – подтвердил Лосев, вздыхая. – Слухи – мухи, эх!

Артамонов старший слушал, побрякивая, много ел, старался меньше пить и уныло чувствовал себя среди этих людей зверем другой породы. Он знал: все они – вчерашние мужики; видел во всех что-то разбойное, сказочное, внушающее почтение к ним и общее с его отцом. Конечно, отец был бы с ними и в деле и в кутежах, он, вероятно, так же распутничал бы и жёг деньги, точно стружку. Да, деньги – стружка для этих людей, которые неумоимо, со всею силой строгают всю землю, друг друга, деревню.

Но брат был чем-то не похож на этих больших людей, и порою, несмотря на неприязнь к нему, Пётр чувствовал, что Алексей острее, умнее их и даже – опаснее.

– Господа! – исступлённо, как одержимый, кричал он. – Подумайте, какая неистощимая сила рук у нас, какие громадные миллионы мужика! Он и работник, он и покупатель. Где это есть в таком числе? Нигде нет! И не надобно нам никаких немцев, никаких иноземцев, мы всё сами!

– Верно, – соглашались с ним подвыпившие, горластые люди.

Он говорил о необходимости повысить пошлины на ввоз иностранных товаров, о скупке помещичьих земель, о вредности дворянских банков, он всё знал, и со всем, что он говорил, люди восторженно соглашались, к удивлению Артамонова старшего.



«Верно Никита сказал, этот умеет жить», – думал он с завистью.

Несмотря на слабость своего здоровья, Алексей тоже распутничал. У него была, видимо, постоянная и давняя любовница, москвичка, содержавшая хор певиц, дородная, вальяжная женщина с медовым голосом и лучистыми глазами. Говорили, что ей уже сорок лет, но по лицу её, матово-белому, с румянцем под кожей, казалось, что ей нет и тридцати.

– Алёшинька, сокол, – говорила она, показывая острые, лисьи зубы, и закрывала Алексея собою, как мать ребёнка.

Она должна была знать, что Алексей не брезгует и девицами её хора, она, конечно, видела это. Но отношение её к брату было дружеское, Пётр не однажды слышал, как Алексей советуетсся с нею о людях и делах, это удивляло его, и он вспоминал отца, Ульяну Баймакову.

«Бес», – думал он, глядя на брата.

Даже озорство его имело какой-то особенно затейливый характер. Толстый клоун, немец Майер, показывал в цирке свинью; одетая в длиннополый сюртук, в цилиндре, в сапожках бутылками, она ходила на задних ногах, изображая купца. Публику это очень забавляло, смеялось и купечество, но Алексей отнёсся иначе – он обиделся и уговорил компанию приятелей выкрасть свинью. Подкупили конюха, выкрали свинью, и купечество торжественно съело её мясо, приготовленное под разными соусами искуснейшим поваром гостиницы Барбатенко. Пётр Артамонов смутно слышал, что клоун повесился с горя [32] Всё, что он подметил в Алексее на ярмарке, вызвало у него очень тревожные мысли.

«Жулик. Без совести. Может по миру пустить меня и сам этого не заметит. И не из жадности разорит, а просто – заиграется».

Сознание этой опасности, отрезвив его, поставило на ноги. Домой он возвращался один, Алексей проехал в Москву. Был сентябрь, ветреный и мокрый, когда Артамонов подъезжал к Дрёмову. Позванивая бубенцами, смачно чмокая копытами по раскисшей земле, ямские лошади охотно бежали сквозь невысокий ельник, строгими рядами, недвижимо охранявший узкую полосу болотистой дороги. Небо сплошь замазано серым тестом облаков, так же серо и скучно было в похмельной голове. Артамонов как будто похоронил кого-то очень близкого, но кто всё-таки надоел ему. Было жалко покойника, но было и приятно знать, что его уже больше не встретишь; перестал он смущать неясностью своих требований, немых упреков и всем тем, что мешало жить настоящему, живому человеку.

«Дело делать надо, больше ничего! – убеждал он себя. – Все люди делом живы. Да».

Он принялся за дело с полным напряжением сил своих. Спокойно пошли ясные дни бабьего лета, сменяясь грустным сиянием лунных ночей.

Просыпаясь в жемчужном сумраке утренних зорь осени, Артамонов старший слышал требовательный гудок фабрики, а через полчаса начинался её неугомонный шорох, шёпот, глуховатый, но мощный и привычный уху шум работы. С рассвета до позднего вечера у амбаров кричали мужики и бабы, сдавая лён; у трактира, на берегу Ватаракши, открытого одним из бесчисленных Морозовых, звучали пьяные песни, визжала гармоника. По двору ходил тяжёлый, аккуратный, как машина, строгий к людям Тихон Вялов с метлой, с лопатой в руках, с топором; он не торопясь мёл, копал, рубил, покрикивал на мужиков, на рабочих. Мелькал голубой, всегда чистенький Серафим. В доме, тоже как машина, действовала Наталья, очень довольная богатыми подарками, которые муж привёз ей с ярмарки, и ещё больше – его молчаливым, ровным спокойствием. Всё шло гладко, казалось прочно сложенным; фабрика, люди, даже лошади – всё работало как заведённое на века. И быстро, точно облака, гонимые ветром, плыли месяца, слагались в годы.

Быком, наклоня голову, Артамонов старший ходил по корпусам, по двору, шагал по улице посёлка, пугая ребятшек, и всюду ощущал нечто новое, странное: в этом большом деле он являлся почти лишним, как бы зрителем. Было приятно видеть, что Яков понимает дело и, кажется, увлечён им; его поведение не только отвлекало от мыслей о старшем сыне, но даже примиряло с Ильёй.

брание сочинений в тридцати томах. Том 16. Рассказы, повести 1922–1925. Максим Горький gorkiymaxim.  
«Обойдусь и без тебя, учёный. Учись».

Сытенький, розовощёкий, с приятными глазами, которые, улыбаясь, отражали все цвета, точно мыльные пузыри, Яков солидно носил круглое тело своё и, хотя вблизи был странно похож на голубя, издали казался деловитым, ловким хозяином. Работницы ласково улыбались ему, он ворковал с ними, прищуриваясь сладостно, и ходил около них как-то боком, не умея скрыть под напускной солидностью задор молодого петуха. Отец дёргал себя за ухо, ухмылялся и думал:

«Паулу бы тебе показать, дурачок...»

Ему нравилось, что Яков, бывая у дяди, не вмешивался в бесконечные споры Мирона с его приятелем, отрѣпанным, беспокойным Горицетовым. Мирон стал уже совершенно не похож на купеческого сына; худощавый, носатый, в очках, в курточке с позолоченными пуговицами, какими-то вензелями на плечах, он напоминал мирового судью. Ходил и сидел он прямо, как солдат, говорил высокомерно, заносчиво, и хотя Пётр понимал, что племянник всегда говорит что-то умное, всё-таки Мирон не нравился ему.

– Ну, брат, это хилософия, – поучительно говорил он, держа руки фертом, сунув их в карманы курточки. – Это мудрствование от хилости, от неумелости.

Артамонову старшему казалось, что и Горицетов тоже говорит не плохо, не глупо. Маленький, в чёрной рубахе под студенческим сюртуком, неприглядно расстѣгнутый, лохматый, с опухшими глазами, точно он не спал несколько суток, с тёмным, острым лицом в прыщах, он кричал, никого не слушая, судорожно размахивая руками, и насккивал на Мирона:

– Вы достигнете того, что солнце будет восходить в небеса по свистку ваших фабрик и дымный день вылезать из болот, из лесов по зову машин, но – что сделаете вы с человеком?

Мирон поднимал брови, морщился и, поправляя очки, долбил сухо, мерно:

– Это – хилософия, это – стишки! Это языкоблудие и суемудрие, друг мой. Жизнь – борьба; лирика, истерика неуместны в ней и даже смешны...

Слова спорщиков были приметны, как белые голуби среди сизых; Артамонов старший думал:

«Да, вот оно: новые птицы – новые песни».

Суть спора он понимал смутно и, наблюдая за Яковом, с удовольствием видел, что сын разглаживает светлый пух на верхней губе своей потому, что хочет спрятать насмешливую улыбочку.

«Так, – думал Пётр. – А что сказал бы Илья?»

Горицетов кричал:

– Заковав землю и людей в железо, сделал человека рабом машины...

Покачивая носом, Мирон говорил ему:

– Человек, о котором ты заботишься, – бездельник. Он погибнет, если завтра не поймёт, что его спасение в развитии промышленности...

«У которого – правда? Который лучше?» – догадывался Пётр Артамонов.

Горицетов не нравился ему ещё более, чем племянник, в нём было что-то жидкое, ненадёжное, он явно чего-то боялся, кричал. Бесцеремонен, как пьяный, он садился к обеденному столу раньше хозяев, судорожно переключивал ножи и вилки, ел быстро, неблагопристойно, обжигаясь, кашляя; в нём, как в Алексее, было что-то подпрыгивающее, лишнее и, кажется, злое. Тёмные зрачки его воспалённых глаз смотрели слепо, с Петром Артамоновым он здоровался молча, непочтительно совал ему шершавую, горячую руку и быстро отдёргивал её. В конце концов, это был какой-то ненужный человек и нельзя понять: зачем он Мирону?

брание сочинений в тридцати томах. Том 16. Рассказы, повести 1922–1925. Максим Горький gorkiуmaxim.

– Ты, Стёпа, ешь, а не говори, – советовала ему Ольга, он трескуче отвечал:

– Не могу, здесь проповедуют пагубную ересь!

Петра изумляло молчаливое внимание Алексея к спорам студентов, он лишь изредка поддерживал сына:

– Правильно! Где сила, там и власть, а сила – в промышленниках, значит...

Ольга, с лучистыми морщинками на висках, с красненьким кончиком носа, отягчённого толстыми, без оправы, стёклами очков, после обеда и чая садилась к пюльцам у окна и молча, пристально, бесконечно вышивала бисером необыкновенно яркие цветы. У брата Пётр чувствовал себя уютнее, чем дома, у брата было интересней и всегда можно выпить хорошего вина.

Возвращаясь домой с Яковом, отец спрашивал его:

– Понимаешь, о чём спорят?

– Понимаю, – кратко отвечал сын.

Чтоб скрыть от него своё непонимание, Артамонов старший строго допытывался:

– А о чём?

Яков всегда отвечал неохотно, коротко, но понятно; по его словам выходило, что Мирон говорит: Россия должна жить тем же порядком, как живёт вся Европа, а Горицветов верит, что у России свой путь. Тут Артамонову старшему нужно было показать сыну, что у него, отца, есть на этот счёт свои мысли, и он внушительно сказал:

– Если б иноземцы жили лучше нас, так они бы к нам не лезли...

Но – это была мысль Алексея, своих же не оказывалось. Артамонов обиженно хмурился. А сын как будто ещё углубил обиду, сказав:

– Можно прожить и не хвастаясь умом, без этих разговоров...

Артамонов старший промычал:

– Можно и без них...

Он всё чаще испытывал толчки маленьких обид и удивлений. Они отодвигали его куда то в сторону, утверждая в роли зрителя, который должен всё видеть, обо всём думать, А всё вокруг незаметно, но быстро изменялось, всюду, в словах и делах, навязчиво кричало новое, беспокойное. Как-то, за чаем, Ольга сказала:

– Правда – это когда душа полна и больше ничего не хочешь.

– Верно, – согласился Пётр.

Но Мирон, сверкнув очками, начал учить мать:

– Это – не правда, а – смерть. Правда – в деле, в действии.

Когда он ушёл, унося с собою толстый лист бумаги, свёрнутый в трубу, Пётр заметил Ольге:

– Груб с тобою сын.

– Нисколько.

– Вижу, груб!

– Он – умнее меня, – сказала Ольга. – Я ведь необразованна, я часто глупости говорю. Дети вообще умнее нас.

В это Артамонов не мог поверить, усмехаясь, он ответил:

– Верно, ты говоришь глупости. А вот старики были умнее нас, стариками сказано: «От сыновей – горе, от дочерей – вдвое», – поняла?

Её слова об уме детей очень задели его, она, конечно, хотела намекнуть на Илью. Он знал, что Алексей помогает Илье деньгами, Мирон пишет ему письма, но из гордости он никогда не расспрашивал, где и как живёт Илья; Ольга сама, между прочим, искусно рассказывала об этом, понимая гордость его. От неё он знал, что Илья зачем-то уехал жить в Архангельск, а теперь живёт за границей.

– Ну, и пускай живёт. Умнее будет – поймёт, что был глуп.

Порою, думая об Илье, он удивлялся упрямству сына; все кругом умнеют, чего он ждёт, Илья?

Он нередко встречал в доме брата Попову с дочерью, всё такую же красивую, печально спокойную и чужую ему. Она говорила с ним мало и так, как, бывало, он говорил с Ильей, когда думал, что напрасно обидел сына. Она его стесняла. В тихие минуты образ Поповой вставал пред ним, но не возбуждал ничего, кроме удивления; вот, человек нравится, о нём думаешь, но – нельзя понять, зачем он тебе нужен, и говорить с ним так же невозможно, как с глухонемым.

Да, всё изменялось. Даже рабочие становятся всё капризнее, злее, чахоточнее, а бабы всё более крикливы. Шум в рабочем посёлке беспокойней; вечерами даже кажется, что все там воют волками и даже засоренный песок сердито ворчит.

У рабочих заметна какая-то непоседливость, страсть бродяжить. Никем и ничем не обиженные парни вдруг приходят в контору, заявляя о расчёте.

– Куда это вы? – спрашивал Пётр.

– Поглядеть, что в других местах.

– Чего они бесятся? – спрашивал Артамонов старший брата, – Алексей с лисьими ужимочками, посмеиваясь, говорил, что рабочие волнуются везде.

– Ещё у нас – хорошо, тихо, а вот в Петербурге... Чиновники, министры у нас не те, каких надо...

И дальше он говорил уже нечто такое дерзкое, глупое, что старший брат угрюмо поучал его:

– Ерунда это! Это господам выгодно власть отнять у царя, господа беднеют. А мы и безвластно богатеем. Отец у тебя в дегтярных сапогах по праздникам гулял, а ты заграничные башмаки носишь, шёлковые галстуки. Мы должны быть работники царю, а не свиньи. Царь – дуб, это с него нам золотые жёлуди.

Алексей, слушая, усмехался и этим ещё более раздражал. Артамонов старший находил, что все вообще люди слишком часто усмеваются; в этой их новой привычке есть что-то и невесёлое и глупое. Никто из них не умел однако насмешничать так утешительно и забавно, как Серафим-плотник, бессмертный старичок.

Артамонов очень подружился с Утешителем. Время от времени на него снова стала нападать скука, вызывая в нём непобедимое желание пить. Напиваться у брата было стыдно, там всегда торчали чужие люди, а он особенно не хотел показать себя пьяным Поповой. Дома Наталья в такие дни уныло сгибалась, угнетённо молчала; было бы лучше, если б она ругалась, тогда и самому можно бы ругать её. А так она была похожа на ограбленную и, не возбуждая злобы, возбуждала чувство, близкое жалости к ней; Артамонов шёл к Серафиму.

– Выпить хочу, старик!

Весёлый плотник улыбался, одобрял:

– Это – обыкновенное дело, как солнышко летом! Устал ты, значит, притомился. Ну, ну, подкрепись! Дело твоё – не малое, не бородавка на щеке!

Он держал для хозяина необыкновенного вкуса настойки, наливки, доставал из всех

брание сочинений в тридцати томах. Том 16. Рассказы, повести 1922–1925. Максим Горький gorkiуmaxim. углов разноцветные бутылки и хвастался:

– Сам выдумал, а совершает одна дьяконица, вдова, перец-баба! Вот, отведай, эта – на берёзовой сережке с весенним соком настояна. Какова?

Присаживался к столу и, потягивая своё, «репное», болтал:

– Да, так вот, дьяконица! Разнесчастная женщина. Что ни любовник, то и вор. А без любовников – не может, такое у неё нетерпение в жилах...

– Нет, вот я видел одну на ярмарке, – вспоминал Артамонов.

– Конечно! – спешил подтвердить Серафим. – Там отборные товары со всей земли. Я знаю!

Серафим всех и всё знал; занятно рассказывал о семейных делах служащих и рабочих, о всех говорил одинаково ласково и о дочери своей, как о чужой ему.

– Остепенилась, шельма. Живёт со слесарем Седовым и ведь хорошо живёт, гляди-ко! Да, всякая тварь свою ямку находит.

Хорошо было у Серафима в его чистой комнатке, полной смолистого запаха стружек, в тёплом полумраке, которому не мешал скромный свет жестяной лампы на стене.

Выпив, Артамонов жаловался на людей, а плотник утешал его.

– Это – ничего, это хорошо! Побегали люди, вот в чём суть! Лежал-лежал человек, думал-думал, да встал и – пошёл! И пускай идёт! Ты – не скучай, ты человеку верь. Себе-то веришь?

Пётр Артамонов молчал, соображая: верит он себе или нет? А бойкий голосок Серафима, позванивая словами, утешительно пел:

– Ты не гляди, кто каков, плох, хорош, это непрочно стоит, вчера было хорошо, а сегодня – плохо. Я, Пётр Ильич, всё видел, и плохое и хорошее, ох, много я видел! Бывало – вижу: вот оно, хорошее! А его и нет. Я – вот он я, а его нету, его, как пыль ветром, снесло. А я – вот! Так ведь я – что? Муха между людей, меня и не видно. А – ты...

Серафим, многозначительно подняв палец, умолкал.

Слушать его речи Артамонову было дважды приятно; они действительно утешали, забавляли, но в то же время Артамонову было ясно, что старичишка играет, врёт, говорит не по совести, а по ремеслу утешителя людей. Понимая игру Серафима, он думал:

«Шельмец старик, ловок! Вот, Никита эдак-то не умеет».

И вспоминал разных утешителей, которых видел в жизни: бесстыдных женщин ярмарки, клоунов цирка и акробатов, фокусников, укротителей диких зверей, певцов, музыкантов и чёрного Стёпу, «друга человеческого». В брате Алексее тоже есть что-то общее с этими людьми. А в Тихоне Вялове – нет. И в Пауле Менотти тоже нет.

Пьянея, он говорил Серафиму:

– Врёшь, старый чёрт!

Плотник, хлопая ладонями по своим острым коленям, говорил очень серьёзно:

– Не-ет! Ты сообрази: как мне врать, ежели я правды не знаю? Я же тебе из души говорю: правды не знаю я, стало быть – как же я совру?

– Тогда – молчи!

– Али я немой? – ласково спрашивал Серафим, и розовое личико его освещалось улыбкой. – Я – старичок, – говорил он, – я моё малое время и без правды доживу. Это молодым надо о правде стараться, для того им и очки полагаются. Мирон

брание сочинений в тридцати томах. Том 16. Рассказы, повести 1922–1925. Максим Горький gorkiymaxim.  
Лексеич в очках гуляет, ну, он насквозь видит, что к чему, кого – куда.

Артамонову старшему было приятно знать, что плотник не любит Мирона, и он хохотал, когда Серафим, позванивая на струнах гусель, задорно пел:

Ходит дятел по заводу,  
Смотрит в светлые очки,  
Дескать, я тут – самый умный,  
Остальные – дурачки!  
– Верно! – одобрял Артамонов.

А плотник, тоже пьяненький, притопывая аккуратной ножкой, снова пел:

То не ястреб, то не сын  
Щиплет птичек гоже,  
Это – Алексей Ильич,  
Угодничек божий!  
Артамонову старшему и это нравилось; тогда Серафим бесстыдно пел о Якове:

Яша Машу обнимает,  
Ничего не понимает...  
Так они забавлялись иногда до рассвета, потом в дверь стучал Тихон Вялов, будил хозяина, если он уже уснул, и равнодушно говорил:

– Домой пора, сейчас гудок будет; рабочие увидят вас, – нехорошо!

Артамонов кричал:

– Что – нехорошо? Я – хозяин!

Но подчинялся дворнику, шёл, тяжело покачиваясь, ложился спать, иногда спал до вечера, а ночью снова сидел у Серафима.

Весёлый плотник умер за работой; делал гроб утонувшему сыну одноглазого фельдшера Морозова и вдруг свалился мёртвым. Артамонов пожелал проводить старика в могилу, пошёл в церковь, очень тесно набитую рабочими, послушал, как строго служит рыжий поп Александр, заменивший тихого Глеба, который вдруг почему-то расстригся и ушёл неизвестно куда. В церкви красиво пел хор, созданный учителем фабричной школы Грековым, человеком похожим на кота, и было много молодёжи.

«Воскресенье», – объяснил себе Артамонов обилие народа.

Небольшой, лёгкий гроб несли тоже молодые ткачи; более солидные рабочие держались в стороне; за гробом шагала нахмурясь, но без слёз, Зинаида в непристойно пёстрой кофте, рядом с нею широкоплечий, чисто одетый слесарь Седов, в стороне тяжело мял песок Тихон Вялов. Ярко сияло солнце, мощно и согласно пели певчие, и был замечен в этих похоронах странный недостаток печали.

– Хорошо хоронят, – сказал Артамонов, отирая пот с лица; Тихон остановился, глядя под ноги себе, подумал, потом сказал:

– Приятен был; игровой, как эта...

Он повертел рукою в воздухе.

– Её старик по улице носил, а девчонка пела... Утешал.

Взглянув на хозяина с непочтительной, возмущившей Артамонова строгостью, он добавил:

– С толку он сбивал людей: никого не обижает, а живёт – несправедно.

– Праведно, праведно! – передразнил его хозяин. – Ты к этим мыслям на цепь посажен. Гляди – сбесишься, как Тулун...

И, круто отвернувшись от дворника, Артамонов пошёл домой.

Было ещё рано, около полудня, но уже очень жарко; песок дороги и синь воздуха

брание сочинений в тридцати томах. Том 16. Рассказы, повести 1922–1925. Максим Горький gorkiymaxim. становились всё горячее. К вечеру солнце напарило горы белых облаков, они медленно поплыли над краем земли к востоку, сгущая духоту. Артамонов погулял в саду, вышел за ворота. Тихон мазал дёгтем петли ворот; заржавев во время весенних дождей, они скверно визжали.

– Что ж ты сегодня, в праздник, мажешь? – лениво спросил Артамонов, присев на лавку, – Тихон косо взглянул на него белками глаз и сказал вполголоса:

– Серафим был вредный.

– Чем это?

В ответ Артамонову чёрными тараканами поползли странные слова:

– Памятлив был, помнил много. Всё помнил, что видел. А – что видеть можно? Зло, канитель, суету. Вот он и рассказывал всем про это. От него большая смута пошла. Я – вижу.

Тыкая помазком в пятки петель, он продолжал всё более ворчливо:

– Вышибить надо память из людей. От неё зло растёт. Надо так: одни пожилы – померли, и всё зло ихнее, вся глупость с ними издохла. Родились другие; злого ничего не помнят, а добро помнят. Я вот тоже от памяти страдаю. Стар, покоя хочу. А – где покой? В беспамятстве покой-то...

Никогда ещё Тихон не говорил сразу так много и раздражающе. Глупые, как всегда, слова его в этот час почему-то были особенно враждебны Артамонову; разглядывая клочковатую бороду дворника, его жидкие, расплывшиеся зрачки, измятый морщинами каменный лоб, Артамонов удивлялся всё растущему уродству этого человека. Морщины были неестественно глубоки, точно складки на голенище сапога, скуластое лицо, оголённое старостью, приняло серый цвет пемзы, нос – ноздреватый, как губка.

«Одряхлел, – думал Артамонов, и это было приятно ему. – Заговариваться стал. Не работник, надо рассчитать. Дам награду».

Держа в одной руке квач, а в другой ведёрко дёгтя, Тихон подвинулся к нему и, указывая квачом на тёмно-красное, цвета сырого мяса, здание фабрики, ворчал:

– Ты послушал бы, что они там говорят, Седов-щёголь, кривой Морозов, брат его Захарка, Зинаидка тоже, – они прямо говорят: которое дело чужими руками строится – это вредное дело, его надо изничтожить...

– Будто – твои мысли, – насмешливо сказал хозяин.

– Мои? – Тихон отрицательно мотнул головой. – Нет, не мои. Я этих затей не принимаю. Работай каждый на себя, тогда ничего не будет, никакого зла. А они говорят: всё – от нас пошло, мы – хозяева! Ты гляди, Пётр Ильич, это верно: всё от них! Они тебя впрягли в дело, ты вывез воз на ровную дорогу, а теперь...

Артамонов солидно крякнул, встал, сунул руки в карманы и решительно, хотя несколько путаясь в словах, заговорил, глядя через голову Тихона, в облака:

– Вот что: я, конечно, понимаю, ты всю жизнь со мной прожил, это – так! Ну, однако ты стар, тебе уж трудно...

– А Серафим поддакивал в этом, – сказал Тихон, видимо, не слушая хозяина.

– Подожди! Тебе пора на отдых...

– Всем – пора. А как же?

– Постой... Характер у тебя – тяжёлый...

Тихон Вялов не удивился, услышав о расчёте, он спокойно пробормотал:

– Ну, что ж...

– Я тебя, конечно, награжу, – обещал Артамонов, несколько смущённый его

Тихон промолчал, смазывая дёгтем свои пыльные сапоги; тогда Артамонов сказал со всей твёрдостью:

– Значит – прощай!

– Ладно, – ответил дворник.

Артамонов пошёл за реку, надеясь, что там прохладнее; там, под сосною, где он поссорился с Ильёй, Серафим построил ему из белых сучьев берёзы нечто вроде трона. Оттуда хорошо было видно всю фабрику, дом, двор, посёлок, церковь, кладбище. Льдисто сверкали большие окна фабричной больницы, школы; маленькие люди челноками сновали по земле, ткали бесконечную ткань дела, люди ещё меньше бегали по песку фабричного посёлка. Около церковной ограды, среди серых стволов ольхи, паслось игрушечное стадо коз; их развёл одноглазый фельдшер Морозов, внук древнего ткача Бориса, – фабричные бабы много покупали козьего молока для детей. А за больницей, на лысом квадрате земли, обнесённом решёткой, паслись мелкие люди в жёлтых халатах и белых колпаках, похожие на сумасшедших. Вокруг фабрики развелось много птиц: воробьёв, ворон, галок, трещали сороки, торопливо перелетая с места на место, блестя атласом белых боков; сизые голуби ходили по земле, особенно много было птиц около трактира на берегу Ватаракши, где останавливались мужики, привозя лён.

Но с некоторого времени всё это большое хозяйство уже не возбуждало ни удовольствия, ни гордости Артамонова, оно являлось для него источником разнообразных обид. Обидно было видеть, как брат, племянник и разные люди, окружающие их, кричат, размахивают руками, точно цыгане на базаре, спорят, не замечая его, человека старшего в деле. Даже говоря о фабрике, они забывали о нём, а когда он им напоминал о себе, люди эти слушали его молча, как будто соглашались с ним, но делали всё по-своему и в крупном и в мелком. Это началось давно, ещё с той поры, как они, против его желания, построили на фабрике электрическую станцию; Артамонов старший быстро убедился, что это и выгоднее и безопасней, но всё-таки не мог забыть обиду. Мелких обид было много, и они всё увеличивались в числе, становились острее.

Особенно дерзко и противно вёл себя племянник; он кончил учиться, одевался в какие-то нерусские, кожаные курточки, весь, от золотых очков до жёлтых ботинок, блестел, щурился, морщился и говорил:

– Это, дядя, старо. Не то время, дядя.

Казалось, он боится времени, как слуга – строгого хозяина. Но только этого он и боялся, во всём же остальном – невыносимо дерзок. Однажды он даже сказал:

– Поймите, дядя, с такими людьми, как вы и подобные вам, Россия не может больше жить.

Это настолько крепко ударило Артамонова, что он даже не спросил: почему? Оскорблённый, ушёл и несколько недель не ходил к брату, не разговаривал с Мироном, встречая его на фабрике.

Мирон собирался жениться на дочери Веры Поповой, такой же высокой и стройной, как её поседевшая, замороженная мать. Как все, эта девица тоже неприятно усмехалась. Она дёргала шеей, присматривалась ко всему упорным взглядом больших, бесстыдно открытых глаз, должно быть, ни во что не верующих, и, напевая сквозь зубы, жужжа, как муха, с утра до вечера портила полотно, размазывая на нём пёстрые картинки. Её соломенная шляпа, привязанная лентой за шею, всегда болталась на спине, волосы у неё были тоже соломенного цвета; одевалась неаккуратно, ноги были видны из-под юбки, почти до колен.

Противен был бездельник Горицветов; он мелькал, как стриж, неожиданно являлся, исчезал, снова являлся и, наскакывая на всех злой, маленькой собачкой, кричал своё:

– Вы хотите превратить богато одухотворённую Россию в бездушную Америку, вы строите мышеловку для людей...



брание сочинений в тридцати томах. Том 16. Рассказы, повести 1922–1925. Максим Горький gorkiymaxim.  
В этих криках Артамонов слышал иногда что-то верное, но чаще – нечто общее с глупостью Тихона Вялова, хотя он не знал людей, более различных, чем этот обожжённый, судорожный прыгун и тяжёлый, ко всему равнодушный Тихон. Горицветов подбегал к Елизавете Поповой и кричал на неё:

– Почему вы молчите, вы, человек духа?

Она улыбалась; лицо у неё было надменно и неподвижно, улыбались только её серые, осенние глаза. Артамонов старший слышал какие-то неслыханные, непонятные слова.

– Агония романтизма, – говорил Мирон, тщательно протирая куском замши стёкла очков.

Алексей летал где-то в Москве; Яков толстел, держался солидно в стороне, он говорил мало, но, должно быть, хорошо: его слова одинаково раздражали и Мирона и Горицветова. Яков отпустил окладистую татарскую бородку, и вместе с рыжеватой бородою у Якова всё заметнее насмешливость; приятно было слышать, когда сын лениво говорил бойким людям:

– Сядете вы в лужу по дороге в господу! Жили бы проще.

Старшему Артамонову и – он видел – Якову было очень смешно, когда Елизавета Попова вдруг уехала в Москву и там обвенчалась с Горицветовым. Мирон обозлился и не мог скрыть этого; покручивая острую, не купеческую бородку, вытягивая из неё нить сухих слов, он говорил явно фальшиво:

– Такие люди, как Степан Горицветов, – люди вымирающего племени. Нигде в мире нет людей настолько бесполезных, как он и подобные ему.

Яков сказал, подзадоривая:

– Однакож один эдакий ловко стащил из-под твоего носа кусок, облюбленный тобою!

Приподняв плечи, Мирон ответил:

– Я – не романтик.

– Чего? Кто это? – спросил Артамонов старший, и Мирон отчеканил, точно судья, читающий приговор свой:

– Никто не понимает, что такое романтик, вам этого тоже не понять, дядя. Это – нечто для красоты, как парик на лысую голову, или – для осторожности, как фальшивая борода жулику.

«Ага, прищемил нос», – подумал Артамонов старший с удовольствием.

Эти маленькие удовольствия несколько примиряли его со множеством обид, которые он испытывал со стороны бойких людей, всё более крепко забиравших дело в свои цепкие руки, отодвигая его в сторону, в одиночество. Но и в одиночестве он нашёл, надумал нечто горестно приятное, одиночество знакомило его с новым, хотя уже смутно знакомым, – с Петром Артамоновым иного рисунка, иного характера.

Это – хороший человек, и он жестоко обижен; жизнь обращалась с ним несправедливо, как мачеха с пасынком. Он начал жизнь покорным, бессловесным слугою своего отца, который не дал ему никаких радостей, а только глупую, скучную жену и взвалил на плечи его большое, тяжёлое дело. Да, жена любила его, и первый год жизни с нею был не плох, но теперь он знал, что даже распутная шпульница Зинаида умеет любить забавнее, жарче. И уж лучше не вспоминать о ловких, бешеных женщинах ярмарки. Жена всю жизнь боялась, сначала – Алексея, керосиновых ламп, потом электрических; когда они вспыхивали, Наталья отскакивала и крестилась. Она сконфузила его на ярмарке, в магазине граммофонов.

– Ой, не надо, не покупай! – просила она. – Может, в этой штуке проклятый кричит, душа его спрятана!

Теперь она боялась Мирона, доктора Яковлева, дочери своей Татьяны и, дико растолстев, целые дни ела. Из-за неё едва не удивился брат. Дети не уважали её. Когда она уговаривала Якова жениться, сын советовал ей насмешливо:

– Ты, мама, лучше покушай чего-нибудь.

Она отвечала покорно и неуверенно:

– Да я как будто уж не хочу.

И снова ела.

Отец сказал Якову:

– Ты что насмехаешься над матерью? Жениться тебе – пора!

– Не время связывать себя семьёй, – деловито ответил Яков.

– Да что вы все боитесь времени? – рассердился отец; сын, не ответив, пожал плечами.

Он тоже говорил:

– Вы, папаша, не понимаете.

Он говорил это мягко, но всё-таки ведь не может быть, чтоб отец понимал меньше сына. Люди живут не завтрашним днём, а вчерашним, все люди так живут.

Старший сын, любимый, пропал, исчез. Из любви к нему пришлось сделать такое, о чём не хочется вспоминать.

Старшая дочь Елена, широколицая, широкобёдрая баба, избалованная богатством и пьяницей мужем, была совершенно чужим человеком; она изредка приезжала навестить родителей, пышно одетая, со множеством колец на пальцах. Позванивая золотыми цепочками, брелоками, глядя сытыми глазами в золотой лорнет, она говорила усталым голосом:

– Как у вас пахнет нехорошо; дом весь протух, сгнил; вы бы новый построили. И кто же теперь живёт рядом с фабрикой!

Артамонов случайно слышал, как она говорила матери:

– А папаша всё такой же? Как, должно быть, скучно с ним! Мой – пьяница, шалун, а – весёлый.

У неё была какая-то особенно раздражавшая страсть к чистоте: садясь на стул, она обмахивала его платочком, от неё так крепко пахло духами, что хотелось чихать; её бесцеремонная, обидная брезгливость ко всему в доме вызывала у Артамонова желание возместить дочери за всё, чем она раздражала его; он при ней ходил по дому и даже по двору в одном нижнем белье, в неподпоясанном халате, в галошах на босую ногу, а за обедом громко чавкал и рыгал, как башкир. Дочь возмущалась:

– Что это, папаша?

Именно этого возмущения он и добивался.

– Извините, барыня! – говорил он. – Я ведь мужик.

И рыгал, чавкал ещё более свирепо.

Дочь бывала за границей и вечерами лениво, жирненьким голоском рассказывала матери чепуху: в каком-то городе бабы моют наружные стены домов щётками с мылом, в другом городе зиму и лето такой туман, что целый день горят фонари, а всё-таки ничего не видно; в Париже все торгуют готовым платьем и есть башня настолько высокая, что с неё видно города, которые за морем.

С младшей сестрою Елена спорила и даже ругалась. Татьяна росла худенькой, темнокожей и обозлённой тем, что она неприглядна. В ней было что-то, напоминавшее дьячка; должно быть, её коротенькая коса, плоская грудь и синеватый нос. Она жила у сестры, не могла почему-то кончить гимназию, боялась мышей и, соглашаясь с Мироном, что власть царя надо ограничить, недавно начала курить

брание сочинений в тридцати томах. Том 16. Рассказы, повести 1922–1925. Максим Горький gorkiymaxim.  
папиросы. Приезжая летом на фабрику, кричала на мать, как на прислугу, с отцом говорила сквозь зубы, целые дни читала книги, вечером уходила в город, к дяде, оттуда её приводил золотозубый доктор Яковлев.

По ночам не спала от девичьей тоски и била туфлей комаров на стенах, как будто стреляя из пистолета.

Всё вокруг становилось чуждо, крикливо, вызывающе глупо, всё – от дерзких речей Мирона до бессмысленных песенок кочегара Васьки, хромого мужика с вывихнутым бедром и растрёпанной, на помело похожей, головой; по праздникам Васька, ухаживая за кухаркой, торчал под окном кухни и, подыгрывая на гармонике, закрыв глаза, орал:

Стала ты теперь несчастна-я,  
Моя привычка!

Хочу видеть ежечасно  
Твоё, морда, личико!

И давно уже Ольга ничего не рассказывала про Илью, а новый Пётр Артамонов, обиженный человек, всё чаще вспоминал о старшем сыне. Наверное Илья уже получил достойное возмездие за свою строптивость, об этом говорило изменившееся отношение к нему в доме Алексея. Как-то вечером, придя к брату и раздеваясь в передней, Артамонов старший слышал, что Миром, возвратившийся из Москвы, говорит:

– Илья – один из тех людей, которые смотрят на жизнь сквозь книгу и не умеют отличить корову от лошади.

«Врёшь», – подумал Артамонов, находя что-то утешительное во враждебном отзыве племянника. Алексей спросил:

– Он – одной партии с Гориццветовым?

– Он – вреднее, – ответил Мирон.

Входя в комнату, Артамонов старший мысленно пригрозил им:

«Погодите, воротится он – покажет вам кое-что...»

Мирон тотчас начал рассказывать о Москве, сердито жаловаться на бестолковость правительства; приехала Наталья с сыном – Мирон заговорил о необходимости строить бумажную фабрику, он давно уже надоедал этим.

– У нас, дядя, деньги зря лежат, – сказал он. Наталья, покраснев так, что у неё даже уши вспухли, крикливо возразила:

– Где это они лежат, у кого лежат?

Артамонова вдруг обняла скука, как будто пред ним широко открыли дверь в комнату, где всё знакомо и так надоело, что комната кажется пустой. Эта внезапная, телесная скука являлась откуда-то извне, туманом; затыкая уши, ослепляя глаза, она вызывала ощущение усталости и пугала мыслями о болезни, о смерти.

– Надоели вы мне, – сказал он. – Когда я отдохну от вас?

Яков проворчал:

– Довольно возни с тем, что есть...

А Наталья кричала:

– И так развели рабочих до того, что выйти некуда! Пьянство, матерщина...

Артамонов подошёл к окну, – в саду стоял Тихон Вялов и, задрав голову, указывал пальцем на яблоню какой-то девчонке.

«Ишь ты, Адам», – подумал Пётр Артамонов, стряхнув скуку; такие отдалённые думы не часто, мышами, пробежали мимо него, он всегда рад был их внезапности, он даже

брание сочинений в тридцати томах. Том 16. Рассказы, повести 1922–1925. Максим Горький gorkiymaxim. любил их за то, что они не тревожили, мелькнёт, исчезнет и – только.

Вот тоже Тихон; жестоко обиделся Пётр Артамонов, увидав, что брат взял дворника к себе после того, как Тихон пропадал где-то больше года и вдруг снова явился, притащив неприятную весть: брат Никита скрылся из монастыря неизвестно куда. Пётр был уверен, что старик знает, где Никита, и не говорит об этом лишь потому, что любит делать неприятное. Из-за этого человека Артамонов старший крепко поссорился с братом, хотя Алексей и убедительно защищал себя:

– Подумай: человек всю жизнь работал на нас, а мы его выкинули, – ну, хорошо это?

Пётр знал, что это нехорошо, но ещё хуже для него было присутствие Тихона в доме. Жена тоже, кажется, первый раз за всю жизнь встала на сторону Алексея; с необычной для неё твёрдостью она говорила:

– Нехорошо, Пётр Ильич, хоть бей меня, а – нехорошо!

Они и Ольга уговорили и успокоили его. Но обиженный человек торжествовал:

«Что? Твоя воля – никому не закон.. Видишь?»

Обиженный человек становился всё виднее, ощутимее Артамонову старшему. Осторожно внося на холм, под сосну, своё отяжелевшее тело, Пётр садился в кресло и, думая об этом человеке, искренно жалел его. Было и сладостно и горько выдумывать несчастного, непонятого, никем не ценимого, но хорошего человека; выдумывался он так же легко, так же из ничего, как в жаркие дни над болотами, в синей пустоте, возникал белый дым облаков.

Глядя на фабрику и на всё рождённое ею, человек этот внушал:

«Можно бы жить иначе, без этих затей».

Фабрикант Артамонов возражал ему:

«Тихоновы мысли».

«Поп Глеб то же говорил, и Горицветов, и ещё многие. Да, мухами в паутине бьются люди».

«Дёшево – не проживёшь», – нехотя возражал фабрикант.

Иногда этот немой спор двух людей в одном разгорался особенно жарко, и обиженный человек, становясь беспощадным, почти кричал:

«Помнишь, ты, пьяный, на ярмарке, каялся людям, что принёс в жертву сына, как Авраам Исаака, а мальчишку Никонова вместо барана подсунули тебе, помнишь? Верно это, верно! И за это, за правду, ты меня бутылкой ударил. Эх, задавил ты меня, погубил! И меня ты в жертву принёс. А – кому жертва, кому? Рогатому богу, о котором Никита говорил? Ему? Эх ты...»

В минуты столь жестоких споров фабрикант Артамонов старший крепко закрывал глаза, чтоб удержать постыдные, злые и горькие слёзы. Но слёзы неудержимо лились, он стирал их со щёк и бороды ладонями, потом досуха тёр ладонь о ладонь и тупо рассматривал опухшие, багровые руки свои. И пил мадеру большими глотками, прямо из горлышка бутылки.

Но, несмотря на эти горестные слёзы, выжимаемые им, обиженный человек был приятен и необходим Артамонову старшему, как банщик, когда тот мягкой и в меру горячей, душисто намыленной мочалкой трёт кожу спины в том месте, где самому человеку нельзя почесать, – не достаёт рука.

..Вдруг где-то далеко, за Сибирью, поднялся крепкий кулак и стал бить Россию.

Алексей подпрыгивал, размахивая газетой, кричал:

– Разбой! Грабёж! – и, поднимая птичью лапу к потолку, свирепо шевелил пальцами, шипел:

– Мы их... мы им...

Златозубый доктор, сунув руки в карманы, стоял, прислонясь к тёплым изразцам печи, и бормотал:

– Возможно, что и они нас.

Этот большой, медно-рыжий человек, конечно, усмехался, он усмехался всегда, о чём бы ни говорилось; он даже о болезнях и смертях рассказывал с той же усмешечкой, с которой говорил о неудачной игре в преферанс; Артамонов старший смотрел на него, как на иноземца, который улыбается от конфуза, оттого, что не способен понять чужих ему людей; Артамонов не любил его, не верил ему и лечился у городского врача, молчаливого немца Крона.

Озабоченно покручивая бородку, морщась, точно у него болел висок, Мирон журавлём шагал из угла в угол и поучал всех:

– Дело надо было начинать в союзе с англичанами...

– Да – какое дело-то? – допытывался Артамонов старший, но ни бойкий брат, ни умный племянник не могли толково рассказать ему, из-за чего внезапно вспыхнула эта война. Ему было приятно наблюдать смятение всезнающих, самоуверенных людей, особенно смешным казался брат, он вёл себя так непонятно, что можно было думать: эта нежданная война задевала, прежде всех, именно его, Алексея Артамонова, мешая ему делать что-то очень важное.

По городу пошёл крестный ход. Бородатое купечество, важно и благочестиво утаптывая тяжёлыми ногами обильно выпавший снег, тесным стадом быков шагало за кряжистым, золотым духовенством; несло иконы, хоругви; соединённый хор всех церквей города громгласно и внушительно пел:

– «Спаси, го-осподи, люди твоя-а...»

Слова молитвы, похожей на требование, вылетали из круглых ртов белым паром, замерзая инеем на бровях и усах басов, оседая в бородах нестройно подпевавшего купечества. Особенно пронзительно, настойчиво и особенно не в лад хору пел городской голова Воропонов, сын тележника; толстый, краснощёкий, с глазами цвета перламутровых пуговиц, он получил в наследство от своего отца вместе с имуществом и неукротимую вражду ко всем Артамоновым.

Они, семеро, шли все вместе; впереди прихрамывал Алексей, ведя жену под руку, за ним Яков с матерью и сестрой Татьяной, потом шёл Мирон с доктором; сзади всех шагал в мягких сапогах Артамонов старший.

– Нация, – негромко говорил Мирон.

– Парад сил, – ответил доктор.

Мирон снял очки, стал протирать их платком, а доктор добавил:

– Увидите – вздуют!

– Н-ну, это сырьё не скоро загорится...

– Перестань, – сказал Артамонов старший племяннику, тот искоса взглянул на него и повесил очки на свой длинный нос, предварительно пощупав его пальцами.

– Спас-си, господи, люди твоя! – требовал Воропонов подчёркнуто громко, с присвистом вывизгивая слово «люди», волком оборачивался назад, оглядывая горожан, и зачем-то махал на них бобровой шапкой.

Хорошо, густо пела сорокалетняя, но свежая, круглая, грудастая дочь Помялова, третий раз вдова и первая в городе по скандальной, бесстыдной жизни. Пётр Артамонов слышал, как она вполголоса советовала Наталье:

– Ты бы, кума, отправила мужа-то на войну, он у тебя страховидный, от него враги

брание сочинений в тридцати томах. Том 16. Рассказы, повести 1922–1925. Максим Горький gorkiymaxim. побегут.

И спрашивала Якова:

– Ты что, крестник, не женишься, петух?

Артамонов старший тряхнул головой, слова, как мухи, мешали ему думать о чём-то важном; он отошёл в сторону, стал шагать по тротуару медленнее, пропуская мимо себя поток людей, необыкновенно чёрный в этот день, на пышном, чистом снегу. Люди шли, шли и дышали паром, точно кипящие самовары.

Вот шагает во главе своих учениц Вера Попова с каменным лицом; снежинки искрятся на её седых волосах; белые, в инее, ресницы её дрогнули, когда она кивнула пышноволосой, ничем не покрытой головой. Артамонов пожалел её:

«Глупая. Впряглась уток пасти».

Прокатилась длинная волна стриженных голов; это ученики двух городских училищ; тяжёлой, серой машиной продвинулась полурота солдат, её вёл знаменитый в городе хладнокровный поручик Маврин: он ежедневно купался в Оке, начиная с половодья и кончая заморозками, и, как было известно, жил на деньги Помяловой, находясь с нею в незаконной связи.

Важно, сытым гусем, шёл жандармский офицер Нестеренко, человек с китайскими усами, а его больная жена шла под руку с братом своим, Житейкиным, сыном умершего городского старосты и хозяином кожевенного завода; про Житейкина говорили, что хотя он распутничает с монахинями, но прочитал семьсот книг и замечательно умел барабанить по маленькому барабану, даже тайно учит солдат этому искусству.

Потом проехал в санях ожиревший Степан Барский с пьяницей зятем своим и косоглазой дочерью; тёмной кучей долго двигался мелкий народ: мещане, кожевники, ткачи, тележники, нищие и какие-то никому не нужные старухи, похожие на крыс. Снег лениво солил обнажённые головы, издали доносился неумолимо требующий крик Воропонова:

– Спаси, господи, люди твоя..

«А на что богу эти люди? Понять – нельзя», – подумал Артамонов. Он не любил горожан и почти не имел в городе связей, кроме деловых знакомств; он знал, что и город не любит его, считая гордым, злым, но очень уважает Алексея за его пристрастие украшать город, за то, что он вымостил главную улицу, украсил площадь посадкой лип, устроил на берегу Оки сад, бульвар. Мирона и даже Якова бояться, считают их свыше меры жадными, находят, что они всё кругом забирают в свои руки.

Осматривая медленный ход задумавшихся людей, Артамонов хмурился, – много незнакомых лиц и слишком много разноцветных глаз смотрят на него с одинаковой неприязнью.

У ворот дома Алексея ему поклонился Тихон. Артамонов спросил:

– Воюем, старик?

Молча, знакомым движением тяжёлой руки, Тихон погладил скулу. Первый раз за всю жизнь с ним Артамонов спросил этого человека с доверием к нему:

– Ты что думаешь?

– Пустяковина, – тотчас ответил Вялов, как будто он ждал вопроса.

– У тебя – всё пустяки, – неопределённо сказал Артамонов.

– А – как же? Собаки, что ли? Не звери мы.

Артамонов пошёл дальше сквозь мелкий, пыльный снег. Снег падал всё гуще и уже почти совсем скрыл толпу людей вдали, в белых холмах деревьев и крыш.

брание сочинений в тридцати томах. Том 16. Рассказы, повести 1922–1925. Максим Горький gorkiymaxim.  
Теперь, после смерти Серафима Утешителя, Артамонов старший ходил развлекаться к вдовой дьяконице Таисье Параклитовой, женщине неопределённых лет, худенькой, похожей на подростка и на чёрную козу. Она была тихая и всегда во всём соглашалась с ним:

– Так, милый! – говорила она. – Да, да, милый, да!

Пил Артамонов много, но хмелел медленно, и его раздражало, что навязчивые, унылые думы так долго не тают, не тонут в крепких, вкусных водках Таисьи. Первые минуты опьянения были неприятны, хмель делал мысли Петра о себе, о людях ещё более едкими, горькими, окрашивал всю жизнь в злые, зелёно-болотные краски, придавал им кипучую быстроту; Артамонову казалось, что это кипение вертит, кружит его, а в следующую минуту перебросит через какой-то край. Скрипя зубами, он вслушивался, всматривался в тёмный бунт внутри себя, потом кричал дьяконице:

– Ну, что молчишь? Говори что знаешь!

Женщина козой прыгала на колени к нему, она была удивительно лёгкая и тёплая; раскрыв пред собою невидимую книгу, она читала:

– Поручика Маврина Помялова отчислили от себя, он опять проиграл в карты триста двадцать; хочет она векселя подать ко взысканию, у неё векселя на него есть, А жандарм потому жену свою держит здесь, что завёл в городе любовницу, а не потому, что жена больная...

– Это всё – дрянь, – говорил Артамонов.

– Дрянь, милый, и – какая дрянь!

Её рассказы о дрянненьких былях города путали думы Артамонова, отводили их в сторону, оправдывали и укрепляли его неприязнь к скучным грешникам – горожанам. На место этих дум вставали и двигались по какому-то кругу картины буйных кутежей на ярмарке; металась неистовые люди, жадно выкатив пьяные, но никогда не сытые глаза, жгли деньги и, ничего не жалея, безумствовали всячески в лютом озлоблении плоти, стремясь к большой, ослепительно белой на чёрном, бесстыдно обнажённой женщине...

Пётр Артамонов молча сосал разноцветные водки, жевал скользкие, кисленькие грибы и чувствовал всем своим пьяным телом, что самое милое, жутко могучее и настоящее скрыто в ярмарочной бесстыднице, которая за деньги показывает себя голой и ради которой именитые люди теряют деньги, стыд, здоровье. А для него от всей жизни осталась вот эта чёрная коза.

– Раздевайся, – рычал он. – Пляши!

– Как же я без музыки-то? – говорит дьяконица, расстёгиваясь. – Носкова бы позвать, охотника, он на гармонии хорошо играет...

В этих забавах время шло незаметно, иногда из потока мутных дней выскакивало что-то совершенно непостижимое: зимою пришли слухи о том, что рабочие в Петербурге хотели разрушить дворец, убить царя.

Тихон Вялов ворчал:

– Ещё и церкви рассыпят. А – как же? Народ – не железный.

Летом стали говорить, что по русским морям плавает русский же корабль и стреляет из пушек по городам, – Тихон сказал:

– А – как же? Навыкли воевать.

По городу снова пошли с иконами, Воропонов в рыжем сюртуке нёс портрет царя и требовал:

– Спаси, господи, люди твоя-а-а!

В этот раз он кричал ещё громче и даже злее, но всё-таки в его – а-а! – призыв на помощь звучал тревожно.

Житейкин, с двухствольным ружьём в руках, пьяный, без шапки, сверкая багровой лысиной, шёл во главе своих кожевников и неистово скандалил, орал:

– Ребята! Не дадим жидам Россию! Чья Россия? Наша!

– Наша, – согласно кричали кожевники, тоже не трезвые, и, встречая ткачей, врагов своих, затевали с ними драки, ударили палкой доктора Яковлева, бросили в Оку старика аптекаря; Житейкин долго гонялся по городу за сыном его, дважды разрядил вслед ему ружьё, но – не попал, а только поранил дробью спину портного Брускова.

Фабрика перестала работать, молодёжь, засучивая рукава рубах, бросилась в город, несмотря на уговоры Мирона и других разумных людей, несмотря на крики и плач баб.

Фабрика опустела, обездушела и точно сморщилась под ветром, который тоже бунтовал, выл и свистел, брызгая ледяным дождём, лепил на трубу липкий снег; потом сдувал его, смывал.

Сидя у окна, Артамонов старший тупо смотрел, как из города и в город муравьями бегут тёмненькие фигурки мужчин и женщин; сквозь стёкла были слышны крики, и казалось, что людям весело. У ворот визжала гармоника, в толпе рабочих хромой кочегар Васька Кротов пел:

Стало тесно на земле:

Деремся с японами!

Они бьют нас по скуле,

А мы их – иконами!

Ветер приносил из города ворчливый шумок, точно там кипел огромный самовар, наполненный целым озером воды. На двор въехала лошадь Алексея, на козлах экипажа сидел одноглазый фельдшер Морозов; выскочила Ольга, окутанная шалью. Артамонов испугался и, забыв о боли в ногах, вскочил, пошёл встречу ей.

– Что случилось?

Встряхиваясь, точно курица, она сказала:

– Окна побили у нас кожевники...

Артамонов, уступая ей дорогу, усмехнулся, проворчал:

– Ну, вот... Доболтались! Орал на меня, а – вот оно как! Нет, царь...

И вдруг он услышал гневный, необычный для Ольги, громкий ответ:

– Отстань! Нечестный человек это, твой царь!

– Много ты понимаешь в царях, – смущённо сказал он, дотрагиваясь до своего уха.

Его изумил гнев маленькой старушки в очках, всегда тихой, никого не осуждавшей, в её словах было что-то поражающе искреннее, хотя и ненужное, жалкое, как мышинный писк против быка, который наступил на хвост мыши, не видя этого и не желая. Артамонов сел в своё кресло, задумался.

Он давно, несколько недель, не видел Ольгу, избегал встреч с её сыном, поссорившись с ним. Ещё в конце лета, когда Пётр Артамонов лежал в постели с отёкшими ногами, к нему явился торжественный и потный Воропонов и, шлёпая тяжёлыми, синими губами, предложил ему подписать телеграмму царю – просьбу о том, чтоб царь никому не уступал своей власти. Артамонова очень удивила дерзкая затея городского головы, но он подписал бумагу, уверенный, что это будет неприятно брату, Мирону, да, наверное, и Воропонов получит хороший выговор из Петербурга: не суйся, дурак толстогубый, не в своё дело, не заносись высоко!

Положив бумагу в карман сюртука, застегнувшись на все пуговицы, Воропонов начал жаловаться на Алексея, Мирона, доктора, на всех людей, которые, подзуживаемы евреями, одни – слепо, другие – своекорыстно, идут против царя; Артамонов старший слушал его жалобы почти с удовольствием, поддакивал, и только когда



брание сочинений в тридцати томах. Том 16. Рассказы, повести 1922–1925. Максим Горький gorkiyтахіт. синие губы Воропонова начали злобно говорить о Вере Поповой, он строго сказал:

- Вера Николаевна тут ни при чём.
- Как это – ни при чём? Нам известно...
- Ничего тебе не известно.
- Доиграетесь до беды, – пригрозил голова и ушёл.

А вечером на Артамонова собаками бросились племянник, дочь, бросились и залаяли, не щадя его старость.

- Что вы делаете, папаша? – кричала Татьяна, и на её некрасивом лице прыгали сумасшедшие глаза. Яков стоял у окна, барабанил по стеклу пальцами. Артамонову казалось, что и сын против него, а Мирон едко спрашивал:
- Вы читали, что там написано в этой бумаге?
- Не читал! – сказал Артамонов. – Не читал, а – знаю: написано, чтоб щенкам воли не давать!

Ему было приятно видеть, как сердятся Мирон и Татьяна, но молчание Якова – смущало, он верил деловитости сына, догадывался, что поступил против его интересов, а вовлечь Якова в этот спор, спросить: как он думает? – не позволяло самолюбие. Он лежал и огрызался, рычал, а Мирон долбил, качая носом:

- Поймите: царь окружён шайкой мошенников, и нужно, чтоб их сменили честные люди...

Артамонов знал, что именно Мирон метит в честные люди и что отец его ездил в Москву хлопотать, чтоб Мирона кто-то там назначил кандидатом в государеву думу. И смешно и опасно представить этого журавля-племянника близко к царю. Вдруг вбежал растрёпанный, расстёгнутый Алексей и запрыгал, затрещал:

- Что ж ты делаешь, безумный человек?

Он кричал, как на служащего.

- К чёрту! – взревел Артамонов старший. – Учить меня? Провалитесь все к чёрту! Вон!..

Он даже сам был испуган внезапным взрывом своего гнева.

Теперь, сидя в углу, слушая беззлойный рассказ Ольги о бунте в городе, он вспоминал эту ссору и пытался понять: кто же прав, он или эти люди?

Его особенно смутили детски гневные слова Ольги. Вот она уже спокойно, даже умилённо говорит:

- Милые люди ткачи у нас! Как они живо прогнали воропоновских рабочих и кожевников. Остались там, охраняют дом...

А Наталья, очень испуганная, сердито хныкает:

- От вашего дома и пошла смута. Так и надо вам! Всё – от вас.

Явился Мирон и, не здороваясь, расхаживая по комнате пружинной походкой, стал грозить:

- Все эти Воропоновы и Житейкины дорого заплатят за то, что обучают народ бунтовать. Это им даром не пройдёт, это отзовётся! Вполне достаточно уроков мятежа со стороны друзей Ильи Петровича Артамонова, а если ещё и эти начнут...

Артамонов старший промолчал.

После скандала с петицией Воропонова Мирон стал для него окончательно, непримиримо противен, но он видел, что фабрика всецело в руках этого человека,

брание сочинений в тридцати томах. Том 16. Рассказы, повести 1922–1925. Максим Горький gorkiyтах1m. Мирон ведёт дело ловко, уверенно, рабочие слушают его или боятся; они ведут себя смиреннее городских.

Ветер притих, зарылся в густой снег. Снег падал тяжело и прямо, густыми хлопьями, он занавесил окна белым занавесом, на дворе ничего не видно. Никто не говорил с Артамоновым старшим, и он чувствовал, что все, кроме жены, считают его виновным во всём: в бунтах, в дурной погоде, в том, что царь ведёт себя как-то неумело.

– А где же Яша? – тревожно спросила мать. – Яша-то, говорю, где?

Мирон брезгливо сморщил нос и сказал, не глядя на тётку:

– Вероятно, спрятался в городе, в своём курятнике.

– Чего? В каком? – пугливо забормотала Наталья.

Артамонов подумал:

«Пожалуй, не знает, дура, что у Якова любовница».

И вдруг сказал твёрдо:

– Ну, вот что: живите, как хотите! Делайте. Да. Действительно – не понимаю я. Стар. А – тут... Тут чёрт играет. Жил – жил – ничего не понимаю...

IV

До двадцати шести лет Яков Артамонов жил хорошо, спокойно, не испытывая никаких особенных неприятностей, но затем время, враг людей, которые любят спокойную жизнь, начало играть с Яковым запутанную, бесчестную игру. Началось это в апреле, ночью, года три спустя после мятежей, встряхнувших терпеливый народ.

Яков лежал на диване и курил, наслаждаясь ощущением насыщенности, исключаящей все желания; это ощущение он ценил выше всего в жизни, видя в нём весь её смысл. Оно являлось одинаково приятным и после вкусного обеда и после обладания женщиной.

Женщина, кругленькая и стройная, стояла среди комнаты у стола, задумчиво глядя на сердитый, лиловый огонь спиртовки под кофейником; её голые руки и детское лицо, освещённые огнём лампы под красным абажуром, окрашивались в цвет вкусно поджаренной корочки пирога. Растрёпанные тёмные волосы картинно осыпали шею и плечи. На голом теле Полины золотисто-жёлтый бухарский халат, на ногах – зелёные, сафьяновые туфли. В ней есть что-то очень лёгкое, не русское; у неё милая рожца подростка-мальчишки; пухлые губы, задорные глаза, круглые, как вишни; даже в этот час, когда Яков сыт ею, она приятна ему. Она, конечно, несравнимо лучше всех девиц и женщин, которых он знал, и была бы совершенно хороша, если б не её глупый характер.

– Я не хочу кофю, Апельсинчик, – сказал Яков, сквозь густую пелену дыма папиросы; Полина, не взглянув на него, спросила:

– А – я?

– Не знаю, чего ты хочешь, – ответил Яков, устало зевнув.

– Нет, знаешь, – схватив его слова на лету и встряхнув голову, заговорили женщина ломким голосом. Послушав минуту, две её царапающие, крючковатые слова, Яков сел, бросил папиросу на пол и, надевая ботинки, сказал, вздохнув:

– Не понимаю твоей привычки портить хорошее настроение! Ведь ты знаешь: я не могу жениться, пока отец не помер...

Тут, как всегда, Полина осыпала его обидными словами:

– Конечно, тебе, паук, только бы хорошее настроение! Я знаю: ты для хорошего настроения готов продать меня татарину, старьёвщику, да! Ты – бесчестный человек...

брание сочинений в тридцати томах. Том 16. Рассказы, повести 1922–1925. Максим Горький gorkiymaxim. Яков особенно не любил, когда она именовала его пауком, в ласковые минуты у неё было для него другое забавное имя – Солёный. И ему казалось, что уж сегодня-то она могла бы воздержаться от ссоры: за два часа пред этим он дал ей сто рублей.

– Криком ты ничего не добьёшься, – спокойно предупредил он её, надев шляпу, протягивая руку. – До свидания!

– Свинья! И опять окурков на пол набросал...

По улице метался сырой ветер, тени облаков ползали по земле, как бы желая вытереть лужи, на минуту выглядывала луна, и вода в лужах, покрытая тонким льдом, блестела медью. В этот год зима упрямо не уступала место весне; ещё вчера густо падал снег.

Яков Артамонов шёл не торопясь, сунув руки в карманы, держа под мышкой тяжёлую палку, и думал о том, как необъяснимо, странно глупы люди. Что нужно милой дурочке Полине? Она живёт спокойно, не имея никаких забот, получает немало подарков, красиво одевается, тратит около ста рублей в месяц, Яков знал, чувствовал, что он ей нравится. Ну, что же ещё? Почему она хочет венчаться?

«Глупо, как мышь в банке варенья», – заключил он любимой, им самим придуманной поговоркой. Жизнь казалась ему простой, не требующей от человека ничего, кроме того, чем он уже обладает. В сущности, ведь ясно: все люди стремятся к одному и тому же, к полноте покоя; суета дня – это только мало приятное введение к тишине ночи, к тем часам, когда остаёшься один на один с женщиной, а потом, приятно утомлённый её ласками, спишь без сновидений. В этом – всё действительно значительное и настоящее. Люди – глупы уже потому, что почти все они, скрыто или явно, считают себя умнее его; они выдумывают очень много лишнего; возможно, что они делают это по силе какой-то слепоты, каждый хочет отличиться от всех других, боясь потерять себя в людях, боясь не видеть себя.

Глуп Илья, запутавшийся в книгах ещё тогда, когда он учился в гимназии, а теперь заболтавшийся где-то среди социалистов. Много обидного видел от него Яков, а теперь вот, недавно, пришлось посылать Илье денег куда-то в Сибирь. Невыносимо, хотя и смешно, глупа мать; ещё более невыносимо и тяжело глуп угрюмый отец, старый медведь, не умеющий жить с людьми, пьяный и грязный. Смешон суетливый попрыгун дядя Алексей; ему хочется попасть в Государственную думу, ради этого он жадно питается газетами, стал фальшиво ласков со всеми в городе и заигрывает с рабочими фабрики, точно старая, распутная баба. Особенно же и как-то подавляюще, страшно глуп этот носатый дятел Мирон; считая себя самым отличным умником в России, он, кажется, видит себя в будущем министром, и уже теперь не скрывает, что только ему одному ясно, что надо делать, как все люди должны думать. Он тоже старается притереться к рабочим, устраивает для них различные забавы, организовал команды футболистов, завёл библиотеку, он хочет прикормить волков морковью.

Рабочие ткнут великолепное полотно, одеваясь в лохмотья, живя в грязи, пьянствуя; они в массе околдованы тоже какой-то особенной глупостью, дерзко открытой, лишённой даже той простенькой, хозяйственной хитрости, которая есть у каждого мужика. О рабочих Якову Артамонову приходилось думать больше, чем о всём другом, потому что он ежедневно сталкивался с ними и давно, ещё в юности, они внушили ему чувство вражды, – он имел тогда немало резких столкновений с молодыми ткачами из-за девиц, и до сего дня некоторые из его соперников, видимо, не забыли старых обид. Когда он был ещё безбородым, в него дважды по ночам бросали камнями. Матери тогда не однажды приходилось откупаться деньгами от скандалов и бабьего визга, при этом она смешно уговаривала его:

– Что уж это ты, как петух! Подождал бы, когда женишься, или уж заведи одну и – живи! Пожалуются на тебя отцу, так он тебя, как Илью, прогонит...

За два, три мятежных года Яков не заметил ничего особенно опасного на фабрике, но речи Мирона, тревожные вздохи дяди Алексея, газеты, которые Артамонов младший не любил читать, но которые с навязчивой услужливостью и нескрываемой, злорадной угрозой рассказывали о рабочем движении, печатали речи представителей рабочих в Думе, – всё это внушало Якову чувство вражды к людям фабрики, обидное чувство зависимости от них. Ему казалось, что он уже научился искусно скрывать это чувство под мелкой уступчивостью их требованиям, под улыбками и шуточками. Но в

брание сочинений в тридцати томах. Том 16. Рассказы, повести 1922–1925. Максим Горький gorkiymaxim. общем всё шло не плохо, хотя иногда внезапно охватывало и стесняло какое-то смущение, как будто он, Яков Артамонов, хозяин, живёт в гостях у людей, которые работают на него, давно живёт и надоел им, они, скучно помалкивая, смотрят на него так, точно хотят сказать:

«Что ж ты не уходишь? Пора!»

В часы, когда он испытывал это, у него являлось смутное предчувствие, что на фабрике скрыто и невидимо тлеет, дымится что-то крайне опасное для него, лично для него.

Яков был уверен, что человек – прост, что всего милее ему – простота и сам он, человек, никаких тревожных мыслей не выдумывает, не носит в себе. Эти угарные мысли живут где-то вне человека, и, заражаясь ими, он становится тревожно непонятным. Лучше не знать, не раздувать эти чадные мысли. Но, будучи враждебен этим мыслям, Яков чувствовал их наличие вне себя и видел, что они, не развязывая тугих узлов всеобщей глупости, только путают всё то простое, ясное, чем он любил жить.

Умнее всех людей, которых он знал, ему казался старик Тихон Вялов; наблюдая его спокойное отношение к людям, его милостивую работу, Яков завидовал дворнику. Тихон даже спал умно, прижав ухо к подушке, к земле, как будто подслушивая что-то.

Он спросил старика:

– Ты сны видишь?

– Зачем? Я не баба, – сказал Тихон, и под словами его Яков почувствовал что-то густое, устоявшееся, непоколебимо сильное.

«Бабы сны», – думал Артамонов младший, слушая споры и речи в доме дяди Алексея, думал и внутренне усмехался.

Вообще же он думал трудно, а задумываясь, двигался тяжело, как бы неся большую тяжесть, и, склонив голову, смотрел под ноги. Так шёл он и в ту ночь от Полины; поэтому и не заметил, откуда явилась пред ним приземистая, серая фигура, высоко взмахнула рукою. Яков быстро опустился на колени, тотчас выхватил револьвер из кармана пальто, ткнул в ногу нападавшего человека, выстрелил; выстрел был глух и слаб, но человек отскочил, ударился плечом о забор, замычал и съехал по забору на землю.

Лишь после этого Яков почувствовал, что он смертельно испуган, испуган так, что хотел закричать и не мог; руки его дрожали и ноги не послушались, когда он хотел встать с колен. В двух шагах от него возился на земле, тоже пытаюсь встать, этот человек, без шапки, с курчавой головою.

– Застрелю, сволочь, – хрипло сказал Яков, вытягивая руку с револьвером, – человек повернул к нему широкое лицо и пробормотал:

– Застрелили уж...

Тут Яков узнал его, тоже забормотал изумлённо:

– Носков? Ах, подлец! Ты?

Страх Якова быстро уступал чувству, близкому радости, это чувство было вызвано не только сознанием, что он счастливо отразил нападение, но и тем, что нападавший оказался не рабочим с фабрики, как думал Яков, а чужим человеком. Это – Носков, охотник и гармонист, игравший на свадьбах, одинокий человек; он жил на квартире у дьяконицы Параклитовой; о нём до этой ночи никто в городе не говорил ничего худого.

– Так вот чем ты занимаешься? – сказал Яков и встал на ноги, оглядываясь; было тихо, только ветер встряхивал сучки деревьев над забором.

– А – чем я занимаюсь? – вдруг громко спросил Носков. – Я пошутить хотел, поугаать вас, больше ничего! А вы сразу – бац! За это – не похвалят, глядите! я

брание сочинений в тридцати томах. Том 16. Рассказы, повести 1922–1925. Максим Горький gorkiymaxim. сам испугался...

– Ах, вот как? – насмешливо, тоном победителя, сказал Артамонов. – Ну, вставай, идём в полицию.

– Идти я не могу, вы меня изувечили.

Носков поднял шапку и, глядя внутрь её, прибавил:

– А полиции я не боюсь.

– Ну, там – увидим. Вставай!

– Не боюсь, – повторил Носков. – Чем вы докажете, что я на вас напал, а не вы на меня, с испуга? Это – раз!

– Так. А – два? – спросил Яков, усмехнувшись, но несколько удивляясь спокойствию Носкова.

– Есть и два. Я для вас человек полезный.

– Это – сказка. Это из сказки!

И, направив револьвер в лицо гармониста, Яков с внезапной злостью пригрозил:

– Вот я тебе башку размозжу!

Носков поднял глаза и, снова опустив их в шапку, сказал внушительно:

– Не затевайте скандала. Доказать вы ничего не можете, хотя и богатый. Я говорю: пошутить хотел. Я папашу вашего знаю, много раз на гармонии играл ему.

Он резким жестом взбросил шапку на голову, наклонился и стал приподнимать штанину, мыча сквозь зубы, потом, вынув из кармана платок, начал перевязывать ногу, раненную выше колена. Он всё время что-то бормотал невнятно, но Яков не слушал его слов, вновь обескураженный странным поведением неудачного грабителя.

С необыкновенной для него быстротой Яков Артамонов соображал: конечно, надо оставить Носкова тут у забора, идти в город, позвать ночного сторожа, чтоб он караулил раненого, затем идти в полицию, заявить о нападении. Начнётся следствие, Носков будет рассказывать о кутежах отца у дьяконицы. Может быть, у него есть друзья, такие же головорезы, они, возможно, попытаются отомстить. Но нельзя же оставить этого человека без возмездия...

Ночь становилась всё холодней; рука, державшая револьвер, ныла от холода; до полицейского управления – далеко, там, конечно, все спят. Яков сердито сопел, не зная, как решить, сожалея, что сразу не застрелил этого коренастого парня, с такими кривыми ногами, как будто он всю жизнь сидел верхом на бочке. И вдруг он услышал слова, поразившие его своей неожиданностью:

– Я вам прямо скажу, хотя это – секрет, – говорил Носков, всё возясь с ногою своей. – Я тут для вашей пользы живу, для наблюдения за рабочими вашими. Я, может быть, нарочно сказал, что хотел напугать вас, а мне на самом-то деле надо было схватить одного человека и я опознался...

– Ч-чёрт, – сказал Яков. – Как?

– Да, вот так... Вы – не знаете, а у дьяконицы в бане собираются социалисты и опять говорят о бунте, книжки читают...

– Врёшь, – тихо сказал Яков, веря ему. – А – кто? Кто собирается?

– Этого я не могу сказать. Арестуют, узнаете.

Носков, держась за доски забора, встал и попросил:

– Дайте мне палку, без неё я не дойду...

брание сочинений в тридцати томах. Том 16. Рассказы, повести 1922–1925. Максим Горький gorkiутахіт. Наклонясь, Яков поднял палку, подал ему и оглянулся, тихо спрашивая:

– Но тогда как же ты, зачем же вы набросились на меня?

– Я – не набрасывался. Я – опознался. Мне нужно было не вас, а другого. Вы всё это оставьте. Ошибка. Вы увидите скоро, что я говорю правду. Должны дать мне денег на лечение ноги. Вот что...

И, придерживаясь за забор, опираясь на палку, Носков начал медленно переставлять кривые ноги, удаляясь прочь от огородов, в сторону тёмных домиков окраины, шёл и как бы разгонял холодные тени облаков, а отойдя шагов десять, позвал негромко:

– Яков Петрович!

Яков подошёл к нему очень быстро, Носков сказал:

– Вы об этом случае – никому, ни словечка! А то... Сами понимаете.

Он взмахнул палкой и пошёл дальше, оставив Якова ошарашенным. Приходилось думать сразу о многом, и нужно было сейчас же решить: так ли он поступил, как следовало? Конечно, если Носков занимается наблюдением за социалистами, это полезный, даже необходимый человек, а если он наврал, обманул, чтоб выиграть время и потом отомстить за свою неудачу и за выстрел? Он врёт, что опознался и что хотел напугать, врёт, это ясно. А вдруг он подкуплен рабочими, чтобы убить? Среди ткачей на фабрике была большая группа буянов, озорников, но социалистов среди них трудно вообразить. Наиболее солидные рабочие, как Седов, Крикунов, Маслов и другие, сами недавно требовали, чтоб контора рассчитала одного из наиболее неукротимых безобразников. Нет, Носков, наверное, обманул. Нужно ли рассказать об этом Мирону?

Яков не мог представить, что будет, если рассказать о Носкове Мирону; но, разумеется, брат начнёт подробно допрашивать его, как судья, в чём-то обвинит и, наверное, так или иначе, высмеет. Если Носков шпион – это, вероятно, известно Мирону. И, наконец, всё-таки не совсем ясно – кто ошибся: Носков или он, Яков? Носков сказал:

«Скоро увидите, что я говорю правду».

Он смотрел вслед охотнику до поры, пока тот не исчез в ночных тенях. Как будто всё было просто и понятно: Носков напал с явной целью – ограбить, Яков выстрелил в него, а затем начиналось что-то тревожно-запутанное, похожее на дурной сон. Необыкновенно идёт Носков вдоль забора, и необыкновенно густыми лохмотьями ползут за ним тени; Яков впервые видел, чтоб тени так тяжело тащились за человеком.

Задёрганный думами, устав от них, Артамонов младший решил молчать и ждать. Думы о Носкове не оставляли его, он хмурился, чувствовал себя больным, и в обед, когда рабочие выходили из корпусов, он, стоя у окна в конторе, присматривался к ним, стараясь догадаться: кто из них социалист? Неужели – кочегар Васька, чумазый, хромой, научившийся у плотника Серафима ловко складывать насмешливые частушки?

Через несколько дней Артамонов младший, проезжая застоявшуюся лошадь, увидел на опушке леса жандарма Нестеренко, в шведской куртке, в длинных сапогах, с ружьём в руке и туго набитым птицей ягдташем на боку. Нестеренко стоял лицом к лесу, спиной к дороге и, наклоня голову, подняв руки к лицу, раскуривал папиросу; его рыжую кожаную спину освещало солнце, и спина казалась железной. Яков тотчас решил, что нужно делать, подъехал к нему, торопливо поздоровался:

– А я не знал, что вы здесь!

– Третий день; жене моей, батенька, всё хуже, да-с!

Это печальное сведение Нестеренко сообщил очень оживлённо и тотчас, хлопнув рукою по ягдташу, прибавил:

– А я – вот! Неплохо, а?

брание сочинений в тридцати томах. Том 16. Рассказы, повести 1922–1925. Максим Горький gorkiymaxim.

– Вы знаете Носкова, охотника? – спросил Яков негромко; рыжеватые брови офицера удивлённо всползли кверху, его китайские усы пошевелились, он придержал один ус, сощурился, глядя в небо, всё это вызвало у Якова догадку: «Соврёт. Но – как?»

– Носков? Кто это?

– Охотник. Курчавый, кривоногий..

– Да? Как будто видел такого в лесу. Скверное ружьишко... А – что?

Теперь офицер смотрел в лицо Якова пристальным, спрашивающим взглядом серых глаз с какой-то светленькой искрой в центре зрачка; Яков быстро рассказал ему о Носкове. Нестеренко выслушал его, глядя в землю, забывая в неё прикладом ружья сосновую шишку, выслушал и спросил, не подняв глаз:

– Почему же вы не заявили полиции? Это – её дело, батенька, и это ваша обязанность.

– Я же говорю: он будто бы шпионит за рабочими, а это – ваше дело...

– Так, – сказал жандарм, гася папиросу о ствол ружья, и, снова глядя прищуренными глазами прямо в лицо Якова, внушительно начал говорить что-то не совсем понятное; выходило, что Яков поступил незаконно, скрыв от полиции попытку грабежа, но что теперь уж заявлять об этом поздно.

– Если б вы его тогда же сволокли в полицейское управление, ну – дело ясное! Но и то не совсем. А теперь как вы докажете, что он нападал на вас? Ранен? Ба! В человека можно выстрелить с испуга... случайно, по неосторожности...

Яков чувствовал, что Нестеренко хитрит, путает что-то, даже как бы хочет запугать и отодвинуть его или себя в сторону от этой истории; а когда офицер сказал о возможности выстрела с испуга, подозрение Якова упрочилось:

«Врёт».

– Да-с, батенька. За то, что он выдаёт себя каким-то наблюдателем, этот гусь, конечно, поплатится. Мы спросим его, что он знает.

И, положив руку на плечо Якова, офицер сказал:

– Вот что: вы мне дайте честное слово, что всё это останется между нами. Это – в ваших интересах, понимаете? Итак: честное слово?

– Конечно. Пожалуйста.

– Вы не скажете об этом ни дяде, ни Мирону Алексеевичу, – вы действительно не говорили ещё им? Ну, вот. Предоставим это дело его внутренней логике. И – никому ни звука! Так? Охотник сам себя ранил, вы тут ни при чём.

Яков улыбался: с ним говорил другой человек, весёлый, добродушный.

– До свидания, – говорил он. – Помните: честное слово!

Артамонов младший возвратился домой несколько успокоенный; вечером дядя предложил ему съездить в губернию, он уехал с удовольствием, а через восемь дней, возвратясь домой и сидя за обедом у дяди, с новой тревогой слушал рассказ Мирона:

– Нестеренко оказался не таким бездельником, как я думал, он и в городе поймал троих: учителя Модестова и ещё каких-то.

– А у нас? – спросил Яков.

– У нас: Седова, Крикунова, Абрамова и пятерых помоложе. Хотя арестовывать приезжали жандармы из губернии, но, разумеется, это дело Нестеренко, и, таким образом, жена его хворает с явной пользой для нас. Да, он – не глуп. Боится, чтоб его не кокнули...

брание сочинений в тридцати томах. Том 16. Рассказы, повести 1922–1925. Максим Горький gorkiymaxim.

– Теперь – перестали убивать, – заметил Алексей.

– Н-ну, – сказал Мирон. – Да! В городе арестован ещё этот, охотник...

– Носков? – тихо, испуганно спросил Яков.

– Не знаю. Он жил у дьяконицы, у неё же в бане устраивали свои конгрессы эти революционеры. А в доме у неё – и с нею – забавлялся твой отец, как тебе известно. Совпадение – дрянненькое...

– Да уж, – сказал Алексей, мотнув лысой головою. – Что с ним делать?

У Якова потемнело в глазах, и он уже не мог слушать, о чём говорит дядя с братом. Он думал: Носков арестован; ясно, что он тоже социалист, а не грабитель, и что это рабочие приказали ему убить или избить хозяина; рабочие, которых он, Яков, считал наиболее солидными, спокойными! Седов, всегда чисто одетый и уже немолодой; вежливый, весёлый слесарь Крикунов; приятный Абрамов, певец и ловкий, на все руки, работник. Можно ли было думать, что эти люди тоже враги его?

Ему показалось также, что за эти дни в доме дяди стало ещё более крикливо и суетно. Золотозубый доктор Яковлев, который никогда ни о ком, ни о чём не говорил хорошо, а на всё смотрел издали, чужими глазами, посмеиваясь, стал ещё более заметен и как-то угрожающе шелестел газетами.

– Да, – говорил он, сверкая зубами, – шевелимся, просыпаемся! Люди становятся похожи на обленившуюся прислугу, которая, узнав о внезапном, не ожидаемом ею возвращении хозяина и боясь расчёта, торопливо, нахлёстанная испугом, метёт, чистит, хочет привести в порядок запущенный дом.

– Двусмысленно говорите вы, доктор, – заметил Мирон, поморщившись. – Этот ваш анархизм, скептицизм...

Но доктор говорил всё громче, речи его становились длиннее, слова внушали Якову тревогу. Казалось, что и все чего-то боятся, грозят друг другу несчастьями, взаимно раздувают свои страхи, можно было думать даже так, что люди боятся именно того, что они сами же и делают, – своих мыслей и слов. В этом Яков видел нарастание всеобщей глупости, сам же он жил страхом не выдуманном, а вполне реальным, всей кожей чувствуя, что ему на шею накинута петля, невидимая, но всё более тугая и влекущая его навстречу большой, неотвратимой беде.

Его страх возрос ещё более месяца через два, когда снова в городе явился Носков, а на фабрике – Абрамов, гладко обритый, жёлтый и худой.

– Возьмёте меня, старика? – спросил он, улыбаясь, – Яков не посмел отказать ему.

– Что, трудно в тюрьме? – спросил он. Абрамов ответил всё с тою же улыбкой:

– Тесно очень! Если б тиф не помогал начальству, – не знаю, куда бы оно сажало народ!

«Да, – подумал Яков, проводив ткача, – ты улыбаешься, а я знаю, что ты думаешь...»

В тот же вечер Мирон из-за Абрамова устроил ему оскорбительную сцену, почти накричал на него, даже топнул ногою, как на лакея:

– Ты с ума сошёл? – кричал он, и нос его покраснел со зла. – Завтра же дай расчёт...

А через несколько дней, когда он утром купался в Оке, его застигли поручик Маврин и Нестеренко, они подъехали в лодке, усатой от множества удилиц, хладнокровный поручик поздоровался с Яковым небрежным кивком головы, молча, и тотчас же отъехал на середину реки, а Нестеренко, раздеваясь, тихо сказал:

– Вы напрасно не приняли Абрамова, очень жалею, что не мог предупредить вас.

– Это – Мирон, – пробормотал Артамонов младший, чувствуя, что слова офицера крепко пахнут спиртом.



брание сочинений в тридцати томах. Том 16. Рассказы, повести 1922–1925. Максим Горький gorkiymaxim.

– Да? – спросил Нестеренко. – Это не от вас зависело?

– Нет.

– Жаль. Парень этот был бы полезен. Приманка. Живец.

И глядя на Якова глазами соучастника, голый, золотистый на солнце, блестя кожей, как сазан чешуёй, офицер снова спросил:

– А приятеля вашего – видели? Охотника?

Нестеренко засмеялся тихим смехом самодовольного человека.

– Знаете, что его побудило охотиться на вас? Ружьё хотел купить, двустволку. Всё – страсти, батенька, страсти руководят людьми, да-с! Он, охотник, будет очень полезен теперь, когда я его крепко держу за горло, благодаря его ошибке с вами...

– Какая же ошибка, когда вы говорите...

– Ошибка, сударь мой, ошибка! – настойчиво повторил офицер и, разбрызгивая воду, крестя голую грудь, пошёл в реку, шагая, как лошадь.

«Чёрт вас всех побери», – уныло подумал Яков.

Вдруг – точно дверь закрыли в комнату, где был шум, – пришла смерть.

Среди ночи Якова разбудила, всхлипывая, мать:

– Вставай скорее, Тихон прискакал, дядя Алексей скончался!

Яков вскочил, забормотал:

– Как же это! Он и не хворал ведь...

Пошатываясь, тяжело дыша, в дверь влез отец.

– Тихон, – ворчал он. – Где Тихон, там уж добра не жди! Вот, Яков, а? Вдруг...

Босый, в халате, накинутом на ночное бельё, он дёргал себя за ухо, оглядывался, точно попал в незнакомое место, и ухал:

– Ух...

– Как же это? – недоумевал Яков.

– Без покаяния, – сказала мать, похожая на огромный мешок муки.

Поехали на бричке; Яков сидел за кучера, глядя, как впереди подпрыгивает на коне Тихон, а сбоку от него по дороге стелется, пляшет тень, точно пытаюсь зарыться в землю.

Ольга встретила их на дворе, она ходила от сарая к воротам туда и обратно, в белой юбке, в ночной кофте, при свете луны она казалась синеватой, прозрачной, и было странно видеть, что от её фигуры на лысый булыжник двора падает густая тень.

– Вот и кончилась моя жизнь, – тихонько сказала она. Чёрная собака Кучум неотвязно шагала вслед за нею.

На скамье, под окном кухни, сидел согнувшись Мирон; в одной его руке дымилась папироса, другою он раскачивал очки свои, блестели стёкла, тонкие золотые ниточки сверкали в воздухе; без очков нос Мирона казался ещё больше. Яков молча сел рядом с ним, а отец, стоя посреди двора, смотрел в открытое окно, как нищий, ожидая милостыни. Ольга возвышенным голосом рассказывала Наталье, глядя в небо:

– Не заметила я когда... Вдруг плечико у него стало смертно холодное, ротик открылся. Не успел, родной, сказать мне последнее слово своё. Вчера пожаловался: сердце колет.

Рассказывала Ольга тихо, и от слов её тоже как будто падали тени.

Мирон, бросив погасшую папиросу, боднул Якова головой в плечо и тихонько провыл:

– Т-ты не знаешь, какой он хороший...

– Что ж делать? – ответил Яков, не находя иных слов. Надобно было сказать что-нибудь и тётке, а – что скажешь? Он замолчал, глядя в землю, шаркая ногою по ней.

Отец, крякнув, осторожно пошёл в дом, за ним на цыпочках пошёл и Яков. Дядя лежал накрытый простынёю, на голове его торчал рогами узел платка, которым была подвязана челюсть, большие пальцы ног так туго натянули простыню, точно пытались прорвать её. Луна, обтаявшая с одного бока, светло смотрела в окно, шевелилась кисея занавески; на дворе взвыл Кучум, и, как бы отвечая ему, Артамонов старший сказал ненужно громко, размашисто крестясь:

– Жил легко и помер легко...

Из окна Яков видел, что теперь по двору рядом с тёткой ходит Вера Попова, вся в чёрном, как монахиня, и Ольга снова рассказывает возвышенным голосом:

– Во сне скончался...

– Не дури! – тихо крикнул Вялов; он, вытирая лошадь клочками сена, мотал головою, не давая коню схватить губами его ухо; Артамонов старший тоже взглянул в окно, проворчал:

– Орёт, дурак; ничего не понимает...

«Ничего не надо говорить», – подумал Яков, выходя на крыльцо, и стал смотреть, как тени чёрной и белой женщин стирают пыль с камней; камни становятся всё светлее. Мать шепталась с Тихоном, он согласно кивал головою, конь тоже соглашался; в глазу его светилось медное пятно. Вышел из дома отец, мать сказала ему:

– Никите Ильичу депешу бы послать, Тихон знает, где он.

– Тихон знает! – сердито повторил отец. – Пошли, Мирон.

Мирон встал, пошёл, задел плечом косяк двери и погладил косяк ладонью.

– Илье тоже пошли, – сказал Артамонов старший вслед ему; из тёмной дыры, прорезанной в стене, Мирон ответил:

– Илья не может приехать.

– Ведь я с ним тридцать лет прожила, – рассказывала Ольга и точно сама удивлялась тому, что говорит. – Да ещё до венца четыре года дружились. Как же теперь я буду?

Отец подошёл к Якову.

– Илья – где?

– Не знаю.

– Врёшь?

– Не время теперь говорить об Илье, папаша.

Во двор поспешно вошёл доктор Яковлев, спросил:

– В спальне?

«Дурак, – подумал Яков. – Ведь не воскресишь».

брание сочинений в тридцати томах. Том 16. Рассказы, повести 1922–1925. Максим Горький gorkiymaxim. Его угнетала невозможность пропустить мимо себя эти часы уныния. Всё кругом было тягостно, ненужно: люди, их слова, рыжий конь, лоснившийся в лунном свете, как бронза, и эта чёрная, молча скорбевшая собака. Ему казалось, что тётка Ольга хвастается тем, как хорошо она жила с мужем; мать, в углу двора, всхлипывала как-то распушенно, фальшиво, у отца остановились глаза, одеревенело лицо, и всё было хуже, тягостнее, чем следовало быть.

В день похорон дяди Алексея на кладбище, когда гроб уже опустили в могилу и бросали на него горстями жёлтый песок, явился дядя Никита.

«Вот ещё», – подумал Яков, разглядывая угловатую фигуру монаха, прислонившуюся к стволу берёзы, им же и посаженной.

– Опоздал ты, – сказал ему отец, подходя к брату, вытирая слёзы с лица; монах втянул, как черепаха, голову свою в горб. Вид у него был нищий; ряса выгорела на солнце, клобук принял окраску старого, жестяного ведра, сапоги стоптаны. Пыльное его лицо опухло, он смотрел мутными глазами в спины людей, окружавших могилу, и что-то говорил отцу неслышным голосом, дрожала серая бородёнка. Яков исподлобья оглянулся, – монаха любопытно щупали десятки глаз, наверное, люди смотрят на уродливого брата и дядю богатых людей и ждут, не случится ли что-нибудь скандальное? Яков знал, что город убеждён: Артамоновы спрятали горбуна в монастырь для того, чтоб воспользоваться его частью наследства после отца.

Толстый, благодушный священник отец Николай тенористо уговаривал Ольгу:

– Не станем оскорблять стенанием и плачем господа бога нашего, ибо воля его...

А Ольга отвечала возвышенным голосом:

– Да ведь я не плачу, не жалуясь я!

Руки у неё дрожали, она странно судорожными жестами ошаривала юбку свою, хотела спрятать в карман мокрый от слёз комочек платка.

Тихон Вялов умело засыпал могилу, помогая сторожу кладбища, у могилы, остолбенело вытянувшись, стоял Мирон, а горбатый монах тихо, жалобно говорил Наталье:

– Ой, какая ты стала, – не узнать!

И, ткнув пальцем в передний горб свой, прибавил неуместно, ненужно:

– Меня – нельзя не узнать. Этот – твой, Яков? А тот, высокий, Алёшин, Мирон? Так, так! Ну, пойдёмте, пойдёмте...

Яков остался на кладбище. За минуту пред этим он увидел в толпе рабочих Носкова, охотник прошёл мимо его рядом с хромым кочегаром Васькой и, проходя, взглянул в лицо Якова нехорошим, спрашивающим взглядом. О чём думает этот человек? Конечно, он не может думать безвредно о человеке, который стрелял в него, мог убить.

Подожёл Тихон, стряхивая ладонью песок с поддёвки, и сказал:

– Ведь вот, уж как старался Алексей Ильич, а всё-таки... И Никита Ильич слабенец...

– Тут есть, – вдруг сказал Яков и оборвал слова свои.

– чего?

– Рабочие жалеют дядю.

– А – как же?

– Тут есть один – Носков, охотник, – снова начал Яков. – я бы тебе сказал про него...

– Лошадь падёт, и ту – жаль, – раздумчиво говорил Тихон. – Алексей Ильич бегом жил, с разбегу и скончался. Как ушибся обо что. А ещё за день до смерти говорил мне...

Яков замолчал, поняв, что его слова не дойдут до Тихона. Он решил сказать Тихону о Носкове потому, что необходимо было сказать кому-либо о этом человеке; мысль о нём угнетала Якова более, чем всё происходящее. Вчера в городе к нему откуда-то из-за угла подошёл этот кривоногий, с тупым лицом солдата, снял фуражку и, глядя внутрь её, в подкладку, сказал:

– Имею должок за вами, обещали дать на лечение ноги. К тому же и дядюшка у вас помер, так что – как бы на помин души, а у меня случай есть – замечательную гармонию могу купить для утешения вашего папаша...

Яков ошеломлённо смотрел на него и молчал. Тогда Носков поучительно и настойчиво прибавил:

– И как я служу вашей пользе, против недругов России...

– Сколько? – спросил Яков.

Носков, не сразу, ответил:

– Тридцать пять рублей.

Яков дал ему деньги и быстро пошёл прочь возмущённый, испуганный. «Он меня дураком считает, он думает, что я его боюсь, подлец! Нет, погоди же...»

И теперь, медленно шагая домой, Яков думал лишь о том, как ему избавиться от этого человека, несомненно, желающего подвести его, как быка, под топор.

Бесконечно тянулись шумные часы поминок. Люди забавлялись, заставляя дьякона Карцева и певчих возглашать усопшему вечную память. Житейкин напился до того, что, размахивая вилкой, запел неприлично и грозно:

Бойцы вспоминают минувшие дни  
И битвы, где вместе рубились они...

Степан Барский, когда его мягкое, точно пуховая подушка, тело втискивали в экипаж, громко похвалил:

– Ну, Пётр Ильич, воистину – любил ты брата! Такие поминки долго не забыть!

Яков слышал, как отец, сильно выпивший, ответил угрюмо и насмешливо:

– Ты скоро всё забудешь, лопнешь скоро.

Житейкина, Барского, Воропонова и ещё несколько человек почтенных горожан отец пригласил сам, против желания Мирона, и Мирон был явно возмущён этим; посидев за поминальным столом не более получаса, он встал и ушёл, шагая, как журавль. Вслед за ним незаметно исчезла тётка Ольга, потом скрылся и монах, которому, видимо, надоели расспросы полупьяных людей о монастырской жизни. А отец вёл себя так, как будто хотел обидеть всех людей, и всё время, до конца поминок, Яков ждал, что вспыхнет ссора между отцом и горожанами.

Мать, оскорблённая тем, что за тёткой Ольгой ухаживала Попова, надулась и уехала домой, а отец почему-то пожелал ночевать в кабинете дяди Алексея. Всё это казалось Якову нелепо капризным, ненужным и ещё более расстраивало его. Пролежав на диване часа два, тщетно ожидая сна, он вышел на двор и под окном кухни на скамье увидел рядом с Тихоном чёрную фигуру монаха, странно похожего на какую-то сломанную машину. Без клобука на лысой голове монах стал меньше, шире, его заплесневелое лицо казалось детским; он держал в руке стакан, а на скамье, рядом с ним, стояла бутылка кваса.

– Это – кто? – тихонько спросил он и тотчас сам ответил: – Это – Яша. Посиди со стариками, Яша!

И, подняв стакан против луны, посмотрел на мутную влагу в нём. Луна спряталась за колокольней, окутав её серебряным туманным светом и этим странно выдвинув из тёплого сумрака ночи. Над колокольней стояли облака, точно грязные заплаты, неумело вшитые в синий бархат. Нюхая землю, по двору задумчиво ходил любимец Алексея, мордастый пёс Кучум; ходил, нюхал землю и вдруг, подняв голову в небо,

брание сочинений в тридцати томах. Том 16. Рассказы, повести 1922–1925. Максим Горький gorkiymaxim.  
негромко вопросительно взвизгивал.

– Цыц, Кучум, – вполголоса сказал Тихон.

Собака подошла, сунула толстую башку в колени Тихона и провыла что-то.

– Чувствует, – заметил Яков. Ему не ответили, а он очень хотел говорить, чтоб не думать.

– Понимает, говорю, – настойчиво повторил он, – дворник тихо отозвался:

– А – как же?

– В Суздале монастырская собака воров по запаху узнавала, – вспомнил монах.

– О чём беседуете? – спросил Яков; монах выпил квас, вытер рот рукавом рясы и беззубо заговорил, точно с лестницы идя:

– Тихон вот замечает: опять к мятежу люди склонны. Оно – похоже! Очень задумались все...

– Дела замучили, – вставил Тихон, играя ушами собаки.

– Прогони собаку, – приказал Яков, – блохи от неё.

Дворник снял Кучумовы лапы с колен своих, отодвинул собаку ногой; она, поджав хвост, села и скучно дважды пролаяла. Трое людей посмотрели на неё, и один из них мельком подумал, что, может быть, Тихон и монах гораздо больше жалеют осиротевшую собаку, чем её хозяина, зарытого в землю.

– Бунт – будет, – сказал Яков и осторожно посмотрел в тёмные углы двора. – Помнишь, Тихон, арестовали Седова с товарищами?

– А – как же?

Монах вынул из кармана рясы жестяную коробочку, достал из неё щепоть табаку, понюхал и сообщил племяннику:

– Вот, табачок нюхаю. Глазам помогает это, плохо видеть стали.

Чихнув, он продолжал:

– Арестуют даже и в деревнях...

– Шпионы завелись, – сказал Яков, стараясь говорить просто.

– Подсматривают за всеми.

Тихон проворчал:

– Ежели не подсматривать – ничего не узнаешь.

А Яков, нерешительно ворочая языком, пожимаясь от ночной свежести или от страха, говорил почти шёпотом:

– И у нас есть. Про Носкова, охотника, нехорошие слухи... Будто он донёс на Седова и на всех в городе...

– Ишь ты, дурак, – не сразу отозвался Тихон, протянул руку к собаке, но тотчас опустил её на колено, а Яков почувствовал, что слова его сказаны напрасно, упали в пустоту, и зачем-то предупредил Тихона:

– Ты однако не говори про Носкова.

– Зачем говорить? Он меня некасаемый. Да и некому говорить, никто никому не верит.

– Да, – сказал монах, – веры мало; я после войны с солдатами ранеными говорил,

брание сочинений в тридцати томах. Том 16. Рассказы, повести 1922–1925. Максим Горький gorkiymaxim.  
вижу: и солдат войне не верит! Железо, Яша, железо везде, машина! Машина работает, машина поёт, говорит! Железному этому заводу жития и люди другие нужны, – железные. Очень многие понимают это, я таких встречал. «Мы, говорят, вам, мякишам, покажем!» А некоторые другие обижаются. Когда человек командует – к этому привыкли, а когда железный металл – обидно! К топору, молотку, ко всему, что в руку взять можно, – привыкли, а тут вещь – сто пудов, однако как живая.

Тихон крякнул и, незнакомо Якову, неслыханно им, – засмеялся, говоря:

– Вперёд лошади телега бежит. Эх, черти!

– И многие – обозлились, – продолжал монах очень тихо. – Я три года везде ходил, я видел: ух, как обозлились! А злятся – не туда. Друг против друга злятся; однако – все виноваты, и за ум, и за глупость. Это мне поп Глеб сказал: очень хорошо!

– Поп-то жив? – спросил Тихон.

– Попа – нет, – ответил Никита. – Он расстригся, он теперь по сельским ярмаркам книжками торгует.

– Хороший поп, – сказал Тихон. – Я у него на исповеди бывал. Хорош. Только он притворялся попом из бедности своей, а по-настоящему в бога не верил, так думаю.

– Нет, он – веровал во Христа. Каждый по-своему верует.

– Оттого и смятение, – твёрдо сказал Тихон и снова нехорошо усмехнулся: – Додумались...

На крыльцо бесшумно вышел Артамонов старший, босиком, в ночном белье, посмотрел в бледное небо и сказал людям под окном:

– Не спится. Собака мешает. И вы урчите тут...

Собака сидела среди двора, насторожив уши, повизгивая, и смотрела в тёмную дыру открытого окна, должно быть, ожидая, когда хозяин позовет её.

– А ты, Тихон, всё своё долбишь! – заговорил Артамонов. – Вот, Яков, гляди: наткнулся мужик на одну думу – как волк в капкан попал. Вот так же и брат твой. Ты, Никита, про Илью знаешь?

– Слышал.

– Да. Прогнал я его. Вскочил он на чужого коня, поскакал, а – куда? Конечно, не всякий может, как он, отказаться от богатства и жить неведомо как...

– Алексей божий человек также, – тихо напомнил Никита.

Артамонов старший поднял руку к виску, помолчал и пошёл в сад, сказав Якову:

– Принеси мне в беседку одеяло, подушки, может, я там засну.

Грузный, в белом весь, с растрёпанными волосами на голове, с тёмно-бурым опухшим лицом, он был почти страшен.

– О машинах ты, Никита, зря говорил, – сказал он, остановясь среди двора. – Что ты понимаешь в машинах? Твоё дело – о боге говорить. Машины не мешают...

Тихон непочтительно, упрямо прервал его речь:

– От машин жить дороже и шуму больше.

Артамонов старший отмахнулся от него и медленно пошёл в сад, а Яков, шагая впереди его с подушками, сердито и уныло думал:

«Родные: отец, дядя, – а зачем они мне? Они помочь не могут».

Отец не пригласил брата жить к себе, монах поселился в доме тётки Ольги, на

брание сочинений в тридцати томах. Том 16. Рассказы, повести 1922–1925. Максим Горький gorkiymaxim. чердаке, предупредив её:

– Я немножко поживу, я уйду скоро...

Жил он почти незаметно и, если его не звали вниз, – в комнаты не сходил. Шевырялся в саду, срезывая сухие сучья с деревьев, черепахой ползал по земле, выпалывая сорные травы, сморщивался, подсыхал телом и говорил с людьми тихо, точно рассказывая важные тайны. Церковь посещал неохотно, отговариваясь нездоровьем, дома молился мало и говорить о боге не любил, упрямо уклоняясь от таких разговоров.

Яков видел, что монах очень подружился с Ольгой, его уважала бессловесная Вера Попова, и даже Мирон, слушая рассказы дяди о его странствованиях, о людях, не морщился, хотя после смерти отца Мирон стал ещё более заносчив, сух, распорядился по фабрике, как старший, и покрикивал на Якова, точно на служащего.

На расплывшееся, красное лицо Натальи монах смотрел так же ласково, как на всё и на всех, но говорил с нею меньше, чем с другими, да и сама она постепенно разучивалась говорить, только дышала. Её оступевшие глаза остановились, лишь изредка в их мутном взгляде вспыхивала тревога о здоровье мужа, страх пред Мироним и любовная радость при виде толстенького, солидного Якова. С Тихоном монах был в чём-то не согласен, они ворчали друг на друга, и хотя не спорили, но оба ходили мимо друг друга, точно двое слепых.

В жизнь Якова угловатая, чёрная фигура дяди внесла ещё одну тень, вид монаха вызывал в нём тяжёлые предчувствия, его тёмное, тающее лицо заставляло думать о смерти. Яков Артамонов смотрел на всё, что творилось дома, с высоты забот о себе самом, но хотя заботы всё возрастали, однако и дома тоже возникало всё больше новых тревог. Чутьё мужчины, опытного в делах любви, подсказывало ему, что Полина стала холоднее с ним, а хладнокровный поручик Маврин подтверждал подозрения Якова; встречаясь с ним, поручик теперь только пренебрежительно касался пальцем фуражки и прищуривал глаза, точно разглядывая нечто отдалённое и очень маленькое, тогда как раньше он был любезней, вежливее и в общественном собрании, занимая у Якова деньги на игру в карты или прося его отсрочить уплату долга, не однажды одобрительно говорил:

– У вас, Артамонов, фигура артиллериста.

Или говорил что-нибудь другое, тоже приятное. Якову льстило грубоватое добродушие этого точно из резины отлитого офицера, удивлявшего весь город своим презрением к холоду, ловкостью, силой и несомненно скрытой в нём отчаянной храбростью. Он смотрел в лица людей круглыми, каменными глазами и говорил сиповато, командующим голосом:

– Я мужчина хладнокровный и терпеть не могу преувеличений.

Поссорившись за картами с почтмейстером Дроновым, больным, но ехидного ума старичком, которого все в городе боялись, Маврин сказал ему:

– Преувеличивать не стану, но вы – старый дурак!

Подозревая в нём соперника, Яков Артамонов боялся столкновений с поручиком, но у него не возникало мысли о том, чтоб уступить Маврину Полину, – женщина становилась всё приятнее ему. Всё-таки он уже не однажды предупреждал её:

– Смотри, если замечу что-нибудь между тобой и Мавриным – брошу!

Рядом с этим росла тревога, которую вызывал в нём охотник Носков. Он подстерегал Якова на окраине города, у мостика через Ватаракшу, внезапно вырастал из земли и настойчиво, как должного, просил денег, глядя в свою фуражку.

Было что-то странное, нехорошее в том, что охотник появлялся всегда на одном и том же месте, выходя из крапивы и репейника, из густой заросли сорных трав под двумя кривыми вёслами. Года два тому назад на этом месте стоял дом огородника Панфила; огородника кто-то убил, дом подожгли, вёсла обгорели, глинистая земля, смешанная с углём и золою, была плотно утоптана игроками в городки; среди остатков кирпичного фундамента стояла печь, торчала труба; в ясные ночи над трубою, невысоко в небе, дрожала зеленоватая звезда. Носков не торопясь, шурша

брание сочинений в тридцати томах. Том 16. Рассказы, повести 1922–1925. Максим Горький gorkiумахіт. крапивою, выходил из-за трубы, медленно стаскивал с головы своей фуражку и бормотал:

– Я вам заслужу. Тут у вас снова заводится компания...

– Эти компании не моё дело, – сердито говорил Яков и слышал в ответе Носкова явное нахальство:

– Конечно, не вы организуете, но дело-то касается вас.

«Жаль, не пристрелил я его тогда», – в десятый раз сожалел Яков и, давая деньги шпиону, говорил:

– Ты, смотри, осторожней!

– Я знаю.

– Меня не впутай.

– Зачем же? Будьте покойны.

«Да, конечно, он считает меня дураком...»

Понимая, что Носков человек полезный, Яков Артамонов был уверен, что кривоногий парень с плоским лицом не может не отомстить ему за выстрел. Он хочет этого. Он запугает или на деньги, которые сам же Яков даёт ему, подкупит каких-нибудь рабочих и прикажет им убить. Якову уже казалось, что за последнее время рабочие стали смотреть на него внимательнее и злей.

Мирон всё чаще говорил: рабочие бунтуют не ради того, чтоб улучшить своё положение, но потому, что им со стороны внушается нелепейшая, безумнейшая мысль: они должны взять в свою волю банки, фабрики и вообще всё хозяйство страны. Говоря об этом, он вытягивался, выпрямлялся, шагал по комнате длинными ногами и вертел шеей, запуская палец за воротник, хотя шея у него была тонкая, а воротник рубашки достаточно широк.

– Это уж даже и не социализм, а чёрт знает что! И вот сторонником этой выдумки является твой родной брат. Наше правительство старых ворон...

Яков понимал, что всё это говорится Мироном для того, чтоб убедить слушателей и себя в своём праве на место в Государственной думе, а всё-таки гневные речи брата оставляли у Якова осадок страха, усиливая сознание его личной незащитности среди сотен рабочих. Он даже испытал нечто близкое припадку ужаса: как-то утром его разбудил вой и крик на фабричном дворе, приподняв голову с подушки, он увидал, что по белой, гладкой стене склада мчится буйная толпа теней, они подпрыгивают, размахивая руками, и, казалось, двигают по земле всё здание склада. Он, сразу весь вспотев, думал, безмолвно кричал:

«Бунт...»

Этот поток теней, почему-то более страшных, чем люди, быстро исчез, Яков понял, что у ворот фабрики разыгралась обычная в понедельник драка, – после праздников почти всегда дрались, но в памяти его остался этот жуткий бег тёмных, воющих пятен. Вообще вся жизнь становилась до того тревожной, что неприятно было видеть газету и не хотелось читать её. Простое, ясное исчезало, отовсюду вторгалось неприятное, появлялись новые люди.

Сестра Татьяна вдруг привезла из Воргорода жениха, сухонького, рыжеватого человечка в фуражке инженера; лёгкий, быстрый на ногу, очень весёлый, он был на два года моложе Татьяны, и, начиная с неё, все в доме сразу стали звать его Митя. Он играл на гитаре, пел песни, одна из них, которую он распевал особенно часто, казалась Якову обидной для сестры и очень возмущала мать.

Жена моя в гробу.

Рабу

Устрой, господь, твою

В раю!

Но сестра не обижалась; её, как всех, забавлял этот человек, и даже мать нередко



брание сочинений в тридцати томах. Том 16. Рассказы, повести 1922–1925. Максим Горький gorkiymaxim.  
умилённо говорила ему:

– Ах ты, чижик! Да ты поешь, паяц!

Есть Митя мог, точно голубь, бесконечно много; Артамонов старший разглядывал его, как сон, удивлёнными глазами, мигая, и спрашивал:

– При таком характере ты должен пить. Пьёшь?

– Могу, – ответил зять и за ужином доказал, что пить он может тоже изрядно. Он везде бывал: на Волге и на Урале, в Крыму и на Кавказе, он знал бесчисленное количество забавных прибауток, рассказов, смешных словечек; казалось, что он прибежал из какой-то весёлой, беспечной страны.

– Жизнь – красавица! – говорил он и сразу попал в непрерывно вертящийся круг дела, понравился рабочим, молодёжь смеялась, старики ткачи ласково кивали головами, и даже Мирон, слушая его сверкающую смехом речь, слизывал языком улыбки со своих тонких губ. Вот он идёт рядом с Мироном по двору фабрики к пятому корпусу, этот корпус ещё только вцепился в землю, пятый палец красной кирпичной лапы; он стоит весь опутанный лесами, на полках лесов берутся плотники, блестят их серебряные топоры, блестят стеклом и золотом очки Мирона, он вытягивает руку, точно генерал на старинной картинке ценою в пятак, Митя, кивая головою, тоже взмахивает руками, как бы бросая что-то на землю.

Яков смотрит на них из окна конторы. Зять нравится и ему, с ним весело, забываешь многое, что тяготит; Яков даже завидует характеру этого человека, но чувствует к нему странное недоверие: кажется, что этот человек ненадолго, до завтра, а завтра он объявит себя актёром, парикмахером или исчезнет так же внезапно, как явился. В нём было ещё одно хорошее качество, – он, видимо, не жаден, не спрашивает, сколько приданого за Татьяной, хотя в этом, может быть, скрыта какая-то Татьяна хитрость. Но отец, трезвый, ворчал:

– Вот на какого рыженького работал я...

И Мирон женился.

– Позвольте представить вам жену мою, – сказал он, приехав из Москвы, и поставил пред собою голубоглазую, пухленькую куколку с кудрявой, свёрнутой набок головкой. Его жена была игрушечно маленьких размеров, но сделана как-то особенно отчётливо, и это придавало ей в глазах Якова вид не настоящей женщины, а сходство с фарфоровой фигуркой, прилепленной к любимым часам дяди Алексея; голова фигурки была отбита и приклеена несколько наискось; часы стояли на подзеркальнике, и статуэтка, отвернувшись от людей, смотрела в зеркало. Мирон объявил, что жену его зовут Анна и что ей восемнадцать лет, но умолчал, что в придачу к ней ему дали четверть миллиона и что она единственная дочь фабриканта бумаги.

– Вот как женятся, – ворчал отец, глядя на Якова красными глазами. – А ты путаешься чёрт знает с какой. А Илью вывели из обихода, как сор.

Отец ходил с трудом, тяжело раскачивая обмякшее, вялое тело. Якову казалось, что тело это злит отца и он нарочно выставляет напоказ людям угнетающее безобразие старческой наготы: он щеголял в ночном белье, в неподпоясанном халате, в туфлях на босую ногу, с раскрытой, оплывшей грудью, так же, как ходил перед дочерью Еленой, чтобы позлить её. Иногда он являлся в контору, долго сидел там и, мешая Якову, жаловался, что вот он отдал все свои силы фабрике, детям, всю жизнь прожил запряжённый в каменные оглобли дела, в дыму забот, не испытал никаких радостей.

Сын слушал и молчал, видя, что эти жалобы, утешая отца, раздувают, увеличивают его до размеров колокольни, – утром солнце видит её раньше, чем ему станут заметны дома людей, и с последней с нею прощается, уходя в ночь. Но из этих жалоб Яков извлекал для себя поучительный вывод: жить так, как жил отец, – бессмысленно.

И всегда он видел, что после насыщения жалобами отцом овладевает горячий зуд, беспокойное желание обижать людей, издеваться над ними. Он шёл к старухе жене, сидевшей у окна в сад, положив на колени ненужные руки, уставя пустые глаза в

брание сочинений в тридцати томах. Том 16. Рассказы, повести 1922–1925. Максим Горький gorkiymaxim.  
одну точку; он сядил рядом с нею и зудел:

– О чём думаешь? Толста, а не видно тебя. Дети-то не видят. Татьяна с кухаркой говорит милее, чем с тобою. Елена-то забыла, не приезжает, а? Видно, опять нового любовника завела. А Илья – где?

Но жену дразнить было скучно, её багровое лицо быстро потело слезами, казалось, что слёзы льются не только из глаз её, но выступают из всех точек туго надутой кожи щёк, из двойного, рыхлого подбородка, просачиваются где-то около ушей.

– Ну, рассохлась, – брезгливо ворчал старик и уходил, отмахиваясь от неё, как от дыма. Нет, она не забавляла.

Якова он не дразнил, но сыну всегда казалось, что отец смотрит на него с обидной жалостью. Иногда он вздыхал:

– Эх ты, пустоглазый...

Мирон был недоступен насмешкам, отец явно и боязливо сторонился его; это было понятно Якову. Мирона все боялись и на фабрике и дома, от матери и фарфоровой его жены до Гришки, мальчика, отворявшего парадную дверь. Когда Мирон шёл по двору, казалось, что длинная тень его творит вокруг тишину.

Смеяться над рыженьким зятем не было удовольствия, этот сам себя умел высмеивать, он явно предпочитал ударить сам себя раньше, чем его побьёт другой. Татьяна, беременная, очень вспухла, важно надула губы, после обеда лежала, читая сразу три книги, потом шла гулять; муж бежал рядом с нею, как пудель.

Артамонов старший приказывал запрячь лошадь и ехал в город дразнить брата и Тихона; Яков неоднократно слышал, как он делает это.

– Что, студент в клобуке, проюрдонил бога-то? – привязывался он к монаху.

Никита двигал горбом, крепко гладил ладонями длинных рук острые колена свои и тихо, жалобно говорил:

– Ой, напрасно это...

– Как – напрасно? Ты не ту шляпу носишь, эта у тебя шляпа фальшивая. Вся твоя одежда фальшивая. Какой ты монах?

– Моей души дело.

– Табак нюхаешь. Нет, проиграл ты, ошибся. Женился бы в своё время на бедной девушке, на сироте, она бы тебе благодарно детей родила, был бы ты теперь, как я, дед. А ты допустил – помнишь?

Медленно, как огромная черепаха, монах отползал прочь, а Пётр Ильич Артамонов шёл к Ольге, рассказывал ей о кутежах Алексея на ярмарке. Но это тоже не забавляло его; маленькая старушка после смерти мужа заразилась какой-то непоседливостью, она всё ходила, передвигая мебель, переставляя вещи с места на место, поглядывая в окна. Ходила, держа голову неподвижно, и хотя на носу её красовались очки с толстыми стёклами, она жила наощупь, тыкая в пол палкой, простирая правую руку вперёд. А на злые рассказы старика она, усмехаясь, отвечала:

– Что хочешь говори; к такому, каким я знаю Алёшу, ничего худого не пристанет, хорошего не прибавится.

– Верно сказал он про тебя: ты одним глазом смотришь.

– Обоими почти не вижу, – сказала Ольга. – Не вижу, вчера любимый его стакан фарфоровый разбила сослепа.

Пробовал Артамонов старший дразнить Тихона Вялова, но это было тоже трудно. Тихон не сердился, он, глядя вбок, побрякивал, отвечая кратко и спокойно.

– Долго ты живёшь, – говорил Артамонов, Тихон резонно отвечал:

– Живут и больше.

– А вот зачем ты жил, а? Ты говори!

– Все живут.

– Верно, да – не всякий целую жизнь дворы метёт, сор убирает...

У Тихона были свои мысли.

– Родился, ну, и живи до смерти, – говорил он, но Артамонов, не слушая его, продолжал:

– Ты вот всю жизнь с метлой прожил. Нет у тебя ни жены, ни детей, не было никаких забот. Это – почему? Тебе ещё отец мой другое место давал, а ты – не захотел, отвергся. Это что же за упрямство у тебя?

– Опоздал спросить, Пётр Ильич, – ответил Тихон, глядя в сторону.

Сердась, Артамонов настойчиво зудел:

– Ты погляди, сколько за срок твоей жизни народу разбогатело. Все люди добивались облегчения себе, деньги копили...

– Копил, копил да чёрта и купил, – сказал Тихон, особенно кругло и густо произнося «ó».

Яков ждал, что отец рассердится, обругает Тихона, но старик, помолчав, пробормотал что-то невнятное и отошёл прочь от дворника, который хотя и линял, лысел, становился одноцветным, каким-то суглинистым, но, не поддаваясь ухищрениям старости, был всё так же крепок телом, даже приобретал некое благообразие, а говорил всё более важно, поучающим тоном. Якову казалось, что Тихон говорит и ведёт себя более «по-хозяйски», чем отец.

Сам Яков всё яснее видел, что он лишний среди родных, в доме, где единственно приятным человеком был чужой – Митя Лонгинов. Митя не казался ему ни глупым, ни умным, он выскальзывал из этих оценок, оставаясь отличным от всех. Его значительность подтверждалась и отношением к нему Мирона; чёрствый, властный, всеми командующий Мирон жил с Митей дружно и хотя часто спорил, но никогда не ссорился, да и спорил осторожно. В доме с утра до вечера звучал разноголосый зов:

– Митя! – кричала Татьяна.

– Где Митя? – спрашивала мать, и даже отец рычал, высунувшись в окно:

– Митрий, – обедать пора!

Митя бегал по фабрике лисьим бегом и ловко заметал пушистым хвостом смешных слов, весёлых шуточек сухую, обидную строгость Мирона с рабочими и служащими. Рабочих он называл друзьями.

– Дружище, это – не так! – говорил он бородатому, солидному десятнику плотников, выхватывая из кармана книжечку в красной коже, карандаш или чертил что-то на доске и спрашивал:

– Видишь? Так? И – так? И вот так? Вышло?

– Правильно, – соглашался десятник. – А мы всё по старинке, как привыкли...

– Нет, милая личность, надо привыкать к новому – выгоднее!

Десятник соглашался:

– Правильно.

Своею бойкою игрою с делом Митя был похож на дядю Алексея, но в нём не заметно

брание сочинений в тридцати томах. Том 16. Рассказы, повести 1922–1925. Максим Горький gorkiymaxim. было хозяйской жадности, весёлым балагурством он весьма напоминал плотника Серафима, это было замечено и отцом; как-то во время ужина, когда Митя размёл, рассеял сердитое настроение за столом, отец, ухмыляясь, проворчал:

– Вот тоже, был у нас Утешитель, Серафим... да!

Яков слышал, как однажды, после обычного столкновения отца с Мироном, Митя сказал Мирону:

– Соединение страшенького и противенького с жалким, – чисто русская химия!

И тотчас же утешил:

– Но – ничего! Это скоро пройдёт, изживётся. Мы – очищаемся...

Праздничным вечером, в саду за чаем, отец пожаловался:

– Я без праздника прожил! – Зять тотчас взвился ракетой, рассыпался золотым песком бойких слов:

– Это – ваша ошибка и ничья больше! Праздники устанавливает для себя человек. Жизнь – красавица, она требует подарков, развлечений, всякой игры, жить надо с удовольствием. Каждый день можно найти что-нибудь для радости.

Говорил он долго, ловко, точно на дудочке играя, и все за столом примолкли; всегда бывало так, что, слушая его, люди точно засыпали; Яков тоже испытывал обаяние его речей, он чувствовал в них настоящую правду, но ему хотелось спросить Митю:

«Зачем же ты женился на некрасивой, глупой девице?»

Яков видел в его отношении к жене нечто фальшивое, слишком любезное, подчёркнутую заботливость; Якову казалось, что и сестра чувствует эту фальшь, она жила уныло, молчаливо, слишком легко раздражалась и гораздо чаще, оживлённее беседовала о политике с Мироном, чем с весёлым мужем своим. Кроме политики, она не умела говорить ни о чём.

Иногда Яков думал, что Митя Лонгинов явился не из весёлой, беспечной страны, а выскочил из какой-то скучной, тёмной ямы, дорвался до незнакомых, новых для него людей и от радости, что, наконец, дорвался, пляшет перед ними, смешит, умиляется обилию их, удивлён чем-то. Вот в этом его удивлении Яков подмечал нечто глуповатое; так удивляется мальчишка в магазине игрушек, но – мальчишка, умно и сразу отличающий, какие игрушки лучше.

Из всех людей в доме и на фабрике двое определённо не любили Татьянина мужа: дядя Никита и Тихон Вялов. На вопрос Якова: как ему нравится Митя, – дворник спокойно ответил:

– Неверный.

– Чем?

– Муха. На всякую дрянь садится.

Яков долго, настойчиво допрашивал старика, но тот не мог сказать ничего более ясного:

– Сам видишь, Яков Пётрович, – сказал он. – Видишь ведь: человек фигуры выдумывает.

Дядя, монах, сказал почти то же.

– Пылит, – сказал он, вздохнув. – Я таких много видел, краснобаев. Путают они народ. И сами тоже в словах запутались. Скажи ему: горох, а он тебе: горы, ох... Да, да.

Было странно слышать, что этот кроткий урод говорит сердито, почти со злобой, совершенно не свойственной ему. И ещё более удивляло единогласие Тихона и дяди в

брание сочинений в тридцати томах. Том 16. Рассказы, повести 1922–1925. Максим Горький gorkiymaxim.  
оценке мужа Татьяны, – старики жили несогласно, в какой-то явной, но немой вражде, почти не разговаривая, сторонясь друг друга. В этом Яков ещё раз видел надоевшую ему человеческую глупость: в чём могут быть не согласны люди, которых завтра же опрокинет смерть?

Дядя Никита умирал. Якову казалось, что отец усердно помогает ему в этом, почти при каждой встрече он мял и давил монаха упрёками:

– Я весь век жил в людях волком, а ты – живёшь котом. Все заботятся устроить тебе потеплее, помягче и даже будто не видят, что ты горбат. Меня все считают злым, а какой я злой? Я всю жизнь...

Втягивая голову в горб, монах просил, покашливая:

– Ты – не сердись.

Чувство брезгливости к отцу, к его обнаженной, точно из мыла слепленной груди, покрытой плесенью седоватых волос, тоже мешало жить Якову, это чувство трудно было прятать, скрыть. Он изредка должен был напоминать себе:

«Отец. От него я родился».

Но это не украшало отца, не гасило брезгливость к нему, в этом было даже что-то обидное, принижающее. Отец почти ежедневно ездил в город как бы для того, чтоб наблюдать, как умирает монах. С трудом, сопя, Артамонов старший влезал на чердак и садился у постели монаха, уставив на него воспалённые, красные глаза. Никита молчал, покашливая, глядя оловянным взглядом в потолок; руки у него стали беспокойны, он всё одёргивал рясу, обирал с неё что-то невидимое. Иногда он вставал, задыхаясь от кашля.

– Хрустишь? – спрашивал брат.

Никита полз к окну, хватаясь руками за плечи брата, спинку кровати, стульев; ряса висела на нём, как парус на сломанной мачте; садясь у окна, он, открыв рот, смотрел вниз, в сад и в даль, на тёмную, сердитую щетину леса.

– Ну, отдохни, – говорил брат, дёргая дряблую мочку уха, спускался вниз и оповещал Ольгу:

– Хрустит. Скоро уж...

Приезжал толстый монах, отец Мардарий, и убеждал отправить Никиту в монастырь, по какому-то уставу он должен умереть именно там и там же его необходимо было похоронить. Но горбун уговорил Ольгу:

– После отвезёте туда, когда умру.

И жалобно, трижды попросил:

– Крышечку гроба повыше сделайте, чтоб не давила. Уж не забудьте!

Умер он за четыре дня до начала войны, а накануне смерти попросил известить монастырь:

– Пусть приедут за мной, я к их прибытию успею помереть.

Утром, в день смерти его, Яков помог отцу подняться на чердак, отец, перекрестясь, уставился в тёмное, испепелённое лицо с полузакрытыми глазами, с провалившимся ртом; Никита неестественно громко сказал:

– Прости меня.

– Ну, что ты? За что? – проворчал Пётр Артамонов.

– За дерзость мою...

– Меня прости, – сказал старший. – Я тут, иной раз, шутил с тобой...

брание сочинений в тридцати томах. Том 16. Рассказы, повести 1922–1925. Максим Горький gorkiymaxim.

– Бог шутку не осудит, – шёпотом уверил монах, а брат, помолчав, спросил:

– Вот, как ты теперь?.. Куда?

– Забыл я, – торопливо заговорил монах, прервав брата. – Ты, Яша, скажи Тихону, спилил бы он кленок у беседки, не пойдёт кленок, нет...

Невыносимо было Якову слушать этот излишне ясный голос и смотреть на кости груди, нечеловечески поднявшиеся вверх, точно угол ящика. И вообще ничего человеческого не осталось в этой кучке неподвижных костей, покрытых чёрным, в руках, державших поморский, медный крест. Жалко было дядю, но всё-таки думалось: зачем это установлено, чтоб старики и вообще домашние люди умирали на виду у всех?

Подождав, не скажет ли брат ещё чего, отец ушёл под руку с Яковым, молчаливо опустив голову. Внизу он сказал:

– Умирает.

– Да? – спросил Мирон, сидя у стола, закрыв половину тела своего огромным листом газеты; спросив, он не отвёл от неё глаз, но затем бросил газету на стол и сказал в угол жене:

– Я был прав, – читай!

Его кругленькая жена подкатилась к столу, а мать, сидя у окна, испуганно спросила:

– Неужели, Мирон, неужели война?

– Вот и второй Артамонов, – громко напомнил Пётр.

– Врут, конечно, – сказал Мирон жене или Якову, который тоже, наклонясь над газетой, читал тревожные телеграммы, соображая: чем всё это грозит ему?

Артамонов старший, махнув рукою, пошёл на двор, там солнце до того накалило булыжник, что тепло его проникало сквозь мягкие подошвы бархатных сапогов. Из окна сыпались сухенькие, поучающие слова Мирона; Яков, стоя с газетой в руках у окна, видел, как отец погрозил кому-то своим багровым кулаком.

На третий день, рано утром, приехали монахи; их было семеро, все разного роста и объёма, они показались Якову неразличимыми, как новорождённые. Лишь один из них, самый высокий, тощий, с густейшей бородою и не подобающим ни монаху, ни случаю громким, весёлым голосом, тот, который шёл впереди всех с большим, чёрным крестом в руках, как будто не имел лица: был он лысый, нос его расплылся по щекам, и кроме двух чёрненьких ямок между лысиной и бородою у него на месте лица ничего не значилось. Шагая, он так медленно поднимал ноги, точно был слеп; он пел на три голоса:

– «Святой боже», – низко, почти басом;

– «Святой крепкий», – выше, тенористо, а –

– «Святой бессмертный, помилуй нас!» – так пронзительно, что мальчишки, забегаая вперёд, с удивлением смотрели в бороду его, вместилище невидимого трёхголосого рта.

Когда похороны вышли из улицы на площадь, оказалось, что она тесно забита обывателями, запасными, солдатами поручика Маврина, малочисленным начальством и духовенством в центре толпы. Хладнокровный поручик парадно, монументом стоял впереди своих солдат, его освещало солнце; конусообразные попы и дьякона стояли тоже золотыми истуканами, они таяли, плавилась на солнце, сияние риз тоже падало на поручика Маврина; впереди аналоя подпрыгивал, размахивая фуражкой, толстый офицер с жестяной головою.

Трёхголосый монах, покачивая чёрным крестом, остановился пред стеною людей и басом сказал:

– Расступитесь!

Но люди расступились не пред ним, а пред рыжей, длинной лошадей Экке, помощника исправника, – взмахивая белой перчаткой, он наехал на монаха, поставил лошадь поперёк улицы и закричал упрекающе, обиженно:

– К-куда? Что вы, не видите? Назад!

Монах, подняв крест, затащил:

– Святой бо-о...

– Ур-ра! – крикнул офицер, и весь народ на площади тысячами голосов разъярённо рявкнул:

– Ур-рра-а...

А Экке, привстав на стременах, тоже кричал:

– Пётр Ильич, пож-жалуйста, переулочком! В обход! Мирон Алексеевич – прошу вас! Тут – воодушевление, а вы, – как же это?

Артамонов старший, стоя у изголовья гроба, поддерживаемый женою и Яковом, посмотрел снизу вверх на деревянное лицо Экке и угрюмо сказал монахам, которые несли гроб:

– Сворачивайте, отцы...

И, всхлипнув, добавил:

– Последний раз, видно, распоряжаюсь...

Всё это показалось Якову неприличным, даже несколько смешным, но когда свернули в переулок, где жила Полина, он увидел её быстро шагающей встречу похоронам, она шла в белом платье, под розовым зонтиком, и торопливо крестила выпуклую, туго обтянутую грудь.

«Мавриным любоваться идёт», – тотчас же сообразил он и задохнулся пылью, раздражением. Монахи пошли быстрее, чернобородый стал петь тише, задумчивей, а хор певчих и совсем замолчал. За городом, против ворот бойни, стояла какая-то странная телега, накрытая чёрным сукном, запряжённая парой пёстрых лошадей, гроб поставили на телегу и начали служить панихиду, а из улицы, точно из трубы, доносился торжественный рёв меди, музыка играла «Боже даря храни», звонили колокола трёх церквей и притекал пыльный, дымный рык:

– Р-р-р-а-а!

Якову казалось, что он слышит команду поручика Маврина:

– Р-но-о!

После панихиды пришлось ехать в дом тётки, долго сидеть за поминальным столом, слушая сердитую воркотню отца:

– Какой дурак распорядился поставить лошадей против бойни, а?

– Полиция, полиция, – успокаивал Митя и объяснял: – Неудобно, знаете: национальное воодушевление, а тут – похоронные дроги! Не совпадает...

Мирон, слизнув улыбку с губ своих, говорил доктору Яковлеву, который был особенно замечен в тяжёлые, неприятные дни:

– Но если мы дружно навалимся брюхом, как Митька в «Князе Серебряном»... В конце концов – всё на свете решается соотношением чисел...

– Техникой, – возразил доктор.

– Техника? Ну, да... Но...

брание сочинений в тридцати томах. Том 16. Рассказы, повести 1922–1925. Максим Горький gorkiymaxim.  
Только вечером, в десятом часу, Яков мог вырваться из этой скучной канители и побежал к Полине, испытывая тревогу, ещё никогда до этого часа не изведанную им, предчувствуя, что должно случиться нечто необыкновенное. Конечно, это и случилось.

– Ох, – сказала кухарка Полины, когда Яков, пройдя двором, вошёл в кухню, – сказала и грузно опустилась на скамью у печи.

– Сводня, подлая, – ответил Яков и остановился перед дверью в комнату, прислушиваясь к чётким, солдатским шагам и знакомому, военному голосу:

– Так вот, надо сообразить – так или не так?.. Сообразите же!

«На вы говорит, – сообразил Яков, – может быть, ещё ничего не было».

Но, открыв дверь, стоя на пороге её, он тотчас убедился, что всё уже было: хладнокровный поручик, строго сдвинув брови, стоял среди комнаты в расстёгнутом кителе, держа руки в карманах, из-под кителя было видно подтяжки, и одна из них отстёгнута от пуговицы брюк; Полина сидела на кушетке, закинув ногу на ногу, чулок на одной ноге спустился винтом, её бойкие глаза необычно круглы, а лицо, густо заливаясь румянцем, багровеет.

– Н-ну-с? – спросил хладнокровный поручик и вопросом своим окончательно утвердил все подозрения Якова. Он шагнул вперёд, бросил шляпу на стул и сказал незнакомым себе, сорвавшимся голосом:

– Я – с похорон... с поминок...

– Да-с? – вопросительно, тоном хозяина отозвался поручик, Полина, затянувшись так, что папироса затрещала, сказала с дымом, но не виновато, а небрежно:

– Ипполит Сергеевич уговаривает меня идти в сёстры милосердия...

– В сестры? М-да, – произнёс Яков, усмехаясь, – тогда хладнокровный поручик, шагнув к нему, отчётливо спросил:

– Что значит эта усмешка? Прошу помнить: я преувеличений н-не люблю-с! Не терплю!

В эти две-три минуты Яков испытал, как сквозь него прошли горячие токи обиды, злости, прошли и оставили в нём подавляющее, почти горестное сознание, что маленькая женщина эта необходима ему так же, как любая часть его тела, и что он не может позволить оторвать её от него. От этого сознания к нему вновь возвратился гнев, он похолодел, встал, сунув руку в карман.

– Не подходи! – предупредил он поручика, чувствуя, что у него выкатываются глаза так, что им больно.

– Эт-то почему? – спросил поручик и шагнул ещё. Его противная манера удваивать буквы в словах всегда не нравилась Якову, а в эту минуту привела его в бешенство, он хотел выдернуть руку из кармана, крикнул:

– Убью!

Поручик Маврин схватил его за руку, мучительно сжал её у кисти, револьвер глухо выстрелил в кармане, затем рука Якова с резкой болью как бы сломалась в локте, вырвалась из кармана, поручик взял из его пальцев револьвер и, бросив его на кресло, сказал:

– Не вышло!

– Яша, Яша! – слышал Артамонов громкий шёпот. – Ипполит Сергеевич, – господа! Вы с ума сошли? Из-за чего? Ведь это – скандал! Из-за чего же?

– Н-ну, – оглушительно сказал хладнокровный поручик, взяв Якова за бороду, дёргая её вниз и этим заставляя кланяться ему: – Проси – прощенья – дурак!

С каждым словом, и рассекая длинные надвое, он дёргал бороду вниз, потом лёгким



брание сочинений в тридцати томах. Том 16. Рассказы, повести 1922–1925. Максим Горький gorkiуmaxim. ударом в подбородок заставлял поднимать её.

– Ой, как стыдно, ой! – шептала Полина, хватая поручика за локоть.

Яков не мог двигать правой рукою, но, крепко сжав зубы, отталкивал поручика левой; он мычал, по щекам его текли слёзы унижения.

– Не смей меня касаться! – рявкнул поручик и, оттолкнув его, посадил в кресло, на револьвер. Тогда Яков, закрыв лицо руками, скрывая слёзы, замер в полуобмороке, едва слыша, сквозь гул в голове, крики Полины:

– Боже мой, как это неблагородно! и это вы, вы! Такой скандал! За что?

– Идите к чёрту, барышня! – сказал поручик чугунным голосом. – Вот вам целковый за удовольствие, – эт-того достаточно! Я не выношу преувеличений, но вы самая обыкновенная...

Растапывая пол тяжёлыми ударами ног, поручик, хлопнув дверью, исчез, оставив за собой тихий звон стекла висячей лампы и коротенький визг Полины. Яков встал на мягкие ноги, они сгибались, всё тело его дрожало, как озябшее; среди комнаты под лампой стояла Полина, рот у неё был открыт, она хрипела, глядя на грязненькую бумажку в руке своей.

– Сволочь, – сказал Яков. – Зачем ты это сделала? А – говорила... Убить надо тебя...

Женщина взглянула на него, бросила бумажку на пол и хрипло, с изумлением, протянула:

– Ка-акой негодяй...

Она опустилась в кресло, согнулась, схватив руками голову, а Яков, ударив её кулаком по плечу, крикнул:

– Пусти! Дай револьвер...

Не шевелясь, она всё так же изумлённо спросила:

– Так ты меня любишь?

– Ненавижу!

– Врёшь! Любишь теперь!

Она прыгнула на него так быстро, что Яков не успел оттолкнуть её, она обняла его за шею и, с яростной настойчивостью, обжигая кусающими поцелуями, горячо дыша в глаза, в рот ему, шептала:

– Врёшь, любишь, любишь. И я тоже – на! Ах ты, мягкий, Солёнький мой...

Солёнький – её любимое ласкательное словечко, она произносила его только в минуты исключительно сильного возбуждения, и оно всегда опьяняло Якова до какого-то сладостного и нежного зверства. Так случилось и в эту минуту; он мял, щипал, целовал её и бормотал, задыхаясь:

– Дрянь. Паскудница. Ведь знаешь...

Через час он сидел на кушетке, она лежала на коленях у него; покачивая её, он с удивлением думал:

«Как быстро всё прошло!..»

А она утомлённо говорила:

– Озлилась я, хотела бросить тебя. Ты всё хлопчешь о своих, хоронишь, а мне скучно. И я не знала: любишь ты меня? Теперь будешь крепче любить, ревновать будешь потому что. Когда есть ревность...

– Уехать бы отсюда, – устало сказал Яков.

– Да. В Париж. Я могу говорить по-французски.

Огня они не зажгли, в комнате было темно и душно, на улице кричали запасные солдаты, бабы, хотя было поздно, за полночь.

– Теперь за границу не уедешь, там – война, – вспомнил Яков. – Война, чёрт их возьми...

Женщина снова заговорила о своём:

– Без ревности только собаки любят. Ты посмотри: все драмы, романы – всё из ревности...

Яков усмехнулся, вздрогнув:

– Хорошо выстрелил револьвер, пуля могла в ногу мне попасть, а вот только на брюках дырочка.

Полина сунула в дырочку палец и вдруг, всхлипнув, сказала с тихой, но лютой злобой:

– Ах, жалко, что ты не успел выстрелить в него! В тугой бы, в резиновый живот ему!

– Молчи! – сказал Яков, сильно потрянув её, но она продолжала, присвистывая сквозь зубы и всё так же люто:

– Подлец! Как обругал меня! Какие вы все... Ничего вы не понимаете в женщине!

И, вздёрнув распухшие губы, показывая крепко сжатые лисьи зубы, она дополнила:

– Ведь если женщина изменила, это вовсе не значит, что она уже не любит!

– Молчи, говорю! – крикнул Яков и тиснул её так, что она застонала:

– Ой, вот я чувствую, любишь! Яша, Солёный мой...

Он ушёл от неё на рассвете лёгкой походкой, чувствуя себя человеком, который в опасной игре выиграл нечто ценное. Тихий праздник в его душе усиливало ещё и то, что когда он, уходя, попросил у Полины спрятанный ею револьвер, а она не захотела отдать его, Яков принужден был сказать, что без револьвера боится идти, и сообщил ей историю с Носковым. Его очень обрадовал испуг Полины, волнение её убедило его, что он действительно дорог ей, любим ею. Ахая, всплескивая руками, она стала упрекать его:

– Почему ты не сказал мне об этом?

И тревожно размышляла:

– Конечно, это очень интересно – сыщик! Вот, например, Шерлок Холмс, – ты читал? Но ведь у нас, наверное, и сыщики – тоже негодяи?

– Конечно, – подтвердил Яков.

Отдавая ему револьвер, она захотела проверить, хорошо ли он стреляет, и уговорила Якова выстрелить в открытую печку, для чего Якову пришлось лечь животом на пол; легла и она; Яков выстрелил, из печки на них сердито дунуло золой, а Полина, ахнув, откатилась в сторону, потом, подняв ладонь, тихо сказала:

– Смотри!

В крашеной половице была маленькая, косо и глубоко идущая дырка.

– Как подумаешь, что туда ушла смерть! – сказала Полина, вздыхая, нахмутив тонко вычерченные брови.

брание сочинений в тридцати томах. Том 16. Рассказы, повести 1922–1925. Максим Горький gorkiутахіт. И никогда ещё Яков не видел её такой милой, не чувствовал так близко к себе. Глаза её смотрели по-детски удивлённо, когда он рассказывал о Носкове, и ничего злого уже не было на её остреньком лице подростка.

«Не чувствует вины», – с удивлением подумал Яков, и это было приятно ему.

Провожая его, она говорила, глядя бороду Якова:

– Ах, Яша, Яша! Так вот как, значит! Мы – серьёзно? Ах, боже мой... Но этот подлец!

Сжала пальцы рук в один кулак и, потрясая им, негодуя, пожаловалась:

– Господи, сколько подлецов!

Но вдруг, схватив руку Якова, задумчиво нахмурилась, тихонько говоря:

– Постой, постой! Тут есть одна барышня, ах, разумеется!

Просияла и, перекрестив Якова, отпустила его:

– Иди, Солёный!

Утро было прохладное, росистое; вздыхал предрассветный ветер, зеленовато-жемчужное небо дышало запахом яблоков.

«Конечно, она это со зла наблудила, и надо жениться на ней, как только отец умрёт», – великодушно думал он и тут же вспомнил смешные слова Серафима Утешителя:

«Всякая девица – утопающая, за соломинку хватается. Тут её и лови!»

Тревожила мысль о хладнокровном поручике, он не похож на соломинку, он обозлился и, вероятно, будет делать пакости. Но поручика должны отправить на войну. И даже о Носкове Якову Артамонову думалось спокойнее, хотя он, подозрительно оглядываясь, чутко прислушивался и сжимал в кармане ручку револьвера, – чаще всего Носков ловил Якова именно в эти часы.

Но прошло недели две, и страх пред охотником снова обнял Артамонова чадным дымом. В воскресенье, осматривая лес, купленный у Воропонова на сруб, Яков увидел Носкова, он пробирался сквозь чащу, увешанный капканами, с мешком за спиной.

– Счастливая встреча для вас, – сказал он, подходя, сняв фуражку; носил он её по-солдатски: с заломом верхнего круга на правую бровь и, снимая, брал не за козырёк, а за верх.

Не отвечая на его странное приветствие, в котором чувствовалась угроза, Яков сжал зубы и судорожно стиснул револьвер в кармане. Носков тоже молчал с минуту, расковыривал пальцем подкладку фуражки и не смотрел на Якова.

– Ну? – спросил Артамонов; Носков поднял собачьи глаза и, приглаживая дыбом стоявшие, жёсткие волосы, проговорил отчётливо:

– Ваша любовь, то есть Пелагея Андреевна, познакомилась с дочерью попа Сладкопевцева, так вы ей скажите, чтобы она это бросила.

– Почему?

– Так уж...

И, послушав звон колоколов в городе, охотник прибавил:

– Даю совет от души, желая добра. А вы мне подарите рубликов...

Он посмотрел в небо и сосчитал:

– Тридцать пять...

«Застрелить, собаку!» – думал Яков Артамонов, отсчитывая деньги.

Охотник взял бумажки, повернулся на кривых ногах, звякнув железом капканов, и, не надев фуражку, полез в чащу, а Яков почувствовал, что человек этот стал ещё более тяжело неприятен ему.

– Носков! – негромко позвал он, а когда тот остановился, полускрытый лапами ёлок, Яков предложил ему:

– Бросил бы ты это!

– Зачем? – спросил Носков, высунув голову вперёд, и Артамонову показалось, что в пустых глазах Носкова светится что-то боязливое или очень злое.

– Опасное дело, – объяснил Яков.

– Надо уметь, – сказал Носков, и глаза его погасли. – Для неумеющего – всё опасно.

– Как хочешь.

– Против своей пользы говорите.

– Какая же тут польза, во вражде? – пробормотал Яков, жалея, что заговорил со шпионом.

«Туда же, – рассуждает, идиот...»

А Носков поучительно сказал:

– Без этого – не живут. У всякого – своя вражда, своя нужда. До свидания!

Он повернулся спиной к Якову и вломился в густую зелень елей. Послушав, как он шуршит колкими ветвями, как похрустывают сухие сучья, Яков быстро пошёл на просеку, где его ждала лошадь, запряжённая в дрожки, и погнал в город, к Полине.

– Вот – подлец! – почти радостно удивилась Полина. – Уже узнал, что она приходит ко мне? Скажите, пожалуйста!

– Зачем ты знакомишься с такими? – сердито упрекнул Яков, но она тоже сердито, дёргая жёлтый газовый шарфик на груди своей, затараторила:

– Во-первых – это надо для тебя же! А во-вторых – что же мне кошек, собак завести, Маврина? Я сижу одна, как в тюрьме, на улицу выйти не с кем. А она – интересная, она мне романы, журналы даёт, политикой занимается, обо всём рассказывает. Я с ней в гимназии у Поповой училась, потом мы разругались...

Тыкая его пальцем в плечо, она говорила всё более раздражённо:

– Ты воображаешь, что легко жить тайной любовницей? Сладкопевцева говорит, что любовница, как резиновые галоши, – нужна, когда грязно, вот! У неё роман с вашим доктором, и они это не скрывают, а ты меня прячешь, точно болячку, стыдишься, как будто я кривая или горбатая, а я – вовсе не урод...

– погоди, – сказал Яков, – женюсь! Серьёзно говорю, хотя ты и свинья...

– Ещё вопрос, кто из нас свиноватее! – крикнула и ребячливо расхохоталась, повторяя: – Свиноватее, виноватее, – запуталась! Солёный мой... Милый ты, не жадный! Другой бы – молчал; ведь тебе шпион этот полезен...

Как всегда, Яков ушёл от неё успокоенный, а через семь дней, рано утром табельщик Елагин, маленький, рябой, с кривым носом, сообщил, что на рассвете, когда ткачи ловили бреднем рыбу, ткач Мордвинов, пытаясь спасти тонувшего охотника Носкова, тоже едва не утонул и лёг в больницу. Слушая гнусавый доклад, Яков сидел, вытянув ноги для того, чтоб глубже спрятать руки в карманы, руки у него дрожали.

брание сочинений в тридцати томах. Том 16. Рассказы, повести 1922–1925. Максим Горький gorkiymaxim.  
«Утопили», – думал он и, представляя себе добродушного Мордвинова, человека с мягким, бабьим лицом, не верил, чтоб этот человек мог убивать кого-то.

«Счастливым случай», – думал он, облегчённо вздыхая. Полина тоже согласилась, что это – счастливый случай.

– Конечно, – лучше так, – сказала она серьёзно нахмурясь, – потому что, если б как-нибудь иначе убивали его, – был бы шум.

Но – пожалела:

– Было бы интереснее поймать его, заставить раскаяться и – повесить или расстрелять. Ты читал...

– Ерунду говоришь, Польша, – прервал её Яков.

Прошло несколько тихих дней, Яков съездил в Воргород, возвратился, и Мирон, озабоченно морщась, сказал:

– У нас ещё какая-то грязная история; по предписанию из губернии Экке производит следствие о том, при каких условиях утонул этот охотник. Арестовал Мордвинова, Кирьякова, кочегара Кротова, шута горохового, – всех, кто ловил рыбу с охотником. У Мордвинова рожа поцарапана, ухо надорвано. В этом видят, кажется, нечто политическое... Не в надорванном ухе, конечно...

Он остановился у рояля, раскачивая пенснэ на пальце, глядя в угол прищуренными глазами. В измятой шведской куртке, в рыжеватых брюках и высоких, по колено, пыльных сапогах он был похож на машиниста; его костистые, гладко обритые щёки и подстриженные усы напоминали военного; мало подвижное лицо его почти не изменялось, что бы и как бы он ни говорил.

– Идиотское время! – раздумчиво говорил он. – Вот, влопались в новую войну. Воюем, как всегда, для отвода глаз от собственной глупости; воевать с глупостью – не умеем, нет сил. А все наши задачи пока – внутри страны. В крестьянской земле рабочая партия мечтает о захвате власти. В рядах этой партии – купеческий сын Илья Артамонов, человек сословия, призванного совершить великое дело промышленной и технической европеизации страны. Нелепость на нелепости! Измена интересам сословия должна бы караться как уголовное преступление, в сущности – это государственная измена... Я понимаю какого-нибудь интеллигента, Горицветова, который ни с чем не связан, которому некуда девать себя, потому что он бездарен, нетрудоспособен и может только читать, говорить; я вообще нахожу, что революционная деятельность в России – единственное дело для бездарных людей...

Якову казалось, что брат говорит, видя пред собою полную комнату людей, он всё более прищуривал глаза и наконец совсем закрыл их. Яков перестал слушать его речь, думая о своём: чем кончится следствие о смерти Носкова, как это заденет его, Якова?

Вошла беременная, похожая на комод, жена Мирона, осмотрела его и сказала усталым голосом:

– Поди, переоденься!

Мирон покорно взбросил пенснэ на нос и ушёл.

Через месяц приблизительно всех арестованных выпустили; Мирон строго, не допускающим возражений голосом, сказал Якову:

– Рассчитай всех.

Яков давно уже, незаметно для себя, привык подчиняться сухой команде брата, это было даже удобно, снимало ответственность за дела на фабрике, но он всё-таки сказал:

– Кочегара надо бы оставить.

– Почему?

брание сочинений в тридцати томах. Том 16. Рассказы, повести 1922–1925. Максим Горький gorkiymaxim.  
– Весёлый. Давно работает. Развлекает людей.

– Да? Ну, пожалуй, оставим.

И, облизнув губы, Мирон сказал:

– Шуты действительно полезны.

Некоторое время Якову казалось, что в общем всё идёт хорошо, война притиснула людей, все стали задумчивее, тише. Но он привык испытывать неприятности, предчувствовал, что не все они кончились для него, и смутно ждал новых. Ждать пришлось не очень долго, в городе снова явился Нестеренко под руку с высокой дамой, похожей на Веру Попову; встретив на улице Якова, он, ещё издали, посмотрел сквозь него, а подойдя, поздоровавшись, спросил:

– Можете зайти ко мне через час? Я – у тестя. Знаете – жена моя умирает. Так что я вас попрошу: не звоните с парадного, это обеспокоит больную, вы – через двор. До свидания!

Час был тяжёл и неестественно длинен, и когда Яков Артамонов устало сел на стул в комнате, заставленной книжными шкафами, Нестеренко, тихо и прислушиваясь к чему-то, сказал:

– Ну-с, приятеля нашего укололи. Это несомненно, хотя и не доказано. Сделано ловко, можно похвалить. Теперь вот что: дама вашего сердца, Пелагея Назарова, знакома с девицей Сладкопевцевой, на днях арестованной в Воргороде. Знакома?

– Не знаю, – сказал Яков и сразу весь вспотел, а жандарм поднёс руку свою к носу и, рассматривая ногти, сказал очень спокойно:

– Знаете.

– Кажется – знакома.

– Вот именно.

«Что ему надо?» – соображал Яков, исподлобья рассматривая серое, в красных жилках, плоское лицо с широким носом, мутные глаза, из которых как будто капала тяжкая скука и текли остренькие струйки винного запаха.

– Я говорю с вами не официально, а как знакомый, который желает вам добра и которому не чужды ваши деловые интересы, – слышал Яков сиповатый голос. – Тут, видите ли, какая штука, дорогой мой... стрелок! – Жандарм усмехнулся, помолчал и объяснил:

– Я говорю – стрелок, потому что мне известен ещё один случай неудачного пользования вами огнестрельным оружием. Да, так вот, видите ли: девица Сладкопевцева знакома с Назаровой, дамой вашего сердца. Теперь – сообразите: род деятельности охотника Носкова никому, кроме вас и меня, не мог быть известен. Я – исключаюсь из этой цепи знакомств. Носков был не глуп, хотя – вял и...

Нестеренко, вздохнув, посмотрел под стол:

– Ничто не вечно. Остаётся – вы..

Якову Артамонову казалось, что изо рта офицера тянутся не слова, но тонкие, невидимые петельки, они захлёстывают ему шею и душат так крепко, что холодеет в груди, останавливается сердце и всё вокруг, качаясь, воет, как зимняя вьюга. А Нестеренко говорил с медленностью – явно нарочитой:

– Я думаю, я почти уверен, что вами была допущена некоторая неосторожность в словах, да? Вспомните-ка!

– Нет, – тихо сказал Яков, опасаясь, как бы голос не выдал его.

– Так ли? – спросил офицер, размахнув усы красными пальцами.

– Нет, – повторил Яков, качая головой.

– Странно. Очень странно. Однако – поправимо. Вот что-с: Носкова нужно заменить таким же человеком, полезным для вас. К вам явится некто Минаев, вы наймете его, да?

– Хорошо, – сказал Яков.

– Вот и всё. Кончено. Будьте осторожны, прошу вас! Никаким дамам – ни-ни! Ни слова. Понимаете?

«Он говорит как с мальчишкой, с дураком», – подумал Яков.

Потом жандарм говорил о близости осеннего перелёта птиц, о войне и болезни жены, о том, что за женою теперь ухаживает его сестра.

– Но – надо готовиться к худшему, – сказал Нестеренко и, взяв себя за усы, приподнял их к толстым мочкам ушей, приподнялась и верхняя губа его, обнажив жёлтые косточки.

«Бежать, – думал Яков. – Запутает он меня. Уехать».

«Чёрт вас всех возьми, – думал он, идя берегом Оки. – На что вы мне нужны? На что?»

Мелкий дождь, предвестник осени, лениво кропил землю, жёлтая вода реки покрылась рябью; в воздухе, тёплом до тошноты, было что-то ещё более углублявшее уныние Якова Артамонова. Неужели нельзя жить спокойно, просто, без всех этих ненужных, бессмысленных тревог?

Но, как обоз в зимнюю метель, двигались один за другим месяцы, тяжело и обильно нагруженные необычно тревожным.

Пришёл с войны один из Морозовых, Захар, с георгиевским крестом на груди, с лысой, в красных язвах, обгоревшей головою; ухо у него было оторвано, на месте правой брови – красный рубец, под ним прятался какой-то раздавленный, мёртвый глаз, а другой глаз смотрел строго и внимательно. Он сейчас же сдружился с кочегаром Кротовым, и хромым ученик Серафима Утешителя запел, заиграл:

Эх, ветер дует, дождь идёт,  
Я лежу в окопе.  
Помогаю, идиёт,  
Воевать Европе!  
Яков спросил Морозова:

– Что, Захар, плохо воем?

– Хорошо-то нечем, – ответил ткач. Голос у него был дерзко лающий, в словах слышалось отчаянное бесстыдство песенок кочегара.

– Хозяина нет у нас, Яков Пётрович, – говорил он в лицо хозяину. – Хозяйствуют жулики.

Этот человек и Васька кочегар стали как-то особенно заметны, точно фонари, зажжённые во тьме осенней ночи. Когда весёлый Татьянин муж нарядился в штаны с широкой, до смешного, мотнёй и такого же цвета, как гнилая Захарова шинель, кочегар посмотрел на него и запел:

Вот так брючки для растяп!  
Сразу видно разницу:  
Одни – голову растят,  
А другие – задницу!

К удивлению Якова, зять не обиделся на эту насмешку, а захохотал, явно поощряя кочегара на дальнейшее словесное озорство. Рабочие тоже смеялись, и особенно хохотала фабрика, когда Захар Морозов привёл на двор мохнатого кутёнка, с пушистым, геройски загнутым на спину хвостом, на конце хвоста, привязан мочалом, болтался беленький георгиевский крест. Мирон не стерпел этого озорства, Захара арестовала полиция, а кутёнок очутился у Тихона Вялова.

брание сочинений в тридцати томах. Том 16. Рассказы, повести 1922–1925. Максим Горький gorkiymaxim.  
По улицам города ходили хромые, слепые, безрукие и всячески изломанные люди в солдатских шинелях, и всё вокруг окрашивалось в гнойный цвет их одежды. Изломанных, испорченных солдат водили на прогулки городские дамы, дамами командовала худая, тонкая, похожая на метлу, Вера Попова, она привлекла к этому делу и Полину, но та, потряхивая головою, кричала, жаловалась:

– Ой, нет, я не могу! Это безобразие! Ты посмотри, Яша, они все молодые, здоровые и все изувечены, и такой запах от них – не могу! Послушай – уедем!

– Куда? – уныло спрашивал Яков, видя, что его женщина становится всё более раздражительной, страшно много курит и дышит горькой гарью. Да и вообще все женщины в городе, а на фабрике – особенно, становились злее, ворчали, фыркали, жаловались на дороговизну жизни, мужа их, посвистывая, требовали увеличения заработной платы, а работали всё хуже; посёлок вечерами шумел и рычал по-новому громко и сердито.

Среди рабочих мелькал солидный слесарь Минаев, человек лет тридцати, чёрный и носатый, как еврей. Яков боязливо сторонился его, стараясь не встречаться со взглядом слесаря, который смотрел на всех людей тёмными глазами так, как будто он забыл о чём-то и не может вспомнить.

Грязным обломком плавал по двору отец, едва передвигая больные ноги. Теперь на его широких плечах висела дорожная лисья шуба с вытертым мехом, он останавливал людей, строго спрашивая:

– Куда идёшь?

А когда ему отвечали, махал рукою, бормотал:

– Ну, ступай. Бездельники. Клопы, моей кровью живёте!

Его лиловатое, раздутое лицо брезгливо дрожало, нижняя губа отваливалась; за отца было стыдно пред людьми. Сестра Татьяна целые дни шуршала газетами, тоже чем-то испуганная до того, что у неё уши всегда были красные. Мирон птицей летал в губернию, в Москву и Петербург, возвратясь, топал широкими каблуками американских ботинок и злорадно рассказывал о пьяном, распутном мужике, пиявкой присосавшемся к царю.

– В живого такого мужика – не верю! – упрямо говорила полуслепая Ольга, сидя рядом со снохой на диване, где возился и кричал её двухлетний сын Платон. – Это нарочно выдуманно, для примера...

– Это – замечательно! – возглашал весёлый Татьянин муж. – Это – изумительно! Деревня – мстит! Ага?

Он радостно потирал жирненькие руки свои, обросшие рыжей шерстью. Он один уверенно ждал какого-то праздника.

– Боже мой! – с досадой восклицала Татьяна. – Что тебя радует? Не понимаю!

Удивлённо открыв рот, Митя каркал:

– Ка-ак? Ты – не понимаешь? Так – пойми же! За всё, что она претерпела, деревня – мстит! В лице этого мужика она выработала в себе разрушающий яд...

– Позвольте! – морщась, сказал Мирон. – Ещё недавно вы говорили иное...

Но Митя почти испуганно, захлёбываясь словами, говорил проникновенным шёпотом:

– Это – символ, а не просто – мужик! Три года тому назад они праздновали трёхсотлетний юбилей своей власти и вот...

– Чепуха, – резко сказал Мирон; доктор Яковлев, как всегда, усмехался, а Яков Артамонов думал, что если эти речи станут известны жандарму Нестеренке...

– Зачем вы всё это говорите? – спрашивал он. – Какой толк?

И уговаривал:



– Перестаньте!

Он замечал, что и Мирон необыкновенно рассеян, встревожен, это особенно расстраивало Якова. В конце концов из всех людей только один Митя оставался таким же, каким был, так же вертелся волчком, брызгал шуточками и по вечерам, играя на гитаре, пел:

Жена моя в гробу...  
Но Татьяне уже не нравились его песенки.

– Фу, как это надоело! – говорила она и шла к детям.

Митя ловко умел успокаивать рабочих; он посоветовал Мирону закупить в деревнях муки, круп, гороха, картофеля и продавать рабочим по своей цене, начисляя только провоз и утечку. Рабочим это понравилось, а Якову стало ясно, что фабрика верит весёлому человеку больше, чем Мирону, и Яков видел, что Мирон всё чаще ссорится с Татьяниным мужем.

– Вы хотите держать нос по ветру? – чётко, не скрывая злобы, спрашивает Мирон, а Митя, улыбаясь, отвечает:

– Воля народа... право народа...

– Я спрашиваю: кто же, собственно, вы? – кричит Мирон.

– Будет вам орать, – ворчит Артамонов старший, но Яков видит в тусклых глазах отца искорки удовольствия, старику приятно видеть, как ссорятся зять и племянник, он усмехается, когда слышит раздражённый визг Татьяны, усмехается, когда мать робко просит:

– Налей мне, Таня, ещё чашечку...

Всё новое было тревожно и выскакивало как-то вдруг, без связи с предыдущим. Вдруг совершенно ослепшая тётка Ольга простудилась и через двое суток умерла, а через несколько дней после её смерти город и фабрику точно громом оглушило: царь отказался от престола.

– Что ж теперь – республика будет? – спросил Яков брата, радостно воткнувшего нос в газету.

– Республика, конечно! – ответил Мирон, склонясь над столом; он упирался ладонями в распластанный лист газеты так, что бумага натянулась и вдруг лопнула с треском. Якову это показалось дурным предзнаменованием, а Мирон разогнулся, лицо у него было необыкновенное, и он сказал не свойственным ему голосом, крикливо, но ласково:

– Начнётся выздоровление, обновление России – вот что, брат!

И размахнул руками, как бы желая обнять Якова, но тотчас одну руку опустил, а другую, подержав протянутой, поднял, поправил пенсне, снова протянул руку, стал похож на семафор и заявил, что завтра же вечером едет в Москву.

Митя тоже размахивал руками, точно озябший извозчик, он кричал:

– Теперь всё пойдёт отлично; теперь народ скажет, наконец, своё мощное слово, давно назревшее в душе его!

Мирон уже не спорил с ним, задумчиво улыбаясь, он облизывал губы; а Яков видел, что так и есть: всё пошло отлично, все обрадовались, Митя с крыльца рассказывал рабочим, собравшимся на дворе, о том, что делалось в Петербурге, рабочие кричали ура, потом, схватив Митю за руки, за ноги, стали подбрасывать в воздух. Митя сжался в комок, в большой мяч, и взлетал очень высоко, а Мирон, когда его тоже стали качать, как-то разламывался в воздухе, казалось, что у него отрываются и руки и ноги. Митю окружила толпа старых рабочих, и огромный, жилистый ткач Герасим Воинов кричал в лицо ему:

– Митрий Павлов, ты – удобный человек, удобный, – понял? Ребята – уру ему!

Кричали ура, а кочегар Васька, приплясывая, блестя лысоватым черепом, орал, точно пьяный:

Эх, – далеко люди сидели  
От царёва трона!  
Подошли да поглядели –  
На троне – ворона!  
– Делай, Вася! – поощряли его.

Якова тоже хотели качать, но он убежал и спрятался в доме, будучи уверен, что рабочие, подбросив его вверх, – не подхватят на руки, и тогда он расшибётся о землю. А вечером, сидя в конторе, он услышал на дворе под окном голос Тихона:

– Зачем отнял кутёнка? Ты продай его мне. Я из него хорошую собаку сделаю.  
– Э, старик, разве теперь время собак воспитывать? – ответил Захар Морозов.  
– А ты чего делаешь? Продай, возьми целковый, ну?  
– Отстань.

Яков, выглянув из окна, сказал:

– Царь-то, Тихон, а?  
– Да, – отозвался старик и, посмотрев за угол дома, тихонько свистнул.  
– Свергли царя-то!

Тихон наклонился, подтягивая голенище сапога, и сказал в землю:

– Разыгрались. Вот оно, Антоново слово: потеряла кибитка колесо!..

Выпрямился и пошёл за угол дома, покрикивая негромко:

– Тулун, Тулун...

Хороводом пошли крикливо весёлые недели; Мирон, Татьяна, доктор да и все люди стали ласковее друг с другом; из города явились какие-то незнакомые и увезли с собою слесаря Минаева. Потом пришла весна, солнечная и жаркая.

– Послушай, Солёненко, – говорила Полина, – я всё-таки не понимаю, как же это? Царь отказался царствовать, солдат всех перебили, изувечили; полицию разогнали, командуют какие-то штатские, – как же теперь жить? Всякий чёрт будет делать всё, что хочет, и, конечно, Житейкин не даст мне покоя. И он и все другие, кто ухаживал за мной и кому я отказала. Я не хочу, не могу теперь, когда все заодно, жить здесь, я должна жить там, где меня никто не знает! И потом: ведь уж если это сделано – революция и свобода, – то, конечно, для того, чтоб каждый жил, как ему нравится!

Полина говорила всё настойчивее, всё многословней, Яков чувствовал в её речах нечто неоспоримое и успокаивал:

– Подожди немного, утрясётся это, тогда...

Но он уже не верил, что волнение вокруг успокоится, он видел, что с каждым днём на фабрике шум вскипает гуще, становится грозней. Человек, который привык бояться, всегда найдёт причину для страха; Якова стал пугать жареный череп Захара Морозова, Захар ходил царьком, рабочие следовали за ним, как бараны за овчаркой, Митя летал вокруг него ручной сорокой. В самом деле, Морозов приобрёл сходство с большой собакой, которая выучилась ходить на задних лапах; сожжённая кожа на голове его, должно быть, полопалась, он иногда обёртывал голову, как чалмой, купальным, мохнатым полотенцем Татьяны, которое дал ему Митя; огромная голова, придавив Захара, сделала его ниже ростом; шагал он важно, как толстый помощник исправника Экке, большие пальцы держал за поясом отрёпанных солдатских штанов и, пошевеливая остальными пальцами, как рыба плавниками, покрикивал:

брание сочинений в тридцати томах. Том 16. Рассказы, повести 1922–1925. Максим Горький gorkiymaxim.  
– Товарищи – порядок!

Он судил троих парней за кражу полотна; громко, так что было слышно на всём дворе, он спрашивал воров:

– Вы понимаете, у кого украли?

И сам же отвечал:

– Вы украли у себя, у всех нас! Разве можно теперь воровать, сукины дети?

Он приказал высечь воров, и двое рабочих с удовольствием отхлестали их прутьями ветлы, а Васька кочегар испуганно пел, приплясывая:

Вот как нынче насекомых секут!  
Вот какой у нас праведный судья...  
Сорвался, забормотал что-то, разводя руками, и вдруг крикнул:

Спаси, господи, люди твоя!  
Митя закричал:

– Bravo-o!

Митя бегал в сереньких брючках, в кожаной фуражке, сдвинутой на затылок, на рыжем лице его блестел пот, а в глазах сияла хмельная, зеленоватая радость. Вчера ночью он крепко поссорился с женою; Яков слышал, как из окна их комнаты в сад летел сначала громкий шёпот, а потом несдерживаемый крик Татьяны:

– Вы – клоун! Вы – бесчестный человек! Ваши убеждения? У нищих – нет убеждений. Ложь! Месяц тому назад эти твои убеждения... Довольно! Завтра я уезжаю в город, к сестре... Да, дети со мной...

Это не удивило Якова, он давно уже видел, что рыженький Митя становится всё более противным человеком, но Яков был удивлён и даже несколько гордился тем, что он первый подметил ненадёжность рыженького. А теперь даже мать, ещё недавно любившая Митю, как она любила петухов, ворчала:

– Что уж это, какой он стал несогласный, будто жидёнок! Вот, корми их...

Митя кричал:

– Всё – превосходно! Жизнь – красавица, умница! Но басни о возможности мирного сожительства волков с баранами, – это надо забыть, Татьяна Петровна! С этим – опоздали!

Мирон озлобленно и сухо спросил его:

– А что вы скажете завтра?

– Что жизнь подскажет! Да! Ну-с, дальше?

Жена и Мирон ходили около Мити так осторожно, точно он был выпачкан сажей. А через несколько дней Митя переехал в город, захватив с собою имущество своё: три больших связки книг и корзину с бельём.

Всюду Яков наблюдал бестолковую, пожарную суету, все люди дымились дымом явной глупости, и ничто не обещало близкого конца этим сумасшедшим дням.

– Ну, – сказал он Полине, – я решил: едем! Сначала – в Москву, а там – подумаем...

– Наконец-то! – обрадовалась женщина, обнимая, целуя его.

Июльский вечер, наполнив сад красноватым сумраком, дышал в окна тяжким запахом земли, размоченной дождём, нагретой солнцем. Было хорошо, но грустно.

Сняв со своей шеи горячие, влажные руки Полины, Яков задумчиво сказал:

– Прикрой грудь... Вообще – оденься! Надо – серьёзно.

Она соскочила на пол с колен его, в два прыжка подбежала к постели, укуталась халатом и деловито села рядом с ним.

– Видишь ли, – заговорил Яков, растирая ладонью бороду по щеке так, что волосы скрипели. – Надо подумать, поискать такое место, государство, где спокойно. Где ничего не надо понимать и думать о чужих делах не надо. Вот!

– Конечно, – сказала Полина.

– Всё надо делать осторожно. Мирон говорит: поезда набиты беглыми солдатами. Надо приbedниться...

– Только ты возьми с собой побольше денег.

– Ну да, разумеется. Я уеду так, чтоб мои не знали – куда. Я будто в Воргород поеду, – понимаешь?

– А – зачем скрывать? – удивлённо и недоверчиво спросила Полина.

Он не знал – зачем; эта мысль только что явилась у него, но он чувствовал, что это – хорошая мысль.

– Ну, знаешь – отец, Мирон, расспрось... Это всё – не нужно. Деньги – в Москве, денег я могу достать много, хороших...

– Только – скорее! – просила Полина. – Ты видишь: жить – нельзя. Всё дорого, и ничего нет. И, наверное, будут грабить, потому что – как жить?

Оглянувшись на дверь, она шептала:

– Вот кухарка была добрая, а теперь стала дерзкая и всегда точно пьяная. Она может зарезать меня во сне, почему же не зарезать, если всё так спуталось? Вчера слышу – перешёптывается с кем-то. Боже мой! – думаю, – вот! Но приотворила тихонько дверь, а она стоит на коленках и – рычит! Ужас!

– Подожди, – остановил Яков быстрый поток её тревожного шёпота. – Сначала уеду я...

– Нет, – громко сказала она, ударив кулачком своим по колену. – Сначала – я! Ты дашь мне денег и...

– Что ж ты – не веришь мне? – обиженно и сердито спросил мужчина и получил твёрдо сказанный ответ:

– Не верю. Я – честная, я говорю прямо: нет! Разве можно теперь верить, когда все и царю изменили и всему изменяют? Ты – кому веришь?

Она говорила убедительно, и ещё более убедительно говорила грудь её из складок распахнувшегося халата. Яков Артамонов уступил ей; решили, что она завтра же начнёт собираться, поедет в Воргород и там подождёт его.

На другой же день Яков стал жаловаться на боли в желудке, в голове, это было весьма правдоподобно; за последние месяцы он сильно похудел, стал вялым, рассеянным, радужные глаза его потускнели. И через восемь дней он ехал по дороге от города на станцию; тихо ехал по краю избитого шоссе с вывороченным булыжником, торчавшим среди глубоких выбоин, в них засохла грязь, вздутая горбом, исчерченная трещинами. Сзади его оставалась такая же разбитая, развороченная жизнь, а впереди из мягкой ямы в центре дымных туч белесым пятном просвечивало мёртвенькое солнце.

Через месяц Мирон Артамонов, приехав из Москвы, сказал Татьяне, наклонив голову, разглядывая ладонь свою:

– Должен сообщить тебе нечто печальное: в Москве ко мне явилась эта пошлая девица, с которой жил Яков, и сказала, что какие-то люди – гм, какие теперь люди? – избili его и выбросили из вагона...

брание сочинений в тридцати томах. Том 16. Рассказы, повести 1922–1925. Максим Горький gorkiуmaxim.  
– Нет! – крикнула Татьяна, попробовав встать со стула.

– На ходу поезда. Через двое суток он скончался и похоронен ею на сельском кладбище около станции Петушки.

Татьяна молча прижала платок к своим глазам, её острые плечи задрожали, чёрное платье как-то потекло с них, как будто эта женщина, тощая, с длинной шеей, стала таять.

Мирон поправил пенснэ, хрустнул пальцами, потирая руки, послушал звон одинокого колокола, благовест ко всеобщей, затем, шагая по комнате, сказал:

– Что же плакать? Между нами – он был совершенно бесполезный человек. И – неприлично глуп, прости! Разумеется – жалко. Да.

– Боже мой, – сказала Татьяна, мигая покрасневшими веками, и, помуслив палец, пригладила брови.

– Эта бойкая девица, – говорил Мирон, сунув руки в карманы, – весьма неискусно притворяется печальной вдовой, но одета настолько шикарно, что – ясно: она обобрала Якова. Она говорит, что писала нам сюда.

Татьяна отрицательно мотнула головой.

– Нет? Я так и знал. Я полагаю, что отцу и матери не нужно говорить об этом, пусть думают, что Яков жив. Так?

– Да, это лучше, – согласилась Татьяна.

– Впрочем, дядя, кажется, ничего уже не понимает, но мать утопила бы себя в слезах...

Покачав головой, Татьяна сказала:

– Скоро мы все погибнем.

– Возможно, если останемся здесь. Но я немедленно отправляю жену и детей прочь отсюда. Советую и тебе убраться, не дожидаясь, когда Захар Морозов... И так: мы старикам ничего не скажем. Ну, извини меня, еду домой, жена нездорова...

Длинной рукою своей он встряхнул руку сестры и ушёл, сказав:

– Невероятно трудно ездить теперь, дороги – в ужаснейшем состоянии!

Артамонов старший жил в полусне, медленно погружаясь в сон, всё более глубокий. Ночь и большую часть дня он лежал в постели, остальное время сидел в кресле против окна; за окном голубая пустота, иногда её замазывали облака; в зеркале отражался толстый старик с надутым лицом, заплывшими глазами, клочковатой, серой бородою. Артамонов смотрел на своё лицо и думал:

«Хорош комар».

Приходила жена, наклонялась над ним, тормошила и хныкала:

– Уехать надо, лечиться надо...

– Уйди, – лениво говорил Артамонов. – Уйди, лошадь. Надоела. Дай покою.

И, оставаясь один, прислушивался, как празднично шумят люди на дворе, в саду, везде. А фабрика – молчит.

Привычный собеседник, обманутый человек, оживлявший Артамонова уколами своих мыслишек, – исчез, умер. И хорошо сделал, – думать старику было трудно, не хотелось, да он давно уже понял, что и бесполезно думать, потому что понять ничего нельзя. Куда исчезли все: Яков, Татьяна, зять?

Иногда он спрашивал жену:

– Илья – воротился?

– Нет.

– Нет ещё?

– Нет.

– А – Яков?

– И Яков.

– Так. Гуляют. А дело Мирошка сосёт.

– Ты не думай про это, – советовала Наталья.

– Уйди.

Она уходила в угол и сидела там, глядя тусклыми глазами на бывшего человека, с которым истратила всю свою жизнь. У неё тряслась голова, руки двигались неверно, как вывихнутые, она похудела, оплыла, как сальная свеча.

Изредка, но всё чаще, Петра Артамонова будила непонятная суета в доме: являлись какие-то чужие люди, он присматривался к ним, стараясь понять их шумный бред, слышал вопли жены:

– Господи, да – что же это? За что? Ведь это – хозяин, хозяйева мы! Ну, дайте я увезу его, ему лечиться надо, в город надо ему! Да – позвольте же увезти-то..

«Спрятать хочет. А – чего прятать? – соображал Артамонов. – Дура. Весь век свой дурой жила. Яков – в неё родился. И – все. А Илья – в меня. Вот он воротится – он наведёт порядок...»

Шёл дождь, падал снег, трещал мороз, выла и посвистывала метель.

Из этого состояния полуяви-полусна Артамонова вытряхнуло острое ощущение голода. Он увидал себя в саду, в беседке; сквозь её стёкла и между мокрых ветвей просвечивало красноватое, странно близкое небо, казалось, что оно висит тут же, за деревьями, и до него можно дотронуться рукою.

– Есть хочу, – сказал Артамонов; ему не ответили. Синеватая, сырая мгла наполняла сад; перед беседкой стояли, положив головы на шеи друг другу, две лошади, серая и тёмная; на скамье за ними сидел человек в белой рубахе, распутывая большую связку верёвок.

– Наталья, – слышишь? Есть давай..

Прежде, когда он, очнувшись от забытья, звал жену, она тотчас являлась, она всегда была где-то близко, а сегодня – нет её.

«Неужто? – подумал Артамонов, и в голове его стало яснее. – Или – захворала?»

Он приподнял голову, у двери в баню сквозь кусты что-то блестело, потом оказалось, что это ружьё со штыком за спиной зеленоватого солдата, неразличимого в кустах. На дворе кто-то кричал:

– Вы что, товарищи, – шутите? Разве так лошадей держат? Так – свиней не держат! А почему сено не убрано и намокло? А в баню, под замок – хочешь?

Человек в белой рубахе сбросил верёвки с колен на землю и встал, сказав негромко в сторону солдата:

– Явился еси, с небеси, чёрт его унеси!

– Командиров стало больше прежнего, – ответил солдат.

– И кто их, дьяволов, назначает?

брание сочинений в тридцати томах. Том 16. Рассказы, повести 1922–1925. Максим Горький gorkiуtaхiт.  
– Сами себя. Теперь, браток, всё само собой делается, как в старухиной сказке.

Человек подошёл к лошадям, взял их за гривы, – Артамонов старший крикнул как мог громко:

– Эй, позови жену!

– Молчи, старик, – ответили ему. – Ишь ты, жену захотел...

Лошади ушли. Артамонов провёл ладонью по лицу, по бороде, холодными пальцами пощупал ухо, осмотрелся. Он лежал у глухой незастеклённой стены беседки, под яблоней, на которой красные яблоки висели гроздьями, как рябина; лежать было жёстко; он покрыт своей изношенной лисьей шубой, и на нём толстый зимний пиджак. Но – не жарко. Нельзя понять – зачем он тут? Может быть – в доме предпраздничная уборка? Какой же праздник? Зачем лошади в саду и солдат у бани? И кто это орёт на дворе: «Вы, товарищ, – бестолковый мальчишка! Чего? Люди устали? Уставать – рано! Без дураков...»?

Кричали далеко, но крик оглушал, вызывая шум в голове. И ног как будто нет; от колен не двигаются ноги. Яблоню на стене писал маляр Ванька Лукин, вор; он потом обокрал церковь и помер, сидя в тюрьме.

В беседку вошёл кто-то очень широкий, в мохнатой шапке; он внёс холодную тень и густой запах дёгтя.

– Это – Тихон?

– А как же...

Ворчливый ответ Тихона тоже оглушил. Старый дворник развёл руками, точно поплыл над скрипучим полом.

– Кто это орёт?

– Захарка Морозов.

– А – солдат к чему тут?

– Война.

Помолчав, Артамонов спросил:

– И сюда враг дошёл?

– Это – против тебя война, Пётр Ильич...

Хозяин строго сказал:

– Ты, старый дурак, не шути, я тебе не товарищ!

Он услышал спокойный ответ:

– Последняя война, больше не хотят. И теперь – все товарищи. А для дурака я действительно стар.

Было ясно, что Тихон издевается. Вот он бесцеремонно сел в ногах хозяина, не сняв шапку. На дворе сиповато, сорванным голосом, командуют:

– И чтобы после восьми часов на улицах – никаких фигур!

– Где жена? – спросил Артамонов.

– Ушла хлеба искать.

– Как это – искать?

– А как же? Хлеб – не кирпич, на земле не валяется.

брание сочинений в тридцати томах. Том 16. Рассказы, повести 1922–1925. Максим Горький gorkiymaxim.  
Сумрак в саду становился всё гуще, синее; около бани зевнул, завыл солдат, он стал совсем невидим, только штык блестел, как рыба в воде. О многом хотелось спросить Тихона, но Артамонов молчал: всё равно у Тихона ничего не поймёшь. К тому же и вопросы как-то прыгали, путались, не давая понять, который из них важнее. И очень хотелось есть.

Тихон заворчал:

– Дурак, а правду понял раньше всех. Вот оно как повернулось. Я говорил: всем каторга! И – пришло. Смахнули, как пыль тряпичей. Как стружку смели. Так-то, Пётр Ильич. Да. Чёрт строгал, а ты – помогал. А – к чему всё? Грешили, грешили, – счёта нет грехам! Я всё смотрел: диво! Когда конец? Вот наступил на вас конец. Отлилось вам свинцом всё это... Потеряла кибитка колесо...

– «Бредит», – сообразил Артамонов, но всё-таки спросил:

– Зачем я тут?

– Выгнали из дома.

– Мирон?

– Всех.

– А... Яков?

– Его давно нет.

– Где Илья?

– Слышно – с этими. Надо быть, потому ты и жив, что он – с ними, а то...

«Бредит, – уверенно решил Пётр Артамонов и замолчал, думая: – Выжил из ума, старичишко. Так и надо было ждать».

Мелкие, тускленькие звёзды высыпались в небо; раньше как будто не было таких звёзд. И не было их так много.

Тихон взял шапку и, тиская её в руках, снова заворчал:

– Отрыгнулась вам вся хитрая глупость ваша. Нищим – легче.

Вдруг, иным голосом, он спросил:

– Помнишь мальчишку-то, конторщикова-то?

– Ну? Так – что?

Пётр Артамонов не мог понять: испугал или только удивил его этот неожиданный вопрос? Но он тотчас понял, как только Тихон сказал:

– Убил ты его, как Захар кутёнка. А на что убил?

Артамонову стало ясно: Тихон, наконец, всё-таки донёс на него, и вот он, больной, арестован. Но это не очень испугало его, а скорей возмутило нечеловеческой глупостью. Он опёрся локтями, приподнял голову, заговорил тихо, с укором и насмешкой, чувствуя на языке какую-то горечь и сухость во рту:

– Это ты – врёшь! И – для каждого проступка есть срок, давность! А ты – все сроки пропустил. Да! И – сошёл с ума. И – забыл, что сам видел, сам сказал тогда...

– А – что я сказал? – перебил его старик. – Я, конечно, не видел, ну – я понял! Сказал, чтоб поглядеть: что ты будешь делать? Я – лжу сказал, а ты – рад, схватился за лжу. Я глядел-глядел, ждал-ждал... И все вы – такие. Алексей Ильич научил тестя своего, пьяницу, трактир Барского поджечь, а твой отец догадался об этом, устроил, что убили пьяницу до смерти. Никита Ильич знал это, он тоже до всего доходил умом. Ему бы молчать, а он, со зла на тебя, мне сказал. Я говорю:



брание сочинений в тридцати томах. Том 16. Рассказы, повести 1922–1925. Максим Горький gorkiymaxim.  
«Ты монах, тебе всё это забыть надо, а я – буду помнить». Запугали вы его делами вашими. Послали его в петлю, а после в монастырь: молись за нас! А ему за вас и молиться страшно было – не смел! И оттого – бога лишился...

Казалось, Тихон может говорить до конца всех дней. Говорил он тихо, раздумчиво и как будто беззлобно. Он стал почти невидим в густой, жаркой тьме позднего вечера. Его шершавая речь, напоминая ночной шорох тараканов, не пугала Артамонова, но давила своей тяжестью, изумляя до немоты. Он всё более убеждался, что этот непонятный человек сошёл с ума. Вот он длительно вздохнул, как бы свалив с плеч своих тяжесть, и продолжал всё так же однотонно раскапывать прошлое, ненужное:

– Веры вы, Артамоновы, и меня лишили. Никита Ильич сбил меня из-за вас, сам обезбожел и меня... Ни бога, ни чёрта нет у вас. Образа в доме держите для обмана. А что у вас есть? Нельзя понять. Будто и есть что-то. Обманщики. Обманом жили. Теперь – всё видно: раздели вас...

С трудом пошевелив тело своё, Артамонов сбросил на пол страшно тяжёлые ноги, но кожа подошв не почувствовала пола, и старику показалось, что ноги отделились, ушли от него, а он повис в воздухе. Это – испугало его, он схватился руками за плечо Тихона.

– Куда? – спросил дворник, грубо стряхнув его руки. – Не тронь. Силы у тебя нет, не задушишь. У отца твоего – была сила, – хвастовством изошла. Веры, говорю, лишили вы меня; не знаю, как теперь и умереть мне. Загляделся на вас, беси...

Артамонов всё сильнее хотел есть, и его очень пугали ноги.

«Неужто – умираю? Мне ещё семидесяти пяти нет. Господи...»

Он снова попробовал лечь, но не хватило сил поднять ноги. Тогда он приказал Тихону:

– Помоги, подними ноги мои!

Положив на скамью мёртвые ноги бывшего хозяина, Тихон сплюнул, снова сел, тыкая рукою в шапку, в руке его что-то блестело. Артамонов присмотрелся: это игла, Тихон в темноте ушивал шапку, утверждая этим своё безумие. Над ним мелькала серая, ночная бабочка. В саду, в воздухе вытянулись три полосы жёлтого света, и чей-то голос далеко, но внятно сказал:

– Назад, товарищи, оборота нет и не будет для нас...

Тихон заглушил этот голос:

– Тоже и отец твой; он брата моего убил.

– Врёшь, – невольно сказал Артамонов, но тотчас спросил: – Когда?

– Вот те и когда...

– Что ты всё врёшь, безумный? – вдруг возмутился Артамонов, ощущая, как голод сосёт и сушит его. – Что тебе надо? Совесть мне ты, судья? Зачем ты молчал тридцать лет с лишком?

– Вот и молчал. Значит – думал!

– Злобу копил? Эх... Ну, ступай, донеси полиции.

– Полиции – нет.

– Скажи – вот, он меня всю жизнь поил, кормил – судите его! Так ведь донёс уж! Чего же надо, ну? Прижми, припугни меня, – денег требуй, ну?

– Денег у тебя нет. Ничего у тебя нет. И – не было. А на судей мне – наплевать. Я – сам себе судья.

– Так чем ты грозишь, бредовой человек?

Но Тихон как будто не грозил, Артамонов смутно чувствовал это. Тихон ворчал:

– Конец всем Каинам. За что брата убили?

– Врёшь про брата!

Старики начали говорить быстрее, перебивая друг друга.

– Я – вру? Я с ним был тогда...

– С кем?

– С братом. Я убежал, когда отец твой кокнул его. Это его кровью истёк отец-то. Для чего кровь-то?

– Опоздал ты...

– Ну, вот – опрокинули вас, свалили, остался ты беззащитный, а я, как был, в стороне...

– Безумным остался...

Артамонов чувствовал, что бывший землекоп загоняет его в угол, в яму, где всё неразлично, непонятно и страшно. Он настойчиво твердил:

– Опоздал ты. Брата – врешь – не было у тебя, у таких, как ты, – ничего не бывает...

– Совесть бывает.

– Ты сам сбил мне с толку сына, илью!

– Это вы, Артамоновы, сбили меня с толку, Никита Ильич разбередил!

– А он говорил – ты его!

– Мне сколько раз убить хотелось отца-то твоего. Я его чуть лопатой по голове не хряснул... Вы – хитрые...

– Ты сам...

– Серафима завели. Он тоже мутил меня: никого не обижает, а живёт несправедливо. Как это так? Везде – хитрости...

– Кто идёт? К-куда? – сердито, громко крикнули во тьме. – Сказано вам, гадам, – после восьми не двигаться?

Тихон встал, подошёл к двери и вывалился из неё во тьму. Артамонов, раздавленный волнением, голодом, усталостью, видел, как сквозь три полосы масляного света в саду промелькнуло широкое, чёрное. Он закрыл глаза, ожидая теперь чего-то окончательно страшного.

– Достала? – спросил Тихон кого-то.

– Вот – всё!

Это – голос жены. Где была она, зачем она оставила его с этим стариком?

Артамонов открыл глаза, приподнялся на локтях, глядя в дверь, заткнутую двумя чёрными фигурами. Внезапно ему вспомнилось, что он всю жизнь думал о том, кто виноват пред ним, по чьей вине жизнь его была так тяжело запутана, насыщена каким-то обманом. И вот сейчас всё это стало ясно.

Жена подошла к нему, наклонилась, зашептала:

– Ну, слава тебе, господи...

брание сочинений в тридцати томах. Том 16. Рассказы, повести 1922–1925. Максим Горький gorkiymaxim.  
– Вот, Тихон, кто виноват во всём! – решительно сказал Артамонов и облегчённо вздохнул. – Она жадничала, она меня настраивала, да!

Он с торжеством зарычал:

– Из-за неё и брат Никита пропал. Ты сам знаешь, да...

Артамонов задохнулся. Было странно видеть, что жена не обиделась, не испугалась, не заплакала. Она гладила трясущейся рукою волосы на голове его и тревожно, но ласково шептала:

– Тихонько, не кричи, тут – злые все...

– Есть давай...

Жена сунула в руку его огурец и тяжёлый кусок хлеба; огурец был тёплый, а хлеб прилип к пальцам, как тесто.

Артамонов изумился:

– Это – что? Мне? Всё?

– Тише, Христа ради, – шептала Наталья, – ведь – нет ничего! И солдатики тоже...

– Это ты мне – за всё? За весь страх, за всю жизнь?

Он, взвешивая хлеб на руке, бормотал и догадывался, что случилось что-то невыносимо, смертельно оскорбительное, в чём даже и она, Наталья, не виновата.

Он швырнул хлеб к двери, сказав глухо, но твёрдо:

– Не хочу.

Тихон поднял хлеб, заворчал, подул на него, Наталья снова стала совать кусок в руку мужа, пришёптывая:

– Кушай, кушай, не сердись...

Оттолкнув её руку, Артамонов крепко закрыл глаза и сквозь зубы повторил с лютой яростью:

– Не хочу. Прочь.

Комментарии

Отшельник

Впервые напечатано в журнале «Беседа», 1923, номер 1, май-июнь. Вошло в книгу М. Горького «Рассказы 1922–1924 гг.», издание «книга», 1925.

Рассказ, по-видимому, написан не позднее конца лета – начала осени 1922 года. В сентябре 1922 года «Отшельник» был прочитан М. Горьким А.Н. Толстому (Отдел рукописей Института мировой литературы им. А.М. Горького).

Начиная с 1925 года, произведение включалось во все собрания сочинений.

Печатается по тексту семнадцатого тома собрания сочинений в издании «книга», сверенному с авторизованной машинописью (Архив А.М. Горького) и первопечатными текстами.

Рассказ о безответной любви

Впервые напечатано в журнале «Беседа», 1923, номер 3, сентябрь-октябрь. Вошло в книгу М. Горького «Рассказы 1922–1924 гг.», издание «книга», 1925.

Начиная с 1925 года, включалось во все собрания сочинений.

Печатается по тексту семнадцатого тома собрания сочинений в издании «книга», сверенному с рукописью (Архив А.М. Горького) и первопечатными текстами.

Рассказ о герое

брание сочинений в тридцати томах. Том 16. Рассказы, повести 1922–1925. Максим Горький gorkiутахіт. Впервые напечатано в журнале «Беседа», 1924, номер 4, март. Вошло в книгу М. Горького «Рассказы 1922–1924 гг.», издание «Книга», 1925.

В рукописи произведение было озаглавлено «Рассказ о страхе».

Начиная с 1925 года, рассказ включался во все собрания сочинений.

Печатается по тексту семнадцатого тома собрания сочинений в издании «Книга», сверенному с рукописью (Архив А.М. Горького) и первопечатными текстами.

Рассказ об одном романе

Впервые, под заглавием «Рассказ о романе», напечатано в журнале «Беседа», 1924, номер 4, март, под псевдонимом «Василий Сизов».

Начиная с 1925 года, рассказ включался во все собрания сочинений.

Печатается по тексту семнадцатого тома собрания сочинений в издании «Книга», сверенному с рукописью (Архив А.М. Горького) и первопечатными текстами.

Карамора

Впервые напечатано в журнале «Беседа», 1924, номер 6, июнь. Вошло в книгу М. Горького «Рассказы 1922–1924 гг.», издание «Книга», 1925.

В недатированном письме к Ромэну Роллану (относящемся, по-видимому, к 1924 году) М. Горький писал, что при работе над этим рассказом ему вспомнились провокаторы, которых он встречал: М. Гурович, Е. Азеф и другие (Архив А.М. Горького).

Начиная с 1925 года, рассказ включался во все собрания сочинений.

Печатается по тексту семнадцатого тома собрания сочинений в издании «Книга», сверенному с рукописью (Архив А.М. Горького) и первопечатными текстами.

Анекдот

Впервые напечатано в журнале «Русский современник», 1924, книга 3. Вошло в книгу М. Горького «Рассказы 1922–1924 гг.», издание «Книга», 1925.

Как видно из письма А.Н. Тихонова к М. Горькому от 22 января 1924 г. (Архив А.М. Горького), рассказ «Анекдот» написан не позднее конца 1923 или начала января 1924 года.

Начиная с 1925 года, рассказ включался во все собрания сочинений.

Печатается по тексту семнадцатого тома собрания сочинений в издании «Книга», сверенному с рукописью (Архив А.М. Горького) и первопечатными текстами.

Репетиция

Впервые, с большими сокращениями, сделанными, по-видимому, без ведома автора, напечатано в «Красной газете», вечерний выпуск, Ленинград, 1925, номера 104–108, 3–7 мая; полностью впервые напечатано в книге М. Горького «Рассказы 1922–1924 гг.», издание «Книга», 1925.

Начиная с 1925 года, включалось во все собрания сочинений.

Печатается по тексту семнадцатого тома собрания сочинений в издании «Книга», сверенному с рукописью (Архив А.М. Горького) и первопечатными текстами.

Голубая жизнь

Впервые напечатано в книге М. Горького «Рассказы 1922–1924 гг.», издание «Книга», 1925.

В письме к М.Ф. Андреевой от 6 мая 1924 г. М. Горький сообщал, что им окончен рассказ «Голубая жизнь» (Архив А.М. Горького).

Начиная с 1925 года, рассказ включался во все собрания сочинений.

Печатается по тексту семнадцатого тома собрания сочинений в издании «Книга», сверенному с рукописью (Архив А.М. Горького) и первопечатными текстами.

брание сочинений в тридцати томах. Том 16. Рассказы, повести 1922–1925. Максим Горький gorkiymaxim.  
Рассказ о необыкновенном  
Впервые напечатано в журнале «Беседа», 1925, номер 6–7, март. Вошло в книгу М. Горького «Рассказы 1922–1924 гг.», издание «Книга», 1925.

27 декабря 1923 года М. Горький писал М.Ф. Андреевой, что он работает над этим рассказом (Архив А.М. Горького). Время окончания рассказа не установлено.

Начиная с 1925 года, рассказ включался во все собрания сочинений.

Печатается по тексту семнадцатого тома собрания сочинений в издании «Книга», сверенному с рукописью (Архив А.М. Горького) и первопечатными текстами.

Дело Артамоновых

Впервые напечатано отдельной книгой в издании «Книга», 1925.

Повесть написана в 1924–1925 годах, но замысел её возник у писателя ещё в начале 900-х годов. Вспоминая о своих встречах с Л.Н. Толстым в Гаспре (Крым) в период между ноябрём 1901 и маем 1902 года, М. Горький писал:

«Я рассказал ему историю трёх поколений знакомой мне купеческой семьи, – историю, где закон вырождения действовал особенно безжалостно; тогда он стал возбуждённо дёргать меня за рукав, уговаривая:

– Всё это – правда! Это я знаю, в Туле есть две таких семьи, и это надо написать. Кратко написать большой роман, понимаете? Непременно!

И глаза его сверкали жадно.

– Но ведь рыцари будут, Л.Н.!

– Оставьте! Это очень серьёзно. Тот, который идёт в монахи молиться за всю семью, – это чудесно! Это – настоящее: вы – грешите, а я пойду отмаливать грехи ваши. И другой – скучающий, стяжатель–строитель, – тоже правда! И что он пьёт, и зверь, распутник, и любит всех, а – вдруг – убил, – ах, это хорошо! Вот это надо написать...»

(См. очерк «Лев Толстой» в 14 томе настоящего собрания сочинений.)

По свидетельству И.П. Ладыжникова, в 1903 году М. Горький говорил о своём желании написать роман о вырождающейся из поколения в поколение буржуазной семье. «В 1903 году, – рассказывал И.П. Ладыжников, – я познакомил Алексея Максимовича с семьёй фабриканта–промышленника Разорёнова.

Разорёновы владели большими ткацкими фабриками в Вичуге, Костромской губернии, и прядильнями в Кинешме, на Волге.

фактическим хозяином фабрики, «дельцом» был только старший брат, имени его я не помню. Средний брат – Сергей – пьяница, кутила, бездельник. Сестра была психически больной.

Горький был хорошо знаком с младшим братом – Алексеем Александровичем Разорёновым. Именно он в какой-то мере послужил прототипом образа Ильи Артамонова–младшего...

...Вскоре после знакомства с Разорёновыми Алексей Максимович, имея в виду историю этой семьи, как-то сказал мне: «Интересная тема для произведения о вырождающихся поколениях буржуазии. Напишу роман» (Архив А.М. Горького).

В 1904 году у М. Горького уже складываются конкретные очертания замысла произведения под названием «Атамановы», получившего в окончательной редакции название «Дело Артамоновых».

А.Н. Тихонов, говоря об истории создания «Дела Артамоновых» и, в частности, о связи между произведением «Атамановы» и повестью «Дело Артамоновых», вспоминает: «Атамановы» – это первоначальный вариант названия «Дела Артамоновых». В 1904 г. в Сестрорецке Алексей Максимович, делаясь со мною своими творческими планами, подробно изложил замысел «Атамановых» – произведения на тему о трёх поколениях одной буржуазной семьи. Алексей Максимович говорил о том, что он намерен

брание сочинений в тридцати томах. Том 16. Рассказы, повести 1922–1925. Максим Горький gorkiymaxim. изобразить в трёх поколениях буржуазной семьи основные этапы развития русского капитализма: «рыцарей первоначального накопления» и представителей промышленного капитала. Алексей Максимович просил меня рассказать ему о банках, акционерных обществах и собрать некоторый цифровой материал о количестве в России банков и акционерных обществ» (Архив А.М. Горького).

На органическую связь этих двух названий («Атамановы» и «Дело Артамоновых») указывает и черновая редакция повести, в которой М. Горький ещё часто называет Артамоновых Атамановыми. С.Т. Морозов, вспоминая о беседах с М. Горьким, говорил: «Рассказывал я как-то Горькому нашу родословную... Ему понравилось. Собирается роман написать и даже название придумал: «Атамановы» (Александр Серебров (А.Н. Тихонов), Время и люди. Воспоминания, «Советский писатель», 1949, стр. 205).

Исключительное значение в формировании замысла повести «Дело Артамоновых» сыграли встречи и беседы М. Горького с В.И. Лениным.

В 1908 и 1910 годах М. Горький встречался с В.И. Лениным на острове Капри (Италия).

В письме к Н.К. Крупской от 16 мая 1930 года М. Горький, вспоминая об этих встречах с Лениным, писал: «Беседуя со мной на Капри о литературе тех лет, замечательно метко характеризуя писателей моего поколения, беспощадно и легко обнажая их сущность, он указал и мне на некоторые существенные недостатки моих рассказов, а затем упрекнул: «Напрасно дробите опыт ваш на мелкие рассказы, вам пора уложить его в одну книгу, в какой-нибудь большой роман». Я сказал, что есть у меня мечта написать историю одной семьи на протяжении 100 лет, с 1813 г., с момента, когда отстраивалась Москва, и до наших дней. Родоначальник семьи – крестьянин, бурмистр, отпущенный на волю помещиком за его партизанские подвиги в 12 году, из этой семьи выходят: чиновники, попы, фабриканты, петрашевцы, нечаевцы, семи- и восьмидесятники. Он очень внимательно слушал, выспрашивал, потом сказал: «Отличная тема, конечно – трудная, потребует массу времени, я думаю, что вы бы с ней сладили, но – не вижу: чем вы её кончите. Конца-то действительность не даёт. Нет, это надо писать после революции, а теперь что-нибудь вроде «Матери» надо бы». Конца книги я, разумеется, и сам не видел. Вот так всегда он был на удивительно прямой линии к правде, всегда всё предвидел, предчувствовал» (газета «Правда», 1936, номер 167 от 19 июня).

После встречи с В.И. Лениным М. Горький, отодвинув срок реализации замысла произведения «о трёх поколениях русской буржуазии», не прекращает подготовительной работы над этой темой.

Д.Н. Семёновский, вспоминая о своих встречах с М. Горьким, рассказывает, как в 1915 году Алексей Максимович говорил ему о том, что собирается написать большую повесть о трёх поколениях купеческой семьи (Дм. Семёновский. А.М. Горький. Письма и встречи, «Советский писатель», 1940, стр. 85).

Судя по воспоминаниям Л.П. Пасынкова, М. Горький уже в 1916 году набрасывает ряд этюдов к повести. «...Горький... – говорится в воспоминаниях Л.П. Пасынкова, относящихся к 1916 году, – ровным голосом, как бы прислушиваясь к себе, говорит о том, что хорошо бы человеку, который не владеет сюжетным, крепким мастерством, писать портреты.

Взять семью. Непременно маленький городок, по-своему серый, по-своему живописный. Родоначальник семьи затеял из местных торфов готовить картон и обёрточную бумагу, или, к примеру, строить кожевенный завод. Жестокостью родоначальник скопил деньги – жестокостью и недоеданием семьи. Вот везут бумагоделательную машину; сам хозяин подставил, для примера рабочим, – плечо, а машина и завалилась...

– И наш хозяин, – говорит Горький, – ...тут и дал маленько соку. Но машину всё же поставили. Хозяин подлечился. И, когда давил рабочих, вспоминали ему, как сам он лежал под машиной...

– Вы, конечно, по-своему... по-своему постройте, – нетерпеливо говорит А.М. и взглядывает. – Начав с портрета, непременно продолжите портретами семьи. Слепые, жадные жизни, ничтожные и обильные смерти...

брание сочинений в тридцати томах. Том 16. Рассказы, повести 1922–1925. Максим Горький gorkiymaxim. – Ворота представьте себе, железные, кованые, крытые медянкой. А? И замки на воротах. Зачем? Не один замок, – протестует Горький, – на одном засове два замка, – один другого пудовой.. А на дворе – исхищенный из соседнего леса волк. Да, ручной волк. И на дочерей старика обратите внимание, ни одна не вышла замуж... Желанье есть, деньги есть, а...

И хохочет.

Он садится. Повесть, видимо, ещё не сложилась, но уж в достаточной полноте вырисовалась, как ряд намёток; эти намётки он и предлагал гостю» («Литературная газета», 1946, номер 25 от 15 июня).

В 11 и 12 номерах журнала «Летопись» за 1916 год и в первых четырёх номерах 1917 года было помещено следующее объявление: «В течение 1917 года в «Летописи» будет напечатана повесть М. Горького «Атамановы».

Однако произведение это не появилось ни в «Летописи», ни в каком-либо другом издании.

Но самый факт появления указанного объявления говорит о том, что в 1916 году, в связи с революционным подъёмом в России накануне Великой Октябрьской социалистической революции, М. Горький счёл возможным приступить к началу реализации своего большого замысла «об основных этапах развития русского капитализма».

Заключительная стадия в истории формирования замысла «Дела Артамоновых» относится к периоду 1917–1924 годов.

Победа Великой Октябрьской социалистической революции дала возможность М. Горькому в самой действительности увидеть конец своей будущей книги и окончательно решила судьбу художественного замысла писателя о трёх поколениях буржуазной семьи.

К написанию «Дела Артамоновых» М. Горький приступил в 1924 году, видимо, не ранее мая, так как до 5 мая 1924 года писатель работал ещё над книгой «Рассказы 1922–1924 гг.», о чём свидетельствуют его письма к ряду корреспондентов (Архив А.М. Горького).

5 сентября 1924 года А.Н.Тихонов писал М. Горькому: «Сегодня получил Ваше письмо от 19/VIII... Конечно, мы будем очень рады, если Вы пришлёте нам Ваши «Заметки». Что касается повести (не «Атамановы» ли это, о которых Вы когда-то мне рассказывали?), то было бы хорошо начать ею новый год! Когда вы думаете её закончить?» (Архив А.М. Горького).

7 октября 1924 года в письме к М.Ф. Андреевой М. Горький известил её, что пишет повесть (Архив А.М. Горького).

15 марта 1925 года в письме к Стефану Цвейгу писатель сообщал о том, что им написана повесть «Дело Артамоновых», которую он хотел бы посвятить Ромэну Роллану. Вопрос о посвящении повести Р. Роллану был окончательно решён автором в начале июня. В письме от 3 июня 1925 года М. Горький писал К.А.Федину: «Написал большую повесть «Дело Артамоновых»... Повесть посвятил Ромэну Роллану, с которым оживлённо переписываюсь и коего уважаю» (Архив А.М. Горького).

Таким образом, судя по письму к С. Цвейгу от 15 марта 1925 года, можно предположить, что повесть «Дело Артамоновых» была окончена М. Горьким не позднее середины марта 1925 года.

В письме к одному из своих корреспондентов от 16 декабря 1925 года М. Горький сообщал, что скоро выйдет его повесть «Дело Артамоновых» (Архив А.М. Горького). Повесть вышла из печати в конце декабря 1925 года отдельным изданием.

В 1928 году в ответ на отзыв Ромэна Роллана о «Деле Артамоновых» М. Горький писал ему: «Очень обрадован Вашим мнением о старике Артамонове, мне хотелось изобразить этого человека именно так, как Вы его поняли. Против его мною поставлен Тихон Вялов, видоизменённый тип Платона Каратаева из «Войны и мира» (Архив А.М. Горького).

брание сочинений в тридцати томах. Том 16. Рассказы, повести 1922–1925. Максим Горький gorkiyтахіт. Начиная с 1925 года, повесть «Дело Артамоновых» включалась во все собрания сочинений.

Печатается по тексту издания «Книга», 1925, сверенному с рукописью (Архив А. М. Горького).

Примечания

1  
хроническая вирусная болезнь, поражающая глаза и приводящая к слепоте – Ред.

2  
Betonica L., род многолетн. травянист. растений из семейства губоцветных, употреблявшаяся прежде как народное средство от кашля – Ред.

3  
рассол для соленья рыбы и икры (астраханск.) – Ред.

4  
карликовые бесхвостые чёрно-белые мыши – Ред.

5  
франц. – горничная, бойкая, проворная, хитрая плутовка, в комедиях – Ред.

6  
что вы знаете о Бернардене де Сен-Пьере? (франц.) – Ред.

7  
благодарю тебя, боже, благодарю, что ты... (франц.) – Ред.

8  
да (франц.) – Ред.

9  
Кажется, я так и сделал – прим. М.Г.

10  
бранно: мужик, серяк, вахлак, смурый, чёрный и грубый мужлан – Ред.

11  
сейчас – село Савватьма Ермишского р-на Рязанской области, на реке Сурёнке – Ред.

12  
сейчас г. Новосибирск – Ред.

13  
пастбище, выгон для скота – Ред.

14  
мутовка – палочка с крестом, кружком или рожками на конце, для пахтанья, мешанья и взбалтывания – Ред.

15  
холст, лучший, крестьянский рубашечный – Ред.



16

т. е. после отмены крепостного права в 1861 г. – Ред.

17

6 августа по ст. стилю, т.ж. яблочный спас – Ред.

18

мясник – Ред.

19

управляющий в имении – Ред.

20

из бычьей кожи, выделанной по русскому способу, на чистом дёгте – Ред.

21

женщина в каждом приходе, приставленная для печенья просвир; обычно вдова духовного звания – Ред.

22

устар. негодный, неуклюжий – Ред.

23

головной убор – Ред.

24

бархатовидная ткань – Ред.

25

шёлковая плотная ткань, обычно с разводами – Ред.

26

ткань из шёлка-сырца – Ред.

27

шампанское красного цвета – Ред.

28

9 мая по старому стилю – Ред.

29

кора, луб конопли, льна – Ред.

30

грубая пеньковая ткань, пёстрая или полосатая, «матрасная» – Ред.

31

ликёр креп. 55%, содержит 250 ингредиентов, в основном трав – Ред.

32 факт описан П.Д. Боборыкиным в газете «Русский курьер», относится к 80-м  
Страница 361

брание сочинений в тридцати томах. Том 16. Рассказы, повести 1922–1925. Максим Горький gorkiymaxim.  
годам – Прим. М.Г.

Спасибо, что скачали книгу в бесплатной электронной библиотеке

<http://gorkiymaxim.ru/> Приятного чтения!

<http://buckshee.petimer.ru/> Форум Бакши buckshee. Спорт, авто, финансы,  
недвижимость. Здоровый образ жизни.

<http://petimer.ru/> Интернет магазин, сайт Интернет магазин одежды Интернет  
магазин обуви Интернет магазин

<http://worksites.ru/> Разработка интернет магазинов. Создание корпоративных  
сайтов. Интеграция, Хостинг.

<http://filosoff.org/> Философия, философы мира, философские течения. Биография

<http://dostoevskiyfyodor.ru/>

сайт <http://petimer.com/> Приятного чтения!